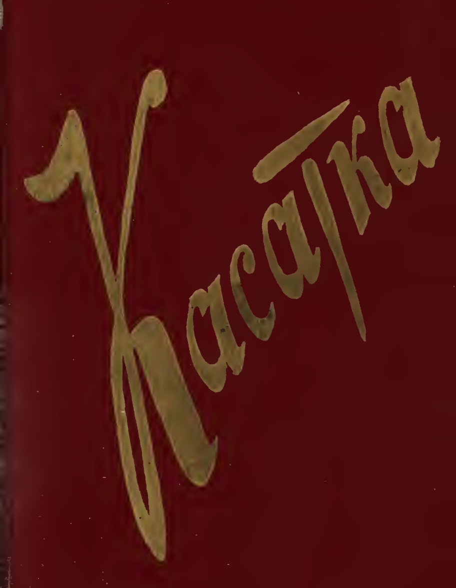
Иван Подсвиров





Иван Подсвиров

Касатка

ПОВЕСТИ



Москва
Советский писатель
1986

ББК 84.Р7
П 44

Писатель Иван Подсвиров известен как автор романа «Красные журавли», книг повестей и рассказов «Танец на белом камне», «Погоня за дождем», «Шаги к перевалу», «Завтра — первое сентября»... Четыре повести, включенные в эту книгу, посвящены людям Ставрополья, прежде всего колхозникам, которые на своих плечах вынесли тяготы военной поры, поднимали разрушенное хозяйство и сегодня подают молодежи пример истинного трудолюбия и глубоко нравственного отношения к делу всей жизни. То, о чем рассказывает Иван Подсвиров, близко и дорого ему с раннего детства. И это внутреннее знание, память сердца придают его повестям особую задушевность и взволнованность.

Художник ТАТЬЯНА ПРИБЫЛОВСКАЯ

П $\frac{4702010200-079}{083(02)-86}$ 108—86


Родные люди
Повесть в новеллах





ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Уже полмесяца я отдыхаю в доме моих родителей. Приехал к ним подышать свежим деревенским воздухом, поесть краснобоких яблок, позагорать у речки, на горячей песчаной отмели. По утрам, перебросив через плечо гнутое расписное коромысло, бегаю по воду, днями же пропадаю в лесу, тронутом дыханием первых полуночных холодков.

На исходе бабье лето. Серебряная нить паутины вяжет причудливые узоры над лугом; воздух прозрачен и дрожит. В ушах от тишины тонкий звон, похожий на зуд осы. Марушанские девчата полощут в реке белье; женщины постарше сидят тесным кружком на гладких камнях. Я обхожу их стороной, чувствуя на затылке любопытные взгляды, и тороплюсь побыстрее перейти вброд речку, скрыться в лесу.

Там хорошо, покойно. Среди стыдливо вспыхнувших листьев багряно светятся калиновые кисти, синё выглядывает из травы ежевика, серый заяц, прижав уши, стремительно улепетывает в ольховые кусты.

Так выходит, но встречи с родным лесом становятся реже, мимолетнее. Забываются обильно плодоносящие груши, потайные тропинки к диким яблоням, широкие пеньки-стулья. Осветит лицо калина ярким своим пламенем — и, невольно приостановишься на тропе. И чей-то

шепот раздастся за спиной: оглянись, ты что-то потерял в этом лесу. Оглянешься — тишина задумалась в прохладной чаще, никого не видно. И вроде ничего не потеряно. Странно. Однако сознание потери продолжает жить в тебе, и от этого никуда не деться.

Мне грустно среди щедрого царства красок, света, звуков. Сложные чувства овладевают мной в минуты свидания с лесом. И так будет всю жизнь. Я знаю.

Только перешел обмелевшую речку по зеленым камням — на глаза мне попался сосед отца, тракторист Яков Призов. Ростом он высок, русоволос. Острые скулы обросли черно-пепельной щетиной. Голубые глаза глядят доверчиво из-под крутых надбровий. Обут он в резиновые, выше колен сапоги, с крупной рубчаткой на подошвах. Такие он носил и пятнадцать лет назад. Поздоровался, протянул для пожатия крепкую руку, коротко поинтересовался:

— В лес?

— В лес.

— И я. Дай, думаю, погуляю.

По тону, с каким он произносит это, догадываюсь: кровоточит в душе его давняя рана. Хочет забыть он старую боль, да, видно, не может. И лес для него — лучший лекарь. Неужели Антонина до сих пор не забыла свою первую любовь?

Мы углубились в тихую и прохладную чащу. Листья под ногами шуршали задумчиво, ручьи текли неслышно. Вода в них была прозрачной до синевы, и когда мы пили ее, наклоняясь лицом к ясному зеркалу, в глубине его дрожали деревья, перевернутые вниз верхушками. На переломленных рябью ветках отчетливо чернели пустые сорочиные гнезда. И все вокруг было родное, непридуманное. Тихая и мудрая грусть проникала в мою душу.

Отдыхали мы на бугре под чинарой. Про нее Яков знал много живых подробностей. В войну в молодой ствол угодила мина, чинара наклонилась набок и чуть было не упала наземь. Но весною корень выпил из земли ядреного соку; рана затянулась тугой черной корой... И теперь стоит чинара согнувшись, будто от ветра. Стоит и слушает неторопливый наш разговор.

Яков привык рассказывать всякие истории. Они приносят ему облегчение, как и прогулки в лесу. Рассказывая, он забывает про Антонину, про свою несложившуюся

жизнь, и ему тогда хорошо. Истории его просты и непритязательны, иным они могут показаться даже неинтересными. Но мне они нравятся. Эти истории трогают меня своей искренностью, а может быть, и тем, что они о моих земляках и я узнаю в нехитрых их судьбах и свою жизнь. Яков с охотой встречается со мной: пожалуй, я у него самый внимательный слушатель. Я догадываюсь, что и эта встреча с ним вряд ли случайна; он, наверное, ждал меня у реки.

Самому мне говорить ни о чем не хочется. Только бы слушать Якова, глядеть в сквозную даль неба, следить за медленным кружением коршуна и чувствовать себя частицей леса, и трав, и этого неба — всего огромного, необъятного мира.

Первая зима после войны, басит Яков, выдалась лютой, с большими сугробами, с едкой морозной мглицей. Хаты по окна увязали в снегу... Пополудни подростки и мужчины собрались на полевом стане. В руках они держали узелки со скудной провизией, топоры да пилы. Они впрягли быков и поехали в Чинаровую балку рубить для колхоза дрова. Дорога к ней неблизкая, ползет по косогорам, сбегает в ложбинки, теряется в белом от снега мелколесье.

А потом мужчины разожгли костер, обогрелись, устроили шалаш, натаскав в него соломы. Солома была теплой, звала ко сну. Фронтовики рубили лес, а пацаны на быках оттаскивали дрова поближе к дороге.

Ох, с какой злостью, с какой удалью рубили мужчины деревья! Они вкладывали в удар всю свою молодецкую силу. Ахая, к самому небу взмахивали топорами, вонзая торжествующую сталь в податливое тело деревьев. Глухо стонал лес, громко неслись крики: «Эй, не подходи!» — и рушились, перечеркивая сквозное небо, тяжелые дубы. Лесорубы потирали на ветру красные ладони.

«Вот герои!» — восхищался Яков, помогая охватывать звенящей цепью дрова неразлучному своему дружку Тихону Бузутову. И было обоим радостно, весело в Чинаровой балке, по пояс заваленной сугробами.

Вспоминает Яков, волнуется... И мне интересно слушать его. Как будто про меня рассказывает. Все близко и понятно.

Вверху шумят листья. Один оторвался, покружил надо мною в воздухе, доверчиво прильнул к плечу... Бросить все! Вернуться! Надеть сапоги, купить такую же,

как у Якова, куртку, раздобыть ружье с патронташем, бездымного пороху — и уйти в леса, в горы. Забыть о газетных статьях, о едком запахе типографской краски...

Я поднимаюсь, киваю Якову:

— Отдохнули. Пойдем.

«А он ничего не сказал об Антонине. Забылся. И грусть его подобна светлому плачу ребенка. Что в сравнении с нею тоска человека, который годами не видит родного леса и облаков над ним?!»

Но Яков тихо говорит:

— Ты за меня не беспокойся. Меня дома не ждут. Садись, отдохнем еще.

— Боюсь, Антонина кинется искать тебя.

— Антонина? — с грустью переспрашивает Яков.— Нет, брат, она не кинется.

Яков лежит на спине, закинув за голову руки, большой и сильный, как богатырь. Он смотрит в небо своими широко раскрытыми голубыми глазами и чему-то беспричинно улыбается. Не понять его сейчас, о чем он думает. Вот так же лежал он на покосе, после ужина. Дело было минувшим летом. Мой отец попросил Якова и его дружка Тихона Бузутова покосить денек-другой вместе с нами на Ивановом выгреве. Те охотно согласились. На заре, весело гремя сапогами, дружки ввалились к нам в дом, при полном боевом. С ними явился и шурин Тихона — Васек, шумный в хуторе повеса. Отец у него погиб на фронте. Мать же Васька после войны еще молодилась, ходила по вечерам в желтых туфлях, надеясь выйти замуж за какого-нибудь одинокого фронтовика. Но время шло, одинокие переводились, и Костенчиха, чувствуя к тому же, как меркнет ее молодость, как вместе с нею убывают силы, с неистовой решимостью продолжала поиски жениха. О детях она в ту пору думала меньше, чем нужно бы...

Костенчиха так и осталась вдовой, с горечью обнаружив, что сын у нее «баламут». Маленький и верткий, Васек обладал недюжинной силой и всегда первым лез в драки. Он вечно ходил с синяками на лице, в изодранной одежде. Многие его побаивались. Васек выучился играть на тульской гармошке, играл и на балалайке, не давая проходу девчатам.

Лет пять назад, подравшись с приезжим горожанином, Васек отбыл в места не столь отдаленные. Это время даром для него не пропало: выучился он там на тракториста. В колхозе доверить ему машину не доверили, реши-

ли пока определить в прицепщики: мол, покажет себя молодцом, тогда и трактор дадим. С таким делом спешить — только людей смешить. Но и тут вышла загвоздка: никто из трактористов не брал Васька к себе в помощники., Один Яков согласился:

— Давай ко мне, брат... Но гляди: вздумаешь брыкаться — дух вытрясу! Заруби на носу... Вот! — Яков по локоть засучил рукав рубашки, обнажив волосатую, бугристую руку, и сжал кулак.— Видал? Приемам я не обучен, но так отметелю — не опомнишься...

— Ну, ну, не грози,— отстранился от него Васек.— Ты лучше Степку пужай. Оно полезней будет.— Глаза у Васька забегали беспокойно, и он отступил назад, думая, что Яков обидится. Яков же как-то сразу сник, опечалился.

— Степку нельзя,— со вздохом, виноватым тоном сказал Яков и стал одергивать рукав рубашки.— Тут, брат, не твоего ума дело. Нельзя обижать мне Степку.

С того дня Яков работает вместе с Васьком. Они ладят. Куда Яков, туда и Васек. И на покос Васек пошел тогда из-за Якова. Мы поднимались в гору мимо раскидистых черемух. Сквозь листья проглядывали черные капельки спелых ягод. Мы срывали их губами. На вкус они были терпко-сладкими, с горчинкой.

— Ох, мать святая богородица! — Васек неистово зарывался в мягкую зелень, мотал головой.— Как пахнет!

Яков шел плечом к плечу с Тихоном, с любопытством оглядывался на Васька и улыбался. Он был доволен своим напарником.

На опушке, окруженной молодой порослью дубков и стройными молочно-белыми березами, мы устроили балаган. Накрыли его ветками ольхи, свежескошенной травой. Потом косари деловито отбивали маленькими молоточками косы. Отточенными, резкими движениями оселков наводили остроту. По всему выгреву бежал веселый перестук-перезвон. На секунду он терялся в зеленой глубине балки и вдруг отзывался оттуда гулким эхом. И повсюду в траве трещали, били в звонки кузнечики.

— Ох, мать святая богородица! — завороженно твердил Васек, неся из лесу сухие поленья для костра.— Красотища — дух захватывает! Можно молиться...

Но вот Яков расправляет плечи, плюет на ладони и будто играючись пускает возле себя косу, отливающую белым светом. Густая, в росе трава полукружьем ложит-

ся ему под ноги, никнут к земле белые ромашки. С каждым взмахом все отчетливее прочерчивается слева от Якова зеленый, пышно взбитый рядок. Легко окашивает, подбивает Яков кусты. Вслед за ним широкими, размеренными взмахами режут траву Тихон с моим отцом. Косари быстро спускаются под гору. Очередь доходит и до меня. Я еле поспеваю за Васьком. И рядок у меня выходит узким, нечистым. У Васька же ручка вдвое шире моей. Косит он вроде балуясь — так, словно играет в свинью, забаву нашего детства. Я безнадежно отстаю. А они косят. Яков снимает рубашку, обнажая бронзовые плечи. Поигрывает в них силушка буйная, молодецкая... Васек кладет косу наземь и бежит к вербе. В ее тени спрятан баллон с квасом. Обхватив баллон руками, он пьет жадными, сильными глотками. И опять косит. Яков улыбается ему: «Давай, давай!» Ощущение единого порыва в работе взбадривает его и вдохновляет.

К вечеру, убитый усталостью, я безвольно ложусь вверх лицом на подсохший рядок. В небе задумчиво проплывают облака, озаренные отблесками темно-алого заката. Вспыхивает костер. Оживленно переговариваясь, Яков с Тихоном чистят картошку, долго колдуют над закопченным котелком. Мой отец наводит косы: в этом деле он мастер признанный.

— А Васек молодец! — радуется Яков, подбрасывает в огонь сухой валежник.— Не разучился косить.

Костер горит ярко, темно-фиолетовая тьма, загустевая, все плотнее, ближе подступает к нему. И так хорошо, так загадочно становится на опушке, окруженной порослью молодых деревьев!

Васек отходит от огня и вдруг по-кошачьи ползет вверх по гладкому, светящемуся стволу березы. Добравшись до самой макушки, он издает восторженно-счастливый вопль:

— А земля большая! Большая земля!

Яков с Тихоном подбочениваются, задирают вверх русые головы.

— Не обломи березу! Сдуру-то!

— Не обломлю!

— Силенок поднакопил — некуда девать!

— Коплю... коплю!

Здоровый, зычный голос перекатывается по верхушкам деревьев, гудит где-то в затуманенной сизой балке. Сколько свежести в нем, силы! Сколько молодости! Мне

даже чудится, что голос сотрясает землю, и от него поднимается волнующий шум в лесу, трепещут листья.

— Коплю... коплю!

Гул идет по лесу от человеческого голоса. И Яков, озаренный костром, стоит под березой и смотрит на Васька. Сейчас он гордится его силой, его молодостью, но все же вздыхает: «Эх, Васек, Васек! Непутевая твоя голова!»

Васек, хохоча, спускается по стволу. После ужина Яков ложится рядом со мной, закидывает за голову руки и долго смотрит на небо, где искорками вспыхивают звезды.

— Не пропащий он, слышишь! — вдруг горячо шепчет Яков, приподнимаясь на локтях.— Гляди, еще и будет человеком! Но за ним глаз да глаз нужен. Баламутный парень. В тридцать-то лет!

Васек уходит в лес за валежником, насвистывая что-то бойкое, веселое. Яков глядит в ту сторону, откуда свист, и говорит:

— Об нем я, как о брате, пекусь. Ей-богу. Черт знает что у меня за натура!.. Жалостливый я к людям. За что Антонина меня не уважает. Ну и ладно!.. А с Васьком мне легче, брат. Задумаюсь о нем и забуду о себе. Хорошо! Мне думать о себе вредно.

...Так ясно, так зримо возник в памяти тот вечер на покосе. И я еще долго сидел под чинарой, не решаясь потревожить покой Якова, нечаянно вспугнуть его думы.

Возвращались мы другим путем. По лесу не пошли, а направились к вспаханному полю. Вдоль него белела ровно накатанная проселочная дорога. У мостика, перекинутого через проточный ручей Буланчиху, повстречался нам старик. Сухое лицо его цветом походило на землю. Старик двинулся нам навстречу, а до этого он сидел на могильном кургане, отдыхал.

— Добрые люди! — начал он со свойственного в наших местах обращения.— Подсобите вытолкнуть бричку. Болото, будь оно неладно.

Мосток был поломан, и старик пытался переехать ручей рядом. Но задние колеса по ось осели в грязь. В ней стоял плешивый ишак и отрешенно мотал головой.

— Уморился,— сказал старик, перехватив мой взгляд.— Сколько там на ваших золотых? Время ему кричать, а он молчит.

И тут я узнал в нем деда Криволапа, у которого мы

воровали яблоки. Да, изменился дед Криволап. Пригнуло его к матушке-земле. Мы посидели на кургане, подумали, как лучше подступиться к бричке. Криволап стал жаловаться, что его бабке не дают пенсию.

— Документов нету... Бабка плюнула на пензию и больше о ней не заикается. Не с нашим умом ее получать. Умные-то люди, вишь, загодя справочками запаслись, а мы...

Он обиженно умолк, встал и пошел запрягать ишака — сгорбленный, полуслепой.

«Вот жил бы дома и помог бы Криволапихе выхлопотать пенсию. Радость подарил бы ей. А такой — кому я тут нужен? Заезжий человек».

Увязая в липкой жиже, мы с Яковом поднапегли сзади, бричка медленно, но верно подалась вперед. Пошла...

Сумерки сгущались над полем. В немом безмолвии стыли придорожные кусты шиповника. Во всем — тихое, покорное блаженство: и в глубоких пластах пахоты, и в смутном лесе на дальней горе, и в телеграфных столбах, широко шагнувших в вечернюю даль. Век бы бродить по этим местам...

В доме Якова — шум, крики, задорный перебор баяна. Он тащит меня за рукав, шепчет:

— Посидим, потолкуем... Ну? А после уйдешь.

При появлении Якова гости подняли невообразимую суматоху.

— Явился!

— Где ты пропадал, путешественник?

— А у него всегда приключение,— усмехнулась Антонина, востроглазая подвижная бабенка, жена Якова.

А меня как и не было. Попал же я в переделку. Теперь отсюда и уходить неловко. И тут я понимаю, почему он затащил меня в эту компанию.

В углу под образами, подперев кулаком смолистую густую бороду, скучал известный в прикубанских хуторах бабник Степа Раскидайлов. В позапрошлом году жена Якова встречалась со Степой, пока муж пропадал на покосе. И как память о тех июльских встречах — дочь Машенька. Сначала Яков порывался застрелить Раскидайлова из охотничьего ружья, но Антонина упала на колени и просила пощадить Степу, а то и она наложит на себя руки. «Не виноватый он! — ломала себе руки Антонина.— Это я... я! Меня и казни!»

Яков крепко любил Антонину — и пощадил Степу. Про

себя же решил уйти из хутора куда глаза глядят. Да скоро передумал: не мог оставить дом, и лес, и свой трактор.

Заметив под образами нахального соперника, Яков стушевался, удалился в сени.

— По делу, что ль, гражданин-товарищ? — вдруг отозвался из угла Степа Раскидайлов. Губы у него скривились в иронической улыбке, в раскосых калмыцких глазах вспыхнул темный огонек недовольства.

Я не ответил. Во мне росла неприязнь к Степе Раскидайлову. Антонина кокетливо передернула плечами, метнула на меня любопытный взгляд и, чему-то засмеявшись, удалилась в сени вслед за Яковом.

— Чего Степка пришел? — приглушенно донеслось из-за двери.

— А я знаю! Пойди спроси у него сам. Не выгонять же его на людях. Он с моим братом притащился, черт раскосый.

— Ругаешь... Так, думаешь, и поверил тебе. Эх, Тонька! Тяжело мне, погубишь ты нас.

— Не веришь, давай разойдемся... Не могу я так, не могу. Каждый раз пилишь, лучше убей!

— Верил я, дальше некуда.

— Истязатель, кат! — притворно плакала, убивалась в сенях Антонина.— Все слезы с тобой выплакала, вся начисто извелась... Старухой сделалась, лица на мне нет. Мне уже из-за тебя никто своих годов не дает... Не лезь ко мне, уйди!

— Тоня, Тоня...— голос у Якова тихий, просительный.— Не плачь, Тоня. Тяжко мне, пойми! А щеки у тебя горячие... Эх, Тоня!

— Не лезь! Хватит подлизываться... Оба вы мне до тошноты наскучили.

— Душа болит. Горит, как увижу его! Скажи ему, чтоб ушел.

— Сейчас они все уйдут. Больно засиделись.

Молчание. Только слышно было, как трудно дышал Яков, как жалостливо всхлипывала Антонина за дверью и скребла ее ногтями. В компании никто, кроме Степы Раскидайлова, не заметил их затянувшегося отсутствия: гости уже были на взводе. Наконец Антонина сказала:

— Идем, Яша. Люди небось уже заждались.

Она почти вбежала в комнату порывистым, легким ша-

гом. Глаза ее сухо блестели. Быстро прошла к столу, поманила к себе пальцем Якова, замешкавшегося у двери, повела бровью на Степу:

— Извиняюсь... Мы по-семейному заговорились там! У меня Яша такой говорун — кого хочешь заговорит!

Я незаметно ушел и еще долго чувствовал себя несправедливо обиженным, одиноким. Сейчас я не испытывал жалости к Якову. Мне почему-то до слез было жаль себя. Да какое Степа имел право так разговаривать со мной! И что я ему сделал?.. Вранье, что никто не узнал меня. Притворялись. И правильно. Я им стал чужой.

Одна мысль набегала на другую. Я терялся. Судьба, казалось мне в эту минуту, обидела меня больнее, чем Раскидайлов и Антонина обидели Якова.

Из двора Призовых вырвался слепящий пучок света. Я невольно прижался к забору. С шумом открылись ворота, на улицу, оглушительно треща и взвизгивая, выкатился мотоцикл с люлькой. Антонина вызывающе белела в ней платком, хохотала своим грудным, высоким голосом. Следом выскочил второй мотоцикл, полоснул сильным светом мне по глазам. Я зажмурился. В горячности мотоциклисты сделали несколько кругов по улице, взбудоражив тишину осеннего вечера и навлекши на себя дружный лай собак. Смеясь, опять остановились на прежнем месте.

Антонина вышла из люльки, сорвала с головы платок и замахала им над собой:

— До свиданья, гостечки! Заезжайте еще, прокатимся!

— Заедем,— за всех пообещал Степа.

— Не обижайтесь,— сдержанно и глухо промолвил Яков, запирая ворота.

Гости уехали. Затихая, гул быстро уносился в глубину проулка. Тлели на небе звезды. Надрывно лаяли в ночь собаки. Я постоял в раздумье и решил повернуть назад, опять побродить в поле, посмотреть с кручи, которая опоясывала огород Якова, на речку. Домой идти мне расхотелось. И вдруг я услышал голос Якова:

— Ты здесь? Когда ты ушел?

Чувствовалось, он уже успел выпить.

— Немного раньше твоих гостей.

— Скучно мне с ними. Пойдем ко мне. Хоть поговорим по-человечески. Мне бы потолковать с тобой о жизни... Видел Степку? Нахальством берет, понял? У него только и разговоры — о водке, о бабах...

— Он меня не узнал.

— Да притворяется, косоглазый! Еще как узнал... Душа горит, так потолковать хочется! Пойдем! Я давно хотел спросить у тебя, почему это женщинам нравятся такие, как Степа? Липнут к нему как мухи. Вот, брат, и подумай, что у них за натура. Отчего они мало уважают серьезных мужиков? Никто мне на это не ответит — ни Тихон, ни Сагайдак. И твой отец не знает. Но ты, видать, про это в книжках читал. Ты — ответь!

Разволновавшись, Яков теребит меня за рукав и вдруг умолкает, пристально вглядывается сквозь тьму в мое лицо.

— Постой, ты обиделся на них, да?

— Нехорошо вышло, Яков. Я для них чужой. Никто! А раньше они меня знали. Видишь, как все обернулось!

— Забыли они тебя, подумаешь, беда какая! От этого тебя не убудет. Это не боль. Вот меня Степка обидел — сам знаешь как! До самой смертушки обидел!..

Тут же, путаясь в темноте, пробился к нам со двора голос Антонины:

— Яша, где ты там? Иди в дом, ужин остывает.

Хлопнула калитка, Антонина вышла на улицу и опять спросила:

— Ну где ты, Яша?

Ласковый, призывный и чуть капризный был голос у Антонины.

— Иду! — ответил ей Яков, чему-то вдруг обрадовавшись.— Тоня, я иду!

АПРЕЛЬ — НИКОМУ НЕ ВЕРЬ

...И что за странность: на берегу Касаута увидел куст шиповника, обыкновенный куст с затвердевшими темно-красными плодами, и он навеял мне воспоминания о друзьях моей юности, обо мне — о том, далеком, четырнадцатилетнем. Наверное, мы глубоко заблуждаемся, думая, что, покидая родные места, ничего не оставляем в них от своей души, чувств, мыслей... Нет, мы оставляем память о себе. Ее, оказывается, хранят не только люди, но и те же дома, деревья, срубы колодцев. Как радостно и как грустно сознавать это!

Я стал замечать в себе обостренное, почти болезненное внимание к домам. По-моему, с течением лет они становятся похожими на своих хозяев, приобретают их характер. Вот стоит особняк, огороженный крутым железным забором, с жестяными петушками на крыше. Окна захлопнуты ставнями. Все выглядит сурово, внушительно, прочно. Приглядишься, и хозяин как бы похож на дом свой: угрюм и не шибко разговорчив. В делах осторожен, прижимист. Бирюк. Но радуюсь я, когда вижу дома светленькие, простые.

Рождается новое утро. Облетающий сад соседа, Тихона Бузутова, сквозит просинью. За рядом подсолнухов со срезанными шапками бело поглядывает его дом. И я уже весь во власти памяти.

Было это давно. Вселились мы в новый дом, под вечер для интереса затопили. Шипят, постреливают в плите поленья. Косое пламя выхватывает из сумрака угол лавки. На ее краешке я примостился, счастливый. Гляжу на огонь, думаю: «Мы в новой хате. Люди небось завидуют».

Отец мой, сухой, жилистый, с бородкой лесника, давно не пользовавшегося бритвой, в охотку подбрасывает дрова. Дверцу он открывает по-хозяйски аккуратно, следит, чтобы жар не упал на пол.

Бродит по комнатам свежий запах сосны, и мать моя дышит не надышится. По случаю новоселья она вырядилась во все новое. На плечах у нее платок цветастый — крупные, огненные розы по белому. Это подарок отца, когда он вернулся с войны. В платке мать молодая, красивая...

Сосед Тихон свалился как снег на голову. Он всегда приходит вот так — шумно, по-свойски топчется у порога, шпыняет ногой кур или подвернувшегося кота и, нашумевшись вдоволь, широко распахивает двери.

— Смотрю: дым из трубы! Значит, думаю, переселились!

За голенищем сапога — тугая ременная плетка: Тихон пасет стадо. Почти каждый день он наведывается к нам. Разница в годах и достатке — Тихону было около двадцати пяти, а моему отцу за все сорок; у Тихона завалюха, а у нас теперь хоромы — не мешает им ладить, водить дружбу.

Отец ответил на приветствие Тихона легким кивком головы, по-прежнему напряженно всматриваясь в огонь.

Казалось, только теперь, после тяжелой работы, после долгих хлопот по строительству он ощутил усталость, и ему хотелось подольше посидеть молча у огонька, забыться... Никогда Тихон не видел его таким усталым.

Тихон расхаживал по комнате, в задумчивости затихал у окна и вдруг, словно о чем вспомнив, опять принимался торопливо отмеривать шаги, от окна к плите и обратно. В душе Тихона творилось непонятное.

— Дом как игрушка. В таком царстве и помирать не боязно. Счастливый ты, Максим! Все у тебя ладится!

Отец очнулся от хороших думок, заговорил веселым голосом:

— Дом большой. На фундамент клал толю, а крыша из листовой жести. Даже больно глядеть: светится.

— И мне пора строиться. Ленка уже извела: «Не хочу слепнуть в этой землянке!» Хоть кол ей на голове теши, а она за свое... Да и верно. Хату после немцев бабы лепили. Как попало, лишь бы перезимовать в тепле. А из баб какие мастера. Одно расстройство.

Тихон распахнул в сумерки окно, прислушался... Гром ворчал в отдалении, мнилось, на самом краю неба, с глухой покорностью. Обещал он чистые звезды по-над лесом и горами да свежую тихую ночь. И еще луну намекал выпустить на волю из студеных объятий туч.

— Негода вроде уходит. А в горах лил дождь — жуть! Запань на лесозаводе прорвало. К Учкурке наплыло брусьев — пропасть! Пойдем, Максим, сплавим.

— За них попадет. Как-никак государственные...

— Да кто узнает! Дело верное.

Отец думал-думал и решительно отмахнулся:

— Не пойду!

— Забогагел. А сколько я тебе помогал, вспомни! И саман месил, и тягло добывал. Сам работал как проклятый. Максим лишь свистнет, а я уж тут как тут, на одной ноге.

— Не могу! — взмолился отец.— Красть!

— Удача редко выпадает. Пойдем,— не унимался Тихон.— Сплавим к хутору до переката. Никто и не увидит. А брусья и тебе пригодятся: пол-то в спальне и кладовке мазаный.

И правда, пол там еще земляной. Скоро ли отец разживется досками, одному богу известно. Да боязно грех на душу принимать. Никогда отец не брал чужого и не примечал того, что плохо лежит. Старается жить честно.

Может, так труднее, да зато надежнее. И во сне его не мучают страхи, как они мучают всех воров. Нет, жить по совести куда спокойнее.

Отказать же Тихону он тоже не решался. Прощай тогда долгая и такая хорошая дружба, не с кем будет и душу отвести. Задал ему сосед задачу, хоть караул кричи.

А для Тихона это, конечно, верная прибыль. Одному же сплавлять лес неудобно. Он бы попросил Якова, да попробуй сейчас уговори того. Как женился Яков на Антонине, ни на шаг не отстает от нее. Любовь у него жаркая. И Тихон, видимо, стесняется мешать ему.

«Эх, Тихон, Тихон... Да разве забыл Максим, что был ты ему лучший в деле помощник, друг безотказный, бескорыстный! И стропила с тобой вдвоем в лесу облюбовывали, и месили глину на саман, и тягло клянчили... Не будь тебя, человек сердечный, куковать бы нам еще с годок, а то и с два в той горбатой избе».

— Ладно,— сказал отец.— Пойдем.

Весь вечер только и говорили о бревнах, которые принесла с собой разъяренная вода. Если дождя не будет, на рассвете они постараются сплавить лес в безопасное место. Тихон ушел домой в полночь. Небо очищалось от туч, в просветах темной синевы крупно обозначались звезды. Вдалеке над горами по-прежнему проступали неясные пятна молний, но гром уже сюда не докатывался.

В ту ночь хата показалась Тихону совсем уж убогой, хуже кротовой норы. Развалюха военных лет напомнила ему временное пристанище чабанов. В таких вот ютятся они в горах, на отгонных пастбищах. Пора перебираться в хороший дом, пора!

И повезло же ему, мать честная! К самому двору плывут бесплатные брусья. Только не робей, не ленись — вылавливай. Пора, пора строиться. И пускай ему будет потяжелее, чем Максиму, да он двужильный, выдюжит. Сработает за двоих, а понадобится — то и за пятерых. На покосе он многих обгоняет, обгонит и на строительстве.

В сладких мечтаниях, в томительном ожидании встречи с мокрыми, осклизлыми брусьями медленно подвигалась ночь к рассвету. Вздох ветра взволновал занавеску, отодвинул край ее, и в хату ворвался свет звезды. Яростный, порывистый, такой желанный свет!

На зорьке отец разбудил меня, велел одеться. В комнате уже попыхивал цигаркой Тихон. На нем рыбацкие сапоги с длинными, выше колен, голенищами (попросил у Якова) и брезентовая роба.

— Проспали малость. А погода ясная, вода спала.— В его охрипшем голосе угадывалось волнение.— Ну и накупаемся!

— На что он вам? — мать с сожалением смотрела на меня.— Замучится ведь.

— Одежу будет носить,— сказал отец.— Не маленький.

От хутора до Учкурки напрямик километров восемнадцать. Шли, сбивая росу с пожелтелых трав, жадно вдыхая свежесть раннего утра. Сзади в три ручья сучился неровный след от сапог. В ложбинах, среди багрово вспыхнувших деревьев, в зябкой дремоте нежились облака сизоватого тумана. А далеко над синими вершинами уже сверкали первые лучи солнца.

— Пока дотянемся, солнышко поднимется, вода потеплеет,— рассуждал вслух отец, бодрясь от спорой ходьбы, от холодка пепельно-росных трав.— В молодости я за два часа доходил до Учкурки.

Так у нас зовется дорога, которая опасно взбирается на крутую гору. С одной стороны над нею мрачно нависают глыбы слежавшейся породы, в коричневых прожилках, в клочках зеленого мха, с другой — грозно чернеет зев пропасти. На дне ее тяжко гудит, зажатая в каменных тисках, река.

Добрались мы поздновато. Солнце уже взнялось высоко над горами. Либо мы шли медленно, либо от близкого соприкосновения с лесом потеряли чувство времени. Спустились к реке. Там, где она круто забирает влево, ворочались смолистые кругляки, плотно пригнанные к берегу.

Они отдали мне одежду, в белых подштанниках вступили в мутную воду. Уже стоя в реке, Тихон отдал и рыбацкие сапоги. Все равно они ни к чему, вода выше пояса.

— Не утеряй! — крикнул он, перекрывая шум.— Пойдешь за нами берегом. По-онял?

Волны с яростью накатывались на брусья, рассыпались дождем-проливнем. Тихон взошел на гору бревен и крепким багром начал сталкивать их в кипящую под ним стремнину. Течение тут же подхватывало их и уносило вниз. Схлестнувшись разок-другой гладкими боками, бру-

сья расходились в стороны и, ныряя в буруны, надолго пропадали из виду, пока река опять не выбрасывала их к себе на мглистую спину...

Работал Тихон на загляденье. Я завидовал его богатырскому росту, размеренным, сильным движениям багра. Тихон не боялся подступать к самым коварным ловушкам, где с вызовом ревел водоворот. В бронзовых от загара мышцах сплавщика поигрывала недюжинная сила.

Отец уступал Тихону в силе, а еще больше в смелости. По бревнам он крался с опаскою, долго в воду глядеть страшился: с войны у него кружилась голова. Когда последний кряж скрылся в волнах, они передохнули, похлопали себя по ляжкам, чтобы разогреться, и сильными бросками поплыли на ту сторону.

— Федорка, догоня-а-ай!

Берега нашего Касаута в белесых кустах дерезы и свечек. Не так-то легко продираться сквозь эти заросли. Дереза, усеянная острыми колючками да густой киноварью недозрелых ягод, сплошь перепутана диким хмелем. Пьяный дурман тошен, горек. Солнце, уже повисшее прямо над лесом, вовсю пригревает его — стоят последние дни бабьего лета. Дурман, настаиваясь на тепле, как бы расплывается по кустам, от него тошно. Свечки попадаются все чаще, набегают они на берег плотными косяками. Ровные их стволы, похожие на стебли диковинного тростника, в коросте шершавых бугорков, в едкой пыльце... И вблизи реки душно, как в малиннике.

Хоть ростом я мал, но на ноги крепок. Да нагрузили меня не по силам. Я с трудом тащил сапоги и ворох грубой одежды, тащил и старался не отстать от течения реки. Она же неизменно перегоняла меня, далеко относя щепки — ориентиры. Противно хлюпала вода под ногами. Лапы шершавых свечек наотмашь били по щекам.

Отец с Тихоном скрылись с глаз сразу же, как очутились на противоположном берегу. Я не хотел отставать от них и знал, что они тоже не хотят отставать от бревен. Река бешено неслась, заглушая голоса птиц.

— Ах ты гадина! — в отчаянии выругался я и швырнул на землю сапоги. Впервые я осознал свою ничтожность в сравнении с рекой и за это оскорбил ее ругательством. Ее, которую любил больше всего на свете! Я сел на камень и заплакал. Мне было горько, что отец с Тихоном оставили меня в этом непролазном лесу, среди зам-

шелых пней, над которыми стлался нудный гуд мошкары. И я не могу угнаться за ними, потому что они навалили на меня кучу своего барахла. Ну ладно, я им покажу! Я буду отдыхать, буду нарочно сидеть тут, пока мне наскучит.

Я прилег на траву, подмостил под голову штаны и, вслушиваясь в неумолчный гуд, закрыл глаза. Сон как-то сразу сморил меня. Приснились мне отец и Тихон — оба голые, но веселые-превеселые. Взвалив на плечи по два огромных бревна, они шагали к хутору, не стесняясь детворы и баб. Но тут откуда ни возьмись выскочил им навстречу, прыгая на одной ноге, полоумный Николка, изловчился и отнял у них бревна. «Эй, лови его, придурка, держи-и! — испугался я, глядя, как Николка прячет бревна в холщовую суму и скалит белые зубы.— Папань, чего вы стоите?!»— рассердился я и проснулся, в страхе озираясь по сторонам.

Лес шумел. Сквозняки гуляли по ущелью. Низко над водою летало воронье, обещая туман. Неуютно... Недаром так парило: похоже, собирается дождь. Я посидел еще немного и пошел к хутору.

У стана огородной бригады до меня донеслись невнятные мужские голоса. Два белых привидения вдруг замахали впереди руками. Я даже испугался, шмыгнул за куст шиповника. Привидения выскочили из кукурузного поля, и у меня отлегло от сердца: они!

— Я тебе покажу, как прятаться! — закричал отец. Мелкая дрожь сводила коленки. У него зуб на зуб не попадал от холода.— Вылазь!

— Где ты проп-падал? — допытывался Тихон.— Кислицы небось лопал. Их в лесу полно.

Успокоившись, они оделись и повели меня к перекату посмотреть добычу. Два десятка ровных бревен золотым косяком улеглись на отмели. На отшлифованных камнями боках пылали последние отблески солнца. Под бревна с тихим журчанием бежала вода.

— Дом! Готовый дом!

Тихон прилег на землю и, раскинув руки, бездумно глядел ввысь, где росли, темнели облака. Я недоумевал: неужели бревна способны вызвать у взрослых прилив такого счастья? Чудно как-то. Хороший дом, вкусная еда, новая одежда — это и есть настоящее счастье? Тогда почему хочется мне чего-то другого и лучшего, почему я верю во встречу с ним?

А Тихон лежит, и серые глаза излучают радость. У взрослых какое-то свое счастье, думал я. Вот у Тихона оно почти сбылось. Сбылось!

Ночью отец спал богатырским сном, а перед утром им овладело тягостное беспокойство. Метался он по кровати, стонал, кого-то призывал на помощь. Проснувшись, на цыпочках подкрался к окну. К стеклам жалась липкая темь. С улицы доносился неясный шум, бульканье, жалобный скрип калитки... Спросонья он долго не мог догадаться, что это, а когда догадался, засуетился, засновал по комнате, раскидывая ногами пустые ведра.

— Мать, проснись... Дождь! Где мои штаны?

Фронтовые суконные галифе его висели на спинке стула, он много раз хватался за нее руками, заглядывал под кровать и вдруг заорал, затряс кулаками:

— Где, говорю, штаны?!

— На спинке,— с деланным спокойствием ответила мать. В глубоких зрачках ее разрастался испуг.— Успокойся, Максим... Дождь вроде маленький.

— Уплывут! — хрипел отец.— Все пропало... Разбуди Федорку!

Будить меня нечего: от такого переполоха и глухой пробудится.

— Одевайся! Брусья спасать!

— Простынет,— заволновалась мать.— Одевайся потеплее... Да мешок на голову накинь.— Бледная, с запавшими темными глазами, она старалась не выдавать своего беспокойства, говорила намеренно тихим голосом.

— Идем! Идем! — поторапливал отец.

Тлеют огоньки окон в мутной пелене дождя. Заходим за Тихоном. Втроем шлепаем по лужам, не разбирая дороги. Бежим друг за другом. Молчим. Что же там, впереди?

Среди леса тускло замерцала вода. Блеск ее напомнил чешую рыбы, распластанной во мгле. Река глухо ворочала камни, стонала вблизи раненым зверем, с размаху ударяла чем-то литым и тяжелым в берега, и было слышно, как рушатся в воду камни, оседает подмытая земля.

Тихон, сгорбившись, снял шапку:

— Дальше не пойдем.

Он присел на корточки и неотрывно глядел перед собой... Близилось утро. От реки тянуло теплом большого

ливня. Мелькали над водою и тут же пропадали какие-то темные тени. Как призраки бревен.

— Чего раскис... Вставай!

Отец тащил его за рукав фуфайки, Тихон упирался, поскрипывал зубами.

— Не пойду!

— Вдруг они еще держатся. Дурак... Спасем!

Никто из нас не верил, что бревна остались на мели. И все же крохотная надежда, теплившаяся где-то в груди у каждого и ободренная горячим: «Спасем!» — заставила нас побежать к перекату. Ум заранее подсказывал: бревна смыло, ноги же знали свое — бежали.

Тяжело дыша, прорвались через болото к перекату. В глаза метнулось полноводное мерцание потока. Переката и в помине не было.

Тихон держал в руке мокрую шапку. По его волосам стекали на траву струйки дождя. Он ничего не слышал, кроме несокрушимого рева реки.

— Зачем? — вслух спросил Тихон.— Или судьба у меня такая?

Мне стало страшно от его вопроса, как бы обращенного к равнодушно гудящему Касауту, и я осторожно дотронулся до плеча Тихона:

— Бросьте, дядь... Все одно краденые. Не жалко.

— Брешешь, Федорка, еще как жалко! И не краденые они. Наши, кровные! Мы их сплавляли, мы работали! Дождь... Эх, сволочь, что натворил! Гляди-ка: берега поразмывал... березку, вон там росла, с корешком вымыло...

— Эти уплыли, другие приплывут,— убежденно заявил я.— Впереди дождей — ого сколько! Прорвут запань.

Тихон невесело улыбнулся.

— Жди, надейся... Удача, малец, как девка. Проворонил ее — больше не обнимешь. Она го-ордая!

Он напялил на голову набухшую от воды шапку, повернулся спиной к реке и молча зашагал к хутору. Мы с отцом поволоклись за ним следом.

В тот же день о неудачном лесосплаве прослышал Васек. Он обул сапоги, накинул на плечи черный полушубок с побитым молью барашковым воротником и в таком виде явился к мужу своей сестры повздыхать об уплывших брусьях. Несколько мгновений он чувствовал себя неловко, как случайно забредший в чужой дом человек. Васек

сидел на лавке, вздыхал, разглядывал голенища своих новых сапог.

— Сапоги у тебя мировые,— чтобы не молчать, сказал Тихон.

Но это были слова, которых ждал Васек. Начало крупной сделки было положено, теперь нужно сучить и не обрывать тонкую пряжу беседы.

— Я недавно видал красотку,— сказал Васек.— Туфли у нее новые, а чулки — дырка на дырке. Так и у меня: сапоги блестят, а костюм на теле латаный-перелатаный.

— Нашел о чем горевать. Лучше носить лапти, но жить в большом доме.

— А по-моему, важно на людях покрасоваться.

— Давай, давай,— усмехнулся Тихон.— Мели, Емеля,— твоя неделя.

— Нет, ты послухай! — горячился Васек.— Иду я в суконном костюме, в кармашке — белый платочек, как у завклуба. Выглядывает. Люди замечают и кланяются, навроде я председатель: «Доброго здоровьица, Василь Михайлович! Как спалось-вставалось?» Сам милиционер увидит меня в такой одёже, удивится — и под козырек. А так он и глядеть не хочет. Разве когда нашухарю.

— Пустое... За хороший дом я отдам все барахло.

— Так и отдашь? — В хитрых Васьковых зрачках поигрывают темные бесенята.

— А ты думал! Бери мой костюм, корову, картошку! Выгребай буряки. Давай обменяемся хатами.

Шурин притворно морщит лоб, как бы обдумывая предложение зятя, но уже все у него в мыслях продумано, все загодя разложено по полочкам. Знал Васек, что Тихон клюнет на эту приманку, за тем и пришел. Потому и завел мутную беседку про суконный костюм да белый платочек.

— Что? Боишься? — иронизирует Тихон.

— Это дело обмозговать нужно. С жару с пылу нельзя. Человек ты хитрый, увертливый. А вдруг на обман клонишь?

Тихон смеется:

— То-то, поджал хвост! А то мелешь пустое.

— У тебя брусья уплыли,— опять вздыхает Васек.— Дом строить без них трудно.

Он попросил Тихона достать из сундука черный выходной костюм — примерить.

— Примеряй, шуряк, примеряй,— загорался тайной

надеждою Тихон, открывая сундук.— Сукно — первый сорт! У цыган к свадьбе покупал.

Костюм Ваську понравился, и они пошли к его матери сообщить о своем намерении обменяться хатами. Васек вышагивал степенно, важно и уже воображал, как он появится перед народом в костюме и при новой фуражке с лакированным козырьком. На улице он предупредительно поддерживал зятя под локоть.

— Не споткнись... Тут одна бабка растянулась, чуть не померла. Прямо затылком об кочку, так глазищи и завела. Водой ее отливали.

А в мозгу веселым, плутоватым чертиком носилась захватывающая душу мысль: «Поменяемся, затек, поменяемся! И чего бы нам не поменяться!» С матушкой он обо всем договорился и просил не мешать ему в тонкой сделке.

— Проходи, сынок,— ласково встречала Тихона теща, по прозванию Костенчиха.— Давненько ты к нам не заглядывал, голубок ясный...

— Да все некогда, мамаша... Дела!

Костенчиха подала на стол борщ в алюминиевых чашках, большими ломтями нарезала хлеба. Дух разварившейся капусты с лавровым листом возбуждал аппетит. Тихон сел, по-домашнему потянулся за глубокой деревянной ложкой.

— Угощайся. Чем богаты, тем и рады.

От речей ее, ласковых и добрых, оттаивала у Тихона душа. Хорошо, однако, что рядом живут родичи, свои люди. Вот и Васек, на что баламут несусветный, а сердце у него ласковое, чужую беду чует...

— А у него брусья уплыли,— сказал Васек.

— Ай-яй-яй! — Костенчиха жалостно покачала маленькой седой головкой и перекрестилась на икону, освещенную в углу бледным светом лампадки.

— Уплыли,— горевал Тихон.

— Надо помочь ему... Вот поладили обменяться хатами.

На лице Костенчихи — деланное недоумение. Скрестив на животе сухие руки, она покорно выслушала условия договора, пропела:

— Сынки! Делайте, как вам лучше. А переселимся в апреле. Осенью не к спеху: дровишки надо поколоть, капусту покрошить, да мало ли забот всяких! А зимой морозно канителиться...

Тихон согласился. Он сказал, что в апреле отдаст ко-

рову, две тонны картошки, костюм и фуражку. Но пускай это у него побудет до апреля, особенно корова. Дети его, можно сказать, на молоке и растут, а Васек с мамашей могут обойтись и без него, потому как взрослые.

— Тиша, мы много не попьем, не пиявки ведь,— сказала мамаша.— Зимой молоко вкусное, ты уж уважь. Мы рази не люди, не хотим есть...

Тихон сказал, что по этому щекотливому вопросу нужно бы обратиться за разъяснением в Совет или к юристу. Будет вернее, если они закрепят договор справками, на которых бы стояли круглые печати и подписи умных людей.

Костенчиха воздела худые руки к потолку:

— Сынки! Что о нас подумают соседи! Чи мы враги себе?!

Умела мамаша играть на чувствах, покоряла Тихона святой невинностью лица. Мягким, грудным голосом брала за живое.

— Ладно, до апреля молоко пьем колхозом, а вещи полежат у меня.

Костенчиха удовлетворенно закивала головкой, но тут приспичило подать голос Ваську:

— Отдай мне костюм и фуражку. Я в них женюсь.

— Они полежат в моем сундуке,— упирался Тихон.

Васек же объяснил, что костюм от долгого лежания в затхлости точит моль. От моли нету никакого спасу. Ученые хоть и умники, да не придумали особого порошка. А дустом ее не выведешь. Так говорили ему на ростовском базаре, когда он продавал картошку. Городские уж знают... И можно быть уверенным, что Тихон тайком не наденет костюма? Не надо за это ручаться.

Убитый доводами шурина, Тихон согласился и на эту уступку, подумав себе в утешение: «А правда, вдруг одежу пожрет моль! Что мне — другую покупать?»

Они ударили по рукам, и мамаша откланялась:

— Ну, договаривайтесь сами. Не стану вам мешать.

С того дня Тихон перестал думать о строительстве нового дома. По вечерам он выходил с Еленой на улицу, усаживался поудобнее на завалинку и глядел из-под ладони на дом тещи, воображая, как счастливо заживут они с малыми ребятами под шиферной крышей, в просторных комнатах с высокими потолками.

— Лен, а Лен... В большой зал мы люстру повесим,—

рассуждал он вслух.— Стеклянную. У председателя такая висит. А что мы, хуже? Если ее качнуть, она и звенит...

— А пе-печку выбросим,— мечтала и Елена.— П-плитку поставим.— С малолетства она заикалась с испугу: в молодости шумливая была матушка, кого хочешь перепугивала насмерть.— Я тебя, Тиша, всего отмою в м-мамкиной хате. Б-будет у нас ч-чисто!

Между тем Васек шиковал в костюме, и часто марушане слышали громкие да разгульные песни его. Гулял Васек напропалую. Люди удивлялись: и чему веселится человек, променявший дворец на развалюху? Ему бы больше приличествовали поминки.

Потом стали поговаривать, что Васек из-за нового костюма вообразил себя пупом земли, завел знакомство с доярками ближней фермы и кутит у них — дым столбом, деньги по ветру. Но к весне на коленях новых брюк, некогда поражавших воображение девчат, протерлись дырки, а фуражечку Васек потерял в драке с соперниками. Ухажерский пыл пошел на убыль. Тем временем Костенчиха взяла у Тихона две тонны картошки и сдала в потребительскую кооперацию.

Томительно тянулись последние дни. Стучало сердце от предчувствия новой жизни, и по ночам не спалось, и хотелось Тихону совершить что-то хорошее во имя Костенчихи, во имя всех добрых людей.

И вот настало первое апреля. В теплом воздухе щебетали птицы, мычание коров по-весеннему долго колыхалось над улицей, с гулким стуком разбивались о землю прозрачные сосульки... Весна!

Тихон сбегал в магазин, купил «Столичной» да еще «Беломору».

— Что, переселяешься?— поинтересовалась продавщица Глафира. Любопытная она и не в меру прилипчивая. Но сегодня душа у Тихона была мягкой, приветливой.

— Пора! — воскликнул Тихон и легко сбежал по обшарпанным ступенькам.— Приходи на новоселье! — уже крикнул издали.

— Приду! — пообещала Глафира.— А Ленка не приревнует? Я, Тиша, когда выпью, за себя не в ответе! Дюже на вас падкая!

— В такой день все спишется! — в тон ей отозвался Тихон.— До встречи, Глафира Ивановна!

Не помнил, как подошел к тещиному дому, ноги сами поднесли.

— Проходи, сынок, проходи,— говорила Костенчиха, расстилая перед ним зеленую домотканую дорожку.

Тихон отдышался, обвел взглядом комнату. Солнечные зайчики прыгали по ажурным занавескам, скользили по подоконнику. Черный кот умывался на нем, прихорашивался — к гостям.

— Ну, мамаша, дождались! Апрель!

Васек, кудлатый, бледный со вчерашнего перепоя, свесил босые ноги с печки, поболтал ими перед Тихоном.

— Апрель — никому не верь. Есть такая присказка, слыхал?

— Что-то я вас не пойму,— опешил Тихон.

Теща расстелила дорожку, выпрямившись, заохала:

— Спина ноет, поедом ест... Порешили мы, Тиша, не трясти косточки по чужим углам.

— Так Елена для вас чужая?

— Своя, а все ж черенок... Отрезанный. Привился на другой ветке... Ох, господи! Радикулит проклятый!

Костенчиха хваталась за поясницу, припадала то на один, то на другой бок и так ходила, охая, изливая всевышнему жалобы на болезни. Слова ее пролетали мимо сознания Тихона. Он стоял на середине комнаты с бутылкой водки, и по лицу его ползли белые пятна. С той поры, как он женился на Елене, характер у него стал еще мягче, покладистее, чем был. Любому угождал Тихон. Все надеялся: когда-то вспомнят его доброту, при случае помогут в беде. Только навеселе, после изрядной дозы хмельного, смелел он, становился самим собою. В порыве откровенности грохал кулаком по столу, кричал:

— Пьем! Целуемся! Все братья, все друзья! А протрезвеем — опять за свое? Поздороваться забываем... Эх, люди!

И сейчас он чувствовал: не вынесет, не сдержится. Нельзя прощать им подлости, нельзя! С ненавистью уставясь в угол, где под иконой богоматери застыла теща, Тихон выдавил:

— Сволочи... Обнадежили.

Он страшно взмахнул над собой бутылкой и шмякнул ее об пол. Склянки так и брызнули.

Зеленоватые глаза Костенчихи, потемнев, сузились в щелки.

— Бутылки бьешь, пол гадишь,— процедила она сквозь зубы.— Так, зятек... Тобою пол постелен, что ли? Чтоб твоей ноги тут не было!

Васек тряс кудлами, дергался на печи от хохота, показывал на дверь:

— Катись бубликом, воробей залетный! Пол водкой помыл, доказал! Не дал и опохмелиться...

Как в тумане Тихон вышел на улицу. «Апрель — никому не верь!» — отдалось в ушах.

Весна. Распускаются на ветках клейкие зеленые листочки, бело-розовым светом вспыхивают в садах абрикосы, тянутся к солнцу побеги картошки...

Очутился Тихон в горячую строительную пору, как брус на недоступной мели, оставленный течением,— без движения, без надежды как-то вырваться из ловушки. Река жизни неслась мимо Тихона: он чувствовал ее, вот она была почти рядом. Немного подайся вперед, и закружит, захлестнет тебя в буйном водовороте, окатит шумливой волной, и всем существом ты почувствуешь неукротимый бег реки. Да недоставало силенок сдвинуться с места.

Однажды ночью Тихона осенила идея. Он встал с постели, уселся поудобнее за стол, обмакнул в чернила перо, задумался... Писалось заявление трудно, со скрипом. Тихон мучительно выуживал из своего запаса самые нужные слова, собирал их в предложения, по многу раз перечитывал. Иные ему нравились, иные же он со вздохом вычеркивал и выводил над помарками более подходящие. Нудное это дело — сочинять бумажки. Утром пришел Яков, вдвоем осилили заявление. У Якова почерк красивый, бисерный, многие буквы с завитушками. Он и переписал все набело. Тихон растолкал спящую Елену.

— «Уважаемому тов. Алимову, председателю Совета,— бубнил Тихон над ухом Елены.— Заявление. Значит, такая приключилась оказия. Задумал я поменяться с одним прохвостом хатами. Он тунеядец, вы с ним уже объяснились.

Договорились по-родственному, без всяких там бумажек. Переселение назначили на апрель. Костенчиха подчистую выгребла из моего погреба картошку, а Ваську я с радости отдал костюм стоимостью 90 рублей и фуражку. Цены ее не знаю, потому как нашел ее на дороге. Видать, ветром сдуло с какого проезжего в кузове... Ну, отдал я это честь по чести. Апрель, а они какой крюк забросили? Говорят, кости заломило, по чужим углам не желают скитаться. Ну хорошо, верните все это. Не вертают. Где, спрашивают, документ, что мы тебе задолжали? А я ж не вырожу документа. Мы же по-родственному.

Выходит, тов. Алимов, бумажка с печатью дороже моей честно заработанной картошки? Я из-за этой картошки, можно сказать, горб себе нажил, а они: документ... Получается, если я не запасся паршивой справкой, так и зубы на полку?

И с каких это пор взяли моду дрянной бумажке доверять больше, чем живому человеку? Бывает, один бесчувственный крокодил левой ногой состряпает документ, чего и не было, а ты за него расхлебывай. Прошу верить мне, вас я не обманываю, потому как вы есть лицо при исполнении обязанностей. Если вгорячах написал чего лишнего, покорно извиняюсь. А так не житье. Колхозник пятой бригады Тихон Иванович Бузутов».

Тихон заявление сначала показал мне. Я прочитал его внимательно, от души посмеялся про себя, исправил орфографические ошибки, где надо расставил запятые. Осторожно заметил:

— Дядь Тиша, так документы, наверное, не пишутся. Смешно.

— Почему?

— Не знаю. А смех разбирает.

Тихон спрятал заявление в карман:

— Гляди в корень, грамотей...

Председатель Совета вежливо усадил Тихона в венское кресло, постучал пальцами по толстой, со следами пыли скатерти, углубился в чтение.

— Я внимательным образом ознакомился с содержанием вашей жалобы,— начал он после некоторого раздумья.— Давайте будем откровенными.

— А чего нам скрытничать,— сказал Тихон.

Алимова он знал давно. До того, как избрали его председателем, он работал в колхозе счетоводом. Человек уважительный.

Алимов погладил заявление, расправил завернувшиеся уголки листа и хотел продолжить разговор, но тут на столе затараторил телефон. Председатель снял трубку.

— Слушаю... Да, сегодня у нас совещание политинформаторов, так и передайте. Что? Никаких «но»! Это вам не детский сад.

Ему звонили еще и еще. Тихон скучал. Алимов отвечал на звонки, нервничал, задерживая взгляд на посетителе.

— Значит, будем откровенными,— опять заговорил председатель, воспользовавшись временным затишьем.—

Как человек я вам очень сочувствую. Если хотите, жалею вас!

— Да меня все жалеют,— оживился Тихон.— Ободрал меня шуряк как липку.

Товарищ Алимов отчего-то смутился, долго тер ладонью вспотевшую лысину с кое-где пробивающимися клочками волос. Страдальчески воскликнул:

— Но где же документ? Чем вы докажете, что ваша теща, черт ее дери, облапошила вас?

— Я же писал: надо верить человеку.

— А свидетели у вас есть?

— Нету. Знал бы, где упасть, я бы соломки подмостил...

— Вот видите... А бездумно доверять каждому на слово мы не имеем права. Побудете на моем месте — поймете!

Дело гиблое. Нужен документ, заверенный настоящей печатью. У него нету документа и нету свидетелей, и даже такой хороший человек, как товарищ Алимов, ему не помощник.

— Ну, извиняюсь... В общем, невозможно заарканить этого бугая?

И они расстались, смущенно рассматривая носки своей обуви. Оба испытывали неловкость друг перед другом, словно они только что выяснили между собой отношения и еще не пришли в себя от излишней откровенности.

Из Совета Тихон зашел к моему отцу отвести душу. Сели за стол, пропустили по маленькой.

— Что, бумажка сильнее нас? — допытывался Тихон, заедая горечь соленым огурцом.

— По-всякому бывает,— уклончиво отвечает отец.— Какая бумажка.

И он начинает вспоминать, какие невероятные истории приключались с ним на войне из-за разных бумажек. Служил он первое время связистом при штабе полка и...

Тихон свернул козью ножку, задымил. Приятно ему слушать густой, ровный голос моего отца, много тот знает побасок. Его слегка подзадорь — заговорит до смерти. Странный человек этот Максим! В каких переделках побывал — и в плену его мучили, и потом в лесу на разработках вышибло ему бревном половину зубов, носит он теперь вставные коронки, и дом он своим горбом воздвиг на кургане,— а все ему нипочем!

«Я вот в лес хожу,— бывало, скажет ему мой отец.—

Там кругом чисто, в глазах светло. И думаешь только о деревьях, о ягодах, о зверье... В лесу я что ни на есть счастливый человек!»

И в это, ей-богу, верится.

Дружно похлопывают в плите поленья. Думает Тихон о человеческой несправедливости, с интересом поглядывает на моего младшего брата Петьку. Склонился тот над раскрытой тетрадью, макает перо в чернильницу и скрипит, скрипит им по бумаге. Грамоту постигает, видать, не хочет, чтобы его обманывали, как Тихона.

— Ты в школе учишься,— говорит он Петьке.— В восьмой класс перешел... Вам там не говорят, как быть счастливым?

Петька долго не отвечает, не поймет, шутит ли дядя Тиша или всерьез интересуется.

— Этому нас не учат.

— И все же? — пристает Тихон.— Ты грамотный, должен знать.

Лицо у Петьки становится задумчивым, взгляд серьезным.

— Вы часто плачетесь, дядь Тиша. А это плохо. Надо жить мужественно, как Павка Корчагин. И честно... Вот папанька и сейчас переживают, что сплавляли государственный лес. Они говорят, вам еще повезло, что брусья уплыли: не житье в страхе.

— Не болтай лишнего,— строго обрывает Петьку отец.— Хорошее везенье!

Тихон глубоко затягивается, выпускает изо рта мохнатые кольца дыма. Вот тебе и Петька! Даром что малец, а рассуждает, как взрослый.

— Ну, а ты что скажешь, Федорка? — Тихон устремляет на меня серые свои глаза, затуманенные то ли печалью, то ли табачным дымом.— Ты уже в девятом... Ты больше знаешь!

Как глиняные стены от дождя, рушились задумки Тихона. Стойко вынашивал он обиду на тещу и шурина, при встречах с ними темнел глазами, отворачивался. Тем злее работал он в колхозе (к этому времени его из пастухов перевели в прицепщики), тем упорнее добывал материалы для будущего дома. И дело подвигалось. За пять лет рядом с нашим домом вырос большой, с железными всадниками на крыше дом Тихона. Сердце у него отошло. Теща больше не представлялась ему вместилищем всех грехов, злой ведьмой. О шурине он придерживался снисходительного

мнения, потому как Васек за тунеядство и буйный нрав претерпел с лихвой. Тихон питал к сыну Костенчихи породственному жалостливые чувства.

А в один из июльских дней случился у него праздник. Принаряженная в новую кофту, с загорелыми икрами крепких ног, Елена бегала по хутору, созывала людей на новое подворье. Наступила пора обмазки стен.

Народу прибыло тьма-тьмущая. Явилась Костенчиха, резкая в движениях, но с виду подобревшая. Посреди двора она расцеловала зятя в небритые щеки, повернулась лицом к дому и осенила его крестным знамением.

Елена благодарно глядела в затылок матушки, увенчанный узелком серо-пепельных волос, и улыбалась. Пришел Васек. Через плечо у него была перекинута тульская гармошка. Он снял ее проворно, с ходу нажал на пуговки. По двору, уставленному пока еще пустыми столами, хриплыми, басовитыми волнами побежала музыка. Мехи у гармошки прохудились, потому и хрипела.

В такт мелодии Васек покачивался на стоптанных каблуках, зазывно подмигивая молодухам, а то вдруг кочетом выхаживал по кругу. Тихон хлопал в ладоши, подзадоривал:

— Играй, шуряк, не жалей басов!

Явился с Яковом и его старший брат флегматичный Федор. В колхозе он звеньевым и дорожит этой должностью. Покойный папаша, пухом ему земля, всю жизнь потел в рядовых, и Яков рядовой, а Федора повысили. Вот бы встал папаша да посмотрел!

Федор мужик солидный. На макушке имеет плешь, а в кармане пиджака блокнот в красной обложке и автоматический карандаш. Выпятив живот, стоял у ямы с замесом глины и покачивал головой: Васек выписывал ногами невозможные кренделя. Заметив Федора, он пустился к нему вприсядку и, выламываясь, запел дурашливо:

Ой, начальник, запевай,
Сколько хватит голосу!
Про защиту урожая,
Про лесную полосу!

Издевался Васек над серьезностью Федора. И звеньевой почувствовал это. Отступая в толпу, пробормотал:

— Сгинь, баламут...

Бабы подоткнули цветастые подолы и принялись звонкими шлепками мазать стены. Живым муравейником за-

кипел двор, развеселым парнем-рубахой заюлил среди девчат Васек. Кидались они от него врассыпную, подымая визг, гам... Потом он уселся на понурую кобылу, загнал ее по брюхо в яму и, нашлепывая по бокам, разъезжал по кругу, месил глину.

Деловито пыхтя и тужась, Федор выкидывал из ямы желто-коричневое месиво и все поглядывал в карман, откуда поблескивала металлическая головка карандаша. Федор опасался, как бы он ненароком не выскочил, плохая это примета.

Вечером Тихон взошел на перевернутую вверх дном бочку и подпер руку в боки. Народ затих.

— Дорогие мои гостечки! — Тихон обвел взглядом вдохновенные, в глине, лица.— Помощнички! Пускай она теперь сохнет и продувается, а мы за ее сухость выпьем. Чтоб не было никакой мокроты!

Бабы загалдели, мужики многозначительно переглянулись.

— Обмывайтесь, гостечки!

Тихон спрыгнул с бочки. Этот дом его. Он теперь — хозяин! А ну посторонись, земелюшка! Видишь, кто идет: *Тихон!*

И началось великое пиршество во дворе. Хлебали мясные щи и бульоны, наворачивали расписными ложками обжигающую лапшу с курятиной, самогон глушили кружками.

Костенчиха впрямь неистовствовала:

— Люди добрые! Каждая мать желает деткам добра! Леночка! Тиша! Живите с богом. Я вам зла не желаю.

— И выпивки чтоб было поболе! — в запальчивости вставил Васек.— Пускай ваша бутыль никогда не высыхает!

— Главное — воспитайте сына,— наставлял хозяев мой отец.— Выучится, пойдет в армию, будет хорошим солдатом.

Федор советовал:

— Не оказывай в пьяном виде дурости. Язык держи за зубами. Родня родней или товарищ задушевный, а не доверяй. Чужая душа потемки.

Костенчиха поняла это как намек, перебила:

— Федька, нудно ты говоришь... Лучше б он не таил на людей обиду. Все люди грешные, и не прощать им — самый великий грех.

— Погодь, тетка! — Федор даже руками замахал.— Дай культурно высказаться.

Но и тут перебили нерасторопного Федора. Осекся он и больше не порывался высказываться. Обиделся. Не по должности оборвали.

— Поболе давай взаймы! — заорал Васек.— И не будет в друзьях недостачи. Хочешь познакомиться с дальней родней — будь богатым!

— Губа не дура,— усмехнулся мой отец.

— Ты это... белой краски с олифой купи,— советовал Сагайдак, бывший мельник. Он и дом у Тихона строил. Настилал полы, делал наличники.— Веселый цвет — белый! От него вроде шире дом делается. Ты это... купи белой.

Захмелевший и добренький, как ангел, Тихон после каждого тоста-пожелания согласно кивал русой головой, приговаривал:

— Ладно, чего там! Буду стараться...

— Не жадничай,— опять поучала мамаша.— Все одно отнесут на могилки. А там все равные.

— Неправда! — живо возразил Васек.— Над одним крест деревянный, гнилой, а над другим — каменный памятник, да еще с фотокарточкой. Насмотрелся я на памятники. В городах их пруд пруди!

Пошли разговоры, конца им не видно. Пьют, гуляют марушане.

Васек заиграл гопак. Из-за стола, вся раскрасневшаяся, пьяная, стремительно выскочила Костенчиха, поигрывая на воздухе худыми плечами. Откуда что и взялось... Неуловимым движением рук она сорвала с волос сиреневую косынку с кружевной дымчатой окаемкой и пошла-понеслась приплясывать. Дробно топала каблуками, давно забывшими буйную пляску, томно улыбалась отцу моему, язва старая, и кричала:

Выйду, выйду я плясать
В новеньких ботиночках!
Все ребята говорят,
Что я как картиночка!

Плыло над Костенчихой сиреневое пламя косынки, вовсю наяривала гармошка Васька, и всем было весело. Мужики отпускали шуточки:

— Сними с потолка гроб — ищи кавалера! Еще помирать рано!

— Давай поженимся, старая ведьма!

Обессиленная, разгоряченная, Костенчиха задохнулась от грудного хохота, от пылкого, как огонь, гопака.

— Жить еще можна! Можна!

Чернело над нею огромное, в золотых крапинках небо, в летучих облаках. Чувствовала она себя легкой, безгрешной, будто она вновь на белый свет народилась. И плыла, плыла... В душе не осталось ничего плохого. Захотелось ей взмыть к тем облакам, к звездам. Но, вспомнив, сколько мук принесла она родной дочери-кровинушке и ее непутевому мужу, Костенчиха среди танца вдруг залилась обильными бабьими слезами. Она пошатнулась и чуть было не упала, но вовремя подоспел Тихон и поддержал ее.

— Тиша, ох, плутовка я старая. Черту душу запродала... Черту! Прости, Тиша...

— За что прощать-то? — бормотал Тихон, наливая в стакан квасу из бочонка.— Остудитесь, мамаша. Разгорячились вы.

Застолье до зари продолжалось.

В конце октября мой отец получил из Москвы письмо от Петьки. Он молодец, далеко пойдет. Учился Петька уже на втором курсе горного института. Старался вытянуть на повышенную, чтобы не разорять отца, да не удалось. Срезался на английском, получил четверку. Но отец и этому рад: хорошо учится Петька, а это тебе не школа — институт!

«А в Москве,— с тревогой сообщал Петька,— снег. Хожу я на лекции в плаще, и, право, совестно перед другими. У них пальто со всякими там каракулевыми воротниками, пушистые шапки и кожаные рукавицы. Вы уж, папань, подбросьте чего-нибудь на пальто, должок будет за мною».

— Нужен мне твой должок,— выговаривал отец.— Лучше скажи: где взять денег? Поистратились мы на днях с матерью. Да и Федорке вчера послали, тоже ведь учится... А написал бы пораньше. Откуда я знаю, что снега у вас на севере ложатся в октябре?..

Думал, думал он, где бы разжиться деньгами, ничего путного так и не придумал. Вот напасть.

— Ступайте к Тихону,— посоветовал Яков.— Он вчера премию за свеклу получил. Две сотенки.

Елена впустила отца в комнату, усадила за стол.

Полнела она приметно от хорошей жизни, румянец цвел на щеках, груди наливались туго. На белой шее горьмя горели мониста.

Тихон отдыхал на плюшевом диване.

— По делу я к тебе,— смущенно заговорил отец.— Петька письмо прислал. Просит деньжат. Снег там выпал, понимаешь, а у него пальта нету.

— Сколько? — Тихон с готовностью привстал с дивана.

— Полторы сотни хватит.

Тихон молча прошел в большую комнату, что-то там делал, шелестел бумажками.

— Бери,— вернувшись, сказал он и вложил стопку десятирублевок в руки отца.— Для сынков твоих не жалко. Пожалуй, министрами будут!

Потеплело в груди у отца. Подельчивый у него сосед. Ни в чем не откажет, всегда выручит.

— Спасибо, Тиша.

Встал, собрался уходить на почту, телеграфный перевод отсылать.

— Э, постой! — задержал его Тихон.— А расписочку?

Отец в недоумении повернулся к соседу, спросил осевшим голосом:

— Какую расписочку?

— Что ты мне задолжал.

— На что?

— Документ!.. С ним надежнее.

Взорвался отец:

— Да за кого ты меня принимаешь! За холуя?! Бери свои деньги, соли!

Налился гневом, швырнул смятые десятирублевки на стол — и к выходу. Тяжело скрипнули под ним ступеньки крыльца.

«А, черт, неловко! Болтают: документы, документы... Когда они есть, уже никто не обманет... А тут живой человек, сосед. Попробуй разберись! Ну, погодь, Федор, я тебя отучу советовать! Я тебе покажу! Больше отпадет охота умничать»,— мысленно ругал Тихон звеньевого. Он зажал в кулаке деньги, выскочил во двор. У калитки настиг отца:

— Ты что, взбесился? Возьми!

Отец посмотрел на него колючим и каким-то чужим взглядом. Будто окатил ледяной водой.

Тихон дышал горячо, отрывисто:

— Да пойми, запутался я!.. Ну помнишь, с обменом

как вышло? Теперь самому себе не веришь. А ты обиделся! — Тихон оправдывался неумело, но врать не врал.— Учат жить, долдонят: никому не верь. Один раз, мол, уже поверил... Бери их, Максим. Христом-богом прошу, бери! А не то порву к ядреной бабушке!

Отец взял. Неприятно было, но взял. Пожалел он Тихона. Стоял тот перед ним бледный, растерянный, со взъерошенным на холодном ветру чубом... И еще, как представил себе отец, что так можно и потерять давнего своего друга, сразу и простил. Во всем этом не один ведь Тихон виноват. Сколько его обижали другие, теперь он и страхуется.

— Вредно жить неверующим Фомой,— стыдливо выговаривал ему отец, выходя на улицу.— Человек без веры в других — камень.

Тихон остался во дворе. Прислонился спиной к забору. Отчего-то вспомнился ему юный, весь в золотых веснушках, Петька за раскрытой тетрадкой, потом — тускло мерцающие волны на перекате, где были брусья, веселая гулянка по случаю обмазки дома... Больно сжалось сердце. Тихон встряхнулся, медленными шагами побрел к крыльцу.

СИНИЕ СКАЛЫ

Уплыли тогда у нас брусья в Кубань, но отец не переставал мечтать о сосновых полах в доме.

Еще окна в нашей хате не налились сиреневым светом и звезды не остудились на небе от знобкого предутреннего холодка, а отец уже на ногах. В сумраке ходит-бродит по комнате, гулко гремит сапогами, что-то бормочет себе под нос и нещадно дымит злым, забористым самосадом. Я уже пробудился от его шума, но лежу под теплым одеялом без движения, без признаков жизни. Дым вонючего турецкого табака до слез щекочет мне ноздри, и я креплюсь, чтобы не чихнуть, из боязни напомнить о себе. Мне лень вставать с угретой печи, где сладко пахнет печеными яблоками, что томятся в углу под дерюгой. Но я знаю: волей-неволей вставать придется. Не догадаюсь сам подняться — отец живо с печи стащит. Сегодня с ним мы едем в горы за брусьями, далеко-далеко, по старой опасной дороге...

Бело, льдисто вспыхивают в темной синеве звезды; я

гляжу на них, и меня пронизывает ощущение холода и неприкаянности. Я представляю себе, как мы будем ехать с отцом на скрипящей бричке по глухому, безлюдному ущелью — вдвоем, среди настороженной тишины леса, в окружении молчаливых гор, дышащих студеным туманом. Одиноко, неприютно, тревожно... И будет дрема неотступно преследовать нас, пока не взойдет над ущельем солнце и не растопит в своих лучах космы тумана.

И мать уже встала. В длинной белой рубашке, с расплескавшимися по плечам волосами прошлась босиком по земляному полу, нащупала в печурке лампу с блеснувшим во тьме пузырем, взяла ее и поставила на стол. Чиркнула о коробок спичкой, поднесла в дрожащих ладонях желтоватый язычок огня к фитилю. Пламя, смятенно всколыхнув тени, качнулось вправо-влево и замерло в ровном горении. Мать надела на горелку пузырь. В комнате попросторнело, на потолке образовался спокойный круг света. Затем она, зябко поеживаясь от нахолодавшего в доме воздуха, накинула на плечи шерстяной платок и тихо спросила:

— Ты уже собрался?

— Вас бы ждал! — сердито и намеренно громко проворчал из сеней отец. Он всегда был сердит и не в меру суетлив, собираясь на какое-нибудь важное дело. В такие минуты отцу почему-то казалось, что мы с матерью совсем безучастны к его заботам и помогаем ему не по доброй воле. Может быть, в этом он и прав по отношению ко мне, но только не к матери. Засновала, забегала она по комнате, подсобляя ему собирать вещи и наше пропитание в большой полосатый чувал с суровой завязкой на конце.

— Не забудь пилу,— хлопотала мать.— Без нее намучитесь... А хлеб? Взял хлеб? Я его на лавку с вечера положила.

— Хлебушек в чувале.— Отец заметно добрел, смягчался сердцем, чувствуя ее трогательную и нежную заботу, глядя, как она бережно укладывала обернутые в бумагу яйца, сваренные вкрутую, как ловко перехватывала веревкой сумку с душистыми яблоками и стеклянной банкой, полной желтоватого сливочного масла.— Не знаю, брать ли помидоры,— говорил он с ожиданием ее совета.

— Берите! — немедля и горячо произнесла мать.—

Дорога длинная, вдруг где задержитесь... Человек предполагает, а бог располагает.

Я не помню, чтобы она когда-нибудь молилась перед иконой богоматери, которая с незапамятных дней смиренно глядит из красного угла своими скорбными, печальными глазами. В раннем детстве я не выносил этого взгляда, пристального и укоряющего, и старался не смотреть на икону. И мать тоже почти не замечала ее. Иногда она равнодушно смахивала тряпкой пыль с потускнелой позолоты оклада и опять надолго забывала об иконе. И теперь про бога мать вспомнила на всякий случай: ведь нам предстоит трудная дорога.

— А плащи! — обеспокоилась она.— Где плащи?

— Не бойсь, плащи-то мы не оставим.

Теплится огонь в пузыре, уютный, ласковый... Еще бы вздремнуть часок-другой на печи, под хлопотливый говорок матери и отца. Но ощущение стыда перед ними перебивает во мне желание сна. Я сбрасываю с себя одеяло, прыгаю на пол. Земля холодит ступни ног, дрожь пробегает по телу, и я тороплюсь поскорее сунуть ноги в шерстяные носки.

Дорога к Синим скалам! Я уже знаю, какая она коварная, чем грозит нам. От одной мысли о ней делается не по себе, и свет звезд, льющийся из глубины неба, теперь какой-то ожесточенно-суровый. Или это мне только кажется?.. Дались отцу брусья. Я не хочу ехать за ними к Синим скалам. И не нужен мне сосновый пол, который потом отец настелет в спальне. Проживем, не потужим и на земляном полу.

— Федорка, пойдем топор ладить,— говорит отец.

Серые глаза его из-под кустистых русых бровей глядят на меня строго, пытливо и будто спрашивают: «Ну что ты, уже очнулся? Или еще спишь на ходу?» В руках отца синевато-белой сталью отливает топор. Им он много свалил на своем веку широкоохватных дубов и сосен. Еще до войны с фашистами отец орудовал в наших лесах с этим звонким и легким топором, заготовляя лес для колхозных строек. Уходя на фронт, он обмазал его солидолом, обернул в тряпицу и тайком спрятал на потолке у боровка.

Вслед за отцом я иду в сумрачный огород, к ольховому плетню, затянутому жесткой крапивой. На дворе студено. Запредельным сном спит хутор, притушив огоньки в окнах. Тишина... Сослепу, еще не привыкнув к темноте,

я натыкаюсь на каменный круг точила, нащупываю холодную ребристую ручку и начинаю вращать круг, плеснув на него воды из ведерка.

— Поплавнее крути,— наставляет меня отец, приноравливаясь к вращению круга.— Спешить некуда.

Я сбавляю пыл, отец прикладывает блестящую щеку топора к бесконечно бегущей темной дорожке точила, слегка нажимает, давит на круг. В предутренней тишине резок, пронзителен металлический визг, и слышно, как где-то в саду вздрагивают, звенят листья на яблонях... Очнулась от сладкой и тяжкой дремы собака у соседа, встряхнулась, зазвенела цепью, недовольно взлаяла в ночь и затихла, очевидно сообразив, в чем дело. Закряхтел в закуте кабан, ему оставалось жить месяца два, не больше,— до Октябрьских праздников. Ожиревший, сонный, он недовольно потерся боком о стенку, взвизгнул в тон точилу и присмирел. На высоком нашесте судорожно всхлипнули куры, ударили раз и другой крыльями. И опять все погрузилось в томительное, изнемогающее забытье. Лишь точило, как бы жалуясь на кого-то, однообразно исторгает свои звуки, изредка озаряясь холодным светом искр, косо вылетающих из-под топора.

А вокруг на сотни верст покой и сон!.. Все спит: трава и подсолнухи, деревья и люди. И даже ветерок, чуть шевеля обомлевшими листьями крапивы, готов стихнуть надолго.

В одном нашем доме суматошно: свет от окон двумя зыбкими желтыми квадратами падает во двор, двери в сени открыты настежь, и видно, как мать неспокойной тенью мелькает за занавесками. И мы с отцом бодрствуем у точила. Лет шесть назад, когда я ходил еще в четвертый класс, бывало, отец будил меня спозаранку, до петухов, и я, чуть не плача, думал: «Вот стану большим, уж тогда отосплюсь! Хорошо быть взрослым: никому не подчиняйся, никто тебя не будит... И зачем люди сперва бывают маленькими?» Но теперь я не спрашиваю себя об этом, я уже знаю, почему люди сначала маленькие. Я знай себе кручу точило и незаметно для отца пытаюсь вздремнуть.

— Готово! — обрадованно роняет отец.

Я от неожиданности вздрагиваю и ловлю себя на мысли, что мне все-таки удалось прикорнуть за работой. Отец удовлетворенно пришлепывает ладонью по топору, пробует пальцем остроту наведенного жала и, разминая онемевшую спину, направляется к хате. Я бреду за ним, пу-

таясь в вялой картофельной ботве, в беспорядке раскиданной по вскопанной земле.

И вот мы выходим на улицу, еще окутанную темно-фиолетовой предрассветной мглой. Отец, в зимней фуфайке, в мятой шапке с отвислыми ушами, с большим чувалом за спиной, оборачивается к матери, остановившейся у ворот, и бодро говорит:

— Ну, это... мы поехали. За кабаном присматривай.

— Да уж знаю! — отмахнулась мать.— Ты уж там за Федоркой получше гляди. В горах холода, как бы сгоряча не простудился. Он у нас суматошный какой-то.— Она отстранилась от ворот, в голосе ее прозвучало беспокойство: — Слышь, Федорка? Не горячись, не балуй там... среди пропастей!

— Не маленький,— сказал отец.

— С него все сбудется. Дитя еще...

— Ладно, мам,— говорю я, уязвленный ее недоверием ко мне.— Мы пошли.

Дорога начинается сразу за хутором. Здесь она послушная, тихая, в седых пыльных былках чахлого бурьяна. Едешь по ней вдоль ущелья час, два, и она почти не дает о себе знать, покорно ложится под колеса, душно пылит сзади. Но не настраивайся на спокойную езду, не будь благодушен: дорога еще покажет свой крутой нрав, и нужно быть заранее готовым к ее суровым, злым шуткам.

Мы держимся правее, чтобы не взбивать пыль. Мокрая от росы трава холодит сапоги. С реки, что шумит вблизи, потягивает запахом студеной воды, который мешается со стойким ароматом луговых цветов и сметенного в стога сена. Свежо и остро пахнет землей. Как-то сама собой спадает с меня сонная одурь, и я уже иду широким, размашистым шагом, незаметно оставляя позади себя отца. Он спешит вдогонку за мной: слышно, как звякает котелок, привязанный у него к поясу.

Скоро мы круто сворачиваем влево, на неясный силуэт полевого стана. Медленно надвигаются на нас длинные и низкие амбары, от которых несет молодой, недавно засыпанной пшеницей, потом тянется высокая ограда база. За ней, дыша пережеванной травой и сеном, сонно топчутся, мычат быки. Двое из них спят и, наверное, не догадываются, что сейчас их выгонят из база, такого теплого и уютного, и долго заставят топать по старой дороге в горы, над которыми мигают загадочные звезды...

Впереди малиново зарделось окно сторожки, и мы пошли на ее немигающий, ровный свет. Взлаяли собаки, чья-то рука отодвинула краешек матерчатой красной занавески. Отец, убыстряя шаг, предупредительно отозвался:

— Свои! Свои!..

Хлопнула дверь, на пороге, простудно-сипло кашляя, показался сторож по прозвищу Косорукий, напарник Леонтия. Он, видно, угадал отца, потому что не стал дожидаться и выпытывать, кто идет, повернулся к нам спиной, успокаивая рычащего пса, который сидел в сенях на задних лапах, настороженно и злобно сверкая из тьмы глазищами.

— А я уж думал кобеля пущать,— провожая нас в тепло сторожки, сказал Косорукий.— Он у меня за главного среди собачья, в сурьезные моменты работает... Ну, подь! — повелительно прикрикнул он на пса, вошедшего вслед за нами в жилье.— Знай свое место. Тут я пока главный.— Косорукий улыбнулся двумя черными точками глаз из-под насупленных, мрачноватых бровей, отворил дверцу плитки и стал кидать в топку березовые поленья. Белая кора жарко схватывалась синеватым огнем, шипела и коробилась. Косорукий ловко управлялся левой рукой, а правая у него, будто плеть, недвижно висела вдоль туловища.

В углу на жестком топчане спал, укрывшись по плечи худым кожушком, скотник дядя Ермолай, мой крестный отец. После войны, бывало, по вечерам он являлся к нам с бесценной горбушкой черного хлеба. Хитро и гордо подмигивал, клал ее на стол с шутливыми словами: «У зайца по дороге отнял!» Сколько было радости при виде этой горбушки! Невыразимо вкусный, дразнящий запах распространялся от нее, заполняя всю комнату. Но надо было иметь терпение и дождаться ужина, чтобы получить свою долю... Дядя Ермолай человек по природе тихий, добрый. Последнее людям отдаст.

— Рановато схватились,— сказал Косорукий.— Глянь, как густо стемнело кругом.— Он кивнул на окно.— Тьма, хоть глаза выколи.

— К рассвету, значит... А на зорьке ехать веселее, путь вроде короче.

— Так-то оно так,— замотал нечесаной головой Косорукий. В непонятной задумчивости он уставился в огонь, по-гусиному вытянув шею с мелкою сеткой мор-

щин, потом спросил, не оборачиваясь: — А на поминки не пойдешь?.. Я уж и Леонтия предупредил.

— Как же не пойти,— быстро ответил отец с оттенком беспокойства.— Покойница мне не чужая. Родная тетка! Да и славная была женщина. Пойду, беспременно пойду. Не я буду.

— Ну давай,— вздохнул Косорукий.— Дуй по холодку... Да помни: дорога-то гремучая. Вдруг не обернешься к поминкам.

— Успею. Кровь из носу, за два дня обернусь... Буди кума,— сказал отец.— Быков надо взять.

— Нехай храпит,— Косорукий поднялся, передернул для бодрости сухими, костистыми плечами, накинул на них длинный прорезиненный плащ и пнул ногою дверь.— Умаялся за день твой кум. Сами управимся... Он тебе быков отобрал — первейших в бригаде!

Косорукий сноровисто переметнулся через ограду внутрь база, отпер ворота и, наказав отцу поглядывать за скотиной, исчез. Мы стояли, чутко вслушиваясь в мягкий шум удаляющихся шагов сторожа.

— Вставай, милок, вставай! — донеслось из глубины база. Немного погодя он уже вел за собой, шаркая сапогами, быков на длинном налыгаче. Вдвоем с Косоруким отец выбрал и бричку, с новыми, ладно ошинованными колесами, с крепким, но легким ярмом с железными занозками.

Мы впрягли быков, уложили вещи, подкинули на бричку сена, чтоб отцу мягче было сидеть, и приготовились трогаться в путь. Косорукий недоумевал:

— И чего торопишься? Справили бы поминки, тогда и езжай... Не ровен час, обломаешься, не поспеешь к сроку.

— Крым-Гирей,— тихо сказал отец.— Его двое суток не будет в хуторе, понял? А мы тем временем и проскочим тайком.

— И верно. Умотался он к брату на свадьбу... Э, Максим! Ты воробей стреляный, тебя на мякине не проведешь. Самого Крым-Гирея вздумал обхитрить. Герой!

— А что он за важная птица?..— гордо приосанился на бричке отец.— Видали мы и не таких.

И мы поехали.

Дорога глушит размеренные и тяжелые шаги быков, выбрызгивают из-под ног фонтанчики пыли. Монотонно поскрипывает ярмо, с одинаковой медлительностью, буд-

то заведенный часовой механизм, крутятся колеса, темнея мелькающими спицами.

Отец, ссутулившись, терпеливо сидит на передке, изредка нахлестывает быков кнутом, молчит. Фуфайка коробом горбится у него на спине. О чем он думает? Или просто сидит, невидяще смотрит во тьму, прислушиваясь к какому-то зарождающемуся чувству в самом себе? Кто хоть однажды ездил на волах ранней ранью, когда все вокруг неясно, расплывчато, в каком-то мягком, неуловимом тумане и кажется, что ты не едешь, а стоишь на одном, кем-то заколдованном месте или медленно-медленно плывешь куда-то,— кто чувствовал все это, тот знает, что такое длинная дорога. И нет ей конца-края.

Среди поредевших кустов кольчужно блеснула река; исходящий белый свет от нее удивил меня своей ясностью, заставил оглянуться вокруг. И я почувствовал приближение дня. Кромка неба светлела, постепенно покрывалась бледно-розовым налетом на востоке — там, где ожидался восход солнца. Я поднял голову: небо раздвигалось, раздавалось вширь и в глубину, проясняя свои бездонные мореные озера и гася одна за другою звезды на них. Тьма таяла, очищались от нее придорожные кусты орешника, встряхиваясь от дремы. Уже завиднелись леса, плотно набежавшие на склоны в туманном дыму... Чем дальше уходила дорога, тем леса ближе и плотнее подступали к ней, потянуло из густых чащоб прелью, лежалыми дикими грушами, чистой пахучей хвоей.

Над дальней вершиной внезапно луч заиграл, и словно в ответ на его игру с орешника сыпанули дружным чириканьем вездесущие воробьи, серенькими комочками закачались на ветках, а потом разом снялись и шумной стаей понеслись над дорогой, мель еша крыльями в посветлевшем воздухе.

— Цоб-цобэ! — с неожиданной силой произнес отец, оглянулся на меня и взмахнул над головой свистящим кнутом.— Пошли, родимые!

Радостное, ни с чем не сравнимое чувство дороги! Мне было хорошо, что мы с отцом едем в леса и видим, как проясняется небо над горами и с какой величавой медлительностью тянутся по нему вразброд облака, розово подсвеченные отблесками запылавшей зари. А леса торжественно, празднично приближаются к нам, и я уже различаю пестроту их щедрого осеннего наряда: то крас-

новато-бурого, то прозрачно-желтого, то вызывающе-зеленого, с пронзительным синим блеском.

Мы едем молча еще с час или два, околдованные утром. Отец вытаскивает из кармана туго набитый табаком кисет, с удовольствием расшнуровывает его, принюхивается к острому запаху, сворачивает козью ножку. Закурил... Клубками валит на меня едкий дым. Я кашляю, соскакиваю с брички и, разминая онемевшие ноги, иду рядом.

— Пошагай, пошагай,— одобрительно кивает отец.— Оно молодому полезно. Бо́льшим вырастешь... А утро-то какое ясное! — вслух удивляется он.— Небушко как слеза... На земле, Федорка, надо с умом жить. Рано встанешь — приметишь, как солнышко взоймется, услышишь птичку. На заре она поет, щелкает славно! А с тобой беда: длинно спать любишь. Так и проживешь, ничего путного не увидишь.

— Увижу,— с усмешкой возражаю я.— Закончу десятилетку и махну на Север!.. К белым медведям! На самолете полечу.

— Что твой самолет? Вжик — и ты аж на другом конце опустился. Встаешь, голова кружится, мутит всего́... Где ты, в какой такой земле? Что на ней растет? Нет, брат, ничего ты не увидел. По земле на быках надо ездить, все разглядишь! А еще лучше — ходить по ней пешком. Вот тогда ты жилец на этом свете. Посчитай, сколько Федориха прожила! Поди, лет под девяносто.

Федориха доводилась отцу родной теткой. Муж у нее погиб еще в первую империалистическую, с той поры она была одна-одинешенька, удивляя людей своими чудачествами. Бывало, с вечера навострит топорик и спать ложится с ним, чтоб и во сне помнить о деле. А оно у нее было простое: затемно схватиться с постели и бегом в лес за дровами. За день обернется раз пять или шесть, глядишь, на полвоза дров прибавилось во дворе. Скоро из-за них места не стало, так она и в огород носила, складывала там высокие черные штабеля, подолгу любовалась ими из-под ладони.

Потешной была эта Федориха... Иногда отец, завидев, как она бежит по улице с подоткнутым подолом и с неизменным топориком в руках, выскочит навстречу ей да и скажет от чистого сердца, без лукавства: «Хватит вам дров, тетя... Для кого стараетесь? Век будете топить — не потопите». А она взглянет с усмешкой на крестника,

вскинет топорик за плечо и отмахнется: «Вам-то, мужикам, легко рассуждать, надсмехаться над вдовой... А мне без дров одни слезки, зима-то до-олгая!» И бежит мимо без оглядки, споро мельтеша босыми ногами по пыли... Эх, непоседа! Раньше отец пытался предлагать ей свои услуги, но она наотрез отказывалась: «Сама не лыком шитая. Выдюжу».

Исходила Федориха босиком все окрестные леса. На каждом бугорке успела она посидеть, подумать о своей вдовьей доле... Резвясь с мальчишками в дальних лугах, я часто видел Федориху, худую, простоволосую, с тонкими загорелыми ногами. Она брела обычно вниз берегом реки, осторожно ступая по камням и слегка покачиваясь под тяжелой ношей. Казалось, вечно ходить ей вот так по земле, при любой погоде — в дождь, в вёдро ли, в туман...

И вдруг она умерла, погасла, как задутая кем-то свеча, тихо, без содроганий, без лишних слов, не принеся никому особых хлопот. Незадолго до кончины Федориха велела отдать дрова своему крестному сыну, так как никого из близких родственников у нее не нашлось, затем сама сложила на животе сухие, бледные руки и спокойно, с ясной улыбкой на лице, с сознанием исполненного долга отошла в мир иной. Старухи завидовали ее легкой смерти.

Отец постеснялся взять вдовьи дрова. После похорон в одну ночь их растащили по подворьям хутора. А положили Федориху, в белом подвенечном платье, в дубовый гроб, сделанный по ее заказу еще года три назад. Этот гроб она хранила на потолке...

— А все почему долго она жила? — продолжал отец, задумчиво пуская клубы сизовато-бурого дыма.— Мало спала, много по земле да по воде ходила. Земля, она молодит человека. Да... И жить бы тетке еще много, кабы не тот гроб. Дело-то ясное. Начнешь думать о смерти, она тут как тут, с вострой косой подступит: «А ну ложись, пришла сечь голову!» Нет, живому надо думать о живом, так-то оно вернее... Цоб!

Косо отлегла на сторону от дороги еле приметная в росной траве стежка, потекла вверх по склону в образовавшийся просвет между деревьями. Если встать с брички и пойти по этой стежке, ни на шаг не уклоняясь от

нее, она приведет на Ива́нов выгрев, в широкое, привольное буйство разнотравья. Летом звенят там косы вперемежку с бабьим смехом, с частым перестуком молотков, и в знойный полдень наплывает в низину запах разомлевших ягод, чебреца и морковника, темно-красной кровохлебки с фиолетово-белой душицей и еще неведомо каких трав и цветов. Стойкий запах дурманно кружит голову, пьянит. Но сейчас на выгреве непривычная стоит тишина: откипели покосы там...

Отец, глядя на тропку, потаенно вздыхает:

— Стожки бы проверить. Вдруг ветром верха заломило, тогда беда. Затекут и взопреют. Ну ладно, в другой раз сбегаю посмотрю.

Там, на крутом взлобке, на нашей постоянной деляне высятся два островерхих стожка, для верности подпоясанные свитыми из травы веревками и снизу плотно подбитые граблями. Еще дед наш Иван, сгинувший в гражданскую, покашивал в этих местах, оттого и выгрев именуется Ива́новым, в честь первого в ту пору косаря. Что было, то сплыло, быльем поросло... А теперь вот косим мы на деляне, политой соленым потом предков. Какие, сказывают, были крепкие люди, какие богатыри! А и нет уже никого из них.

Отец провожает стежку задумчивым взглядом, и я замечаю: теплится в его зрачках грусть. Какое-то давнее воспоминание тревожит его. Были, были и у отца минуты, навсегда оставшиеся в сердце! Не о том ли покосе вспомнил он, когда я невинно, но жестоко предал его?

Это случилось в середине июля, во второе послевоенное лето. Отец взял меня с собою на покос, усадил в бричку рядом с тетками, повязанными в белые косынки, а сам побежал на подводу к мужчинам. В слинялой гимнастерке со следами от медалей, с пышно взбитым вверх чубом, гладко выбритый, отец казался мне самым красивым и сильным, самым добрым среди мужчин. Он нагнал подводу, гикнул на пристяжного рысака, схватился за грядку и с маху закинул упругое тело на солому, успев обернуться назад и белозубо усмехнуться теткам...

— Н-но, вороные! — привстал он на коленях, оглашая дол смятенно-радостным криком. Кони взметнули гривы, понеслись, сверкая на солнце новыми подковками.

— Папань, возьми-и! — заполошно заныл я и протянул вслед убегающей подводе руки.— И я с тобой!

Тетки дружно засмеялись, заластились ко мне, кинулись наперебой уговаривать:

— Никуда он не денется, твой батька, не плачь...

— Нехай себе улетает, ты с нами будешь. Глянь-ка, сколько невест. Эй, Полюха, приголубь, успокой кавалера!

— Пустите! — не унимался я, отбиваясь от теток.— Я к папаньке пойду.

— Бабоньки, да он гордый, не то что Максим... С нами и знаться не желает. Ему небось невесту чистых кровей подавай.

— Ах-ха-ха-ха!

— Поля, нечистая сила! Да приголубь, утешь мальцато! Мужиков усмиряешь, а его не могешь?! Застеснялась уж...

— Ах-ха-ха-ха!

От суматошных вскриков, визга и смеха наши кони прижали уши и устремились вслед за грохочущей подводой. Пыль застлала глаза, заныл ветер. Я заревел еще громче, с подвыванием. Кони — вскачь.

— Рятуй, Полюха! — то ли шутя, то ли уже всерьез всхлипнула толстая тетка, натягивая на себя вожжи. А кони не слушались ее, мчались во весь опор, обрушивая на нас дробный грохот копыт.

С задка, поддерживаемая простертыми руками внезапно онемевших теток, пробралась ко мне Поля, присела на корточки, молча дотронулась до моих губ мягкой и теплой ладонью. Ее прикосновение успокоило меня. Мне даже стало стыдно, и я затих. Ее карие, большие и глубокие глаза, затемненные тенью длинных ресниц, с нежной кротостью смотрели на меня, рождая какую-то тихую и виноватую улыбку. И Поля улыбнулась. Вздрогнули уголки ее припухлых розовых губ, светло обозначились на щеках ямочки, тенькнули мониста на кипеннобелой шее. Она провела ладонью по моей щеке, затем сняла с себя платок, вытерла у меня слезы и сказала:

— Чего голосишь, соколик? Все тут свои, не бойсь...

От вдумчивого выражения глаз, певучего грудного голоса Поли, запаха ее надушенного лица и волос, красиво собранных в каштановый узел на затылке, веяло чем-то домашним, родным, почти материнским. Безотчетно волнуясь, радуясь Поле, я улыбнулся ей.

— Вот и умница, вот и ладно,— пела, улыбалась она, усаживаясь на грядке.

Между тем толстая тетка успела осадить коней, они

сбавили шаг и перешли на мелкую рысь. Теперь все с любопытством и вниманием поглядывали на нас с Полей и тоже чему-то улыбались. Поля порылась в сумке, вынула оттуда прозрачное, как воск, яблоко с темными зернышками внутри и протянула мне.

— Ешь... Скоро в первый класс пойдешь?

— Ага,— умиротворенно мотнул я головой.— Папанька говорит, в этом году.

— Умница, и все ты знаешь,— сказала Поля.— Такой славный мальчик! — И ласково потрепала мои волосы, запустив в них свои нежные пальцы.— Ты ешь, ешь, соколик.

Так мы и подружились с Полей. Она кухарничала на выгреве. У каждого своя деляна, но было решено, что стряпуху надо одну иметь, чтобы не отрываться от дела. А смахнуть ее траву гужом, в тридцать кос, долго ли умеючи!

У Поли весною была свадьба, с быстрыми тройками, с колокольцами, с яркими бумажными цветами. Я бегал смотреть на Полю. Красивой она была, нарядной. А рядом с нею, обняв ее за талию и раскосо усмехаясь, сидел жених, колхозный объездчик Крым-Гирей, прозванный так за то, что видом своим и осанкой походил на татарина.

Мне было обидно, что Поля выбрала себе Крым-Гирея, смуглого и нелюдимого, с устрашающим блеском в темных глазах. Он всегда как оглашенный носился на своем гнедом жеребце, стрелял плеткой и отнимал у ребятишек гнилую картошку, которую они весной собирали по свежей пахоте — на крахмал. Из крахмала вместо хлеба пекли лепешки, примешивая в них крапиву с лебедой. А Крым-Гирей гонялся за всеми, вопил:

— Я вам поворую! В милицию сволоку!

Страшновато было слышать посвист его плетки. И вот Поля, такая красивая, нежная, вышла за Крым-Гирея. Он же ее замучит, прибьет, думал я. Но Крым-Гирей, на удивление мне, улыбался Поле, и она отвечала ему улыбкой. Странные эти женщины! Им что ни хуже, то лучше. Вот и Поля... Не могла подождать, пока я вырасту, и стать моей невестой. Я бы платки ей дарил цветастые, водил бы в клуб, чтобы она танцевала там с парубками...

В то лето, когда Поля кухарничала, Крым-Гирея не было на покосе: кто-то встретил его ночью в лесу, стащил с коня и сыграл с ним темную. Говорят, люди слышали,

как в чаще эхом метались глухие крики: «Раскосый! Правду плетью не перешибешь. Получай!» — «Пусти, не буду я! — вопил, затухая, голос объездчика.— Христом-богом прошу-у-у...» А потом все смолкло. Пока люди с вилами, с топорами подоспели со стана на крики, обидчика и след простыл. Крым-Гирей ерзал на животе в грязи, судорожно всхлипывал: «За што? Я ж о добре... о колхозе пекусь. Я ж не самовольничаю, караулю по инструкции. Сволочь! Ну погодь, все одно узнаю кто! Я те изменю голос! Сгною!»

Обидчика так и не опознали. Крым-Гирей хворал дома, грешил на Косорукого, а Поля стряпала на покосе. Я привязался к Поле, ходил за нею по пятам, таскал для костра сухой валежник. Мне нравилось смотреть на подрагивающие на ее шее мониста и кофточку в мелкий голубой горошек, на то, как она быстро чистила картошку и бросала ее в котел, схваченный снаружи черным налетом копоти... Легкая и гибкая, решительная в движениях, она проворно бегала от котла к столу, белозубо улыбалась людям, солнцу и травам и все прижималась пахнущими земляникой губами к моим щекам, все нахваливала меня:

— Умница, помощничек мой славный!

Я млел от счастья, от невысказанной любви к Поле. Мне не хотелось идти к отцу, который косил неподалеку от нас. Сквозь редкие кусты виднелась его бронзовая от загара спина, локти мелькали в мощном широком размахе.

На третий день покоса, ввечеру, Поля кинулась в балаган за картошкой и обмерла: забредшие по недосмотру быки разворошили его, поели и перетолкли картошку. Поля — в слезы, в крик. Сбежались люди, посмотрели на безобразие, удрученно повздыхали, стали успокаивать Полю.

— Ладно, чего не бывает... Отдохни нонче, Полюха.

И разошлись, разбрелись по делянам. У пустого котла задержался один отец — утешить, ободрить Полю. Солнышко красное закатилось за гору, смутные тени рябью пробегали по траве, все гуще залегая по закраинам леса.

— А не горюй, Полюха,— сказал отец.— Айда в балку, малины пощиплем.

— Ой, Максим! — обрадовалась она, зардевшись.— Стыдно на́ людях... И Федорку на кого оставим?

— Я с вами! — закричал я с предчувствием чего-то необыкновенного, праздничного.— Я тоже хочу малины!

Они переглянулись и рассмеялись. Отец бросил окурок, каблуком вдавил его в землю и взял меня за руку:

— Пойдем!

— Тетя! — жалостливо оглянулся я на Полю, ополаскивающую в ведре ноги.— А вы остаетесь?

— Ступайте. Я догоню вас.

Мы спустились с отцом вниз по выгреву к глубокой балке. Оттуда вместе с ветерком пахнуло в лицо приторно-сладким, душным запахом малины. Накапливались в балке, растекались по кустам фиолетово-дымные сумерки. Словно в вату, погружались в них лесные шорохи. Мы сидели под грушей, поджидая Полю. Хотя мы оба ждали ее с нетерпением, но почему-то не заметили ее прихода. А она бесшумно кинулась сзади на отца, закрыла ему ладонями лицо и, не выдержав, захохотала звонким русалочьим хохотом. Отец встал, молча схватил ее на руки и закружил вокруг себя. Полино платье бело трепетало на ветру, облепляя ее красиво поджатые ноги.

— Ой, Максим! — в изнеможении шептала она.— Чумной... Пусти!

— И меня покружи, папань! — в восторге закричал я, скача вокруг них.

Отец покружил и меня.

И опять, уже втроем, мы сидели под грушей, смотрели, как поднимается луна, медленно истекая над землей белым светом. Отец держал в своих руках Полину ладонь.

— А он все болеет?

— Не надо о нем,— зашептала Поля.— Надоел он хуже горькой редьки... Сверху, как яичко, гладенький, а в середке — болтыш. Уйду я.

Молчание. Но скоро отец опять спрашивает:

— Интересно, кто его так отметелил? Не Косорукий?

— Может, и Косорукий... Он же сестру его обидел. За кочан кукурузы! Не сердце у него — камень. А я-то дуреха, куда раньше глядела! Где мои глаза были, не знаю...— Поля вдруг припала щекою к плечу отца, горячо, со слезами произнесла: — Муж! Хворает, жалуется, а мне его ничуть не жалко! Ну нисколечко! Даже страшно подумать.

— А малину собирать? — спросил я.

— Ой, и правда! — вскинулась Поля.

— Сынок, посиди тут,— сказал отец,— а мы с тетей пойдем. А то в кустах обдерешься. Тёмно.

Меня не устраивало оставаться одному у балки, пугающей настороженной тьмой, причудливыми очертаниями кустов, внезапным всплеском крыльев каких-то ночных птиц. Но Поля наклонилась надо мной, поцеловала меня в лоб горячими, влажными губами, и опять повеяло от нее чем-то родным, материнским.

— Умница! Храбрый какой... Вылитый отец! Слышь, стучат? Это косари. Они косы отбивают. Ты слухай их, сиди и слухай. Тут кругом — люди!

— А я посвистывать буду,— сказал отец.

Они ушли.

С печалью и тревогой я смотрел им вслед, пока они не растаяли в кустах, облитых призрачным лунным светом. Вдали дымились леса, а на выгреве я различал мигающие огоньки — то косари запалили на своих делянах костры. Однако я испытывал непреодолимое чувство страха, в голову лезли всякие мысли — о волках, которые при луне рыскают по балкам, о медведях, бредущих полакомиться малиной. Треснет ветка, почудится тонкий мышиный писк, а я уж думаю: зверь... Вздрогну, сожмусь в комок и сижу не дыша, ни жив ни мертв.

Из этого оцепенения меня выводит ободряющий свист отца. Он раздается через равные промежутки времени, удаляясь куда-то в глубь балки. С каждым разом он все глуше, слабее. А вот и совсем смолк. Сижу в ожидании свиста, вобрав голову в плечи, притаившись, страшась оглянуться назад. Проходит полчаса, может быть, час — отец не откликается. Луна за облака зашла, стемнело гуще...

— Папа-ань! Тетя-а! Где вы-и-и! — вскакивая на ноги, вне себя кричу я.

«И-и-ы-ы!» — эхо отдается со всех сторон, волнами перекатывается по туманным балкам, гудит в нелюдимых верхушках деревьев, возвращая ко мне мой голос, странно изменившийся. Как будто много людей пробудились от тяжкого сна и, подражая мне, глухо и недовольно кричит из тьмы. Мне становится жутко, я весь дрожу и, напрягая голос, изо всех сил тяну:

— Па-апа-а-ань! Те-етя-а-а!

Я кричу и кричу, пока не добиваюсь ответного свиста. Великая радость охватывает меня, в груди гулко колотится сердце: они живы, на них не напал медведь!.. Они

щиплют для меня малину. Я смахиваю рукавом слезы со щек, смело сажусь на землю. Свист повторяется, и все во мне ликует. Идут! Они уже набрали малины. Из балки вскоре долетает сердитый голос отца:

— Чего кричишь? Тут мы!.. Эх, всю обедню испортил. Всем расколоколил.

— А, ладно! — тихо посмеивается Поля.— Шила в мешке не утаишь. Пошел по малину — не бойсь руки наколоть.

Раздвигаются кусты, отец с Полей выходят на чистое, отряхиваются от приставших к одежде листьев. Поля одной рукой поправляет растрепавшиеся волосы, в другой — протягивает мне пучок веточек с рясными крупными ягодами.

— Ешь, соколик...

Луна краешком выглядывает из-за темного облака, в ее свете глаза Поли искрятся смятенно-тихим счастьем. Она ведет меня за руку, задумчиво покусывая травинку,— кроткая, присмиревшая... Отец попыхивает сзади нас самокруткой и знай себе молча бухает сапогами по захолодавшей земле.

На другой день тетки только и говорили про нашу прогулку за малиной. Шушукались между собой, похихикивали в платки, пряча глаза от Поли, которая похаживала мимо них гордой, независимой походкой, и все допытывались у меня:

— Много малинки-то набрали?

— Не-е! — чистосердечно отвечал я.— Мы вот еще пойдем, больше насобираем!..

Сороки на хвосте донесли весть и до Крым-Гирея: Поля с Максимом за малиной ходили. Но мать моя сплетням не верила. «Подумаешь, за малиной! — говорила она.— Максим у меня серьезный».

— Цоб-цобэ! — погоняет быков отец, бодро помахивая кнутом...— Скоро караулка, пошли, пошагали!

Позади остается пологая горушка, дорога круто заворачивает к деревянному мостку с разбитым, измочаленным настилом, с покосившимися перилами. Мосток дрожит, пьяно пошатывается под нами. Кажется, вот-вот он не выдержит и рухнет в белые буруны горной речки, стиснутой с обеих сторон крепкими ладонями берегов.

Однако ничего страшного не происходит. Мы благо-

получно перебираемся на тот берег. Вот и кончилась наша тихая, безмятежная езда! Теперь надо быть настороже, держать ухо востро. Отсюда начинается подъем к Синим скалам. Дорога, петляя серпантином, уходит все выше и выше, в глубину молчаливых гор. Ползет она по рыжим осыпям, теряется надолго в лиственном лесу, взявшемся осенним пожаром, вновь появляется, но уже на голых припечках. Издалека накатывается в низину нелюдимый торжественный гул сосен. Они растут у Синих скал, стройные, с желтыми литыми стволами, устремленными вверх, как гигантские свечи.

После войны, возвратившись домой, отец подался с бригадой лесорубов к Синим скалам и пробыл там до глубокой осени на заготовке леса. Старые сосны на доступных местах сплошь повырубили, молодые еще не вошли в силу. Лет уже десять никто не наведывается в эти глухие места, кроме чабанов. Летом, в пору обильных луговых трав, они нет-нет да и появятся тут с медленными отарами овец. Сладят себе временное жилье — низкие балаганы, крытые сверху зеленым дерном, повесят черные пузатые котлы у входа, разведут дымные костры, не затухающие и в ливни, примутся по ночам палить из двустволок в темное небо, чтобы волк близко не подступал к базу. По мере наступления холодов отары спускаются все ниже и ниже, пока и вовсе не снимутся с последней горной стоянки и не уйдут с сытым блеянием и хриплым собачьим лаем в низину, к зимним фермам. Вслед за ними с насупленных, хмурых вершин наплывут на леса и луга седые туманы. Залягут они надолго в ущельях и пропастях, плотно окутают все окрест, дыша стужей. Поникнут к земле, повянут травы, облетят с веток последние листья. Неприютно, пустынно станет в горах. А однажды утром свежо, девственно забелеют вершины, и люди в низовьях ахнут: снег, зима надвигается!

В прошлом году на летних каникулах мы с отцом чабановали у Синих скал и, случалось, любовались соснами, взметнувшими в простор неба свои могучие кроны. Я обычно глядел на зеленые деревья с цепкими разветвлениями корней, которым еще десятки лет пробиваться в живую глубь земли, к чистым ключам. Отец подолгу задерживал свой задумчивый взгляд на давно умерших соснах, на сухостое...

— Красавицы! — говорил он об усохших соснах с чув-

ством удивления и жалости, будто о вдовах.— Сохнут, пропадают... А звонкие!

Я ценил тогда красоту, здоровье и мощь сосен и не задумывался о пользе, которую они могли принести нам. Отец же, отдавая должное красоте, не забывал и о том, что деревья должны служить людям и после своей смерти: обратиться балками или полом в доме либо, на худой конец, табуретками. Давняя мечта отца употребить в пользу гибнущие сосны вроде сбывается: мы едем за сухостоем.

Отец по-крестьянски хитер, предусмотрителен. Просто без всяких документов спилить и увезти сухостойные сосны он не отважился — из боязни прослыть в хуторе вором, расхитителем лесных богатств колхоза. Пойдут сплетни, на каждом собрании будут колоть глаза сухостоем. А Крым-Гирею это на руку. Ему лишь повод дай, а там он клещом вопьется, с живого не слезет.

Как раз из района приказ поступил: сосновый строевой лес зорко оберегать, для личных нужд пока не выписывать. Билеты давали на осину. А из осины какие полы в новом доме, какие наличники! Осина — дерево ломкое, ненадежное. Для отвода глаз отец выписал «осиновый билет», но про себя решил: поедет за сосной. Греха тут нет: сухостой ведь пропадает. Люди поймут... Отец и момент улучил, чтоб обвести Крым-Гирея, пока тот будет гулять, пировать на свадьбе...

После того покоса никак не успокоится Крым-Гирей. Невдомек ему, отчего Поля ходила за малиной с моим отцом, отчего после познакомилась с тихим и застенчивым учителем физкультуры Петром Ивановичем Столбиковым, с радостью вышла за него замуж и уехала с глаз долой в соседнюю станицу.

Иногда по пьяной лавочке Крым-Гирей, тяжко бухая по столу волосатым кулаком, откровенничал в караулке с дружками-лесничими:

— Хто есть я? Объездчик — вот хто! По старой поре, можно сказать, управляющий. Пнял?.. Ну, ну! Не шей политику, это я для красного словца ввернул. А так я сознательный, за обчество живот положу. Дубасили меня в лесу? Дубасили. А я што? Да ништо! На своем стоял и стоять буду. Спуску не дам, пнял? У меня все в этом кулаку!.. Што? Лес, балакаешь, пропиваю? А чего, и пью! — Крым-Гирей выпячивал грудь, важно надувался как индюк.— Я каждую темную ночку башкой рискую,

пнял? Их много, грабителей, а я один. Мне можно пить. Я заслужил!.. Значит, хто я? Хозяин? А Максим хто? Пшик — вот он хто. На кого сменяла меня Полька на сенокосе, эх! — Крым-Гирей морщился, скрипел зубами.— Чего ей надо было? Денег? Пожалуйста. Цветастых платков? Какие хошь надевай. Жила у меня как у пана. Подло предала, изменила... Вот она — бабья благодарность!.. С учителем сбежала. А он, как и Максим, дрянь человечишка, Петро Иваныч! Ему не физкультуру преподавать — уборные чистить. Душной козел!

Не забыл о покосе Крым-Гирей, хоть и давно сошелся и живет с другой женщиной, рябоАицей и угрюмой Марфой Безродной. От нее у Крым-Гирея двое детей. И у Поли, говорят, есть дети от Петра Ивановича. С чего бы, кажется, вспоминать, тормошить прошлое. Да все неймется Крым-Гирею. Знать, крепко любил он Полю. Тайно и в открытую враждует он с моим отцом. На его стороне — власть объездчика, на стороне отца — увертливость да смекалка.

За мостком, в окружении старых верб с глубоко потрескавшейся сероватой корой, проглянуло потемнелое длинное здание под дранью, похожее на барак. Это государственная караулка. На хитром месте воздвигли пост: ни пройти, ни проехать его. Все дороги и стежки с гор сбегаются в тугой узловатый пучок: мосток на много верст вверх и вниз по реке один. Волей-неволей приходится кланяться неусыпному посту, вежливо здороваться с лесничими. Неподалеку от караулки через всю дорогу — полосатый шлагбаум. По ночам для верности его закрывают — на случай, если сторожа в веселой пирушке заколобродят или, часом, их сморит томительный поздний сон... Дорога тут вымощена булыжником, чтоб слышен был грохот проезжающих бричек. И еще два кудлатых волкодава, ростом с годовалых телят, молча сидят у порога караулки, принюхиваясь к долетающим запахам, зорко приглядываясь к движению на дороге. Издали их можно принять за бронзовых львов, что некогда украшали парадные подъезды дворянских особняков.

Отец, проезжая мимо караулки, всегда бестолково суетился на бричке, строжел лицом, всем своим видом выказывая уважение к строгой лесной службе. Он развязывал мешок, доставал из него пару сваренных картошек и кидал волкодавам. Те остервенело, разинув клыкастые

пасти, бросались на нее и вмиг проглатывали, злобно рыча.

— Ай да кобели! — с подобострастной улыбкой восклицал отец.— Хоть в город на собачью выставку вези. Не иначе золотые медальки на шею себе схлопочут. Порода! — И ждал, какое впечатление произведет его похвала на сурового волосатого лесника в форменной фуражке, хозяина волкодавов.

Лесничий Кузьмич хранил озабоченно-строгое выражение на лице, внушительно ронял:

— Псы как псы... Возьмут в оборот — не отвертишься.

И сейчас отец по привычке кинул волкодавам картошки и подошел к лесничему, наказав мне проехать дальше на луг, распрячь и попасти быков. Отец с лесничим скрылись в караулке.

Время переваливало за полдень. Мне уже порядком надоело сидеть одному, а он все не показывался. Я стал досадовать на отца. Наконец он появился, но почему-то не со стороны караулки, откуда я поджидал его, а со стороны горы, куда нам предстояло путь держать.

Отец был пьян. Нелепо размахивая руками, он спускался вниз по осыпи.

— Чего ты не едешь? — вопрошал он.— Я думал, ты уехал, а ты стоишь... Из-за тебя я опоздаю на поминки. Взял помощника на свою шею! За ним самим нужно доглядать. А мне на поминки край надо. Тетку Федориху вспомянуть, крестную мать. Покойница была добрая, заводная.

Я быстро впряг быков и поехал навстречу отцу. Меня брало беспокойство, что он не удержится на ногах, покатится по откосу. Но он, к счастью, остановился, присел на камень и опять спросил:

— Ты думаешь, больно грамотный? Больше отца знаешь? В десятый класс перешел, ну и что? А я Берлин брал! Вот и кумекай, чья грамота важнее, вот и надсмехайся над отцом сколько влезет. Надсмехайся... А я говорю: на поминки спешу. Помянуть хорошего человека — это тебе не книжку прочитать. Тут, брат, сердце надо иметь, понятно?

У меня твердая привычка: не вступать в разговор с пьяным отцом. Он у нас, когда хватит лишнего, порой буйно горячится и не терпит возражений. Лучше смолчать, а то сейчас и в беду попасть немудрено. Кругом горы, дорога идет по откосу, заваливая набок бричку. Глыбы коричневато-белой породы, редкие кустарники... С угро-

жающим шорохом срываются вниз голыши. Быки переступают медленно, выверяя каждый шаг. Мне впору смотреть за дорогой, возражать некогда.

— Сердце, оно зачем дается? — подступает ко мне с новым вопросом отец.— По-ученому — чтоб кровь гнать. Ладно. А по мне, перво-наперво оно для того,чтоб человек зверем не был. Чтоб других любил и понимал. Вот, Федорка! Эта наука посложнее твоей геометрии, а ты ерепенишься перед отцом... Я говорю: спешить надо! А ты подумаешь, зачем, на кой ляд, мол, отцу сдалась Федориха, так? Все одно, мол, мертвая, ни о чем не узнает. Вроде ни холодно тетке, ни тепло, как я об ней теперь думаю. Так-то оно так, но и врешь, Федорка! Ты забыл про меня. Мне и холодно, и тепло... Погоняй!

Мы въезжаем в густой лес. Разросшиеся кроны смыкаются вверху над дорогой, застя свет. Здесь сыро и темно, как на дне оврага. Корневища деревьев клубком черных змей наползают на дорогу, туго перехватывают ее. Колеса скользят, бричку то и дело кидает из стороны в сторону. Отец, пошатываясь в задке, клонит голову на грудь, тянет и тянет свои бесконечные пьяные поучения:

— А ты не косись на отца, не косись. Ну выпил! Значит, надо было. Отец, он без дела не пьет, понял? С Кузьмичом... С караульщиком тяпнули, и не лысые. Бутыль ему на стол бух, а он и рад-радехонек. Дурак, ухи холодные! А у меня закон: пей да дело разумей. Я пью да знай свою линию гну: пропусти, мил человек, скрозь караулку с брусьями. И уважит, бьюсь об заклад! Кузьмич с Крым-Гиреем не ладит, назло ему пропустит... А этот Крым-Гирей ну и прохвост! Аферист, каких свет не видывал. Помнишь, наша первотелка на молодом клевере обдулась? Это его работа, меня не проведешь. Да и люди видели: он ее нарочно из лесу на клевер выгнал. Как раз дождик проматросил, а при солнышке парно стало. Она, глупая, нахваталась клеверу и свалилась. А какая б корова была! — Отец завздыхал, затряс головой.— Царство ей небесное, Рябухе. Да что мы, неживые? Другую коровку наживем, вот постелем полы — и наживем. У нас вон кабан созрел, соседи удивляются. Бык! Не сглазить бы, прости господи. На Октябрьскую под нож кабана, мясо себе, праздник ведь! А сало на базар. Заживем — умирать не надо, разлюли малина!

...А этот Крым-Гирей трутень трутнем. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Ты видел, как он косит? Хуже последней

бабы. А заставь его печь сложить, валенки свалять? Да он скорее повесится, ей-богу! Скинь его с должности — на что он годен? Работы он боится, ему бы только плеткой махать. Хоть с сумой по миру иди... Труха человек!

Потом отец петь принимается. Песни он любит старинные, протяжные, с ощущением глубокой тоски-печали или широкой удали. Когда-то на гулянках он был первым запевалой, брал самые высокие ноты и дотягивал их до той завидной точки, когда сладко и тревожно слушать певца и немного боязно за него: вдруг сорвется? Сейчас отец высоко не тянет, заметно сдал у него голос, осип от курева, однако песня его чем-то волнует и трогает, вызывает в душе чувство удивления:

Ой да разродимая ты моя сторонка,
Ой да не увижу я больше тебя,
Ой да не увижу, голос не услышу,
Звук на зорьке в саду соловья.
Ой да разродимая моя мамаша,
Ой да не печалься больше обо мне —
Не все люди умирают на войне.
Ой как летела пуля свинцовая
И пронзила грудь белу мою.
Ой да грудь геройская
С коня на землю свалилась...

Лес и лес кругом — могучий, кряжистый, неоглядный... Глухое эхо подхватывало песню, несло ее куда-то вдаль, многократно отражая отзывчивой, чуткой звучностью синеющих крон. Вечерело. Сумерки, борясь с последними отблесками солнца, просачивались меж стволов, постепенно надвигались, оседали на дорогу, смывая очертания предметов. И странно было слышать среди нелюдимой тишины печальную песню отца:

Как на этот шум и мятеж
Разны птицы собрались,
Растерзали мое тело белое
По чистым по полям...

Повздыхав еще о чем-то, отец угомонился, прилег на солому и заснул под жалобный и одинокий скрип колес. Уже и совсем стемнело. Мы едем под сводом леса с кое-где проглядывающими звездами — час ли, два, не понять сколько... А лесу конца и края нет, и что-то большое, неуклюжее, все мрачнее вырастая из тьмы, встает впереди, наваливается на дорогу. Скользят копыта быков по голы-

шам, бричка подъезжает ближе, и оказывается: это выступ скалы, похожий и днем на двугорбого верблюда. Дорога и вовсе портится, пролегают через нее ступенчатые каменные плиты. Я часто соскакиваю на землю и веду за собою на налыгаче тяжело сопящих животных, давно смирившихся со своей участью. Чем выше мы поднимаемся, тем свежее воздух, от его чистоты и свежести, как ледком, холодит виски.

Вдруг я содрогаюсь: слева, в двух шагах от меня, дымится пропасть. Где-то на дне ее с жутковатой глушинкой урчит ручей. Я отодвигаюсь подальше от пропасти и молча, со злым упрямством шагаю вперед. Я устал, ощущение голода начинает сказываться во мне, но я иду и иду, крепко зажав в руке веревку, и лишь изредка оглядываюсь назад, чтобы узнать, не свалился ли отец. Нет, лежит, похрапывает во сне, как невинный младенец. Во мне нарастает глухое раздражение против отца: не мог выпить по-человечески, а ты теперь мучься за двоих среди кромешной тьмы, в горах, где каждый шаг твой подстерегает опасность... Заладил одно: Крым-Гирей, Крым-Гирей... Что, на нем белый свет клином сошелся? Да плевать я хотел на Крым-Гирея, не стоит он того, чтобы о нем так много распространяться.

Дорога круто взбирается вверх, лес постепенно расступается, как-то вольнее, радостнее дышится на просторе. Я в нетерпении дергаю за налыгач, ощущаю сильные удары сердца и почему-то улыбаюсь выступившим навстречу нам Синим скалам. В эту минуту для меня нет ничего ближе и дороже их. Вот они, Синие скалы, с темными силуэтами пиков и сосен, мрачные и гордые в своей дикой отрешенности!

Подвесив котелок над костром, отец варит суп. Он уже успел сбегать к роднику, ополоснуть ледяной водицей лицо и теперь сидит, сгорбившись у огня, и сосредоточенно помешивает деревянной ложкой содержимое в котелке. Я просыпаюсь от тепла, от возни его и смотрю, как заря желто и тускло светится над горами, как в небе шевелятся, растут облака... Отцу совестно за вчерашнее, он старается не глядеть в мою сторону, подбрасывает в огонь сосновые смоляки. Они горят с треском, с густой черной копотью, распространяя вокруг костра острый и терпкий душок сосны, чем-то напоминающий запах ладана... На-

конец суп готов, и мы, рассевшись на расстеленном плаще, черпаем его ложками прямо из котла, снятого на землю, торопясь и обжигая губы.

— Я ничего не болтал лишнего? — спрашивает отец. Он стыдливо отводит глаза, передергивает плечами.— Не пойму, с чего меня развезло. Выпил-то не больше поллитры...

— Все нормально,— говорю я.

А что мне еще сказать? Сказать нечего, дело ведь обычное.

Позавтракав, мы берем пилу и топор и карабкаемся по турьим тропам к скалам. Днем они и вправду почти синие. У их подножий одна подле другой — сухостойные сосны. Вцепившись в трещины каменных плит высохшими корнями, высоко вонзают они в небо свои голые вершины с обломленными черными ветками, с сучьями, на которых давно застыли потемневшие капли смолы, некогда прозрачные, как янтарь.

Отец подбирается к первой сосне, обхватывает ее руками, проверяя толщину, а затем обухом топора коротко бьет по стволу и прикладывается к нему ухом. Дрожь пробегает с комля до самой вершины, дерево издает тонкий звон, летит нам на плечи черная труха истлевающей коры... Лишь один робкий зеленый отросток говорит, что в этой сосне на последнем пределе еще теплится жизнь.

— Звенит! — радуется отец.— Значит, не гнилая. Ну, голубушка, настоялась ты, хватит! — говорит он сосне.— Омывали тебя дожди, снега холодили, ветры гнули-ломали. Конец, забудь про это. Теперь лежать тебе в сухом месте под сараюшком. А там, придет час, свезем тебя на пилораму да и порежем на доски. Доски-то из тебя выйдут чистые, ни сучка ни задоринки!

Отец у нас еще и чувствительный. Иногда, как блажной какой, с деревьями один на один разговаривает, со зверьем всяким, с птичками. Застанет незнакомый человек его за этим занятием, всерьез подумает: рехнулся мужик,— и посочувствует ему, пожалеет всем сердцем, в раздумье покачает головой. Отца надо знать, чтобы понять и простить ему эти завихрения. Что до меня, то я уже на них и внимания не обращаю. Не впервой мне слушать и видеть его причуды, подумаешь, небыль какая!

В году пятьдесят втором или пятьдесят третьем, точно уже не помню, взбрело отцу в голову груши срубить в нашем саду. А сад у нас в ту пору был завидный: одних яб-

лонь по-над улицей хоровод дружный, да столько же слив, да алычи кустов пять, да груш этих целая дюжина... Бывало, по весне, как взоймется сад бело-розовой кипенью, так никуда из него и уходить не хочется: до того светло, ароматно, чисто в нем! Бог мой, слезы на глаза навернутся, стоишь как очумелый. Жить бы вот так бесконечно, и смотреть на сад, и дышать его воздухом, и всех, всех любить, озарять таким же светом и чистотой, как этот сад!.. По осени опять несказанная радость: гнутся до земли ветки от тяжести наливных, прозрачных плодов, и как дохнет с сада ветерком, то будь ты и в поле, за десять верст от Марушанки, а все равно почуешь, угадаешь родной аромат...

Одни груши у нас не рожали: молоды еще были. За это и впали в немилость у отца. Навострил он по осени топор — и в сад. Час проходит, другой — ни стука, ни грюка. Мать гадает: в чем дело? Выходит она из дому, глядит: отец сидит на земле возле крайней груши, зажал топорище промеж колен и приговаривает:

— Поймите вы: я ж не супостат какой, не ирод. Я ж сам вас посадил, вот этими руками. И потом... от короедов вас спасал, бурьян начисто выпалывал. Так что нелегко мне губить вас. Сердце слезами вскипает. А сечь надо: налог на вас дюже большой.

Скуповат отец на слезы, а вот тогда проняло его в саду. Так и не настроился он груши рубить, не поднялась на них рука. Мать позвала Тихона Бузутова. Тот пришел, выдул полкувшина самогонки, разминаясь, подвигал молодыми, сильными плечами и за один напор свалил наземь молодняк. Отец и смотреть не отважился: ушел в гости к куму Ермолаю... После недоимку отменили, и отец долго жалел, что поспешил покончить с грушами.

— Ну что, настоялась? — спрашивает у сосны отец.— Хватит, голубушка. Мне еще на поминки надо успеть. Федориха, она тоже вроде тебя была: тонкая, сухостойная. А пришла смерть — и легла. Не встанет уже, не подымется. И тебе ложиться пора, чего уж там! Отросток вон последний вянет, не спасет он. Все мы когда-нибудь умрем. И важно, голубушка, хорошо умереть. Вот Федориха молодец! Добрую память по себе оставила, а сама ушла. Помирать тоже надо умеючи... Ну, с богом! Не прогневись.

И мы с отцом стали пилить дерево. Поочередно выплевывая на обе стороны желтовато-белые теплые опил-

ки, пила быстро впивалась в глубь ствола. Но скоро ее заело, и тогда отец, прикинув, куда лучше упасть сосне, взялся за топор и весело, мощно пустил его сплеча. В последних, предсмертных судорогах вздрагивало дерево, отец рубил наверняка: лезвие топора угождало непременно туда, куда он целил. Стук шел по горам, гулко отдавался в дальнем бору, и, радуясь ему, отец с каждой минутой все сильнее подчинялся горячему азарту работы. Вот он бросил на землю шапку, но так, что не задержал в замахе топор, сверкнул на меня глазами:

— Федорка, гляди: шевелится она!

Сосна накренилась, качнулась в небе раз и другой, будто не хотела оставлять утвердившуюся за собой высоту, и, жалобно скрипнув на срезе, вдруг рухнула всей своей литой тяжестью ствола. Подмяла под себя низкорослый кустарник и, ахнув, замерла на камнях. Теперь осталось обрубить ветки, отпилить верхушку и столкнуть ее вниз, а потом волоком на цепях подтащить брус к месту погрузки. Мы работали без передышки. Азарт отца взбадривал и меня. Кончив пилить, я выхватывал у него из рук топор и тоже рубил, чувствуя играющую в плечах силу, свою власть над деревьями, пьянея от запаха свежей щепы и опилок. Рубил, пока не мутилось в глазах.

К обеду с рубкой управились. Подогнав бричку под горку, мы накатили на нее брусья, увязали их цепями, туго затянули деревянными укрутками. Поднялся ветер. Он гнал по серому, свинцовому небу лохматые космы туч, с вызовом набрасывался на сосны, раскачивал их и шумел в верхушках. Синие скалы нахмурились, потянуло от них зимней стужей. Мы запрягли быков и поехали, опасаясь быть застигнутыми дождем на вершине. Все вокруг стемнело, и создавалось впечатление, будто уже наступил вечер. Дорога бежит под гору, воз подолгу катится сам, и отцу, который ведет за собой быков, все время приходится придерживать их. Иногда перед крутым спуском он останавливается, оборачивается ко мне и кричит сквозь ветер:

— Сынок, притормози!

Не сводя глаз с отца, я иду сзади брички, немедленно отзываюсь на его крик и захватываю колесо петлею цепи. Колесо слегка проворачивается, до звона натягивает сбегающую от укрутки цепь и вдруг запинается, замирает, с визгом скользя по камням. Из-под шины попыхивает синим дымком с искрами, возок катится медленнее. Нередко, в наиболее опасных местах, я стопорю сразу два

задних колеса, и они визжат до звона в ушах, пока я не сбрасываю крючки со звеньев цепи. Бричка облегченно вздрагивает, торопливее частит по камням.

Во время пути мы по многу раз останавливаемся, давая передохнуть быкам, советуемся, как преодолеть новый спуск или подъем, и опять, напрягши волю и нервы, трогаемся дальше.

Дорога от Синих скал! Грохочет она под возом на припечках, отчаянно ползет над бездонными пропастями, наполняющимися мраком и мглою, лебедино гнется, блестя отшлифованными плитами. Сколько на ней пота мужицкого пролито, сколько колес и бричек разлетелось тут в прах! Слышала она и проклятия с горьким, горячим матом и, наверное, не раз была молчаливой свидетельницей смерти, крушения человеческих надежд,— когда, нечаянно сбившись вбок, вдруг тяжко падали возы в клубящуюся мглу пропастей, вместе с быками, брусьями и людьми. В каком столетии ее провели сюда, кто первым поднялся на бричке до соснового бора? Может быть, после крестьянской воли, лет сто тому назад, как тульские, орловские да курские мужики потянулись на освоение Кавказского края, на плодородные и вольные земли, в глухие боры, пробилась она к вершинам. Тогда, как грибы после дождя, возникали на Кубанском предгорье, по берегам мелководных, но шумливых речушек новые станицы, хутора и села. Строились кордоны, защищая казацкую республику от набегов горцев... Тем из российских переселенцев, которым посчастливилось прибыть раньше других и обратиться в казаков, указом царя были розданы просторные земельные наделы, леса и покосы. Прадед мой Федор, лапотный мужик тульский, успел отхватить казацкое звание, завел себе чистопородного белого скакуна, тяжелый арапник с густыми махрами и жгучим нахвостником, семигранную стамбульскую винтовку — и до скончания дней своих на широкую ногу жил. Другой мой прадед, Иван, из курских, в мужиках остался. Земли ему не дали, да еще обложили налогом за «посаженное место». Взимали мзду и за дороги, по которым он ездил, за воду из речки, за дым из трубы. До смерти своей Иван проклинал государя Александра Второго, а заодно и его венценосную супругу. Прадед Иван был мужик двужильный, расторопный. Он подладился хаты строить в нашем хуторе Марушанке и, говорят, преуспел в плотницком деле. И лес он возил с ничей-

ного бора, продавая его по сходной цене казакам. Сил своих прадед Иван не жалел, в работе седьмой пот прошибал его, но судьбе он не сдавался... За дым и воду платил исправно, на сбережения земли для сына Ивана прикупил. Наказывал тому перед смертью: «Иван! Ходи по земле смело, на чужое добро не зарься — свое наживай. Пота не бойсь пролить. Помни: наш мужицкий пот — он благородней кровей господских».

Эх, Иваны, Иваны! Не они ли по́том, кровью, трудом своим, с проклятиями и стоном, с извечной тоской по счастью, пробили эту дорогу? Сквозь ущелья и лес, по сыпучим осыпям, по крутым взгорьям... Ничто не преградило их путь ничто не остановило их. Знать, не было такой силы сломить их крутой характер, гордую волю.

Я шагаю за бричкой по следам своих предков. Молчу. Думаю. Обмениваюсь с отцом короткими жестами и репликами. Нам не о чем много говорить, мы должны в оба следить за дорогой. Без лишнего крика, без суеты, весь сосредоточившись на стремлении благополучно спуститься в низину, отец управляет быками. Заядлый курильщик, он даже ночью встает с постели, чтобы подымить, а сейчас накрепко забыл о табаке, о своем кисете. Он, наверное, забыл обо всем, что не относится к медленно идущим быкам, к грохочущей бричке, к этой старой дороге, которая, думается, никогда не кончится.

— Цоб-цобэ!

Сурово обступает нас гудящий лес. Ветер раскачивает деревья, гонит с дальних скал влажный туман в пропасти. Своим быстрым, стремительным падением туман как бы увеличивает жуткую их глубину. Внезапно ветер обессилевает, наступает затишье, и вот со стороны вершин к нам приближается шум дождя. Едва мы успеваем надеть плащи, как он уже припускается над нами, окутывая мглистой завесой дорогу. Она становится скользкой и еще более опасной.

Дождем горы обложило надолго. Может быть, на сутки, а то и на всю неделю шуметь ему с хмурого осеннего неба. Темнеет, ночь наступает... Скалы, леса, небо сливаются в одно — черное, грозное и бесконечное, внушающее сердцу невольный страх. Матерчатый плащ мой промок, фуражка тоже, и я, дрожа от холода, иду с одной мыслью: скорее бы выбраться на простор, в низину!

Бричку заносит куда-то вбок, к темной отвесной стене. Припечки!

— Куда, куда?! — глухо ворчит отец, сдерживая быков.— Эх, не затормозили!

Колеса гремят на каменной лестнице припечек, воз юлит, и я бегу вслед за ним, ухватившись за скользкий брус, чтобы не дать перекинуться бричке. Трещит ярмо, тяжко сопят быки, меня швыряет то в одну, то в другую сторону, и вдруг воз на крутом повороте грузно оседает набок. «Что такое?» — лихорадочно думаю я. И как мы не заметили этих припечек! Да, случилось что-то ужасное, непоправимое... Я останавливаюсь на середине дороги, чувствую, как за воротник проникают струи дождя и бегут по телу, неприятно сводя его мелкой судорогой. Все кончено. Нам теперь отсюда до утра не выбраться. А завтра мне в школу: первое сентября! Ребята, наверное, уже приготовились к занятиям: нагладили рубашки и брюки, нарвали в палисадниках цветов для учителей... А у меня всегда не так, как у людей.

— Федорка, где ты?.. Колесо поломалось.

Пересиливая охватившее меня отчаяние, я иду на голос отца. Слышно, как он возится у брички, чем-то тяжелым стучит по колесу. Дождь льет. Понуро темнеют быки, скрипя ярмом.

— Одна ступица осталась, а спиц как не было! Высыпались...

— Ночевать теперь? — обреченно спрашиваю я.

Отец берет с воза топор и пропадает во мраке близкого леса. Вскоре оттуда доносится частый и сильный стук, а потом, ломая ветки, на землю с глухим звуком падает дерево. Я кидаюсь на помощь отцу сквозь мокрые кусты, но он останавливает меня:

— За быками доглядай. Я сам управлюсь.

В его голосе спокойная, разумная убежденность в том, что мы все-таки не застрянем тут до утра, дотянем до караулки. А там дорога ровная. Он такой, мой отец, в трудные минуты: предприимчивый и решительный, готовый на все. Первое время еще посуетится, повздыхает, но тут же соберется с духом, прикинет что к чему — и за работу. Я слышу, как он, тихо покряхтывая, обрубает ветки, как деловито шебуршит в кустах, и у меня тоже рождается уверенность: выедем, непременно выедем!

Отец вытаскивает на дорогу ровную и толстую лесину, бросает ее наземь:

— Вот колесо! Просунем ее под ось промеж брусьев, увяжем покрепче и — пошла посунулась! — И совсем уж

весело прибавляет: — Ты, Федорка, носа не вешай. С таким колесом не то что до Марушки — до Москвы впору доедем!..

В размочаленных сапогах, до нитки мокрый, он совсем не чувствует холода, даже плащ снял и ворочает брусья в одной фуфайке. В пример отцу я тоже поворачиваюсь живее, работаю у него на подхвате. А это и правда хорошо — верить в свою удачу. Верить, несмотря ни на что! Тогда и ночь не такая безнадежно темная, и дорога больше не пугает своей неизвестностью. Как-то незаметно мы приладили лесину, по-новому увязали брусья и опять тронулись в путь.

— Цоб-цобэ!

Ноет лесина на скользких каменных плитах, чуть слышно шипит, приборматывает в лужах, стойко вынося на себе тяжесть воза. Едем. Все-таки мы едем! Ловок, изворотлив в дорожных делах отец. Другой на его месте растерялся бы и стал дожидаться дня (мол, утро вечера мудренее!), а он спокойно рассудил и нашел счастливый выход... Как ни в чем не бывало шагает опять отец, ведя в поводу послушных быков. Тьма... Шумит и шумит дождь.

В полночь мы подъезжаем к караулке. Волкодавы с угрожающим лаем кидаются нам навстречу, но вдруг останавливаются и затихают, успокоенные хрипловато-сердитым голосом Кузьмича:

— Кто это?

Свет электрического фонарика, едва пробивая мглу, ощупывает наш воз. Отец поспешно отзывается:

— Это я, Кузьмич, я!..

Он рад, что навстречу нам вышел Кузьмич, а не другой лесничий. Кузьмич, простуженно кашляя, поднимает тяжелый шлагбаум и пропускает наш воз. Потом они закуривают. Кузьмич спрашивает:

— Ну как?

— Ничего,— говорит отец.— Дорога справная. Я думал, хуже будет, а она — справная... Колесо вот одно смял, так сам же и виноватый: не усмотрел. По припечкам как понесло, думал, и брусьев не соберу...

— Дотянешь?

— Теперь не дорога, а чистая скатерть-самобранка. Только нахлестывай, погоняй быков. Доберусь.

К утру мы приезжаем домой. Мать вышла встречать нас, когда мы только миновали первые дворы хутора:

видно, всю ночь не спала, волновалась за нас и, услышав скрип лесины, кинулась на улицу. В накинутом на голову мешке, какая-то маленькая и суетливая, она заспешила открывать ворота, обеспокоенно приговаривая:

— Дождь ливмя льет... Простыли небось? Ой, куда ж тут не простыть!.. Да не разгружайте их, завтра скинете. Будь они неладны, эти брусья... Ступайте в теплое, переоденьтесь.

— После переоденемся,— твердо решает отец.— Мне надо тягло отвезти на стан.

Под неугомонным холодным дождем, мокрые, озябшие до дрожи, но обрадованные голосом матери и тем, что мы уже в своем дворе и не встретился нам Крым-Гирей, мы работали не передыхая. Когда брусья улеглись под забором, дождь внезапно кончился. Мать удивилась:

— Надо же! Он вас как метил.

Переодевшись в сухое, отец поехал на стан, а я залез на печку, блаженно растянулся на теплой дерюге, с удовольствием зажмурил глаза... Какое это счастье — после тяжелой, изнуряющей дороги вновь оказаться на родной печке, где сладко пахнет печеными яблоками! И какая радость — вдруг понять, что ты, как и отец, все пересилил, все смог и опять вернулся в дом вдохнуть его привычного тепла, набраться сил для новых дорог... Спать. Теперь надо спать. Я заслужил этот сон.

Я сижу во дворе на брусьях, привалившись спиной к забору. Уже полдень, небо давно распогодилось, опрокинуло над хутором свою голубую нежную чашу с белыми барашками облаков. Скоро из школы приедет на велосипеде мой друг Мишка Лукьянов и расскажет мне о нашем десятом «А», о том, кому он подарил за меня букет осенних гвоздик. Я просил его нарвать их для учительницы по русскому языку Екатерины Ивановны, но Мишка по рассеянности всегда что-нибудь напутает, и я тревожусь, подарил ли он Екатерине Ивановне ее любимые гвоздики... Мне немножко обидно, что я не в школе в такой радостный день. Но зато я сижу на брусьях с Синих скал. Настанет срок, мы распилим их на доски и настелем гладкие сосновые полы в комнатах нашего нового дома. И зимой, в самую лютую стужу, не будет зябко ходить в доме босиком. Приедет Мишка, я усажу его на брусья рядом с собой и тоже расскажу ему кое о чем. Я расскажу,

как мы рубили у Синих скал сухостой, как у нас потом сломалось колесо, но мы не растерялись, и какой был непроглядный дождь в горах...

На дворе свежо, солнечно. Брусья, еще сохранившие холодноватую влагу в коре, пахнут по-особенному терпко и остро. Мне хорошо сидеть на них, полной грудью вдыхать хвойный запах. Мать, белея платком, копает в огороде картошку. Отец с Косоруким ушли на поминки. Кругом тишина, и на душе ясно, спокойно от сознания удачно исполненной работы. Сухостой, прежде далекий и недоступный, теперь смирно лежит под нашим забором.

Под вечер возвращаются с поминок отец с Косоруким, с ними и мой крестный — дядя Ермолай. Все трое, оживленно переговариваясь, любуются брусьями, поддают носками сапог под их изжелта-темные бока, потом чинно рассаживаются подле меня.

— Ну вот,— говорит отец,— и успел! Брусьев привез, тетку добром помянул. Золотое сердце было у нее. У других ничего не попросит, а сама норовит всех одарить. Детвору за собой хороводом водила: тому мячик тряпичный, тому пряник, той куклу. Со стороны поглядеть — сухая, узкогрудая, одни мощи... А душу имела широкую.

— На дрова покойница скупой была,— вставляет Косорукий.

— Так это что? Это не скупость,— возражает дядя Ермолай, поглядывая на Косорукого голубыми, глубоко посаженными глазами. Сквозит в них кроткий и тихий свет.— За это и простить можно. У нее скупость от беды, а у Крым-Гирея — от зла. Федориху люди понимали и жалели, Крым-Гирея не любят.

Не в добрый час дядя Ермолай вспомнил про объездчика: отворилась калитка, и во двор, сторожко озираясь, влетел сам Крым-Гирей с широкой ременной плеткой за голенищем сапога. Следом за ним вошел и председатель колхоза Данило Иваныч Травкин, седой, приземистый, с обожженным, красным лицом. Говорят, на фронте он горел в подбитом танке, но чудом спасся. На зеленом кителе у Данилы Иваныча колодочка воинских наград. Я как увидел их, так и обомлел: влипли!

Крым-Гирей окинул цепким взглядом брусья, криво усмехнулся одними тонкими и темными, как сухая земля, губами, с торжествующим видом обернулся к председателю:

— Пяли, какие осины! Не-е, Данило Иваныч, я не

ошибуся! У меня глаз ватерпас! Еду утречком мимо двора, смотрю: брусья. Грабитель...— Крым-Гирей широко, властно утвердил на земле ноги в кирзовых смазных сапогах, выхватил плетку, поиграл ею перед отцом. В его глазах так и светилось: «Ну што? Чья взяла?!» — Теперя не отвертишься,— сказал он.— Сам Данило Иваныч в свидетелях!

— Ладно,— строго оборвал его председатель и обратился к моему отцу: — Максим, я тебе какой билет давал? Осиновый?

— Осиновый.

— Выходит, самовольничаешь... Откуда они?

— Это ж сухостой,— с трудом выдавил отец.— С Синих скал... Вспомни, Иваныч, мы были там на заготовках. Ты еще в бригадирах ходил. Туда ж и леший не доберется, все одно сгниет!

Председатель сочувственно вздохнул, помолчал. На войне служили они в одном пехотном полку: Данило Иваныч — командиром роты, отец — рядовым. Случалось, вместе попадали в нелегкие переделки.

— А не твоего ума дело! — вспыхнул Крым-Гирей.— Нехай гниет, а не трожь! Сказано: не рубить сосны — не руби. Закон, пнял?.. Да што с ним толковать, Данило Иваныч! Акт составим — и на суд.

— Погодь,— опять осадил его председатель.— Ты, Семеныч, не кричи... Я не глухой.

Поигрывая плеткой, Крым-Гирей обиженно смолк, но виду не подал. Важно, вразвалку прошелся по двору, открыл дверцу закута и, поморщившись от застоявшегося душка, заглянул внутрь. Кабан недовольно заворочался, завизжал, повернулся задом к объездчику. Того словно муха укусила, хлестнул он кабана плеткой, вскричал:

— Свиней откармливаешь на колхозном добре?! Составим акт — кабаном не расплотишься!..

— Отойди,— прошептал отец и встал с брусьев. Руки у него дрожали, лицо стало бледным, но решительным.— Подобру-поздорову отойди.

Крым-Гирей узко засверкал глазами из-под лохматых бровей и отступил к Даниле Иванычу, не отрывая разгневанного взгляда от моего отца:

— Грози, грози... Ты еще у меня нагрозишься.

Приход Крым-Гирея с Данилом Иванычем и разыгравшаяся перебранка были для меня настолько неожиданными, что я еще как следует и не осознал всего, что проис-

ходит во дворе. Лишь одна мысль вертелась на уме: «Неужели заберут брусья? И кабана?!»

— Вот курва! — не сдержался отец.— А ну ответь: чего ты с фронта драпанул?

Наболевший и строгий вопрос задал отец Крым-Гирею. Затаившись, все ждали ответа. Косорукий сидел не двигаясь, только вздрагивал всем телом и вертел лохматой головой. Дядя Ермолай, жестко сцепив на коленях побелевшие пальцы, весь подался вперед и глядел то на отца, то на Крым-Гирея. И Данило Иваныч тоже безмолвствовал, старательно сбивал с кителя пыль, поправлял на груди выцветшие планки...

По сей день в хуторе упорные слухи ходят, будто Крым-Гирей в первом бою под Курском отстрелил себе два пальца на правой руке и, обманув командование, вернулся в хутор с документом о непригодности к службе. Рассказывали бабы и о том, как он поучал своего старшего брата Петра, командира артиллерийского расчета, прибывшего на побывку, учинить над собой то же самое. Братья подрались, подняли шум на весь хутор, бабы еле разняли их. Но Петро не успокоился. Звякая медалями, всю ночь пьяно носился по огородам, страшно ругался и все искал брата, угрожая прикончить его на месте. На другой день он простился с заплаканной, до смерти перепуганной матерью, смущенно поцеловал ее и пошел прямиком через луга и леса к железнодорожной станции. Оттуда на фронт отправлялись составы. Спустя полгода Петро погиб смертью храбрых.

Людская молва порой причудлива, но никогда не бывает пуста. Верил в нее мой отец. Не сомневались в ней Косорукий и дядя Ермолай.

— Фашиста испугался? — глухим голосом допытывался отец, медленно наступая на Крым-Гирея.— Оттяпал себе пальцы — и в кусты! А Петро за тебя голову сложил. Не будь вас, таких, гляди б, он и жил! Мы и победу раньше б отпраздновали... И ты меня, фронтовика, на суд?! Я Берлин брал, а ты за юбками гонялся, морочил девкам головы... А теперь про закон вспоминаешь? Нет, иуда, не прикрывайся законом. Не грязни его, трехпалый!

Во гневе отец был неузнаваем. Казалось, сейчас он кинется на объездчика, свирепую развяжет драку.

— Я ранетый! — завопил Крым-Гирей, с надеждой оглядываясь на Данилу Иваныча.— У меня документ. За оскорбление личности ответишь! Я это тебе так не спущу.

Данило Иванович молчал. Только лицо у него багровело гуще прежнего да быстрый нервный тик пробегал по щеке.

— Документ и спас тебя,— промолвил вдруг дядя Ермолай.— Обманом ты его достал, вот что. Документ документом, но мы-то больше про тебя знаем. Нас не обдуришь.

— Што знаете? Што?

— Не юли, законник,— построжел дядя Ермолай.— Видать, мало попало тебе в лесу. Ничего ты не понял. Смотри нарвешься еще на горячую руку.

Косорукий встряхнулся, пробормотал себе под нос, как бы сожалея о чем-то:

— Эх, и дурак я. Дурак!

Еще ниже опустил он кудлатую голову, потер бугристый лоб широкой, как лопата, пятерней.

— Ты бы ушел, Семеныч,— сказал вдруг с расстановкой Данило Иваныч.— Иди. Я тут сам с Максимом потолкую. Ну?

Крым-Гирей в замешательстве пожал плечами, сверкнул недовольным взглядом на председателя, пнул ногою калитку и опрометью выскочил на улицу.

— Ладно, Максим! Мы с тобой еще побалакаем!

Звякнули стремена, взвилась над воротами плетка, и Крым-Гирей поскакал прочь, с ходу взяв в карьер. Где-то уже за хутором вспыхнуло смутное облако пыли, взбитое копытами жеребца.

— Как ветром сдуло.— Дядя Ермолай усмехнулся.— Не понравилась ему наша правда. Эх и человек... Вот сухостой так сухостой! Ни души, ни сердца.

— С гнильцою сухостой,— раздраженно прибавил отец.— От него вред один. Не пойму я, чего его держат в объездчиках. Народ только смущает.

— А мягкотелого поставь — мигом лес растащат,— сказал Данило Иваныч, присаживаясь на брусья.

— А я разве не сторож, Иваныч? — с обидой возразил Косорукий.— Ворюг, сам знаешь, не дюже терплю. Но люди на меня вроде не жалуются. Не слыхал... В законе всего не напишешь. Закон, Иваныч, и сердцем понимать надобно.

— Брусья я не отдам,— сказал отец.

— Свези в колхоз! — требовательно заявил Данило Иваныч.— Он же не успокоится, знаешь его! В районе услышат — худо тебе будет.

— Так, Иваныч... Это ж сухостой!

— Сухостой, сухостой! — рассердился Данило Иваныч.— Это я знаю, Ермолаич, ты! А там, брат, чешут под одну гребенку. Свези. А завтра загляни ко мне, я тебе билет на сосну выпишу. Так уж и быть, рискну. Поедешь, еще раз, не слиняешь.

Данило Иваныч поднялся и стал прощаться, поочередно пожимая всем руки. И мою руку встряхнул. Сжал ее до хруста в пальцах, произнес повеселевшим голосом:

— Растет у тебя помощник, Максим. Растет!

— А с Крым-Гиреем как? — спросил дядя Ермолай.

Данило Иваныч приостановился у калитки, выпалил с сердцем:

— Я же слухи к делу не подошью! Служит он исправно, снять не имею права. А знаю, чую нутром: прохвост каких поискать! — Данило Иваныч развел руками.— Но попробуй докажи... На фронте было легче: там такие быстро себя выдавали. А тут еще и похваливаем их. Приходится!

— Да,— раздумчиво вздохнул дядя Ермолай.— Тьма в большую грозу высветляется, и то не всегда.

Данило Иваныч ушел, мы остались сидеть на брусьях. Они теперь были не наши. Отец сказал:

— Иваныч золото-человек. Фронтовик. Слыхали, билет мне выпишет? Сосновый... И плевал я на Крым-Гирея.

Отец уже мечтал о новой поездке к далеким и призрачным, как сон, Синим скалам. Он опять жил дорóгой, здоровым и звонким сухостоем у их подножий.

Утром я мчусь на велосипеде в школу, которая находится в девяти километрах от нашего хутора, в соседней станице Кардонной. Захлебываясь ветром, я жму на все педали навстречу восходящему солнцу, пулей проношусь на спусках, легко взмываю на горки, пригибаясь к рулю. Спицы сливаются в один слепящий круг. Проплывают мимо седые от росы, скошенные луга со свежей отавой, встают впереди у самого горизонта сизые осенние дымки...

Хорошо!

Сегодня у меня на багажнике сумка, полная еще не прочитанных мною книг. И мой друг, белоголовый отчаянный Мишка, летит за мною следом, вопит изо всех сил:

— Догоню-у-у!

Дорога в школу до глянцевого блеска прикатана коле-

сами грузовиков, изрисована строгой и разнообразной вязью покрышек, исчерчена узкими следами шин... Она совсем непохожа на ту, что поднимается от караулки к туманным вершинам. Мне теперь легче, спокойнее, чем отцу. Ведь ему опять ехать за сухостоем: сегодня утром он получил в конторе из рук Данилы Иваныча «сосновый» билет. Он поедет один к Синим скалам, потому что больше не хочет отрывать меня от занятий.

Это утро началось с радости отца, пусть и дорога его за сухостоем завершится удачей. На душе у меня светло и отчего-то тревожно. Вот и школа. Мы с Мишкой бодро соскакиваем с велосипедов, оставляем их на попечение уборщицы тети Фроси и, шумно и горячо дыша, взбегаем по шатким ступенькам на крыльцо.

Здравствуй, десятый «А»!

...На заре следующего дня отец, взяв быков на стане у дяди Ермолая, уезжает один к Синим скалам.

НАД ОБРЫВОМ

Пожалуй, лучше всего топить баню в непогоду. На дворе дождь. Косые струи неугомонно барабанят по лопухам у глухой стены, по соломенной крыше, монотонный шум стоит в отяжелевшем саду. А ты сидишь в бане, задумчиво смотришь в огонь, прислушиваешься к шорохам сада... Мысль, что не надо никуда идти, что здесь уютно и ты надежно огражден от непогоды, приводит тебя в необъяснимый восторг, вызывает в душе какое-то умиление собой... Хорошо! И лень даже шевельнуться, лень проронить хоть слово. Хочется молчать и слушать дождь.

В один такой ненастный день, который я уже было причислил к неудавшимся дням моего отпуска, к нам заглянул Яков.

— Я баню протопил! — сообщил он с порога, стряхивая с плаща капли дождя.— Приглашаю в нашу деревенскую баню.— И хитро подмигнул мне: — Небось позабыл о ней, а?

Мы с отцом живо откликнулись на приглашение Якова, захватили с собой три свежих веника из веточек молодого дубняка, подпоясались чистыми полотенцами и пошли купаться в баню Петровича.

Марушане страсть как любят париться. Многим меду не надо, а подавай им в руки разлапистый веник, смочен-

ный в горячей воде, и они будут до полночи блаженно нежиться на полке́, в тумане, перехватывающем дыхание, и хлестать себя так, пока не останется от веника пучок одних прутьев. Пар костей не ломит, но если он задирист и молод, тогда держись: немудрено впасть в беспамятство или, как у нас говорят, очуметь.

Эх, баня Петровича!

За долгий свой век ублажала она людей всяких — добрых и злых, пышнотелых и худых, как копченое ребро... И никого не обидела, никому не отказала в щедром гостеприимстве. Ей бы стоять на бугре у реки и смотреть на мир радостно, спокойно, как смотрят на него честные люди. Но баня плачет подслеповатыми оконцами, будто тоскует о человеке, некогда обитавшем в ней. Имя ему — Леонтий.

Парились мы, как и раньше, при керосиновой лампе, до сумерек. Подрагивал язычок света у окошка, жаркий туман застилал глаза. Яков завел разговор о минувшем, часто вспоминал Леонтия.

...Две недели кряду ворочаются над хутором влагой набухшие тучи. В листьях назойливо шумит дождь. Осень — пора унылая... Ямы, откуда хозяйки берут в погожие дни глину, до краев наполнены мутной водой, заборы покосились; картофельная ботва в огородах слегла — так бывает лишь после увесистого, крупного града.

Ненастье вносит в жизнь марушан однообразие, скуку. Все работы в поле глохнут, клуб на замке — артистам из района по такой слякоти ни пройти, ни проехать. Вот и сидят люди, запершись в серых, потемнелых избах,— кто пьет острый квас домашнего приготовления, изнывая по солнцу, кто налаживает змеевик, мечтая угостить свата или куму известным в народе напитком. Другие режутся в подкидного — замусоленные карты так и мелькают в огрубелых руках.

Много хлопот доставляют дожди и Леонтию Камылину. После небесного душа надо сушить одежду, что связано с непременным переодеванием белья. А Леонтий не настолько богат, чтобы позволить себе эту роскошь. Одежда мокрая высыхает на нем. В непогоду бы ему сидеть смирно, кому охота мокнуть? Да разве он стерпит. Что-то смутное, властное каждый раз выталкивает его из

случайного сухого угла в дождь и призывает к странствиям.

Улица сплошь размыта потоками. Куда ни ступи — грязь, вода... Левой рукой Леонтий хватается за колья ольхового плетня, правой опирается на костыль и так, шаг за шагом, упрямо продвигается вперед и в душе клянет осень, грязь, а заодно и войну.

Из подворотни бригадира Супруна рыжим клубком выкатилась никудышная собачонка. Захлебываясь прерывисто-хриплым лаем, кинулась ему под ноги, да просчиталась и сдуру влипла мордой в деревяшку: с войны у Леонтия вместо одной ноги протез с железным ободком на конце.

— Пошла, псина...— пьяно бомочет Леонтий.

Собачонка понемногу присмирела, отбежала к забору и, льстиво повиливая хвостиком, уставилась на протез.

«И где он ее выискал? — раздумывал Леонтий.— А кобеля не видно... Обменялся или как?»

Других же собак хутора он знал по масти и привычкам. И они знали запах, цвет его волос и то, в какой бане он ночует и отсыпается в похмелье и какие поет песни, когда хватит через край. На войне Леонтий был командиром отделения пехотного взвода. Там же наградили его медалью «За боевые заслуги» и собирались повысить в звании. И уж точно повысили бы, не взорвись под ним немецкая мина.

С той поры как она грохнула, жизнь Леонтия как бы тоже взорвалась, пошла наперекос. И все у него потом было не так, как у других мужчин.

Увидев его протез, жена Нинка кинулась навстречу Леонтию, припала к его груди и заполошно заголосила как по мертвому:

— Ой, калека! Ой, ма-амочка!.. И ничего же ты мне не писал!

Кое-как она оторвалась от мужа, в забытьи добрела до кровати и, все еще продолжая причитать, уткнулась лицом в подушку. Леонтий глядел на ее подрагивающие плечи неподвижным взглядом. Сам не свой заковылял в сарай, влез в сырой, заплесневелый погреб, прикрылся сверху дверцей, чтоб не слышать, и сидел, обхватив голову руками.

Товарки пекли блины, утешали Нинку:

— Да привыкнешь, глупая... Радоваться надо: живой ведь.

А Нинка голосила — как била наотмашь по щекам:
— Не могу, родненькие!.. Не хочу одноногого, хоть убейте! Лучше б он там и остался... Ой, горюшко ты мое! Ой, несчастная я!

Сыпалась на Леонтия сырая земля со стен. Вода, ознобная, ледяная, капала на спину. В погреб просачивался стон Нинки. Отпевала она его что покойника. И он казался себе давно мертвым, будто и не жил вовсе, только чувствовал, как на голове при каждом вскрике жены, шевелясь, приподымались волосы.

— Ой ма-амочка, о-ой...

Плач ее слабел, затухал, пока не оборвался на придушенном дыхании. Кто-то в доме забеспокоился:

— Что-то Леонтий не заходит, кликните.

Бабы на все голоса звали Леонтия, заглядывали в сарай, переговаривались во дворе:

— Придет. Куда он денется.

— Да и она хороша, лярва... Погоди, я ей патлы высмыкаю. Позорит зятя.— Это выговаривала Нинкина матушка.

— Семеновна, а он такой радостный пришел. Ну, думаю, твоя повиснет к нему на шею, исцелует всего. А она, глянь, в рев!

— Он же из-за нее калекой сделался... Кровь свою пролил. А она вишь: «Лучше б он там и остался!»

— Нет бы приголубить, обласкать... Ой, Нинка, ой, срамница!

Скрипнула дверь, голоса удалились.

Наутро вылез из погреба Леонтий, а жены нет. Туда, сюда — как в воду канула. Ушла она из дому.

С того дня в пышном чубе Леонтия пробилась серебристая, под осенний иней, седина. Не узнать его было: голова светлая-светлая.

А Нинка была красавица. Черные волосы вились по спине двумя тугими жгутами, вплетены в них были яркие до боли в глазах ленты. На одной щеке, чуть пониже виска, что капля черной смородины, родинка. И шея у нее белая-пребелая, в монистах.

Крепился Леонтий с год или два. Двор обнес плетнем, соорудил курятник с насестами. Немного погодя притулил к хате кухню. В глубине души надеялся, что Нинка одумается, вернется. Но она не приходила. И тогда Леонтий запил горькую. Все у него разошлось прахом. Стены у хаты с годами пооблупились, потрескались, заметно

подались вбок. Спрессованная ливнями соломенная крыша, с прозеленью мха, давила на них непомерной тяжестью. В огороде истлевала сорванная бурей жесть с курятника. Весною она ржаво пламенела среди буйных сорняков, в зимние дни пряталась под снегом. Скоро Леонтий и вовсе лишился крова — продал за бесценок остатки жилья близкому родственнику. Не успел и глазом моргнуть, как разошлись деньги. Сначала родственник пускал его на ночлег и порой баловал рублем. Но однажды Леонтий с расстройства выбил в доме стекла, и родственник вытолкнул его в холод завьюженной улицы:

— Там твое место!

Лизала дырявый сапог поземка. Жалобно блеял в овине ягненок. Проваливаясь деревяшкой в снег, Леонтий брел по улице и ругался по-матерному на родственника, на мину, на Нинку... Так он отпраздновал день своего рождения: в ту холодную зимнюю ночь Леонтию сравнялось сорок.

Васена не кинулась ему навстречу — ждала, пока доковыляет до порога. Леонтий остановился на середине двора, покачнулся, исподлобья глянул на женщину. Вовремя ли он явился к ней, гляди; в недобрый час? Ничего он не прочел на крупном лице Васены, до глаз сокрытом под белым платком. Васена стояла, загородив проем двери сильным телом и скрестив на груди белые руки. Стояла и глядела из-под приспущенных ресниц на незваного гостя, промокшего до нитки.

Леонтий как-то вмиг отрезвел, растерянно оглядел свой грязный наряд.

— Проходи,— сказала она.— Опять нахлебался.

От всех предметов в комнате веяло устойчивой тишиной, уютом. Дубовый массивный стол скорее вызывал мысль о самой хозяйке, нежели о том, что некогда его мастерил муж Васены, убитый под Сталинградом. На ржавом гвозде, над кушеткой, висело ружье с патронташем. В потемнелом горшке на подоконнике цвела примула, и, усаживаясь около, гость опасался, как бы не задеть горшок локтем.

— Проголодался? — Васена вынимала из печи чугун.— Эх, человек... Нет на тебя хорошей узды. Ты бы у меня шелковым был.

Леонтий слушал без возражений. Кивал белой нечесаной головой, жадно ловя дохнувший из печи горячий запах борща.

— Седой как лунь, а пьешь,— укоряла Васена. Лицо ее между тем оставалось непроницаемым. Приучила себя вдова не шибко открываться людям.— Галифе в глине... Снимешь, постираю.

К еде Леонтий не притронулся, пока Васена не принесла из кладовки бутыль самогону. По-детски обрадовавшись, он прилип к рюмке обветренными губами, долго тянул обжигающую горло влагу.

— Был бы моим, дурь бы вышибла.

Леонтий выпил, но рюмку из рук не выпускал.

— Ладно уж, дам еще,— снизошла Васена.

Ей и самой почему-то захотелось облегчить душу, чокнуться с Леонтием. Горькая стопка обожгла губы.

«Не целовалась, поди, лет пятнадцать»,— пронеслось в мозгу Леонтия.

— Эх, человек,— приходя в себя, завздыхала Васена.— Сдался... А еще мужик. Даром штаны носишь.

Леонтий как мог оправдывался:

— Мина... и Нинка тварь.

— Тварь,— Васена утирает глаза.— Таких не жалей.

— Эх, Васена Ильинична! — пытался что-то высказать Леонтий, но, пораздумав, внезапно оборвал вздох. С ним это случалось, когда хмель ударял ему в голову и приятно, будто теплым парком, туманил ее. Волна необыкновенной легкости разливалась по телу, как бы освобождая его от лишней тяжести, от протеза, и Леонтий на миг ощущал в себе буйные, молодые силы.

Женщина знала его причуды и, как только он выдохнул: «Эх, Васена Ильинична!» — заспешила убирать со стола. Леонтий покосил глаза на ружье да возьми и спроси у нее:

— А централка тебе на что, Ильинична?

— От вашего брата остерегаюсь. Со мной не балуй. Да охотой пробавляюсь. За мужика.

Знал об этом Леонтий, но зачем ей охотиться — этого никак не мог взять себе в голову. Больше они ни о чем не заговаривали. Прислушиваясь к шуму дождя за окном, вздыхали о своем. Подавленно запинались на стене ходики. Стрелки то вскачь срывались с места, то на бегу останавливались. Муж Васены пристально глядел с фотографии на поникшего Леонтия. Кривая кавалерийская сабля, вынутая из ножен, тускло светилась в сильной его руке.

Посидев еще немного у Васены, Леонтий сообразил, что больше она не позволит: ночь темная подступает к

окнам, пора в баньку. Баня стояла на отвесном бугре, открытая семи ветрам. По самые окна она вошла в травы. От стен несло ревой, лопухами и молочаем. Принадлежала она трактористу Петровичу, но мылась в ней вся окраина, кому не лень. С утра до ночи курился над серой крышей дым, выпирал сизыми клубками из-под застрех, низко стлался по-над землей. Из душного предбанника порой выскакивали голые мужики, красные от жаркого пару как раки. Бывало, выглядывали и девки хватить глоток другой воздуха, дородные, допьяна разморенные теплом... Стыдливо озираясь, как бы кто не подсмотрел, они спешно охлаждались и прятались за черной дверью.

Баня нравилась Леонтию. Была она старой, с виду неказистой, зато надежной. Дубовый пол, пропитанный мылом и щелочью, Петрович с Сагайдаком сколотили навечно, доска к доске. В углу возле дверей помещалась каменка — громоздились черные от копоти речные голыши. Тут же вскипал над огнем десятиведерный котел. Рядом, шибая в нос острой плесенью, возвышалась пузатая, разбухшая от сырости деревянная бочка. Когда топили баню, бочку заливали водой и бросали на дно раскаленные добела камни. Пар густо бил в потолок, липкой паутиной заволакивал баню. Белый свет дня еле струился в окно.

Леонтий обычно терпеливо сидел на бугре, пока не выкупается последний клиент. С шумом распахивалась дверь, и ему кричали:

— Занимай, Левка! Квартира — в самый раз!

Леонтий провожал благодарным взглядом разморенных жаром марушан, томясь телом, заходил в баню. Деловито возжигал рыжее пламя керосинки, нащупывал в кадушке горячую воду. Снимал протез, раздевался и с помощью костыля влезал на полок, окуная голову в бесплатные пары. Тепло пробирало до костей. Если он до бани побывал в продовольственном ларьке и успел подзарядиться, таяли у него силы. Тогда, обливаясь потом, он вставал с полка, прыгал на одной ноге в предбанник отдышаться. В потайном же углу, над полком, берег он связку веников, наломанных летом в молодом дубняке,— ездил за ними на подводе с Петровичем. Остудившись на сквозняке, Леонтий брал в одну руку веник, в другую алюминиевую чашку и, зачерпнув воды из котла, плескал ее на жаркую каменку. Шипела она, будто сковорода на огне. Горячей струей пар ударял в ноздри, спирал дыхание,

плотным туманом застилал глаза, и Леонтий, торопясь взахлеб наглотаться банной благодати, надышаться ее до кружения в голове, расправлял широкие листья веника, пластом валился на полок и шпарил себя, ликуя, по спине, по ягодице... Выматывался из последних сил. В руке вместо роскошного веника оставался огрызок из веток с двумя-тремя уцелевшими листьями. И тогда он утихал, жмуря глаза и как бы засыпая.

Каждому свое: один проявляет себя в любви, другой находит удовольствие в песне, кто спит и видит себя начальником, а вот Леонтий больше всего любил до одури париться и пить. У всех есть свой конек, тем и живы.

Иногда к Леонтию являлся брат Петровича кузнец Архип, мужик угрюмый, неопрятный, в черных завитках волос, с черными руками. С ним приходил и шустрый гармонист Васек, пятнадцати лет от роду, в фуражке с лакированным козырьком.

Архип вытаскивал из-под плаща бутылку водки, ставил ее на лавку и незаметно следил за выражением лица Леонтия, за тем, как постоялец радуется гостям. Усаживаясь поудобнее на лавку, Архип басил:

— Жарь, Васек!

Васек грудью налегал на мехи гармошки. Трепетно, легко взлетали пальцы над черно-белыми рядами пуговок. От яркой, праздничной мелодии стены бани как бы раздавались вширь. Васек, горячась, мимоходом, как взрослый, одним духом выпивал свою долю, неистово вздыхал:

Как у Дона у реки
Тянут сети рыбаки!

Слова эти повторялись множество раз, и при каждом повторе Васек выделял «у», дурашливо вскидывая голову с копною взъерошенных волос. Раскачивалась под потолком черная вешалка для одежды, весело позванивали задымленные стекла. И Леонтий почти явственно видел веселых и сильных рыбаков. Они дружно вытаскивали на берег сети, полные крупной серебристой рыбы.

У н вдруг развязывался язык. Устремив в одну точку глаза, он рассуждал:

— У Васька, поди, вся житуха как музыка. Молодой... Пороху не нюхал... А пьешь рано. Рано пьешь!

В глазах Леонтия светлели слезы. Ни с того ни с сего проступило в тумане отяжелевшей памяти лицо Нинки. Бежала она к нему по шаткому мостику через протоку.

Улыбка поигрывала на чуть прикушенных губах. И молодой двуногий Леонтий, сорвав с плеча ремень гармони, полнясь невыносимо пьянящим счастьем, во весь голос запел:

Как у Дона у реки
Тянут сети рыбаки!

Эхо от того берега вернуло ему задорный повтор, аукнулось. Хорошо так... Веселое было время, эх, веселое время!

Музыка стихла. Но сразу взметнулся, всколыхнув дым, бас Архипа:

— Жарь, Васек! Будет больше пару... Мать честна-ая! Жарь!

Дождь бормотал за окном, булькала вода в тазу, мокро поскрипывали ворота. И где-то во тьме по неровному бугру плелся к бане Леонтий. Васена чувствовала, как неуютно ему под хмурым и низким небом, без луны и звезд. Он мнился ей тяжело больным, беспомощным, как дитя. Сердцем порывалась кинуться за ним вдогонку, вернуть в сухую хату, обогреть...

Она сняла с себя платье, распустила смятые волосы. В глубине зеркала сияло ее отражение. Дородное, белое тело неясно проглядывало сквозь тонкое полотно исподницы, едва доходившей до колен. Сама природа произвела Васену для любви и детей, но война отняла у нее мужа. И вот она стоит одна, без хозяина, без детей, при пустом доме с мужниным ружьем. Угасала Васена, в четырех стенах, как отшельница в монашьей келье.

Васена смотрела на себя, с любопытством изучая колени, глаза, плечи... Вздыхая, потянулась рукой к темному пятну выключателя. Легла в постель. Смежила веки, полежала так минуту-другую и вдруг со всей отчетливостью поняла, что этой ночью ей не уснуть.

«Эх, Васена Ильинична!» — неотвязно преследовал ее полувздох Леонтия. И что о ней думает Леонтий? Что хочет высказать начистоту и запинается? Потом мысль ее переходила на другое, и она уже думала о себе, по-женски строго, печально: «Живу... Баба не баба, мужик не мужик... Кто я? Если баба, то чего таскаюсь на охоту, чего стреляю зайцев, рублю дрова? Вчерашней зимой, под Новый год, убила в логу волка, все мужики так и ахнули.

Матерый был волчище. Леонтий снял с него шкуру, с той поры, кажись, стал меня остерегаться. И ладно. Его поважь — распустится еще пуще... Не баба я. Не баба. Детей не рожаю, никого к другим не ревную...»

Бормотание ливня становилось тише, глуше. Отблески дальней грозы плавились на стенах. В бане на бугре маялся пьяный Леонтий. Она представила себе: укладывается он спать на грубые запотевшие доски. В протезе, грязный... Под голову кладет фуфайку.

Прежняя упрямая мысль помочь Леонтию вернулась к ней. Она должна пойти в баню, а если не пойдет сейчас, то днем или неделей позже. Так зачем тянуть?

Васена оделась.

Леонтий свесил с полка ногу, лениво протер глаза, для острастки кашлянул. Стук повторился. Короткий, требовательный.

— Кто там? — недовольно заворчал Леонтий.— Носит же чертей ночью...

— Отворяй,— сказала Васена.— Стучу, стучу, а ему хоть бы что. Хоть из пушки стреляй. Медведь...

— Спал я.

Васена решительно переступила порог, вошла в предбанник. Свет фонаря метнулся по углам парной, уперся в плечо Леонтия.

— Ничего себе живешь! Как скитник.

— Тепло, не жалуюсь,— стыдливо взбадривал себя Леонтий, приноравливаясь к ее тону и сослепу натыкаясь на камни, кем-то раскиданные по полу.

— Вшей разводишь.

— А я их парком, Васена Ильинична. Дохнут.

— Ох, Леонтий! Нету на тебя бабы.— И резко, со злостью приказала: — Собирайся, кончилось твое банное жилье. Отвалялся на полке́.

В желтом свете фонаря глаза Леонтия тлели черными, колючими угольками. Огорошенный твердым велением Васены, он забился в угол бани, спиною к остывающей каменке. Хмель еще не вышел из головы, мозги работали туго, как старый паровик.

В хрипе Леонтия просьба, недоумение:

— Куда собираться, Васена Ильинична? Растолкуй... А по мне, так в пару веселее. Пар, он костей не ломит.

— Потом узнаешь. Не юли.

Леонтий покорился, приладил к бедру деревяшку. Шевельнулась мысль о близкой перемене жилья: «К себе кличет, что ли?» Леонтия пугала чистота ее дома, строгие порядки, заведенные в нем. Пугали крашеные полы, горшок с цветком, белая раковина под умывальником. А Васена напускала на себя строгость, поторапливала:

— Чего возишься? Небось у меня хуже не будет.

Говорили про Васену разное. Одни догадывались, что вдова приняла Леонтия из бабьей жалости, как постояльца, другие оспаривали догадку: мол, никакой он не квартирант, а теперь натуральный муж Васены. Она стирает ему белье, готовит обеды и, ясное дело, ведет с ним грешную жизнь. Хватит с нее, набедовалась одна, наждалась...

Леонтий спал в большой комнате, за ситцевой ширмой. Ширма заслоняла кровать от невольных взоров Васены. Прежде чем войти в комнату, хозяйка притворно гремела об пол ногами и осторожно отодвигала край шторы.

— Входи,— отзывался Леонтий.— Я уже одетый.

В первые дни он испытывал какое-то тягостное ощущение неудобства. Все ему не то что было не по душе, а... сам леший не разберет. Чувствовал он себя не в своей тарелке, порывался уйти в баню. Под воскресенье Васена угостила его крепкой медовухой; теплая волна хмеля ударила в голову, привычно разошлась по телу. Он ощутил в себе прилив бодрости, озарился смелостью мужчины, уверенного, что если сильно захотеть, она его полюбит. Давно с ним такого не случалось.

— У тебя прибрано,— издали начал подбираться к сути Леонтий.— Гладко постелено. Сказано — баба.

Васена слушала со вниманием.

— Я поначалу перепугался. Непривычно, отвык от комфортов. Да и вообще...— Леонтий махнул рукой.— Не подступал к вашему брату, больно вы занозистые. Чего не так — сразу по шее. А ты вот меня приветила. Зачем?

Васена смолчала. Леонтий выпил еще. Она собрала посуду и отнесла.

— Так вот,— смелея, продолжал Леонтий.— Ночую я у тебя и между протчим шевелю мозгами: а для чего мы живем с Васеной Ильиничной? Я скитаюсь по баням, сплю в обнимку с кобелями. Ты наводишь в доме порядок, цветки в горшках поливаешь. Так? — Леонтий помолчал,

помолчал и прибавил: — Не вижу я в нашей жизни никакой разницы.

Васена построжела лицом:

— Иди спать. Перепил, мелешь несусветное.

— А не мелю! — взгорячился Леонтий.— Я, Васена Ильинична, как на духу говорю. Да, я лишний среди людей. Там мне и место — с кобелями.

Васена сидела не двигаясь, Леонтий смелел:

— Вот и ты... Женщина собой видная, лицо полное, белое... Любо-дорого посмотреть. А к чему людям твоя краса? Все одно ни для кого. Засыхаешь на корню... Обижайся не обижайся, а правда за мной.

Васена отозвалась шепотом:

— Такая нам выпала долюшка...

Ночью ей не спалось. Как ни старалась забыть разговор, ничего не получалось. Задели ее за живое укоры Леонтия, от них больно.

«А к чему людям твоя краса? Все одно ни для кого. Засыхаешь на корню»,— все время подступали к ней обидные слова. И плакала она в подушку, без голоса, без слез. Не смела шевельнуться, вскрикнуть.

Леонтий, лежа за цветастой ширмой, догадывался: не спит она. Клял себя на чем свет стоит: не надо было ей лишний раз бередить душу. Выждав с полчаса, Леонтий приподнялся на локтях, виновато позвал:

— Васена... а, Ильинична? Не убивайся, я спьяну...

Ни звука в ответ. За окном серебряной каплей дрожала одинокая звезда. Небо распогоживалось.

Зима в тот год выдалась на славу. Снежная, с морозом градусов под тридцать. С утра до ночи детвора скользила на лыжах, полосовала синий речной лед коньками.

Обычно любая зима воспринималась Леонтием как неотвратимое бедствие. Обувка у него была худая, с чужой ноги. Рваную фуфайку насквозь продувало ветром, сквозняками. Уже с первых морозных дней ждал Леонтий ясного солнышка, талой воды, зеленой травки по обочинам кювета. Теперь же, хорошо обутый и одетый, он как бы впервые поразился красоте зимнего убранства улицы, высоким шапкам снега на деревьях. Белые горы вдали сияли фиолетово, как купола старинных церквей.

В ту зиму многое отчетливо всплыло в памяти и немало удивило Леонтия. Ведь он давно свыкся с мыслью

о потерянности всего, что осталось за далью годов, свыкся и насильно заставлял себя не вспоминать былое. А теперь он без боязни опять увидел себя молодым, в порыжелой дубленке, в добротных, подшиты крепкой дратвой валенках. Рассыпая смех, Нинка бежала к нему, облепленная снегом. Сильный, горячий, он хватал красну девицу в охапку и, не дав ей опомниться, усаживал в сани. Вдвоем в восторге хватались за стылые копылья и неслись с бугра, оглушенные ветром... «Эх, Нинка!»

Зимой Леонтия назначили сторожем в тракторную бригаду. Полевой стан находился в двух километрах от хутора. Леонтий ходил на дежурство по дороге, скользко укатанной санями.

Скучала без него Васена. Все думала, как там Леонтию сторожится, не холодно ли ему, не напали ли на него воры. А может, волки сбежались вокруг сторожки и воют. Слушать их одному страшно.

Леонтий возвращался с работы утром. У порога обметал с валенка снег, по-хозяйски хлопал задубевшими от мороза рукавицами. Васена принимала шубу, костыль и, оживляясь, подавала завтрак.

Днем квартирант хлопотал по хозяйству. Рубил дрова, выгребал со двора снег, чинил обветшалый забор. Васена тайком наблюдала за ним, гордилась. Какой ни есть, а мужик. С той поры, как привела она в дом Леонтия, жизнь ее переменилась к лучшему. Васена была уже не просто хозяйкой или рядовой колхозницей, которая занимала на вывозке навоза первые места, а еще и женщиной, заботящейся о мужике.

В зеркало она гляделась, против обыкновения, чаще. По многу раз заплетала волосы, втайне оглаживала ладонью плечи. А однажды примерила новые чулки, купленные еще летом в автолавке. Они красиво обтягивали ноги, и Васена пунцово зарделась: «Господи! Поди, как у девки. Еще бы стать на каблуки. Леонтий бы не узнал...»

И не ведала Васена, что скоро ей придется пережить тяжелые минуты.

В предновогоднюю ночь кто-то постучал в дверь сторожки. На дворе мело, пуржило, ошалело гудел ветер. Время позднее. Леонтий отошел от плиты, прислушался. Либо ему почудилось, либо ветер пошаливает, плюется ледяшками в дверь. Опять постучали. С холода донесся простуженный бабий голос:

— Пусти!

С клубами мороза в сторожку вкатилась баба в белых сапогах, в шубе. Голова закутана в пуховую оренбуржскую шаль. Он пригляделся и едва различил посинелый нос в инее, крашеные губы большого рта.

— Здравствуй, Лева!

Баба выпростала руки из рукавов потертой лисьей шубы, вяло сбросила с себя шаль, обдав Леонтия запахом снега и дешевых духов.

— Здорово, коли не шутишь,— ответствовал Леонтий, приглядываясь к запоздалой путнице.— С дороги сбилась?

— Не узнал? — в свою очередь спросила незнакомка. Она приблизилась вплотную к Леонтию, слегка дотронулась до его жесткого подбородка.— Что ж ты, Левушка, старую любовь забываешь? А я так бежала, так спешила...

На широком лице мелькнула улыбка, баба повела бровью и повернулась к нему боком. Пониже виска проглянула родинка.

— Нинка? Как ты сюда пришла? — вырвалось у Леонтия.

Взмахом головы Нинка откинула на спину жидкие волосы.

— Я, Левушка. Язык до Киева доведет. Не ждал?

У него пересохло в горле. Закачался под ним пол. Леонтий зачем-то переставил чашку на столе, нахлобучил на уши шапку. И еще что-то делал...

— Не в добрый час прибыла. Метель!

— Левушка! — она рухнула перед ним на колени, потянулась к протезу.— К тебе пришла... Прощения просить. Прости! Вижу, оба настрадались мы вволюшку. Рассказать, как я жила,— содрогнешься.

Она подняла мокрое от слез, постаревшее лицо с покорными, виноватыми глазами и еще горячее каялась:

— Прости меня, Левушка. Прими! Теперь ни на шаг от тебя не уйду, молиться за двоих буду! Любить... жалеть!

Он смерил ее пристальным, изучающим взглядом, в котором стыло еще изумление, заметил у нее под глазами синеватые отечные пятна.

— Уйди,— прохрипел Леонтий.

— Не гони, христом-богом прошу! Мы теперь не молодожены, как-нибудь поладим.— Во взгляде ее смирение, мольба.— Прости!

— Прощу не прощу — от этого не полегчает тебе. Совесть нам судья. Уходи.

— Гонишь? Ночь же, снег... Запуржит — и кончусь. Не жалко, не жалко тебе?

— Притворства в тебе много. Уйдешь и опомнишься.

— Куда, Левушка?

— А куда уходила! Белый свет неоглядный, авось где и прибьешься.

Нинка встала, всхлипывая и размазывая по щекам слезы с разводами черной краски.

— Еще пожалеешь. Еще вспомнишь обо мне. Я же к тебе с добром шла. Думала, простишь — и поладим. Тогда я красоты хотела, а ты без ноги. Думаешь, легко это перенесть? Это теперь я бы не задурила. Да мы умны-то, Левушка, бываем задним числом.

Она накинула на плечи шаль, покачнулась вдруг на каблуках сапог и упала на топчан.

— Ненавижу! — вскричала она, катаясь по доскам.— Войну, калек... себя ненавижу! Я же люблю тебя, Левушка... А она все отняла у нас, выпотрошила душу!

Ее заполошные крики вытолкнули Леонтия в гудящую темень ночи. Не хотелось жить. Он брел с закрытыми глазами навстречу расходившейся пурге. Там, впереди, пропасть. Хватит с него, отмучился. Протез застревал в снегу, тяжело поскрипывал.

За углом сарая Леонтий перевел дыхание. С одной стороны сарай по застреху завалило сугробами, с другой — к нему подступал обрыв. Леонтий был от него шагах в пяти. Внизу клубилась, завывала мгла. Он открыл глаза, провел ладонью по мокрому лбу и впервые за много лет перекрестился.

«Сейчас кинусь,— пульсировала мысль.— Снегу там навалом. Не найдут. Разве лишь весной обнаружат. Когда поотгает».

— Подумай, Леонтий, обо мне.

Ее голос прозвучал так явно и близко, что Леонтий вздрогнул, в беспокойстве оглянулся. Васены не было. Летел в лицо снег. Струилась за воротник мерзлая труха с крыши... Откуда голос? Или это послышалось?

«Ильинична, что со мной? Не буду, ей-богу, не буду. Я же сдуру жениться на тебе думал. А ты и не знаешь».

Ему представилось, как бы Васена несла его гроб на кладбище, как бы убивалась по нем. Жалко стало не себя, а ее. А Нинка бы плакала? Плакала бы и она. И, подумав

так, он пожалел и Нинку, давно чужую ему, пожалел до сосущей боли в сердце. Леонтий смахнул рукавом непрошеную слезу, побрел назад, на трепещущий огонек сторожки.

Нинка уже спала. Леонтий снял с нее сапоги, укрыл шубой. И когда он укрывал, что-то давнее, забытое на миг шевельнулось в нем. В памяти опять всколыхнулось, высветилось молодое ее лицо. Как оно непохоже на это лицо, с темнеющей синевой под глазами...

Проснулась она утром. Леонтий подремывал у плиты, освещенной тусклым светом догорающих углей. Нинка молча засобиралась. Уже у двери сказала:

— Надо побыть в моей шкуре, чтобы простить.— Помедлила, вздернула бровь, улыбнулась: — Слыхала я, ночуешь у Васены? Смотри, побалуется и выбросит.

Она догадывалась о причине своей неудачи. Нагрянь она чуть раньше, когда Леонтий еще не был так близок с Васеной, все бы обернулось по-другому. Гляди бы, он и простил. А сейчас надо куда-то ехать, опять самой заботиться о куске хлеба. Жизнь оборачивалась к Нинке не лучшей своей стороной. И в ней поднималось мстительное чувство к Васене.

— Что ж,— сказала она, пытаясь на прощание побольнее уколоть Леонтия,— сердце у нее щедрое. Приголубит и тебя. Местечка у нее на многих хватит.

Леонтий сжал в руке костыль, молча кивнул на дверь. Нинка вышла на чистый, умиротворенный снег. В минутной растерянности потопталась у порога, накинула на голову шаль.

— Был муж мой, стал враг мой. Сама, видать, виноватая. Да и ты хорош, Левушка...

До боли в суставах он сжимал костыль, глядел, как она пробивается меж сугробов к дороге, которой не было видно под снегом. Полы ее шубы развевались, сапоги проваливались в снег, оставляя глубокий, вихляющий след...

Время перевалило за полдень, а Леонтий не возвращался. Васена выходила на крыльцо, глядела из-под ладони вдаль. Свежий санный след прорезался далеко-далеко, к самой сторожке. Сугробы, наметенные за ночь на обочинах, оседали. Изредка вдали мелькали черные точки.

Сердце у нее трепетало. Надеялась: там и Леонтий. Точки постепенно приближались, превращаясь в челове-

ческие фигуры. Нет, опять не он. Тогда она присела на порог крыльца и загорюнилась. Сильная и властная, сейчас она казалась сама себе слабой бабой. Не придет — расплачется.

Леонтий не пришел.

Леонтий небось простил Нинке. Шастала она вчера вечером по хутору, что-то выспрашивала у соседей. «Уедет с ней, а я останусь». Подумав об этом, она ужаснулась.

Васена вошла в дом. Муж глянул на нее с фотографии. Кривая кавалерийская сабля змеилась в его руке. «Господи,— шептали ее губы.— Виновата я, Федор. Не надо было в дом пускать его. Из-за него и тебя забыла». Федор слушал ее покаянный шепот равнодушно. Молодому, прошлому, ему было все равно, кто помнит его, а кто позабыл.

Вволю наплакавшись, Васена заперла дом.

Она бежала к сторожке не чувствуя ног. Платок на ветру бился, как крыло подстреленной птицы. В сторону от нее шарахались случайные прохожие. Оглядывались и долго глядели ей вслед. А ей казалось, что если она будет идти шагом, то опоздает и не застанет Леонтия. И больше никогда в жизни не встретит. Позабыв о стыде, она бежала к сторожке и видела перед собою лишь две ослепительные полоски санного следа.

В ту минуту, когда Васена рванула на себя дверь и увидела пустую комнату, ее охватило отчаяние. Она опустилась на приступок, не обметенный от снега, и, комкая в руках платок, невидящими глазами смотрела куда-то ввысь, поверх белой крыши сарая. Потом она заметила следы от женских сапог и его валенок. Следы, переплетаясь на снегу, убеждали ее в том, что Леонтий с Нинкой ушли вдвоем.

Они в бане!

И она поверила этому и решила последний разок взглянуть на Леонтия. А потом пусть он уходит.

...Из бани доносились пьяные голоса. Перехлестывались они с жалобным пиликаньем гармошки, звон стаканов слышался. Пьют. Отмечают на радостях встречу.

«Ну и глупая я, глупая! Век прожила, а ума не приобрела. Поверила в пьяницу. Господи, что наделала! На кого хотела Федора сменить!»

Васена заколотила кулаками в черную дверь.

Архип возник на пороге. Тряхнул цыганскими кудрями, уступил дорогу:

— Васена Ильинична явилась!

Васек мигом сжал гармошку и — бочком-бочком — юркнул в предбанник. Туда же удалился и Архип. Васена повернула вертушку.

Леонтий не поднял головы. В зубах у него тлел красный огонек самокрутки. На лавке стояла недопитая бутылка. Горбушка хлеба да луковица лежали тут же. Васена приблизилась к Леонтию и, не говоря ни слова, властно привлекла его к груди. Он ощутил возле своих губ влажное ее дыхание, услышал биение ее сердца.

— Один! Почему не приходишь?

— Васена! — он отозвался на ее объятия, поцеловал в щеку. Переждал, погладил волосы.

— Глупый... Разве у меня плохо?

— Васена! — повторил Леонтий.— Фу-ты, как совестно... Ей-богу! И глядеть на тебя страшно.

— Гляди, гляди, тебе можно... Пойдем домой.

— Пойдем,— сказал Леонтий.— Не ругай, Васена... Задурил я нонче с расстройства.

— Знаю. Где она... пташка залетная?

— Ушла... Скатертью дорога!

Васек с Архипом не скучали в предбаннике. Оба, мигом осмелев, застучали об пол сапогами, запели все громче и громче.

Как у Дона у реки
Тянут сети рыбаки!

Увлекая за собою Леонтия, Васена приостановилась в предбаннике и больше с радости, чем со зла, погрозила им кулаком:

— Я вот вам потяну сети, лоботрясы!

— А мы мелкую рыбешку ловим, теть! — с задором хохотнул Васек, пустив быстрые пальцы по пуговкам.— Стограммовую!

— Будь я твоей матерью, ты бы по-другому пел,— сказала Васена.— Закрывайте — и марш домой!

Спустившись с бугра, Леонтий обернулся назад, увидел, как Архип с Васьком вешают замок на черную дверь, и что-то кольнуло его в сердце при мысли, что он, может быть, до заката дней своих прощается с баней. Если и будет в нее заходить, то уже не как постоялец, а по надобности — понежиться на теплом, в душном пару полке́. Васек опять растянул мехи гармошки, с порывом ветра доплеснулась до слуха знакомая песня. Но теперь Леон-

тий почувствовал в ней мотив грусти, или это ему так лишь показалось:

Тя-янут се-ети-и ры-ба-ки...

Было светло и печально прощаться с тем, что служило ему приютом, не скупясь, дарило тепло и отдых в трудные дни душевной сумятицы, в пору, когда весь мир, казалось, отшатнулся от него, занятый своими большими заботами. И Леонтий в мыслях благодарил баню с блеклым окошком в стене, поспешая вслед за Васеной. Крупно шагала она по снегу порывистой походкой.

САГАЙДАК

После бани спокойно и долго спалось. Пробудился я лишь перед восходом солнца: свет розовый трепетал за окнами, пылали в росе крыши и листья, сизые дымки вставали вдали. И как светло, как радостно сделалось на душе! Захотелось тут же встать, одеться и уйти на речку. И я ушел. И пробродил там до вечера в счастливом одиночестве, в неистовом желании жить.

Но вот я увидел старого мельника и вздрогнул от внезапной и странной мысли, что я знаю, о чем он думает. Передо мной возникла сначала грозная картина половодья, потом зазвучали обрывки давно умерших фраз, и, что всего удивительнее, мне показалось, будто я начинаю думать, как и он.

...Старый мельник стоит на пригорке, опершись телом на палку. Раскидистый абрикос, с черным, как земля, стволом, склонился над ним и молчит. А внизу, на выцветшем лугу, в тишине наступающего вечера белеет стая гусей. Это его гуси, и старый мельник пасет их, вдыхая еле различимые запахи чебреца и мяты.

Сюда плывет приглушенный лесом шум Касаута. Он протекает за кустарником облепихи. Мельник любит слушать отдаленные всплески воды и по тому, откуда рождается шум, определяет, какая будет погода: если река вздыхает в верховье, быть дождю или темным тучам; если в низовье — всю ночь светиться звездному ковшу. И не нужно ему никакого барометра.

Звонкий голос мальчишки до боли знаком и ласков:

— Эй, Колька! Айда на Сагайдачку!

Старик вздрогнул.

«Реки уж нет,— подумал он,—а имя живет».

Двое белоголовых сорванцов бежали наперегонки по старому руслу, заросшему травой и колючками, поддавали ногами жесткие шары перекати-поля, и смеялись, и в восторге всплескивали руками, а Сагайдак все удивлялся. Ему было радостно, что мальчишка назвал имя умершей реки. И, подчиняясь давней привычке беседовать с окружающим миром, он сказал:

— Я не знаю, чьи вы, такие резвые. И вы не знаете меня. Но зато вы знаете мою речку.

Он закрыл глаза — так лучше думать,— и далекие картины прошлого встали перед ним. В первый год коллективизации Сагайдак облюбовал место для мельницы на лугу под кручей. Прикинул, как из большой реки, из Касаута, подвести сюда воду и какой получится пруд. Сказал людям...

Работали все в охотку и чуть было не молились на Сагайдака, обросшего окладистой бородой мудреца. В заречном лугу, к югу от Марушанки, пропадал по окна в рыжем бурьяне деревянный курник на колесах, с перепугу забытый одним кулаком. Вагончик притащили в хутор, залатали ему бока и приспособили под мельницу. Всем скопом глубокое русло прорыли...

Сагайдак делал мельницу погожими днями и лунными ночами, и каждый раз ему чудился торжественный рев воды под ней, и пахло рыбой... Ему помогали сын Илья да еще мастеровые люди из колхоза. Надоело им возить на мельницу мешки с зерном за тридевять земель, в большую прикубанскую станицу Кардонную, вот и старались...

Из огромных каменных плит Сагайдак вытесал мельничные жернова, приладил их на крепкой, из вязкого дуба, основе, соединив железными четырехгранными осями с турбинами, какие были установлены под стоками лотков.

Настала пора воду пускать. Толкаясь в берега, проворно хлынула она по новому руслу. Первые волны достигли плотины, шумливо накатились на нее. Река, как живая, вздрогнула, кое-где вскипела белыми бурунами и пошла гнать волну за волной на приступ высокой плотины.

Непривычно выпрямившись всем своим кособоким телом, Сагайдак стоял возле закрытого шлюза, жадно ловил ртом повлажневший от воды воздух и чему-то улыбался.

Он ждал, когда наполнится пруд, чтобы открыть шлюз. В руках он держал наготове лом.

— Пускай! — кричали ему с обоих берегов.

Но он ничего не слышал, кроме шума реки, и по-прежнему стоял не шелохнувшись, с загадочной улыбкой на чуть побледневшем лице. Сагайдак ждал.

Темная вода медленно поднялась до отметки, известной одному Сагайдаку. И он преобразился. Схватив наперехват лом, кинулся к шлюзу, припал плечом к столбу, чтоб крепче стоять, ловко вдел лом в отверстие деревянной вертушки и, обнажив в усилии белые зубы, крутнул ее на себя. Люди, сгрудившиеся на плотине, затихли...

Послышался звон цепей, наматываемых на вертушку, тягучий скрип взмокшего дерева — то подымался затвор, освобождая путь реке. Заждавшаяся у плотины вода ринулась в лоток, к лопастям турбины. И Сагайдак почувствовал, как шевельнулось внутри мельницы тяжелое каменное колесо, как размяло оно пущенные по желобу зерна. Он засмеялся, бросил на землю лом и бегом вниз по плотине! Бежал, почти не хромая. Он долго не появлялся в дверях мельницы, а когда вышел с протянутой пригоршней муки, с белыми от нее губами, все разом загудели, закидали вверх шапки. Поняли: мельница мелет!

Потом, глядя на воду, стремительно бегущую к лопастям, Сагайдак пообещал:

— Когда-нибудь я сделаю большую мельницу.

А люди радовались на лугу и, хмелея от радости, с разбегу кидались в пруд. В воде смешно перебирали руками по дну, плавали на спине и плескались, блестя влажными глазами. Выходили на берег с хохотом. Тут же они и произвели Сагайдака в колхозные мельники.

С той поры марушанские хозяйки перестали отказывать себе в блинах и сдобных оладьях. Белую муку больше они не экономили, знали, что Сагайдак намелет еще. А молоть он умел. Мука у него выходила такая белая и душистая, что скоро о ней прослышали в соседних хуторах и селах. Потянулись люди к мельнику со всех сторон — кто с оклунками через плечо, кто на подводах. Даже из станицы Кардонной и то приезжали к нему: лучшую отбойную муку только у Сагайдака и смелешь.

По воскресеньям Сагайдак не молол. Он останавливал мельницу, открывал настежь дверь, березовым веником смахивал со стен мучную пыль. Долго не таяло над островерхой крышей густое белое облако, и люди знали: Са-

гайдак готовится к следующей неделе. Закончив с уборкой, мельник принимался жернова править. Это была тонкая и сложная работа. От нее зависело, какая будет мука. Каждая насечка на камне, выбитая зубилом, имела свой смысл и назначение. В насечках секрет мастера. Он не допускал ни одной лишней, ненужной насечки. В этом ему помогали мозолистые, темные ладони, которые хорошо чувствовали поверхность камня.

После работы Сагайдак расправлялся с обедом, который, по обыкновению, приносила ему на мельницу жена Мария, и укладывался на полу, на расстеленной, шерстью вверх, шубе. Неумолчно шумела вода, тянуло из-под пола студеной прохладой. Ему нравилось лежать на шубе под шум воды и думать, что с ним отдыхает мельница. И река отдыхает. А завтра втроем, поднабравшись сил, они опять примутся за работу, нужную хутору. Он гордился, что они работают вместе, и ему часто казалось, что это будет длиться вечно, всю жизнь. Пока есть он на свете, пока ладони его ощущают бугорок на камнях.

Но скоро началась война.

Немцы ворвались с барабанным боем, пистолетными выстрелами и жуткой игрой на губных гармониках. Мельница остановилась. Близилась смерть мастера.

По ночам он лежал в темном сарае, жадно втягивал в себя острый настой сена, смешанный с неуловимым запахом коловертей и пил. До утра, мучаясь, ждал сна. Только сон избавлял его от тяжких дум, и тогда он видел дома, сделанные его руками, и белые фермы на склонах.

Марья забеспокоилась, как бы он не помер с тоски. Лицо у мужа черным-черно, руки пообвисли. И взгляд чужой, свирепый. Однажды она сказала:

— А мельницу твою не трогают. Стоит.

— Пускай посмеют! — погрозил Сагайдак.

И он пошел на мельницу проверить, нет ли там кого. Высокий немец вышел из тумана. Широко расставив сапоги, ждал, пока мельник приблизится к пересохшим лоткам. Сагайдак шел, грузно налегая на больную ногу. Он недоумевал, кого ждет этот верзила в брезенте и почему он очутился на его мельнице. И тут он увидел, что дверь выбита ломом. Рваная щепа от досок валяется на песке.

Наглость пришельца, зачем-то взломавшего его дверь,

привела Сагайдака в бешенство. Он не думал, что с ним будет. Схватил тяжелый, ребристый лом, с маху занес над головой. Немец инстинктивно дотронулся до кобуры. Но вытащить пистолет не успел и замертво, без крика рухнул к ногам Сагайдака.

Фашисты долго искали пропавшего без вести унтер-офицера, водили на допрос в комендатуру подростков и грозились сжечь все дотла, если жители не выдадут им партизана. Но что-то им помешало, и все забылось.

Убитый унтер-офицер между тем лежал под лотком, глубоко зарытый в землю и заброcанный сверху голышами. Сагайдак пустил воду. Упругий поток, пенясь, обрушивался на них, храня тайну мельника.

...И опять текла по-над кручей светло-синяя Сагайдачка, и весело купались в ней дети, и плавали на лодке, взрезая гладь пруда. Отвлекаясь от монотонного гула камней и разгибая затекшую спину, Сагайдак иногда выходил на берег. Весь в белой пыли, вдыхал живительную свежесть околоречного воздуха, наблюдал за плавным лётом своей плоскодонки.

Но однажды на исходе лета внезапный ветер пригнал с запада лилово-черные тучи; змеисто шевельнулась в них молния. Отдаленные, глухие раскаты, не успев родиться, тут же замерли. Река за потемнелым лесом, изнемогая, стонала в верховье в предчувствии грозового ливня.

И вдруг багрово-огненная полоса широко, мощно хватила по небу. На землю обрушился грохот, подобный пришедшему в движение горному обвалу. Хлынули мглистые потоки ливня. Сагайдак встревожился, накинул на голову мешок башлыком. Преодолевая напор ливня, поднялся на пригорок под абрикос, чтобы зорче следить за поединком огня и воды.

Большая река переполнялась. Вспучившись, она размыла берег и устремилась к Сагайдачке. Две реки встретились, бурно слились в один мутный клокочущий поток. Словно необъезженная лошадь, разгорячилась, взметнулась на дыбы Сагайдачка. Взъяренно играли темные волны. Ворочая глухо голышами, понеслись они на плотину, разорвали ее и с ревом опрокинули мельницу. Сагайдачка неистово рванулась дальше, к широкой, за туманом, Кубани...

Просмоленным днищем мелькнула лодка, прощально

взмахнули весла, и грустный их взмах напомнил безвольные крылья убитой птицы.

И ливень хлестал по бледному лицу Сагайдака.

Вслепую бредя черными лужами домой, он жалел мельницу привычной болью — так жалел когда-то утонувшую в дни весеннего половодья дочь Марию. Вместе с обломками мельницы река унесла в море и часть его жизни.

С тех пор не стало Сагайдачки. После ливня вода в ней спала, из нанесенных коряг и камней образовалась глухая запруда. Давно это было. Считай, лет двенадцать тому. В тот самый год, когда у Тихона унесло брусья...

Старый мельник приподнял отяжелевшие веки. Мальчишки куда-то убежали, вокруг ни души. Он снял фетровую зеленую шляпу, подаренную сыном Ильей, колхозным плотником. Пораздумав же, надел ее снова и, вслушиваясь в покорно умолкающие звуки давней грозы, затаенно прошептал:

— Река пересохла, не пахнет рыбой.

Он покликал гусей и, похлопывая хворостиной по гнилому забору, погнал их домой. Солнце прощалось с лесом, медленно катилось за рыжие холмы. Торопились по вечернюю воду женщины, почтительно уступали дорогу. В молодости иные любили его, а теперь уважают.

Управившись с гусями, Сагайдак похромал к дому вдовы Марейки. Строительная бригада колхоза чинила Марейке деревянный дом. Сын Илья, поджарый, темнолицый мужик, ставил перемычки к стропилам. Илья молодец, хороший мастер по дереву.

Сын споро стучал топором, и у Сагайдака защемило в груди: давно он по-настоящему не брался за топор. В последний раз он работал у Тихона Бузутова, когда тот еще строил дом. Случись на месте Тихона кто-нибудь другой, Сагайдак уже отказался бы плотничать. Но к Тихону он пошел и плотничал у него с удовольствием, с ощущением праздника. Глядел, как по-детски радуется Тихон, как о чем-то шепчется он со своей Еленой. За трудолюбие, за прямой и кроткий нрав мельник уважал Тихона. Видел в нем человека, которого судьба обижает незаслуженно. Люди часто глумятся над добротою тех, кто неспособен защищать себя от их нападок. Зная об этом, Сагайдак всегда стремился хоть чем-то облегчить участь

Тихона. И плотничал он у него с ясной радостью на сердце.

Сегодня Илья своей ладной работой вызвал в нем острую тоску по топору. Сагайдак заторопился к себе. Он взял под сараем топор и пошел в огород, путаясь в вялой картофельной ботве. Там у него стоит недостроенный дом. А дом ему, по совести, и не нужен. На работу он уже отходился, так придумал себе занятие с этим домом.

Он выбрал ровную лесину и принялся вытесывать из нее балку. Дерево было податливым. Топор шел ровно, по видимой только одному мастеру линии. Иногда он разгибал спину, оценивал на глазок качество работы и, поплевывая в ладони, опять сплеча пускал топор.

За длинные годы мельник выработал привычку размышлять за работой о себе, о близких ему людях. Когда все у него ладилось, мысль Сагайдака была спокойна и чиста, как снежное поле в погожий вечер. На старости лет человеку остается одно несомненное благо — спокойно размышлять о прожитом. И сейчас, за привычной работой, старый мельник думал о рождении своей реки и о том, сколько в нем в ту пору было сил и желаний... Легок и послушен по-прежнему топор в его руках, и хочется что-то сделать, хотя, может быть, смерть уже подкарауливает его. Ну что ж, он свое прожил, смерть ему не страшна. Еще долго после него будут стоять на земле дома, силосные башни, деревья, им посаженные. Вот только мельницу жаль. Ей бы еще молоть да молоть... Погибла.

Сагайдаку стало тревожно, лишь он вспомнил про мельницу, про грозовой ливень. Он был почти уверен, что после него уже никто не смелет такой отбойной муки, какую молол он. Мельник ощутил в себе острую жалость к молодым марушанам, которым не довелось выпекать хлебов из его муки. Ему опять захотелось жить и жить, сама мысль о смерти показалась чудовищно нелепой. И вот тут он, как и всегда в подобных случаях, признался себе, что немножко боится ее. Не так, как в молодости, но все же боится.

«Эх, чертовка-плутовка! — в сердцах сказал он про себя.— Повременила бы малость. Гляди, построят у нас мельницу, я покажу, как работать... А камни... Какие они теперь ставят камни? А вдруг не те?!»

Обтесав лесину, в необъяснимой тревоге Сагайдак улегся на отдых в сарае. Подложил себе под бок душистую охапку сенца и заснул. Привиделись ему белые дома, светлая, с серебристо-седой рябью Сагайдачка. Но он не заметил под кручей мельницы и понял, что это сон. Частые сны — признак старости.

Неоглядная лунная ночь стояла вокруг. Смутный осенний лес заволакивало туманом. Сагайдак сел, вгляделся в размытые очертания леса. Он все еще находился под впечатлением сна. Что он значит?

Вдруг до его слуха донесся шум, который он давным-давно не слышал и потерял надежду услышать. Мельник не поверил себе, в волнении встал. Не сон ли это? Он провел ладонью по лицу, потрогал одежду, взглянул на крышу сарая. Нет, все убеждало его в реальности ощущений. И тогда он замер, напряг слух и зрение. Он глядел на луг.

Шумит! Совсем близко шумит, под кручей. Это не Касаут. Тот шумит по-другому, так, будто дождь моросит на лопухи. У большой реки в лунную ночь шум невнятно-приглушенный. А этот шум быстрый, веселый. Так шумела только его река.

То, что открылось взору мельника, когда он с гулко бьющимся сердцем взошел на пригорок, поразило его. Играя в лунном свете всплесками живой воды, по старому руслу текла Сагайдачка... Он не помнил, как подошел к ее берегу, когда опустился перед нею на колени, и пришел в себя, лишь ощутив на губах вкус воды. Она была мутной, пахла колючками и теплой землей берегов. Он черпал ее полными пригоршнями, подносил к лицу, вдыхал ее запах, в удивлении качал головой и все улыбался. Сейчас он не думал, для чего Сагайдачка родилась вновь и как это чудо случилось. Важно было одно — она бежала рядом, у его ног, и, казалось, возвращала ему молодость, утраченные надежды. Рядом с нею он опять почувствовал себя ловким молодым мужчиной.

— Мы еще поживем, поработаем! — горячо произнес он вслух.

Потом он встал и огляделся. Там, где была мельница, темнела груда каменных плит и голышей, затянутых старой травой, сухими стеблями буль-головы. Река полукружьем огибала это место, проделав себе другой путь. Мельник посмотрел в смутную лунную даль, куда убегала река, и спросил то ли ее, то ли эту ночь, полную загадок:

— Кто пустил воду? И зачем?

Вдали загудел трактор. С каждой минутой гул нарастал, приближался: кто-то ехал вдоль берега. Скоро выползла из-за кустов темная громада машины, прощупала светом воду. Лязгая гусеницами, всколыхнула землю и остановилась возле Сагайдака. Застреляла в небо тугими кольцами дыма.

Бульдозер... Мельник догадался, что это Яков Призов бульдозером разворошил запруду и теперь возвращается в хутор. Яков спрыгнул на землю, поздоровался. Он обрадовался встрече с мельником, тому, что Сагайдак среди глубокой ночи пришел полюбоваться на свою реку.

— Ну как? — сказал Яков.— Бежит!

— Зачем... пустил? — спросил мельник, с нетерпением и тревогой ожидая ответа.

— Народ попросил. Говорят, луг без воды выгорает, негде телят пасти... При воде трава оживет!

— Вот как,— сказал мельник.— А я думал, мельницу захотели поставить.

— Да зачем она! — усмехнулся Яков.— В колхозе есть мукомолка. Двадцать тонн в сутки!

— А отбойную там мелют?

— Отбойную? — Яков пожал плечами.— Что-то не слыхал...

— И не услышишь, не мелют,— сказал Сагайдак.— Куда им!

Старый мельник почувствовал слабость в ногах, присел на землю и надолго умолк, с тоскою прислушиваясь к шуму реки.

— Садитесь в кабину, подвезу,— предложил Яков, заметив, что с Сагайдаком творится что-то неладное.

— Езжай. Я на своих двоих доберусь.

Яков уехал, и старый мельник остался наедине с рекой, которая, думалось ему, только одна понимала его беду, но ничем не могла помочь. Близился рассвет, луна блекла в небе, качались на потемневшей воде жесткие шары перекати-поля. Изредка они подплывали туда, где сидел Сагайдак, назойливо толкались в берег, и он отпихивал их палкой и вспоминал, что тогда, в первый день рождения реки, таких шаров на воде не было...

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Петрович, родной брат кузнеца Архипа, обитает на отшибе, в затерянном среди старых верб проулке. Дом у него сбит ладно, и никому из приезжих не верится, что делал дом не хозяин, а жена его, Александра Андреевна, женщина тихого нрава, добрая... Не повезло их проулку: как раз через него проходила линия фронта. Черный смерч войны смел начисто все хаты. Когда врага выгнали, бабы с малыми детьми заняли немецкие бункера и там жили, скорбя по теплому духу русских печей. Андреевна на себе наносила леса на дом, сама и возвела его незадолго до возвращения Петровича. Вообще Андреевна немало перевидела на своем горьком бабьем веку. В хуторе помнят, как ее и еще двух содаток, жен коммунистов, водили немцы к мельнице Сагайдака на расстрел. Поставили их спиной к пруду, вскинули автоматы. Унтер-офицер взмахнул рукой, грянул залп... Пули прожужжали над головой, немцы, увидев, как вздрогнули и прижались друг к дружке женщины, расхохотались. Оказалось, солдаты шутили. Сагайдак в ту пору был на мельнице и все видел. На другой день он и прикончил того самого унтера...

Живет Петрович с Андреевной мирно, душа в душу. А вот с Архипом он не ладит. Братьями они стали, видимо, по странному недоразумению природы. В облике братьев трудно обнаружить хотя бы одну черту, сближающую их. Архип — черный, как цыган, борода снопом ложится на грудь. Кулаки у него — что пудовые гири, руки волосатые, в синих жгутах вен. Окаянная сила бродит в Архипе. Петрович же сухопар, слаб телом. И ростом он намного ниже брата. На лицо Петрович белый, а чуб у него от седины пепельно-серый... И характеры у братьев совсем разные. Архип привык утверждать незыблемость своего авторитета кулаками, а Петрович заявляет о себе ласковым, добрым словом, иной раз даже внушением.

В порыве откровения Петрович называет Архипа «человеком зверской натуры», которого лучше всего обходить мимо. Архип же, как бы в отместку брату, обзывает его «хитрым тихоней». Такие, утверждает он, исподтишка мешки рвут. Архип на гулянках буен, и за это Петрович, человек смирный, не уважает его, не хочет знаться с ним. Но одно сближает их — это умение трудиться до седьмо-

го пота. И тут люди узнают упорную породу Глуховых. Тут проглядывает общий их корень, глубоко спрятанный за всем остальным. Глухая, но упорная борьба длится между братьями вот уже сколько лет за право быть первым работником в колхозе. Горницы у них облеплены похвальными грамотами за труд. Не щадя себя, работают они каждый на своем месте: Архип в кузнице, Петрович на тракторе. Правда, в последний год Петрович стал сильно сдавать. В руках у него появилась какая-то ноющая, сосущая боль, зрение ослабло... Особенно пугало его зрение: на тракторе без глаз много не наработаешь. Этим по ночам и мучился Петрович втайне от Архипа, от Андреевны.

Осенью, во время моего отпуска, Петровича обидели на всю жизнь. По вызову пришел он в кабинет к председателю колхоза, а там уже и Яков Призов. Видно, и его зачем-то вызвали. Яков мужик тихий, задумчивый. Но в технике разбирается получше инженера и мастер на все руки: надо тебе — выточит осенку или даже вал, хочешь — сделает буфет с резьбой и украшениями. Любил его Петрович как родного сына. И жалел: не та ему жена подвернулась, не та... Председатель здоровается, вежливо усаживает обоих на стулья, и вот уже Петрович слышит его полувздох:

— Да... Разговор у нас нынче серьезный. Не знаю, с чего и начать.

При этом он смотрит куда-то в пол, словно боится встретиться взглядом. Петрович невольно настораживается, чувствуя в словах что-то недоброе, и в нетерпении просит:

— Выкладывай, Алексеич, сразу. Не тяни.

— Да вот Яков пришел за Васька хлопотать. Надумал Васек уезжать от нас. Надоело ему ходить в помощниках, хочет быть трактористом... Беда: машины у нас свободной нет. Что делать, ума не приложу. А расставаться с Васьком жалко. Никто нас за это не похвалит.

— Никуда я не отпущу его! — вскидывается Яков.— Парень человеком становится. Работает за троих. Дайте ему, Алексеич, трактор. Не век же ему быть прицепщиком. У него тоже гордость есть.

— Не пьет? — спрашивает председатель.

— На работе всегда трезвый... Не пьет.

Петрович сторожко прислушивается к разговору и не

может взять себе в голову, зачем сюда вызвали и его. На всякий случай он вставляет:

— Ты, Яшка, правду говори. Плохое не утаивай... Разве ты не знаешь, что Васек водится с Архипом? Такие дружки — водой не разольешь. Они еще в моей бане кутили, помнишь? Бывали у них пиры, как же! И Левка Камылин с ними. Правда, как женился он на Васене, кончилась у него дружба с Архипом. Теперь нечего Левку срамить... А Васек хорош гусь.

Яков сидит рядом с Петровичем, сцепив на коленях большие руки и свесив русую голову. Петрович замечает, как напряжено все его мощное тело, как ходят желваки на побледневшем лице Якова, замечает все это и еще больше проникается тревогой, смущением. И отворачивается к окну, чтобы спрятать от Якова глаза.

— Об этом я знаю,— выдавливает Яков.— И что в бане твоей пили, и что дрался Васек... Но дело это прошлое. Сейчас они если и выпьют, то в праздник. Душа у них широкая, молодая... Ты загляни в нее. И тогда поймешь, какие они.— Яков разволновался, до хруста сжал побелевшие пальцы, упорно повторил: — На работе они трезвые... А Васька надо уважить. Нечего ему колоть глаза прошлым.

— Да разве я против? — ерзает на стуле Петрович.— К слову пришлось, и сказал.

— Петрович, а не уступите вы свой трактор Ваську? — вдруг спрашивает председатель и нервно дергает свой галстук. В кабинете становится тихо-тихо, только голос председателя звучит в нем, и то неуверенно, с длительными паузами.— Понимаете, Яков прав: парень ведь исправляется... Ему дай трактор, он и о праздниках забудет! Энергии в парне столько, хоть отбавляй... Да Васек на вашем коне горы своротит!.. А парень почти на Соловках был, надо понимать...

— А мне... старику... куда? — В глазах у Петровича слезы. Он растерянно и как-то виновато смотрит из-под густых, кустистых бровей на светлые пуговицы председателевой рубашки.— Меня, значит, списываете? Не нужен более...

Якову невмоготу слушать подавленного, сбитого с толку Петровича. Не глядя на него, Яков поднимается, и вот уже его шаги гремят за дверью, в пустом и гулком коридоре.

— Вам, Алексеич, виднее,— продолжает Петрович,

жалуясь.— Не соответствую — снижайте... Вы человек ученый, институт кончили. А я, можно сказать, тракторист-самоучка. Мы с вашим отцом после войны первые трактора пригоняли со станции. А вы...

Петрович обиженно смолк. Председатель — человек молодой. Разве он поймет его, Петровича? Разве поймет председатель, что трактор для него не просто машина, а лучшая часть его жизни, и расстаться с ним — это как навсегда проститься и с той жизнью.

Горькая обида захлестнула Петровича, комом подошла к горлу, и он долго кашлял. Руки у него дрожали.

— Петрович,— виноватым тоном произносит председатель, расстегивая воротник рубахи,— вы спрашиваете куда... Я еще мальчишкой был и помню: вы любили возиться с лошадьми. Лучший конюх во всем колхозе! Не стать ли вам опять конюхом? Молодежь нынче, знаете, к машинам интерес имеет, а бедным животным хоть пропадай. Спасибо, старики выручают.

— Ладно, пойду в конюхи,— машинально соглашается Петрович.

— Значит, договорились? Петрович, дорогой... Поймите, так надо!

— Понимаю... Грамотешки у меня маловато, кот наплакал. Обошли молодые. Да и сила не та. А что? Я не гордый. Пускай Васек работает. Такая жизнь.

— Спасибо, Петрович.

— Вы уж не жалейте старого. Я уж и сам, по совести, хотел попроситься в конюхи. Веду трактор, а рядки мутятся...

Дома Петрович сказал Андреевне:

— Мать, я теперь конюх. Говорят, плохой из меня тракторист.

За годы супружеской жизни Андреевна изучила характер Петровича как никто другой. И сейчас она поняла, что он считает себя несправедливо обиженным, терзается этой мыслью. Догадывалась Андреевна и о том, что муж из чувства обиды наговаривает на людей, ибо она твердо знала: никто не посмеет назвать Петровича плохим работником. Втайне она обрадовалась: все меньше будет хлопот у мужа на старости лет.

— Зря убиваешься,— успокаивала она Петровича, по привычке волнуясь за него.— Вон твои одногодки все на легких работах.

— А брат? — возразил Петрович.— Он старше меня.

— Архипа с собой не равняй. Его здоровья на пятерых хватит. С такими ручищами только в кузне и работать.

— И как он меня ловко объегорил! — возмущался Петрович, расхаживая по комнате в черных валенках с калошами.— Прямо так и спрашивает: не уступите трактор Ваську? Нашел крайнего лишнего. Эх! Вернуть бы мне годков десять, я бы ему задал дрозда!

Все существо Петровича протестовало, обижалось... Проговорили они с Андреевной до вторых петухов. Никак Петрович не хотел мириться с мыслью о перемене работы, с тем, что опять он конюх. Не мог сомкнуть глаз. Ночью, да еще лунной, тяжелые думы неотступны. Роем кипят в голове, и никуда от них не деться.

— Спи, мать,— Петрович выключил свет, зашаркал по полу.— Мы с тобой еще наговоримся, тебе рано вставать.

И он ушел в другую комнату, в которой жил их единственный сын Николай. Николай, инженер-конструктор одного крупного авиационного завода, приехал к ним на полмесяца отдохнуть, привез в большом кожаном чемодане ворох подарков. Он каждый год приезжает осенью, и всегда с подарками и книгами. Подарки он, как водится, раздает отцу и матери, книги оставляет на дне чемодана. У него твердая задача: прочесть их все до отъезда в город. Читает Николай запоем, с утра и до темна, правда исключая прогулки в лес. Из-за его книг и прогулок днем некогда поговорить с ним, а вечером Николай уходит в клуб на танцы. Говорят, он подружился там с одной учительницей, тоже приехавшей погостить к родственникам. Говорят, любовь у них.

Николай еще не вернулся. На столе у него вразброс лежали книги и чертежи. Лакированные ботинки стояли посередине комнаты. Ожидая сына, Петрович прилег на диван, смежил выгоревшие на солнце ресницы. Ночь длинная, ворочается Петрович на диване, слушает размеренный звон настенных часов. И отчего-то стыдно ему, что докатился он до конюха... Работа с лошадьми, ясное дело, непозорная, для мужика она в самый раз. И платят хорошо. И любит он лошадей, тут председатель не прибавил. Однако привыкли люди видеть его трактористом, и он хотел бы завершить свой трудовой путь в этой почетной должности. Не довелось, снизили.

Уже давно перевалило за полночь, в неистово-белом свете луны робко мигают звезды, а Николая все нет. И не понять, когда он придет.

«А Яков хорош! — вертится на уме Петровича.— Тихоня, а гляди, как кинулся защищать Васька. И не подумаешь».

Пришел Николай перед утром. Петровича томила дрема, веки слипались, но до сна было далеко — в голове бродили тревожные мысли. И как только вошел Николай, загородив проем дверей своей большой и стройной фигурой, Петрович встал с дивана, включил свет. Николай снял пиджак, повесил его на спинку стула и, вполоборота стоя к отцу, безразлично обронил, думая о чем-то своем:

— Полуночничаешь... Пора спать, папа.

Вот теперь самое время и поговорить с сыном. Петровичу важно было знать, что скажет Николай по поводу работы конюхом. Петрович нуждался в сыновьем совете.

— Слышь, Коль, что случилось,— начал было Петрович, с надеждой посматривая на сына. Но договорить ему не удалось. Николай отчего-то улыбнулся и шумно начал взмахивать руками в воздухе, как бы делая зарядку. Петрович смущенно затих.

— Эх, папа! Ночь какая у вас белая! Светлынь! И много еще таких будет?

— Месяц еще не выщербился,— сказал Петрович.— Через недельку свет на убыль пойдет. При неполном месяце он не такой белый.

— И — ладно! — в воодушевлении воскликнул Николай и лег на диван, сияя глазами.— На мой отпуск месяца, надеюсь, хватит. Весь не выщербится!

Николай умолк с радостной улыбкой на лице.

— Слышь, Коль,— принялся за свое Петрович, опасаясь, что сын опять перебьет его, и потому намеренно торопясь.— Председатель в конюхи меня определил, Ваську мой трактор отдают. Как думаешь, правильно это?

Николай слушал отца с рассеянным, почти безразличным видом, продолжал чему-то загадочно улыбаться.

— Пусть Васек работает,— обронил он.— Может, ума наберется...

Николай вскочил с дивана и, напевая мотив какой-

то милой песенки, вышел во двор. Стоял там, облитый с ног до головы холодным, иссиза-белым светом. Где-то забил, захлопал крыльями петух, и опять все стихло.

Петрович терпеливо ждал, когда вернется сын. Тоскливо и холодно было у него на сердце. Петрович мучился. Его раздражало безразличие сына. А Николай все стоял. Петрович не вытерпел и подошел к нему, дотронувшись до плеча.

— Что ж мне делать, Коль? Идти в конюхи?

Николай обернулся на тихий и неожиданный вопрос отца, долго молчал, видно вспоминая, о чем тот спрашивал его, и наконец ответил:

— Не все ли равно, папа!

И Петрович как бы вмиг отрезвел. Он понял, что сын занят своими мыслями, ему нет никакого дела до его обиды. А он-то, старый, ждал от него совета! Верил, что сын облегчит нелегкую думу его... Напрасные надежды!

Петрович удалился в свою комнату и больше не показывался из нее. К утру он надумал сходить в кузницу к Архипу. Он решил встретиться с братом, пускай тот уговорит Васька не принимать его, Петровича, трактор...

Чуть свет он поднялся на ноги. Кузница еще была заперта. Петрович постоял-постоял у дверей, потрогал замок и тут же передумал встречаться с Архипом. Чепуха все это... И как он смел решиться на такой разговор с братом, как мог подумать об этом! На унижение, на позор шел к Архипу. Чего только не взбредет в голову бессонной ночью...

Петрович присел возле ручья Буланчихи, зачерпнул холодной ключевой водицы, плеснул себе в лицо... Умывался с наслаждением. Разделся по пояс, облил водою замлевшие плечи, грудь... Вместе с сонной одурью уходила усталость, свежие, бодрящие силы прибавлялись в нем. И мысли становились ясными и прозрачными, как струи в ручье.

До слуха донеслось тонкое ржание лошади. Петрович приподнялся, поднес к глазам ладонь. С луга навстречу ему несся табун. Гудела под копытами земля...

Нет, Петрович не сдался, он еще поработает. И неважно, какая должность, леший ее бери... Но жаль, до смерти

было жаль ему большую, сильную машину на резиновом ходу.

В тот же день Васек принял трактор. Петрович стоял в сторонке, смотрел, как Васек деловито усаживался в кабине. Вдруг стальное тело машины вздрогнуло, сотряслось, и она рванулась вперед, подминая под колеса бурьян. Васек открыл дверцу, крикнул:

— Эй, Петрович! Садись, довезу до конюшни!

Крикнул просто, без тени иронии, по простоте своей душевной. Сказано — баламут. Слова его необдуманные больно отдались в сердце Петровича. Он отвернулся от людей и долго тер глаза, как бы защищаясь от налетевшей пыли... А Васек все допытывался, гордо, по-петушиному выглядывая из кабины:

— Ну, Петрович, поедешь?

Откуда он знал, что творилось в эту минуту в нежной и легко ранимой душе Петровича! Ничего-то он не знал, Васек, человек непутевый...

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

Утки сбиваются в стаи и медленными косяками проплывают над лесом, над речкой в синеющих сумерках вечера — готовятся к отлету. На исходе теплые дни, пора уткам в дальний путь, в южные страны. И я тоже собираюсь в дорогу: кончается отпуск. Все чаще заглядывает ко мне Яков. Придет, поздоровается, присядет где-нибудь в тихом, укромном месте и загрустит, задумается невесть о чем, да так крепко задумается, что порой и не слышит вопроса, к нему обращенного. А если услышит, весь как-то встрепенется, виновато поднимет голубые глаза свои и ждет, когда вопрос будет повторен. Тяготит его, видать, нелегкая старая дума об Антонине, да и мысль о нашем скором расставании не радует его... Заметно исхудал Яков, щеки у него впали, нос с тонкими, подвижными ноздрями как бы вздернулся вверх, заострился. Признаться, я привык к Якову, и мне тоже грустно прощаться с ним.

Сегодня Яков пришел не один, привел с собой Тихона Бузутова. Я удивился: оба они одеты по-праздничному, в черные пиджаки с двумя рядами пуговиц, в белые рубашки. Следом за ними явилась и Елена, жена Тихона, полная, румяная, с карими, навыкате, глазами, с живой

улыбкой на круглом лице. Короткая юбка и кофточка в крупный голубой горошек делали Елену моложе своих лет. С тихой гордостью поглядывала она на Тихона. Заметив пушинку на его плече, сдула ее...

— Мы за тобой! — объявил Яков.— Кореш наш, Митька Поправкин, приехал к своей матушке. Идем к нему!

Митька, сын тетки Марейки, работает в каком-то городе шофером пассажирского автобуса. Больше я о нем ничего не знаю — давно он уехал отсюда. Мать его, некогда бойкая и видная из себя женщина, теперь же сильно поседевшая, ворчливая и чем-то обозленная, разделила участь своей младшей сестры Васены: у них обоих пропали на фронте мужья. Разница между сестрами наметилась лишь много лет спустя после войны, когда Васена вдруг вышла замуж за Леонтия Камылина. Марейка же остается убежденной вдовой. Она до сих пор верит в возвращение мужа. Веру эту поддерживает в ней присланное из военкомата сообщение: мол, еще неизвестно, погиб ли ее Филипп или пропал без вести.

Вся голова у тетки Марейки белая-пребелая. Когда тетка идет по улице непокрытой, то издали кажется, что на ней белый платок — такая у нее сильная, дружная седина. В одиночестве доконали ее думы о невернувшемся Филиппе, об уехавшем в город Мите, о жене его Ирине, о внучке Аленке. Полным-полно дум у Марейки, все их и не передумать ей вовек.

Когда мы пришли, гости уже были в сборе. На тихоходной инвалидской машине подкатили ко двору Леонтий с Васеной. В отглаженном синем костюме, гладко выбритый, надушенный одеколоном «Шипр», Леонтий помог жене выйти из машины. Следом за ними выпорхнула их дочь, нарядная девочка лет семи с двумя косицами, лицом вылитая Васена... Леонтий взял дочку за руку и не спеша поковылял в облетающий осенний сад, где под курчавыми антоновками, с кое-где еще висевшими яблоками, были составлены в широкий круг столы.

В саду я увидел жену Якова. Около нее увивался Васек, незаменимый гармонист во всех компаниях. Веселый он был: с губ не сходила простодушная улыбка. И гордый. Как же: теперь он в колхозе тракторист! Гармонь в руках, весь расхристанный — рубаха-парень! — Васек ходил на носках сапог, подмигивал Антонине, пробовал басы. Антонина отмахивалась от него, как от назойливого

и нежеланного ей человека, и все кидала взгляд в сторону, где стоял в окружении друзей-одногодков сам Митька.

Это был мужчина лет под сорок, большеголовый и курчавый, с лохматыми темными бровями, из-под которых уверенно и дерзко сверкали глаза. Над крутым лбом Митьки вздымались черные, блестящие волосы, жесткие, как проволока. На нем была модная куртка на «молниях». Уверенный вид Митьки будил мысль о крепости, налаженности его жизни. Своей бодростью, силой всех он покорил, у всех вызвал невольное уважение к себе. Антонина, искоса поглядывая на Митьку, вся так и вспыхивала, так и заливалась молодым, алым румянцем...

Компания расселась за столами. Тетка Марейка не отрывала слезящихся глаз от сына, подавала вино, хвалила форелей, выловленных Яковом по случаю приезда Митьки.

— Ну как там в городе? — кричал через стол Леонтий Камылин, с восхищением приглядываясь к Митьке.— Не обгоняют наших... стало быть, деревенских?

— Мы, деревенские, сами кого хочешь обгоним,— с достоинством ответил Митька и внимательно посмотрел на Антонину. В удивлении переломилась у него правая бровь.— Руки у меня — во! Не пропаду.— И Митька, двинув плечами, простер навстречу Леонтию руки с большими, крупными ладонями, в темных, лоснящихся мозолях. Подковы можно гнуть такими руками, гвозди рвать.

— Ого! — покачал головой Леонтий.— Богатырь!.. Оно и верно: кто умеет трудиться, тот нигде не пропадет. Ты его хоть на Соловки сошли — выдюжит. Давай выпьем за нашу породу, Митя! За марушан!

Антонина, слушая их, загадочно усмехалась. Глаза ее едва мерцали сквозь опущенные ресницы, что-то темное, непонятное таилось в них. Митька как один раз посмотрел на нее, так больше и не смотрит, даже не поворачивается в ее сторону. На его крупном широкоскулом лице сквозь самоуверенность проступало беспокойство.

Тетка Марейка, легко охмелев с радости, с шумного веселья, поближе подсела к Митьке и, качая белой головою, стала жаловаться ему, как ей скучно одной, как она ждет от него писем.

— Меня мало кто любит,— доверительно шептала старуха сыну, преданно и с тоской заглядывая ему в глаза.— Постарела, никому не нужна... Ты хоть меня не забывай, почаще письма пиши.

— Да мне некогда,— неумело оправдывался Митька.— С утра до вечера в рейсах... Придешь домой — голова как чугунная, в глазах дорожные знаки. Ей-богу, мам! А Ирка вам мало пишет?

— Ира пишет, спасибо ей. Но и ты отзывайся, Митя!

— Продали бы дом, к нам приехали. Зову, зову вас, а вы ни в какую... Кого боитесь? Ирки? Она у меня уважительная, спокойная... Жили бы рядом, душа в душу. Чего еще надо на старости лет. А, мам?

Митька легонько дотронулся до волос матери. Пораздумав, погладил их.

— Не поеду, не уговаривай,— сказала Марейка.— Куда ж мне, сынок, от батюшкиной могилы? Не дай бог умру — похороните в чужой стороне, вдали от прадедов наших...— И Марейка в ужасе, широко раскрыв бесцветные глаза, отшатнулась от Митьки.— Нельзя! — с тревогой, с горячим убеждением добавила она.— Вовек не простят нам родичи.

Митька, вобрав голову в плечи, с болью слушал мать.

— Кто полы в доме перестлал? — с тоской спросил он после долгого молчания.— Не Сагайдак?

— Сагайдак уже старый, не берется... Сынок его Илюшка постарался. Мастер он додельный, весь в отца. И такой ласковый! Другой раз забежит, спросит: «Ну как, теть Марея, живете?» И ну дрова колоть, воду носить. Такой ласковый.— Хмелея, Марейка с удовольствием предавалась недавним воспоминаниям, смотрела на сына слезящимися глазами, как бы пытаясь заглянуть в самую душу его и отгадать, о чем он задумался, закручинился.— Соседи вот допекают меня. Для всех я нонче плохая. Спасибо Илюшке. Он теперь заместо тебя, Митя. Как сын родной.

Митька переменился в лице, глубже втянул голову в плечи. Антонина хоть и не подняла ресниц, но все видела, все примечала за Митькой. Вместе с ним радовалась, вместе и тосковала. Признаюсь, мне было любопытно наблюдать за ними. Вот Антонина порывисто вскочила с места, подбежала к Якову, который сидел подле меня в каком-то странном оцепенении, и с волнением крикнула:

— Яша! А ну споем нашу... любимую! — И так же быстро, так же порывисто возвратилась на свое место, затихнув в ожидании песни.

— Давай, Яша! Давай! — раздались со всех сторон возгласы.

Яков сидел не шелохнувшись.

— Ну что ты! — Тихон ободряюще толкнул его в бок.— Начинай, Яша!

Яков поднял голову, печально улыбнулся мне и, не глядя на Антонину, запел раздумчивым и высоким тенором, полузакрыв глаза:

Ой мороз, мороз,
Не морозь меня...

Все сразу затихли, прислушиваясь к раздольному и светлому голосу Якова. И тут же подхватили песню десятки молодых, дружных голосов. Ширилась и разливалась песня, веяло от нее вольным и безбрежным дыханием русской степи.

Не морозь меня,
Моего коня,
Моего коня
Сивогривова.
У меня жена,
Ой, ревнивая...

Антонина так звучно и голосисто вытягивала верхние ноты, что думалось: вот-вот, как струна, оборвется ее тонкий голос и уже навеки потеряет свое очарование. Но он не обрывался, дрожа и вселяя в душу прекрасное чувство любви, тревоги и гордости, возбуждая волнующую мысль о том, что ты живешь и радуешься ему. И я тоже запел, сначала робко, пробуя голос, потом, забывшись, все смелее и смелее. Пел и Тихон сильным и зычным, чуть-чуть надтреснутым баритоном, в упоении откидывая назад голову. И Елена пела, припав в забытьи щекой к его плечу. Но лучше всех пел Яков. Его голос вел за собой остальные. Звучала в нем тайная скорбь, и страсть истинно русской, щедрой, как и эта песня, души была в нем... В глазах Якова стояли слезы.

Митька сперва молчал, изумляясь слитному и стройному хору родных голосов, но скоро тоже не выдержал и с удалью — была не была! — подхватил слышанный им еще в молодости мотив песни:

У меня жена —
Раскрасавица.
Как уйду куда,
Все печалится.
Как уйду куда,
Все печалится.
А приду домой —
Все ругается...

Мало кто и заметил, как дошли мы до последнего припева и как Яков, доведя ноту до угасания, внезапно умолк. Наступившая тишина поразила певцов, и они, удивленно переглянувшись, только теперь поняли, что это конец. Некоторое время люди сидели не шевелясь, переживая волнение. Первым нарушил тишину Митька:

— Ну и песня! Так душу и выворачивает... И кто ее сочинил, а? Как думаешь, Яша?

— Кто его знает! — сказал Яков. Бледность не сходила с его лица, она придавала ему болезненный, страдальческий вид.— Русская земля широкая, попробуй найди сочинителя! — И, немного подумав, Яков прибавил: — Я думаю, век будешь искать — не сыщешь...

— Почему? — опять спросил Митька.

— Раз он сразу не объявился, то и нет его.

— Это как понимать? — Митька даже привстал с лавки, удивленный ответом Якова.

— Народ сочинил. Такие же люди, как ты, Тихон, или, скажем, Елена. Запели они ее, другие подхватили — понеслась она по свету... А сочинители остались сами по себе. Они, гляди, и сами не верят, что это их песня. Народ, брат, за славой не гонится. Он скромнее всех нас. Он самый способный, Митя.

— И правда, Яша! — восхитился Митька и кинулся разливать в граненые стаканы вино.— Так один человек не сочинит, ей-богу!.. Это же про нашу жизнь, Яша! Про всю нашу жизнь! И как просто, как трогательно! Давай выпьем, Яша! — Митькой овладел неистовый порыв откровения. Видно, песня задела его за живое, разбудив в нем память о минувшей жизни в хуторе, и теперь он, чуть захмелевший, хотел излить накопившуюся в груди тоску. Но ни разу при этом он не взглянул на Антонину, как бы не замечал ее вовсе.— Я всегда говорил, Яша: ты мужик с головой! Тебе расправь крылья, далеко полетишь!

Митька с Яковом чокнулись, выпили. В это время Ва-

сек, заиграв на гармошке, отвлек внимание Митьки. Под веселую музыку все разом громко заговорили, заулыбались друг другу, пошли в круг танцевать. Воспользовавшись общим оживлением, Яков встал из-за стола и почему-то вышел на улицу. Антонина, держа в руке стакан с вином, медленно, с усмешкой на губах приблизилась к Митьке:

— И со мной выпей! За встречу!

Зашевелив бровями, Митька взял неуверенной, дрогнувшей рукой графин, налил себе вина.

— Я рад,— сдержанно сказал он, отводя глаза в сторону под пристальным взглядом Антонины.— Давно мы с тобой не виделись. Лет двенадцать уже.

— Ошибаешься, Митенька,— слегка зазвеневшим голосом поправила его Антонина.— Спешишь. Одиннадцать годков с той поры минуло. Одиннадцать! Видишь, ты забыл, а я помню. У меня память хорошая. Я словно кукушка, Митя... Все считаю, все складываю... Ну рассказывай, как живешь с Ириной? Не развелся еще?

— С чего нам разводиться?

— Да вид у тебя невеселый. Приехал герой героем, а выпил — и поскучнел. Песня, что ль, растревожила? Наша-то, деревенская?

— Ну хотя бы и она! — вскинулся Митька, круто переломив бровь.— Тебе-то что.

— Да так! — усмехнувшись, Антонина закусила нижнюю губу, склонила к плечу голову.— Любопытная я. Все знать хочу! Вот и сейчас гляжу на тебя и отчего-то думаю: а не разлюбил ли ты женушку свою законную? Видишь, какая я полоумная... Правда, Митя?

— Уж точно, полоумная,— быстро согласился Митька, кося глазом на невыпитый стакан.— Кто в наши годы об этом толкует! Смешная ты, Тонька... Живи, как судьбой указано. Живи!

— А я не хочу, Митя! Не хочу так жить... Что ты на это ответишь, парень бывалый, разудалый? Ну, говори!

— Да потише ты! — Митька в беспокойстве оглянулся.— Эх, кукушка, опять про свое кукуешь.

Насмешливо-вызывающее выражение на лице Антонины вдруг сменилось растерянностью.

— Ты не смотри, что я веселая,— сказала она.— Мне нравится на людях быть такой.— И уже почти шепотом,

склонившись над Митькой, она спросила: — Слыхал небось про Степу? Думала, люблю его, а нонче увидала тебя — и как проснулась. Нет, врешь, Митя... Любят и в наши годы. Первая любовь не забывается. Если она была настоящая! Но ты никогда не любил меня,— заключила она с обидой,— и сбыл с рук... Я знаю, Митя!

Митька молчал, с удивлением и страхом смотрел на румяное и еще молодое лицо Антонины и машинально проводил рукой по своим жестким волосам, в напряжении морща лоб.

— Опасная ты женщина,— наконец промолвил он со вздохом и покачал головой.— С тобой свяжись — или соколом в небо взлетишь, или в воробья превратишься. Сгубила ты Яшку... Одного не пойму: зачем вышла за него?

— А назло тебе! Ты городскую взял, я твоего дружка оплела. Мы в расчете, Митя! — Лицо Антонины опять принимало насмешливое выражение.

— Но при чем тут он! — почти простонал Митька, сжимая в пальцах стакан.— Я думал, ты полюбила Яшку...

— Индюк много думал, Митя, да в суп попал!.. Заговорились мы с тобой. Чокаться пора!

Они выпили, и Антонина, внезапно спохватившись, убежала за чем-то в глубину сада — может быть, плакать. Закручинившийся Митька проводил ее тяжелым, из-под насупленных бровей взглядом, грузно облокотился на стол. Васек еще играл на гармошке, в саду плясали... Сдвинув на затылок фуражку, Тихон вприсядку пустился за Еленой, которая томно помахивала перед ним платочком. Плыла Елена по кругу королевой, пристукивала каблуками да приговаривала, чуть заикаясь:

На широкой нашей речке
Уточки закрякали.

Целовал меня сердечный,
А п-подружки п-плакали!

Тихон, легко перебирая ногами, настигал Елену и как бы спрашивал у нее:

А куда эта дорога,
Куда повороточка?
А не в ту ли сторону,
Где живет залеточка?

Митька исподлобья глядел на Тихона и Елену, вздыхал... К нему опять подсела мать, и он сказал:

— А я все частушки позабыл. Чудно! Раньше сколько их помнил...

Наступал вечер. Лучи заходящего солнца просеивались сквозь листву и косо падали на столы, зажигая вино в графинах. Оно искрилось, играло в них. Было что-то неуловимо-притягательное в этой пляске под молодыми яблонями, с гладкими здоровыми ветвями, в горячей игре вина, еще не перебродившего в бочках, в певучих голосах людей, которым завтра опять предстоит нелегкая работа на земле... Родные люди. Всё они умеют: и петь, и любить, и ненавидеть. Но самое главное — умеют они работать. До седьмого пота, до своего последнего вздоха. И тем сильны они. Тем и жива, извечно молода земля...

Яков почему-то долго не возвращался в сад. Сквозь частые щели дощатого забора виднелась его ладно сбитая, высокая фигура: заложив за спину руки, Яков прохаживался по улице. Я вышел к нему с намерением позвать его за стол.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я его, когда он обернулся на шум моих шагов и слабо кивнул мне.

— Думаю! — сказал Яков.— Мы с Митькой одногодки. Вместе босиком по пыли бегали, гнилую картошку в войну собирали... На сенокосе неделями пропадали... И вдруг Митька — городской! Не удалась у нас с Митькой житуха, брат. У каждого на свой лад. Он в городе, видать, как неприкаянный, хоть и храбрится, а я тут... А все, брат, из-за Тоньки. Это ж такая женщина — не поймешь ее! В общем, самый счастливый из нашей братии Тихон. И страдал, и бедствовал, а все же счастливый! Полюбовно живет с Еленой.

Яков неожиданно схватил мою руку, прижал ее к своей груди. Сердце у него колотилось гулкими, встревоженными ударами.

— Тонька мне подчистую крылья подрезала... Мне бы уйти, да не могу. Присушила меня Тонька, да и Марушанка крепко держит. Не жить мне без них, понял! — Он оглянулся по сторонам, перешел на шепот: — Ты уезжаешь. Гляди, и не свидимся больше. Ты мне как брат родной... Все тебе и выложу, ладно уж... По секрету, тебе одному! Вранье, что она Степку любит,— *Митьку!*

— А вдруг она... от тебя уйдет? — сказал я.

— Не говори! — с мольбой в голосе произнес Яков.— Не накликай беды... Никто меня еще толком не знает. Я — человек неразгаданный! Я тихий до своего заветного часа. А как не вытерплю, как взорвусь — всем чертям тошно будет. Ты, брат, меня — знай! А уйти она не посмеет. Да и зачем ей к Митьке? У Митьки все к ней отгорело.

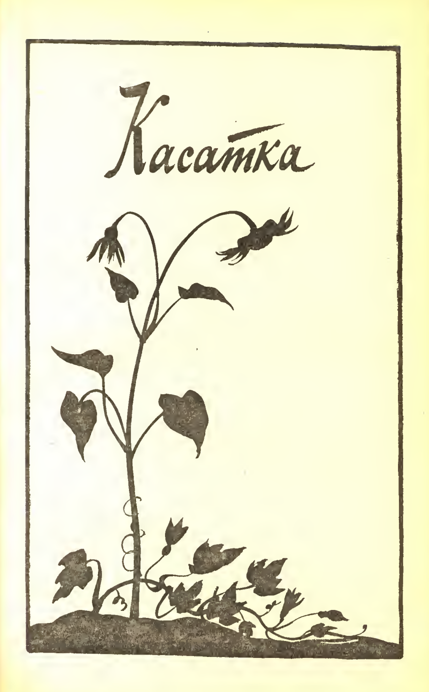
— Эй, Яша! Иди к нам! — долетел из сада голос Митьки.

Легок гость на помине.

— Зовет! — обрадовался Яков.— Митька мой друг старый. Он и в город уехал, чтоб не тревожить Тоньку. Не стал мешать мне. Где ты найдешь такого преданного друга? Золотая душа у Митьки!

...На другой день, незадолго до захода солнца, опять летели утки, прощально помахивая крыльями пылающему осеннему лесу, вскрикивая печально в широком и светлом небе над Марушанкой. Провожая их взглядом, я заносил чемоданы в автобус, чтобы тоже вслед за ними умчаться в дальние края, но и там — я знал — любовь к родным людям не оставит меня.

1965—1971


Касатка





Глава первая

ВЕЧНАЯ ТЕТКА

— Максимыч, ты?

Ее оклик, знакомый мне с детства, с немыслимо давней поры, по-матерински предупредительно, робко прозвучал из-за плетня. Я остановился среди переулка и увидел Касатку в окружении встрепенувшихся от дремы и ознобного холодка ярко-желтых шапок подсолнуха. Утро занималось ясное, прохладное, за высоким Чичикиным курганом, с утоптанными дорожками на круглую макушку, небо рдело малиновой каймой, кидало в огород горсти лучей еще невидимого солнца и зажигало росу. Горошинами скатывалась она с широких, за ночь посвежевших листьев и брызгала в лицо Касатки, не очень осторожно пробиравшейся к плетню.

— А я вижу: какой-то человек! Шляпа колыхается,— приблизившись, с возбуждением говорила она и стеснительно улыбалась.— Сперва померещилось: наш председатель Матюшка. Ей-бо, правда.— Касатка подхихикнула в кулак.— Он у нас тоже модник, в фетровую шляпу нарядится и ходит. Потом пригляделась: не-е, не Матюшка. Вроде как Максима сынок. С попутной небось встал?

— С попутной.

— Матерь с отцом до смерти обрадуются. Вчера вспоминали о тебе. Надолго к нам?

— Может быть, с недельку побуду.

— А больше нельзя?

— Служба. Нельзя.

— Ох, канитель! У всех служба. Вертимся как угорелые... Ну, голодный же и хлопочет, а как наелся, то и успокоился, сразу на бочок. Я вот тоже, Максимыч, день и ночь служу: утей пичкаю, будь они неладны. Веришь, такие прожорливые — не настачишься им листья обрывать. Давай и давай. И все им, враженятам, мало. Как в прорву.

Левой рукой она прижимала к груди эмалированную чашку, доверху набитую нежно-зелеными, с бордовыми прожилками листьями красного бурака.

— Перетолку с отрубями, и нехай едят.— Она двинулась вдоль ограды ко двору, приговаривая: — За дерезой тебя и не видно. Выйду на чистое, хочь полюбуюсь, какой ты.

Во дворе она деловито поставила чашку возле исщербленной топором коричневой дровосеки, обмахнула подол юбки от росы и прилипших травинок, выпрямилась и непритворно ахнула:

— Глянь-ка! Вылитый дедушка. Ты-то своего дедушку Ивана, царство ему небесное, не застал, а я хорошо помню. Бедовый. Такого ж росточка был, как ты. Маленький, да удаленький. Плечистый, с бородой. А рубаха на нем немаркая, красная, так и горит. Наборным поясом перетянута. Любил казачок наряжаться. Бывало, идет по площади, каблуками стук да стук — как молоденький. Я на что пичужка перед ним, а тоже на него заглядалась. Раскрою рот и стою глазею на сатиновую рубаху. Ей-право. Совестно станет, отвернусь и тут тебе как мак покраснею. Чудная. И ты в дедушку удался, не в отца. Максим против вас хлипкий и в красных рубахах не ходил: война, а там еще напасти. Не до жиру, быть бы живу.— Она сощурилась и внезапно перескочила на другое: — Туфли у тебя востроносые. В подъемах не жмут?

— Не жмут.

— Я прямо, Максимыч, в толк не возьму, какие у вас ноги. Как они в эту обувку влезают... Небось усохли. По земле не ходите, все автобусом да на легковичках. А я тут — пешедралом, где босиком, а где в этих выступцах.— Она оторвала правую ногу от земли, вытянула носок и показала большой незашнурованный, свободно державший-

ся ботинок.— По мне. Удобные, и пальцам отдых. Мое, Максимыч, отошло,— сказала она без тени сожаления.— Не перед кем чепуриться.

Было весело слушать ее несколько грубоватый, с мужским баском голос, ее слова, выговариваемые обстоятельно, неторопливо. Интонация и выговор с нажимом на «а», с глуховатым, чисто кубанским «г» делали ее речь выразительной, и я ду́мал: вот близкий, родной мне человек и такой останется для меня навсегда, пока я живу на этой земле. Трогательно было сознавать, что и я когда-то говорил примерно так же и, как она, употреблял местные выражения, в которые удивительно вкраплены не то русские, не то украинские слова, а скорее — то и другое вместе, в едином сплаве... Позже я стеснялся этих слов и этих выражений — они вызывали едкие насмешки окружающих. В ту пору я был молод, наивен и даже не подозревал, что своей стеснительностью оскорбляю память предков, для которых не было ничего святее и дороже этого, веками нажитого в крестьянской работе и праведных сечах языка.

Грешно стесняться родной матери — она дала нам дыхание и вспоила своей грудью; не меньший грех стесняться и родного языка, на котором говорили и мать, и дед, и пра́бабушка, и многие, многие кровные близкие, о ком давным-давно стерлось всякое упоминание и кого уже никто не вспомнит, никак не назовет, но они-то были. Без них жили бы мы, научились бы правильно, по-нашему изъясняться? Жаль, что я с некоторым опозданием постиг эту истину.

С радостью слушал я Касатку, но и с горечью ловил себя на том, что мне все-таки кое-что удалось вытравить в себе; иные ее слова звучали для меня загадкой и как бы открывались заново — до того прочно забылись они, затерялись в памяти.

С Касаткой мы виделись давно. За ученьем, работой все недосуг было подумать о ней, заглянуть в ее побеленную хату, с глухой стороны поддетую ольховой подпоркой. И сегодня я оказался случайно вблизи Чичикина кургана: шел мимо. Светало, повсюду в огородах нетронуто горели красные маки. Дымчато-сиреневый, фиолетовый, вперемежку с белым, цветущий горох лез на плетни и дразнил взгляд молоденькими, светло-зелеными стручками. Красота летнего хутора завораживала; огибая огороды, я не помнил, по каким улицам петлял, и на-

конец забрался в ее крайний, с пятью хатами переулок. Тут она и окликнула меня.

Еще из-за плетня в одно мгновение я разглядел ее всю. Была она, как и много лет назад, широка в кости и дородна телом; большие руки ее все время двигались и не знали покоя; носила она темную, с бесчисленными оборками юбку, спереди прикрытую ситцевым запаном, русые волосы убирала и затягивала в тугую куделю и покрывала их белой, от солнца, косынкой с голубыми крапинками вроссыпь, которые шли к ее круглому лицу, особенно к синим глазам,— словом, в ней угадывалась русского склада женщина, привыкшая одна хлопотать и в поле, и дома, одна отвечать за все на свете.

Ходила она по-мужски, вперевалку. Много воды утекло, а я не нашел в ней сколько-нибудь значительных перемен: тот же облик и голос, та же манера слегка подкашливать в кулак и с выжиданием, бесхитростно приглядываться к собеседнику, будто спрашивая: «А что ты за человек? На меня не серчаешь?»

В моем представлении она была такой же, какой и сейчас стояла передо мною в своих ботинках на босу ногу: пожилой теткой. Время, однажды изменив по своей прихоти ее фигуру и лик, казалось, навсегда остановилось для Касатки. Сколько ей было лет: шестьдесят, семьдесят?.. Семьдесят пять или более? Это было неважно. Я совершенно точно с ранних своих дней затвердил в себе несколько странное, до сих пор необъяснимое ощущение: она пожилая, вечная тетка. По старой привычке думать о ней именно так меня и сейчас взяло сомнение: а была ли Касатка когда-нибудь молодою? Смущали, однако, и наводили на мысль о пережитой ею молодости синие глаза, в них было столько непоправимой, ничем не омраченной ясности, столько доброты, лукавства и постоянного, неодолимого ожидания чего-то удивительно хорошего, что даже не верилось, как это они удержали в себе этот блеск, живость, навек не замутились слезами.

Пока мы говорили, взяла нас в полон ватага утей. С кряканьем они требовали посторониться, набрасывались на чашку, оттесняя и остервенело щипая друг дружку.

— Видал, Максимыч, какие! Они мне, враги, всю голову прогрызли. Чтоб они лопнули. Этой осенью, жива буду, всем головы оттяпаю, порежу их. Осточертели. У меня вон руки пухнут бесперечь таскать им чашки. Максимыч,

ступай в хату, карточки посмотри, а я тут с горлохватами повоюю. Я живо прискочу.

Меня тянуло домой, и я заколебался:

— Может, в другой раз. Пойду я.

— Ты что, Максимыч? — с обидой глянула на меня Касатка.— Уважь тетку. Вон сколько не видались! Грех. Правда что, мы как не родные... Не хочешь в хату — посиди на дровосеке. Я на ней сама в праздник сяду, юбку распустю и важничаю. Сидай! Да гляди, чтоб не перевернулась. Я раз так с ней завалилась — до се затылок ломит.

Тем временем она подхватила чашку и понеслась в сени готовить мешанину. Ути во главе со старым селезнем закачались, бегом затопали за Касаткой. А я сел на дровосеку, с удовольствием протянул ноги.

Двор мне знаком сызмала: пустой и покатый. В ливни вода в нем не застаивается, вся сбегает на улицу. Ворота с почерневшими досками покосились; четырехгранный коренной столб, поставленный еще мужем Касатки, с натугой держал их на себе. Двор опоясывала изгородь с подгнившими ольховыми столбиками. Узкие планки в ней покоробились, иные высыпались, так что везде зияли пустоты. Возле закуток, тоже покосившихся, в которых ночевали поросята, ути и куры, лежала гора свежеоструганных шелевок и березовых хлыстов. Касатка, наверное, готовилась разориться на новый забор.

Как видно, двор был запущен потому, что до него пока не доходили руки. Касатка возилась с хатою, подвела серой глиною фундамент, вставила новые рамы. Вместо соломенной крыши, густо поточенной воробьиными гнездами, появилась крыша под дранью, в глухой стене — окно с голубыми ставнями. С огорода Касатка прилепила к хате довольно обширную пристройку, откуда тоже смотрелись окна. И труба над коньком весело белела, еще не задымленная копотью.

Под кровлею хаты лепились ласточкины гнезда. Неугомонные сизые летуньи, ловя толкущихся в воздухе насекомых, чиркали высоко над землею — к погоде, беспечно вились у карниза. Ласточки, по-марушански — касатки, обычно возвращаются в хутор в теплые весенние дни, когда снег вытает в балках и ручьями сбежит в реку, а на выгревах зелеными шильцами проклюнется первая травка. Невесть откуда с хлопотливым щебетом налетят ласточки и давай носить в клювах комочки липкой грязи из пруда у маслобойни, пластами приклеивать ее к шеро-

ховатым стенам конюшен, хат, сараев. Любят они прибиваться к жилью, и за эту привязанность человек платит им благодарностью, почитает за долг оберегать ласточек; ходит в народе поверье: они приносят счастье.

У Касатки ласточки селились ежегодно, вычищали и поправляли надежно сохранившиеся гнезда, лепили новые взамен испорченных, выводили птенцов. Что-то их постоянно влекло к ее хате. Может быть, горьковатый кизячный дым, близость густого вишенника, обилие мошкары в канаве. Или сама хозяйка постоянством своего нехитрого наряда и неизменчивостью добродушного, с баском, голоса напоминала птицам о прежнем их гнездовье. Есть тайны, неподвластные разгадкам.

Муж у нее погиб в Германии, под Берлином. И с той поры, вспоминается, люди и прозвали тетку Касаткой, имея в виду ее хлопотливость, истовую верность родному очагу, необидчивую, добрую душу. Ловко приклеилось прозвище, заменило фамилию, имя и отчество. Я уж и не помнил, вернее сказать, никогда не знал, как ее по-настоящему звали. Смутно мелькало: Ефросиньей Ивановной или Евпраксией Илларионовной, что-то близкое к этим сочетаниям. Вообще-то можно справиться в Совете, по метрической книге; наконец, у отца мимоходом, как бы невзначай спросить. Но если поразмыслить: зачем? Ей это все равно. Большая часть жизни прошла, все привыкли ее звать Касаткой, слух на это словцо чутко настроен, и что толку ворошить старое в попытке отыскать утраченное имя. Оживить его нельзя, оно умерло. Важнее то, что она живет на окраине в своей хате, здорова, не искалечилась и не потеряла способности трудиться, что ее руки в постоянном движении.

Ласточки селились у нее каждую весну, но счастье у Касатки было редким гостем, кружило оно по другим окольным путям.

В войну она с бабами вязала снопы, и ясным днем вдруг угодила в ее хату сброшенная с самолета зажигательная бомба. Стены рухнули, сухая как порох крыша взялась огнем и сгорела дотла. Одна печь выстояла и держалась на пепелище ровно, будто памятник. Вволю наревевшись, Касатка пришла в себя, вынула из загнетки еще не остывший чугун, покликала сына Колю, который до этого шнырял по Касауту с сачком в поисках форели, и они молча, без лишних слов присели на разбросанные кирпичи хлебать деревянными ложками борщ.

Вокруг той уцелевшей печи, по фундаменту, и плела Касатка турлучные, из гибкой вербы стены. От зари до зари, а случалось, и ночью, при месячном свете, лепила себе жилье, на скорую руку лепила, чтобы к зиме, к холодам успеть.

После войны обжилась, успокоилась — и вдруг опять пожар! В тот день они с сыном сгребали сено неподалеку от хутора, у Волчьих ворот — двух каменистых курганов, между которыми вьется дорога на Пятилеткин стан. Копны вершили на бегу, лишь бы валки убрать: с гор мглисто-сизыми громадами надвигались тучи, сверкая белыми молниями и погромыхивая громом. В верховьях реки тяжко зашумела свинцовая вода, подуло холодным ветром, на землю легла тень, и все померкло вокруг, точно наступило солнечное затмение, изредка оттесняемое короткими вспышками. По всему угадывалось: собирается ливень, а то и град... Касатка, подзадоривая Колю, вьючила на себя навильни и, стараясь не глядеть на небо, неслась под гору к копнам, вскидывала наверх, раскладывала сено и, не переводя дыхания, летела назад, в гору, к свернутым валкам. Вдруг она споткнулась и осела наземь: под черными тучами, в сереющем мраке предливневого затишья багровое пламя озарило ее хату... Придавленная навильнем, Касатка на миг задохнулась от ужаса, стихла и — со страшной, нечеловеческой силой вскинулась на ноги, рванулась по склону вдогонку за Колей. На пожар принеслась с растрепанным навильнем...

Хату спалила Дина: играла горячими углями, высыпавшимися из печи. Когда подоспела пожарная машина, ливень затушил, забил белым льдом остатки огня. Касатка, непокрытая, с прилипшими к щекам волосами бегала в хлещущих струях, под градом, и немо всплескивала руками. Казалось, она совсем не ощущала на себе ударов. А после долго ходила вся синяя, в кровоподтеках...

Иная вдова иссохлась бы, пока отстроила себе новую хату, а Касатка с виду оставалась все той же полной, неунывающей, без конца хлопочущей, озабоченной теткой. Ей советовали переменить двор либо, на крайний случай, поставить хату на другом конце огорода, в стороне от пепелища. Намекали на нечистое место: из-за него, дескать, и приключаются все ее беды, но она не внимала советам и с упорством, достойным удивления, хранила верность старому месту. Снова избавилась от горелого, очистила фундамент и возвела на нем свое жилье, воз-

вела с верой, что дальше будет лучше, дальше уже не может быть плохого: всего, кажется, успела испить из той чаши... С этой верой она и проводила Колю в армию.

Не прошло и года, как из Венгрии пришло известие о гибели сына, твердо исполнившего солдатский долг. Вплоть до нашего с Диной выпускного вечера Касатка носила черный платок. На выпускной пришла в цветастой ситцевой косынке, выпила рюмку вина — и с той поры больше не носила черного.

Я сидел на дровосеке, прислушивался к щебетанью ласточек и гадал: для чего возвела Касатка пристройку, кто живет в ней за кисейными кружевными занавесками, сквозь которые желтеют на подоконниках горшки с геранью? Дина? Конечно, она уже вышла замуж, нарожала Касатке уйму внуков, по субботам стирает на речке белье, а в праздники выходит с мужем под ручку на площадь пощелкать семечки либо потолкаться в пестрой базарной толпе. От этих предположений сделалось грустно. В отрочестве благодаря Дине я испытал неясные, но сильные желания первой любви. Стало жаль невозвратно мелькнувших дней, сделалось нехорошо при мысли, что вот они, Касатка и Дина, живут здесь, вдали от меня, своей и, в сущности, чужой для меня жизнью, чужой до того, что я никогда не заботился о них, никогда не тревожился в душе: как они там? А между тем Касатка сейчас выплывет из сеней, накормит ораву своих ненасытных уток и, как родного, уведет меня в хату.

Так оно и происходит. Касатка показывается на пороге, неся чашку и горстями расшвыривая корм. В ее жестах — ничего лишнего, во взгляде — уверенность в том, что дело ее важное, насущное, как хлеб. Она будто священнодействует: в лице — спокойная строгость. Кивая на бестолково толкущихся у ног утей, Касатка добродушно поругивается:

— Навязались на мою шею — не отвяжешься. Гляди, как, враженята, лопают! В обед опять им неси. Так и бегаю с утра до вечера, присесть некогда.

Затем она ополаскивает чашку водой, вешает ее сушить на кол, вытирает полотенцем руки и приглашает меня в хату:

— Хочь погляди на мои хоромы. Где ты такие увидишь? У меня, Максимыч, палаты, как у барыни. Ей-бо! — Она кашляет в кулак и тихо смеется, пропуская меня в сени.

В сенях темно, пахнет сухим глиняным полом. На стене, на деревянных рогульках, похожих на оленьи рога, подвешены пучки красной ссохшейся калины. Когда-то и я с мальчишками осенью, лишь с деревьев опадали листья, ломал огненно-яркую калину, навешивал на коромысло тяжелые пучки и с великой гордостью, с сознанием исполненного долга нес их домой. Нес берегом обмелевшей реки, синей в глубоких заводях, слепяще серебристой на перекатах. Давно это было. Так давно, что и не верится: было ли на самом деле или только снится, только встает зыбким видением перед глазами?

Касатка проводит меня в переднюю комнату.

— Сидай, Максимыч, сидай.— Она подвигает грубо сколоченную табуретку, обмахивает ее чистым полотенцем.— В ногах правды нет.

На видном месте, между двумя окнами, стоит знакомый мне огромный темно-вишневого цвета сундук с углами, окованными красноватой медью, и с выпуклой, как футляр швейной машинки, крышкой. Над ним в деревянных рамках под стеклом, рядом с фотографией Дины,— портреты мужа и сына хозяйки. Увеличенные и подрисованные местным фотографом, они как-то подавляют, гасят улыбку Дины непреклонной суровостью сжатых губ, проницательным выражением глаз. От их прямо устремленных взоров делается отчего-то не по себе, возникает чувство какой-то вины перед Касаткой.

Пока я осваиваюсь с обстановкой, привыкаю к полумраку, она проворно снует от печи к столу, гремит заслонкою, выставляет на лавку чугунки и кастрюли. На расстеленной клеенке появляются тарелки с супом и грушевым взваром, махотка кислого молока, свежие, только что с грядки, огурцы, вишневое варенье в блюдце, нарезанный крупно хлеб.

— Сбегать к Жорке, что ль?

— Зачем?

— Ты же гость дорогой. За сколько лет зашел... Когда не спросю у отца — был, говорит, Федя, да сплыл. Никак тебя не застану. Кабы знать, так принесла бы чего покрепше, а то — как снег на голову. Сбегаю,— тут же направляется она к двери.— Он у меня на май гостевал. Небось не обедняет от одной бутылки.

Но я удерживаю ее столь же решительным возражением, говоря, что не к спеху и что сегодня мне еще нужно увидеться с председателем колхоза.

— Обождет. Никуда не денется твой Матюшка.

— Нельзя, мы условились о встрече. Работа есть работа.

— Какая работа! — недоумевает Касатка.— Ты же в гостях. К отцу, матери приехал. Вот тебе на: работа!

— Я в командировке. Срочно нужно взять материал.

Сощурив синие глаза, Касатка возвращается к столу, трогает меня за плечо и с ожиданием чего-то важного для себя интересуется:

— Что за материал берешь, Максимыч? Случаем, не картошку? Так у меня возьми. Задаром отдам, ей-бо! Купца хорошего не отыщу — скопом продать. Целая тонна залежалась в погребе, и, веришь, вся как на подбор: крупная, гладенькая. Ни одного росточка не пустила. Пропадает. Уже молодую начинают жарить.

Приходится объяснять Касатке, зачем я прибыл в Марушанку, что́ мне требуется взять у председателя; ее интерес к моему «материалу» ослабевает, сменяется разочарованием.

— Беда, Максимыч! Надо б еще с осени ее сбыть — не доперла. Да и, как на грех, с ног тогда свалилась. Радикулит замучил. Не-е, сбегаю к Жорке,— вспоминает она прежнее свое намерение.— Кусок в горле застрянет.

Стоит немалых усилий убедить ее, что я вполне доволен угощеньем, благодарен за внимание, за хлопоты обо мне и что, хотя она и достанет бутылку, все равно это лишнее, и вовсе не оттого, что я предпочитаю вино подороже и «гребую» ракой, а потому, что неприлично появляться в конторе выпивши. Не тот выйдет разговор. Последний довод убеждает Касатку, она тихонько присаживается на край лавки:

— Твоя правда, Максимыч. В другой так в другой раз. Небось еще свидимся... Ты ешь, ешь, не равняйся с бабкой. Я уже и вкуса еды не чувствую. Мне все одно, что хлебать, абы теплое.

Из чувства солидарности, «за компанию», она отливает в кружку немного взвару и, с любовью, по-матерински поглядывая из-под низко опущенной на лоб косынки, отхлебывает маленькими глотками. Ей доставляет удовольствие сидеть вот так за столом — вдвоем, в полутьме, с незажженной под потолком электрической лампочкой. Сидеть и не спеша, без опаски, что кто-то нам помешает, завтракать. Несколько минут мы едим молча, будто разом выговорились и не знаем, о чем больше разговаривать.

Но меня давно подмывает спросить о Дине: где она, что с нею, вышла ли замуж? На стене мерцает ее фотография: Дина в белом платье выпускницы стоит одна у порога нашей школы, с букетом сирени в руках и чему-то загадочно, с робкой надеждой улыбается.

Классами и поодиночке мы все снимались тогда у школьной вывески. Теперь мы уже другие, и лишь фотографии, наперекор времени, хранят нас такими, какими мы были много лет назад. Снимки говорят нам о прошлом и, к сожалению,— ничего о настоящем, ни единого намека нет в них о нем.

Что же с Диной? Трудно сказать почему, но я тешу себя надеждой: вот всколыхнется штора над дверью в пристройку и появится Дина — и скажет просто, как в юности: «Здравствуй! Ты пришел ко мне?» Ожидание этого мига необыкновенно волнует меня, но время бежит, на подоконнике стучит, вздрагивает будильник — и ничего такого не происходит. Доливая взвар, Касатка нарушает молчание:

— Ну, ответь, Максимыч: умею я настилать полы чи не умею? Ни одной трещины...

Пол настелен с любовью: ни сучка ни задоринки. Доска к доске пригнаны плотно, будто спаяны, линии едва различимы — чистая работа!

Да, она гордится недаром. Светло-коричневый пол у нее без изъяна, гладко блестит из сумрака. Вообще она научилась мастеровой работе. Все эти годы после войны то и дело вносила изменения в планы хаты, пристраивала, чинила, подмазывала, перекрывала и настилала — и, что и говорить, немалого добилась. Даже больше, чем иной мужчина. Что же касается женщин, то не каждая отважилась бы соперничать с Касаткой в этом искусстве. И я, ничуть не кривя душой, отвечаю на ее вопрос:

— Отличная, теть, работа. Вы настоящая плотничиха.

— А ты думал! — Она с удовлетворением подхихикивает в кулак, разжимает пальцы и принимается теребить уголки косынки. При этом глаза ее светятся молодым задором.— Я, Максимыч, на все руки мастерица. Кабы не старость, на монтера бы выучилась. А то как лампочка потухнет — обувай выступцы да Жорку, соседа, кличь. Темная, в пробках не разбираюсь.

Поблагодарив Касатку, я встаю, жду, что вот-вот она обмолвится о Дине, но ожидания мои напрасны, и, ока-

завшись у порога, я намеренно придаю голосу обыденное выражение:

— Дина не с вами?

— Дина? Не-е, не со мной. Замужем,— задумавшись, с неохотою роняет Касатка.— В Калмыкии, в Элисте...

— И давно там?

Она оставляет мой вопрос без ответа, медлит и, собравшись с мыслями, рассказывает:

— Думала я, выйдет Дина замуж, в той комнате поселятся,— она показала на пристройку.— Да не по-моему вышло... Перетянул муж ее в Калмыкию... Ездила я к ним. Веришь, Максимыч, гудит кругом, ветрюган стружит — аж держись! Тьма, и песок на зубах хрумтит. Побыла я у них с недельку, наглоталась песку и думаю: не-е, в Элисте хорошо, а дома лучше. Надо обратно драпать, а то закружит совсем. Правда что, воротишься круженой овцой.

— Муж у Дины хороший?

— Водопроводы справляет. Ну а как же, хороший, грех обижаться. Он, Максимыч, такой оборотистый туляк, из ничего копейку выкует. Правда, бывает выпимши. Но придет пьяненький — ни стуку, ни грюку, на цыпочках в кладовку шмыгнет, плюх на раскладушку — и захрапел. Другой, знаешь, выпьет на алтын, а задается на целковый, буянит, правоту жинке доказует, а этот — боже тебя упаси. Чин чином, ладони под щеку, и готов молодец. Хороший, Максимыч. Хочь бы не сглазить. Бедовый... Да нехай живут. Это мы не пожили: то война, то сатана...

— Дети у них есть?

— Хлопчик и девочка. Есть, куда ж без деток.— И, выходя в темноту сеней, Касатка прибавляет: — Кабы Максим не доводился мне двоюродным, гляди б, за тебя ее выдали. Тут бы жили, при стариках. Муж Дины, жалко, не марушанский, чужой. Пьет.— Распахнув двери во двор, она сжимает кулак, склоняется и тихо смеется в него.— Ты, Максимыч, не обижайся. Это я пошутила, чепуху буровлю. Типун мне на язык. Ты теперь вон какой! С председателями знаешься. Не зря люди говорят: школа дает нажиток. Кто не ленился, учился, тот и в дамках очутился.

Во дворе Касатка всплескивает руками, с оханьем и причитаньями подбирает на ходу жидкую хворостину и убегает в огород. Оттуда доносится ее сердитый голос:

— Дармоеды! Кыш, кыш! Вот я вас!

Стремглав сквозь щели в ограде забегают во двор ути, влетают куры, ракетой несется, путаясь в картофельной

ботве, поросенок. Поднимаются шум, визг, кудахтанье, беспорядочное хлопанье крыльев. Свистит, жикает в воздухе хворостина. Птицы устремляются на улицу. Касатка с весьма решительным видом, с поднятой в руке хворостиною выносится из-за подсолнухов и скоро появляется возле меня.

— Уморят, враги! Всю завязь исклевали, пока мы завтракали. Чуть зазеваешься — беда. Во какая жизнь у бабки, Максимыч!

Я снова благодарю ее и собираюсь откланяться под предлогом того, что меня ожидает председатель.

— Да побудь еще, Максимыч. Побудь. Когда больше наведаешься? — удерживает меня Касатка.— И куда вы торопитесь? На мой огород полюбуйся, потом ступай.

Идем в огород. Он у нее ухожен, празднично зелен. Солнце уже греет вовсю, роса спала. Чисто желтеют подсолнухи, пунцово горят, качая распустившимися махрами, маки. Картошка занялась сиренево-белым цветеньем, выкинула вверх, доверчиво распустила сережки. Весело пробиваются, мигают сквозь лопушистые листья желтые всплески огуречной завязи. У Чичикина кургана, на валу, которым заканчивается огород, вишенник все так же густ и зелен, но я обращаю внимание на ряд старых вишен, когда-то, еще в пору коллективизации, посаженных мужем Касатки. Они почему-то оказались за межою, на усадьбе Егора Нестеренко.

— Дальше не пойдем,— останавливается Касатка.— Чужую картошку потопчем.— И долго, напряженно смотрит на вишни.

Только сейчас я вполне замечаю, что пай ее уменьшился вдвое, ужался шагреневой кожей. Добрую половину его, с деревьями, прирезали соседу, потому что Касатка очутилась одна, на пенсии, и лишилась права на весь огород, на прежние двадцать пять соток земли. Пожалуй, все правильно. Ей впору и это прополоть.

Но жалкий вид являли собою отбежавшие к Егору вишни. Они заблудились среди вплотную подступившей к ним картошки и, просеивая сквозь редкие листья свет, вроде бы опасались бросать на нее излишне прохладную тень, чтобы ненароком не заглушить жирной, до пояса вымахавшей ботвы. Растерянно жались одна к другой, совсем не ведая, куда им получше приткнуться и что с ними будет дальше. Верхушки у них усохли либо едва были покрыты листьями, но снизу побеленные известью

стволы немного скрадывали впечатление наступившей старости, осветляли ряд, а угольно-черные и довольно выносливые ветки, рясно облепленные забуревшей завязью, говорили о цепкой борьбе за жизнь.

— Вишь, Максимыч, как тетку жмут к Чичикину кургану,— легонько толкнув меня локтем, усмехается Касатка.— Спровадить меня задумали.— Черты ее круглого лица приобретают волевое, решительное выражение.— Не выйдет. Я тоже не лыком шитая.

— Неужели Егор теснит, добивается лишних соток?

— Не-е, Жора сосед уступчивый,— думая о чем-то своем, говорит Касатка.— Построился на этом плану, ему по закону отошло. А вишни за собой, как утей, не покличешь, не приманишь на свою межу. Это я так... сболтнула,— поправляется она и уже веселее глядит на меня, потом оборачивается лицом к кургану: — Глянь, какой молодец стоит! Кубанку ему нахлобучь — форменный казак выйдет.— И тихо смеется неожиданному для самой сравнению, однако недолго, тут же стеснительно прикрывает рот ладонью, извиняется: — Ты уж, Максимыч, не серчай, дурного не подумай. Бабка живет на все сто с гаком. В праздник выйду за двор, рассядусь, юбки распущу на завалинке, ручки сложу, как барыня, и день-деньской смотрю на курган. Он не простой, Максимыч. Под ним схоронены наши богатыри... которые с турками мерились силой. Для нас отстояли эту земельку. Не-е. Мне тут с Чичикой не скучно.

Она провожает меня до калитки, приговаривая:

— Ну, не поминай лихом. Иди к нашему председателю. Он тебе, Максимыч, мно-ого кой-чего напоет. А ты поддакивай, слухать слухай, да свое себе на ус мотай. Понял? Они у нас такие, в шляпах. Сразу и не додуешь, как облапошат... Заходи, не забывай тетку.

Я обещаю зайти. Ласточки, обрадованные теплым днем, снуют, мельтешат под кровлею хаты. Одна, самая бойкая и резвая, опрометью срывается с гнезда, молнией проносится над землей, делает разворот, снижается и, внезапно окунувшись в налитую в корыто воду, режет ее острыми, как лезвие косы, крыльями, мелко встряхивается на лету, опять разгоняется и плещется. Накупавшись, она описывает круг над Касаткой и плавно снижается прямо на стену, цепляется за нее коготками, встряхивает, приводит в порядок свои распушенные перья, зыркая на нас черной бусинкой глаза.

— Во модница! Искупалась и теперь чепурится. Она ко мне, Максимыч, третий год прилетает.

Касатка выплывает на улицу и притворяет за собою хворостяную калитку. Снова вспоминает прежнее, извиняется:

— Ты и меня слухай, а думай свое. Мало чего я сдуру намелю. Ступай, ступай к Матюшке, скажи: мол, одна бабка ухватила за полу и не отпускает. Насилу, мол, от сатаны отвязался.— Она тихо и, мне кажется, грустно смеется.— Все ему расскажи, он бедовый, жалиться грех. У нас и похуже были.

— Людей не обижает?

— Всем не угодишь...

Я ухожу, Касатка прислоняется спиною к калитке и зорко смотрит мне вслед из-под косынки. Что-то в моей груди трогательно и нежно сжимается. Надо к ней еще зайти, думаю я.

Глава вторая

ИГРЫ НА ПОСТОВОЙ КРУЧЕ

С Босовым мы учились в одном классе, сидели за одною партой. Он слыл у нас тихоней, углубленным в себя, в какие-то свои потайные мысли, все думал о чем-то постороннем, водя пальцем по крышке парты, вздыхал и тоскливо глядел в потолок. Бывало, на уроках его внезапно вызывали и просили ответить на вопрос, он вставал, беспомощно озирался и выходил к доске, долговязый, тощий, с длинными руками и тонким бледным лицом. Мялся и решительно не знал, какой вопрос ему задан. «Опять ты витаешь в облаках, строишь воздушные замки»,— говорили ему и отсылали на место. Он садился, смущенный, неловкий и совершенно подавленный. Иногда, рассердившись, учителя предрекали ему незавидное будущее: «Крутить тебе, Босов, хвосты быкам». Потупившись, он молчал и как бы соглашался с окончательным приговором, а мы дружно смеялись.

Может быть, отрешенная мечтательность, замкнутость были следствием его сиротства: он рано потерял мать, рос без ласки, под присмотром Дарьи Кузьминичны, женщины крутой и властной. Одевался он хуже всех, во что попало, сам себе штопал брюки и пришивал пуговицы разных фасонов.

Мать его, Босиха, известная в хуторе «додельница», охотница петь и плясать, скончалась в горячую пору: как раз на выгревах дозревала сильно уродившая колхозная пшеница. Босиха навела зубья у серпа, купила запасной в сельмаге — готовилась жать без промашек, да приключилась беда: ночью со двора увело корову Зорьку. Коекак обувшись, накинула она на плечи фуфайку и, не глядя на тьму, на знобкий, мокрый туман, метнулась на клеверное поле, облетела его вдоль и поперек, сбежала с кручи и стала шнырять по колючей дерезе, по разлившимся, смутно блестевшим перекатам.

В то время как она оскальзывалась на каменьях, падала в студеную воду и поминутно окликала Зорьку, муж ее Василь, контуженный на войне сержант, не отважился съехать вниз по раскисшей глине, хромал по круче, потрясал над собою костылем и глухо, будто предчувствуя что-то, звал жену воротиться домой. До света Зорька не отыскалась. Но следы ее, обнаруженные на грязной земле, с база вели на Касаут. Между тем утро выдалось пасмурное, серенькое, каких мало затевается в пору поспевающих хлебов; туман, как на грех, не расходился, плотными слоями перетекал над лесом, стлался по воде, обволакивал едва видимое солнце белой набухшей ватой. Горная вода жгла икры и колени, брызги леденили грудь. Чем дальше от хутора вверх по реке, тем русло ее у́же, течение бойчее — того и гляди собьет с ног и, точно корягу, затянет под обрыв, в яму, в гудящий омут. Островками зачернела ольха, кусты дерезы пошли гуще, свечки взметнулись выше человеческого роста, шершавыми метелками стебали по лицу. Напрямую не продраться. Кидалась Босиха с одного берега на другой, осевшим голосом окликала Зорьку. Ни звука в ответ. Шум перекатов стоял в ушах, туман застилал глаза.

Только с грехом пополам миновала Учкурку — отвесные бурые кручи с пущенной поверху дорогой,— припустился, навис, зашелестел по листьям нудный дождик, туман потянулся с гор, залег в ущелье, непроглядно заволок лес. Шла она теперь наугад. И чудилось ей: где-то близко мычит Зорька, кличет ее на помощь. Но странно: сколько она ни шла, до нитки промокшая, исхлестанная жесткими метелками, мычание не приближалось и не отдалялось — стояло, как во сне, на том же расстоянии.

Туман поредел, пробилось солнце, и она увидела перед собою запань с лесопильным заводом, греческое сель-

цо, растянувшееся в расселине высоких гор, обросших у подножий чернолесьем, на вершинах — золотистыми, в хлопьях тумана, соснами, доступными лишь человеческому взору. Босиха подивилась, как далеко забрела, «до самых греков», куда она не однажды ездила с бабами на колхозных подводах за досками. Неподалеку от села, на лугу, уныло мокло пестрое стадо, и она ободрилась, подумав, что Зорька могла прибиться к нему.

Однако Зорьки и тут не было, пастух не встречал поблизости чужой коровы. Он предложил ей отдохнуть и обсушиться у костерка, тлевшего под навесом старой кошары, но Босиха, убитая своими мыслями, отказалась и повернула другим путем к Учкурке.

Стало понемногу примеркать, ее снова понесло на кручу — и вдруг обрушился ливень, накинутый ветром издалека, с грозных седых вершин, которые в ясные дни первозданно сияют вечными ледниками. Пока она соображала, куда спрятаться, а потом летела во весь дух к черневшему над обрывом балагану, ее искупало водой с ног до головы, иссекло хлестким, обжигающим градом.

Уже в балагане, выкрутив досуха белье и кофточку, она почувствовала сквозь дрожь неприятное покалывание в груди, но мысль о пропавшей корове была сильнее, заставила ее подняться и снова пуститься на поиски. Так мыкалась она во тьме возле хутора, пока внутреннее чутье не подсказало ей вернуться домой и поглядеть, нет ли там Зорьки, не пришла ли она чудом сама на баз. И как же, говорят, Босиха изумилась, в какой пришла неописуемый восторг, когда, открыв калитку, она увидела во дворе свою корову, спокойно перебиравшую нажатую мужем траву! Оказывается, всю ночь и весь день Зорька паслась возле маслобойни, в саду дьячка, а вечером явилась сама с полным выменем. Босиха подоила ее, налила детям и мужу по кружке молока и, чувствуя недомогание, будто тлел у нее в груди какой-то занудливый уголек, влезла на печь и пригрелась под дерюгой.

Утром с печи она не встала. Ее пекло жаром, она стонала, впадала в забытье, бредила и, протягивая над собою руки, все звала Зорьку, а когда приходила в себя, то спрашивала, не пропала ли опять, выгнали ее в стадо или нет... Василь перепугался, выпросил у бригадира лошадей, чтобы отвезти ее в районную больницу, но Босиха строго-настрого запретила ему и думать о ней, заявив, что она никогда по больницам не лежала, еще девчонкой вылечи-

лась от тифа дома, а простуду одолеть ей просто, выгонит ее разведенным медом и чаем с малиной. Говорят, Матюша ночами не смыкал глаз и все сидел в углу, в ногах у матери, болезненно вздрагивая при малейшем звуке ее голоса. Как-то ей стало легче, она оглядела сына отрезвевшими, чистыми глазами, погладила рукою по головке и слабо улыбнулась, прижалась обветрёнными губами к его лбу. Впоследствии многие женщины почему-то вспоминали ее разговор с сыном:

— Куда ты, Матюша, положил новый серп?

— На боровок, к вашему.

— Молодец. Ты его береги, не теряй. Вот выболею, поднимусь, будем с тобой на пару жать пшеничку.

Жать ей больше не довелось. Последние дни доживала Босиха. Василь отвез ее в больницу с тяжелым воспалением легких.

Перед смертью, странно успокоившаяся, бледная как полотно, она велела позвать к себе мужа. Сильно хромая, он вошел в палату, уронил ореховый костыль и чуть не грохнулся на ее постель. Няни вовремя подхватили Василя под мышки, усадили на белую табуретку, дали напиться воды.

До сих пор слово в слово держат женщины в памяти и ее разговор с мужем:

— Помираю, Вася. Не послушалась тебя, носилась по дерезе. Сколько в касаутских ямах купалась, в прорубь зимой проваливалась — и ничего, сходило... В войну мешки с кукурузой за тридцать километров по снегу со станции волокла, в сыром погребе неделями сидела, и даже насморка не было... А тут...

— Сгною! На куски порублю! — в отчаянии дернулся Василь и поднял голову с заострившимся, как у мертвеца, подбородком, повел по стенам блуждающими глазами.

— Коровку не тронь. Она не виноватая. Это я... я сдуру переполошилась. Сон мне привиделся до этого плохой, будто увели ее цыгане.

— Не жить ей! Прибью.

Босиха выждала, пока он накричался, выпростала из-под одеяла руку и, жалеючи мужа, дотронулась до небритой щеки, тут же отдернула ее, застеснялась, поглядев на застывших в напряженных позах нянь.

— О детках не забывай, доведи их до ума,— спокойно, с прояснившимся лицом наставляла она мужа, ста-

раясь ничего не забыть и сказать напоследок главное.— Одному тебе, Вася, с хозяйством не управиться. Девять месяцев пройдет — и женись. Вдовушек на хуторе много. Найди хорошую.

— Ох, Лиза, Лиза... Что ж ты? Об чем толкуешь? Заживо себя хоронишь!

— Я знаю, что помру! Чувствую. На мне жизнь не кончается. Женись. Мне там будет легче знать, что ты не вдовец. Молодой еще... И деткам будет к кому голову прислонить. Без женской ласки они зачахнут. Женись, Вася. Вот Касатка. Чем она тебе не пара? Посватай ее. Кабы она согласилась — другой и не надо тебе. Я бы и горя не знала. Я бы радовалась там.

— Об чем мы разговариваем, Лиза? Об чем мы тут разговариваем? — твердил Василь и обеими ладонями тер себе лоб, щеки.— Ты только подумай!

— Я хорошо подумала. Упроси Касàтку. Она и хлебца вам спекет, и постирает, и борща сварит. Не обдурит тебя. Ты же такой доверчивый. Окрутит какая-нибудь вертихвостка — пропадешь, деток погубишь.

— Она не пойдет,— мрачно, как из подвала, сказал Василь.

Умирающая, говорят, после его слов тяжко вздохнула, скрестила на груди руки и умолкла, обдумывая последнее замечание мужа, произнесенное с такою откровенною болью и прямотой. Долго она молчала, сберегая напоследок дух, чтобы успеть высказаться и ничего не оставить нерешенным, распорядиться по уму.

— Жалко,— проговорила она наконец.— Касатка ни за кого не выйдет. Она Михаила... солдата своего убитого, не обидит. Бери Дарью Остроухову. Была Дарьюшка молодой, любила тебя. Помнишь? Бери ее, все ж таки не холодную колоду на шею повесишь. Любила...

Похоронив жену, Василь Босов на другой же день безжалостно отвел и сдал корову в «Заготконтору», сбыл и телочку от нее, чтобы под корень, вчистую извести ненавистную Зорькину породу. Но заветное желание покойной исполнил в точности: ровно через девять месяцев послал сватов к Дарье, одинокой вековушке, и скоро они сыграли свадьбу, без дружков, без наряжанья и каравая, но все же свадьбу, с восковыми и бумажными цветами, с мутными бутылями раки и обильной, по тем временам, закуской. Омрачил позднего жениха Матюша: гости гуляли, а он прятался в дерезе и в продолжение

всего застолья не показался им на глаза, хотя рябая Дарья ради приличия очень порывалась сфотографироваться вместе с новой для нее семьей: с мужем, приемными дочерьми Клавой и Нюрой, с Матюшей. После вызнала Дарья: не принял ее сердцем хлопец, оттого и скитался в дерезе двое суток, пока его не уловил Василь и не привел за руку в дом. Вызнала — и навеки затаила обиду. Дольше и упорнее всех отказывался Матюша называть ее «мамкой», а когда пообвыкся, немного приладился к Дарье, то это выходило у него плохо, натужно, слово застревало в горле и едва выговаривалось. «Настырный»,— жаловалась Дарья соседкам и все круче бралась за упрямого мальца, доставалось из-за него и мужу.

Матюша невзлюбил дом и, пользуясь всяким предлогом, удирал с ребятами то в лес, то на речку. Но драться и проказничать не любил, вел себя неприметно, тише воды, ниже травы, так что иногда создавалось впечатление, что его вовсе и нет с ними. О Матюше мы вспоминали в последнюю очередь. И кто бы из нас тогда осмелился предсказать долговязому конопатому пареньку с неопределенными склонностями судьбу председателя одного из лучших колхозов в районе, председателя с ученой степенью кандидата сельскохозяйственных наук? А между тем это случилось. Из тихого Босова развилась неожиданно для всех крепкая, волевая натура колхозного организатора. После института всего три года он побыл в Марушанке главным инженером, но успел выстроить механизированный зерноток, переделал ремонтные мастерские, выписал и установил оборудование для приготовления витаминной муки, наладил машинное доение, в котором уже многие разуверились, и марушане единогласно избрали его председателем. Ни о ком другом они и слышать не хотели. Редкий случай.

Теперь Босов затеивал новое дело: готовился строить крупный животноводческий комплекс, а на отгонных пастбищах, под самыми облаками, начал строить благоустроенные дома для скотников, чабанов и доярок, пробивал туда надежную дорогу по слежавшимся каменным припечкам. Я приехал к нему по заданию редакции краевой газеты — написать очерк об опыте работы, о смелых начинаниях молодого председателя. Меня воодушевляло то немаловажное обстоятельство, что Босова я знал луч-

ше других, поэтому втайне тешил себя надеждой на удачу.

Так как я порядочно задержался у Касатки, а время не терпело, я не пошел домой и отправился на площадь в контору. Кабинет Босова помещался на втором этаже белокаменного дома правления, с внушительными колоннами у входа. Я поднялся наверх по лестнице, прошел длинным коридором и попал в приемную. В ней за телефонами и пишущей машинкой сидела молоденькая девушка с ярко-светлыми, навыкате, глазами, со строгим лицом. Она предупредительно встала мне навстречу, качнув юбкой-колоколом, и слегка кивнула в ответ на приветствие.

— Вы из газеты? А Матвей Васильевич уехал.

— Как же так? Мы договаривались встретиться в одиннадцать.

— Он ждал вас точно до одиннадцати. А сейчас, если не ошибаюсь, семь минут двенадцатого.— Девушка вскинула мягкие, слегка подсиненные ресницы и показала мне на часы в деревянной оправе, висевшие на стене.— Вы опоздали.— И, подобрав длинную цветастую, как у цыганки, юбку, извинительно и сдержанно улыбаясь одними губами, села.

— В нашем хуторе и такая английская пунктуальность! — с досадою сказал я.

— Матвей Васильевич любит точность во всем,— с расстановкой произнесла девушка и раскрыла томик стихов Есенина, лежавший у нее на столе.

— Куда же он уехал?

— В горы, на отгонные пастбища. Он просил вас зайти к нему завтра, в девять утра. Ровно в девять,— напомнила она, мечтательно скользя чуть сощуренными глазами по строчкам.— Пожалуйста, не забудьте.

Я вышел из конторы с непроходящим чувством досады на Босова, невольно думая о его секретарше: такая милая, светлая и обходительная. Чья же она? Неужели из наших хуторян?.. И день был солнечный, светлый, с перьями облаков на ясном, точно синькою оплеснутом небе. От акаций, рядами посаженных вдоль асфальтированной дороги, наискось через площадь тянулись длинные тени; мимо пробегали мотоциклы с люльками и грузовики, чаще всего в них сидели люди с граблями и косами, припозднившиеся с выездом на покос.

Хутор наш Марушанка просторный, ноголюдный —

с широкими улицами и кривыми неухоженными переулками, которые сбегаются к площади. На ней уместилось футбольное поле, по нему с азартом, лихо гоняли полосатый мяч ребятишки, как некогда гонял и я; а за воротами, у штакетной ограды, свободно расхаживали индюки и телята. Площадь — на возвышении, отсюда открывается вид на горы. Синея вершинами, они полукружьем подступают к хутору, а вблизи, обтекая огороды, среди облепихи, верб и ольхи нет-нет да и блеснет на солнце, взыграет живой серебристой рябью Касаут, несущий свои воды к черкесским аулам, в манящее туманное марево, где катит навстречу ему прозрачную волну Малый Зеленчук — младший брат Кубани. Предки наши, родом из российских глубинок, с Чернигова да с Запорожской Сечи, народец вольный и рисковый, когда селились тут по указу царя, высокое место для площади облюбовали недаром: отсюда видно на все четыре стороны.

Меня наполняет чувство простора в душе и беспричинного веселья, когда я оказываюсь на площади и вижу вокруг себя белые дома, яблоневые и вишневые сады, ольховые плетни, потемневшие заборы и возле них лавочки, кое-где даже глиняные, как в старину, завалинки, лошадей, женщин на берегу Касаута, которые без устали полощут белье и приголубливают его вальками, когда смотрю на просевшие, зеленые от мха углы неумолчно гудящей маслобойни...

Остаток дня я провел на Касауте. Ходил по дерезе, обсыпанной буровато-зелеными тугими ягодами, ложился на грудь и, как в детстве, пробовал, потягивал сквозь зубы, до ломоты в них, прозрачную воду из родничков, пробивающихся наружу из-под камней заглохшего, занесенного песком ручья-отводка. Повсюду кустиками, а то и латками пер из земли щавель. Кое-где он уже пустил стебли, сочные и на вкус резковато-кислые, и норовил выкинуть бордовые метелочки с семенами. Когда особенно припекло, я искупался в ямочке, оказавшейся мне по грудь, в общем — не глубокой и не мелкой, в самый раз; упругое, крутое течение сносило и почти выбрасывало на тот берег, сплошняком заросший верблюжьими колючками; возвращаться назад босиком было неудобно. Но не это остановило и заставило меня поскорее одеться. Приглядевшись к воде, я увидел на ее поверхности, там, где она была относительно спокойной, сизые пятна, которые тянулись бесконечно, то удлиняясь, то

сбиваясь у берега в жирные, с фиолетово-радужными блестками круги. Меня поразили они. Раньше я никогда не видел их на реке. Чистая, как слеза, вода и эти пятна... Откуда они? Думая о них, я не заметил, как прошел мимо хутора и очутился на Постовой круче. Вид ее отвлек меня от неприятных мыслей. Бугрится она вдоль Касаута, местами осевшая, коряво размытая, изъеденная талою водой либо разъезженная колесами прадедовских бричек, подступает с тяжко нависшими глыбами к белым неспокойным бурунам, прогибается подковами, давая простор реке, разлившейся на множество рукавов, которые часто прячутся в сизой дерезе и в золотистых свечках и сине, весело светятся из них в оправе выбеленных солнцем голышей. Иной раз Постовая круча так неколебимо и круто вознесется ввысь, что, взойдя на нее, поймешь: иначе ее и не могли назвать наши предки, выставлявшие здесь неусыпные сторожевые посты. Отсюда удобно было наблюдать за всем, что творилось на той стороне, за Касаутом, упреждая налеты не в меру горячих абреков... В двух километрах от хутора круча вздымается над долиною подобно скале, настораживая непривычный взгляд оспинами желтовато-серых пещер, отороченных по краям неприхотливыми ветками алычи, дикой кислицы и красного шиповника, невесть как прижившихся на твердой глине. Мы гоняли сюда пасти телят. Нас, мальчишек разного калибра, набиралось довольно много, примерно столько же, сколько было в нашей округе коров. Неизменно был с нами и Матюша. Он блаженствовал вдали от мачехи и обычно сидел в отдалении ото всех на круче, одетый в старый отцовский кожушок, в грубые, жесткие брюки, сшитые Дарьей из шинельного сукна. На голове у него красовалась пилотка с рубиновой звездочкой, а в руке он держал сплетенную из сыромятного ремня плетку с махрами возле орехового кнутовища. Наседала жара, мы доставали припрятанные в тени бутылки с молоком, выпивали его и шли купаться, часто оставляя Матюшу одного приглядывать сверху за телятами. Он соглашался и терпеливо ждал нас, пока мы нарезвимся в воде.

В сумерках, отпустив телят, мы затеивали игры в войну, оглашенно носились по круче, забирались в пещеры, прыгали из них в темную глубокую воду и сходились врукопашную на том берегу. Нередко дело доходило до драк.

Матюша тоже играл, но, если было можно, отказывался, отходил в сторону и смотрел издали на долгие потасовки. Мы прощали ему, потому что знали: бегать неудобно в толстых суконных штанах. Они до крови натирали икры ног и коробились на нем ржавой жестью, точно их однажды после стирки прихватило лютым морозом и больше не отпускало.

Ночью игры становились жестокими. Многие из нас помнили войну, видели настоящих, живых фрицев, которые проходили через хутор в ботинках с ребристыми подошвами и в фуражках с изображением белой лилии на околышах — символом недоступного цветка эдельвейса. Они тащили горные пушки и надеялись сорвать эдельвейс на скалах, у вечных ледников, одним броском перемахнуть через перевалы Главного Кавказского хребта и очутиться в Сухуми, понежиться на черноморских пляжах. Для острастки они повесили на площади схваченную в лесу девушку-партизанку. Марушанские ребята, кто был немного старше нас с Матюшей, близко видели из-за плетней и загат, как ясным, солнечным днем альпийские егери накидывали петлю на шею замученной ими девушки, а потом ловили во дворах и в дерезе гусей, с хохотом резали пронзительно визжавших поросят, беспорядочно стреляя в воздух из автоматов... У многих ребят не вернулись домой отцы или пришли с фронта калеками. Какие же игры, кроме этих, могли удовлетворить пылавшее в нашей груди недетское чувство мести?!

Мы играли самозабвенно, всерьез. «Русские», позвякивая отцовскими медалями на груди, выкраденными из сундуков, шли напролом на стойко державшихся «фрицев», нервы у всех обострялись, воображению рисовался настоящий бой — и вдруг открывалась пальба из самопалов, пахло порохом, в ход шли палки, комья сухой глины, камни... Сейчас я удивляюсь не этой свирепости, а больше всего тому, как это мы тогда, по наивной хмельной забывчивости, в пылу отваги никого не убили и даже никому не посекли лицо дробью. Правда, один раз кто-то проломил голову Егору Нестеренко, нынешнему соседу Касатки; игра в тот вечер прекратилась, Егора отвезли на мажаре в амбулаторию, там его перевязали и отпустили домой.

Этот урок ничему нас не научил, мы продолжали играть. Однажды весною возле Чичикина кургана оста-

новились табором цыгане. Мы бегали глядеть, как они раздувают горн и вытягивают нагретое добела железо, с какою проворностью заливают оловом прохудившиеся чугунки и алюминиевые тарелки. Больше всех нам нравился средних лет, необыкновенно красивой наружности хромой цыган. Белые как сахар зубы, смоляная, плотная борода и такой же вьющийся, спутанный на лбу чуб поразили нас. Он был добр и весел, постоянно что-то напевал вслух, шутил, никогда не отгонял нас от своего рваного шатра и даже позволял раздувать мехи у горна, а самым ловким и смышленым давал тронуть маленьким молотком-подголоском наковальню. С его женою, истинной черноглазой красавицей, наряженной лучше других женщин табора, близко сошлась Касатка. Почти каждый вечер она приносила ей то картошки, то хлеба, подолгу сидела в шатре, училась паять кастрюли, иногда бралась ковать, помогая ее мужу, искусному кузнецу. Ловко у них выходило вдвоем, когда цыган, разгорячившись, дико блестя глазами, в которых плясал огонь, тяжелым молотом бил по мягкому, озарявшемуся искрами железу, смело выправлял и придавал ему нужную форму, а Касатка, подбадриваемая его вскриками, смеялась и наддавала жару молотком-подголоском, пускала трепетную дробь. В такие минуты все цыгане сбегались к шатру и любовались веселой работой.

Но скоро они уехали от нас с проклятиями, и причиною тому были мы, наши игры. Теплой ночью, при светлой луне, мы так разохотились, настроили себя на бойцовский лад схватками на круче, что кто-то из нас, не выдержав, крикнул:

— Ребя, заряжай самопалы! Айда бить цыган!

— Смерть фашистам! Смерть! — завопили все разом и ринулись через поле к Чичикину кургану, по пути набивая в самодельные стволы порох и мелкое свинцовое крошево, заменявшее дробь.

Хотя от макушки кургана ложилась на шатры тень, табор виднелся ясно, и мы, подходя к нему по всем правилам военного искусства скрытным рассыпным строем, видели, что костры едва тлеют: слабые дымки мешаются с волнообразным, зыбким сиянием луны. Тихо. Ни голоса, ни звона наковален.

«Фашистские» егери спят, не чуют приближения наших осторожных шагов. Мы сегодня расквитаемся с ними за все.

Внезапно мы выскакиваем из-за кургана, прячемся в молодом вишняке — и воздух сотрясается от грохота самопалов. Спросонья егери бегают по табору в нижнем белье, не понимая, что происходит, откуда и почему стреляют, женщины вопят, дети поднимают рев. Но вот кто-то из мужчин выкрикивает громкое ругательство, хватает кувалду и несется прямо на нас, за ним с вилами и молотками тотчас устремляются другие цыгане.

Опьянение мгновенно исчезает. Радость смелого удара сменяется растерянностью. Егерей нет. Игра прошла. Это — цыгане. Они бегут и в горячке, взвинченные до предела сумасшедшей стрельбой, не пощадят никого, кто попадется им на вилы или под кувалду. Я выглянул из-за веток и обомлел: тот самый хромой цыган, с которым ковала Касатка, вне себя от ярости, с перекосившимся лицом, держит вилы наперевес и быстро, почти не хромая, приближается ко мне. Я хотел бежать вслед за другими, и не в силах был оторваться от земли, точно непомерная тяжесть навалилась на меня сверху и припаяла к ней. Красавец цыган точно пришил бы меня к земле знобко блеснувшими рожками, если бы не полыхнуло в воздух, прямо перед ним, может быть за десяток шагов от него, сухим выхлестом огня. Это пальнул из кустов Матюша. Цыган взвизгнул и отпрянул в сторону, а я, как бы подброшенный снизу невидимой сильной рукой, вскочил на ноги и — за Матюшей в Касаткин огород.

На другой день цыгане, кровно обиженные коварным налетом, черной неблагодарностью тех, с кем они, бывало, до полуночи гомонили у костров, снялись и, даже не попрощавшись с Касаткой, уехали неизвестно куда.

Касатка долго не могла простить нам этого случая, обижалась:

— Ей-право, наши парубки как сбесились. Это ж надо додуматься стрелять возле шатров. Игру, черти полосатые, нашли. Чи цыгане не люди?

— Жалеешь гостей. Небось цыган чернявый приворожил? — невесело подшучивали над ней женщины.— Он, дьявол, мужик хочь куда. За версту глазищами светит. А борода как у нашего дьячка. Только чернее, вроде ее дегтем вымазали.

Касатка не принимала шуток, говорила серьезно:

— Грех обижать ни за что ни про что людей. Большой грех. За это нам когда-то икнется... Цыгане нам не мешали, жили смирненько. Рази когда подерутся да ку-

сок хлеба попросят. Так это не беда. И у них тоже детишечки, тоже душа не из воздуха, есть просит. Уехали. Кто теперь нам чашки будет латать? И кузнецы бедовые. Я их думала помаленьку к нашему колхозу привадить. Тот чернявый уже соглашался.

— В колхоз записаться? — не верили ей.— Они ж вольные птицы. Была им охота.

— Значит, была,— горестно вздыхала Касатка.— Таких кузнецов упустили. Любо-дорого поглядеть. Озолотили бы наш колхоз.

— Как бы последнее не обобрали,— сомневались собеседницы.— Чем же это они озолотили бы нас? Танцульками?

— Красивой работой,— мечтательно отвечала Касатка.— Я бы сама к ним в подручные пошла. А то! Еще бы как тетка бухала кувалдой!.. Спугнули мастеров, выродки. Вы их прижучьте,— советовала она женщинам.— Дальше хужей будет. У меня вон все вишни обчистили. Не углядишь. Налетают как саранча.

Мы и верно со скуки наведывались иногда к ней в огород, рвали огурцы, горох, но чаще всего просто лежали под ее вишнями и ели груши и яблоки, наворованные в других, более знаменитых марушанских садах, владельцы которых не отличались особой щедростью, караулили добро по ночам, и все же наши ребята-пастушки умели вовремя трусить их ветки. Если уж речь вести о Касатке, то она напрасно жаловалась на нашу братию: мы как-то относились к ней снисходительно, во всяком случае — не разбойничали в ее огороде, а порою даже оберегали его, если представлялась возможность наведаться в сад какого-нибудь прижимистого дядьки.

Все-таки «прижучить» нас было бы нелишним, хотя бы после той стрельбы. Но и она сошла с рук. Внимательнее, с бóльшим уважением стали мы приглядываться к Матюше. Как он спокойно и рассудительно полыхнул в воздух из самопала перед самым носом цыгана! Не то кому-то из нас пришлось бы туго. После мы узнали, что не один я лежал рядом с Матюшей, а еще несколько ребят. Сначала мы решили, что он выстрелил с перепугу, но Матюша внес ясность:

— Я второй раз перезарядил. Нужно было их остановить.

Перезарядить самопал в такой суматохе, когда мы все оцепенели от страха и не знали, что делать дальше,—

это, конечно, удалось бы не каждому. Вот так Матюша!

Наступила осень. Мы пасли телят на сжатом пшеничном поле, неподалеку от кручи. Половину его вспахали, и, так как изо дня в день сеяло, дымилось въедливым мелким дождем, скорее похожим на промозглый туман, в черных разбухших бороздах холодно рябило налившейся мутной водой, наводя на душу смертельную скуку. Целый день мы носили со скирды солому, жгли ее возле дороги и пекли картошку. Дым сочился вяло, лез по-над землей рыхлыми клубками, пока брошенный пук обсыхал. Когда же солома жарко занималась светлым огнем, который вмиг обволакивал и съедал ее всю, дым на время пропадал. Кожура у картошки подгорала, трескалась и становилась хрупкой, прижаристой, она легко отделялась от обжигающей, вкусно хрустящей на зубах мякоти. Так мы грелись у костра и лакомились печеной картошкой до темноты. Телята наши разбрелись по стерне, мы наладились заворачивать и гнать их домой, как вдруг далеко над Учкуркой засиял, забился в сырой тьме, на время исчез и опять проклюнулся крохотный огонек. Мы догадались: ехала машина от «греков» и, наверное, везла брусья либо доски-шелевки с лесозавода.

Не сговариваясь, мы кинулись к шоссе, залегли на откосах кюветов, нагребли по куче камней и притаились, остро переживая неизбежность очередного приключения. Один Матюша жался в стороне, отойдя от дороги, и ни в какую не хотел ложиться в грязный кювет. Он заранее приготовился удирать первым к Постовой круче, откуда можно было кубарем скатиться вниз и спрятаться в дерезе.

— А если эта машина наша, колхозная? — дрогнувшим тенорком высказал догадку Матюша.

— Не канючь! — оборвали его ребята постарше, наши «цари» и заводилы, которых мы, пузатая мелюзга, откровенно побаивались.— Это чужая полуторка.

Матюша пятился назад и незаметно оказался почти у самой кромки пахоты, едва не слился с ее пугающей чернотой. Его неуверенность навела и на меня оторопь. По росту и годам я был самым маленьким среди зачинщиков этой истории, и мне тоже надлежало быть осторожным. Я отодвинул от себя камни и крадучись отполз подальше от кювета. Между тем большие ребята лежали невозмутимо, курили и спокойно переговаривались между собой.

— Бить по колесам,— отдавал последние распоряжения Павел Кравец, пятнадцатилетний парубок, самый старший из нас пастух, делавший за деньги самопалы и все еще учившийся в четвертом классе.— Первым кидаю я.

— А по кабине можно? — шмыгая носом, вполголоса пытал его сосед.

— Нельзя.— Павел сердито чиркал спичкой.

— А по фарам?

— По фарам лупи.

На несколько минут огонек пропал из виду,— пожалуй, машина спустилась в ерок и мчалась возле фермы,— но вот два тонких и ярких лучика выткнулись из тьмы и остро впились в небо, зашарили по нему, медленно понизились и наконец слились в один жгут разраставшегося, быстро летящего к нам сияния — так стелется по небу хвост падающей кометы.

Свет прижал нас к земле, я растерялся и хотел кинуться наутек, но в это время раздался хриплый деланный бас неумолимо-грозного Павла:

— Приготовить гранаты! По «тигру» — огонь!

Не успел я поднять головы под непримиримо бьющим в глаза светом, как град камней сыпанул в машину, застучал по бортам и колесам; лопнула фара, со звоном просыпалось на шоссе стекло, тотчас скрипнули тормоза, а из кузова вырвались женские всполошенные крики. Машина остановилась, из кабины выпрыгнул шофер с заводной ручкой. Мимо меня пулей просквозил Павел, вразброд суматошно забухали во все стороны сапоги; превозмогая страх, я тоже вскочил и, шелестя мокрым брезентовым плащом, во все лопатки дернул к пахоте.

По стерне еще бежалось легко, грязь налипала на подошвы, слоями наворачивалась, подбивала каблуки и тут же отлетала ошметками. Но как только я очутился на пахоте, сразу почувствовал, что выбиваюсь из сил, отстаю от Павла. Мои просторные, с отцовской ноги кирзачи вязли в бороздах, я буквально вырывал их из земли, задыхаясь и путаясь в полах длинного плаща. Между тем все явственнее я различал позади тяжелое дыхание нашего преследователя, топот и плеск его твердых шагов. Он не ругался — бежал напористо, молча, очевидно сберегая дух, и это увеличивало охвативший меня ужас. Силы мои таяли, сапоги застревали все глубже, ноги в коленях подгибались, а он пер напролом, как танк, сопел

и, казалось, вот-вот достанет меня заводною ручкой. Уже недалеко была Постовая круча, перед глазами маячил балаган, но поздно: он едва не наступал мне на пятки. Я весь внутренне сжался, приготовился к худшему: сейчас он рывком дернет меня за плечо и повалит под себя в грязь...

И он бы, наверное, схватил и прижал меня, если бы не голос Матюши:

— Дяденька, не трогайте его! Он не виноват! Он не кидал!

— А кто? Ты-ы? — взревел шофер и пустился за Матюшей.

Ноги у меня подломились, я ощутил вдруг безразличие ко всему и больше не сделал ни шага, грудью прилег на пахоту, уткнулся лицом в грязь и, подставив одну щеку тонко моросящему дождику, закрыл глаза. Явилась слабая, приведшая меня в умиление мысль: «Вот бы сейчас навсегда уснуть, раствориться в этой грязи и больше ни от кого не убегать, не слышать треска разбитой фары». Но тут же я подумал, что завтра может все перемениться, встанет солнышко, осветит дерезу и речку, мои дружки пойдут в школу, после уроков возьмутся ловить рыбу, а меня не будет. Как же так? Этого не должно быть. Я не хочу... Разве Касаут будет так же, как и раньше, течь без меня, а Постовая круча останется стоять на том же месте, где и стояла? И ничего с нею не станется? И мой теленок будет пастись в дерезе?

Жалость к себе и к теленку, ко всему, с чем мне было трудно расстаться, сковала мне сердце, я всхлипнул, пересилил себя и встал, потому что больше не хотел навсегда уснуть и превратиться в такую же грязь, на которой я лежал.

Матюшу подвели штаны. Он не сумел увернуться в них от преследователя и попался ему в лапы. Они долго барахтались на пахоте, пока шофер изловчился и схватил его за воротник кожушка, поднял на ноги.

— Дяденька, я тоже не кидал! Не бейте меня...

— Ты чей?

— Босов... Не бейте меня, дяденька,— умолял Матюша.

— Отпустите его! — крикнул я издали, выходя на кручу.

— Защитник. Подойди ближе, я посмотрю на тебя, герой!.. Так чей ты, говоришь?

— Босов...

— Сын Василя, что ли? Эй, Дарья! Ступай сюда! Сынок тебя чуть не убил.

— Я ему, бесу лупоглазому, высмыкаю чуб! — пригрозила Дарья, которая вместе с остальными женщинами шла через пахоту.— Я ему напасу телят!

Тем временем ко мне подкрался Павел со своими дружками-одногодками, присел на корточки и весь обратился в слух. Голоса женщин, возбужденные, еще не отошедшие от пережитого испуга, приблизились, и мы стали угадывать по ним, кто сидел в кузове: Елена Бузутова, Касатка, мать Павла...

— Сволочь я... Ох, сволочь! — неожиданно обронил вслух Павел, вытащил из-за пазухи двуствольный самопал, в сердцах постучал им по носку сапога и вдруг швырнул под кручу, в воду. Никто из нас не обернулся на глухой всплеск, никто не пожалел об утонувшем самопале.

С незнакомым холодком в груди, точно истукан, стоял я у края обрыва, навострив слух, и боялся, что сейчас заговорит моя мать; если она там, то должна как-нибудь напомнить о себе, однако среди толков и шума голоса ее не доносилось, и я немного успокоился, моля судьбу, что мать не ехала в кузове этой полуторки, атакованной нами из кюветов. Другие ребята никли, угадывая своих матерей. Такого еще никогда с нами не было. В кого мы бросали камни?!

— На фронте, елки-палки, фрицы меня не убили, а тут чуть богу душу не отдал. Ни за что ни про что,— горячо и сердито выговаривал шофер.— Голыш просвистел возле виска. Надо же! Свои... щенята чуть не прикончили!

— Пустите,бабы. Дайте-ка я своему пащенку ухи нарву! — неистовствовала Дарья.— Ах ты, бесстыжие твои глаза! Так ты пасешь бычка?

— Я не кидал! — обиженно всхлипывая, твердил Матюша.

Дарья распалялась не на шутку:

— Что ж ты творишь, ирод? Вот я тебе напасу! Я тебе напасу! Ох, горюшко горькое... Навязала себе на шею хомут.

Кажется, мачеха уже добралась до Матюши, но в это время мужским баском ее живо одернула Касатка:

— А ну, Дашка, отчепись от греха! Сперва роди, по-

том хватай за волоса. Матюша хлопец смирненький. Вишь, плачет. Значит, не он... Ты не кидал, Матюша? — Голос у Касатки взволнованный, проникновенно-участливый.— Признайся, тебя никто не тронет. Я не дам.

— Не-е... Большие ребята.

— Вот, Дашка, сперва разберись. Большие ребята кидали, слышишь? Ей-право, ты какая-то бешеная. Пожалела б хлопчика.

— Будешь бешеная с такой оравой!

— Терпи, милая. Бог терпел и нам велел,— поучала ее Касатка.— Я вон шишку на затылке схлопотала, да и то молчу. Что ж, не повесишь же их на сухой ветке. Терпи. Усмиряй лаской.

Тут она, видимо, пригляделась к нам сквозь сырую, загустевшую мглу:

— Эй, кто там мельтешит на круче? Выходи, если вы такие смелые. Умели бедокурить, умейте и отвечать. Фронтовика чуть не положили, изверги.

Никто из нас не отозвался на ее голос, не двинулся с места.

— Э, да я вижу, вы робкого десятка. Пойдемте, бабы. Они, видать, на этой круче знаются с чертями, вот и буянят.

Женщины поругали нас, пошумели и подались назад к машине, которая неприкаянно чернела на дороге и далеко пробивала тьму неподвижным лучом желтой фары. Матюша тоже поплелся за ними. А мы остались с Павлом на круче.

— Стыдно,— сказал он.— Нехорошо, братва, получилось.

С этой ночи наши жестокие игры прекратились. Както у всех разом отпала к ним охота. Но приключение на этом не кончилось. Опасаясь взбучки родителей, Павел решил заночевать на мельнице, человек пять из солидарности присоединились к нему, с ними увязался и я, с гулко забившимся сердцем предчувствуя новизну ожидающих нас впечатлений. Мельница стояла у бугра, неподалеку от огорода Павла. Сейчас она не молола, вода облегченно шумела и бормотала под открытым шлюзом, а на толстой дубовой двери темнел амбарный замок. Павел приставил к стене доску, по-хозяйски взобрался на крышу, отсоединил на углу дранку и юркнул в черную дыру. Мы тоже полезли.

Павел зажег фонарь, висевший над жерновами. Свет

выхватил из сумрака припорошенные мучною пылью стены, гусиное крылышко за стропилом, цибарку с отрубями и расстеленные на полу шубы — сивую и белую; на них спал мельник Сагайдак, когда ему мерещились воры и он оставался караулить добро.

В кожаной сумке нашлись неначатые пышки с тонко порезанным куском сала; мы жадно набросились на еду, разделили ее поровну и съели. Жить стало веселее. С удвоенным любопытством мы шарили по мельнице, заглядывали в каждый угол, и любая обнаруженная нами мелочь, будь то зубило или молоток, приводила нас в ликование. «Братва! Инструменты не трогать,— предупреждал Павел.— Голову оторву». Мы с болью и сожалением возвращали на место найденные сокровища. В жестяных емкостях над жерновами осталось по пуду сморщенного пшеничного зерна, Павел надумал нас поразвлечь, вылез наружу и крикнул оттуда, чтобы мы не подходили к камням: может захватить одежду.

На валу пруда скрипуче, жалобно взвизгнула вертушка затвора, звякнула цепь, и мы с непередаваемым восторгом услышали хлесткий разбег пущенной в лоток воды. Тотчас колесо под дощатым полом провернулось, дернулось, лопасти напряженно фыркнули — и вся мельница вздрогнула от ожившего на наших глазах жернова, пошла колотиться как в лихорадке, зудеть под ногами. Жернов уже вовсю расходился, насечки на нем слились в серый волнистый круг, мука теплой струйкой потекла по желобку в холщовый рукав приемника, и отруби коричневой шелухой полезли своим путем, как Павел, угождая нам, дал взыграться другому колесу. Соседний жернов тоже понесся вскачь, деревянная колотушка на нем взбрыкивала, выбивала лихого казачка.

Мы тоже бегали, подскакивали у жерновов, плясали кто во что горазд и во всю глотку орали марушанские песни, забыв про осторожность, про недавнюю нашу беду:

Сагайдак наш, Сагайдак,
Что ж ты мелешь, да не так!
Жернова всухую трутся —
Черти над тобой смеются!

Но тут Павел опустил затворы, влез к нам, потушил фонарь и мрачно сказал:

— Чего раскукарекались? Забыли обо всем? Спать! — И первым лег на середину шубы.

Ни свет ни заря мы проснулись, оглохшие от шума воды, до дрожи озябшие, с посинелыми губами, вылезли, заделали дырку на крыше и, разгоняя кровь, побежали на Постовую кручу. После обеда к нам явился Матюша, грустный, с буханкою кукурузного хлеба под мышкой. Мы тут же умяли хлеб, а Матюша рассказал, что телят наших загнал на колхозный баз объездчик Крым-Гирей и требует штраф за потраву озими; родители сильно ругаются, ищут и грозятся выпороть нас за все проделки одним махом, и в школе недовольны нами, так что показываться в хуторе рискованно. Ему тоже досталось на орехи от Дарьи, и он сбежал из дому.

В поле мы накопали картошки и, подавленные невзгодами, побрели в лес. Погода налаживалась, волглые тучи еще утром отогнало к вершинам, они подержались там до обеда и растаяли, оставив после себя мягкую, промытую синь; солнце теперь беспрепятственно катилось по небу и сияло по-новому — молодо, ясно. Видно, после дождя брало верх бабье лето. Не сегодня завтра вывяжет оно прозрачную, легкую, как дым, паутину, раскинет ее по свежей отаве, по кустам закрасневшего плодами шиповника и золотистым метелкам свечек, светло оплетет колючие кудри дерезы и нет-нет да и сверкнет на диво человеку плывущей в воздухе серебристой ниткой, поманит куда-то вдаль... Какая бы тяжесть ни лежала у меня на сердце, а все-таки солнечный денек веселил; пестрые осенние кроны и удивленно проглядывающие сквозь ветки огненные сгустки калины, даже лесной ручей, мимо которого мы шли, усыпанный желтыми кленовыми листьями и едва приметный,— все говорило о возможности счастья, все дышало новизной и призывало к чему-то. В этом лесу хотелось жить светло, и было странно и непонятно, что только вчера преследовала меня неумолимая тень страха, только вчера я испытывал лишь одно желание — умереть на пахоте.

Приободрились и мои товарищи по несчастью. Мы наелись ежевики, обильно синевшей в зарослях, насобирали лежалых груш, испекли на поляне картошки, а затем напялили балаган, натаскали в него сена из копны, кем-то сметанной вблизи ручья и замаскированной валежником.

Ночью я спал тревожно; все мнилось: волк бродит, кружит возле балагана, выслеживает, с какой стороны подкрасться. Ветка шелохнется, треснет вверху, а я уж

думаю: это рысь залезла на макушку вербы, притаилась и тоже дожидается своего часа. Перед утром, в кромешной тьме, гукал филин, и я лежал с открытыми глазами, прислушивался, когда он угомонится, проклятый, и чувствовал, что и другие не смыкают глаз, тоже знобит их, только никто не хочет признаться в страхе, все молчат и ворочаются в сене, томясь бессонницей.

Зато утром мы разлеглись, распластались на солнышке как убитые. На третий день мы приступили к резке прутьев, стали вить из них на больших раскидистых вербах гнезда, подобно сорочиным. Все-таки ночевать в них, высоко над землей, не так страшно, хотя, пожалуй, холоднее.

За этими приготовлениями к поднебесной жизни и застала нас Касатка. Переваливаясь с боку на бок, она медленно двигалась по лесной дороге, держа на плече коромысло с огромными пуками наломанной калины. Из поддетого в поясе запана выглядывала довольно внушительная краюха кукурузного чурека. Увидев ее, мы было кинулись врассыпную, но скоро сообразили, что это ни к чему, все равно тайна наша разгадана.

— Ух ты! Чижолая. На всю зиму наломала тетка калинки. Пироги с нею буду печь. Объеденье! — ни к кому не обращаясь, произнесла она вслух, осторожно приняла с плеча коромысло и опустила калину в траву.— Хочь передохну, душа колотится.

За нею водилась странность — иногда беседовать наедине с собою, и поэтому, выглядывая из-за веток, мы было уже засомневались, видела Касатка нас или нет, но тут она выпрямилась, обвела кусты и деревья насмешливым взором синих немигающих глаз, подняла их кверху и всплеснула руками:

— Батюшки мои, да тут у вас прямо рай. С божьими птичками спелись. Сорочат не вывели?

Вслед за этим она обобрала с подола своей заплатанной полотняной юбки прилепившиеся коричневые семена череды, села на прошлогоднюю муравьиную кочку и с выражением блаженства и покоя на лице протянула ноги, обутые в калоши. Безобманным мальчишеским чутьем мы угадали ее добродушно-снисходительное расположение к нам, выступили на поляну и стали перед нею в несколько виноватых позах. Она развязала узел запана — и что за чудо: сколько было в нем еды, от одного вида которой у нас потекли слюнки во рту! Малосольные, с пу-

пырышками, огурцы, завернутые в лист лопуха пирожки с капустою, вареники в глиняной махотке! И вареная картошка, обжаренная с постным маслом, и даже мелко истолченная соль в бумажке... При этом изобилии невероятных лакомств, как по волшебству явившихся перед нами, я, помнится, до тошноты, до озноба испытал приступ настоящего голода, голова у меня закружилась, тело проняло дрожью, и я едва удержался на ногах, едва устоял, пока она расстелила на траве снятый запан, разложила на нем еду и разломила на равные куски хлеб.

— Сидайте, хлопчики, ешьте!

Мы накинулись на вареники и вмиг опорожнили махотку. Более ухватистые ребята оттеснили нерасторопного Матюшу, затолкали локтями, она заметила это, потянула его за рукав и усадила рядом с собою, сама выбрала ему пирожок и потрепала мягкие, как пух одуванчика, волосы:

— Матюша, тебя не обижают тут? Ты им не поддавайся. Ты же у нас вон какой герой, в мать. Она двух мужиков борола... Бледненький. Не простудился? Тут у вас сквозняки кругом, от ручья небось жучит по утрам.

— А мы в сено кутаемся,— уминая за обе щеки пирожок, простодушно отвечал Матюша.

— Сено вас не спасет. Морозы жахнут, что станете делать? Куда подадитесь? Да, хлопцы. Плохие ваши дела. Нашкодили и в кусты. Родители с ног сбиваются, ищут вас. Домой не надумали ворочаться?

— Не-е, была охота!

— Трепки боитесь? Так вы ж, ей-право, вынуждаете их. Вот у меня до се от вашего привета шишка не спала. Пощупай, Матюша.— Она стянула с головы косынку, наклонилась к нему.— Да не там ты водишь пальцами. Поближе к затылку веди. Вот тут. Ну?

— Ага, большая,— подтвердил Матюша.

— А вы все думаете, что тетка брешет.— Касатка потуже собрала в узел русые волосы и покрылась косынкою.— Я никогда напрасно слова не скажу. Зачем? Брехать и без меня есть мастера. Болит, вражина, до се. По ночам отдает, стреляет в ухо. Влепили тетке гостинец, чтоб помнила, дура, как на полуторках ездить.

Нам сделалось не по себе, мы разом перестали есть.

— Да вы не стесняйтесь, чего уж там,— сказала она.— Ешьте. Заживет, как на собаке. Я битая. Как-нибудь перетерплю.

— Теть, мы больше не будем,— сказал Павел.

— Да я вижу, что не будете. Люди, хлопчики, один раз на белый свет рождаются, их жалеть надо. Вот был у меня муж Миша, Михаил Игнатович. Убили его на войне. Убили, а где я себе такого другого хорошего человека найду? — Касатка запнулась, вытерла пальцами повлажневшие глаза.— Нигде. Одна теперь кукую. Калину нонче ломаю, размечталась и думаю: кабы Миша вернулся, пришел на Касаут, вдвоем бы ее ломали. Не два пучка, а сразу четыре домой бы поволокли. Веселей бы шлось по камушкам... А вы калинку не трогаете? Подольстились бы, матерям принесли. Вертайтесь, хлопчики. Хватит вам бирюками рыскать.

— Дома нас прибьют,— сказал Павел.

— Не прибьют. Вы пообещайте, что больше не будете хулиганить. Я им передам.— Касатка оглядела нас, всех до одного, и таинственно, хитро подмигнула: — Я такое словечко замолвлю за вас, что они вмиг покорятся.

Мы дали обещание, и она сказала:

— Завтра я наведаюсь к вам с донесением. Вы не переживайте, тетка вас не выдаст.

— А если они обдурят... начнут пороть? — сомневался Павел.

— Тогда грець с ними! — весело объявила Касатка.— Бросим их. И я с вами подамся в лес, хочь побродяжничаю. Буду у вас за атаманшу. Правда что, с меня может выйти бедовая атаманша! Только раззадорь тетку — она покажет, на чем орехи растут.— Касатка, задорно сияя молодыми, чистыми глазами, подхихикнула в кулак.

Между тем мы управились с едою, и она, поднявшись с размятой кочки, отряхнула от крошек запан, подпоясалась им, сходила к ручью и вымыла махотку. Нам было жаль прощаться с нею. Павел услужливо подал ей коромысло с пучками калины, наивно восхитился:

— Теть, а вы помногу едите! Сколько всякой всячины наготовили себе.

— Ого, хлопцы! Меня прокормить трудно. Я буду прожорливой атаманшей.

Мы искренне поверили ей и засмеялись. Лишь много позднее дошло до меня, что Касатка, отправляясь в лес за калиной, надеялась встретиться с нами и наготовила еды для нас. Но тогда мы не догадались об этом. Ее появление возле нашего гнездовья с щедрым узлом казалось нам простой случайностью. На другой день она пришла и объявила, что родители прощают нам все грехи и пальцем нас не тронут, если мы к вечеру вернемся в хутор. Мы вовремя покончили с лесным бродяжничеством, потому что предутренние холода и постоянное ощущение голода изнурили нас и мы чувствовали себя не вполне здоровыми. Мне и до сих пор неизвестно, как вела переговоры Касатка с родителями, что она говорила им, но никто из них не взялся за хворостину при нашем постыдном возвращении в хутор, никто не отругал нас как следует в тот скорбный вечер, даже скорая на расправу Дарья удержалась от соблазна.

...Далекие и зыбкие, как сон, дни. Неужели они были? Был я, хлопец с вечными цыпками на ногах, стрелявший из самопала? Был Матюша в рваном кожушке, в брюках из шинельного сукна и в пилотке с рубиновой звездочкой?.. И вправду ли была грязь, тяжкая, непролазная и бесконечная грязь, по которой мы бежали вслепую, бежали изо всех сил, объятые недетским смертным страхом и уже, казалось, потерявшие всякую надежду выдраться, выбиться из ее всасывающей, вязкой и черной, как мгла, плоти?!

Я стоял на круче, глядел на Касаут и думал: что за дивная, неразгаданная сила уберегла нас, избавила от дурных привычек, осветлила сердца и отправила в мир на поиски счастья? Бесшабашного, казалось, никчемного Павла она сделала судовым механиком, известным на всей Балтике, Матюшу — председателем колхоза, другого посадила за штурвал сверхзвукового реактивного самолета и круто вывела в небо, из этого сотворила доброго плотника, да в придачу, чтоб ему не скучно тесалось и строгалось, облепила его толпою наследников. И опять в мыслях возникала Касатка в своем убогом наряде, в калошах на босу ногу; не спеша она расстилала запан по траве и мягко, трогательно, как не говорит ныне никто из молодых женщин, приглашала: «Сидайте, хлопчики. Ешьте!»

Может быть, она и была частицей той животворной, осветляющей, спасительной силы.

Глава третья

МАТВЕЙ БОСОВ

Ровно в девять я уже в конторе. Девушка сегодня одета в шелковое платье с раскиданными по голубому гроздьями ягод и пучками полевых цветов. Прическа тоже новая: каштановые, довольно пышные волосы не заплетены, как вчера, в косицы, а собраны и перехвачены сзади лентой-дымком. Вид у нее далеко не служебный, с прежней гордой и вежливой предупредительностью она слегка кивает мне и объявляет:

— Проходите, пожалуйста. Матвей Васильевич у себя.

Кабинет у Босова с окнами на площадь. Обставленный полированными шкафами, с мягким бордовым ковром во весь пол, с рядами стульев вдоль продольного, зеркально блестевшего стола и с диваном у бледно-розовой стены, он довольно просторен; здесь мог бы разместиться весь штат конторы, однако впечатления его громоздкости или ненужности отдельных предметов не создавалось, все на своем месте, готово в любую минуту услужить хозяину, который сидел в глубине, за столом поменьше, и, когда я входил, что-то писал карандашом на листе откидного календаря. Справа, под рукой у него, телефоны, радиосвязь и клавиатурный коммутатор с помигивающими красными и темно-синими лампочками.

Босов щурится на меня серыми, с прозеленью, чуть насмешливыми глазами, порывисто встает и дружески, не допуская излишней фамильярности, пожимает мне руку. Ростом он высок, но держится прямо, не горбится, чтобы казаться ниже, как это порою бывает с очень длинными людьми. Напротив, Босов как бы гордится отпущенной ему возможностью поглядывать этак сверху из-под белесых, сошедшихся на переносице бровей. Он расправляет плечи, с минуту ходит возле стола в своей летней пиджачной паре и в прочных, до глянца начищенных кожаных туфлях, спрашивает с лукавством и недоумением:

— Что это вчера с тобой стряслось? Колесо у автобуса сломалось! Нет, Федор Максимыч, на вашего брата полагаться всерьез нельзя. Недисциплинированный вы народец. Ждал его, ждал... Пришлось одному укатить в горы. Жаль. Ты многое потерял.

— Мог бы немного подождать.

— В том-то и беда, что не мог. Я обещал людям приехать тютелька в тютельку. Ни минутой позже. Так что не обессудь.

Босов усаживается в свое вертящееся кресло, не глядя, правой рукой нажимает кнопку и, слегка наклонившись, говорит по селектору:

— Таня! Я занят.

— Хорошо, Матвей Васильевич,— тотчас раздается чистый, услужливый голос его секретарши.

— Так что же с тобой приключилось?

— Встретил одну старушку. Представь себе, мы с ней лет восемь не виделись! Она доводится мне теткой. Завела в хату, угостила. Неудобно было сразу откланиваться.

— Кто она? Я ее знаю?

— Касатка.

— А-а-а.— Губы Босова трогает едва уловимая усмешка.— Эта тетка с причудами.— На мгновение он о чем-то задумывается, трет пальцами высокий, с залысинами лоб, потом вдруг спохватывается, с беспокойством смотрит на часы и хлопает в ладони.— Ну так, Федор Максимыч, подсаживайся ближе, примемся за дело. Я тут приготовил тебе данные — бери, анализируй. Все по полочкам разложено. Вот полюбуйся: годовые отчеты. В них прослеживается наш рост. А это — генеральный план застройки хутора. Во всех деталях. Чтоб ты имел представление. А то сочинишь какую-нибудь басню, марушанам на смех.— Он выкладывает передо мною пухлые, аккуратно зашнурованные папки и чертежи.— Выбирай, что твоей душеньке угодно. Для земляка не жалко. Заметь, я приготовил и несколько любопытных сведений по росту механизации труда. Как в полеводстве, так и в животноводстве. Но главное — наше капитальное строительство, наш будущий комплекс. Это, брат, настоящая поэзия, дух захватывает! Об этом не то что статейку в газету — книгу не стыдно будет писать. Только повремени с годика три, силенок поднакопим, пустим его, тогда приезжай, строчи сколько угодно. Я, может, сам поэмку сочиню, напечатаешь? Гонорар на двоих,— улыбается Босов, шелестя страницами документов.

По мере разговора он все более оживляется, теребит свой поредевший мягкий чуб с едва приметными паутинами рано взявшейся седины; на щеках с выпяченными скулами проступает и начинает играть румянец, се-

рые глаза блестят. На память, не заглядывая в тома, Босов называет уйму цифр, сыплет ими как из решета, иногда повергая меня в растерянность, почти в уныние. Я не выдерживаю:

— Можно... поменьше цифр?

— Понимаю, арифметика тебя интересует постольку поскольку...— Босов ослабляет узел галстука и расстегивает пуговицу на белой рубашке.— Но тогда, прости, я не вижу смысла в нашей беседе. Я опасаюсь, что ты не уловишь сути, неправильно, поверхностно осветишь в печати наши достижения, наш опыт. Кому нужна легкая писанина? В таком случае поезжай к другому председателю за пикантными историями. У меня же ничего не происходит. Я работаю как вол, и все! — Глаза его суживаются, зеленеют и становятся колючими.— Честно тебе говорю, как земляку: ох и надоели мне щелкоперы! С ними, понимаешь, возишься, время расходуешь, все полюдски, чтоб не обидеть, а после развернешь газетку: бог мой, одна лирика, такая заумь, что волосы дыбом! Если пару цифр оттуда выудишь, то и те с ног на голову перевернуты, как в кривом зеркале... Ты не обижайся, не хмурься,— помолчав, сбавляет тон мой ершистый собеседник.— Пойми, вникни: мы тут, в нашей допотопной Марушанке, целую экономическую революцию затеяли! Это вот не упусти, обоснуй выкладками...

Малиновым светом наливается и мигает лампочка коммутатора, одновременно с нею принимается ворчливо и требовательно гудеть зуммер. Босов, отвлекаясь от разговора, с рассерженным видом снимает трубку:

— Босов. Слушаю.

Он зажимает микрофон в ладонях и, глядя на меня, поясняет шепотом:

— Первый... батя звонит. Да, я вас слушаю, Андрей Афанасьевич!

— С кем это ты там секретничаешь? — клокочет в трубке.

— Да так... с веселым человеком.

— Ага. Послушай, Матвей Васильевич. Завтра в наш район приезжает солидная делегация из Белгорода. Гости интересуются вопросами животноводства. По-моему, тебе нужно выступить перед ними, поделиться опытом выведения продуктивных пород скота.

— Не могу, Андрей Афанасьевич,— морщится Босов.

— Почему?

— Да у меня не все ладится на опытных участках. Боюсь, лукьяновский сорт не даст семьдесят центнеров пшенички с га. Завтра собираюсь съездить туда с агрономом.

— Что же ты предлагаешь?

— Каждый пусть занимается своим делом, вот что,— отвечает Босов.— Я пошлю на совещание главного зоотехника. Он им все растолкует лучше, чем я.

В трубке слышится потрескивание, короткие посторонние шумы — видно, собеседник на том конце провода раздумывает над предложением Босова. Наконец голос вновь оживает:

— И все-таки, Матвей Васильевич, будет, по-моему, солиднее, если ты выступишь. Кратко, обстоятельно. Это у тебя получается. Ну как?

— Не могу, Андрей Афанасьевич! Завтрашний день у меня весь распланирован... Надоело, честное слово!

— Взялся за гуж, не говори, что не дюж,— по-отечески журит его невидимый собеседник.— Ладно, на этот раз снизойду к твоим мольбам. Согласен, присылай зоотехника. В девять ноль-ноль чтоб он как штык был в райкоме! Удач тебе.— В трубке сухо щелкает.

Босов вынимает из кармана носовой платок, отирает им лицо, чему-то про себя усмехается, включает тумблер радиосвязи и, нажав кнопку, говорит по селектору:

— Здорово, Сергей Платоныч. Босов. Возьми карандаш и записывай. Завтра в десять ноль-ноль встреча в райкоме с делегацией из Белгорода. Выступишь, поделишься опытом. Каким? Сам знаешь, не придуряйся. В десять ноль-ноль! Все.

Босов закуривает, с наслаждением затягивается дымом и медленно отводит руку с зажатою в пальцах сигаретой:

— Видишь, как получается. Только выбьешься в люди, уже норовят растрезвонить об этом по всему околотку, показывают тебя как шута горохового. Семинары, совещания, встречи — и везде непременно просят выступить. Я же, простите, вам не штатный лектор. Мне нужно дело делать. Весною я был в одном подмосковном колхозе, на свиноводческом комплексе. Нам до них еще далеко. Что ты! Это же целый завод. Корпуса огромные, под стеклом. Люди в белых халатах, нигде ни соринки. Кафель, лампы дневного света, полная механизация. Точно по графику на божий свет рождаются поросята. Не сот-

ни, а тысячи! И каждые сутки из ворот выезжают «Колхиды» с откормленными на убой свиньями. Вот это размах! Есть чему поучиться. А у нас? Что замечательного, небывалого у нас? Мы только начинаем. Ну есть две небольшие свинофермы. Механизация на них мне кровью далась. Ловчил и так, и этак. Дело давнее, одному тебе признаюсь: в ту пору меня запросто могли посадить в каталажку. За что? Да за нарушение финансовой дисциплины, за всяческие сомнительные сделки. К примеру, оборудовали мы кормоцех, все честь по чести, только водоснабжение не отлажено, кормозапарник барахлит: не хватило кое-каких мелочей. Дефицит, нигде не достать. А зима на носу, вот как нужно торопиться с пуском. И тут бывалые люди шепчут на ушко: Матвей Васильевич, мол, все можно выбить в районной «Сельхозтехнике», в прорабском участке, если вдобавок ко всему оплатить якобы выполненные этим участком работы по установке оборудования. Но кому фактически платить? И опять советуют: хорошо бы оформить трех-четырех колхозников рабочими «Сельхозтехники», пока они будут возиться в кормоцехе. Разумеется, фиктивно оформить, для нарядов.

— На что же им понадобилась такая уловка?

Босов глядит на меня с нескрываемым разочарованием:

— А ты еще не догадался? Мышкуют! Своих людей у них мало, работать некому. Зато в избытке есть дефицитные материалы. Вот они и хитрят, выкручиваются: все-таки хозрасчетная организация, у них тоже план. И я, представь себе, рискнул. Ничего. Все, как видишь, обошлось, не упекли. Благоденствую на марушанской земле.

— Иначе было нельзя, без риска?

— Ждать манны небесной? — Босов недоверчиво косится на меня.— Нет, Федор Максимович, по-моему, ни одно серьезное дело не обходится без риска. Ты ведь знал моего предшественника. Ну чем не мужик, чем, думалось, не руководитель: на работу хваткий, умом трезвый, прижимистый, из воздуха выжимал гривенники. А вот по-крупному рисковать не хотел. Осторожничал, дожидался лучших времен. Лепил курятники, плел и латал базы, изо дня в день матерился с доярками... Я его потихоньку прижал, взял и пустил нажитую им копейку в оборот, на строительство! Сколько мне пришлось мы-

каться, юлить — об этом только я знаю. Помню, страшился лишь одного: чтобы меня не отстранили от должности в самый разгар работы. Но я, брат, везучий, пронесло... Теперь можно посчитаться и с правилами игры. Можно: основу-то мы крупную заложили. Но иллюзий я не строю: с комплексом придется повозиться. Партнеров у нас много, и у каждого, разумеется, свои интересы. Будет еще горячка!

В кабинете скапливается духота, солнце, поднявшееся в зенит, бьет в окна отвесными лучами. Босов рывком встает с кресла и опускает шторы, затем включает на подоконнике вентилятор. Пропеллер мягко гудит и обвевает нас свежим воздухом.

— Парит, как бы не было дождя,— с тревогою роняет Босов.— Народ косит. Дорог каждый погожий час. Жаль, что ты вчера не поехал со мною на пастбище. Травища там выдула — по пояс. Ни пройти ни проехать.

— Надеюсь, мы еще побываем там?

— Конечно. Если не будет ливня. Очень крутой подъем. Колеса пробуксовывают. Того и гляди сорвешься в пропасть.

— Новую дорогу туда бьют по-прежнему?

— Бьют. Трудный орешек. Пока мы ездим по старой.— Босов, мягко ступая по ковру, ходит у меня за спиной, прямой и высокий как жердь, выпускает дым изо рта и отмахивается от него рукой.— Кстати, тебе известно, что мы затеяли у Синих скал?

— Дома для животноводов.

— Но какие это будут дома, ты не знаешь. Мы уже вывели наверх электролинию, подбросили технику и роем котлованы под фундаменты... На первых этажах разместим библиотеку, медицинский пункт, сберкассу, магазин, почту с телеграфом и телефоном. Так.— Босов поочередно зажимает пальцы и с удовольствием, чтоб ничего не пропустить, перечисляет дальше: — Столовую, киноконцертный зал, парикмахерскую... комнаты отдыха, душевые... всякие там постирочные. Второй и третий этажи отдадим под спальные корпуса. Комнаты на двух человек, с балконами. К столовой примкнет терраса с ажурным солнцезащитным устройством. Рядом выстроим детский сад. Ну как? Чувствуешь размах?

— Отличная идея. Люди перестанут ютиться в сырых балаганах, как теперь. Но хватит ли у тебя средств? Распылишься.

— Хватит, Федор Максимович, я посчитал. Мне Андрей Афанасьевич крепенько помог, так что... Так что не волнуйся! С деньжатами у меня полный порядок. А без этих домов уже нельзя. Сейчас в горы молодых или семейных палкой не загонишь. Понятно, не всякому хочется полгода спать на шубе и варить суп в котелке. На что старики, и те уже ворчат.— Босов возвращается к креслу и притушивает сигарету.— Жизнь, брат, заставляет. Это в своем роде санаторий. Зимой колхозники будут бесплатно отдыхать, кататься на лыжах. Как на Домбае... Угадай, Федор Максимович,— вдруг говорит он, окидывая меня пытливым взором искрящихся ироничных глаз,— почему я так спешу со строительством комплекса и этого горного чуда?

— Ну... чтоб облегчить труд людей, приблизить условия их жизни к городским, как мы любим выражаться. И — прибыль. Ты ведь экономист, сугубо практический человек.

Босов нетерпеливо перебивает меня:

— Это само собой разумеется. Как дважды два... Мне вот как надо спешить, рвать удила! — Он проводит по горлу ребром ладони.— Пока среднее поколение в силе, не ушло на пенсию. Больше-то некому работать. Молодых у нас мало. Вот я и жму на все железки, догоняю завтрашний день.

— А потом?

Босов откидывается на спинку и с блаженной, удовлетворенной улыбкой вертится в кресле:

— Потом я буду почивать на лаврах, если успею. Душенька у меня успокоится. Молодые сами повалят ко мне на комплекс, сами будут напрашиваться в горы, на отгонные пастбища. Я, Федор Максимович, искренне, душевно убежден: молодых удержит в хуторе только индустрия. Да, да, настоящая индустрия! Сумеем мы по всем статьям догнать город — выдержим, омолодимся. Будет и у нас на масленице столько народу, сколько раньше бывало, помнишь? — Босов мечтательно сощурился.— На качелях, на ледянках катались. Шум, игры, веселье... А теперь тут тихо, хотя и машин развелось больше чем достаточно. Грустно, понимаешь. Без молодого притока крови дряхлеет наша Марушанка.

— И у тебя та же беда.

— Корешок потревожили, не скоро он приживется, обрастет молодыми ниточками. Тут нужен опытный аг-

роном. Что ж, будем стараться. Вдруг да выйдет толк. Выйдет, если успею!

Несколько минут мы сидим молча, прислушиваясь к монотонно гудящему вентилятору. Выходит, и Босов, с виду такой неумолимо уверенный, твердый, тяготится мыслью о «корешке» — вполне возможно, даже сильнее, мучительнее меня? Где наши ровесники? Их почти нет в хуторе. Разбежались, разлетелись по белому свету — не дозовешься, не докличешься их, не с кем отвести душу, как прежде... Думая об этом, я неожиданно спрашиваю у Босова:

— А почему ты до сих пор не женился?

— Когда учился, было не до женитьбы. Вернулся сюда — впрягся в хомут и тяну. Защита диссертации, председательство... Веришь, некогда и в гору глянуть. Да и на ком я женюсь? Мои девчата давно уже замужем... бабы, обзавелись детьми, с утра до ночи возятся по хозяйству. Тошно. Прошляпил я свою суженую. Поздно уже.

— У тебя же в приемной невеста сидит — заглядишься.

— Ты брось, брось,— пугается Босов, хмуря свои белесые, до желтизны выгоревшие на солнце брови.— Она еще девчонка. Что с нее взять? В прошлом году не поступила в институт, срезалась на немецком. Ее так и зовут у нас: хуторская невольница.

— Скоро экзамены. Думает она поступать вновь?

— Не интересовался,— отвечает Босов уклончиво, с тем стыдливо-умоляющим выражением глаз, по которому нетрудно определить, что разговор этот ему неприятен.

Дверь кабинета тихонько приоткрывается, и в щель просовывается чья-то взлохмаченная голова в сбитой на затылок шапке из потертых черных смушек.

— Заняты, Матвей Васильевич?

— По какому делу? — сурово глядит на нежданного посетителя Босов.

— По личному. На свадьбу мясца выписать. Говядинки.

— А какой сегодня день?

— С утра был вторник, Матвей Васильевич.— Посетитель, корявый мужичонка в хромовых сапогах, потерянно мнется. Он как застрял в дверях, так и не решается шагу ступить в кабинет.

— Прием по личным вопросам только по средам и

пятницам, пора запомнить,— ледяным голосом отчитывает его Босов.— И на дверях, на табличке, белым по черному написано. Будьте добры, прочтите с той стороны.

— Свадьба, Матвей Васильевич.

— Когда?

— В субботу. Тут вам только расписаться, закавычку поставить,— мужичонка трясет перед собой мятою бумажкой.— Уважьте. Дочку просватал.

— Приходите завтра,— строго обрывает его Босов.

— Эх!..— Лохматая голова исчезает, дверь с треском захлопывается.

Босов хмурится и вызывает секретаршу. Таня входит бесшумно, плавно и, как бы одаряя нас цветами своего платья, устремляет на Босова чуть встревоженные, нежные, почти влюбленные глаза:

— Что, Матвей Васильевич?

— Я же предупреждал, мы заняты. Почему ты его пустила?

— Я ему говорю: нельзя,— взволнованно оправдывается Таня.— А Пантелей Макарович не слушается, сам вошел. Я думала...

— Что?

— Извините, Матвей Васильевич, вы разве не знаете? Он ваш родственник.

Босов слегка краснеет, усмехаясь, качаёт головой:

— Ну и дела! Говоришь, говоришь, как об стенку горохом. Таня, по-моему, тебе лучше всех известно: я никому не делаю поблажек: ни брату, ни свату. Пожалуйста, в следующий раз будь построже с ними. Пусть привыкают к порядку. Никак, понимаешь, свою старинку не бросают. Ладно, Танюша.— Босов взглядывает на часы.— Подоспело время обедать. Принеси-ка нам что-нибудь поесть.

— Сейчас, Матвей Васильевич.— Голос у Тани ласковый, обвораживающий, почти счастливый.

Она ушла, и Босов сердито кивнул на дверь:

— Видал его! Обиделся родственничек.

— Круто. Все-таки у него праздник. Возьмет и не пригласит тебя.

— Мне, дорогой Федор Максимович, не до танцулек. «Праздник»! — Босов прощупал меня сердитым взглядом.— К ним приспосабливаться — текучка засосет, не вырвешься. Я уже по-всякому пробовал: и по-хорошему, и по-плохому. Не получается! Отпустишь гайки — валят

и валят толпой, по делу и без всякой нужды. Тогда я установил приемные дни — и как отрезал: никому никаких поблажек. Точка! — Он прихлопнул ладонью по столу.

— Бывают же исключительные обстоятельства. Например, как у него: свадьба.

— Перетерпит. Не бойся, земной шар не сдвинется.— Босов заглянул через мое плечо в бумаги, недовольно поморщился.— Я их знаю. Так на чем мы остановились?

— По-моему, ты не прав,— сказал я. Этот мужичонка чем-то задел меня, после его ухода стало неловко, стыдно и за Матвея, и за себя, что не вступился.— Что тебе, трудно было расписаться? Всего-то несколько секунд. Дело не стоило выеденного яйца, мы больше говорим о нем.

— Конечно, не трудно. Но принцип есть принцип,— твердым голосом, с убежденностью в своей правоте отрезал Матвей.— Гуманист... Я знаю, что делаю.

— Вряд ли он придет к тебе завтра.

— Как миленький чуть свет прибежит.

— Ну, а если не прибежит?

— Его забота.— Матвей пожал плечами.

— И тебе не жаль его?

— По-человечески? — Матвей задумался.— Скоро проводим его на пенсию. Так что...— Он снова немного помедлил.— Так что сам понимаешь! Хотя не скрою: жалко. Я ведь тоже не сухарь и сознаю его обиду. Но все куда сложнее, чем тебе кажется. Тут отвлеченный гуманизм не поможет. Сядь вот сюда,— он показал на свое кресло,— всем нутром это почувствуешь.

— Старичка раньше времени списываешь. Он еще понадобится колхозу.

— Не перегибай палку,— Матвей провел рукою по волосам.— Никто его не списывает. Но куда денешься от факта: через месяц уйдет Пантелей Макарович на пенсию, и поминай старика как звали. Да и дочку он выдал не за нашего... А нам работать, поднимать хозяйство. Поэтому главный упор я делаю на молодежь, специалистов, и в первую голову — на механизаторов.— Он скосил глаза на часы и, все больше и больше возбуждаясь, принялся снова расхаживать по ковру.— Ты ловишь меня на мелочах, но я, брат, знаю одно: молодым строить комплекс, им же работать на нем. Поэтому, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. Да, Федор Максимович! Комплекс... Это будет настоящая фабрика мяса и молока!

Вернулась Таня, расстелила на большом столе сал-

фетку и поставила кастрюли с борщом и котлетами, чай в термосе, положила хлеб.

— Разлить? — Она с выжиданием посмотрела на Босова.

— Спасибо, Танюша. Мы сами,— отчего-то краснея и без цели перебирая у себя бумаги, отозвался Босов.— Ты свободна. Иди тоже пообедай.

— Может, вы составите нам компанию, осчастливите нас? — предложил я Тане.

Но она сделала лицо недоступно-строгим, ниточки ее темных бровей возмущенно взлетели кверху.

— Нет уж, я пойду. Приятного аппетита.

Чтобы удержать ее на минуту, я сказал:

— Вы, говорят, поступали в институт и, наверное, снова готовитесь к экзаменам?

Таня с подозрением и лукавством взглянула на Босова, как бы выражая ему свое неудовольствие, и businessнично ответила мне:

— Я раздумала. Никуда не хочу. Мне и здесь нравится... с Матвеем Васильевичем.— Последнее добавление она произнесла с каким-то внутренним вызовом и выразительно, прямо посмотрела на Босова.

После ее ухода он, смущенно отводя в сторону взор, вдруг обрушился на меня с наставлениями:

— Ты с нею, ради бога, не заигрывай. Глупо. Этот номер у тебя не пройдет.

— О, ты, кажется, к ней неравнодушен. Тогда извини, я заранее сдаюсь.

— Да при чем здесь я? — отнекивался Босов.— Таня, она, понимаешь, чувствительная, серьезная девушка. Блока, Есенина наизусть шпарит. Не очень-то с нею вольничай. Не пугай ее.

— Понял, Матвей, понял.

— Признайся, вы в городе немножко развинтились и просто не замечаете этого. А у нас не принято. Нехорошо...

Матвей открыл шкаф, вынул из него тарелки, половник, ложки и два стакана с оправленными чернью серебряными подстаканниками. Разливая борщ, объяснил:

— У нас в доме правления своя столовая. Работники конторы обедают в ней, а я не хожу: как-то, понимаешь, неловко. Вне очереди брать — вроде как выделяться среди других. Дожидаться очереди, попусту терять время то-

же плохо. Так я нашел выход: Таня мне обеды носит. Скажи, ведь придумано отлично? — натянуто улыбнулся Босов.— Столовую я открыл. В целях экономии времени. А то, бывало, пока дождешься с обеда своих работников, рак на горе свистнет. Сейчас хорошо: перерыв кончился, все на местах.

Матвей уронил в кастрюлю половник, схватился за сердце и, побледнев, несколько секунд сидел без движения, как бы прислушиваясь к самому себе. Встряхнулся, достал из внутреннего кармана склянку с таблетками, кинул одну желтоватую горошину в рот и проглотил.

— Что-то барахлит мотор. Жмет. Адонис-бромом спасаюсь. Ну вот, отлегло, легче. Кстати, выпьешь рюмку коньяку?

— Давай.

Матвей отыскал в шкафу бутылку армянского, с пятью звездочками коньяку, наполнил им хрустальную рюмку и поднес мне:

— Пей на здоровье.

— А себе?

— Не могу. Врачи запрещают. Это я для гостей держу. На всякий пожарный.

Босов ел торопливо, по-солдатски и в продолжение всего обеда хмурился и больше отмалчивался, словно какая-то неотступная дума точила его сердце, но, когда мы допили чай и расселись немного отдохнуть на диване, он вдруг стал извиняться за свои недавние наставления, первым заговорил о Тане:

— Ты знаешь, чья она? Это же младшая сестренка Павла Кравца.

— Павла?! Отчаянного самопальщика? Моряка?

— Того самого. Обиделась, что я о ней говорил постороннему... Тут, Федор Максимович, сложная штука вышла. Очень сложная, не для печати,— с неожиданной доверчивостью признался Босов.— Принял я Танюшку на работу по-доброму, без всякой задней мысли. Думаю, перетерпит девчонка до новых экзаменов и уедет в мединститут. Чего ей тут делать? Скучно. Не с кем на танцы сходить. Раньше скучала, порывалась уехать, а потом, смотрю, присмирела, вроде ей полюбилась такая жизнь. Наступает лето, надо опять браться за учебники, формулы зубрить, иностранный, а ей хоть бы что. Почитывает себе стихи и никуда не собирается поступать. Она тебе

честно ответила: никуда. Девчонка умная, живая, могла бы многого добиться — и вот села. Понимаешь, какая штука.— Босов сожмурился, в затруднении потер виски.— Влюбилась,— вполголоса сказал он и оглянулся на дверь.— Смотрит на меня как на икону.

— Я это заметил.

— И что? Что ты скажешь? — Босов встрепенулся, подвинулся ко мне и стеснительно поднял свои серые, полные тревоги глаза.— Я с ней и так и этак, пытаюсь внушить, намекнуть — ничего не хочет понять. Как глухая. Смотрит и улыбается.

— Вряд ли она нуждается в твоих разъяснениях. Ты ее любишь?

— Я?! — всерьез испугался Босов.

— Ты. Все дело в тебе.

— Однако и развинтился ты.— Босов с искренним осуждением покачал головой.— Я же ей, пичужке, в отцы гожусь, а ты... Я на пятнадцать лет старше Тани! Шутка ли... Представь мое дурацкое положение. В конторе уже догадываются, шпильки отпускают. А дойдет до родных? Стыда не оберешься. Бог весть что обо мне подумают. В общем, такая штука.

Не однажды замечал я, что практические люди нередко обнаруживают детскую наивность и полную беспомощность в личной жизни, особенно в отношениях с женщинами, но чтобы такая черта водилась за Босовым — этого я не мог предвидеть, потому что думалось: он давным-давно пережил отроческую стеснительность, стал совершенно иным. С трудом подавил я усмешку.

— Вот сам его величество случай призывает упорного холостяка к женитьбе. Не упусти его.

— Опять ты за свое. Нет, от тебя хорошего совета не дождешься.

В приемной послышался легкий, вкрадчивый шорох Таниных шагов. Босов насторожился, побледнел, заговорил сбивчивым шепотом:

— Хватит об этом. Она! Сейчас войдет.

Босов одернул пиджак, пересел в свое вертящееся кресло, и тотчас лицо его приняло деловое, озабоченное выражение. Появилась Таня, с ясной улыбкой подала ему дюжину остро очиненных карандашей, медленно собрала посуду и, таинственно шелестя платьем, обвевая нас тонким запахом французских духов, удалилась в при-

емную. Босов, уткнувшись в бумаги, даже не посмотрел ей вслед.

В конторе мы просидели до наступления сумерек. Многое прояснилось, и я уже видел контуры своего очерка, имел представление о теперешнем Босове, его характере, манере держать себя с людьми, пристрастиях. Он вызывал во мне симпатию цепким, недюжинным складом ума, своей горячностью и убежденностью в замечательном будущем колхоза. Выше всего он ставил точный расчет, механизацию, гордился комплексом, словно тот уже действовал, с упоением рассказывал о кормоцехе, молокопроводе, о доильных установках «Даугава» и «Пепелине», поругивал научно-исследовательский институт, с которым состоял в деловых отношениях, за медленную разработку проекта, заодно досталось от него и строителям — те затягивали сдачу шестнадцатиквартирного дома.

Полный впечатлений ушел я от Босова, осмысливая перемены и одновременно упрекая себя в неосведомленности: вот жил, изредка навещал родных, беседовал с земляками, все рисовалось понятным, однако толком я так и не постиг их сегодняшней жизни, памятью как-то всегда обращался к прошлому, невольно и собеседников на него настраивал — и что-то упустил, проглядел. Приходили на ум и другие мысли: как знать, может быть, с такой остротой и непосредственностью я бы и не почувствовал вдруг участившийся пульс этой новой жизни без любви и привязанности к былому?

Да, я что-то проглядел, что-то не осознал. Мимо меня прошла какая-то существенная сторона марушанской жизни, думал я вечером, лежа на плюшевом продавленном диване, который мы, построив этот дом, купили с отцом в районе, на пестрой осенней ярмарке, и привезли на счастливо подвернувшейся линейке тогдашнего председателя колхоза Данилы Ивановича. А Босов? Он все видит, улавливает и все понимает? Вряд ли, что-то и он недооценивает, что-то ускользает и мимо него. Сегодня вот не совсем учтиво обошелся с пожилым колхозником. А тот ему в отцы годится. И все же он умница, хозяйственная голова. Весь ушел в экономику, в технику. Наверное, спит и видит свой комплекс, невиданные на этой земле урожаи картошки и лукьяновской пшеницы, всюду мерещатся ему цифры доходов... Босов на своем месте, честно делает дело.

Глава четвертая

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВЗДОХИ

Мать подоила корову, внесла полную цибарку молока и стала процеживать его через марлю. Было слышно, как молоко туго билось, журчало в горшки. В сенцах — привычный топот сапог: отец вернулся с покоса. Он уже давно на пенсии, но по привычке ходит в бригаду и работает наравне со всеми — «кто куда пошлет».

— Мать, Федька дома?

— Дома.

— Тогда наливай нам по кружке. Будем вечерять.

Ужинали втроем, вспоминали Петьку. Он окончил институт в Москве, стал преподавателем, женился и сейчас жил в Черемушках, в кооперативной трехкомнатной квартире. В прошлом году отец ездил к нему, две недели провел в гостях, ел и пил «чего душа хотела», в тапочках по коврам расхаживал, «проверялся на рентгене» в поликлинике (он жаловался на боли в животе), глотал горькие, как хина, таблетки. Но соскучился, не закончил курса лечения и уехал домой.

— Ну как, папань, сейчас не болит?

— Чуток полегчало,— допив молоко, отвечает отец.

— Куда там! — машет на него рукой мать.— По ночам раз пять встает, соду разводит, стаканами глушит. Совсем никудышный.

— Это я курить встаю.

— И курить надо бросить, аж кричит. Перед светом разрывается от кашля. Сипит, в грудях клокочет. Я ему говорю, черту такому: ну если не в силах отвыкнуть от курева, хоть этот вонючий турецкий табак не кури, покупай папиросы. У нас все учителя их покупают. А ему хоть бы что. Листьев намнет и смалит одну за другой. Как на пропасть.

Маленькая, сухонькая, в опущенном до бровей платке, мать жалостливо и с укором смотрит на отца. А он трясет своей поседевшей, сивой головой, щурит глаза и хитровато ухмыляется. Усмешка обнажает и резко подчеркивает все его морщины у рта, на щеках и даже на шее. Постарел... Неужели это он кружил на руках счастливую, влюбленную в него Полю, жену объездчика? И неужели был этот покос, была лунная летняя ночь — и я бегал вокруг них, сильных, молодых, взволнованных близостью друг к

другу, переливами света на траве, бегал, наивный несмышленыш, и орал во все горло: «Папань, покружите и меня!» И голос мой звенел, бежал по верхушкам берез и далеко отзывался в балке, откуда тянуло запахом разомлевшей за день малины...

— Мели, Емеля, твоя неделя. От одних листьев я бы задохнулся,— добродушно защищается отец.— Попробуй сама намни их и затянись. Враз богу душу отдашь.

— Да я их и в руки не возьму! Была охота поганить себя.

— Я и корешков примешую. Толку в ступке.

— Лучше папиросы, говорю, кури. Побереги здоровье.

— Молодым его не уберег, теперь поздно. Я к табаку на фронте пристрастился, к махорке. И водки там в первый раз попробовал. Жизнь, она всему научит. На войне я и желудок подорвал. Сидим в окопах. По неделям всухомятку... одни сухари да концервы. И то — рады до смерти. Ты того не знаешь, что я испытал.

— То война, а нонче чем ты недовольный? Что тебе мешает? Папирос в магазине навалом.

— Заладила! И что ты за них учепилась! «Папиросы, папиросы»... Туда всякой дряни, бурьяна напрут — голова мутится. От них прямо дуреешь. Табак с грядки слаже. Вкус земляной.

— Вот, Федя, возьми его за так. Горбатого могила исправит.

— Э, мать! Мы еще поживем. Загодя в гроб не ховай,— бодрится отец.

— Ага, не дюже-то гордись. Не зарекайся... Никак не уговорю его съездить к Петьке. Там у них в поликлинике врачица знакомая — гляди б, и вылечила... А этот,— она с осуждением кивает на отца,— уперся как баран в новые ворота. Хочь ты уговори его.

— Не поеду! — твердо заявляет отец.— Я написал, нехай он мне порошков бандеролью вышлет, глотать я и без врачицы умею.

Последний раз я был у младшего брата на банкете: он отмечал защиту кандидатской диссертации. Было много чопорно одетых и совсем незнакомых людей, гости ели, произносили тост за тостом, смеялись и танцевали, то и дело стреляли в потолок шампанским, стрелял и я — и тоже, как все, пил и смеялся, а с наступлением утра спохватился: нужно было прощаться и уезжать. Меня ждала в газете срочная забота. Так мы и не поговорили с

Петром по душам, по-братски. От того банкета осталось ощущение неудовлетворенности и прежней, еще более усилившейся тоски.

— А почему бы, папань, и не съездить вам к Петру? Поезжайте. Полечитесь, а после расскажете, как он там поживает, что у него новенького.

Он вскидывает на меня глаза и несколько секунд смотрит в упор с выражением непоколебимой решимости.

— Не поеду. Он сам к отцу, к матери за семь лет ни одной ногой. А мы что, дурни? — В голосе отца давняя, устоявшаяся обида.— Совсем вроде ничего не соображаем. Он ученый, а мы тут... груши околачиваем. Обойдусь и без его врачицы.

— Вишь, какой настырный. Ты одно, отец, думаешь, а у него на уме другое.

— Не сбивай меня с панталыку, сам собьюсь.

— Да уж тебя собьешь! Его за день одними звонками начисто изведут. И каждому студенту ответь, все как надо разъясни. Вертится — жалко смотреть. Кофею выпьет, портфель под мышки и в лифт. И все бегом да бегом. Как будто за ним кто гонится.

— Жалей его, жалей! — Отцу прямо не сидится на месте.— На курорты он не забывает ездить, а к родителям — на это у него отпуска не хватает. Да по мне, что он есть, что его нету! — выпаливает он.

— Отец! — ужасается мать.— Что ты мелешь?

— То, что слышишь,— ерзает он на стуле.— Мы кто ему? Седьмая вода на киселе? Так нехай и к нам не касается.

— Тю, какой ты ненавистный! Хочь бы Федьки постеснялся.

— А мне перед сынами нечего стесняться. Нехай они нас стесняются.

— Глянь на него! Попала шлея под хвост. Да чем же они провинились перед нами? Вот он, Федя, всегда такой настырный, как заспорит. Его не переспоришь. Из-за вас и мне от него, черта скаженного, достается.

— Что же вы, папань, мать обижаете?

— Я не обижаю. Она сама себя давно обидела,— непримиримо ожесточается отец.

— Ага. Чи я враг себе... Как где выпьет, так и давай ко мне приставать, вас ругает на чем свет стоит. Сыновья ему не угодили. Выучили, мол, их на свою голову? Так, отец, подумай: чи им век при тебе жить? За хутор, как

за бабскую юбку, держаться? Молодые по своему уму устроились, а ты живи по своему.

— Вот гадство, Федя! — то ли жалуется, то ли злится отец.— Никто меня тут не понимает. Ни одна живая душа.

— Сиди уж! Чего тебе надо? У нас теперь только птичьего молока нет, живи и радуйся. А он все ругается.

— Эх, мать, чудная ты.

— Да чудной все одно что дурной.

— Чудная! — более спокойно, как бы извиняясь, вздыхает отец.— Я не ругаюсь. Я думаю.

— Раньше надо было думать. На шофера после войны звали учиться — отказался, теперь сиди, не вини никого.

— Ты ж боялась отпускать меня на курсы. Она, Федя, всю мне жизнь сгубила. Короткая у нее память.

— Ты сам не захотел ехать.

— Ну я, я. Будь по-твоему.

Мать постелила постель и легла: ей вставать до зари, доить и провожать в стадо корову, растапливать печь. А мы с отцом еще сидели в большой комнате, переговаривались вполголоса, поплотнее прикрыв дверь в спальню.

— Отец, щепок на разжижку натесал? — забеспокоилась мать.

— Натешу. Спи.

Он включил свет во двор, взял под лавкой топор, и мы вышли. Над нами из края в край тянулась по небу мглисто-белая полоса Млечного Пути. Мелкие звезды почти не светились, зато крупные, вызрев, горели ярко, не мигая. Отец отыскал сухое березовое полено и наколол щепок. Распрямил спину, послушал ночную тишину, изредка прерываемую отдаленным лаем собаки, посмотрел на крышу дома.

— Ты ничего не заметил?

Я поднял голову и, к моему стыду, впервые увидел, что крыша перекрыта новым железом, с желобками по краям, с округлыми водосточными трубами. На старой крыше ни желобов, ни труб не было, потому что железо, купленное нами на городском рынке в Микоян-Шахаре, оказалось бракованным. Едва его сгибали, оно ломалось, крошилось, как чугун. Я и сейчас помнил завмага, неопрятного, толстого, с небритым лицом, в грязном от мазута и ржавчины фартуке, в лоснящихся на коленях ша-

роварах. Помнил косившие все время куда-то вбок полупьяные глаза, все его ухватки и даже то, как он старательно обхаживал отца, как нахваливал товар, сгибая и разгибая угол листа: «Первый сорт! Мягкое, как цинк. Бери скорее и вези, пока другие не перехватили». Не подозревая, что завмаг дал ему на пробу лишь один «мягкий» лист, отец быстро сунул ему в руки деньги, вырученные от продажи коровы, и мы торопясь погрузили железо на машину. Дома к нам явились кровельщики и сказали, что отца надули. Еще не веря им, он сам кинулся проверять, сгибал и разгибал углы с остервенением, до сухого металлического хруста, несколько листов испортил и отшвырнул от себя прочь, как бы опомнился, присел на ржавую стопу и горестно опустил голову. Кое-как его успокоили: мол, крыть можно, но — пластом, лист на лист, без швов и всяких узоров, без труб.

Крыша — венец всему дому. Веселая крыша — и дом веселый. Тогда же хорошего венца не получилось. Отец долго переживал, хотел поехать в Микоян-Шахар и вывести на чистую воду завмага, но что-то его удержало — не поехал. На людях виду не подавал, при случае хвалился железной крышей... Зато сейчас его давняя мечта сбылась: в свете Млечного Пути гордо, задиристо мерцали наверху матовым серебром петушиные хвосты, мерцали швы, кружева труб...

— Где ж у тебя были глаза? — с некоторым разочарованием укорял меня отец.— Ходил и до се не заметил... Не-е, Федька, ты уже не хозяин. Отцовский дом стал забывать.

— Кое-что помню.

— Да что помнишь? Что помнишь? Или ты шутишь, надсмехаешься над отцом?

— Дом как новый. Хороший.

— Был хороший.— Отец распахнул калитку и вышел в огород.— Иди-ка сюда, полюбуйся, как светится.

— Что?

— Сам гляди...— загадочно прошептал он и кивнул на дом соседа, Тихона Бузутова, сплошь залитый электрическим светом: круто, ледяным блеском отливала цинковая крыша, сияла остекленная веранда, сияли во дворе и две лампочки под белыми колпаками.— Видал, как живет!

— Король!

— Король не король, а кое-кому нос утрет. Не дюже-

то смейся. У него газ, кухня, ванна... уборная теплая. Как мороз жахнет, он из хаты не высовуется, не бегает, как другие, до плетня. А вон у Тихона гараж. «Жигули» там. Он в институтах не учился, обыкновенный тракторист...

Отец не договорил, вдруг вернулся во двор, пропустил меня и запер на крючок калитку. Сел на бревно, лежавшее у забора, не спеша достал свой неизменный кисет с шелковым шнурком, оторвал клочок газетной бумаги и туго свернул, скатал цигарку. Курил он тоже не спеша, втягивал в себя дым, к чему-то прислушивался и, выпуская его, глядел, как он вьется и бесследно тает в воздухе.

— У него дом не саманный, не тот...— наконец заговорил он и повернулся ко мне лицом.— Не-е, того и в помине нету. Он его завалил и кирпичный поставил. У нас из самана больше никто не лепит. Саман сыреет, дает усадку. И тепло в таком доме не держится, все уходит в глину. Только печь протопил, туда, сюда, а дух выстудился, хоть бери да опять затопляй. Не дело... Я тоже одно время загорелся кирпича достать, подметил красного, прокаленного, да мать отсоветовала. Нам и этой, мол, хаты на наш век хватит. Жить-то осталось с воробьиный хвост... Тихону что — он моложе меня, здоровый, силенки не истратил. А я всю войну на пузе проползал, крови ведро пролил. Матушка-пехота... В общем, Федька, уговорила она меня, сбила с панталыку. Другой раз я вот так сяду и думаю: может, напрасно ее послухал? Потихоньку да помаленьку и построил бы. Тяп да ляп — и готов кляп. Как оно говорят: глаза страшатся, а руки делают... Ты у Босова нонче был?

— У Босова.

— Матвей в гору пошел. Первый человек в районе!— с нескрываемой завистью произнес отец.— Мы с его батькой, с Василь Антоновичем, одногодки. Сколько леса вдвоем порубали да переплавили к запани — бугры! В одной бригаде работали. Как сплав, так нас и посылают. Вы, мол, фронтовики, ребята надежные, не пропадете. Едем. Одно время с ним так задружили — водой не разольешь.

— А где он теперь?

— На пенсии, где ж... Так ему с Дашкой Матвей такой дом отгрохал — целый клуб! И газ, и водопровод, и ванная — все под боком. На машине отца возит. Матвей всех вас общеголял. А тоже институт кончил... Чем ему

тут не жизнь? Того и в городе нету, что есть у них. Правда, никак Василь Антонович его не женит. Заработался казак, на девок — ноль внимания. Конечно, беда не большая. На такого человека всегда ошейник найдется.

Млечный Путь разгорался, полнился звездами. Иные из них вдруг срывались, ослепительно вспыхивали и на лету гасли, уносились неведомо куда; но от этого Млечный Путь не становился бледнее, свет не убывал, а, наоборот, усиливался... Отец проследил из-под козырька фуражки падение мелкой, робко сверкнувшей звезды, притушил цигарку.

— Сколько их падает, рази посчитаешь! И новые нарождаются. А небо каким было, таким и остается... Мать тебе говорила, что Левка Камылин помер? Ну тот, одноногий? Сторож, с Васенкой жил.

— Рано. Жалко старика.

— А чего его жалеть? — возразил отец.— Людей, Федька, при жизни надо жалеть, так я понимаю... Прошлый год был високосный, много мы стариков схоронили. Мирошника Сагайдака помнишь? Тоже скончался. Схватился среди ночи, мать, говорит, я пойду до ветру. И в одних подштанниках похромал... Да не до ветру, а понесло его на речку, до того места, где стояла мельница. Ее смыло водой, помнишь?.. Там и нашли уже холодного. Весь синий лежит возле воды, лицом к небу. Вот, Федька, какая смерть. Что-то ему померещилось во сне, кто-то его позвал туда... И Архипа, кузнеца, прибрало. Надо же: волосатый, сильный, как бирюк. Ему, думали, и сносу не будет. Против своего брата, Петровича, он прямо медведь был, а вот не пережил его, первым отдыхать улегся... Ладно! Пойдем спать.— Отец встал с бревна, набрал щепок, выдернул из дровосеки топор и направился к порожкам.— А то я заговорю тебя до полночи...

Но что-то удержало его у двери, он присел на верхнюю ступеньку, поднял лицо к небу и, взглядом проследив за тихо, безропотно вспыхнувшей в падении звездой, снова, как дитя, изумился:

— Скатилась. Куда? Никому не узнать. Новая звездочка на смену ей народится. По-другому нельзя: небо омертвеет, воцарится вечная тьма. А Марушанка пустеет, глохнет понемногу. Мало рождается детишек. При наших отцах, дедах в любом дворе по выводку голопузой детворы бегало, а теперь не то. Что такое случилось? Не-

ужели так надо? Так это ж... это ж к чему мы катимся?

— Потерпите, папань. Босов выстроит комплекс, а на горах дома для колхозников — молодежи прибавится. Будут дети.

— Ага, по щучьему велению, по вашему хотению. Столько, как было, уже никогда не будет.

— Почему?

— Долго тебе объяснять. Да и нужно ли? Что от этого изменится? Скажу я, не скажу... Мне давно ясно: жизнь мимо нас прошла. Мы не живем с матерью — доживаем. И другие старики так же. Не-е, сынок, это большой непорядок. Нельзя так,— проговорил он весьма решительным тоном.

— Как... нельзя?

— А вот так, без роду, без племени. Все рассыпалось, разлетелось... Свистульку вырезать внучку и ту не могу. Внучок за сотни верст от деда. Попробуй-ка дотянись до него. Что бы вы с Матвеем ни говорили, но я знаю одно: наши деды жили беднее, да зато вернее. Вон мой дедушка по отцу, Митрофан Назарович, до самой своей смертушки, до последнего часа был при деле. Перед тем как скончаться, распоряжения по хозяйству отдал, со всеми сестрами и невестками распрощался, детям, как полагается, напутствие дал, с родственниками и кумовьями поговорил. До всех дедушка докликался, потому что докликнуться можно было: невестки с мужьями при отце, при матери, на одном дворе. В тесноте, да не в обиде. Другие родственники тоже поблизости, все в куче. А теперь? Случись мне лечь, когда я до всех дозовусь? Успею что-нибудь напоследок сказать?

Я стал убеждать отца, что он рано думает о смерти и вообще нехорошо думать о ней человеку в его годах, не дряхлому, не одинокому, у которого, к счастью, есть сыновья, родственники, свой участок земли, на нем он волен делать что угодно: сажать картошку, сидеть под грушей, в тени, радоваться поспеванию желтых тыкв, и никто его не потревожит, никто не заставит заниматься тем, к чему душа не лежит. Отец сошел с порожек, с досадою сказал:

— Я о другом, совсем о другом толкую с тобой! А ты о кабачках. Что мне твои кабачки? Я спрашиваю тебя: это хорошо, что Марушанка стареет? Домá твой Босов строит. А кто будет жить в них? Опять старики да малодетные... Ребят, мелюзги мало. Вон и рыба в Касауте то-

же что-то чует: все хужее мечет икру. И правильно делает. Не для кого выводиться ей.

— Рыбы, папань, оттого стало меньше, что по воде плывут масляные пятна. Вчера я видел сизую пленку. Видно, геологи украдкой спускают в реку нефтяные отходы. А форель — рыба чувствительная, не терпит вредных примесей.

— Ну, ясно, она тоже не дура. Вожжи кругом отпущены, некому натянуть... Не то раньше было: умер дед, вожжи приняла бабушка. Воз дальше едет, с дорожки не сворачивает. Плохо ли, хорошо, но все при ней. Старших уважали. Моя бабушка, помню, за всем следила. Бывало, нет-нет да и услышишь, как она ласково, хитро стыдит молодую сноху: «Что ж ты, мол, Нюра, второй годок как сухая груша? Не годится, порадуй мужа, дай нам хлопчика от тебя понянчить». И Нюра, веришь ты, понимала. А вы? Теперь вы понимаете родителей? Вам смех, а нам слезки.

Опять в голосе его сквозила непримиримость. Какой-то нахохлившийся, взъерошенный, незнакомый мне, отец расхаживал передо мною этаким сердитым обвинителем, торопился высказаться и в волнении путался; мысли его перехлестывались, перескакивали с одной на другую; не умея сладить с какой-нибудь, довести ее до верхней точки и прояснить суть, он комкал ее, как ненужную бумагу, и отшвыривал прочь, тут же ухватывался за новую, с которой надеялся лучше управиться.

— Не пойму я, чего сегодняшнему человеку надо? — говорил он.— Куда он спешит уйти из дому? Даже обидно: ничем, гадство, не дорожит. Ну вы с Петькой повыучились, ладно. Тут для вас нету работы. А другие? Они и в городе трактористами, слесарями устроились. Не один черт: могли бы и тут быть на такой работе. Но что их туда потянуло? Что?.. Не-е, мы были другие. Нас крепко держал двор. Страшно было оторваться от него, от родичей. Самый сдобный хлеб на чужбине был горьким... Жалко, Федька. Силу потеряла марушанская земля: больше не держит она человека.

— Держит,— сказал я.— Вон Тихона прихватила к себе навек.

Грустным и долгим взглядом поглядел отец на цинковую крышу соседа, поостыл и вздохнул:

— Я бы тоже мог себе выстроить такой дом, не думай... Все бы жилы из себя вымотал, а дом бы у меня

получился с колокольню. С гаражом и с каменным подвалом. Да только подумаю: зачем, кто в нем будет жить после нас с матерью? — и руки сами опускаются, топор валится наземь. Мы доживем и в саманном.

...В большой комнате, на диване, я не смыкал глаз, глядел в смутное окно, на котором колыхалась занавеска от слабого течения воздуха, припоминал все мои разговоры за прошедший день, все мои встречи, с Касаткой, с Босовым,— и какая-то необъяснимая тревога овладевала мною, давила грудь. Во тьме, в тишине иногда казалось: не так я живу, не так нужно было жить; если бы вернуть утраченные, плохо запомнившиеся дни, я бы постарался наполнить их иным, более высоким и естественным смыслом. Чего я достиг, ну хотя бы в сравнении с Босовым? Он вот построил шестнадцатиквартирный дом, ввел правильные севообороты, от каждой культуры добился рентабельности, создает чистопородное стадо и собирается воздвигнуть такой комплекс, которого нет и «во всем крае». Да и отцу, Василию Антоновичу, Матвей по-сыновьи помог, облегчил последние дни старика. А я? Я и поныне ничем не могу ободрить своего отца, надежды на меня у него рухнули. Все ловлю я ускользающий день, бегу и не достигаю цели, мечтаю написать что-то крепкое, полезное — такое, чтоб и отец, и та же Касатка оценили и простили меня за все грехи перед ними, но нет — не выходит. Текучка, что ли, заедает.

«Надо ему хоть дров наколоть. Утром встану и наколю!»

И снова думалось: Босов, Петр, я... Кто же из нас более прав? Нет, невозможно было точно ответить на это. Но одно я чувствовал: неодолимую, хорошую зависть к Босову.

Потом всплыла в памяти Ульяна Картавенко, сухопарая, высокая старуха. Ее глаза, настороженно-беспокойные, пронзительные, возникли почти явственно и с укором глянули на меня. Я похолодел от их взгляда, всмотрелся — и глаза пропали во тьме. Все так же смутно серело окно, и в нем дрожала зеленая звезда.

Я давно испытывал вину перед Ульяной. Воспоминания о ней все чаще, настойчивее посещали меня, были неприятны и приносили горечь. В пору моей журналистской неопытности, когда я легко воспламенялся любой, подчас непродуманной идеей, в пору душевной наивности я обидел Ульяну Картавенко, довольно суровым тоном по-

критиковал ее в газете. В своем огороде она устроила водокачку и небольшой пруд, в нем развела форель, вылавливала рыбу и носила продавать на базар. Я выехал по «сигналу», присланному в редакцию анонимным автором, скрывшимся за подписью «Ваш читатель», увидел водокачку, форелей в родниковой воде (радужно переливались их красные пятнышки) и... быстро сочинил заметку в «Перец». Я и поныне удивляюсь легкости того поступка: как я мог?! О чем я тогда думал, какие чувства водили моим пером? Испытывал ли я настоящий гнев против «мещанки» Ульяны? Нет, пожалуй, ничего подобного. Она мне даже нравилась своей рассудительностью, домовитостью, редким трудолюбием. В таком случае почему налегла рука? Это было наваждение. Мне, как и автору письма, показалось, что нельзя иметь в огороде личную водокачку и такой пруд, не положено. В этой заметке я не видел ничего предосудительного, писал ее, не испытывая малейших угрызений совести...

Стыдно и нехорошо было ворошить в душе эту историю, и я боялся смежить веки: вдруг опять встанут передо мною укоряющие глаза старухи Ульяны? Нет, пора с нею как-то объясниться. Долго я избегал встреч с Ульяною, старался забыть, вычеркнуть ее из памяти, будто такой старухи и вовсе не было в моей жизни, но совесть, однако, мучила, иногда скверно делалось на душе, и это не проходит. Интересно, она по-прежнему живет у реки, в том длинном деревянном доме под жестью? «Пора,— убеждаю я самого себя.— Пойду проведаю Ульяну, извинюсь... Если не завтра, то когда же? Хватит откладывать».

Может быть, вот такие ошибки мешали мне и до сих пор мешают написать что-то сильное, крепкое, не однодневное, которое бы надолго запало в душу, и в свою, и в чужую...

Утром я поднимаюсь одновременно с матерью, в палисаднике окатываю себя водой из ведра, бегу одеваться, потом беру топор и навожу на точиле острое жало. Роса дымится повсюду, свежий воздух ядрен. На чурбаках, горою сложенных в углу двора, тоже роса. Для начала я выбрал самый толстый и кряжистый, поставил его на попа, вбил в коричневую сердцевину топор, поднял и со всего маху рванул обухом по дровосеке: половинки, свежо забелев, кувыркнулись и легли у ног. Спустя несколько минут возле меня выросла куча мелких поленьев. А

я все колол, потешаясь, как в детстве, своей удалью, колол и ощущал в себе прилив необычайных сил: с одного-двух ударов раскраивал любой чурбак. Вышел отец, без шапки, в одной бязевой рубахе навыпуск. С порожек следил за моей работой.

— Гляди-ка...— с изумлением покачал головой. Исчез в сенцах и снова появился на порожках, на этот раз в телогрейке и с топором.

Живо сбежал по ступенькам и, сверкая помолодевшим взглядом светлых глаз, подскочил ко мне, плашмя уложил длинный чурбак неподалеку и тоже стал колоть на нем дрова.

— Вдвоем оно веселей! — говорил он, поплевывая на ладони и охая с каждым ударом.

— Да, отец! — подоив корову, выглянула из база мать.— Надорвешь пупок, рази за молодым угонишься!

— Скажешь! — быстро откидывая от себя поленья, храбрился он.— Я еще самого черта обгоню. Это Федька нехай за отцом угонится!

До завтрака, почти не передыхая, мы перекололи дрова и уложили их в штабеля возле забора.

— Сказано: гуртом и батьку легче бить! — возбужденно говорил отец, ополаскивая руки в медном, горящем на солнце тазу.

За воротами на темно-гнедой кобыле нависла фигура звеньевого в белой бараньей шапке с кожаным верхом.

— Здорово, Максим!

— Здорово, Кузьмич! — с радостной готовностью откликнулся отец.

— Тюкаешь?

— Да вот, Кузьмич, тюкали с сыном. Дровишки кололи.

Звеньевой неопределенно хмыкнул, перегнулся и подтянул подпруги, мельком и меня окинул цепким взглядом человека, привыкшего к власти.

— На работу не собираешься? Или нонче баню топить... сына купать?

— Да я вчера топил. Пойду.

Лицо звеньевого повеселело, прояснилось.

— Тогда готовь харчи и жди. За тобой шофер заедет.

— А что, Кузьмич, делать?

— Траншеи под силос вычищать.

— Это мы умеем!

Отец вышел во двор. Оттуда донеслось:

— Я что-то путаю, Иваныч? Федор чи Петька?

— Корреспондент. А тот, кандидат, в Москве. Он, Кузьмич, в доктора выбивается.

— Да-а,— протянул звеньевой.— Сыновья у тебя в большие люди вышли. За весь хутор.

— Семя здоровое,— не преминул похвалиться отец.— Яблочко от яблони далеко не падает.

— Ого! — крякнул звеньевой.— Не падает. Вон аж куда залетело: в Москву!

И оба засмеялись.

Перебросившись еще несколькими фразами с отцом, звеньевой стегнул кобылу плеткой и рысью потрусил по улице. Сидел прямо, не горбясь, по-хозяйски оглядывая дворы.

Только отец вернулся во двор, мать принялась стыдить его:

— Нетерпячка на тебя напала, все хвалишься. Своим умом надо хвалиться, а что наши дети умные, и без тебя кажный знает.

— Не одному Василю гордиться сыном,— защищался отец, белея сивой головой.— Дай и я чуток похвалюсь.

С бодрым настроением он вскоре уехал на работу, а я отправился в контору.

Глава пятая

У ЧИЧИКИНА КУРГАНА

Чисто, до синевы выбритый, в накрахмаленной рубахе и в аккуратно выглаженном костюме, Босов имел вид свежего, хорошо выспавшегося человека. Поздоровавшись, он сказал:

— А все-таки тот старичок явился!

— Неужели?

— Я тебе говорю! Пришел, я подписал ему бумажку, друг другу раскланялись — и никакой обиды. Обычное дело. А ему на будущее наука. Постепенно все приучатся к порядку.

Целый день он возил меня в газике по фермам и полям, толково давал пояснения; старых колхозников не

всех он знал в лицо, больше разговаривал с молодыми, зато механизаторов, и молодых и старых, угадывал издали, называл каждого по имени либо по отчеству, был неизменно приветлив и всем пожимал руки, бесконечно повторяя:

— Наша ударная сила! Опора колхоза.

Перед вечером он показал мне шестнадцатиквартирный двухэтажный дом, который стоял на берегу Касаута, ниже маслобойни. Дом обычный, каких великое множество я видел в совхозах, рабочих поселках и колхозах, но Босов гордился им:

— Первая ласточка! Осенью справим новоселье. С музыкой, цветами...

— Хорошо. Но все-таки согласись: двухэтажные дома сельскому жителю неудобны,— сказал я.— Своего двора нет. Где кур, корову держать? И огород на стороне, у черта на куличках... Посоветовался бы со старожилами, прежде чем строить.

Босов поморщился:

— Верно. Немного мы просчитались. Моя вина. Впредь будем строить коттеджи на две семьи, тоже со всеми удобствами. Газ, вода, отопление.

Во дворе ремонтной мастерской, находившейся за двухэтажным домом, выстроились в два ряда готовые к уборке комбайны, от одного из них отделился Тихон Бузутов и не спеша, вразвалку подошел к нам. Степенно, с чувством достоинства поздоровался сначала за руку с Босовым, потом со мною:

— Здорово, сосед. Родная сторонка тянет?

— Тянет.

— Это хорошо,— удовлетворенно сказал Тихон. Говорил он со мною вяло, больше из приличия, и, роняя необязательные слова, не сводил глаз с Босова, который в это время что-то выспрашивал у заведующего мастерской. По озабоченно-нетерпеливому выражению лица Тихона угадывалось: ему нужен Босов, он дожидается случая заговорить с ним. Тихон был одет в мешковатый синий комбинезон, из оттянутых карманов куртки торчали электроды, гаечные ключи и ручка молотка. Во рту поблескивали золотые зубы, блеск придавал ему моложавости, какой-то внутренней крепости, уверенности в себе, в своем здоровье и силе. Тихон выглядел намного моложе своих лет и, расставив ноги в кирзовых сапогах, стоял на дворе крепко, как и его дом под цинковой крышей.

Одни лишь глаза, устремленные на Босова, выдавали смутное беспокойство, владевшее им, и несколько скрадывали общее впечатление крепости.

Немало дней в детстве и ранней юности провел я вместе с Тихоном, делил с ним радости и печали. Когда-то в горах, на отгонных пастбищах, он пас отару овец с моим отцом, и я все лето помогал им. В тумане, как настоящий чабан, неотступно бродил за отарой, пронзительно свистел, отпугивал волков, а по ночам, сидя у тырла, возле тлеющего костерка, изредка стрелял в воздух из ружья. Иногда они особо наказывали мне стеречь овец, запрягали в старую линейку коней и, обещая к вечеру вернуться, уезжали в Спарту, вниз, к гостеприимным грекам. С завистью провожал я взглядом грохочущую на каменистой дороге линейку, пока она не исчезала за ближней скалой, с тремя молчаливыми соснами в расселинах. Неизвестно, что они там делали, в таинственной для меня Спарте, но обычно они возвращались назад только на следующий день, к вечеру. Всю ночь я не смыкал глаз у тырла, щупал в карманах забитые пыжами патроны, подкидывал дрова в костер и с замиранием сердца вглядывался в звездное небо над черными горами. Настораживал каждый звук: может, волк взвыл на косогоре, может, это они едут по дороге на кош или кто-то тихо, ползком крадется к отаре? Когда становилось особенно жутко, невмоготу, я выстреливал в воздух. Овцы вскакивали и сбивались в кучу, собаки злобно и громко лаяли, эхо громогласно катилось по ущельям, и я немного успокаивался... Но какова была радость встречать отца и Тихона при вечернем солнце, у мирно пасущейся отары! Они возвращались с песнями, хмельные и веселые, хвалили меня за смелость и одаривали подарками. Тихон неизменно привозил мне либо тетрадей в клеточку, либо кремней на зажигалку, отец — твердых пряников, а то и плитку шоколада, невероятного в те годы лакомства.

Мы жили одной семьей: табак и деньги у отца и Тихона были общие, ели мы прямо из котла, спали в балагане, на соломенной подстилке, укрываясь в прохладные ночи ватным одеялом и бурками. И разлившийся после ливня Касаут унес неведомо куда наши общие брусья, которые мы сплавляли к хутору в надежде пустить их в дело, распилить на доски...

Переговорив с заведующим мастерской, Босов напра-

вился было к машине, но Тихон звякнул гаечными ключами и, слегка запинаясь, быстро заговорил:

— Матвей Васильевич! Я слыхал, в кооперацию «Ижи» с колясками поступили. Правда или брехня?

— Семь мотоциклов,— уточнил Босов.— Мы в сельсовете договорились: продавать их будут по разнарядке... лучшим колхозникам. А что?

Тихон вынул из кармана молоток, перекинул его с ладони на ладонь.

— Да мне хочется «Ижа» купить, не похлопочете?

— У вас же новые «Жигули».

— На «Жигулях», Матвей Васильевич, удобно в гости ездить да в город за покупками. По асфальту... А если грязь? Или на охоту, по кустам, по кочкам?

Босов помедлил и спросил:

— Денег не жалко?

— Да что их, солить, что ли? В чулок завязывать? Деньги найдутся.

— Я не о том. Знаю, что найдутся... У вас сын в какой класс перешел?

— В девятый.

— Ну вот. Лучше бы купили ему хорошую библиотеку. Паренек смышленый, понятливый.

— А зачем, Васильевич?

— Что — зачем? — не сразу сообразил Босов.

— Библиотека...— Тихон мельком взглянул на меня.— Теперь все одно — что грамотный, что пастух. Все хорошо живут.

— Странно вы рассуждаете,— в некоторой растерянности проронил Босов.— В корне неправильно.

— Сынишка не успевает и школьные учебники зубрить. Много задают. А баранку крутить он уже лучше отца крутит!

— Да, неотразимая логика,— усмехнулся Босов.— Ладно, мы с вами об этом после потолкуем.

— Об чем, Васильевич? — насторожился Тихон, лицо его застыло каменно.

— О библиотеке. Стоит ли ее иметь сыну или не стоит.

— А-а-а,— с облегчением протянул Тихон.— А я думал, об «Иже». Ну, Васильевич? Похлопочете? А то глазом не сморгнешь — разберут.

— Похлопочу.

— Это разговор! — Лицо Тихона просияло.— А то я

совсем зажурился, ей-богу! — Голос его выдавал неподдельное волнение.— Спасибо, Васильевич.

— Не за что благодарить,— сухо сказал Босов.— Это я должен вас благодарить за хорошую работу. Комбайн отремонтировали?

— Давно.

— А что же сейчас делаете?

— Подсобляю другим. Электросварщик нонче не вышел, заместо него варю.

— И получается?

— У нас, Васильевич, все получается. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай! — Тихон говорил громким, счастливым тоном человека, у которого сбылось еще одно заветное его желание. Он не скрывал своих чувств, да и не было в этом нужды — таиться. И не та натура у Тихона, чтобы таиться. Радость так радость, горе,— значит, горе. Пожалуй, он совсем забыл о моем присутствии и, возбужденный удачей, видел перед собою только Босова, думал только о мотоцикле. Уже когда мы садились в машину, Тихон как бы на миг отрезвел, понял свою промашку, засуетился на середине двора:

— Максимыч! По соседству зашел бы!

Я промолчал. Может быть, во мне заговорило самолюбие или что-то иное, значительнее самолюбия, побудило меня не отвечать ему на приглашение. Газик дернулся, Босов захлопнул дверцу, и мы помчались мимо соснового забора, полукольцом огибавшего мастерскую. Несколько мгновений нелепая фигура Тихона мелькала в просветах между досками.

Не оборачиваясь и глядя прямо в ветровое стекло, Босов сказал:

— Раньше под шумок, под горячую руку у нас в хуторе кое-кого раскулачивали из-за пары шелудивых быков. Было и такое, что скрывать... Вон и ты из-за водокачки Ульяну Картавенко в пух и прах разнес. Опять ошибочка. Мелкая, но для нее чувствительная... А сейчас у одного Тихона в пересчете на живое тягло в личном пользовании десятки лошадиных сил. И — нормально, никто его не собирается раскулачивать.— В голосе Босова послышалась тонкая насмешка.— Так-то, Федор Максимович. Времена и понятия меняются.

— Но человек меняется? Тот же Тихон?

— Тихон не исключение.

— К худшему или к лучшему он меняется?

Босов, откинувшись на спинку, не торопился с ответом, раздумывал. Газик бойко бежал по хутору, подпрыгивая на твердых выбоинах шоссе.

— Не тебе спрашивать о Тихоне,— наконец заговорил он.— Ты его знаешь как облупленного. В свое время он натерпелся, намучился — и вот настала пора другой... радостной жизни. И он живет в свое удовольствие. Как умеет. Ты же не станешь осуждать Тихона за то, что у него дом в пять комнат, машина, гараж? Теперь хоть, надеюсь, не станешь?

— Нет, Матвей, этого я делать не буду, ни под каким предлогом. А все же как-то грустно, не по себе.

— Я тебя понимаю. Мне от этого самому иногда тошно. Ну да, плохо, когда люди поддаются одному накопительству, теряют меру. Тут и облик человеческий недолго потерять. Но я другой раз утешаю себя вот чем: это у Тихона от бескультурья, от непрошедшего чувства былой нужды. Вдруг настанет день, и он опомнится. Вырастет у него сын, который не знал, что такое чурек с лебедой. Ему откроются другие ценности. Как думаешь, настанет такой день? — Босов обернулся, пристально заглянул мне в лицо ищущими, беспокойными глазами.

— Не будем терять надежды.

— Вот именно, не будем,— с жаром подхватил Босов.— Машина у него есть. Мотоцикл купит. Что ему еще понадобится? Ну цветной телевизор, ковры, хрусталь... А дальше что? Дальше он все равно купит книгу. Пусть только затем, чтобы не отстать от моды. Пусть! Сам в ней не прочтет ни строчки — ладно, я и это ему прощаю. Зато сын или внуки непременно прочтут ее — и книга оживет, сослужит пользу.

— А что, Тихоном и вправду овладела мания приобретательства?

— Водится за ним этот грешок,— кивнул Босов.— Рубль сверх меры любит, готов из-за него день и ночь вкалывать. Но работник, скажу по совести, незаменимый. Безотказная душа. За что ни возьмется — сделает. С такими, знаешь, все же легче, чем с пьяницами и лодырями. Тихон хозяин. Его никакая сила не вырвет из хутора. Двор у него широкий, дом — полная чаша, огород и сад ухоженные. И дети его, прежде чем куда-то сбежать, подумают: а стоит ли? Будущее их обеспечено надежно. От добра добра не ищут. Это легко перекаты-

ваться по земле тем, у кого ни кола ни двора, на сердце — безразличие ко всему.

Мы подъехали к Чичикину кургану и вылезли из машины. С солнечной, противоположной стороны от хутора он полого скатывается, рыжея прошлогодним неслегшим бурьяном, и постепенно сливается с ровным полем, снизу распаханный и ярко пестреющий краем цветастого ковра, как бы небрежно расстеленного до самого Пятилеткина стана, до его серых у темно-зеленого выгрева построек. Розовые, густо-красные, белые головки клевера источали приторно-сладкий стойкий запах, над ними протяжно, хмельно гудели тяжелые бархатные шмели... На середине ската, в просевшей ложбинке, обкошенной и вкруг обложенной камнями, сиротливо, вкось держался трехгранный, грубо и наспех вытесанный каменный столб — памятник герою гражданской войны Ефиму Чичике, расстрелянному шкуровцами на нашей хуторской площади и после захороненному здесь бурей ворвавшимися в Марушанку красными конниками. Снизу камень взялся несмываемой прозеленью, сквозь нее едва проступали из грозившего им забвения скорбные, исполненные гордой торжественности слова: «Спи, земляк и верный боец за народную власть. Память о тебе вечна».

Мы постояли у могилы Ефима Чичики, сошли вниз, и Босов, внезапно расслабившись, прилег грудью на цветы, раскинул руки и лежал, блаженно припав щекою к земле. Между тем свет шел на убыль, солнце садилось и багрово меркло, в поле серело, от кургана тянулись на восток плохо различимые тени и постепенно исчезали с потемневшей зелени. Босов поднял голову и по-мальчишески, с простодушной хитрецой спросил:

— А знаешь, почему ты не вышел ростом? У тебя была дурная привычка. Ты носил на голове вязанки дров.

Это правда. Мы часто собирали «сплавленные», выброшенные на сухие островки дрова и ладили из них вязанки. Свою ношу, как бы она ни была тяжела, я обычно водружал на голову, находя это положение наиболее удобным. И верно, на голове я нес вдвое больше дров, чем на плечах, за весь путь ни разу не останавливался отдохнуть.

— А я возил топку на тачке. Помнишь мою тачку?

— С гнутыми колесами от плуга?

— Она меня здорово выручала. Однажды я вез хворост, застрял в болоте — ни туда ни сюда. Вышел из кустов Тихон (он тогда пас стадо), помог мне вырвать тачку из грязи, угостил кукурузной лепешкой. Дал молока из бутылки. Разве такое забудешь?

Босов немного полежал, подумал о чем-то своем, затаенном, поднялся с земли и весело, мечтательно глядя по сторонам, объяснил, что вот здесь, на клеверном поле, поднимутся корпуса животноводческого комплекса. Место удобное. Близко к хутору, к реке. Рядом будет культурное пастбище с поливом.

— Тысячи голов скота... несметная орава... железобетон, трубы подомнут, стопчут все это поле, всю красоту,— сказал я.— Река, чистейшая наша река, загрязнится, вон уже по воде и сейчас слоятся бензиновые пятна.

— Геологи бурят. Я их уже предупреждал.— Босов выпрямился во весь свой рост и сердито поглядел куда-то поверх меня.— Мы построим очистные сооружения.

— Жаль этого поля. Трудно представить, что его когда-то не будет, уже не пройдешься вольно, не увидишь на нем цветов. Хутор, люди поскучнеют. Если бы перенести стройку подальше, за Пятилеткин стан. Можно?

— Тут уже спорили об этом, не ты первый. Мы подсчитали. Дороже обойдется.

— А курган... вы его не тронете?

Мы оба разом взглянули на памятник Ефиму Чичике, без слов поняли друг друга. Босов слегка смутился.

— Снесем, расчистим площадку. Конечно, тревожить сон мертвых нехорошо, даже как-то боязно, но жизнь заставляет... Да мы Ефима не обидим. Прах его под духовую музыку перенесем на кладбище, захороним на видном месте, с почестями. Народный митинг, гулянья организуем. Чтоб вспомнили люди его геройские дела... Ты не волнуйся. Это мы устроим на высшем уровне, по-хорошему. Приедешь, напишешь в газету.

— Тут, Матвей, не один прах Ефима покоится.

— Я знаю. Первые кубанские казаки лежат под курганом. Еще мать моя рассказывала, что они погибли на войне с турками.

— Да. За то, чтоб у Касаута стояла наша Марушанка.

Босов заложил руки за спину и начал медленно, прямо ходить возле меня, приминая к земле цветы подошвами кожаных туфель.

— За всю историю человечества, Федор Максимович, столько накопилось памятников и могил, что, если бы все они сохранились, живым людям давно бы негде было поместиться. Согласен? Исчезли и покрылись пылью развалины великого Вавилона и Ниневии, в тлен обратились письмена, дворцы ассирийских владык, колоссальные статуи. Рок! Высшая справедливость! А ты хочешь — эх ты!..— хочешь все это удержать? — В голосе Босова пробилась насмешка.

— Не все. Хотя бы эти могилы. Горсточку пепла.

— Горсточку пепла! — Босов, продолжая ходить в той же позе, усмехнулся.— У нас на правлении о кургане была перепалка. Жалостливые тоже нашлись. Один пожилой казак, из въедливых, знаешь ли, простачков, встает, притворился святым, невинным и ну потешаться надо мной. Вот, говорит, Матвей Васильевич, допустим, скончаетесь вы в свой срок, иначе никак нельзя, всему живому предел положен, помрете, и за ваши большие заслуги народ вам поставит памятник. Вы о нем сроду не заботились, скромничали, а памятничек ваш в виде бронзовой фигуры будет красоваться в хуторе, печалить и веселить сердце человеческое. Пройдет много, много лет, не станет детей ваших и даже правнуков, и вдруг, ни с того ни с сего, могилка ваша кому-то покажется неважной: мол, в хуторе народились герои новые и понапористей вас. И что же выйдет? Фигуру снимут и переплавят, а могилку, для нас бесценную, возьмут и сроют с землей. А нам это, пусть и мертвым, будет обидно: неужели наш председатель был хуже ихнего? Мы тоже землю пахали! Понимаешь, чудак какой. Высказался... Члены правления смеются, а он раздухарился и спрашивает меня: мол, не обидным ли вам, Матвей Васильевич, покажется такое действие потомков?

— Ну и что же ты ответил ему?

— Нет, говорю, я там не обижусь, будьте спокойны... Со всеми посмеялся,— добавил улыбаясь, Босов и направился к машине, за рулем которой скучал, подымливая папиросою, шофер. Босов открыл дверцу.— Садись. Трудовой день окончен.

Я отказался. Мне захотелось пройтись пешком. Мы расстались, газик взметнул хвост пыли на дороге и, набирая скорость, поволок его к шоссе. Я постоял среди поля, подышал сладким запахом клевера и вдруг подумал, что опять не проведал Ульяну. Укор Босова, вскользь намекнувшего о прежних моих писаниях в «Перце», оказывается, неприметно жил в душе, и, только я остался один, возникло чувство раскаяния. Но как я мог навестить Ульяну, если в продолжение всего дня был занят, ни на шаг не отступал от Босова? Сейчас, что ли, пойти? Нет, вечером можно ее напугать внезапным посещением. Вдруг не разберется, что к чему, по-бабьи поднимет крик, станет поносить меня на весь хутор. Ведь неизвестно, что у нее на уме. И главное — нет у меня никакого оправдания перед нею. Чем и как я буду защищаться? Загляну я к ней когда-нибудь в другой раз, выберу момент и загляну. А сейчас навещу-ка я Касатку. Двор ее рядом, белая труба торчит в небе.

Мелькая локтями, она ловко орудовала штыковой лопатой, копала яму. Лицо ее было красным, распаренным, косынка слезла на затылок, волосы спутались. Стирая пот со лба, она откидывала их назад, по-мужски крякала и с силой нажимала ногой на лопату. Скоро она почувствовала вблизи себя человека, разогнула спину и привычно изумилась:

— Максимыч, ты? Каким это ветром тебя занесло? А я тут в потемках ямки долблю. Забор нарунжилась городить.

Поздоровавшись, я попросил у нее лопату, скинул с плеч пиджак и стал копать.

— Максимыч! — ворчала она, стыдливо и беспомощно суетясь у ямы.— Брось! Туфли попортишь.— И хваталась за ручку лопаты.— Ну его к бесу. Дай я сама! Мозоли натрешь... От враг его! Максимыч, слышь? Пусти, осерчаю. Тебе головой надо думать — не ямки рыть. Это моя работа. Я на такое дело хваткая!

Не дождавшись от меня лопаты, отчаялась и отступила на шаг.

— Ну, Максимыч! Зарежешь меня. Ей-право, зарежешь. На дуру-бабу здоровье гробишь. Узнает Максим — мне тогда несдобровать.

Наконец она воспользовалась моей передышкой, осторожно потянула к себе ручку лопаты, с облегчением

почувствовала, что я выпускаю ее из рук, крепко ухватилась за нее и принялась вышвыривать из ямы землю.

— А я вас с Матюшкой видала у Чичики. Смотрю: подбегает колхозная машина, сперва Матюшка вылез, потом ты. Что он тебе показывал?

— Место, где будет строиться новая ферма.

— Ну и где ж? — Она вогнала лопату в землю и чуть задержалась, обернувшись ко мне.

— Возле кургана.

— Рядом чи где? — с пытливой заинтересованностью, медленно спросила она, продолжая выкидывать землю.

— Рядом.

— Смотрю: выходите из машины,— бормотала Касатка, уже больше ни о чем меня не расспрашивая.— Ну, думаю, свои. На Чичику вечерком любуются. А вы меня небось и не заметили? Я давно тут копаюсь.

— Не заметили. За ветками не видно.

— Хочь бы и видно, на что вам бабка? — Она как-то невесело подхихикнула и, увлекшись работой, надолго умолкла.

Нет-нет да и вставала у меня в мыслях встреча с Тихоном. Думая о нем, я испытывал и раздражение против него, смешанное с обидой, и горькое сожаление.

Когда Касатка стала заметно сдавать, я отобрал у нее лопату и заговорил о Тихоне, начав издалека:

— Тихон, по-моему, неплохо живет. Дом под цинком, машина, ворота железные...

— Он, Максимыч, тут всех за пояс заткнул, самых богатых объегорил. Молодец мужик, так и надо.— Касатка отошла к выкопанной яме, уселась на краю и опустила в нее ноги.— Из пастуха пан.

— Как ему удалось разбогатеть?

Касатка вполне серьезно восприняла мой вопрос, с тою же серьезностью и ответила:

— А так, дело нехитрое... Руки, ноги есть, здоровьем бог не обидел. Чего ж еще надо? Только греби под себя, добра нонче кругом — навалом. На всех хватит... Это мы, бабки, здоровьечко потеряли, уже не разбогатеем. Да богатство нам и не личит. Мне оно, Максимыч, как корове седло.

— Тихон Елену не обижает?

— Она его скорей обидит. Осмелела... Не со всяким и здоровкается. Каракулевую шубу носит. Юбки крим-

пленовые. Куда там! И заикаться стала редко. Им только и ладить, в доме достаток. Живут на все сто, Максимыч. Молодцы.— Она подумала о чем-то, подхихикнула своим мыслям и весело, с привычным добродушием начала рассказывать про недавний случай: — Шла я както, Максимыч, с базара, с непроданным оклунком семечек, уморилась, а кругом — вода, грязища непролазная, ей-право. Только по грейдеру и можно пройтить. Да, как на грех, машины одна за одной прутся как бешеные. Ошметки лепают. Приходится бабке сползать в кювет, пережидать. Будь они неладны, развелось этих машин, как недобитых собак. В одном месте поскользнулась и бряк в воду! Мешок вываляла в грязи, сама тоже грязная, юбка мокрая, волоса свесились, ни дать ни взять — ведьма! Шкандыбаю домой, люди от меня шарахаются.— Касатка засмеялась.— Вот цирк был! Веришь, иду, до косточек продрогла, и силушки моей уже нету, коленки дрожат. Оклунок, враг, чижолый. Намок, прямо к земле давит. Тормозит возле меня легковичка: Тихон со своей жинкой едут. Высунул он голову и кличет: «Бабушка, говорит, сидайте, подвезу». Я про все забыла, обрадовалась и лезу к машине из кювета, а Ленка глянула на меня да так и покатилась со смеху: «Кто это вас, бабушка, извозил, изъелозил всю! Сиденья нам запачкаете». Тут я опомнилась и назад: правда что, Максимыч, сиденья у них бархатные, чистенькие. Рази с моим мокрым хвостом туда соваться? Вижу, и Тихону я такая не дюже нравлюсь. Сидит, кривится, на Ленку поглядает. Да я, по-ихнему, что, совсем с ума спятила? Сама понимаю, что нельзя добро портить. Не села. «Нет, говорю, спасибо, люди добрые, вы едьте, а я как-нибудь дошлепаю, не велика барыня. Куда меня, ведьму, сажать? Сперва обмыться надо». Ну они и поехали. Уважительные, Максимыч. Не то что другие. Другие, знаешь, проедут мимо и не глянут, хочь помирай на дороге.— Касатка сделала небольшую паузу, по-детски поболтала в яме ногами.— В тот день я как следует рассмотрела их легковичку, всю как есть глазами обшарила. Я ведь хитрая, Максимыч. Надо же, какие машины сейчас наловкались делать! Все блестит, сиденья мягкие, радио под рукой: включай и слухай музыку... Мы не покатались, хоть вы теперь катайтесь,— заключила Касатка с радостью.

Пока она рассказывала, я докопал и вычистил яму и уже во тьме взялся за другую, последнюю.

Глава шестая

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ПЫЛЬ

Вдоволь наработавшись, я пришел домой. Мать кинулась собирать ужин, я отказался.

— Чи кто тебя кормил, сынок?

— Я у Касатки был.

— У Касатки? Ну та без вечери никого не отпустит. Уважительная. Молока выпьешь? — Она поставила передо мною кувшин.— Пей. У Касатки его нету. Некому сено косить. Одна мучилась, бедная, перчила на покосах, да и продала корову. Оно и правильно: чи у ней дети на печке кричат? Я вот тоже отцу всю голову прогрызла: продай да продай. Не хочет. Уперся, такой настырный.

— Я не дурак продавать. Деньги, мать, вода: были и сплыли,— сказал отец.— А коровка всегда при нас. Забунит, на сердце веселей: все ж не одни. Живая душа на дворе.

— Касатка меня и молоком поила.— Я отодвинул кувшин.— Спасибо.

— Ты чужой, что ли? — с обидой проговорила мать.— Спасибо чужим говори.

— А где ж она берет его? — полюбопытствовал отец.

— Тю, не знаешь, что ли. Да у соседки, у Нестеренчихи.

— У Жоркиной жинки?

— А у какой, у Жоркиной...

— Так они ругаются кажный день.

— Кто?

— Да Касатка с Нюркой... Та еще, выдра лупоглазая. Так и сигает на Касатку. Некому ей куделю начесать.

— То они, отец, за свое ругаются, не влипай,— рассудительно молвила мать.— На один день подерутся и помирятся. Их, чертяк полосатых, не поймешь.

— А я и не влипаю. Откуда ты взяла, что я влипаю?

— Да с тебя сбудется. Чего-нибудь ляпнешь Нестеренчихе — и навек обида. Они поладят, а ты виноватым будешь. Он, Федька, никак свою лавочку не бросает,— тут же пожаловалась она.— Все б ему куда не надо влипать, правды добиваться. А правда, она с двух концов. Нет же, неймется ему, язык чешется. И на работу как угорелый носится. Кто тебя гонит туда?

— Звеньевой. Не знаешь кто!

— Сам не захочешь — никакой тебя звеньевой не принудит. Ты свое отутюжил, здоровье вон потерял.

— А какими глазами на звеньевого смотреть? Конечно, не заставят. Но я же не камень. Молодых чистить траншеи не докличешься. Кто-то ж должен и это делать. Не всем кнопки нажимать.— И переходит в наступление: — Ты-то сама, когда звеньевой попросит, ходишь буряки прорывать или не ходишь?

— То редко бывает. Когда пойду, а когда и всех пошлю, куда Макар телят не гоняет. Вот вам — от ворот поворот, я отпололась.

— Не верь, Федька, хитрит мать и не скривится. Не было такого, чтоб отказалась. Всегда, как молодая, с сапочкой на делянку бежит. Один только раз отбрыкалась, и то мы на базар в район ездили. Телевизор и хромовые сапоги купили. В магазинах не достанешь хромовых сапог. С рук взяли у одного спекулянта.

— Да ты их и не носишь. Зачем только купил?

— А на выборы надевал, забыла?

— Всего разок. И то запылил, кинул под кровать. Небось уже голенища паутиной затянуло. Хочь бы проверил, покремил.

— Проверю, не твоя забота.

Они продолжали добродушно, по-стариковски переругиваться, спорить о своем, а я с тайной радостью и одновременно с грустью глядел на них, кое-что улавливал, но больше пропускал мимо, потому что в этот момент думал о Касатке, о том, как мы с нею копали ямы под столбы. Думал и о Дине. Сегодня меня подмывало спросить Касатку, что же все-таки случилось, почему Дина с мужем не осталась жить с нею, в пристройке, неужели она так легко оставила ее одну? Но что-то мешало мне, опять не осмелился спросить. И вот я решил коечто выведать у матери.

— Ох, сынок,— пригорюнилась она,— об чем нагадал... Рази я тебе не рассказывала? Была тут канитель, ты еще в Москве, помню, учился.

Но отец поправил ее:

— Он уже кончил учение, я хорошо помню. Это вскорости после той статейки про Уляшку, все еще смеялись. Ну, Федька,— с осуждением покачал он сивой головой и как-то недобро покосился на меня,— тогда ты отмочил так отмочил. Из-за тебя и нам с матерью перепало. Уляшка прибегла, окно палкой высадила. Сказано —

темная. Мы-то при чем с матерью? У ней из-за тебя водокачку отобрали и шесть соток лишней земли отрезали, а мы при чем? Мы рази научали тебя?

— Не перебивай! — жалея мое самолюбие, прикрикнула на него мать.— У нас разговор другой. Тут, Федька, такая история приключилась. Как раз на ильин день было. Вода, помню, стала холодать. Заявляется в Марушанку тетка, вся в черном, брови черные, а лицо и руки смуглявые, как у татарки. Заявляется и спрашивает: где тут Касаткина хата, как, мол, к ней добраться? Ну, люди ей объясняют: так, мол, и так нужно итить, вдруг она вся как затрясется, как заголосит! До конца не выслухала, хвост подобрала — и бечь, куда показали. И что ж ты думал? Что это была за женщина? — Она помедлила, собралась с духом: — Родная мать Дины. Когда, лярва, вспомнила про дочку! А раньше небось и сердце не болело, веялась с ухажерами... Долго об этом, сынок, рассказывать, да и незачем. Дина ее не признала, стала выгонять из хаты, выгоняет, а сама плачет, слезами заливается. Конечно, сердце — не камень... «Мать у меня одна!» — голосит. Выгнала, а та у форточки хвать за кольцо — и на коленки. Ноги, видать, подломились. Тоже ей не сладко. Ну Касатка, она ж какая? Возьми и сжалься, подхватила ее под мышки и в хату. Легонькая осетинка, как пушок, в чем только дух держался. Дина на топчан ее уложила, колодезной воды дала напиться. Осетинка очнулась, лежит как неживая. А тут и вечер. Выпросилась она у них переночевать. Дальше — больше... Глядим: живут втроем и день, и другой, и третий. Дина уже с осетинкой об чем-то перешептуется, а нашей Касатке и невдомек. Жалостливая, всех бы ей жалеть. Себя вот только не жалеет, бьется, как муха об стекло.— Голос у матери осекся, глаза заволокло слезой, она отвернулась и украдкой вытерла их.

— Что же было потом?

— Да что потом... Дело, сынок, ясное. Сколько волка ни корми, а он все одно в лес глядит. Родная кровь пересилила. Уехала Дина с осетинкой, пожила с ней, и вскорости та померла: плохая уже была, чахла. А тут жених Дине подвернулся, вышла за него.

— И Касатка ее отпустила с той женщиной?

— Отпустила и все приданое отдала. До самой Пашинки провожала... Правда, брехать не стану: Дина дюже голосила, как со двора вышла, всю дорогу обнимала Касатку, уговаривала: «Мам, вы приезжайте втроем бу-

дем жить, приезжайте!» А та, лярва, молчит, как воды в рот набрала. Глазами бесстыжими виляет, не знает, куда и деться. Провалиться бы ей тогда скрозь землю... Вернулась Касатка и слегла, неделю с топчана не вставала, в рот ни крошки, одним духом питалась. Дина ж ей роднее всех была, одна отрада в жизни, и той лишили. Это уже после того случилось, как ее Колю за границей убили. Не дай бог никому пережить. Вот, сынок, что с ней было. Видно, судьба у Касатки такая... Про Колю она тебе говорила?

— Нет.

— И не скажет. Ей плохо делается, когда вспоминает об нем. И ты гляди не спрашивай про него. Не надо,— предупредила мать.

Ее рассказ тронул и отца, хотя вся эта история была ему давно известна. Несколько минут мы сидели вокруг стола молча.

— Ты и нонче у ней гостевал? — первой начала мать.

— Да. Она затеяла ставить забор.

Сухой прозрачной ладонью мать пригладила волосы, поправила на голове платок и потуже затянула концы.

— Отец, хочь бы подсобил ей доски прибить. Одной несподручно.

— Кабы раньше знать. А то я звеньевому пообещал на работу явиться. Неудобно теперь отбрыкиваться.

— Вишь, какой он,— призывая меня в свидетели, показала на отца мать.— В кажную бочку затычка. Нет бы Касатке уважить.

— Послезавтра сбегаю и подсоблю.

— Дорога ложка к обеду. Ты вот ответь: когда к ней последний разок наведывался?

— Под майский праздник дрова пилили.

— А сейчас июнь. Совесть надо иметь.

— Не бурчи, мать. Днем раньше, днем позже — беды не будет.

— Да тебе все так. Всю жизнь ему хорошо.

— Я к ней завтра пойду. Мы договорились,— сказал я.— Немного поработаю, разомнусь.

— Пойди, она тетка хорошая. Нам вон сколько помогала. Бывало, только сгадаешь, а она уже бежит с прискоком: что, мол, делать? Засучит рукава и давай заводиться. И того у нее понятия нету: в колхозе, у себя или у чужих. Ей одинаково, лишь бы работать.— Мать

помолчала и, коротко взглянув на меня, понизила голос: — Она ж тебя, Федька, и от смерти спасла.

— Вы рассказывали.

— Куда там! — подкалывая ее, сказал отец.— Небось со сна, с перепугу приплелось.

— Тебе бы так, с перепугу! — не на шутку рассердилась мать.— Сиди уж, Фома неверующий. Я тогда, Федька, полжизни, наверно, отдала. А он, черт, все подначивает! — прицелилась на отца испепеляющим взглядом.— Кабы ему так, он бы и себя забыл...

— Нонче, мать, ты чегой-то не в духе,— пошел на попятную отец.

— А что ж смеешься? Нам с Босихой тогда не до смеху было.

— С кем? — поинтересовался я.

— Да с Босихой, с матерью нашего председателя. Вы же с ним одногодки, как раз перед войною народились.

— Разве Касатка и его спасла?

— И его. Это я про тебя рассказывала, а с Матвеем то же самое было. Вам, бедняжкам, досталось.— Мать передохнула, положила маленькие, как у девочки, руки на край стола и с выражением скорби в лице продолжала: — Это перед тем, как немцам прийтить, случилось. Пололи мы кукурузу. Все ж надеялись: успеем до урожая без супостатов дожить, кочаны поломаем, зерно порушим и государству, нашим сдадим. Гнали ряды как оглашенные, ни с чем не считались. Кусок чурека водой запьешь, юбку подоткнула — и давай наяривать, аж пыль столбом. Одна перед другой выхваляемся, некогда и в гору глянуть. Сапочки забывали отбивать. Дедушка Агно, бывало, не стерпит, вырвет из земли отбой и вприпруску бежит за нами, просит: «Девки, запалитесь! Бодай вас комарь! (Это у него присказка такая была, как что: «Бодай вас комарь!») Трошки отдохните, сапочки поправлю. Что ж мне, сиднем сидеть, без дела?!» А мы все разом так и покатимся со смеху. И опять за свое. Дедушка Агно обижался. Я и до се ужасаюсь: как мы так пололи?! Без остановки. А дни жаркие. Воздух горячий, густой, от пырея и молочая тошнит, в глазах мутится. Иной раз думаешь: ну все, кончусь, сердце разорвется. И — ничего. Не разрывается. Выпрямишься, оглянешься на девок: кое-кто и отстал, сзади тюкает... Повеселеешь. Тошнота отхлынет, как будто свежего воздуха глотнула. Опять гонишь рядок: трах и трах. Работали, Федька,— шкуры

лопались. Мужики на фронте воюют, а мы в степи... Касатка была заводной. Если ее всем звеном не осадишь, сама ни за что не остановится. Впереди всех, чертяка, несется, голыми ногами сверкает. Голову угнет, как лошадь, и поперла. Попробуй-ка за ней, ветрогонкой, угонись — надорвешься, дух выйдет. Одна Босиха с ней в паре шла, да и то недолго, на третьем рядку выдыхалась.

А тут нас с Босихой и вы, конечно, донимали. О детских площадках мы и слыхом тогда не слыхали, с собой вас на полотьё носили. Бабушка тоже дома не сидела, в колхоз бегала, так что не на кого вас, таких, было оставлять. Матюша у Босихи был смирный пацанчик, весь день играет себе молчком в кукурузе. Ну, один раз всплакнет, матерь покличет — то не беда. Всякому ребенку полезно покричать: от крику легкие развиваются. Не-е, она с ним и горя не знала. А ты, Федька, весь в отца удался. Такой же верченый, как он. Чуть забудусь, глядь: ты уже на другом конце делянки, одна макушка в бурьяне, в буль-голове белеет. На мостик через Курдюмку забежишь, пузом на доски и смотришь в воду. Мать моя! Так и захолонет в груди: сорвешься — и каюк, поминай как звали. Бегу к мосту, ног под собой не чую, а крикнуть боюсь: еще напужаешься и, не дай бог, нырнешь вниз, прямо в ямочку. Много ли четырехлетнему дитю надо? Он и в корыте утопится.

А в то лето у нас беженцы квартировали. Хорошие люди: женщина с двумя девочками. Ты всем им понравился. Как уходили от нас, подарили тебе новенькую тюбетейку, точь-в-точь по твоей головке и такую красивую — глаз не отвести. По краям расшита золотой, а сверху, у самого бубончика, красной ниткой. Все бабы любовались. Нет же, ты и ее в Курдюмку закинул. В буруны затянуло, не нашли. Не всплыла. С того дня хочь тебя к юбке привязуй. Только отвернусь, а ты уже на мосту, в воду уставишься и лежишь. Ту уроненную тюбетейку, дурачок, ждешь. Думаешь, вынырнет бубончик по щучьему велению, по твоему хотению. Сказано — несмышленое дите.

— Я помню ее.

— Кого?

— Тюбетейку. Она вся черная сверху была, а нитки золотистые, красные. И шарик на макушке тугой, как горошина, тоже золотистый.

Мать выслушала меня с изумлением, всего окинула

недоверчивым взглядом и, еще больше изумляясь, тихо не то спросила, не то возразила мне:

— Рази ты мог ее запомнить? Небось я рассказывала. Ты же совсем маленький был, четвертый годок шел.

— Да, я на самом деле помню эту тюбетейку. Вижу ее. Она стоит перед глазами.

— Из чего была подкладка, не помнишь?

— Из белого... скользкого шелка.

— Точно,— подтвердила она.— Скажи какая у тебя память. Другому бы ни за что и не поверила... Ты дюже горевал по ней. До этого ничего красивого не носил, в полотняной рубашонке бегал. Попалась тюбетейка, и ту, как на грех, уронил. Видно, и дети, не одни взрослые, умеют переживать,— заключила она.— Тогда что ж я тебе тут рассказываю? Ты и сам, глянь-ка, все помнишь.

— Нет, мам, остальное ничего не помню.

— Ни Матюшу, ни Касатку?

Я покачал головой.

— А Босиху? Она все вас карачаевским арьяном из баллончика поила.

— И Босиху не помню.

— Ладно, придется досказать, раз уж начала,— снизошла мать.— В общем, нам с Босихой то полотьё боком вышло. Как-то после обеда уклали мы вас промеж рядков спать, белым платком от солнца заслонили и гайда полоть. Тучки стали набегать, ветерок подул. Прохладно. Не жарко, в самый раз... Полем, спин не разгинаем. И не заметили, когда подъехал со стана трактор культивировать. Меня как бритвой по сердцу полоснуло. Посмотрела я перед собой и обмерла: прямо на платок бежит трактор. Мать моя! Кинулась сама бечь — не могу, ноги отнялись, хотела крикнуть — язык отнялся, во рту не поворачуется. Как немая, руками телепаю, показую на платок. Он еле-еле белеет в кукурузе. Мы там еще не пололи... А трактор на всех скоростях летит, и парнишка, лет пятнадцати, сидит себе за рулем и ничего не видит, паразит, насвистует. Прямо на вас едет. И тут меня прорвало: как закричу не своим голосом! Слышу, и Босиха как резаная кричит, стелет наперерез по кукурузе. Я тоже за ней. Бегу, все плывет перед глазами. Мать моя, что было! А он оглох, что ли,— едет себе, вот-вот на платок надвинется. В этот момент возле меня сигает Касатка, обогнала нас с Босихой и зафинтилила по кукурузе, как ветер... Перед носом, из-под колес выхватила вас, чуть

сама не попала под трактор. Отскочила, прижимает вас к груди, целует и смеется. А какой тут смех? Какой смех, если мы с Босихой ни живы ни мертвы стоим, руки и ноги трясутся... Парнишка тоже насмерть перепужался, вскочил и ничего не может сказать. Зубами стукотит. Лицо белое как мел. Уляшка Картавенчиха с кулаками на него, но бабы удержали и не дали тракториста бить. Он сам еще был дитенок, на губах мамкино молоко не обсохло. Видно, об чем-то сильно размечтался, вот и свистел, правил, как во сне. Его, бедняжку, в конце войны призвали и на фронт отправили. Так где-то и сгинул, домой не вернулся... А Касатка вас спасла. Вы ее с Матвеем не забывайте,— тоном серьезного наставления закончила мать.

И этот вечер был спокойный, тихий, с глубоким небом и яркими звездами, он обещал долгую сухую погоду. Но когда я прислушался, выйдя из дома, то понял: не сегодня завтра быть все-таки дождю. Дождь пойдет наперекор всему. В верховье Касаута, где-то во тьме, за Постовой кручей, глухо и медленно шумело, будто всю воду реки втягивало в бездну, в яму и там кружило с упорным, страстным желанием противоборства небу. Этот шум — верная примета сильного ливня. Я обрадовался шуму, как чему-то живому, близкому, которое я понимаю и которое чувствует и меня, и зашагал проулком к Касауту. Сумеречная темь, чернота загат, резковато-жгучий запах крапивы, отяжелевшая пыль под ногами, кусты татарника, смутные очертания бугра и внизу — луг, а за ним — темная полоска свечек и облепихи, верб и ольхи, кинжальный блеск реки в просветах между бесформенными кустами... И над всем этим, до боли своим, привычно родным, затаившимся в глубокой, не постижимой ни сердцем, ни умом тайне,— древний и вечно молодой свет звезд, такой же, каким я впервые воспринял его со всей жадностью ранних впечатлений. Неужели так будет и после меня? После отца, матери, после Касатки? «Так и будет,— с какой-то необъяснимой благодарностью, почти с радостью думаю я и, как в детстве, сажусь у загаты, в затишке, лицом к реке.— И хорошо, что все это останется: и свечки, и река, и луг, и даже запах крапивы. Лучшего и желать не надо. Пусть останется».

Я сидел на бугре, вытянув ноги, не видимый никем, ни одной живой душой, и наслаждался покоем, одиночеством, отрешенностью от всех забот. Давным-давно,

мальчишками, на этом месте, на жарком солнцепеке, мы любили отогреваться и загорать после долгого купанья в Касауте. Вода в нем и в знойные дни, в разгаре лета, холодная, как из родника. До дрожи, до судорог накупавшись в ямочках, стуча зубами, со сведенными скулами, с гусиной кожей на руках и ногах, мы во весь дух летели на бугор, в затишек, падали в горячую, сладко пахнущую пыль и блаженно замирали, чувствуя, как тепло земли и солнца вливается в тело и наполняет его невыразимым ощущением слитности со всем миром. Возле нас в загате суетились муравьи, тащили куда-то соломинки и всякий сор, деловито исполняя круг своих обязанностей. Стоило закрыть глаза, задуматься — и вот уже я сам муравей, так же чему-то радуюсь и проворно, с неподражаемым усердием тащу со своими братьями соломинку... Что за мысли, что за странные ощущения рождались во мне на этом бугре, на теплой, трижды благословенной пыли!

Здесь я впервые увидел Дину.

Я уже слышал, что в минувшее воскресенье Касатка ездила в Микоян-Шахар продавать петуха и несколько мешков молодой картошки. Торговля вышла на редкость удачной, в течение получаса мешки оказались пустыми, а петуха, с налившимся сизо-багровым гребешком, со связанными ногами и крыльями, понес, держа вниз головой, толстый мужчина с квадратными усами под горбатым носом и песочными бакенбардами. Касатку более всего радовало, что она сбыла петуха — и за хорошую цену; он был старый, жилистый, но драчливый, до смерти заклевывал соседских петухов, без разбору давил и своих, и чужих кур, ершился, свирепел, наливался кровью и наскакивал на ребятишек. Из-за него бабы сердились на Касатку.

Она купила синего штапелю на рубаху сыну, который собирался ехать в ремесленное училище, два килограмма сахару и, крайне довольная своей расторопностью, хотела уходить с рынка, но тут услышала вблизи жалостливый плач какой-то девочки, увидела толпившийся серой кучкой народ. Дух занялся у Касатки: с войны она не могла переносить детских рыданий. Приблизилась к толпе и, еще не видя за колыхавшимися спинами девочку, постояла в недоумении, ожидая, когда она успокоится. Однако плач бился над рынком все сильнее, безнадежнее, люди волновались, и Касатка с дрогнувшим сердцем про-

тиснулась вперед, локтями растолкала зевак и живо подхватила ее на руки. Она еще не знала, отчего рыдает девочка, и, конечно, не могла ведать, что, взяв ее и невольно, из чувства сострадания прижав к груди, грубыми ладонями отирая слезы с ее смуглых щек и по-деревенски стеснительно бормоча нежности, обычные в подобных случаях,— с этого мига стала ее матерью, хотя и не постигла тайну своего неодолимого влечения к девочке. Но это чудо, это внезапное прозрение души свершилось, наверное, раньше, еще до того, как она поняла: девочку бросили. Поэтому твердым и ясным было ее решение — удочерить эту крошку, спасти.

В нашем доме после говорили: Касатка, взяв на руки Дину, больше не опустила ее на ноги, никому не позволила подержать; она не колебалась, не раздумывала над тем, правильно ли делает, не выйдет ли чего-нибудь дурного из ее поступка. А вдруг оставившие девочку передумают, среди бела дня явятся в Марушанку и отнимут ее?

«Не-е,— рассказывала Касатка,— такие думки мне и в голову не приходили. До того ли... Едем на бричке, она плачет, слезки кулачком растирает и на всех исподлобья волчонком зыркает. Боится. Никак не обвыкнется. Я и сама, дура, расстроилась. Хочь распрягай подводу, ложись наземь и реви. Жалко. Такая красивенькая, черненькая. Ей бы звоночком заливаться, радоваться... Ох, грехи наши тяжкие! Всякие бывают люди. Хитрые и бессердечные».

И вот ярким летним днем девочка-осетинка, о которой ходило у нас много слухов, появилась перед нами на бугре, цепко ухватившись за оборки длинной Касаткиной юбки. Она была наряжена в синее платье, очевидно сшитое из того, купленного в Микоян-Шахаре штапеля. Оторвавшись от пыли, сидя мы разглядывали ее с жадным интересом, с мальчишеским нескрываемым вызовом. Она это чувствовала, испуганно озиралась и пыталась спрятаться за Касатку, но та легонько выталкивала ее перед собой, придерживая за худенькие плечи. Черные, жгучие и тревожные глаза девочки на секунду скользнули по моему лицу, и я поразился их красоте, поразился смуглости ее лица, шеи и рук, дегтярно поблескивающей черноте ее волос, сзади заплетенных в две толстые косицы. Касатка погладила ее по голове.

— Поздоровкайся с хлопчиками,— мягко велела она.— Они хорошие, свои. Пальцем тебя не тронут.— И смерила нас строгим, многозначительным взглядом: —

Вы ее не обижайте. Узнаю — тогда не жальтесь. Нажучу крапивой — аж держись.

— Здравствуйте,— едва слышно пролепетала осетинка и спряталась за Касатку.

Мы буквально онемели, услышав ее голос: оказывается, она говорила на чистейшем русском языке!

Так состоялось мое первое знакомство с Диной, перешедшее годы спустя в дружбу. Позже у меня вошло в привычку тайно, с чувством страха и необъяснимой нежности любоваться тонкой смуглостью ее лица, блеском глаз и мерцанием смоляных волос, которые принимали иногда совсем немыслимые оттенки — от сизо-дымчатого до фиолетового... Я переживал состояние влюбленности, не исключено даже — то была моя первая любовь. Мне нравилось бывать у Дины, нравилось решать с нею задачи по геометрии, встречать ее на переменах в школьном коридоре либо, когда она смотрела у турника в мою сторону, крутить «солнышко». Однажды я оставил в ее сумке записку: «Кого ты любишь?» — и на следующий день, к великой неожиданности, обнаружил у себя в книге ответ: «Маму и тебя». Прочитав это, я совсем потерял голову, мало что соображал, никого вокруг не видел и ничего не слышал, ушел с последнего урока, чтобы заглянуть в окно ее класса, но вдруг не хватило смелости заглянуть, и я убежал на Касаут в расстегнутой фуфайке и почему-то, держа шапку в руках, бестолково ходил по берегу, дрожа от осеннего промозглого тумана, от близости до синевы захолодавшей воды, от неясных желаний счастья... Очнулся уже в сумерках и, ощутив во всем теле озноб, испугался начинавшейся лихорадки, быстро застегнулся, надел шапку и, совершенно обессиленный, но по-прежнему счастливый, побрел домой.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы однажды, придя к нам, Касатка словно мимоходом, не придавая тому значения, сообщила мне:

— А знаешь, Федька, мы с твоим отцом двоюродные. Родные. А вы с Диной уже троюродные. Но тоже брат и сестра, никуда не денешься.

Она попала в самую точку. От природы впечатлительный и крайне мнительный, я ужаснулся ее намеку и невозможности нашего с Диной счастья, много дней сгорал от стыда при мысли, что в наших отношениях есть что-то недозволенное и это стало известно всем, пытался убедить себя в обратном и не мог, думал, затверженно,

как в горячке, повторяя одно и то же: «Мы брат и сестра... брат и сестра».

Как-то, столкнувшись со мною в коридоре, она прижалась к стене и, расширив свои глубокие глаза, громко, с неожиданной веселостью сказала:

— Федя, а мы родня! Хорошо, правда. — Беспечно засмеялась, оттолкнулась от стены и побежала в свой класс.

И я понял, что все кончено. Мне сделалось тоже смешно, я испытал облегчение, почти безразличие к Дине. С того дня жизнь моя понемногу наладилась, не оставив в душе и следа от прежних мук. Мы опять продолжали дружить с Диной, но это стала иная, нежели раньше, дружба — товарищеская. Опять я надолго ушел в свои мальчишеские интересы — словом, зажил обычной, нормальной жизнью подростка. Однако с тех пор меня не покидало предчувствие новой вспышки, и она была у меня, только уже не Дина явилась ее причиною, а иная, женщина, имя которой называть я воздержусь, потому что, собственно, речь не о ней. Но я благодарен и Дине. Кто знает, была бы следующая вспышка так ослепительна, не будь первой, робко, стыдливо сверкнувшей на рассвете жизни и тут же погасшей. Это одна из бесчисленных тайн, и разгадать ее никому не дано...

«Спасибо тебе, Дина,— думаю я, глядя в сумрак ночи — на луг, на полоску леса, на колыханье смутного блеска воды.— Будь счастлива».

Дома, улегшись на диване, снова памятью я возвращаюсь к Касатке, она полностью овладевает моим воображением.

Солнечный предосенний день. Ни одной тучки, голубизна... Но Касатка с опаскою поглядывает на безмятежное небо, крестится и молча выдергивает из земли пучки восковой, терпко пахнущей конопли с точками семян в метелках, осторожно, чтобы они все не высыпались, складывает коноплю в сноп. Возле нее, молча и так же с выжиданием поглядывая в небо, так же мелко крестясь, работает бабушка: белый платок, латаная старушечья кофточка, сухие, с прозрачной кожей руки, ссохшаяся маленькая фигурка, прямой нос на продолговатом узком лице, белые, как соль, волосы... В сравнении с Касаткой она кажется хрупкой, не вовремя поседевшей, старенькой девочкой. Я стою на коленях, вылущиваю из метелок се-

рые семена и с удовольствием ем их. Они трещат, похрустывают на зубах.

В ясном небе, прямо над нами, повисает гул самолетов. Я поднимаю голову, вижу серебристый блеск крыльев, вскакиваю и что есть мочи, в упоении детского открытия, ору:

— Бабушка! Теть! Самолеты!

Мой голос перекрывает гулкая стрельба, в воздухе завязывается бой, пронзительно блестят в голубизне крылья, я прыгаю и продолжаю восторгаться их сиянием, их сказочным небесным блеском, а Касатка и бабушка, внезапно присев, бледнеют, что-то показывают жестами рук, потом обе вскакивают и бегут ко мне, норовят уловить, но я верчусь между ними юлой, смеюсь и выскальзываю — и вдруг нас троих отбрасывает на коноплю хлесткой тугой волной, мы валимся навзничь и видим: одновременно с нами падает наземь, охваченная взметнувшимся фонтаном земли и дыма, наша «кислая» яблоня в саду, падает со всеми на ней зимними, твердыми яблоками, с обнажившимися перебитыми корнями...

Бабушка елозит по мне одеревеневшими руками, хочет поднять, заглядывает в лицо и всхлипывает:

— Внучек, живой? Родненький...

Касатка первой вскакивает на ноги и с криком: «Ильинична, в погреб! А то укокошат нас тут!» — железной рукой подхватывает меня под мышку и, пригибаясь, во весь дух несется по огороду во двор. Бабушка где-то семенит сзади, пришептывает:

— Ох, господи! Чи они опять, анчихристы, вернулись?

Минуту спустя мы уже сидим в темном сыром погребе и прислушиваемся к выстрелам. Сквозь щели сверху едва сочится белый свет, меня обуревает желание вскарабкаться по лестнице, поднять крышку и посмотреть, что там, в небе, творится, но бабушка крепко держит меня на коленях и, не выпуская из рук, шепчет на ухо:

— Тише. Тише, сыночек... Вот мамка придет с поля, тогда и вылезем. Сиди смирно. А то услышат.

— Бабушка, а кто услышит?

— Ироды. Это они бомбы кидают. Будь они прокляты.

— Гитлер?

— Он, анчихрист...

— А где мой папанька? — в который раз спрашиваю я бабушку.

— На фронте воюет.

— Это он в иродов стреляет?

— Кто ж его разберет,— всхлипывает бабушка и прижимает меня к груди. Ее руки пахнут землей и коноплями.— Может, и он.

Выстрелы то затихают, то разгораются с новой, потрясающей силой. И я представляю себе иродов, волосатых чудовищ, которые летят на самолетах и, дико вопя, швыряют на землю бомбы... Вечером погреб на миг озаряет золотистый свет и больно режет глаза: прибежала мать и тоже спускается к нам. Опять захлопнулась крышка. Темно, пахнет плесенью. Мать берет меня к себе на колени, а Касатка спрашивает ее:

— Там мою хату не спалили?

— Стоит.

— Слава те, господи,— бормочет Касатка.

Но через минуту снова начинает тревожиться, гудит басом из темного угла, откуда несет сыростью земляных стен:

— Ох, Ильинична, чует мое сердце: спалят! Надо бечь.

Не дождавшись конца бомбежки, Касатка вылезла из погреба и пустилась домой. К несчастью, ее предчувствия оправдались, только не в этот вечер, а на следующий день, когда она с бабами вязала снопы. Что это — случайное совпадение или неотвратимость грядущей беды уже давала ей знать о себе?

«Не хотела я итить на степь,— признавалась после Касатка.— В сенцах прямо в ухо кто-то шепнул: «Останься дома». Да Босиха силком увела: «Пойдем!» А послухай я того голоса, хату б и не спалили. Ей-право. Где я, туда бомбы не кидают. Я заговоренная. Мне еще в четырнадцать лет старая цыганка нагадала: умрешь, мол, девка, своей смертью. Прозорливица, хитрющая была, сатана! Глазищами так и зыркает по углам, чуть зазеваешься — обязательно чего-нибудь сопрет. Да так ловко, что сперва и не дотямкаешь. А потом докажи. Непойманный — не вор».

...Много дней моей жизни (может быть, самых лучших, изумительных, несмотря ни на что) было связано с Касаткой. Без нее я и не представляю своего детства, отрочества и первых лет юности. Без нее как-то тускнеют многие события, а лицам не хватает света, тепла, открытости... Возможно, теперь я преувеличиваю, ведь на расстоянии все нам значительно дороже, прошлое рисуется чудеснее, чем оно было на самом деле,— все так, не спорю, это

одно из свойств человеческой памяти и сердца, и, однако, принимая оговорку во внимание, я искренен перед собою, когда так думаю о Касатке. Ко мне, если начистоту, является и противоположная мысль: возможно, где-то я и преуменьшаю, затушевываю ту естественную радость общения с ней, которую я испытывал прежде, не сознательно, разумеется, преуменьшаю, а в силу того, что и сам-то я изменился — наверное, почерствел и не могу передать в точности то первоначальное состояние своей души.

Вот ранняя, с глубоким, по пояс выпавшим снегом зима... Мороз, иней, снег переливается, синеет, дымится вдали, но это не радует марушан: в поле неубранной желтеет кукуруза. Дворами, семьями двинулись ломать кочаны. Вышел председатель колхоза Данило Иваныч в серой, ветром подбитой шинели, в заячьем ободранном треухе: нос сизый, усы белые, чувал болтается впереди, надетый наподобие фартука. По одно плечо от него — жена, по другое — председатель Совета Алимов, молчаливый, высокий, как жердь, в куцем, выше колен, драповом пальто.

Я стал между отцом и Касаткой. Едва пробиваюсь вперед с мешком, тащу его волоком, веревка врезается в шею. Иногда проваливаюсь в снег по пояс. В валенки набирается белой крупы, она тает и неприятно холодит пятки. Ломкие листья кукурузы рябят перед глазами, задевают и порою больно, чуть ли не до крови режут щеки, нос... Зато початки, со смерзшейся рубашкой и светло-коричневыми волосками, отламываются с хрустом, легко. Вот только руки на ветру коченеют, приходится часто отогревать их дыханием, которое тут же превращается в иней на бровях. Касатка все время кряхтит, подбадривает меня:

— Федь! Живей поворачивайся, кровь надо разогнать. Тогда нам любой мороз — не мороз!

Она вся укутана пуховым платком, оставлены лишь щелки для глаз, которые блестят живо, светло, молодо.

— Не робей! — она толкает меня в бок.— В войну не то было. Спроси у матери. Она не даст сбрехать.

Когда же я отстаю, Касатка вламывается в мои ряды, шуршит листьями, с удалью, с неимоверной проворностью схватывает со стеблей початки и, будто выловленных в реке усачей, ловко запускает в чувал. Она уже девять раз бегала к бричке и ссыпала в нее кукурузу (я про себя веду счет), а я всего шесть, да и мешок мой наполовину у́же ее огромного чувала. На него даже глядеть страшно.

Скоро я перестаю чувствовать холод, во мне копится

тепло: либо мороз сдал, либо я, увлекшись соперничеством с Касаткой, заразившись ее бодростью, разогрел кровь. Касатка заводит свою любимую песню:

По лугу, лугу вода со льдом,
По зелену золота струя струит.

Сначала она берет тихо, едва слышно, потом забывается, голос ее крепнет, гудит, набирает силу. Поет она душевно, с чувством, но тянет не туда и слишком высоко для своего низкого, как бы навсегда простуженного голоса; люди, слушая ее, потихоньку, добродушно пересмеиваются.

Струйка за струйкой — сама лебедь плывет,
Белая лебедушка — девушка,
Белая лебедушка — девушка,
Ясный соколичек — молодец...

Поет, шуршит — и пальцы все проворнее летают от стеблей к мешку, будто ими подыгрывает себе.

Где его не увижу — по нем сердце болит,
Где его увижу — сердце взрадуется,
Кровь на лице разыграется,
Косточки, суставчики рассыпаться хотят,
Рассыпаться хотят — поздороваться велят.
«Ты здорово, черноброва,
Здравствуй, ягода моя,
Здравствуй, ягода моя,
Скажи, любишь ли меня?»

Когда она доходит до этого куплета, смех повсюду стоит в заметенной сугробами кукурузе: его вызывает и «чернобровая ягода», которая так не похожа на Касатку, и ее неумелое исполнение. Закончив песню, Касатка будто опоминается, осознает причину всеобщего оживления, прячет за листьями укутанное в платок лицо и стыдливо бормочет, ругает себя:

— Во распелась, дура! Как волчица на косогоре... Сраму набралась.

Однако ее песня всех развеселила, сплотила — и работа загорелась дружнее, жарче. Председатель Совета сказал Даниле Иванычу:

— За такую самодеятельность надо Касатке премию выдать. За душу взяла...

— Обдумаем.— Данило Иваныч рукавицей стер пушистый иней с усов.— Предложение дельное.

И точно: месяц спустя на общем колхозном собрании под духовую музыку ей вручили Почетную грамоту и суконный отрез на юбку.

А на исходе того дня, в редких сумерках, когда мы приближались к краю загонки, Касатка вдруг потянула меня за рукав фуфайки, заговорщицки подмигнула:

— Пригнись...

Не успел я сообразить, что ей надо, а она уже расстелила платок на снегу и, став на колени возле него, вынула из мешка пару початков и принялась тереть их, ловко вращая в ладонях: крупное золотистое зерно брызнуло на платок.

— Рушь! — почти властно приказала она.— Чего уставился? Думать надо, не маленький... Мать дома каши сварит.

С дрожью, посматривая в сторону председателей, я тоже схватил пару початков, а она шепнула:

— Не бойсь. Что они с тобой сделают? Ты дитё, с дитя и взятки гладки... Возьмешь ее,— тут же со спокойной деловитостью дала она мне наставления,— под кручу, к Касауту спустишься. Вроде воды напиться, и бережком, бережком домой.

— А если объездчик... Крым-Гирей перестренет?

— Ну и ляд с ним, нехай... Что он, за пазуху тебе полезет? Не бойсь, дурачок. Там тебя сам леший не встренет. Уже вон смеркается. Кого нечистая на Касаут потянет? Ты головой рассуди, не энтим местом.— И тихонько, ехидно подхихикнула, окидывая меня своим бесовски-молодым взором.

Она собрала кукурузу в узел, присыпала снегом кочерыжки и велела мне заправить рубашку, потуже подпоясаться. Сама расстегнула у меня на рубашке верхние пуговицы и сыпанула за пазуху холодноватое, льдистое, защекотавшее кожу зерно.

Люди стали выбираться на дорогу, а я с благословения Касатки двинулся по кукурузе в обратном направлении, страшась оглянуться назад. Шел и думал: вот-вот окликнут, и я пропал. Кажется, в мою сторону один раз глянули Данило Иваныч с Алимовым, сердце у меня екнуло, ушло в пятки, я присел, однако все обошлось. Пронесло... Я ждал, что Касатка явится за своей долей, она же и не собиралась заходить, тогда я сам напомнил о кукурузе и получил от нее такой ответ:

— Ты нес, она твоя. А поймали б тебя, дознались —

вдвоем бы ответили... Рисковать, сынок, надо. Без риска не проживешь.

В ту зиму умерла бабушка. Умерла при несколько странных обстоятельствах, в лютые крещенские холода. Поздними вечерами с реки бухали короткие выстрелы: стрелял, лопаясь от мороза, лед. Бабушка вздрагивала, не умея спокойно переносить их, крестилась и вслух начинала перечислять всех наших усопших и убиенных родственников, заговаривала о своей смерти и просила отца похоронить ее возле дедушки, о котором я не имел ровно никакого представления: его не стало еще в гражданскую.

Чаще обычного к нам заглядывала Касатка: придет, взберется на печь к бабушке и, не снимая фуфайки и шерстяных носков, сидит, вполголоса ведет беседу с нею. Иногда бабушка спросит:

— Что ж, девка, замуж не выскочишь? Или женихи стали дюже разборчивые?

— Девичество не напасть, лишь бы замужем не пропасть! — в тон ей ответит Касатка.— После Миши мне, Ильинична, и глядеть на них тошно. Жених бывает один. Пропал — и невеста зачахла... У меня одна заботушка: детей доглядеть. Вон Коля ФЗУ кончает, а я ему гражданского костюма не справлю. Хочь ты лопни. И Дине тоже давай: то книжку, то ботинки. Злыдни, проклятые, заедают. Никак денег не накую.

— Во-во, невеста, крутись,— с состраданием вздохнет бабушка.— На том свете нам всем по заслугам воздастся. Всем до одного.

— А мне и на этом, Ильинична, неплохо. Жалиться грех, ей-право. Другим небось похуже.

— Да уж куда хуже,— печалилась бабушка.

И вновь напоминала Касатке о предчувствии своей близкой кончины, наказывала шепотком:

— Смотри последи: нехай положат меня с Ванюшкой, с мужем. Соскучилась я по нем. Он хочь и бил меня под горячую руку, но и жалеть умел. Да и хозяин — за всех нонешних. Мало вот пожил: убили Царство ему небесное.

— Я что-то, Ильинична, не помню, кто убил. Выветрилось.

— Кто их разберет: чи белые, чи зеленые. На выгреве подстрелили. Вылетел он на выгрев, а жеребец под ним белый, молодой, не идет — играет. Во всех жилках кровь горит. Заметили, видно, жеребца и выстрелили по Ванюшке из балки, чтоб себе коня присвоить. Ванюшка упал, а

конь им в руки не дался, прибег домой... С мужем похороните! — опять предупредила бабушка.

— Ага, не забуду,— обещала Касатка.

— А то Максим расстроится и выдолбит ямку не там. В кого он у нас такой рассеянный, ума не приложу.

— Помирать страшно,— вторила ей Касатка.

— Да кабы не внуки, давно бы туда отправилась,— говорила бабушка.— Их жалко.— Голос у нее вздрагивал, и она долго не могла сглотнуть подступивших к горлу слез.— Одни, птенчики, без меня останутся. Что с ними будет?

Я слушал, и сердце мое сжималось от любви к бабушке, глаза наполнялись слезами; приткнувшись где-нибудь в углу, я давал им волю, чтобы тихо, тайком ото всех, выплакаться. Но горе мое не становилось от этого меньшим, слезы не облегчали души, а только оставляли в ней пустоту глухого отчаяния. Неужели она умрет? И что же, правда, будет со мною, с Петькой? Как мы станем жить без бабушки, без ее постоянного присутствия на печке, скупых, но искренних ласк, без ее пирожков и подзатыльников? Это никак не укладывалось в моем сознании. Я не смел позволить себе такой кощунственной мысли. Мне казалось, что я не вынесу ее смерти, умру вместе с нею. Она не может уйти от нас, все это неправда... Она придумывает. Но сначала она ушла к Касатке, неожиданно рассорившись из-за пустяка с моей матерью. Надеясь на ее скорое возвращение, мать запретила нам с Петькой появляться у бабушки: «Ни шагу туда. Она быстрей вернется». И вдруг прибежала Касатка:

— Бабушка померла!

Это известие поразило нас как громом.

— Враз кончилась. Все вспоминала, кликала Федю и Петю, голосила... А потом легла на топчан и вроде задремала. Я хотела за ребятками сбегать, привести к ней. За двор вышла, и что-то как толкнуло меня. Дай-ка, думаю, посмотрю: спит или мается? Вернулась, а она откинулась головой на подушку, лежит мертвая. Лицо белое-белое, как напудрилась. Ни одной кровинки.

Дымной морозной ночью, при свете отчужденно далеких звезд, мы перевезли бабушку домой. Отец, ссутулившись, вел за налыгач быков, мать нетвердо ступала позади саней, а мы с Петькой сидели в задке на соломе, схватившись за стылые копылья, и боялись глядеть туда, где лежала бабушка, с головы до ног укрытая ватным одеялом.

На весь хутор и дальше, в небо, в пустоту смутных, без-

жизненно-белых полей, скрипели, визжали, истошно выли полозья...

И когда бабушку — по ее просьбе — отпели в церкви, а потом несли на полотенцах в открытом гробу к усеянному черными крестами кладбищу, и когда ее опускали в могилу и бросали на крышку мерзлую, как кость, землю, я ни разу не заплакал. Казнил себя и, будто во сне, спрашивал: «Почему я не плачу? Где мои слезы?»

Слез не было.

Ее смерть казалась мне чудовищной, несправедливой ошибкой, во мне тлела надежда, что как-то она будет поправлена, и... бабушка вернется.

Дни проходили, бабушка оставалась лежать там, во мгле, куда ее, видно, опустили навеки.

Воскресив в памяти подробности той, давней и суровой зимы, я вдруг отчетливо понял, что скоро уснуть мне не удастся, встал с дивана, включил свет и принялся наугад читать какую-то книжку, но ни одно слово не легло на сердце, я вынужден был закрыть ее и снова потушил свет.

Мысли мои были заняты и кружились вокруг одного, нелегкого для меня вопроса: «Зачем я был до этого?» У каждого из нас наступает момент, когда нестерпимо хочется понять смысл собственного существования, пристальнее вглядеться в себя и сделать хотя бы слабую, ничтожную попытку что-то угадать.

Никогда мне не думалось так отчетливо и ясно, как сейчас. Моя бабушка ушла, рано или поздно уйдут мои родители, с их добрыми вздохами и недовольством, уйдет Касатка... та же Ульяна Картавенко — все, кто был старше меня и кого я знал близко. Если со мною ничего не случится и я задержусь дольше их, я буду обкраден их печальным уходом, и, следовательно, счастье, за которым я так гнался, удовлетворяя свои желания, не будет уже полным, да и нет его — полного счастья. Присутствие родных людей, пусть давно не виденных и полузабытых, как-то ободряет меня, дает зарядку — уже одно только присутствие. И вдруг их не будет. Что же тогда?..

Тогда мне во сто крат станет труднее оттого, что при их жизни я мало делал им добра, их слезы чаще всего не жгли моей груди, их смех не веселил меня — все проходило мимо, мимо в погоне за удачей. Так что же оно такое — счастье? Это, наверное, жизнь для других,— это любовь, истинная любовь к человеку.

А мы? Мы любим его, жалеем? Уж не получается ли

так, что мы всех и вся любим и готовы обнять все человечество разом, душу положить и пострадать за него, а как встретится на пути нам живой человек, нуждающийся в самом обыкновенном — нашем сочувствии, мы уже и перебираем: то рыжая борода нам его не нравится, отталкивает своим взлохмаченным видом, то не по вкусу его манеры, повадки вести себя за столом.

«Нет, нет, — с волнением думал я о себе. — Я недостаточно люблю, мало жалею. Так не годится, так нельзя жить».

Глава седьмая

ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ...

В четверг я не пошел к Босову, а явился во двор Касатки в кирзовых сапогах отца и в вельветовых, истертых на коленях штанах, которые носил в десятом классе: мать до сих пор берегла их в сундуке. С собою я принес пилу и топор, кинул на загату фуфайку, засучил рукава до локтей. Увидев меня таким, Касатка одобрительно крякнула и уже обращалась со мною проще, без прежней стеснительности. Сначала мы напилили столбиков, я заострил им верхушки наподобие карандашей, снял остатки коры и затесал с одного бока — ровнее доски будут прибиты. Потом мы вкопали два крайних столбика, у ворот и у загаты, натянули между ними шнур и остальные расставили по нему. Таким же манером, сняв штакетную изгородь, мы утвердили столбики от загаты и до крайней закутки, деревянной толкушей утрамбовали землю. Касатка не могла наглядеться на белизну верхушек, смеялась, как дитя, и приговаривала:

— Во, Максимыч, красота! Как возле правления.

Иногда она о чем-то задумывалась, скучнела, и между бровей ее пролегали глубокие морщины, но эта задумчивость была мимолетной и сменялась под воздействием работы веселым оживлением.

— Я в молодости была ух какая огневая! — помогая мне приколачивать доски, хвалилась она.— Не веришь? Бывало, как нарядюсь, да подмажусь, да как всыплю гопака на посиделках — всем чертям тошно! Девки глядят, лопаются с зависти, ей-бо... А платье на мне ластиковое, аж шумит!

— Какое?

— Ластиковое. Где гармоня заиграет, там и я. Дуросветничаю.— И на миг печалилась: — Молодей была, плясала, а сейчас хочь бы ножки доволочь... Но ты не думай! — тут же спохватывалась она, и в глазах ее вспыхивал дерзкий свет.— Я еще девка хоть куда. У меня, Максимыч, твердая кость... Дай-ка! — видя, что я устал, выхватывала из моих рук молоток, плечом налегала на доску, брала гвозди, ловко вбивала один, а другой почему-то не держала в руке, захватывала губами. Я поинтересовался, зачем она так делает.— А ловчей управляться! Руке не мешает... Меня еще батюшка так учил. Он у нас, Максимыч, был за всех мужиков мужик. Сюда его дедушка прибыл из-под Тулы в пустой след. Землю уже поделили, в казаки, как ни поил атамана, его не записали. За дым из трубы и воду налог платил. Батюшка тоже остался в мужиках. Но он не дюже-то журился, знай наловкался всех дурить. Кому сапожки пошьет, кому печку такую большую сварганит — страшно глядеть. Огонь внутри, как в паровозе, гудит.— И, увлеченная своим рассказом, до шляпки заколотила ржавый гвоздь, предложила: — Давай-ка чуток передохнем, не на пожар...

Я улегся на доски, а она шмыгнула в сени, напилась воды и мне принесла в большой алюминиевой кружке. И только тогда присела рядом, протянула ноги и оправила юбку. Начала с того, на чем оборвала нить рассказа:

— Гудит, вот-вот двинется с места и поедет. Емкую тягу умел наладить. Никогда его печки не дымили, хочь ты чем их топи: кизяком, сырой ольхой или подсолнушками. Горит, как на пропасть! Ей-бо. Батюшке за это платили. Оно, Максимыч, как? Ты людям уважь, и они тебе добром уважут. Ну, найдется какой бессовестный, так ему же и хуже. Чужие слезки, Максимыч, все одно отольются... Хорошо батюшка зарабатывал, не всякий и казак так жил, как он. Но, правда, суровый был, натурный. Вобьет себе что в голову — умри, а сделай, и все выйдет точно, как он велел... Подрядился батюшка тайком раку на продажу варить. Наберет картошки, буряков, солоду, погрузит на бричку посуду, бочки... аппарат, это обязательно, и ночью везет нас, детей, которые побольше, на припечки, в Широкую балку. По целым неделям оттуда не вылазим, сидим в кустах. Одни сторожат, другие квасят, а батюшка знай себе гонит, пробует ее из ложки, как кот, облизуется, не нахвалится: крепенькая! Ночью отвозит барду скотине,

бутыли — в погреб. Дни тянутся. Скука несусветная... Я же, Максимыч, в то время на улицу бегала, девка, на одного парня заглядалась, а тут — гони ее, скаженную. Прямо сердце ноет.

Как-то привез нас батюшка домой в бане помыться, а матушка возьми и скажи ему: «Гаврилович! Оставь Лукерью, на ней уже лица нет». А он показывает в угол и говорит: «Вон арапник. Я вас сейчас так ошпарю, что и себя не вспомните». И все. Попробуй заикнуться. Скорый был на расправу! Но матерь и детей жалел, никто из нас оборванцем... голяком по хутору не бегал. Девчат в бумазейные платья наряжал.— Она немного подумала, и лицо ее осветилось тихой, благодарной улыбкой.— Он мне сам и женишка выбрал, ей-бо! Выходи, говорит, замуж за Михаила Поправкина, за казака. Завтра сватьев зашлют. Я — в слезы, в крик. Мне другой, Максимыч, нравился, я уже тебе говорила.— На ее лице все еще светилась улыбка.— А он как топнет ногой, как сдвинет брови и за плетку — цап! «Дура! Казачкой не хочешь стать! Вот я те повыкаблучуюсь!» Я тогда молоденькой была, шестнадцатый годок шел, как огня его боялась, вся осиновым листочком задрожала и — в ноги батюшке. Плачу, прощения у него молю. Смягчился. Откинул плетку, поднял меня с пола, в лоб поцеловал. «То-то́, говорит, дочка! От своей судьбы не отказуйся». И веришь, Максимыч, как в воду он глядел. Зажили мы с Мишей ладком да мирком, он жалел меня, пальцем не трогал, и я в нем души не чаяла. Я батюшке в ножки потом кланялась. Во как бывает! — гордо произнесла Касатка.— Мы с Мишей и в колхоз первыми вступили. Скотину на общий баз свели, хомут, уздечку, колеса от брички, ярмо — все, что было, отдали. И друг от друга ни на шаг. Он в кузню, и я за ним, в молотобойцы. Наяриваем, аж искры сыпятся, звон за три версты стоит. Он молотком пристукует, а я кувалдой, сменимся, и опять за свое. Не заметишь, как и день проскочит. Все, Максимыч, делаем: и зубья для борон оттягуем, и шкворни, и гайки нарезаем. Лошадей наведут: подковки сварганъ, да чтоб по ноге, по размеру да и подкуй им тут же. Некоторые мужчины хуже баб: боятся ухналь забить. А я наловкалась. Любому коню ногу заломлю и в два счета подкову пришпандерю. При Мише я была смелая! Скажут: в огонь лезь — и в огонь полезу. Казачка!

Солнце припекало нам спины. На досках, в смолистых коричневых кружках, выступили светлые, пахнущие, как

ладан, капли. В углу двора, у калитки, цвел подсолнух, над его яркой молодой шапкой вился, впиваясь в мохнатую желтизну, шмель, возле загаты слитно, раздраженно гудел вылетевший из чьего-то улья рой пчел. Под карнизом Касаткиной хаты первозданно синели аккуратно слепленные гнезда, резво чиркали ласточки. Перехватив мой взгляд, Касатка отвлеклась и сказала:

— Чтой-то они шибко разлетались. Беспокоются. Небось к дождю. Жарит сильно... Вот скажи ты, ласточки какие умные! Где зря не селются. Настанет весна, они уже тут как тут: «Здравствуй, бабка! Мы твои квартиранты, принимай». Стрекочут крылушками, носятся по-над землей, и мне весело, вроде я не одна. Иной раз начнут в окна биться, так и знай: к гостям либо к письму.

— И сбываются приметы?

— Кабы не сбывались, я бы и не говорила. Сбываются. Я всегда чувствую, как Дина пишет письмо.

— Она часто вам пишет?

— У ней, Максимыч, своих забот полон рот. К Новому году посылочку прислала: ангорского пуху на шаль. Не забывает матерь. Обещалась к Октябрьской наведаться в гости, да, видно, чегой-то передумала. Вчера получаю от нее письмо и диву даюсь: на днях, пишет, приеду в Марушанку. Я уж и не знаю, Максимыч, чи мне радоваться, чи плакать. Как бы не случилось лиха. Муж у нее пьет. Он-то, конечно, парень смирный, мухи не обидит, да кого не губит эта проклятущая водка. Кого она не доводит до ручки...— Касатка помедлила, взглянула на меня с печалью, сказала: — Ты, Максимыч, молодец, что не пьешь. Не пей. Ее всю не выглушишь. О чем я тебе раньше плела? — тут же переключилась она на прежнее.— Да, Максимыч. Смелей меня не было, кроме Босихи. Она, правда, тоже отчаянной уродилась. Мы с ней два сапога — пара... В войну однажды косим у припечек — Босиха, я и Лида Безгубенко. Уморились, сели в холодок полудновать. Только еду из сумок вытащили — глядь, откуда ни возьмись, выскакуют из кустов двое волосатых. Рожи черные, немытые... Зрачки, как у голодных волков, блестят. Так бы нас и съели. Не успела я и глазом моргнуть, а один уже навалился на меня сзади, и рот силится зажать и к земле, все к земле, гад, давит. Эге, думаю, дело не шутейное! За волосья его — цап! От себя отпихаю, а сама помаленьку выворачуюсь из-под него. Чижолый, отъелся на бандитских харчах. Я ему со всего маху кулаком в рожу, он аж зубами клацнул.

И обмяк... А я, Максимыч, того и дожидалась, мне этого и надо. Р-раз! — и вывернулась! Окорячила его сверху и кудлатой башкой обземь, обземь толку... Вот тебе, паразит, на чужих баб сигать! Кобель, ублюдок кулацкий. Ешь нашу землю, если не наелся. Смотрю: и Босиха на своего наседает, мутузит его почем зря под бока. Хорошо, наша берет! Мы с ними, значит, волтузимся, а Лида стоит, вопит что есть мочи. Что с ней взять: худющая, одна кожа да кости, от ветру шатается. А нет бы догадаться, косу взять — и по ногам их, по тому больному месту. Это ж надо! Наши мужики воюют, жизни за советскую власть не щадят, а эти выродки выгуливаются, шастают по балкам, безобразничают. От мобилизации скрывались, бандюги.— Касатка с омерзением сплюнула.— Не люблю я, Максимыч, ругаться, язык осквернять, да рази тут стерпишь! Какая русская душа не содрогнется?! Ну, своего я успокоила, скрутила ему бечевкой руки: лежи. А тот вывернулся — и чесу. В горы. По кустам... Босиха — косу в руки и вдогонку. Но он, враг, перехитрил ее, убег. Того, связанного, повесили. Собаке собачья смерть. Дали б власть, я б его сама вздеррула. А что ты думаешь? И не дрогнула бы. Так бы петлю и накинула на толстую шею.

О! Чего я только не пережила! — воскликнула она с удивлением.— Все, Максимыч, было, а вот гляди-ка: живу и в ус себе не дую. Я и с твоим отцом в кузне работала. Он у меня одно время подручным был. Как-то забегаешь ты к нам, а я тебе подковку игрушечную сковала и дарю.

— Помню!

— Ну вот. Обрадовался! — Касатка широко улыбнулась.— Взял ее и понесся к бабушке. Мы тогда насмеялись с тебя, потешный! Голова белая-пребелая.— Задумалась, наморщила лоб и вспомнила еще: — Я и лес с мужиками рубала. На скалах. Пустим брусья с горы, летят вниз, кувыркаются. А там — волоком на быках к реке... Правда, вот на сплаве быть не привелось. Воды я не страшилась. Но, Максимыч, рассуди сам: при мужиках заголяться бабе совестно. Одетой по воде не набродишься. Кабы не стыд — сплавляла бы! Ей-право. Все на свете надо испытать.

С этими словами она поднялась, и мы опять взялись за дело. Стало прохладнее, в огороде, в вишнях шелестел ветер, в небе росли, клубились, темнели тучи. Все-таки недаром в верховье шумел Касаут.

Забор с улицы скоро был готов. Мы стали прибивать доски на другой стороне двора. Длинные, гладко оструганные, они прилегали одна к другой плотно, иногда Касатка отбегала к хате и, подбоченясь, придирчиво ощупывала взглядом новый забор, коротко восхищалась:

— Враг его!

Ветер стал дуть порывами, вспыхнула, закружилась в переулке пыль, листья затрепетали, темно заструились на вишнях, и как-то сразу все вокруг померкло, небо насупилось, воздух посвежел, и одновременно с глуховатым ворчанием грома дробно застучали по наклонившимся подсолнухам крупные капли дождя. Ласточки пометались над хатой, пискнули и затаились где-то под карнизом.

— Э, Максимыч! — Касатка подняла лицо к небу.— Кончай. Сейчас сыпанет! — В ее голосе слышалось ликование.— Ну и тучу на хутор гонит: прямо тьма! — И она побежала загонять поросят в закутку. Ветер сорвал у нее с волос косынку, она подхватила ее на лету и засмеялась: — Во охальник! С бабкой шуткует.

Через минуту все пространство перед нами завесило, заволокло сплошным ливнем. Чичикин курган потонул во мгле. В одно мгновение двор затопило, мутная вода хлынула под ворота; в переулке уже бурлила, клокотала настоящая речка, унося с собою сор, палки, бумагу... С крыши хлестало как из ведра. Открыв двери, мы стояли у порога и завороженно следили за этой мощно, неукротимо разыгравшейся стихией. Темно-зеленая картофельная ботва в огороде сникла, слегла на черную землю, подсолнухи еще ниже опустили шапки и листья, на грядках лука уже мерцали лужи, в них вспыхивали и лопались пузыри.

— Ой, Максимыч! Водой запасусь!

Касатка, одною рукой подхватив деревянное корыто, другою держа за дужки два ведра, в ситцевой кофточке, расхристанная, выбежала из сеней, громко вскрикнула, вмиг искупавшись в потоках ливня, подождала, пока наберется вода в посуду, чтоб ее не опрокинуло вверх дном, и обратно забежала в сени.

— Во шпарит! Искупал бабку. Может, помолодею.— Глаза ее озорно, сине блестели, с волос и с кофточки, прилипшей к телу, текло ручьями.— Дождевая водичка, Максимыч, полезная. И для питья, и для стирки. Мягкая! Голову хорошо мыть... Сейчас что! Такой дождь не страшен: крыша надежная. А раньше, бывало, во все дырки льет, с потолка бежит, только успевай черепки подставлять.

Ударила гроза, небо с хрустом раскололо, прошило вглубь ослепительно белыми, текучими корнями молнии. Касатка притворила дверь:

— Пойду вьюшку задвину. Не дай бог, саданет в трубу.

Вышла она в сени в красной шерстяной кофте.

— Гром гремит — дождик быстро перестанет. Это обложные дожди всегда долгие, без грозы. Хорошо, что он нонче собрался. Землю промочит, а то она уже кое-где трескалась... шелушилась.

И действительно, ливень так же внезапно утих, как и начался. Небо светлело, тучи поднимались ввысь и понемногу расходились. И вот чисто, обновленно проглянуло солнце, а за Чичикиным курганом, в поле, встала цветная радуга: один конец дуги уперся в косогор, другой — упал в Касаут.

— Тоже пьет водичку,— будто о живом существе, сказала о ней Касатка.

Мы вышли во двор. В корыте и ведрах прозрачно светилось, колыхалось отраженное солнце, последние ручейки сбегали на улицу, где по-прежнему бурно, напористо шумела новоявленная река, беспечно радуясь своей короткой и резвой жизни. Куры встряхивались и, важно нахохлив взъерошенные перья, ходили по лужам и клевали дождевых червей. Ути взахлеб кувыркались в воде. Звонко щебетали ласточки. И невыразимо пахло свежестью теплевшей зелени, влажной пыльцой приободрившихся подсолнухов, отсыревшим забором и щепками у иссеченной дровосеки.

В огороде Егора Нестеренко глянцевито поблескивали листья на вишнях. Глядя на них, Касатка сказала:

— Трошки бы позже приехал, угостила бы тебя вишнями. В этом году они будут крупные. Уже буреют.

— Разве они ваши?

— Я их, Максимыч, с Михаилом сажала. Значит, мои.

— А как же Егор?

— Мы договорились.

— О чем?

— Он их не трогает Весною известкой белю стволы, обрезаю сучья. Если за ними ухаживать, еще не меньше двадцати лет проживут. На мой век хватит.

Только мы начали прибивать очередную доску, в калитку протиснулся Егор Нестеренко, кряжистый, большеголовый, в брезентовой куртке и в сапогах. Издали крикнул:

— Здорово, теть!

— Здравствуй, Жорка.

Егор приблизился к нам валкою походкой, узнал меня и поздоровался за руку, до боли стиснув мне пальцы.

— А я иду мимо и глазам не верю: у соседки новый забор. Зачем, теть?

— Надо.— Касатка, сделав равнодушное лицо, повернулась к нему спиною.

— Ну, городите давайте... Все-таки, теть, напрасно.

— Не тебе, Жорка, об этом печалиться,— сурово отрезала Касатка.

— Это верно, не мне,— без всякой обиды согласился Егор и присел на мокрую дровосеку, смахнув с нее воду рукавом.— А забор добрый!

— С Максимычем старались.

— Молодцы,— подхватил Егор, чиркнул спичкой и закурил. Ладони у него блестели от темного, въевшегося в поры машинного масла.— А я к вам, теть, с жалобой.— Егор поежился, зашелестел брезентом и постучал сапогами, носок об носок.

— С какой это жалобой? — насторожилась Касатка.

— Да вчера моя стала подкапывать картошку под вишнями, распотрошила пару кубухов, а там — горох горохом. Ни одной нормальной картошины... Тень. В тени она не уродится.

— То-то я смотрю: Нюра нонче какая-то надутая. Выгоняет корову в стадо, здоровкается, а сама в землю глядит.

— Она мне вчера концерт задавала,— сказал Егор.— Сама, говорит, срублю, если ты не осмелишься. Ночью, говорит, возьму топор и одним махом смахну. Нехай потом тетка бесится.

— Я ей срублю,— погрозила Касатка.— Так и передай: патлы высмыкаю. И на тебя, Жорка, не посмотрю.

— Да я что,— смутился Егор и пожал плечами.—Я, теть, всегда на вашей стороне. Глубокую оборону держу.

— Посадить ветку некому, а рубать все мастера. Что я ей, не даю их рвать? Рви, всем хватит. Вон какие рясные отростки.

— Моя говорит: ей картошка дороже вишен.

— Нехай придет ко мне, в погреб. Я ей сколько хочешь этого добра нагребу. Картошка!.. Я ей срублю! —отрывисто, необыкновенно волнуясь, говорила Касатка. Вид у нее был строгий, решительный, но одновременно какая-

то подавленность, неуверенность была в ее словах, в детски-обиженном выражении лица.

— Я уже и так, и сяк: маленько, мол, потерпи,— извиняющимся тоном объяснял Егор, тоже волнуясь, ерзая по дровосеке.— Погоди, может, к осени все само собой решится. Что-то ж будет.

— Не дождется! Я ей срублю! В суд... до прокурора дойду! Это нигде такого закона нету, чтоб живое дерево, если оно рожает, губить. Я ей покажу кузькину мать, допросится!

— Ладно, теть...— Егор сокрушенно вздохнул и пальцем придавил папиросу о дровосеку. Встал, поскрипел брезентом.— Я с ней сам воспитательную работу проведу.

— Ты не дюже ее ругай,— опомнилась Касатка.— Легонько приструни. Для острастки.

— Будет сделано,— Егор подмигнул ей.— Теть, у вас не найдется чего-нибудь от сердца?

— А что?

— Да у моей сердце колотится. Вчера перенервничала, теперь лежит, охает. Аппетит потеряла.

— Тогда, Жорка, ты ее не тревожь. Она сама одумается.

Касатка ушла в сени и вернулась оттуда с двумя маленькими узелками: белым и синим.

— Возьми. В этот я отсыпала пустырнику.— Она показала на белый узелок.— От сердца. Прошлым летом много его росло на Ивановом выгреве. Значит, так, слухай. В столовую ложку нехай капнет чуток спирта и помешает в нем порошок, а потом смесь надо заварить в чашке кипятка и пить с сахаром. Три раза в день.

— Ясно. А это что? — Егор потряс синим узелком.

— Хмель. Его хорошо подсыпать для аппетита.

— Спасибо. За молоком придете? Она вам утрешник оставила.

— Приду. Вот закончим городить, сядем полудновать — и возьму... А ты ее не ругай. Ну ее! Она у тебя нервная, вся так и загорается.

Потрясывая узелками, Егор ушел. Некоторое время мы работали молча. Касатка лишь кряхтела громче обычного, качала головой и, когда брала молоток, била им как попало. Гвозди кривились, она сердилась, выхватывала их щипцами и бежала выпрямлять на гладком камне у порога. Видно, разговор с Егором задел ее за живое, она ни-

как не могла успокоиться. Меня и самого несколько озадачили брошенные им вскользь слова: «Может, к осени все само собой решится». А что должно быть осенью? Это не выходило у меня из головы. Молчать мы оба молчали, но, конечно, думали примерно об одном и том же. У Касатки невольно прорвалось:

— «Срублю»! Ишь, грозится! Она, Максимыч, какаято припадочная, ей-бо... Разом нормальная, рассудительная, а разом — как ее черти поджигают, прямо в глаза кошкой сигает. И все из-за этих вишен. «Срублю»! А ты их сажала, ухаживала за ними? В засуху их поила?.. Не-е, Жорка не такой. Он спокойный. Навязалась на его шею. «Срублю»! Я их в войну, в самые холода, когда ни дровинки во дворе, и то сберегла. А после? Налоги какие за них драли — упаси господи! Вон и твой отец, даром что мужик, а не выдержал, груши в саду подчистую перевел, чтоб меньше платить. Ну? А я на что баба — не поддалась. Рука не налегла. «Срублю»! Я те срублю! — Касатка в сердцах высоко подняла над собою перегнувшуюся доску и прижала ее к столбам.— Много вас таких будет! Пришивай, Максимыч.

К обеду мы покончили с забором, Касатка вдоволь налюбовалась им, накормила утей и резво побежала к Нестеренчихе за молоком. Вернулась с глиняной махоткой в руках, позвала в хату.

— Отошла, лярва,— тоном примирения сказала она о соседке.— Выпила отвару и молчит, как будто и не пылила. Я тоже про вишни — ни словечка, рот на замок. Жорку не хочется подводить. Он, Максимыч, ей-право, мировой мужик.

Пообедав, я спросил у нее:

— На что это Егор намекал? Что случится осенью?

Касатка долго убирала со стола, мыла в кастрюле деревянные ложки, старательно вытирала их насухо полотенцем. Наконец отважилась открыть тайну, как бы решившись на что-то недозволенное:

— Ох, Максимыч, не хотела тебе жалиться, да, видать, припекло. Настал час..— Зачем-то оглянулась на дверь, понизила голос: — Они меня, враги, со свету сживают.

— Кто?

— Начальство. И бригадир, и все. Я вроде им больше и не жилец на свете. Кругом я одна виноватая.— Она опустилась на лавку с беспомощно-жалким, расстроенным

лицом.— Больше, говорят, не смейте, бабушка, сажать картошку у Чичикина кургана, вы переселенка. Мы тут, мол, новую ферму построим, а вашу хатенку сковырнем бульдозером. Надумали меня вопхнуть в большой дом. На самый верх, на второй этаж загонят. Мол, газ там, и за водой не надо бегать: крант отвинтил — и бери. А я им говорю: на кой ляд мне ваш крант? Дайте тут, в своей хате, спокойно помереть. Смеются. Им, вишь ты, Максимыч, смешно. Кошке — игры, а мышке — слезки... Насильно, говорят, переселим. А я им: воля ваша, давайте! И меня с хатой — на мусор. Умру, а никуда не пойду. Ругаются, грозят. Вот, Максимыч, до чего я дожила,— Касатка всплакнула, вытерла платком глаза и сидела как неживая, с вяло опущенными вдоль тела руками.

— Когда вам сказали о переселении?

— С месяц назад. Я уж об этом молчу, никому ни словечка, даже твоему отцу, а то он раздует кадило — еще хужей будет. А ты думал! Они такие. Сама как-нибудь оборонюсь.— И дерзкий, бесовский свет вдруг мелькнул в ее синих глазах.— Назло им забор поставила! Нехай почухаются. Бабка, она тоже не дура.

Я сидел напротив Касатки, слушал, и вся ее жизнь вдруг предстала мне в новом, неожиданном свете; случайные подробности обрели более глубокий, внутренний смысл и уже не казались случайными, а ее рассказы и наша с нею работа были уже для меня неким символом, некой тайной ее души, основой, к которой я имел счастье на миг приобщиться. Все это было похоже на то, как если бы я сидел у нее в хате, в полумраке, где предметы вырисовывались смутно, расплывчато, а то и не были видны, свет в окна едва брезжил — и вот кто-то внес яркую лампу, она вспыхнула, и все открылось взору в своем истинном значении.

— Нужно было сходить к председателю и узнать, чего они от вас хотят,— сказал я.

— Он с ними за компанию, одна шайка-лейка,— горестно обронила Касатка.

— А вы были у него?

— У Матюшки? Не-е. Не с моим умом разговаривать с учеными. Станет он меня слухать. Бабка уже в землю глядит, а он в гору.

— Выходит, Матвей зазнался? Своих не признает?

— Что ты, Максимыч?! — с испугом открестилась Касатка.— Я этого не говорю, и не думай... Я к нему не каса-

юсь, и он — ко мне. Кажная птичка, Максимыч, на свой лад верещит.— Она подумала и с чувством искреннего сострадания продолжала: — Матюшка тоже горя хлебнул. А ну-ка попробуй без родной матери выучись. Всю школу, сиротинка, в латаном отбегал. Он у нас самый первый председатель. При нем люди — я тебе дам! — зажили. Кто не ленится да в рюмку не заглядает — того и крючком не достать. На одни премии можно безбедно жить. А зарплата? А барыш с огорода? Кабы мне годков двадцать скостить, я бы от пензии отказалась и на степь подалась, ейбо... Не-е, Матюшка мужик с головой. На него, Максимыч, у нас прямо молются. Хочь у кого спроси — не дадут сбрехать. Он и престарелых не обижает: в год по пуду отбойной муки на блины, по литровой банке меду. Это обязательно. На правлении постановили... Зачем я к нему пойду? Я там в одних коридорах запутаюсь, не в тот кабинет попаду. Засмеют бабку: чего приперлась? Молодых пужать? Как-нибудь обойдусь. Перетерплю.— Привычным движением Касатка убрала за уши волосы и подтянула косынку.— Я вон документы на пензию полгода хлопотала. То одной справки нету, то другой. Темная была, Максимыч. Другие загодя ими запасались, а я все думала: на что? На стенку для красы, как грамоты, нацеплять? Потом схватилась, да поздно. Хочь караул кричи. Спасибо, добрые люди подтвердили, что я в кузне восемь годков отбухала как один денек. Твой отец тоже подписался. А то бы куковать мне при своих интересах.— И после короткой паузы, сильно застеснявшись самой себя, тихонько, одними пальцами дотронулась до моей руки, ясно взглянула и одним дыханием высказала затаенную мысль: — Максимыч, а ты, случаем, не выручишь бабку? Скажи Матюшке: оставьте, мол, старую в покое. Он тебя, гляди, и послухает: вы с ним на одной ноге, равные... А, Максимыч? — спросила она со слабой надеждой.— Похлопочи.

Я пообещал Касатке сегодня же, не откладывая дела в долгий ящик, исполнить ее просьбу. Она расцвела, стала преждевременно благодарить меня, извиняться за доставляемые мне хлопоты. Я ушел с твердым намерением отстоять ее право на хату, на тихую жизнь у Чичикина кургана, у стареющих вишен. Однако в этот день я не нашел Босова: он срочно выехал в Ставрополь. Таня сказала, что завтра, в пятницу, должен вернуться. В ожидании Матвея я обдумывал аргументы в защиту Касатки, и по-

степенно во мне крепла вера, что все-таки его удастся переубедить.

В пятницу утром с матерью и отцом мы ходили проведать бабушку. Ночью прошел дождь. Погода переменилась, день был неприветливый, серый, с застывшими клочками тумана в мокрых садах, с низкими сырыми тучами над кладбищем. Чтобы не зароситься, я осторожно раздвигал ветки густо разросшейся у могил сирени. Шелковица на оплывшем бугорке, под которым покоился прах бабушки, вся унизанная каплями, отдавала знобящим холодком. Мы постояли у могилы, продрогли, поправили черный, покосившийся набок крест. Мать, показывая то на обелиски со звездочками, то на столбики от крестов, поясняла:

— Дедушка Иван... А это дедушка Степа... Мамка...

Невдалеке, за металлической оградкой, на бережно оправленном холмике чернела гранитная плита, заметно выделяясь среди остальных скромных надгробий.

— А там кто?

— То уже чужие. Бабушка Уляшка.

— И она померла? — едва не вскрикнул я.

— В позапрошлом году...— Мать, не взглянув на меня, присела на корточки и погладила рукой шелковицу.— Померла. Деньги на сберкнижке внуку отписала, пятьсот рублей. Велела похоронить по-людски. Камень сама купила. Берегла в кладовке... Бабушка Уляшка была хозяйкой.

«Вот и навестил Ульяну,— думал я.— Вот и выпросил прощения». И ни о чем другом больше не думалось, и такая жгла меня тоска при виде этой черной гранитной плиты, что больше тут оставаться было нельзя.

С чувством поздней и уже никому не нужной жалости, непоправимой утраты, с досадой на себя покинул я кладбище. Возникла мысль посмотреть на ее дом, на груши и пруд. Зачем? Я и сам не знал. Что-то тянуло меня туда, звало... Мать с отцом отправились домой, а я свернул в переулок и пошел вниз, к реке, мучаясь от нехорошего чувства к себе, которое по мере приближения к ее дому усиливалось, колючим инеем подбиралось к сердцу.

За все, рано или поздно, надо платить: «Отольются слезки...» Всем нутром я чувствовал теперь справедливость Касаткиных слов, шел и, сгорая от стыда, против желания вспоминал тот осенний, праздничный от спокой-

ного солнца день, в который я потревожил Ульяну своим посещением. В воздухе колыхалась паутина, пахло вянущими прохладными листьями сада, полегшей ботвой картошки, спелыми грушами. Эти груши особенно поразили мое воображение. Они лежали вроссыпь вокруг замшелых, с черными трещинами кряжистых стволов, лежали на мелкой утоптанной траве, на опавшем золоте листьев, на гладких дорожках — прозрачно-восковые, сочные, невыразимо душистые... Деревья, с которых они покорно и гулко обрывались наземь, были мощные, с вечными, как у дубов, стволами, а вверху, над широко разметавшимися ветвями, вровень с верхушками, поблескивали алюминиевые щупальца громоотводов... Высокая, поджарая, со строгим лицом игуменьи, на котором настороженно серели маленькие глаза, Ульяна повела меня мимо стволов, подняла несколько крупных груш и протянула на землисто-темных ладонях:

— Попробуй. Слаже меда.

Я покраснел до ушей и отказался. Она не настаивала и положила их в карманы своего темного запана.

Водокачка была у нее за садом. Вручную Ульяна качала воду из пруда, в котором резвилась форель, и поливала грядки с огурцами, луком и капустой. Сизо-белые кочаны у капусты были огромные, тугие, почти без листьев, и внакат, казалось, лежали прямо на земле, как тыквы. Пруд поблескивал незамутненным зеркальцем в конце огорода. С одной стороны его обрамляли вербы, за вербами была колючая изгородь, дальше синела облепиха, а за нею бурлил, вскипал в узких обрывистых берегах Касаут...

Теперь я не узнал ее дома и стоял у ворот в растерянности: он или не он? Но длинная железная крыша и деревянные кружевные узоры на крыльце, запомнившиеся мне, подтвердили: да, я не ошибся, это ее дом. Осел он, покоробился и потемнел изрядно, водосточные трубы поржавели и, колыхаясь, робко, со скрипом позвякивали. Я постучал в ворота и тотчас увидел на крыльце мальчика и девочку, живо выскочивших на стук. Им было лет по двенадцати: оба рыжеволосые, полные, с насмешливыми курносыми лицами — брат и сестра.

— Дяденька, вам кого? — спросила девочка и, не дожидаясь ответа, быстро пояснила: — Мы одни, мама и папа в школе.

— Этот дом чей? Ваш?

— Да. Папа купил его у родственника той бабушки, которая умерла. Мы приезжие.

— Я знал бабушку. Вы разрешите мне войти и посмотреть огород?

Девочка по-хозяйски, с недоверием оглядела меня с ног до головы.

— А зачем, дяденька?

— Нужно. Это долго объяснять.

— Если нужно, проходите,— великодушно позволила она.

Я вошел, осмотрелся и не увидел перед собою груш: взгляду открылось пустое, серое, с хмурыми тучами небо. В некоторой растерянности я постоял на середине двора, чувствуя, с каким жадным любопытством, с какой осторожностью следят дети за каждым моим движением.

— А вы не знаете, куда делись старые груши? — обернулся я к девочке.

— Они засохли, и папа спилил их.

И водокачки не было в огороде. Я прошел мимо допревающих в земле пеньков, внутри которых держалась зеленоватая вода, и в памяти встали могучие, кряжистые деревья, росшие в огороде таким же ровным рядом, как и вишни Касатки.

Пруда тоже не было. Он давно вытек. По илистой, местами заболоченной земле с зеленовато-ржавыми лужами, с кустами жирной куги скакали серые безобразные лягушки. Ручей едва шевелился, петляя между дуплистых, покореженных верб. Иногда в него шлепались лягушки и, распластавшись, замирали на поверхности, уносимые слабым, сонным течением к развороченной глиняной запруде.

Часть земли, отрезанной у бабки Ульяны, взялась кротовыми кочками, затянулась жесткой бурой травой и тоже являла вид унылый, заброшенный. Я повернул назад и, спотыкаясь, направился к дому, за глухой стеной которого краснела гора кирпичей: видимо, новый хозяин готовился строить новый дом. Со двора провожали меня озорные, насмешливые, полные любопытства и пытливости глаза детей, радостных обитателей полузаброшенного поместья.

...По пути в контору я завернул на почту и послал телаграмму Петру: «Брат, дома по тебе скучают. Не забывай стариков и Марушанку».

Глава восьмая

КУБАНСКИЕ БЫЛИ

Босов в конторе не показывался. Наверное, какие-то неотложные дела задерживали его в Ставрополе. Досадуя, что напрасно теряю время, я заглянул домой, поужинал и отправился с отцом к Касатке: его разбирало нетерпение увидеть ее новый забор. Она встретила отца как желанного и давно не появлявшегося гостя, меня же — с тревогой и выжиданием: мол, какие вести принес я от Босова? Чтобы не томить ее неопределенностью, я сказал, что Матвей в отъезде, завтра, в субботу, должен вернуться.

— Ну и ляд с ним. Утро вечера мудренее.

Отец коротко, но весомо оценил нашу работу:

— Вечный забор. Муха не пролетит.

— Хочь на старости лет пофорсю. Доски, жалко, кончились. На ворота не хватило.

— У меня два бруса лежат. Порежу, возьмешь... А за двором надо бы какие-нибудь ветки посадить,— размечтался отец.— Черносливы или абрикосы.

— Я думаю, Максим,— березки... Они светленькие, веселые.

— В лесу осенью выкопаем. В Широкой балке. А по мне, самое красивое дерево — сосна. Любо-дорого глядеть: и зимой и летом зеленая. Ни порча ее не берет, ни старость. Но приживается на новом месте трудно. Весной я привез с гор три сосенки. Прямо сестрички: коренастые, пушистые. Подсыпал в ямки песку, камушков и посадил в палисаднике. Заскучали и засохли. Чем-то я не угодил им... И что оно за дерево такое? Со своим норовом.

— Чужой земли не переносит,— рассудительно молвила Касатка.

— На осыпи, на самых камнях их выкопал. Ни одного корешка не задел. Надеялся: у меня, на такой сильной земле, они до облаков, до самого небушка вымахают. Этой осенью опять рискну, хоть парочку посажу. Дюже красивое дерево.

— С характером,— вставила Касатка.

Слушая их неторопливую беседу, я вспоминал свои поездки с отцом в лес, за брусьями. Быки шагают размеренно, важно; ярмо поскрипывает на гладко натертых шеях; звенит, позвякивает на дышле кольцо, постукивают на

камнях колеса — и с медлительной торжественностью, неохватно надвигаются на нас дикие, суровые вершины с голыми скалами, в расселинах которых, кажется, навечно, до скончания мира, утвердились громадные, мрачные в своей неподвижности, в своем молчании сосны. Они стоят не шелохнувшись, без звука, как древние изваяния, и невольно теряешься, глядя на них: неужели они вышли из обыкновенного крохотного семени с хрупким крылышком-парусом? Неужели и у них было начало, как и у всего живого на земле? Но более всего приводила в недоумение, в восторг другая мысль: откуда они берут жизненные соки, как им удается зеленеть там, на камнях? Как очи держатся на открытой высоте, подверженные всем стихиям: ливням, граду, грозам и снежным бурям? И что придает им стойкости?

Когда я долго глядел на них, у меня начинала кружиться голова — от невозможности ли постичь эту загадку природы, или от ощущения их недостижимой высоты... И вот сейчас я думал: постоянство, верность этим серым, красновато-бурым и черным камням — вот что давало им силы и право на жизнь, вот что оберегало их от стихий...

Перед тем как проводить нас домой, Касатка, таинственно подмигнув мне, открыла свой деревянный сундук, извлекла из него сверток, бережно развернула его, и я увидел старинную книгу в кожаном переплете с золотым полустершимся тиснением на корешке, с черными подпалинами на углах.

— Ей, Максимыч, цены нету,— сказала она с проникновенною дрожью в голосе.— Никому не показывала, а ты посмотри. Она ж в огне горела и не сгорела, в воде не утонула. Дорогая память. Досталась моему Михаилу от его дедушки Ильи. А прадед того Ильи воевал с турками и голову сложил за Кубань, в четырех верстах от Пашинки. Тут о нем хорошочко написано. Почитай и своим про это расскажешь. Да гляди, не дай бог, не потеряй. Я с ума сойду. На одну ночь тебе даю.— И Касатка протянула мне толстый фолиант.

Это была книга екатерининской поры, с рыхлыми пожелтевшими листами, в ней сухим языком реляций подробно, почти изо дня в день повествовалось о военных действиях в русско-турецкой войне 1787—1791 годов.

— Какая у него была фамилия?

— Кто ж его знает, Максимыч. Помню, вроде по зва-

нию он был казачий старшина. Так Михаилу говорили старики.

Я унес книгу и всю ночь запоем читал ее, как некое откровение, чудом убереженное в печатных знаках и как бы долетевшее ко мне из прошлого, из тех невероятно зыбких, мраком покрытых лет, когда русские, давая отпор туркам, продвигались к Черным горам, к верховьям Кубани, пограничной реки «между двумя империями». Мелькали названия ее притоков, ее бродов, снежных вершин и отвесных круч, которые бесстрашно одолевали наши предки, умножая славу и крепя могущество Руси. И будто дохнуло на меня со страниц тем вовеки отшумевшим ветром ущелий, будто вдруг я сам вослед за пращурами вступил в белую воду того откипевшего на перекатах Касаута. Суровые были, забытые подвиги открывала передо мною книга, сохраненная Касаткою и принятая мною из ее рук.

«Генерал-майор Герман, быв уведомлен 20 сентября, что неприятель от реки Лабы следует к Кубани, спешил к нему со своим отрядом, 23 слышны уже были в горах неприятельския сигнальныя выстрелы. 25 Батал-паша прибыл к реке Малому Зеленчуку, где и расположился таким образом, что дефилеи и каменныя горы были у него в руках и путь к Кубани имел он свободный. 27 передовыя войска неприятельские показались на Кубани около Каменнаго Брода. Генерал-майор Герман оставил тяжелый обоз в Вагенбурге и пошел встретить неприятеля по речке Подпаклее, стараясь удержать горы Тахтамусския и запереть туркам путь в Кабарду, куда главное их было стремление. 28 сераскир паша Батал-бей перебрался с войсками своими на здешний берег Кубани, а генерал-майор Герман продолжал к нему поход свой. 29 переправился он через речку Подпаклею и взял стан свой в пятнадцати верстах от неприятеля.

30 сентября генерал-майор Герман... решился идти в лице неприятелю и атаковать его. Он разделил малый отряд свой на пять колонн, и сколь скоро тронулся он с места, то получил известие со всех сторон, что из ущелин и лесов показываться начали густыя и частыя толпы горской конницы. Едва успел он соединить всех фланкеров и козаков под команду секунд-майора князя Арбелианова, приказав ему скорее занять высоту над Тахтамыком, как и началась перепалка. Правая колонна кавалерии под командою полковника Буткевича и левая под командою

полковника Муханова, поспешив подняться на предлежащую гору, дали время подойти пехоте и артиллерии. Бригадир Матцен с среднею колонною и бригадир Беервиц с егерями заняли высоты. Турки, предводимые Аджи-Мустафою пашею, приспели в одно почти время с нашими на место сражения...»

Была неисповедимая тайна власти в каждом слове, и, не смея оторваться, читал я далее удивительную повесть:

«Войска наши при беспрерывном огне подавались вперед. Генерал-майор Герман приказал правой колонной егерей с бригадиром Беервицем атаковать левое неприятельское крыло, а полковнику Чемоданову с мушкетерами правое. Правая колонна встретила жестокое сопротивление, но как полковник Муханов с драгунами врубился в пехоту неприятельскую и егери сильно наступили, то неприятель опровержен, правый фланг его сбит и артиллерия взята. Левый неприятельский фланг по приближении полковника Чемоданова побежал, оставя пушки свои; а когда средняя колонна, спустясь с горы, ударила в неприятеля, то все силы его рассыпались и он бежал стремглав к Кубани... Победоносныя войска Российския вступили в лагерь неприятельской, взяли тут сераскира Трехбунчужного пашу Батал-бея со всею его свитою и приобрели знатную добычу.

Кровопролитие было великое; по несоразмерному числу войск неприятельских нельзя было мыслить о плене, а по беспорядку, с которым турки переправлялись за Кубань, много их потонуло в сей реке... Тела мертвыя за рекою на несколько верст были видимы.

Сверх тридцати орудий артиллерии разных калибров, взято много снарядов и припасов. По объявлени Батал-паши, войско его состояло в осьми тысячах пехоты турецкой и десяти тысячах конницы, да горской конницы одних ему известных до пятнадцати тысяч человек, толикое ж оных число оставалось за рекою...

Наш урон состоит в убитых: одном козачьем старшине и двадцати шести нижних чинах; раненых: одном оберофицере и ста четырнадцати нижних чинах».

Убитый казачий старшина, вероятно, и был тем самым прадедом дедушки Ильи, но, сколько я ни пытался отыскать в книге его фамилию, ее не было. Она померкла, навсегда покрылась забвеньем. И в списке награжденных далекий предок не значился. Зато, по свидетельству предводительствующего Екатеринославскою армиею генерала-

фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, ее императорское величество Екатерина II, «взирая с особливым благоволением на усердие, искусство и отличное мужество помянутаго генерал-майора Германа, всемилостивейше пожаловать ему изволила Большой Крест втораго класса военнаго ордена Святаго Георгия, да в вечное и потомственное владение пять сот душ Полоцкой губернии в Полоцкой экономии».

Разгром войск «знаменитейшего в Азии» сераскира Батал-паши, коварно посланного с огромными запасами оружия и денег для разжигания страстей «злонамеренных закубанцов», лишил враждебную Оттоманскую империю влияния на центральную часть Северного Кавказа. Станицу, основанную позднее, вблизи от места сражения, на пологом берегу Кубани, казаки назвали с горделивым намеком — Баталпашинской, чтоб всегда помнили турки о своем позоре и доблести русского штыка. Марушане именовали ее проще, на свой лад — Пашинкой. Долгие годы кипела в ней бойкая торговля дегтем, хлебом, лесом и скотом, горскими бурками да казачьими шароварами. В войну моя бабушка с Касаткою не однажды ходили в Пашинку за солью. Один день туда — с оклунками картошки, узлами нехитрых пожитков, другой — оттуда, с баночками соли. При воздушных бомбежках падали в кюветы либо прятались за камни, не выпуская из рук имущество.

Утром я вернул Касатке старинную книгу. Она не сразу обернула ее в косынку, а положила на сундук, села возле, выпрямилась и попросила меня прочесть то место, где русские побеждают Батал-пашу и где погибает безвестный казачий старшина. Пока я читал, Касатка сидела прямо, держа на коленях руки, и даже бровью не повела, не моргнула глазом. Когда же я кончил, она восхитилась:

— Это он и есть, ей-право! Снился мне... Он там лег на той горе. Во, Максимыч, какие были орлы! Сколько турок положили за Кубань-матушку. Никто нашу силу не переломит. Во веки веков.

Я ушел от Касатки с мыслью наконец-то узнать и запомнить ее подлинную фамилию, имя и отчество.

Имя у нее было Лукерья, по батюшке — Илларионовна. Мужняя фамилия Поправкина, а в девичестве знали ее Боголюбовой.

Лукерья Илларионовна Поправкина-Боголюбова...

Тем же утром был я в конторе, в кабинете Босова. Он приехал из Ставрополя далеко за полночь, спал всего па-

ру часов, поднялся на заре, чуть свет, однако выглядел бодрым, жизнерадостным и, увидев меня, быстро вскочил из-за стола, пошел навстречу:

— Ну как, Федор Максимыч, дела? Вживаешься в образы? — В его серых глазах, веселых, ироничных, было много дружеского добродушия. Он стиснул и потряс мою руку.— Здравствуй. Поздравь меня.

— С чем?

— Заезжал я в институт. Проект комплекса готов, осталось утрясти некоторые мелочи. В крайкоме обещают полную поддержку. Основное оборудование получим из Литвы. Договорился я и с подрядчиками. Так что этой осенью начнем строить первую очередь. Доволен?

— Еще бы!

— То-то! — Босов в возбуждении потер ладони.— Тебе лишние факты для статьи. Новые сюжетные ходы изобретешь... Ну, я и покрутился там! Ни минуты отдыха. Зато, как видишь, кое-чего достиг. А ты? Что у тебя новенького? Чем занимаешься?

— Да вот... забор помогал Касатке строить. Сходил на кладбище, на могилу бабушки.— Я сел на диван.

— Серьезно? — Босов остановился посередине кабинета, сложил губы в насмешливую гримасу.— Со старухами душу отводишь... Прости, конечно. Но, по-моему, и у тебя есть дела поважнее. Лучше бы встретился с нашими передовиками, с механизаторами.

— Вчера я с ними беседовал.

— Хорошо,— Матвей вернулся к столу и сел в кресло.— Забор... Нашел себе занятие по душе. Нет уж, заборы предоставь нам, людям деловым, с хозяйскою жилкой, строить, а ты... В общем, от тебя ждут другого.

— Чего?

— Ну хотя бы, если делать больше нечего, помоги нам умную, боевую стенгазету выпустить или прочти в клубе лекцию. Вот вы все, народ пишущий, восторгаетесь: деревня, небо, земля, радуга на покосе! С таким мудрым видом восторгаетесь, будто впервые открываете невесть какую истину. Правильно, о красоте стоит напоминать. Но мы ведь, Федор Максимович, эту красоту каждый час видим и, пожалуй, не хуже вас чувствуем. Вы приехали и уехали. И ваши слова издалека, со стороны, даже самые искренние, честные, мало чему научат, мало принесут пользы. Ты не обижайся, мысль мою улови. А она заключается в том, дорогой земляк, что сельчане меньше нужда-

ются в таких ваших словах и больше — в повседневной помощи. Пора их всерьез, по-настоящему культуре учить, дух у них развивать. Если хочешь, того же Тихона Бузутова помаленьку просвещать. Я убежден: этого нельзя добиться без постоянного близкого общения с ним. Но кто, кто этим будет заниматься? Кто согласится делить свою судьбу с Тихоном? Я не могу... я и так разрываюсь на части. Я хлеб добываю, мясо... мне нужно строить комплекс! Ты...— Босов пожал плечами.— Ты тоже не сможешь, у тебя свои заботы, тебе нельзя вернуться насовсем. Это раньше интеллигенты ехали в глубинки и жили заодно с народом, а вы... вы чего-то боитесь, вам неудобно покидать теплые местечки, вот и страдаете, изливаете в словах ностальгию. Так? — Босов хитровато сощурился на меня и покачался в кресле.— Так, Федор Максимович, не отпирайся. Повторяю: строить заборы, коровники, удобрять поля — всем этим позволь уж заниматься мне. Слово даю: справлюсь! Без хвастовства. Я умру, но этот комплекс выстрою. Будет он, голубчик, во всю свою ширь красоваться на нашей земле. Но и вы помогите мне. Я же не бог, не могу за всем уследить, сам грубею, что-то важное упускаю или откладываю на потом. Ладно, думаю, потом, сейчас надо это звено вытянуть. Потом! А жизнь-то идет, она ничего не откладывает на завтра. Я это понимаю. Вот возьмусь за комплекс, опять нырну в омут и, пока не одолею его, не выберусь на берег, ни о чем другом думать не буду... не желаю! Думайте вы. Извини, это плохо, но я такой, меня уже не переделаешь. Так подпирайте меня с другого боку. Подпирайте! Не одними словами.— Босов взглянул на меня уже сердито.— И вот, пока еще меня не затянуло в омут, я спрашиваю: когда же у нас появятся свои специалисты по культуре, искусству? Настоящие. Я не о тех говорю, с дипломами, с бакенбардами, которые приезжают сюда по нужде, лишь бы отбыть срок. Пижоны, верхогляды. Им все равно где отлынивать. Нахватаются верхушек, а духа, тайны самой жизни не уловят, она от них скрыта за семью замками. Ни в городе, ни в деревне добра от таких не жди. Надеюсь, тебе понятно, о чем я толкую? Грустно, Федор Максимович... Не с кем работать, не с кем душу отвести. Может, подумаешь и останешься у нас? Ах, да...— Босов постучал пальцами по столу.— Тебе нельзя отрываться от своей среды. Понимаю. Задал я тебе задачу с тремя неизвестными. Попробуй-ка сладить с ней, вдруг да удастся. А вообще-то у нас рай: горы, лес, река...

чистейший воздух,— уже не скрывая иронии, прибавил он.

— Что ты от меня хочешь?

— Пока самого малого: хорошей, без прибавлений статьи,— снисходительно улыбнулся Босов.— Тому же, что я наговорил сейчас, не придавай значения. На меня после обильной радости иногда находит желание пофилософствовать. Главное — надо работать! Руки опять зачесались.— Босов демонстративно потер ладони.— И знаешь, дружеский совет тебе: поменьше возись со старухами, не строй заборы. Честное слово, лучше приглядись к молодым. Вдруг среди них откроешь какой-нибудь истинно художественный талант. Поддержим его, пошлем учиться. После будет у нас дома жить, среди своих же людей.

— Говоришь, не возись со старухами,— медленно проговорил я, задетый почти безоговорочным тоном Босова.— Но они ведь тоже наши, живые люди. Создавали колхоз. В войну сами впрягались в плуги и пахали косогоры. Нет, Матвей, без них мы и себя не поймем, своей настоящей и будущей жизни. Не будь их, если на то пошло, и нас бы с тобою не было. Ни тебя — председателя, ни меня — корреспондента. Со всеми нашими идеями. Когда-то вот так нырнешь в омут, без памяти,— и закружит, не успеешь всплыть...

— Странно...— о чем-то размышляя вслух, не слушая меня, вдруг забеспокоился и привстал из-за стола Босов.— Очень странно. Омут, память... Постой, постой-ка! Ты действительно помогал строить забор Касатке?

— Да.

— Но ее хата запланирована под снос. Мы ведь предупреждали! Нет, эта старуха нас уморит.— Босов вышел и, возбуждаясь, заложив руки за спину, начал вышагивать по кабинету.— Значит, внушения не помогают. Придется малость проучить ее, употребить власть. Оказывается, нужно и силой приобщать людей к новому быту. До тех пор, пока сами не убедятся в его преимуществах... А ты проповедуешь абстрактный гуманизм. Ну рассуди: с каким умом она тратится, городит забор? Ведь осенью все равно разберем. Ну ответь: есть этому разумное объяснение?!

— Об этом я и пришел поговорить с тобою.

Босов перестал ходить, выпрямился, сунул руки в карманы пиджака, искоса, сверху вниз скользнул по мне

удивленным взглядом. Затем он потрогал узел галстука, медленно приблизился к дивану, на котором я продолжал сидеть, тоже сел, откинулся на спинку и, заложив ногу за ногу, с нарочитым спокойствием выдавил:

— Давай. Я к твоим услугам.— Лицо его сделалось постным.

— Пойми, Матвей: она почти всю жизнь прожила у Чичикина кургана. Оттуда проводила на войну мужа, сына в армию, а дочь в Калмыкию. Там все ее беды и все радости. Неужели требуются здесь еще какие-нибудь объяснения?

Босов переменил позу и склонил голову, о чем-то раздумывая. С нажимом заговорил:

— Но пусть и она войдет в наше положение... осознает колхозные интересы. У каждого своя, и подчас нелегкая, судьба. Если я буду учитывать желания всех, всех до одного, тогда, согласись, я не смогу как руководитель принимать никаких решений. Очевидно, Федор Максимович, каждому из нас необходимо в чем-то поступаться личными интересами.

— На этот раз, Матвей, она не поступится. Это свыше ее сил. Я ее понял. Пойми и ты.

— Не могу! — дернулся Босов.— Понимаю, но не могу! Мы вообще планируем со временем снести весь переулок. Торчат пять хат на отшибе. Ни к селу ни к городу. А комплекс надо притянуть поближе к хутору. Женщины закончили дойку и спокойно разошлись по домам. Управляться с хозяйством, с детишками.

— Ничего, пройдут лишний километр.

— В день три раза туда и обратно по километру — не много ли наберется за год? — с раздражением бросил он.— Посчитай-ка в уме... Да это не разговор. Дело даже не в этом.

— А в чем?

— Нельзя, Федор Максимович. Обыкновенное человеческое: нельзя! Мы уже настроились, на правлении решили. Не могу!

Босов вынул пачку сигарет и закурил. Дым обволакивал его сердитое, ставшее жестким лицо, струился к потолку. Оказывается, он упрям. Невольно пришел на ум тот мужичок, в дверях просивший его подписать накладную. «Может и не уступить»,— мелькнула мысль. Я представил себе разочарование, возможные беды Касатки и решил, что настал момент пустить в ход мой последний довод в

ее пользу. Как бы он ни отнесся к нему, не отступлю, буду настаивать на своем.

— Не хочешь... Значит, не хочешь ей помочь. А она ведь тебя спасла.

Босов в упор, с непониманием уставился на меня:

— Спасла? От чего?

— От смерти, Матвей...

Я рассказал ему историю, услышанную от матери, во всех подробностях, упомянул и о своей потерянной тюбетейке, о том, как его мать и Касатка пололи в паре... Сигарета в руке Босова подрагивала и дымилась, пепел нагорал, осыпался ему на колени, но он вовсе не замечал этого и сидел, держа руку перед собой. Огонь припек ему пальцы, он вздрогнул и машинально швырнул окурок в угол. Губы его, твердо сжатые, понемногу белели. Когда я кончил, он встряхнулся, медленно, как в забытьи, поднялся с дивана.

— Впервые слышу. Невероятно... Она никогда мне не напомнила об этом. Ни-ког-да,— по слогам растянул Босов.

Он подошел к столу, зачем-то заглянул в откидной календарь, поморщился, перевернул страницу и опять вернулся к дивану, неуклюжей длинной тенью застыл напротив меня.

— Я и представить себе не мог... Выходит, она как бы мать нам.

— Думай как хочешь.

— Невероятно! Мы ведь с тобой, Федя, дважды родились.— Он впервые назвал меня по имени.— Из-под самых колес... из лап смерти младенцев выхватить. Но почему она молчала? Да, конечно. Она считает это обычным случаем. Ясно. А другая бы... другая бы выгоду из этого извлекла. Всем растрезвонила бы. Не так?

— Не берусь судить о других. О ней же скажу: она всегда так поступала. Иначе просто не мыслила, не могла жить.

— Да, да... Я понял! — сказал Босов.

Он отошел к столу, сел в кресло и, облокотившись, подпер голову сжатыми кулаками, погрузился в свои размышления. Я не мешал ему думать, молчал.

Босов пошевелился, поднял на меня сильно заблестевшие, влажные глаза:

— Как она живет?

— Нормально. Огород ухожен, пенсию приносят вовремя... Вообще она ни на что не жалуется.

— Дрова есть?

— Кончаются. Осталось на неделю топить.

— Дам команду — привезут,— сказал Босов.— Надо к ней и самому заехать: может, она еще в чем-нибудь нуждается.

Не меняя позы, он закрыл глаза, посидел так, затем встряхнулся и, словно бы самому себе удивляясь, оперся ладонями о край стола, налег на него грудью.

— Ах, черт возьми! Как-то неудобно получилось. Вертишься, хлопочешь и что-то, конечно, упускаешь... Ты вот сидишь и, наверное, сейчас осуждаешь меня, да? — Босов старался глядеть мимо меня, глаза его теперь казались остекленелыми.

Я не ответил ему.

— Попробуй войти в мое положение. Говорю тебе, разрываюсь. Ни дня, ни ночи не хватает.— И совсем, как бывало в детстве, запустил пальцы в русый чуб и тихо, доверительно пожаловался: — Трудно, Федя. Устал. Взять бы отпуск и недельки на две махнуть на Черное море, позагорать! Я уже три года подряд вкалываю без отпусков... Слушай, а ей муку дают?

— Дают. Мука хорошая... отбойная.

— На своей мельнице мелем. Удачно вальцы настроили.

Мы помолчали.

— Как же быть с Касаткой? — не выдержал я.

Взгляд Босова столкнулся с моим, нарочито спокойно прошелся по корешкам составленных в шкафах книг и папок.

— Надо подумать,— сказал он.

— Ее не тронут?

— Не могу же я сразу, одним махом отменить решение правления. Подумаем,— сердито, не глядя на меня, повторил Босов.

Стало ясно: ему хочется побыть одному. Но, прежде чем уйти, я спросил, достался ли Тихону мотоцикл.

— Конечно. Я не привык давать пустых обещаний.

И тут меня подожгло: я рассказал Босову о злоключениях Касатки с оклунком по дороге с базара и о том, как Тихон притормозил возле нее, почтительно сошедшей в грязный кювет. Коротко, в нескольких штрихах я нарисовал перед ним картину марушанской слякоти, сло-

вами Касатки и с тем же отношением ко всему, какое уловил я в ее рассказе. Босов выслушал меня хмуро, подавленно.

— Так и не посадил ее, не довез! — он покачал головой.— Это непохоже на Тихона. Что же с ним происходит?

— Вероятно, то же, что и с вами,— сказал я.

Босов прицелился на меня колючими глазами, хотел что-то сказать и только махнул рукой. Мы договорились завтра утром поехать на отгонные пастбища, сдержанно пожали друг другу руки, и я вышел на улицу. Погода снова менялась. Воздух прояснился, потеплел, и в небе, словно промытые щедрым слепым дождем, голубели широкие прогалины. Вот и солнце выглянуло и осветило всю площадь; цинковые крыши заиграли острым блескучим светом. На футбольное поле с криками, смехом выбежали мальчишки в спортивных майках, в трусах и в бутсах, быстро разделились на две команды, кинули на траву туго надутый мяч и отчаянно погнали его по зеленой траве. С полчаса я следил за игрою, радовался забитым в те и в другие ворота голам, а в мыслях неотступно стояло: все-таки хорошо, и я пригодился Касатке. Я сознавал ничтожность своего участия в ее судьбе, совершенную малость того, что делал, ведь и раньше, будь я повнимательнее к ней, не так увлекайся собой, устройством только своей жизни, я мог быть полезным ей,— и все же мне было приятно думать, что как бы там ни было, а я, и никто другой, даже не Босов,— я, быть может, помогу Касатке. Было что-то сильное, возвышающее в этом простом чувстве.

Когда я уходил с площади, солнце очистилось от туч, небо стало бирюзово-ярким, распахнулось и вглубь и вширь, смягчаясь тонкой синевой у горизонта. Светлее, чем утром, в огородах цвели подсолнухи.

В воскресенье мы собрались в горы. Босов оделся по-походному: в коричневый спортивного покроя костюм и в такого же цвета нейлоновую, с «молниями», незастегнутую куртку. Со мною он обращался стеснительно,— видимо, последний наш разговор стоял у него в думах, он мучился, прикидывая, как поступить с Касаткой, и, может быть, в глубине души был недоволен моим приездом, который выбил его из колеи, по-своему отлаженной и накатанной, возмутил течение жизни, не такой уж спокойной и легкой, но все же — привычной, знавшей свои берега.

Таня сидела в приемной грустная и как бы чего-то выжидала с дрожащей в уголках губ полувиноватой улыбкой, не переставая чутко-внимательно следить сквозь приоткрытые двери за деловитыми приготовлениями Босова. Поскрипывая неизношенными, крепко зашнурованными ботинками, он вышел из кабинета, запер на ключ двери, и в это время Таня, устремив на него свои настороженные едва приметным испугом глаза, спросила, можно ли ей поехать с нами. Босов смутился, и Таня, внезапно осмелев, продемонстрировала перед ним свой наряд: брюки и студенческую курточку.

— Вам нравится?

— Мы едем не на прогулку,— сказал Босов.

Таня настаивала взять ее с собой, я тоже принял ее сторону, и в конце концов нам удалось сломить упрямство Босова, он сдался, только заметил с неудовольствием:

— Вы как дети. Что подумают люди!

Не слушая его, Таня метнулась на улицу, подбежала к зеленому, с брезентовым верхом, газику и по-хозяйски, победно села на переднее сиденье.

— Что с ней творится? — направляясь к машине, смущенно бормотал Босов.— Отбилась от рук, не учится. Пропадет девчонка.

Дорога у Касаута издревле наезженная, неопасная. Босов вел машину на предельной скорости, и не более чем за полчаса мы домчались до шаткого деревянного мостка в глубине ущелья, лихо перескочили по просевшему настилу на другой берег реки, бешено вскипавшей бурунами на каменных плитах, ярившейся в узкой горловине в бессильной злобе... Завиднелась впереди государственная караулка — длинное, как барак, потемнелое рубленое здание под железной крышей. Внешне оно выглядело почти таким же, как и много лет назад: узкие бойницы-окна, обветшалое крыльцо, увешанное дубовыми вениками и пучками калины, две жестяные узорные трубы. Придавала караулке несколько незнакомый вид новая крыша, раньше она была под темной, пятнами зеленевшей дранью.

Обычно на быках мы с отцом тащились сюда полдня. В детстве я страшился этого места, особенно в сумерках. Меня пугал полосатый шлагбаум через дорогу, приводил в трепет грозный рык волкодавов, которые выскакивали на стук колес по камням, щелкали зубами и готовы были растерзать, разметать нас в клочья, если бы их не отгонял лесничий Кузьмич в своей суровой форменной фуражке, с

папиросою в зубах и с централкою за плечами. Теперь, проезжая мимо, я с волнением вглядывался во тьму насупленных окон, наивно ожидал злобно-угодливого рычания волкодавов и вслед за ним строго осаживающего прокуренного голоса Кузьмича, но ни единого звука не послышалось, собаки не выскочили на дорогу и не вышел к нам лесничий хозяйской прихрамывающей походкой. Пусто, тихо... И стало отчего-то жаль, что нет больше волкодавов у караулки и нет Кузьмича. Где он, что с ним? Жив ли?

Между тем царственно, величаво вставали перед нами вечные горы, вздымали к небу гранитные пики и сосны, отливающие на скалах червонным золотом неколебимых, могучих стволов; все глуше билась, урчала внизу река, кое-где блестя пролившимся в теснине матовым серебром; вот она вовсе скрылась из глаз, шум ее, до этого ясно различимый, отжало, отгородило хребтом. Дорога, петляя меж сосен и замшелых валунов, упрямо полезла вверх; то справа, то слева от нее вдруг открывалась бездна с заблудившимися в ней облаками. Таня испуганно жалась к Босову, он молча, с невозмутимым видом крутил баранку.

Старая дорога к Синим скалам... Уже плохо верится, но именно по ней мы с отцом ездили за сухостоем. Помню, было жутко глядеть в дымящиеся пропасти, жутко прислушиваться к вершинному гулу деревьев и молить, молить судьбу, чтобы воз не занесло и не потянуло вбок. Старая дорога опять уводила к небу, играла с нами как хотела, выгибалась над обрывами, выбрасывала под колеса измочаленные, змеиным клубком спутанные корни сосен; газик на них спотыкался, подпрыгивал, Таня невольно вскрикивала, но Босов крепко держал руль, улыбался и говорил:

— Погодка сухая, не скользко. Крепись, Танюша.

— Матвей, Матвей, тише! — просила Таня и прислонялась к его плечу, отчего Босов чувствовал себя неудобно, кашлял и делал непроницаемо-каменное лицо.

Один раз он обернулся ко мне:

— Ну как дорожка? Вспоминаешь? Кто по ней с детства ездил, тому уже ничего не страшно. Можно сказать, это она, родимая, вывела нас в люди. Скоро ей замена будет. Навек успокоится.

Газик чихнул, сделал последнее усилие и рывком вылетел на вольно распахнувшийся поднебесный простор,

вблизи окаймленный зубцами Синих скал, а дальше, по горизонту, лысыми крутолобыми вершинами, усеянными отарами овец, стадами коров. На ровной площадке, неподалеку от того места, где некогда мой отец рубил сухостойные сосны, утробно ревели, вгрызались в серовато-желтую каменистую землю бульдозеры; в глубине котлованов, густо чадя дымом, клевали ковшами экскаваторы, жадно выдирали грунт и ссыпали его в железные кузова самосвалов.

— Красотища-то какая! — вылезая из машины, проговорил Босов.— Хлопцы роют... А воздух! Чище слезы! Чем вам не курорт!

С первых минут он очутился, что называется, в своей стихии, на время забыл о Тане, водил меня вокруг котлованов, знакомил с людьми и обстоятельно, толково объяснял, что где будет построено. Босов не гнушался залезать на глину в новых ботинках, сверкал на меня глазами и беспрестанно повторял:

— Роем, Федор Максимович! К чертовой бабушке снесем все балаганы. Конец допотопным кошам!

Среди холмов вывороченной земли, ревущих в безостановочном движении машин Таня потерянно ходила за нами, рвала несмятые, чудом уцелевшие желтые одуванчики. Ей надоело быть неприкаянной, она подошла ко мне и громко сказала:

— Взгляните на скалы, они синие-синие. Здесь душно, голова от дыма болит. Пойдемте к ним. Я почитаю вам стихи.

В это время Босов, перегнувшись в пояснице, заглядывал в котлован и что-то кричал чумазому, высунувшемуся из кабины бульдозеристу. Голос Тани отвлек его, он отошел от ямы и, ошпарив меня ревниво-обжигающим взором, напомнил:

— Имейте в виду, я тоже люблю слушать стихи.

— Но, Матвей Васильевич, вы заняты. Вы не беспокойтесь,— с заботливой проникновенностью сказала Таня.— Мы вдвоем...

— Нет! — резко ответил Босов.— Я уже свободен. Я с вами.

И мы отправились к Синим скалам.

Быть в положении третьего лишнего — занятие весьма утомительное и неблагодарное. Но еще хуже сознавать, что ты все-таки до поры до времени нужен и без тебя, без твоего молчаливого присутствия тайная игра между дву-

мя может не заладиться, и, если ты желаешь им счастья, наберись выдержки и побудь бессловесной ободряющей тенью. Словом, я так и поступил. Прогулка к Синим скалам вышла на редкость скучной, даже тягостной, я плелся за ними подобно обреченному на казнь, в угоду Тане слушал стихи и любовался пейзажем, пока не почувствовал, что приспела пора оставить их наедине, они уже освоились и, пожалуй, не всполошатся, не кинутся с ауканьем разыскивать меня. Я спрятался за камень и сел на срубленный пенек. Их шаги скоро затихли...

Только сейчас, в тишине, в тени, на этом пне, усыпанном поблекшими хвойными иголками, я почувствовал вполне блаженное, безоблачное состояние, при котором не то что пошевелиться и треснуть веткой, даже подумать о чем-то боязно, чтобы не нарушить, не навести на него беспокойную зыбь... Так я сидел, не помню, долго ли, пока не поднял глаза и не увидел прямо перед собою голую, сухую, без единой зеленой иголки сосну. Ветви ее, точно окостеневшие, четко рисовались на фоне синего неба и как бы царапались об него, исторгая едва слышимые, тонкие и непонятно о чем говорящие звуки. Ни жалости, ни печали не было в них, но не было и радости. И, сколько я ни вслушивался в них, не мог уразуметь, о чем пело погибшее на корню дерево, что оно открывало миру. Я стал вглядываться в его потемнелую, местами еще золотистую, как бы здоровую кору и вдруг чуть выше комля заметил ржавый, глубоко вонзившийся в ствол осколок снаряда. «Не буду ее рубить. Фронтовичка»,— почти явственно раздались во мне слова моего отца, давние, казалось, навсегда потерянные для меня. И вот они ожили, и ожил в памяти тот день и даже тот самый миг, когда отец подступил к ней, с решительным намерением размахнуться и... придержал топор, увидев в ее теле рваный кусок металла. Она была стройнее, звонче остальных, янтарно-восковой ствол ее мог лечь балкой в новом доме или сгодиться на чистые доски для пола, но отец не тронул ее, пожалел — и она осталась у скал, темнея ликом и высыхая до костяного налета на ветвях.

Думалось, никакого проку уже не было от старой сухостойной сосны ни горам, ни лесу, ни ближнему хороводу молодых, столпившихся возле нее сосенок, которые, может быть, взошли от ее семени и защищались от ветра под ее кроной, но отчего же во мне так сильно дрогнула, встрепенулась душа при встрече с нею?! Я обрадовался,

что она все еще держится тут, на голых камнях, и не клонит облетевшей головы, будто ей ведомы тайные силы жизни и она надеется зазеленеть вновь, как грянет назначенный день... С особой живостью, близко встала передо мною долгая поездка на быках за сухостоем, опять я пережил счастливые мгновения отрочества с утренним зябким дыханием скал, со стоном падающих наземь срубленных сосен, с терпким запахом щепы и с тревожным преодолением дороги, под внезапно настигшим нас дождем. И причиною этих воспоминаний было старое погибшее дерево, которое наперекор всему стояло и пело неизвестно о чем. «Ничто, ничто даром не является на свет и не уходит даром от нас»,— думал я, просветленный таким чувством к нему, точно и оно имело душу и понимало меня.

Тем временем Босов нагулялся с Таней и, намеренно шумно спускаясь по склону, взывал из-за плотного ельника:

— Федор Максимович, где ты?

Я отозвался.

Они выбрались из ельника и, держась друг от друга на приличном удалении, объединенные какою-то сердечной тайной, не спеша приблизились ко мне.

— Куда ты делся? — виляя глазами, глухо спросил Босов.— Кличем его, кличем, а он как в рот воды набрал.

Таня, счастливо примиренная, неловкая, шла, покусывала травинку и молчала. А Босов все выговаривал мне:

— Мы тебя искали, искали, все горы облазили... Наверно, проголодался? Сейчас подкрепимся у строителей. Их повариха такой наваристый степовой суп готовит — за уши не оттянешь. Как сядешь за стол — не теряйся. Хватай самую большую ложку.

Таня издали слушала Босова и чему-то улыбалась.

— Вот такие дела,— ни к селу ни к городу сказал он.— Нехорошо ты поступил. Несолидно. Бросил, понимаешь, товарищей в беде и рад.

— Каюсь. Но я думаю, вы не слишком скучали без меня.

— Ты же знаешь, я люблю стихи,— отпарировал Босов.— А что ты делал тут? Блаженствовал на лоне природы?

— В общем, да. Я смотрел на эту старую сосну. На нее даже птички садятся неохотно, чаще всего летят к зеленым веткам... И все-таки она не лишняя здесь.

Босов оглянулся, скользнул по сосне блуждающим, рассеянным взглядом:

— Да, в ней что-то есть. Мощное было бы дерево...

Таня уклонилась с тропы и стала рвать на косогоре цветы, а мы пошли дальше. Босов, довольный благополучным завершением прогулки, шагал теперь весело и размашисто, очевидно сознавая, что уже его не заподозрят ни в чем.

Я спросил его, пришел ли он к какому-нибудь мнению относительно Касатки, думал о ней или забыл.

— Думал,— чистосердечно признался Босов.— Редкая тетка. Прямо какая-то старинная праведница. Таких, видать, мало осталось на земле. Я из-за нее почти всю ночь в постели проворочался, все прикидывал, как же ее не обидеть, чем да как помочь ей. Наверно, придется согласиться с тобой: комплекс надо маленько отодвинуть от хутора. Сам понимаешь, не только из-за одной тетки...

— Так можно надеяться, что ее оставят в покое? Можно передать ей это?

— Что, обязательно нужно передавать? Сразу? — поморщился Босов.

— Она волнуется, ждет.

— Передай. Надеюсь, мне удастся переубедить членов правления. Отстоим курган и Касатку. Она... не спрашивала обо мне? Чем-нибудь интересовалась? — вдруг с пристрастием, но тихо, словно застеснявшись своего невольного чувства, проговорил Босов.

— Спрашивала. Ты для нее высоченный бугор в хуторе. Чуть ли не молится на тебя.

— Серьёзно? — В его скошенных на меня серых глазах мелькнуло удовлетворение.— Ох и тетка! Прижукла у кургана и наблюдает за нами. Хороша. Хороша марушанская натура! Мы ее, она нас испытывает... Ей-богу, как-то не по себе становится. Даже боязно.

Глава девятая

К НОВОСЕЛЬЮ

Вернувшись с гор, я отправился к Касатке передать ей радостную новость. На дровосеке у нее сидел Крым-Гирей. Я едва угадал в обрюзгшем, неряшливо одетом человеке в лохматой бараньей шапке и разбитых сапогах

бывшего колхозного объездчика, грозу марушанских мальчишек. Когда-то он, наружностью в татарина, смуглолицый, красивый, пьяный, с неизменной плеткой, с дьявольским блеском в раскосых глазах, носился на гнедом диком жеребце и одним своим появлением нагонял на нас трепет.

Крым-Гирей разлепил набрякшие красноватые веки, задержал на мне мутные глаза и равнодушно опустил их. Он не узнал меня. Да и как ему всех нас упомнить: он был один, а нас много. Зато я помнил его: и то, как он выгребал из наших пазух подобранные на стерне колоски, и то, как, бывало, страшно гикая и стреляя плеткою, весною налетал на детвору и гнал ее по жирной, черной пахоте до тех пор, пока все не выдыхались и падали в борозды... А он соскакивал с жеребца, грозный и неотвратимый, как возмездие, и отбирал кошелки с полусгнившей, подмороженной картошкой.

Возле Чичикина кургана был крепкий ольховый баз с тесаными воротами, которые замыкались амбарным замком. Туда объездчик загонял скотину и гусей, застигнутых в поле, и не возвращал их до тех пор, пока хозяева не уплатят штраф либо не поставят ему выпить. Пить он любил. Иногда, перебравшись, кулем валился наземь и отсыпался, а жеребец, нерассёдланный, с уздечкой, нюхал его и терпеливо ждал пробуждения...

Однажды Крым-Гирей запер на базу нашу Маню. Но люди донесли: в колхозной кукурузе она не была, а паслась сбоку поля, на молодой отаве. Узнав об этом, отец наотрез отказался платить штраф. Весь день наша корова металась голодная, мычала и жалобно глядела сквозь ворота. Я пытался ее выпустить, подбирал ключи к замку, но он был с «секретом», никак не отмыкался. Крым-Гирей у база не показался: наверное, кто-то угостил его магарычом и он загулял. Мать нажала серпом травы, подхватила ведро, и мы вдвоем направились к базу. Еще издали угадав нас в сумерках, Маня подбежала к воротам и подняла радостное, нетерпеливое мычание. Мать заплакала, перелезла через ворота и, кинув ей фуража, начала доить. Я стоял и с гулко колотящимся сердцем, с бессильною злобой к Крым-Гирею прислушивался к журчанию молока в ведре, к ласково успокаивающим словам матери, обращенным к корове, к жадному хрусту травы... Мать подала мне ведро, опять перелезла через ворота, и мы пошли домой, а вдогонку нам несся протяжный, за душу хватающий, недо-

уменный зов Мани. Я порывался вернуться назад и заночевать вместе с нею, но меня пугал вид Чичикина кургана, пугал и настороженно-молчаливый, таинственный сумрак полей за черным базом.

По дороге нам встретилась Касатка. Мать поведала ей о нашем горе. Недолго раздумывая, Касатка забежала к себе во двор, отыскала кувалду и ринулась в поле. Предчувствуя, что сейчас, в эти минуты произойдет что-то необыкновенное, я тоже бросился вслед за нею, а мать осталась в переулке с ведром в руках.

Удар Касатки был тяжел и точен. Пробой звякнул, вылетев из столба.

— Отчиняй! — велела она.

Я приоткрыл ворота, Маня мгновенно все поняла, рванулась в проем и, высоко, победно вскинув рога, помчалась к переулку, где едва проступал сквозь сумрак белый платок матери. Касатка притворила ворота, хихикнула в кулак и с одного маху вбила пробой на прежнее место... На следующий день Крым-Гирей поднял шум, стал грозиться, она же подошла к нему и с вызовом подбоченилась:

— Расходился, как самовар... Герой! Не дюже-то испужаешь, меня не такие пужали. Ну, я выпустила. Попробуй оштрахуй, вот тебе! — И свернула ему дулю.— Видал? Напрасно скотину не мучь. А то я возьму и весь твой баз раскидаю к врагам!

— Хто я им? — часто мигая покрасневшими веками и как бы всхлипывая, вопрошал теперь Крым-Гирей.— Родной отец или чужой дядька? Должны они почитать отца или не должны? — Он встряхивал бараньей шапкой и косил из-под ее свисающих клочков жалостливыми глазами.— Совсем не почитают. Куска хлеба не дадут.

Касатка стояла перед ним, держа в одной руке сито, и с нетерпением, с выжиданием поглядывала на меня. Но я не хотел сообщать ей радостную весть в присутствии Крым-Гирея. Никаких чувств не вызывал он у меня, кроме неприязни. Я ждал, когда он уйдет. Этого, видимо, ждала и Касатка, из приличия поддерживая с ним разговор.

— Да чужой кусок все одно в горле застрянет. Не пойдет на пользу,— сказала она.— Ты и сам не бедный, пензию тебе почтальонша носит.

— Как... чужой? — взвился Крым-Гирей.— От своих детей — и чужой?

— Да какие они твои?! Запил, жинку бросил... Она их до ума довела. Это ее дети.

— Я их породил!

— Толку, что породил. Вон и кукушки рожают.

— А сердце у них есть? — привстал с дровосеки Крым-Гирей.— Ну ошибся отец — простите. Што они, каменные? Век будут жить? Тоже... тоже небось не вечные.

— А у тебя где оно было, твое сердце? — Касатка опять с нетерпением взглянула на меня.

Крым-Гирей сделал вид, что не расслышал ее вопроса, потрогал пальцами отставшую подошву сапога, засуетился, нестерпимо всхлипнул, заныл:

— Какой ни есть, а человек. Мне ихнего хлебца не надо. Дорого внимание. Придите, хочь проведайте. А то што вытворяют? Мимо проходют и отвертаются. От родного отца! Эх! Рази не обидно? — Он замотал головой, издавая звуки, похожие на всхлипывание.— Где у них совесть? Домá под цинком... живут! А отца забыли. Хочь в стардом иди.

— В стардоме тебе лучше будет. Ей-бо. Там врачи. Трехразовое питание, чистота... И простыни есть кому стирать. Ступай. Человеком станешь.

— И пойду! — закивал Крым-Гирей.— Нехай они не гордятся. Хату продам и пойду...— Но тут подался вперед, вытянул шею и с дрожью в голосе, весь замерев, вышептал сокровенное: — Раки у вас нету?

— Нету. Я ее не гоню.

Крым-Гирей поджал ноги, покачался на дровосеке, встал и расслабленной, вихляющей походкой выюлил со двора.

— Не люблю его. Один раз сжалилась, угостила, так он с той поры назнал лавочку. Чуть что — и бежит: «Раки нету?» А где у меня рака? Мне ее и на дух не неси. Тошно... Первая жинка от него сбегла,— продолжала она,— а Марфу Безродневу с детишками он, враг, сам бросил. Тут его с должности сняли — шибко круто брал. Вскорости и другие делишки открылись. Темные... Оттяпал себе пальцы и сбег с фронта. Сюда приезжал один дядька, с ним в одной части служил, так все рассказывал про него. Шила в мешке не утаишь... Дети после этого от него отшатнулись. Стыдно за такого отца. И с той поры он не высыхает, пьет. Как аукнулось, так и откликнулось,— сказала она с убеждением и прихлопнула ладонью по ситу.— Мертвый человек.

— Где он живет?

— Во-он, за моими вишнями его крыша. Через две хаты,— показала она.— Купил себе завалюшку... Жалится! Мой Миша голову в бою сложил, а ему плохо — жалится. Как хочешь, Максимыч, а не люблю я его. Сосед, а душа к нему не лежит. Ходит, враг, выглядает, кто поднесет.

— Притих,— сказал я.— Объездчик был лютый.

— То другое дело,— мягко возразила она.— Служба...— Опять с робкой надеждой, пытливо глянула на меня и замахнулась ситом.— Ну его, много чести об нем печалиться. Конченый человек. Когда его жалко станет, а когда вспомню Мишу — на клочки бы Крым-Гирея порвала. Во, Максимыч, какая я!

Настал подходящий момент сообщить ей радостную весть.

— Сегодня был у Матвея,— начал я.— Поговорили.

— Ну? — Касатка затаила дыхание, замерла.

— Живите спокойно, вас не тронут.

— Это Матюшка сказал?

— Он.

Сито выскользнуло из рук Касатки и покатилось к воротам. Она проследила за ним взглядом, но вслед не побежала.

— Спасибо, Максимыч,— поблагодарила она с такою душевною проникновенностью, с какою меня еще никто до этого не благодарил.— Вот уважил так уважил! Век буду помнить. Значит, я напрасно переживала. Отрубя вею, а сама гадаю: как дело-то мое обернется, каким концом? Значит, пронесло... не спихнут бабку бульдозером? — Ее глаза сияли бесконечным счастьем.

— Не волнуйтесь.

— Я всегда, Максимыч, говорила: Матюшка человек понятливый. Да вот не знала, с какого боку к нему подсесть. Ум за разум заходил. А вы словечком небось обмолвились — и готово, договорились. Живи, бабка, у кургана, копти белый свет. Спасибо, Максимыч. Сказано — ученые люди! А тут век была дурой, дурой, видать, и помру. Слово путное не умею сказать.

Она живо подскочила к неприкаянно лежавшему у ворот ситу, схватила его и подалась в хату, объясняя на ходу:

— Я, Максимыч, лапши сварю. С утятинкой. Отпразднуем!

Вышла из сеней, внезапно нарядная, в штапельном платье: мелкие пестрые цветы по голубому. Набрала щепок и, важно проплыв мимо меня, похвалилась:

— Дочкино... Нонче в самый раз пошиковать в нем.

С хлопотливым щебетаньем, с гомоном и мягким свистом носились у окон ласточки и на секунду повисали у стекол, трепеща крыльями. Касатка задержалась на пороге и, следя за ними, сказала как о свершившемся:

— К гостям. Надо выглядать Дину.

Ее пророчество сбылось: назавтра приехала Дина с детьми. Мальчик и девочка, лет девяти и семи, были смуглые, курчавые и в меру шустрые. Без колебания приняли они от меня гостинцы и, сияя угольно-черными глазами, выскочили из хаты и устроили во дворе беготню. Мы остались втроем. Еще при первом взгляде на Дину меня постигло разочарование: непривычна оказалась ее полнота, округло-пухлые плечи, расплывшиеся черты смуглого лица, грустный взор некогда жгучих, приводивших меня в трепет глаз. Ее образ никак не вязался с тою школьницей, снившейся мне в юношеских снах, из-за которой я схлопотал себе жестокую лихорадку. Тонким женским чутьем она, вероятно, угадала мое состояние, вместе с табуреткой отодвинулась в сумрак угла в своем бежевом, наверняка сшитом по случаю приезда костюме, с горечью обронила:

— Да, Федя, мы уже не те. Бежит времечко.

Потом Дина рассказывала грудным и печальным голосом, что муж ее, пьяница непробудный, натворил дел в глупой драке и надолго сел в тюрьму, поэтому она и вернулась к матери, мать никуда не выгонит, и вдвоем будут они воспитывать, доводить до ума детей, пока их отец не вернется. Лично ее жизнь кончилась, о себе она уже и думать перестала. Все прошло...

Касатка толклась у печи в новом фартуке и, озаренная бликами нагоревшего жара, помешивала вскипевшие в чугуне галушки.

— Не бери в голову, Дина. Ты еще молодая. Я в твои годочки вон как дуросветничала. Гопака на весь край выбивала. И ты не теряйся.

— А я, мама, и не теряюсь. С вами как-нибудь перебьюсь.

— Устроишься в колхозе учетчицей. Будешь в конторе

сидеть, на нас сверху поглядать. А я с внучатами управлюсь сама. Бабка умеет нянчиться!

— Ой, мама, если бы не вы, что б я и делала с ними?.. Даже страшно подумать.

— Его, врага, там быстренько отучат в бутылки окунаться. Вернется человеком. Надумает опять задаваться, я его враз приструню. На цыпочках заставлю ходить. Эге! Я не посмотрю, что он слесарь.

Дина жалась в углу и стеснительно поглядывала на нее из сумрака:

— Хатка у вас маленькая, негде и повернуться. Где мы уместимся с такой оравой?

— В тесноте, да не в обиде.

— Она не завалится?

— Эта хата еще нас с тобой переживет. Стойкая! — ободряла ее Касатка.

— Отвыкла я. Чего-то боюсь. Каждый день воду на себе носить, печку растоплять...

— Живой огонек теплее.— Касатка поворошила кочергою жар, весело кивнула: — Ишь как румянится! И по воду люблю я на Касаут ходить. Колодезная хужей. Жесткая. Пешочком туда-сюда пройдусь — душа омолодится.

— Без газа, без воды... как жить? — почти с отчаянием спросила Дина.

Касатка не ответила ей. Рогачом ловко поддела чугун и, вытащив его из печи, выставила на лавку. Затем с каким-то медленным, несвойственным ей подозрением обвела глазами чисто побеленные стены, скособоченные оконца, открыла сундук и с видом крайней озабоченности стала перебирать кофточки, платки. Ничего не вытащив, опустила тяжелую крышку и повернулась лицом к Дине:

— Верченой делаюсь. Вчерашний день искала... А мы за эту хату с Максимычем вон как бились! Еле защитили поместье.

— От кого?

— Председатель выселяет меня в казенный дом. Максимыч заступился. Да, видать, зря я наседала на Максимыча. Зря он столько хлопот принял. Кабы все загодя знать. Ты же раньше не писала...

— А что, мама?

— Да что... Голову морочили Матюшке. Не надо было противиться.

Я коротко объяснил Дине суть дела. Черные глаза ее ожили, повеселели, вспыхнули прежним блеском.

— Конечно, мама, противиться смешно. Вы же слепнете в этой курнушке. Господи, за что тут держаться? За печку?

— А я больше не держусь,— помедлив, возразила Касатка.— Лишь бы вам хорошо было. С вами я теперь заживу! Крюком меня не достанешь.

Дина, волнуясь, пересела к столу и рассуждала вслух:

— Значит, мы получим квартиру со всеми удобствами. В ней две или три комнаты?

— Дадут и три, если ты запишешься в колхоз. Не дюже много охотников на этот дом.

— Люди еще не раскусили,— сказала Дина.— Надо, мама, поторопиться. Вам самую большую и светлую комнату отведем.

— Да мне где бы ни притулиться, лишь бы рядком с внучатами.— На лице Касатки блуждала растерянная, виноватая и в то же время счастливая улыбка.— Вот бабка. Из ума выжила. Небось и правда в казенном доме тепло да хорошочко. А тут зимой черти пляшут, холоду хвостами нагоняют.— Она подхихикнула в кулак и тут же, глянув на меня, осеклась, призадумалась, извиняющимся тоном тихо объяснила: — Ты уж не обижайся на тетку. Сам видишь: куда им без меня?

Она поглядела в огород, где стеною зеленели вишни, погладила стекло ладонью, через силу улыбнулась:

— Я буду к ним наведываться в гости. Их не порубят?

В это время разыгравшиеся дети выдернули из кучи дров по длинной хворостине и рванулись хлестать забор с таким упоительным восторгом, точно перед ними было живое и враждебное им существо. Я вышел в сени угомонить их, но мальчик лихо пронесся по двору и с необъяснимой мстительной злостью резанул жидкой, свистнувшей в воздухе хворостиной по лепившимся на стене черно-синим гнездам. Ласточки выметнулись из-под застрехи, подняли переполох, беспорядочно, ошалело зашныряли возле окон. Среднее гнездо отстало и упало наземь, из него полетели перья и пух. Я выхватил у мальчика хворостину, и тут показалась на пороге Касатка. В один миг она оценила все, что произошло, прислонилась к косяку и взялась за сердце:

— Ох, Максимыч, все. Переедем.

Ласточки носились над хатой и оглашали двор суетливым, казалось, прощальным писком.

— Какой грех! — охала Касатка.— Они обиделись на меня.

На закате шел я клеверным полем мимо Чичикина кургана. Солнце медленно клонилось к земле, малиновая полоска неба рдела на горизонте, и на траве лежал мягкий алый свет. Глазам от него было покойно, то же умиротворение и спокойствие проникало в душу, наполняя ее ощущением слитности со всем этим добрым и тревожным миром, с небом и вечерним солнцем, с травой и редкими, стыдливо озаренными, розово вспыхнувшими облаками; кое-где волокна их струились по горизонту и тонко светились... Дойдя до того места, где стоял баз, а теперь жадно, неистово зеленел и цвел клевер, я вспомнил нашу Маню с белой проточиной на лбу, ее жалобное мычание и вздохи, тугой перехлест молока в ведре, голос матери за воротами и устрашающий сумрак за курганом, в молчаливых полях, вспомнил все это — и меня охватила щемящая сладкая боль: думалось ли мне, мечталось ли в ту пору, что вот таким, как сегодня, буду я шагать на заходе солнца по этому полю? Шагать и так же, как тогда, надеяться на что-то лучшее, что непременно встанет, возникнет впереди наградой за долгое ожидание... Настанет осень, и там, за станом, начнут строить невиданную в округе ферму, навезут горы кирпича, железобетонных плит и металлических конструкций, взревут бульдозеры и засинеют огни электросварки — закипит новая, вечно молодая жизнь. «Пусть кипит,— думал я с облегчением и с тайной завистью к тем, кто станет ее хозяевами.— Течет Касаут, и река жизни должна течь. Так было и так будет всегда».

В моих мыслях о Босове и об этой напористой, дерзкой, по-своему правой жизни неизменно присутствовала Касатка, и хотелось верить, что больше ее никогда и никто не обидит, плохое не пристанет к ней, а доброе еще случится, будет оно, не пропадет для нее бесследно. И было бы совсем ладно и совсем хорошо, если бы ее понял Босов, не одним разумом, а всею душой, всем сердцем почувствовал тетку, тогда бы, наверное, легче и надежнее шагалось им вместе куда угодно. Но вот что же мне было тревожно, что не давало ощущения полной гармонии и полного счастья?..

В траве беззаботно стрекотали кузнечики, откуда-то с

выгрева доносился призыв кукушки, в промежутках между ее гаданиями дружно выхлестывали из садов голоса мелких пташек, и среди этого довольно стройного хора вдруг выделился крик — ликующий, горластый, покрывший все остальные звуки,— это заорал петух Егора Нестеренко, вскочивший на толстый кол плетня. Я сразу узнал забияку с огненно-рыжим хвостом, и мне стало весело. В бодром настроении я сделал несколько шагов, опять оглянулся и... увидел Касатку. Пестрея штапельным платьем, сложив на груди руки, она стояла возле своего белого забора и глядела мне вслед.

Выпадет ли удача, доведется ли когда-нибудь свидеться с нею еще?

1976


Чинара





1

С бугра завиднелся хутор Сторожевой: десятка три хат, все больше старых, опятами разбрелись в ложбине вокруг красновато-бурого здания начальной школы.

Арина глядела на хаты с нарастающим чувством радостного удивления и какой-то внутренней неловкости за себя, будто она в чем-то провинилась перед ними. Автобус остановился в центре хутора. Арина расплатилась с шофером, подхватила чемодан, туго обтянутый черным ремнем, и вышла.

Было весеннее теплое утро, в огородах пахали. Свежий запах потревоженной земли мешался с горьковатым дымом, который висел по-над садами белой шубой: повсюду жгли прелые листья, бурьян.

Арина ни с кем не хотела встречаться, отвечать на пустые вопросы. Хотелось идти одной, идти и чувствовать под ногами мягкую землю, повлажневшую от росы. Проворно сновали в огородах тракторы на резиновых колесах, остро взблескивали лемеха плугов. Невольно вспомнилось: когда она уезжала отсюда по вербовке, тоже была ранняя весна и тоже пахали, только на быках. Воспоминание пробудило неясную боль, тоску по утраченной молодости, и, чтобы не думать об этом, не растравлять напрасно душу, Арина вскинула в окладе темных кос голову и пошла бодрей: при быстром шаге мысли веселее.

Вот и переулок ее детства; извилистый, узкий, как небрежно брошенная плетка. По обеим сторонам его — оплывшие земляные валы в почерневшей крапиве, с разбросанной поверху дерезой, старой, уже без колючек,— кое-где проглядывали заплаты свежей порубки.

Там, где обрывался левый вал, в просвете черных веток вишняка одиноко бурело пятно соломенной крыши — то и была матушкина хата, жадно прилипшая к земле. Плотно прижали ее обильные в этих местах ливни с градом, обтесали и обмыли бока так, что казалось: не построили ее тут, а сама она выросла на черноземе, будто замшелый диковинный гриб.

У Арины защемило в груди. Впервые за всю дорогу она приостановилась, переменила на тяжелом чемодане руку. «Матушка писала, что крыша протекает,— вспомнилось ей.— Солома-то еще отцовская, видно, сопрела уже... Ничего, раздобудем новой, перекроем».

Из огорода сочился дым. Медленно, вяло поднимался он над садом и вдруг торопливо повалил сизыми клубами, озарился искрами.

«Матушка подбросила в костер чего-то,— догадалась Арина.— Дома она».

Арина осторожно отворила калитку, на цыпочках прошла через весь двор. В накинутом на голову линялом оранжевом полушалке, в ботинках на босу ногу, мать сгребала мусор в саду и относила к костру. Скорбно опущенные плечи, седые пряди волос на висках... «Старушка уже, без меня состарилась,— сжалось у Арины сердце.— А я веялась, о ней не думала». И в горьком раскаянии, в приливе нежности к матери, оставив у порога чемодан, Арина кинулась в сад, горячо и ласково обняла ее.

— Старушечка моя... мам! Как вы тут без меня? Целых пятнадцать лет.

Мать вздрогнула и обернулась, из рук у нее выпали наземь грабли. Арина прижалась к ее лицу щекою и плакала, не стесняясь слез. Плакала навзрыд:

— Я-то мыкаюсь, развлекаюсь... А вы все одни!

— Чего ты? — как бы опомнившись, заговорила мать.— Не плачь. Радоваться надо, что встретились... что живы, землю топчем.

— А я смотрю, вы — грабельками по листьям. Так сердце и зашлось.

— У меня грабли легкие.

Мало-помалу успокоились они, вошли в хату. Аринину

мать в хуторе звали по-простому — Климихой. Это слово, заменившее ее имя и отчество, как-то удивительно ладилось со всем ее обликом, с рыхлым и полным телом, некогда упругим, как у дочери, с расплывшимся широким лицом в частых и глубоких морщинах.

В хате было сумрачно. Живой свет едва пробивался сквозь маленькое скособоченное окошко и не мог рассеять тьмы, как бы навсегда осевшей тут. В углу, напротив двери, чисто белела кружевным покрывалом кровать Арины. Все пятнадцать лет она сиротски пустовала, а Климиха в ожидании дочери спала на печи, подстилая под бока еще в девичестве сотканные дерюги, под голову — подушку из гусиных перьев. Арина села на кровать — жестко и незнакомо скрипнули пружины. На стене, выше окна, тусклым глянцем блестели фотокарточки в деревянных рамках, окрашенных под бронзу. За долгое ее отсутствие в хате мало что переменилось, только появилась под горбатым потолком электрическая лампочка на белом шнуре.

— Горит? — Арина кивнула на лампочку.

— Светится,— сказала мать.— Раньше лучше было, теперь беда: счетчик повесили. Ему-то что? Зудит себе да кружится, а мне все плати.

— Мам, это ж копейки!.. Чудные вы.

— А мне и копейку негде взять. Была б я трактористкой. Вот как Машутка...

— Машутка — трактористка?

— А ты думала! Как сядет за руль, почище мужика пылит. Даром что необразованная...

Арина в минутном раздумье позвенела монистами на груди, затем порывисто встала, дотянулась рукой до выключателя и щелкнула им. Резкий желтовато-белый свет плеснулся в глаза, вытеснив сумрак.

— Пусть горит! И у нас есть чем заплатить.

— Дай-то бог, если есть,— сказала Климиха. И осторожно, с тайною тревогой в голосе, с ожиданием радости для своего истосковавшегося в одиночестве материнского сердца осведомилась: — Ты-то надолго заявилась? Тот анчихрист не прилетит за тобой?

— Мы с ним уже три года как разошлись,— равнодушным тоном, словно о чем-то постороннем и неважном для нее, ответила Арина, разглядывая себя, давнюю и молодую, на поблекших фотографиях и тихо улыбаясь им.— Он, мам, за длинным рублем погнался... Рыбачил на ко-

рабле, ну и сошелся там с буфетчицей. Я узнала, за чемодан — и деру от него...

— Ты мне писала,— вздохнула мать.

— Я, мам, гордая. Измены не потерплю.

Арина сняла со стены цветную фотографию, сдула с нее пыль. Стояла она у сосны в нарядном платье, в белых туфлях и в шляпке; стояла не одна — с молодым, могучего роста мужчиной, который держал ее за руку и, дерзко подняв литой подбородок боксера, с вызовом глядел прямо перед собой — чернявый, как цыган, самоуверенный и сильный. Хоть Арина сама не маленького роста, однако едва доходила ему до плеча, в сравнении с ним выглядела хрупкой девочкой-подростком.

Подержав фотографию в руках, она чему-то грустно и язвительно улыбнулась, отогнула на рамке гвозди, вынула из-под стекла карточку, быстро разорвала ее на мелкие части и выбросила в лохань.

— Зачем? — только и успела произнести Климиха, глядя, как на воде расходятся кусочки фотографии, не раз дарившей ей молчаливую радость в долгие вечера одиночества.

— Из сердца вон — с глаз долой.

— Хоть бы себя отрезала. Ты красивая там.

— У меня другие есть,— утешила ее Арина.

Потом она достала из чемодана шелковый, в пышных и ярких розах платок, простроченный по краям двумя золотыми нитками. Накинула на плечи матери, радостно залюбовалась ею:

— Мой подарок.

Платок этот Арина покупала для себя, но скоро он вышел из моды — слишком горячие и броские были на нем цветы, и она упрятала его на дно чемодана, авось когда-нибудь пригодится.

— Красивый, мам?

Климиха завороженно, без слов любовалась платком, разглядывала его на свет и разглаживала на плечах, глаза ее при этом слезились — от счастья, от нахлынувшей благодарности к дочери. Но и что-то беспокойное, болезненное мелькало в них. Арина с волнением следила за выражением ее лица.

— И сколько он стоит? — переходя на шепот, спросила мать.

— Уже не помню. Давно купила.

— Продать бы его,— сказала Климиха, странно ожив-

ляясь.— Он дорогой, за него можно большой дом в селе выменять. А ты думала!

Арина взглянула на мать и замерла. Между тем лицо у матери становилось чужим, вдохновенно-далеким. Климиха опять залюбовалась платком, по-детски ясно улыбнулась и заговорщически подмигнула:

— Красное по черным точечкам! Схороним его.

— Мам...— цепенея от мелькнувшей догадки, одними губами пошевелила Арина.— Это ж обыкновенный платок.

— Э! — Климиха многозначительно повела в воздухе указательным пальцем.— Ты сама ему цены не знаешь. А я по нитке вижу. Нитка-то дорогая.

Арина не знала, как ей вести себя, звать ли соседей или молча, не двигаясь, дожидаться чего-то. Пока она скиталась по свету в поисках лучшей доли, мать успела состариться; постоянное одиночество подточило ее здоровье. «Вот мне наказание за все!» — думала Арина.

— Схороним его,— твердила Климиха и почему-то оглядывалась на дверь.

Но тут она запнулась, как бы упустив нить речи, и долго молчала, уставившись себе под ноги. Затем подняла на Арину глаза, медленно поднесла ко лбу темную, в синих прожилках руку, что-то вспоминая.

— В висках шумит,— с недоумением проговорила она.— А ты все сидишь и слушаешь старую дуру.— Речь ее становилась трезвее, осмысленнее.— Я тебе много койчего наговорю, я теперь говорливая... А ты, Арина, одергивай меня. Околесицу начну нести — ты меня и одерни. Стара, забываюсь уже... А за платок спасибо. Буду носить его по праздникам, девкам на загляденье.

Арина с недоверием вслушивалась в ее переменившийся, разумный голос и все еще мало верила, что мать вновь при ясном уме и что внезапный приступ болезни схлынул.

— Что так глядишь на меня? — обиженно спросила Климиха.— Доживешь до моих лет — поймешь... Хоть бы о себе рассказала матери.

— Не знаю, что и рассказывать,— в растерянности отозвалась Арина.— И давно это у вас, мам?

— С головой? Лет пять уже.

Помолчали. Арина сняла с онемевших ног узкие лакированные туфли, сунула их под кровать.

— Такое, как нонче, редко у меня случается,— заговорила Климиха, повязываясь шелковым платком.—

Только когда дюже перенервничаю. А вот с памятью прямо беда.— Она скорбно вздохнула и скрестила на коленях крупные руки.— Прохудилась память, все забываю. В гости к соседке потепаю, на одной ноге опорок, на другой сапог. А то кофту у кого-нибудь забуду. Ищу ее, треклятую, ищу, пока добрые люди не принесут. Вот до чего дожила... Иной раз, веришь, Аринка, пообедать забываю. Засосет в животе, тошнотой проймет, аж тогда вспомню, что целый день колготюсь не емши. А бывает, встрену куму Апроську, да и забуду, как звать ее. Оно вроде пустяк, что выветрилось из головы. А мне обязательно нужно вспомнить. Стою толкую с кумой, а сама все думаю: ну как ее звать, лахудру? Одно мучение, Аринка, не дай бог никому.

— Вы, мам, поменьше думайте,— сказала Арина.— Поживите спокойно.

— Да мне и кума говорит: чего, мол, зря убиваться? Ну забыла что, и шут с ним, само когда-нибудь на ум придет. Я бы и рада не вспоминать, да не могу... Моченьки нету.

К вечеру начали собираться гости. К их приходу Арина успокоилась, нарядилась в черное, до колен, платье, плотно облегавшее ее фигуру, на грудь накинула в два ряда янтарное ожерелье с застывшими мушками в прозрачных камешках. За плечи выпустила две тяжелые косы. И сидела за столом строгая и красивая, будто нездешняя.

Первой явилась давняя Аринина подружка, востроглазая Машутка Кулачкина — по девичьей фамилии. В мужских шароварах, в синей застиранной куртке, она вкатилась в хату, принеся с собой запах бензина. Машутка было намеревалась сразу пуститься к столу, но, увидев Арину в платье с глубоким вырезом на груди, неожиданно для себя замешкалась, застряла в дверях.

— Ты, Аринушка? — Голос у нее осекся.— Ой, какая нарядная, даже страшно!.. А я прямо с «Беларуса» к тебе. Побежать переодеться, что ль?..— Машутка в замешательстве оглядела себя с ног до головы, ожидая, что скажет Арина.

— Входи, входи. И давай обнимемся.

— Ой, да я в мазуте!

Арина вышла из-за стола и, приблизившись к Машутке, привлекла ее к себе, поцеловала раз и другой в темные задубевшие щеки подруги. Когда-то Машутка была пух-

ленькой, нежной, с тонким, как звонок, голоском, а теперь перед Ариной стояла полная, грубоватая на вид женщина. Что-то угловатое, мужское угадывалось в ее лице и фигуре и даже в том, как она обнималась и радовалась. Веяло от нее здоровьем, силой... А в выражении глаз светилось прежнее озорство, сдерживаемое невольным смущением, овладевающим в такие моменты людьми доброго и трогательного сердца.

— Молодец ты! — не удержалась от похвалы Арина, гордясь за Машутку.— Небось не одному мужику нос утерла?

Машутка примостилась на табуретке, осмелела и взволнованно, осипло зачастила:

— Надо ж, приехала! Как снег на голову... Аринушка, а ты еще молодая, красивая. Куда мне до тебя, господи! Я уже баба, а ты как девушка. Даже не верится...

Тут новый гость пожаловал — чабан Григорий Поправкин, родной дядя Арины. Мохнатая, как у татарина, шапка высоко сидела на нем, немного прибавляя ему в росте. Поскрипывая кирзовыми сапогами и распространяя вокруг себя запах кисловатой овчины, Григорий поздоровался с Ариной и за неимением лишней табуретки уселся на деревянном бочонке из-под капусты.

— А вы, дядь Гриша, все пасете? — осведомилась Арина, чтобы ободрить его своим вниманием.

— Пасу.— Григорий встряхнул для серьезности сухими плечами.— Двадцать годков с отарой, шерсть вам на костюмы поставляю.

Арина, слегка потешаясь над ним, усмехнулась:

— Вы, я вижу, государственный человек.

— А что? — возгордился Григорий, вскинув на нее голубенькие, чуть вылинявшие на ветру и солнцепеке глаза.— Такой и есть, со мной не шути. Обо мне и в газетах пишут... А ты все рыбу солишь? — тут же полюбопытствовал он, хитровато щурясь.

— Перестала рыбка ловиться, дядь Гриша. Не тот сезон... Вот я и вернулась.

— А я думаю, с чего это у нас в магазине селедки не стало. Раньше было хоть кадушками бери ее, теперь и на нюх не везут.

— Ох, дядь Гриша! — Арина лукаво погрозила ему.— Язык у вас — бритва.

— Оно и ты, девка, не промах,— довольный безобид-

ною перепалкой, сказал Григорий.— Пальца тебе в рот не клади — откусишь.

Не успели обменяться они колкостями вперемежку с похвалою, как на пороге показались еще двое: седеющий старичок со сморщенным и желтоватым, что печеная груша, лицом, в пальто мышиного цвета, с маленькой ивовой корзинкой в руках. Старичка Арина видела впервые. За его спиной остановилась женщина средних лет, плоскогрудая, со светлыми, как осенняя водица, глазами. Ее Арина угадала. Это была доярка с хуторской фермы Марея, лет на пять старше Арины. Мужа ее, писала мать, прибило сосной не лесоразработках. Покрытая черным платком, Марея походила на монашку: в лице затаенная скорбь и смирение, взгляд исполнен печали.

— С приездом тебя,— пропела Марея, сверкнув из-под платка глазами.— Давно ты не заезжала в наши края.

— Здравствуй, Марея,— Арина усадила ее по правую сторону от себя, а с левой уже успела прилепиться Маштутка.

— Позвольте, так сказать, отрекомендоваться! — заявил вдруг старичок, сделав полупоклон и поставив на стол корзину, в которой прозрачно желтели моченые яблоки.— Бывший учитель биологии нашей районной средней школы Евграф Семеныч Прокудин. С матерью вашей состою в знакомстве пятый год, как переехал сюда на тихое жительство. И смею заверить: истинно уважаю ее.

Старичок был навеселе и, пожалуй, немного паясничал. Глаза его лукаво щурились, морщины под ними стекались в узелки, придавая всему его облику какое-то несерьезное выражение. Было заметно, что старичку очень хотелось понравиться Арине. Блеснуть перед нею умом и светским обхождением.

— Евграф Семеныч на пенсии, кошелки плетет,— вставила Климиха, собирая на стол.— Мне тоже сладил два короба.

— И не только в кошелках талант мой,— живо подхватил старичок.— Я и по части науки силен был. Можем, если хотите, приятно и полезно побеседовать, к примеру, об удивительном размножении водного гиацинта. Между прочим, любопытный цветок!

Арину стала раздражать назойливая болтливость Евграфа Семеныча. Она охладила его пыл несколько суровым возражением:

— Об этом потом. Не к спеху.

Кое-как разместились за столом, пододвинув его к кровати, а с другой стороны приладив доску на двух табуретках. Арине было радостно находиться в кругу знакомых, родных людей. Умом и сердцем отдыхала она среди них. И прошлая жизнь, оставшаяся где-то в туманной и зыбкой дали, с ее тревогами и вспышками недолговечного счастья, была уже как сон...

Машутка, непривычная к питью, быстро хмелела, наливалась румянцем; ее умиляло новое сближение с Ариной, показавшейся ей сначала такой недоступной и строгой. Машутка гордилась, что ледок, настывший между ними за годы разлуки, растаял. Мельком взглянув на Марею, занятую беседой с Григорием, она шепотком поинтересовалась:

— Новость слыхала? Игнат обещает осенью наведаться в хутор. Гляди, вы с ним и повстречаетесь.

— Незачем,— сказала Арина.

Озадаченная ее ответом, Машутка призадумалась, опять тронула Арину локтем:

— Костю Ломова небось помнишь? Того... рябого?

— А что?

— Сторожем он в огородней бригаде. Живет как бирюк и, знаешь, Аринушка, твою карточку при себе носит, в паспорте!

— Я ему не дарила карточек...— задумчиво произнесла Арина.

— Так он ее со стенки у вас содрал. Спроси-ка у матери, она расскажет. Теть, пойдите сюда! — позвала Машутка Климиху, которая, гремя ухватами, возилась в это время у печи.

— Ладно, сама расскажи,— одернула ее Арина.

— Чего тебе? — отозвалась Климиха.

— Уже не надо! — замахала руками Машутка и торопливо, будто обжигаясь горячим шепотом, опять зашелестела над ухом подруги: — Он у вас тогда шибку в окне вставлял. Ну и, значит, содрал карточку, где ты в белом платье снятая. А мать твоя заметила, да и скажи ему: «Костя, ты на мою Аринку глаз не пяль. Она, мол, замужняя, не пара тебе... Приголубь, говорит, какую попроще». А он: «Не бойтесь, теть, я вашу дочку не сглазю. Краса ее при ней и останется». Рябой да тихий, а глядика: тоже туда же.— Машутка отчего-то покосилась на Марею и, прикрыв рот ладонью, добавила: — Ему б любую под крылышко, а он еще выбирает.

Арина слушала ее внимательно, серьезно. Когда Машутка оборвала шепот, она сказала:

— Поговорили о нем, и хватит. Лишнего про Костю не болтай.

— Аринушка, а ты что, жалеешь его? — словно оправдываясь, говорила Машутка.— Я это одной тебе по секрету, другим никому... Не обижайся, если скажу: ты его сама испугаешься, если увидишь. Он еще хуже на лицо стал.

— С лица воды не пить,— сказала Арина, обернулась к матери и вдруг спросила, нельзя ли позвать к ним Костю Ломова.

Услышав это, Машутка задвигалась по жесткой доске, захлопала круглыми, широко раскрытыми глазами. Ей показалось, что Арина захотела подшутить над Костей. Однако та хранила сосредоточенно-задумчивое выражение на построжевшем лице со вскинутыми черными бровями. Мочки ее ушей, в которые были вдеты золотые дужки маленьких серег, едва заметно подрагивали.

— Ну так что, пригласим Костю? — намеренно громко спросила Арина.

— Он не придет,— за всех ответила Марея.— Сторожует Костя.

Изрядно опьяневший Евграф Семеныч манерно приложил правую руку к сердцу и в готовности услужить склонил набок голову:

— Ради вас, Арина Филипповна, я сбегаю за Костей. Мы с ним друзья, и говорю вам: он будет здесь через полчаса. Засекайте время.

— Расшаркался,— недовольно пробормотала Марея и еще ниже опустила платок на лоб.— Пожилой, грамотный, а ни стыда, ни совести. Залил глаза... И все слова у него с ужимкой.

— Нехай бежит, спотыкается,— шепнул Григорий.— Не ругай его, Марея. Стар он, из ума выживает.

Марея скосила на него свои потускневшие глаза, повторила:

— Сторожует Костя.

2

В темных сенях послышалось неловкое шарканье чьих-то ног, что-то оборвалось там со стены и ударилось оземь. Евграф Семеныч осердился, пробормотал невин-

ное ругательство. Тут же метнулось с порога его известие:

— Костя пришел!

Арине бросилась в глаза скошенная набок, скорбная фигура Кости в серой, не по росту длинной и свободной одежде, в пыльных кирзовых сапогах гармошкой и в белой кабардинке с отвисшими книзу полями. Лба из-под кабардинки видно не было, лишь чисто синели широко открытые, удивленные глаза. Светилась в них по-детски трогательная радость, но и тихая затаенная печаль сквозила из самой глубины этих доверчивых глаз, придавая им выражение постоянной боли. Отмеченное оспой, бледное лицо его было взволнованным.

Костя неловко переступил порог, остановился, вытянув руки вдоль тела, в котором угадывалась еще не истраченная молодость. Быстро, украдкой взглянул он на Арину — и свет какой-то пробежал по щекам его, коснулся губ...

— Привел! — ликовал Евграф Семеныч, поспешая на свое место.— Вот он, перед вами, Арина Филипповна, собственной персоной!

Евграф Семеныч возбужденно рассказывал, как он бежал во тьме по кротовым кочкам прямиком к сторожке и как не поверил Костя вести о возвращении Арины. Костя стоял, потерянно передергивал плечами, пока Арина не осадила Евграфа Семеныча холодным замечанием:

— Евграф... забыла, как вас по батюшке, вы бы поели борща. У меня в ушах зудит от вашего крика.— И обратилась к Косте: — Садись возле меня. Молодец, что пришел.

Евграф Семеныч сник, взял ложку и потянулся к тарелке. Остальные затихли, с интересом наблюдая за Костей. Марея отодвинулась к Григорию, подперла щеку рукой, задумалась вроде о чем-то своем, далеком. Зрачки ее сузились, потемнели. Костя снял с головы кабардинку, отер ею капельки пота со лба, изрезанного двумя продольными морщинами, словно затянувшимися шрамами. На мощный шишковатый лоб свисали серо-пепельные волосы, пятерней он откинул их на сторону. Помедлил, решая, куда бы определить кабардинку, и кинул ее в подол Климихе, присевшей возле печи на опрокинутое вверх дном ведро. Климиха встала и молча повесила кабардинку на гвоздь, забитый в балку, на которой давным-давно, еще перед войной, висела на крепких веревках люлька.

Костя двинулся к столу, сел рядом с Ариной, теряясь

от ее близости, боясь прикоснуться к ней плечом. Арина сама налила ему из бутылки, потом себе и сказала:

— За нас!

Костя пил редко, раз в году, не понимая, что́ люди находят в вине, но сейчас он выпил с удовольствием и даже не почувствовал горечи во рту. Однако хмель взял свое, ему сделалось светло и радостно, и он сознался:

— Я торопился. Как ты кликнешь, я всегда тороплюсь. Помнишь, ты позвала ребят кататься на санках? Месячно было, морозно. Я первый примчался.

— Не помню,— сказала Арина.— А на кого ты сторожку оставил?

— Пустая. Воров у нас нынче мало, у людей свое девать некуда. Но я скоро побегу.

— Тогда и нечего торопиться, если воры перевелись. Побудь. Мне с тобой веселее.

Горячая, ласковая волна хмеля подкатывалась к его сердцу, оно куда-то падало и опять взмывало, перехватывая дух, как на качелях. С той минуты, как он увидел Арину, им овладело состояние, близкое к счастью; он забыл про себя и про свою неловкость, мало сам понимал, о чем говорил с Ариной, и как бы совсем не замечал в хате других. В последние годы он уже терял надежду на возвращение Арины и совсем не помышлял быть когда-то приглашенным ею на вечер. Не сон ли он видит? Ведь это почти невозможно — наяву сидеть с нею рядом, ощущать ее дыхание, слушать этот почти забытый голос. Но во сне все глухо и смутно, а тут, в хате,— отчетливо, ясно...

— Костя! — сказала Арина.— А мы с тобой странные, чудные люди. Мы вольные птицы! Многого от жизни не просим — ни почета, ни должностей. Живем, от других не зависим.

— Нам должности ни к чему,— сказал Костя.— Да и не дадут их нам.

— Думаешь, я приехала и перины кинусь набивать? Нет, я жить буду. Я хочу красивой и радостной жизни.

Машутка подслушала и на что-то обиделась. Заметила с робким вызовом:

— Перины не набьешь — спать мягко не будешь.

Арина обернулась к ней, недовольная, что Машутка не спросясь влипла в разговор, небрежно отмахнулась:

— Перину-то я набью, одну. И хватит. И дом построю. Но жить для перин и дома не буду.

— Тебя не поймешь,— вздохнула Машутка.

— Вот люди! Всегда им разжуй да в рот положи. Сами не желают думать... Ковер-то себе на пол небось купила?

— А как же,— загордилась Машутка.— Два ковра: для зала и спальни. По праздникам расстилаю. Красота, Аринушка,— глаз не отведешь. Я покажу тебе. Они у меня в комоде лежат.

— А я куплю ковер, чтоб каждый день ходить по нему. В будни и в праздники.

— В будни! — ужаснулась Машутка.— На много ли его станет? Он же деньги стоит! Я на что справно получаю, иной месяц до двухсот вытягиваю,— и то на их, проклятых, целый год положила. Тряпье же не купишь, нонче все за дорогим да модным гоняются.

— Ну и пусть ковры у тебя нафталином воняют. Дыши. А я куплю и ходить буду.

— Аринушка, может, я чего и не понимаю,— заюлила Машутка,— но никто после этого не назовет тебя хозяйкой. Это там, где была ты, видать, по коврам и в будни шастают. А у нас не принято. Дорогую вещь беречь надо.

— Ну и живи для дорогих вещей,— рассердилась Арина.— Не они для тебя, а ты для них. Хорошая жизнь!

— Живем как умеем.

Арина решила, что бесполезно продолжать спор, и не ответила на легкую колкость подружки, опять заговорила с Костей:

— Интерес меня берет, смотрю на тебя и думаю: тот Костя или не тот? Переменился ты.

— Постарел я,— пробормотал Костя, стыдливо пряча свое лицо в ладонях.

— Что ты охраняешь?

— Лук, морковку, картошку сортовую...

Евграф Семеныч хоть и пьяноват был, но краем чуткого уха улавливал их разговор. Ждал момента ввернуть в него и свое словцо. Упоминание об овощах взбодрило его, он приподнялся над столом, потряс корзиной, будто призывая всех к тишине, и выпалил:

— Позвольте, Арина Филипповна, от чистого сердца, так сказать, прояснить дело! Костя еще и травы собирает. При мне свидетели, соврать не дадут.

— Травы?

— Именно травы, Арина Филипповна. Для лечебных надобностей. По-ученому — лекарственные растения.

— Это правда, Костя?

— Правда. Собираю и сушу,— сказал Костя.

— А я вам что говорю! — воодушевился Евграф Семеныч, светясь пьяной торжествующей улыбкой.— Собирание трав, Арина Филипповна, вселяет в душу мудрый покой и отвлекает мысли от дурного.

— И что же ты сушишь? — продолжала допытываться Арина, с любопытством присматриваясь к Косте.

Евграф Семеныч опять вскочил:

— Это я вам мигом перечислю.— Он запрокинул вверх голову, замигал покрасневшими веками, припоминая.— Значит, так: наперстянку, перец водяной, живокость, горицвет весенний, лазорик, баранчики, кровохлебку, волчеягодник, тмин, чебрец, козлятник...

Арина слушала не перебивая. Оказывается, эти травы с такими диковинно-загадочными названиями растут и цветут вокруг хутора, в лесах и на лугах, а она никогда и не подозревала об этом. В его словах было что-то особенное и чистое, дорогое ее сердцу, истосковавшемуся по дому. Евграф Семеныч все перечислял, а Костя кивал головою в такт его монотонному, хлипкому, как у подростка, голосу. Много знал трав Евграф Семеныч, названиями сыпал что из короба:

— ...Кузьмичева трава, можжевельник, ятрышник широколистый... мужской... пурпурный, змеевик мясо-красный, ястребинка волосистая, донник...

Наконец со словами: «Сразу-то все и не вспомнишь!» — Евграф Семеныч кончил. Арина долго молчала, потом спросила у Кости:

— Ну собрал, насушил и — что?

— Людям раздаю. Кто попросит.

— Он меня от простуды только и спасает,— вставила Климиха.— Как расклеюсь, так и бегу к нему в сторожку.

— Сердце заболит, чем станешь лечить его?

Костя быстро взглянул на Арину: о чем она? Помедлил и ответил серьезно, стараясь быть рассудительным:

— Сердечных болезней много, и для каждой свое лекарство. Сгодится ландыш, горицвет либо обвойник греческий, а то и желтушник.

— Полечиться б у тебя. Дорого берешь за травы?

Брови у Кости жестко сошлись на переносице.

— Плату не беру,— передернул плечами.— Мне это в радость.

— Знаю, что не берешь. Спросила так... с языка слетело. Тебя за сумасшедшего не принимают?

Костя молчал.

— Что с некоторых взять... Не переживай.

Марея нервно отняла руку от щеки, схватилась с места, расправляя оборки на платье и говоря, что пора и честь знать, нагостевалась. Арину слегка задела ее поспешность, но она не стала упрашивать Марею посидеть еще и вышла проводить ее. Давно вызвездило. Вокруг — густая тьма. Трепетно желтели редкие огоньки в хуторе, где-то по большаку медленно тек густой сноп света — ехала машина. Марея отворила калитку и обернулась, забелев из-под платка лицом:

— Ты его не задерживай, отпусти.

— А тебе что?

— Сторожует он, ночь темная.

— Отпущу, иди... На дойку рано встаешь?

— В четыре,— нехотя ответила Марея.

— В доярки примете?

Марея усмехнулась, посоветовала:

— Одохнула б. Лямку на шею всегда накинешь. Невелика честь.

— Без дела не могу. Скучно.

— Тогда валяй. Обрадуешь нашего председателя. Иных к нам и плетью не загонишь, а ты сама — как птица в силки...

И пошла, зашуршав платьем и больше не проронив ни слова. Арина постояла, подумала: «Чего это она сердится? Или всегда такая?» Махнула рукой и вернулась в хату. С удовольствием подсела к Косте, опять принялась за свое:

— И многих вылечил?

— Счету не веду.

— Многих,— заспешил Евграф Семеныч.— Очень многих, Арина Филипповна! Он и Марею от бессонницы лечил. Бывало, ночами мается, не спит Марея, а как закроет глаза — муж к ней идет. Живой, веселехонький, вроде и не убило его бревном. Идет, посмеивается себе в усы да приговаривает: «Вот сейчас обниму тебя и унесу с собой». В страхе, в холодном поту просыпалась бедная женщина, криком кричала...

— Чем же ты помог Марее?

Костя смущенно поежился.

— Спиртовой настойкой пустырника. Растение есть такое — пушистое, мохнатое. Нервы оно успокаивает, а поглядеть на него — вроде сорная трава.

Внезапно у ворот заржала лошадь, тень ее шарахнулась в глубину проулка, гул копыт понесся куда-то и затих. Издалека долетел испуганный голос мальчишки:

— Тпру-у! Сто-ой!

— Это мой Коля! — вскрикнул, бледнея, Григорий и кинулся вон из хаты.

Костя с Ариной выбежали следом за ним. Лошадь, видимо сильно напуганная каким-то ночным видением, уже неслась обратно к ним в сумасшедшем галопе, грозя вышвырнуть из седла неумелого всадника. Вот она пролетела мимо них, злобно фыркая, звеня удилами, и скрылась в ночи.

— Папа-ань! — жалобно молил Коля.

Григорий в растерянности метался возле ограды:

— Не бей ее! Стремена прижми! За шею держись!

На что-то решаясь, Костя затаил дыхание, опустился на колени и вдруг, оттолкнувшись от земли, рванулся вперед, за удаляющимся гулом. Сам во тьме похожий на зверя, он пригибался к земле, бежал и взмахивал руками, будто плыл против течения по горной взбалмошной реке. Мозг его работал лихорадочно, но четко; домчаться до колодца, притаиться там и ждать, пока лошадь не повернет обратно. Он знал, что она не убежит далеко от жилья. И точно: не успел он спрятаться за срубом, всей грудью припасть к нему и упереться ногою в вал, как уже почуял нарастающий топот. Костя весь напружинился, замер. Лошадь поравнялась с колодцем, и он кошкой метнулся со сруба на ее круп, едва успел схватиться за узду. Лошадь дико отпрянула от сруба и понеслась. Однако она скоро почувствовала на себе цепкое и сильное тело всадника, мало-помалу успокоилась и перешла на рысь. Костя осадил ее у двора.

— Цел? — в голосе Григория радость и страх. Он подбежал к сыну, ощупал его ноги, торопливо заговорил: — С чего она взбеленилась? Волка учуяла? Так ему еще рано шастать... Да и ты хорош! Перепугался, бил ее стременами. С ей надо ласково.

— Папань, вас мамка кличет,— всхлипнул Коля.— Ругается на вас.

— Не успеешь отойти от двора, как уже бегут,— недовольно ворчал Григорий, суетливо прощаясь с Ариной и Костей, который уже соскочил наземь.— Вот жисть!

Григорий с Колей уехали.

— Я тоже пойду,— сказал Костя.

— Постой,— встрепенулась Арина.— Я провожу тебя.

Она ушла в хату одеваться. Костя привалился спиною к воротам, стал ждать. Ему и до сих пор слабо верилось, что Арина вернулась в хутор с неведомого Севера и проявила к нему странный интерес. И вдруг явилась мысль: он недостоин Арины. Он крутнул головой и вздрогнул, будто невыносимая боль обожгла его. Эта мысль и раньше мучила Костю, особенно в юности, когда были так остры впечатления и мечталось о радостной, преданной любви, до гробовой доски,— но теперь стала для него совсем уж невыносимой. Дрожа всем телом в глухой ярости против самого себя, Костя смахнул со лба холодный пот, опустился на корточки и стал смотреть вдоль проулка, пока со двора не донесся голос Арины:

— Где ты, Костя?

— Тут я,— глухо выдавил он.

Арина вышла в накинутой на плечи белой пуховой шали. Миновав огороды, они направились в поле и оказались на проселочной дороге, которая едва проглядывалась. В черном небе редко светились звезды. Иные из них неожиданно взрывались яростной вспышкой, стремительно катились вниз, брызгали светом и навсегда исчезали.

Овражек лег перед ними, чернея кустами по склонам. Они остановились.

— Дальше пойду один, — нарушил молчание Костя.— Ступай назад.

Арина не двигалась, почему-то медлила прощаться, и он, уставившись под ноги, чувствовал на себе ее взгляд.

— Чудной ты... А коня ловко остановил, молодец!

— Хитрости в том мало. Иди. Ветер подымается.

— До свидания,— опечалилась Арина, повернулась и медленно пошла от овражка.

Костя, мучаясь, стоял, глядел, как она уходит все дальше и дальше, сливается с чернотой ночи.

— А траву ты где хранишь? — пробилось издали.

— В сторожке.

— Приду как-нибудь. Посмотрю.

— Приходи! — пересиливая боль, крикнул Костя.

3

Сторожка, наспех сбитая из черной ольхи, кое-как обмазанная, сиротливо горбилась у крутояра в трех километрах от хутора. Собою она являла вид заброшенный:

стены были кривы, в темных потеках. Но держались они стойко, как бы во всем подражали Косте и подобно ему молча сносили тяготы жизни. Напирали на них ливни с градом, яростно накидывались вьюги — они же, поддерживая друг дружку, ничему не сдавались. Так порой люди, крепко ухватившись за руки, борются с натиском горного потока и преодолевают его.

С солнечной стороны глядели на мир два окна. Глядели из-под соломенной, низко нависшей застрехи чуть удивленно и настороженно. В их маленьких шибках, будто в зрачках, отражалась бесконечно творившаяся в природе перемена. Человек с воображением и вправду уловил бы их сходство с глазами. Окна, пожалуй, еще и наблюдали, все запоминая и по-своему относясь к тому, что видели. Не раз прохожим, которые знали хозяина сторожки, внезапно приходило на ум, что она странно похожа на Костю. И кто знает, было то правдой или досужей фантазией, одно несомненно: в хуторе иной раз поговаривали об этом.

Возле сторожки чернели длинные бурты с деревянными трубами и отверстиями для воздуха. По ночам, сгущая мрак, бурты порою нагоняли невольный трепет на проходящих мимо баб. С крутояра вид открывался могучий, древний. В строгой задумчивости, не шелохнувшись, стеною подымались вдали, у подножий гор, леса, а вблизи сквозила серебром речушка Уля, в зарослях шершавых свечек и колючей дерезы, в уродливых мокрых корягах на перекатах. В ее кипенно-белой, неспокойной воде много водилось форели и усача. Сразу же за буртами широко простирались поля.

Встретить охотника в этих местах не диво: всякие звери водятся тут — дикие кабаны, медведи, белки, олени... По весне горы сплошь зелены, осенью же, чем позднее, тем резче, деревья спорят между собой, вспыхивая множеством оттенков и красок. Это — первое предвестие холодов. Зимою бело, девственно сияют кавказские ледники. Ближе к Сторожевому преобладает три цвета: иссиня-белый — это выпавший снег, туманно-черный — застывшие в спячке лиственные леса, ярко-зеленый — наплывы сосен и пихт, вечно молодых, как небо и земля.

Костя переселился в сторожку, когда умерла бабка. А матери он лишился и того раньше. Нелепый случай поразил ее. Холодным днем, протопив печь, она улеглась спать и, чтобы не выстуживалось тепло, вьюшку в трубе закрыла. Костя колол дрова у соседей, не подозревая, что в

это время синий, угарный чад от тлеющих в печи углей, заполняя хату, обволакивает, душит мать и в тяжком сне едва теплится у нее жизнь. Потом ее отливали водой, прикладывали ко лбу лед — она не очнулась. Костя навек запомнил, как она лежала на полу в сенях, с бледным и спокойным лицом, а вокруг нее суетились люди, надрывно причитала бабка, поправляя под головой подушку, и в открытую настежь дверь мело снегом... Все остальное проплыло как в белом дыму, он даже похороны помнил отрывками.

Внука теперь опекала бабка. Она была верующая и свободные часы посвящала служению богу — ходила в церковь петь на клиросе, дома по вечерам подолгу простаивала на коленях перед иконой святого Николая-чудотворца, в богатой серебряной ризе. Костя не любил молиться, и в порыве гневливости бабка его бивала больно, называла «кособоким иродом». Когда же ему сравнялось шестнадцать, она внезапно скончалась, собирая груши в саду. Костя остался один. К этому времени на собственном опыте он уже познал холодность и насмешки чужих людей. Сызмала лишенный материнской ласки, он стремился найти ее в других, но часто и в этом ему отказывали. Ровесники дразнили Костю, придумывая обидные клички, взрослые же проходили мимо либо смотрели на него с нескрываемым чувством сожаления. И он проникался к ним обидой, становился все более молчалив.

Окончив восьмилетку, Костя пошел в колхоз — наравне с мужиками вручную косил сено, был и водовозом, объездчиком, лесничим. Сам себе готовил обеды, обрабатывал огород, стирал и штопал. Многие хуторяне стали подмечать в нем одну чудаковатость: хотя Костя был не ленив и работал за троих, жил он скудно, все у него как-то уплывало на сторону. Выкопав по осени картошку, многие старались свезти ее в Ейск либо в Ростов на базар и там сбыть подороже, Костя же сдавал ее в кооперацию по государственным ценам. Соседи потом сравнивали его и свою выручку, усмехались: «Ну и чудак. Сам себя под корень рубит».

Была ли здесь какая-либо связь, но после отъезда Арины на Север Костя затосковал и однажды продал хату первому попавшемуся покупателю и поселился в сторожке, опять вызвав неодобрительные толки о себе, о своем неумении жить. С переменой жилья в нем и обнаружилась страсть — распознавать и собирать полезные травы. Дня-

ми он бродил в лугах вокруг сторожки в поисках какого-нибудь диковинного растения либо цветка и, когда находил его, радовался, как ребенок.

Собирание трав, бывало, настолько захватывало Костю, что он как бы сам растворялся в природе, становился малой частью ее, живой каплей в полыхающем море трав и цветов. Море захлестывало его беспрестанно меняющимися оттенками, опьяняло запахами. Сливаясь с небом, землей и солнцем, он испытывал почти божественный, невыразимый трепет в душе, тот редкий восторг, который, может быть, и есть не что иное, как человеческое счастье.

Со временем Костя научился улавливать в сложном аромате луга запах каждого в отдельности цветка и по нему определять местонахождение того или иного вида. И когда он добился этого, то решил углубить работу, придать ей практическую цель. В сторожке, на сколоченных деревянных полках, появились склянки с настойками, высушенные цветки, корневища трав, листья, плоды шиповника. Теперь он жил среди трав в продолжение всего года. В сторожку стали наведываться больные. Он давал им обстоятельные советы из книг о приготовлении лекарств, о способах лечения и щедро награждал травами. Все реже Костя испытывал одиночество, день и ночь наблюдая за сохранностью коллекции.

Вернувшись от Арины, Костя, по давней привычке, несколько раз обошел вокруг буртов, послушал умиротворенный шум реки. Потом, не раздеваясь, упал на кровать, забылся в беспокойном сне. Привиделась ему бурная, предгрозовая Уля, в крутых берегах, с белой водой. Они купались, счастливо обдавая друг друга брызгами,— молодые, красивые, здоровые телом. Арина с размаху кинулась в набежавшую волну, нырнула в кипящий бурун и, плавно изгибаясь, всплыла перед тем берегом.

«Аринушка! — весело крикнул Костя.— А почему ты меня раньше не любила?»

Она глядела на него и молчала.

«Почему, Аринушка?» — стоя по грудь в воде, допытывался он.

Костю терзало ее молчание. Он волновался до горячего сердцебиения и все спрашивал, стараясь перекричать шум клокотавшей воды:

«Почему-у?»

Наконец Арина приоткрыла рот, блеснула белыми фасолинами зубов:

«А ты был тихий!»

«Я?!» — изумился Костя.

«Ну а кто ж! — засмеялась она.— Думаешь, можно любить такого?»

Он вспомнил, что и верно, был тихий, и, обрадовавшись чудесному превращению, захотел сию минуту, не сходя с места, узнать у нее всю правду:

«Так душа ж у меня была ясная! Аринушка, скажи: разве этого мало?»

«Я — женщина! Я все яркое люблю».

«Одно яркое?!» — опять изумился Костя.

«Женское сердце — цветок! И сорвет его лишь красивый!»

«Аринушка! — отчего-то мучился Костя.— Хоть убей, не пойму тебя. Какое ж ты место душе отводишь? Где ей быть: впереди или после тела?»

«Люби, пока любится, не спрашивай!»

«Да боюсь я: вдруг опять стану тихим. И ты разлюбишь меня...»

Уля вскипела, сердито расходилась волнами, на тот берег нашла дымка. Костя было кинулся наперерез воде к Арине, но она вскинула над собою руки в тумане и белой птицей ринулась с обрыва вниз.

«Куда? — страшно закричал Костя, плывя к тому месту, где бурлил еще след от ее тела.— Куда?! — почти стонал он, задыхался и глотал брызги.— Ответь, где быть душе?»

Круто накатилась на него волна, след пропал. Костю отнесло куда-то потоком, ставшим непроницаемо мглистым, как грозовые тучи. Под Костей ворочались, сшибались камни, и, теряя надежду, что Арина где-то проступит из мглы, зло подгребая к себе воду, он крикнул с мольбой и страхом:

«Душу не губи! Отве-еть!»

Крикнул... и проснулся. В окна лениво сочился рассвет. А в дверь кто-то настойчиво колотил палкой. Костя помедлил, отер со лба пот, прислушался к грохоту и, догадавшись по ударам, кто там, босиком пошел открывать.

Евграф Семеныч спозаранку прискочил. Жил он на отшибе, в ладной деревянной избе, которую купил у одной семейной женщины, уехавшей с дочерьми в город. Будучи на заслуженном отдыхе после многих лет учительства, Евграф Семеныч больше книг не читал, думая, что с него и прежнего хватит. Остаток дней своих он проводил за пле-

тением и сбытом корзин либо, уединившись, размышлял о том, что есть человек как существо биологическое. В хуторе о нем говорили: больно учен стал, как постарел. Мол, иной раз и не поймешь, о чем рассуждает. Костя жалел Евграфа Семеныча и охотно принимал его в сторожке. Часто они вдвоем собирали травы и приготовляли лекарства, беседуя о жизни растительного мира.

Костя впустил старика и опять лег на кровать. Евграф Семеныч подобрал набрякшие пóлы — трусил прямиком через болотце в сухой осоке,— сел на единственную табуретку. На его лице было написано смущение. Может быть, в нем будили стыдливое чувство воспоминания о вчерашнем вечере, где он вел себя с излишней живостью.

— Не спится мне,— Евграф Семеныч тронул рукой клок своей бороды.— Дай, думаю, к тебе забегу. А ты... бледный!

Костя тянулся к старику и почему-то доверял ему свои тайные мысли, хотя Евграф Семеныч иногда был не в меру болтлив. И сейчас Костя поддался откровению:

— Сон мне, Семеныч, привиделся. Будто купаемся мы вдвоем с Ариной в Уле. Будто купаемся, и вдруг она — нырь в воду! И уплыла от меня. Звал ее, звал — не откликнулась.

— Снам не верь,— наставительно заявил Евграф Семеныч.— В молодости, помнится, я лекции читал о природе сновидений. Сам профессор Дудкин, ученейший человек, их одобрил! Можешь мне поверить... Я доказал: сны от нездорового состояния, от горячки мозгов. Ты много думал о ней, вот и приплелось купанье.

— Думал,— сознался Костя.

Вживаясь в настроение Кости, Евграф Семеныч поерзал на табуретке.

— Арина Филипповна женщина изумительная,— сказал он.— И мне кажется, она была неравнодушна к тебе. Смелее, Костя... Ради нее стоит рискнуть.

— Страшно...

— Эх и рыцари пошли! Скинуть бы мне годков тридцать, как бы я приударил за Ариной Филипповной! — Евграф Семеныч мечтательно закатил свои маленькие глазки, прищелкнул языком.— «Куда, куда вы удалились, мечты моей златые дни...»

Наговорившись, старик ушел, и Костя, все еще лежа на кровати, стал перебирать в памяти подробности сна. Он впервые видел себя красивым, и это встревожило его:

к чему? В прежних снах он всегда был таким, как есть. Костя вспомнил о пробуждении, о том миге, когда он частицей трезво вспыхнувшего сознания опять вернулся к действительности и наперекор тревоге пожалел, что ложь сновидения уступила правде. Ему сделалось грустно и одиноко.

Он взял с подоконника битый осколок зеркала и безотчетно сунул его за пучок сухой, как порох, почечуйной травы.

Арина пришла уже в сумерках, когда он и не ждал ее. Костя засуетился, дрожащими пальцами нащупал спички в печурке, чиркнул о коробок. Желтоватый язычок огня светлячком забился внутри его составленных вместе ладоней, озарил прядь волос, упавшую на лоб. Он поднес спичку к лампе, фитиль занялся жаром, стал потрескивать, красновато светясь сквозь матовое стекло пузыря. Пузырь постепенно налился белым и непривычно ярким светом. Арина сощурилась:

— Ужмурь лампу, глядеть больно.

Костя прикрутил фитиль, ощущая в груди сильные толчки всполошенного сердца. Она быстро оглядела его скромное, плохо убранное жилище — пол из грубо отесанных досок-горбылей, старый сундук с окованными узорным железом углами, где он хранил свою выходную одежду, железную кровать, которая блестела никелированными шишками на спинках, да еще пару сапог в углу. Взгляд ее остановился на полках, занятых банками, пучками трав, книгами по медицине и биологии.

— Чудно живешь. На Севере в скитах вот так старообрядцы ютились, божьи люди. Слыхал?

В тоне ее пробилась насмешка, но была она легкой, необидной. Внимание Арины привлекла ветка с лапчатыми, густо-зелеными листьями, на них выделялись желтоватые цветки-капельки.

— Что это?

— Паразит... омела белая. Приживается на грушах, на ясене. Прилипнет к стволу и растет кустарником. Для припадочных первое лекарство.

— А это пырей,— угадала Арина, рассматривая на ладони колкий, уродливый лист бледно-зеленого цвета.— Сколько мы его с матерью перепололи на делянках! В жару от него тяжелый дух, даже тошно. Бесполезная трава.

— И пырей ползучий не напрасно живет,— тихо воз-

разил Костя.— Его не любят, а он кровь очищает. Не лишний он на земле.

Арина окинула Костю удивленным взглядом:

— Слушай! Научи меня этому! А то я живу на свете и ничего не знаю. Научишь?

— Зачем?

— Надо,— задумчиво произнесла Арина.

За окнами стемнело. Вдали, за скудно мерцающими горами, всходил месяц. Призрачный, холодноватый свет его скользил в пространстве, все сильнее разгораясь и будя в душе неясные желания. Арина предложила погулять, они вышли из сторожки и побрели лицом к месяцу. Свет широким пучком ударял в небо, пробегал полем, оттесняя тьму и высвечивая черные, как антрацит, пласты свежей пахоты. Еще тише, загадочнее стало вокруг. Величавый покой властно обнимал землю, расстилавшуюся в серебристом тумане... И от этого покоя и света, льющегося, казалось, в самую душу и наполняющую ее невыразимым ощущением таинства и беспредельности жизни, пробуждались странные силы. Арине хотелось заявить о них во весь голос или взять и заплакать — без всякой причины, как в детстве. Немного поодаль от нее Костя резко взмахивал руками, точно большая подстреленная птица крыльями.

Сверкнула из-за дымных кустов Уля, и они, охваченные одним душевным состоянием, остановились, прислушались к ее сдержанному говору. Арина взяла Костю за руку, в восторге шепнула:

— А ты счастливый! Красоту эту видишь... чувствуешь. Мы теперь всегда будем гулять с тобой. Хочешь?

Костя молчал.

— Чего ты? — Голос у нее был ласковый, взволнованный.— Подойди ближе, скажи что-нибудь. Скажи: сколько можно любить? — Она потянула Костю к себе.— Ты все знаешь...

— Я не знаю, я чувствую,— сказал Костя.

— Так сколько?

— Сто лет. Пока человек живет.

— Сто лет любви!

Лицо у Арины было ясным и взволнованным, ни тени зла и насмешки не отражалось на нем — одна красота. Костей овладело искушение запомнить его на всю жизнь, не пропустить ни одной черточки на нем; искушение на миг оказалось сильней той, внутренней мысли о себе, и он,

забывшись, посмотрел на Арину прямо, глаза в глаза. Святая! Но это состояние длилось недолго, опять страх волной подступил к нему:

— Нам не надо ходить вместе.

Не сознавая, что с ним, она сняла с него кабардинку, жалея, провела ладонью по жесткому, всклокоченному чубу, озаренная неведомым, странно-радостным чувством к нему.

— Почему? — искренне удивилась Арина.

— Я знаю: это не кончится так,— прохрипел Костя.

— Зачем наперед загадывать? Живи как живется. Волка бояться — в лес не ходить.

Ясно играла слитками серебра Уля, пока набежавшая бродячая туча не обволокла месяц — и Уля померкла, угомонилась. Без месяца она не умела играть. Но еще долго среди потемневшего поля молча стояли двое.

4

В огороде серели еще сумерки, а Машутка уже прикатила на своем «Беларусе» пахать. Арина с вечера ждала подругу, спать легла с мыслью о новом дне и среди ночи дважды просыпалась, думая о пахоте. Заслышав гул трактора, она схватилась с постели, оделась и, полнясь невыразимым ощущением чего-то значительного, торжественного, выбежала во двор.

Приоткрыв дверцу, Машутка выглянула из кабины, белозубо улыбнулась:

— Отворяй ворота!

Арина сдвинула сухо заскрипевший засов, обеими руками подхватила ворота и широко открыла их, даже не почувствовав тяжести. Трактор дернулся, влетел на середину двора, победно стреляя тугими кольцами дыма. Запахло бензином и разогретым маслом машины, которая готова была тут же приступить к работе. Из сеней радостно метнулась Климиха:

— Ой батюшки! А как же в огород въезжать?

— Чего, мам? — не поняла Арина.

— В огород, глянь, как въезжать? В калитку не просунется такая махина.

— Правда, я и не подумала,— растерялась Арина, оглядываясь по сторонам. Двор был обнесен редкой штакетной изгородью, едва державшейся на подгнивших стол-

бах, зияющей старыми проломами. В огород вела калитка, которая уже не закрывалась: осенью сломался крючок. А другого Климиха не успела приладить.

— Загату, что ль, разобрать,— вздохнула Климиха.— Побегу скину дерезу.

Машутка приготовилась выезжать со двора, но Арина вдруг подбежала к ограде, пнула ногой. Трухлявая планка лопнула и отпала.

— Гниль, чего ее жалеть. Жми вперед, Машутка!

Та поколебалась, вопросительно глянула на Климиху.

— Да что ты, Аринка? — произнесла Климиха.— Не трожь. Какой ни есть, а забор. Сломаешь — и такого не будет.

— Езжай! — настаивала Арина.— От старого избавиться — что новое приобрести. Кому говорю: езжай! — И отошла от ограды, уступив дорогу трактору.

Машутка, больше не глядя на Климиху, с места рванула «Беларусь» — тот задрожал всем своим могучим и здоровым телом, двинулся на ограду, столкнул и подмял ее под колеса. Сложив на животе крупные руки, Климиха несколько секунд немо, с приоткрытым ртом смотрела на измятый, поваленный штакетник. Зачем-то вдруг кинулась в сени, потопталась в них и опять вышла.

— Ой и ветрогонка! — она все еще изумлялась поступком дочери, качала головой.

А Машутка тем временем подкатила к саду, решив бороздить не поперек, а вдоль огорода, чтобы меньше делать разворотов. Опустила плуг, ярко вспыхнувший на фоне земли, и с веселым криком: «Ну, милок, поехали!» — включила скорость. Плуг легко врезался в чернозем, отвернул на сторону три черных заблестевших пласта; гул у трактора переменился, стал глубоко-неторопливым, будто и машина особым железным чутьем осознала важность своей работы. Арина бежала вслед трактору по отвальной борозде, с наслаждением вдыхала холодноватую свежесть земли, прислушивалась к ее шороху под плугом, оглядывалась на застывшую у хаты мать.

На середине огорода Машутка спрыгнула наземь, вынула из кармана складной металлический метр, промерила им глубину вспашки.

— Хорошо! — пересиливая гул, крикнула ей Арина.— Дай я с тобой прокачусь!

Машутка махнула рукой:

— Залезай!

Арина уселась в кабине, на мягком сиденье, и с восхищением стала наблюдать за тем, как ловко Машутка управляла машиной, послушной каждому ее движению. Ей было радостно за подругу, за ее умелые руки. Сейчас она завидовала ей.

Черные полосы ровно ложились одна к другой, земля сзади текла, бурлила из-под плуга, и в этом ее весеннем обновлении было что-то таинственно-знакомое, мудрое и вечное, чего никогда и во веки веков нельзя забыть, преступно не любить. Арина часто оборачивалась и глядела в маленькое пыльное окошко на бегущий плуг, испытывая легкое головокружение... В детстве она с матерью пахала этот огород на быках. С вечера они брали на полевом стане быков, из тех, что послушнее в поводу, и привозили к себе домой плуг, на котором чернели приставшие комья. Арина счищала их лопатой, и плуг сиял, горел, как зеркало. Ночью по многу раз мать выбегала в огород, подкладывала отдыхающим быкам сена. Арина хоть и спала, но чутко слышала, как сонно вздыхали в огороде быки и тонко позванивала цепь, которой они были привязаны к яслям.

Пахать начинали задолго до рассвета. Арина ходила в поводырях, мать — за плугом. Работали почти без передышки, дотемна... От усталости и постоянно плывущей под ногами земли к вечеру кружилась голова, в глазах стояли темные круги. И все равно пахота оставалась одним из памятных ее праздников, которого она ждала каждую весну.

Трактор, выпуская кольца синеватого дыма, сновал туда и сюда, полоса непаханой земли сужалась. Солнце уже встало, воздух, прогретый его косо бьющими лучами, словно искрился. Над пахотой зыбко курились воспарения. Все чаще на свежих бороздах попадались прошлогодние картофелины. В дальнем углу огорода их было особенно много. Будто белые камни, рассыпались они поверху борозд. Арину разбирала жалость к даром пропадающей картошке. После войны в хуторе и гнилой не гнушались, всякая годилась на крахмал. Вспомнив об этом, Арина на ходу выпрыгнула из трактора и побежала к хате.

В комнате она взяла с лавки два больших ведра.

— На что они тебе? — спросила мать.

— Картошку подберу.

— У нас от ей погреб ломится. Куда девать?

— Подберу. Глазам больно глядеть,— сказала Арина.

Климиха подкинула в жаркую печь несколько сухих былок подсолнуха, засокрушалась:

— Ты уж, Аринка, не ругай меня: сослепу чего не наделаешь. Что нащупала, то и в погребе. А что проглядела — земле досталось.

— Ладно, мам, я побежала! А вы тут стряпайте. Машутка любит пирожки с капустой.

— Я вам поджаристых напеку. На масле.

Арина неслась по свежей пахоте с ведрами в руках.

— Оденься потеплей! — крикнула ей вслед Климиха.— Сейчас от земли вон как тянет!

Разгоряченная бегом ясным весенним утром, она уже не слышала голоса матери, присела на корточки и стала подбирать картошку. Машутка выглядывала из кабины, посмеивалась:

— Аринушка, на крахмал, что ль?

— На крахмал! — в тон ей отвечала Арина.

Вечером она почувствовала легкое недомогание и легла в постель. Ее кидало то в жар, то в холод, а поздно ночью, проснувшись отчего-то, она обнаружила, что лицо у нее пылает, губы сухи и горячи, а к горлу подступает удушье. Арине сделалось не по себе: так у нее всегда начиналась ангина. Она разбудила мать и попросила согреть воды. Климиха слезла с печи, развела огонь в плите.

— Говорила тебе, не бегай раскрытой,— с укором и беспокойством сказала мать.— Никогда не послушается.

— Это, наверно, от перемены климата. Отвыкла я от наших весен.

— Что болит?

— Горло.

— Ну вот! Простудилась на пахоте.

— Мне врачи давно советуют серьезно лечиться, а я все не решусь. Как бы голос не потерять. У одной моей подружки удалили гланды, а голос охрип. Она первой у нас в поселке певуньей была.

— Да шут с им, с голосом. Здоровье важней. Это болезнь не дюже страшная?

Арина помедлила с ответом.

— Нет, не опасная,— сказала она.— Но гланды мне удалять не советуют, говорят, есть лучшие методы лечения, а вот какие — не знаю.

Вода в чайнике вскипела, Климиха налила ее в стакан и поставила студить на подоконник.

— Сода у нас есть?

— Свежая. Вчера в ларьке купила.

Климиха нащупала в печурке пачку соды и подала ее Арине.

— Горло прополощу. Сода помогает.

Однако на этот раз полосканье не облегчило боли. Арина чувствовала, как ее окутывает нестерпимым жаром и что-то горячее, влажное клубится в горле, спирает дыхание.

— Мам, сходите к Косте,— попросила она, прикладывая ко лбу влажное полотенце.— Пусть какой-нибудь травы даст.

Погода портилась. Небо затягивалось тучами, с гор тянуло влажным туманом. Дело было к дождю. Климиха добрела до сторожки, когда уже кругом нудно, по-осеннему моросило. Она скинула с головы холстяной мешок, который служил ей вместо башлыка, не здороваясь сказала:

— Аринка заболела.

При этих словах Костя вздрогнул, спросил осевшим голосом:

— Чем?!

— Не помню, как называется. Видать, простудилась. Велела травы у тебя взять.

Костя зажег лампу, поднес ее к полкам, отыскал пучок из разнотравья и отдал Климихе. Та обернула его в тряпицу, сунула к себе за пазуху, чтоб не намочить в дороге.

— Побегу! А то она одна. Как в огне горит.

— В огне?! — воскликнул Костя, торопливо шаря свободной рукой по полкам.— И я с вами, теть. Постойте.— Он вынул из-за склянок с настойками какой-то синий мешочек, рванулся к двери, на ходу надевая тулуп и кабардинку.

В отсутствие матери Арина впадала в забытье, металась и звала кого-то. Ей делалось страшно, потому что она видела себя одну среди белых, безжизненно-ровных снегов. Пусто было вокруг, ни одной живой души. Она кричала в немое пространство, кричала до тех пор, пока не ощущала под головою подушки... Появились Костя и мать. Арина приподнялась на локтях, удивленно и радостно произнесла:

— Вдвоем? — Слабая улыбка отразилась на ее лице и потухла.— Костя, присядь... Ангина у меня.

Костя сел на табуретку возле кровати, но тут же вскочил, вспомнив, что нужно готовить отвар из разнотравья.

— Теть, горячая вода где?
— В чайнике.

Через несколько минут он поднес к губам Арины стакан крепкого зеленоватого отвара. Она пила с закрытыми глазами, вздрагивая при каждом глотке.

— Больно,— она отвела Костину руку. Лоб ее покрывался бисеринками пота. Скоро опять наступило забытье. Костя сидел и каждым нервом отзывался на малейшее проявление ее боли, отмечал все перемены на Аринином лице.

Пришло утро. Дождь за окнами моросил гуще.

— Ты бы шел к себе,— с состраданием шепнула ему Климиха, когда Арина мало-помалу успокоилась, затихла под одеялом.— Умаялся за ночь.

Костя не шелохнулся в ответ.

Арина почувствовала дневной свет, открыла глаза и увидела настороженно склонившегося над собою Костю.

— А ты все сидишь?.. Молчун мой нескладный.— Арина дотронулась рукой до его плеча, Костя слегка отодвинулся.— Все караулишь меня. За мною муж так не ухаживал, как ты.

И вспомнилась ей вьюжная северная ночь, занесенный снегом поселок лесорубов, пустая рубленая изба. В избе холод, окна заледенели, в трубе надсадно воет ветер. Она одна. Лежит на кровати, дрожа от озноба, и с нетерпением ждет мужа. Он ушел в аптеку за лекарством и почему-то не возвращается. А уже ночь, и вспухшие миндалины душат, и печь остыла. Он пришел в полдень, выложил на стол ворох таблеток и... уснул на полу. Оказалось, муж пил с дружками, которых встретил по пути из аптеки. И это случилось спустя полгода после их женитьбы. По молодости лет она все простила ему. Думала: чего не бывает. А теперь ей сделалось больно при одном лишь воспоминании об этом, больно и обидно за себя, за даром отданную этому человеку молодость. Арина глядела на Костю, и на глаза у нее наворачивались слезы.

Костя сидел, уткнув локти в колени и свесив голову. Веки у него были опущены, ни один мускул не вздрагивал на лице. Казалось, он дремал. Но Арина догадалась: это обманчивое впечатление, он все слышит и все видит... И опять тянулись перед нею пустые белые снега, лицо Кости таяло, отодвигалось куда-то, ее обступала жуткая, почти немыслимая тишина... И Арина уже не знала, живет ли она или больше не существует на свете. Ее пугала воз-

можность последней догадки, и тогда, собравшись с духом, она принималась звать Костю, силясь рассмотреть его лицо. Звала и звала, пока оно и вправду не возникало перед нею, тогда она тихо и благодарно улыбалась ему и успокаивалась.

Время перевалило за полдень. Арине стало хуже, несмотря на то что Костя испробовал еще одно средство — отвар из плодов шиповника. Он вспомнил о засушенных цветках шиповника, которых почему-то не было в синем мешочке, хотя он клал их туда еще летом, и решил сходить за ними. Мимоходом заглянул к Евграфу Семенычу и попросил его посторожить этой ночью.

Костю приводила в смятение мысль, что он ничем не может помочь Арине и его травы бессильны. Оставалась последняя надежда: цветы шиповника. Он верил в их чудодействие, знал по собственному опыту, какой целительной силой обладают нежные бело-розовые лепестки.

В сторожке он перевернул вверх дном содержимое полок, расшвырял пучки трав, вгорячах разбил стеклянную банку с настойкою пустырника — и все напрасно: цветов шиповника не было. Куда они делись? Кто их мог взять? Мучимый этими вопросами, Костя сел на кровать и глубоко задумался. Почему ему всегда не везет? Он теперь ненавидел свои травы и едва сдерживался, чтобы не истоптать их и не выбросить за порог... Что делать? Не возвращаться же с пустыми руками?

И вдруг он вскочил на ноги: цветы брала Марея! Не дожидаясь прихода Евграфа Семеныча, Костя ткнул ключи в воробьиную дырку застрехи и заспешил на ферму. Марею отыскал в коровнике.

— Здорово, Марей. Я к тебе,— задыхаясь, проговорил Костя.

Марея окинула его настороженно-изучающим взглядом, воткнула вилы в лежащий у ее ног навилень сена, таинственно усмехнулась:

— Что по дождю носишься. Мокрый, хоть выжимай тебя.

— За шипшеной прибег.

— За шипшеной?

— С Ариной плохо. Ангина.

Марея зябко повела плечами.

— От ангины не умирают. Перетерпит.

— Плохо ей,— повторил Костя.— Дай шипшены.

— А я твое лекарство все сама испила,— сказала Марея.

— Все?!

— До одного цветочка.

Костя повернулся к Марее спиной и вышел из коровника.

— Принес? — спросила его Климиха, когда он вернулся.

— Не нашел,— Костя виновато потер лоб. Мельком он успел взглянуть на кровать, на которой полулежала Арина, и сильно обрадовался, что она не бредит, пришла в себя.

— Подсаживайся к печи, обсушись,— хлопотала возле него Климиха.

Костя внял ее просьбе, подвинулся с табуреткой к пылающей печи, снял кабардинку и резким взмахом стряхнул с нее капли.

— Мам, покорми Костю,— зашевелилась под одеялом Арина.

Костя отказался.

— Хоть отдохни.— Она говорила слабым, срывающимся голосом, часто дышала.— Кризис. После будет лучше. Отдохни, не волнуйся.

Сознание медленно ускользало от нее. Она умолкла.

— Вот так все время,— шепнула ему на ухо Климиха.— То очнется, то уснет.

— Я за врачицей сбегаю,— поднялся Костя.

На дворе дождило. Тьма застилала глаза. Костя шел в село наугад по раскисшей дороге. Вымокший до нитки, дрожа от охватившего его озноба, он наконец добрался до кирпичного дома с крыльцом, освещенным электрическим светом, и решительно постучался в ворота. В этом доме жила врач Августа Даниловна. На первый стук никто не откликнулся. Тихо и ровно горела лампочка под козырьком шиферной крыши, а вокруг нее мошкарой толклась, пылила мжичка. От мысли, что вдруг Августы Даниловны не окажется дома, у Кости похолодело в груди. Он нагнулся, подобрал с земли палку, ударил ею по забору.

Скрипнула дверь, на порог, в накинутом на плечи пальто, вышла Августа Даниловна:

— Кто там?

— К вам, Августа Даниловна! — живо отозвался Костя.

— Так идите сюда.

Костя приблизился к крыльцу, объяснил, задыхаясь от волнения:

— Я из Сторожевого. Ломов моя фамилия.

— Что-то я вас не припомню,— Августа Даниловна близоруко щурилась на него сквозь очки. Это была худая, еще крепкая рыжеволосая женщина.

— Меня тут мало кто знает,— сказал Костя.— Я сторож.

— С чем вы пришли?

— В хуторе женщина болеет.

— Что с нею?

— Ангина у нее. Лежит в беспамятстве.

— Право, я и не знаю, как быть,— заколебалась Августа Даниловна.— Сегодня у меня выходной... А кто эта женщина? Ваша жена?

— Я не женатый...

Августа Даниловна бросила внимательный взгляд из-под очков на застывшего в ожидании Костю, который все еще стоял на нижней ступеньке, мокрый, растерянный и взъерошенный, и отчего-то смутилась.

— Поднимитесь на крыльцо и ждите меня,— поежившись от сырости, проговорила она.— Я оденусь и кое-что возьму с собой.

Потом они шагали вдвоем в хутор. Августа Даниловна была женщиной малоразговорчивой, за весь путь они обменялись двумя-тремя фразами, и то самыми незначительными. Косте это нравилось: мало говорит — много чувствует и понимает. И на шаг Августа Даниловна скорая,— видать, привыкла по земле пешком ходить.

Климиха помогла Августе Даниловне раздеться и провела к больной дочери.

— Аринка, спишь? — наклонилась она над ней.— Врачиха пришла.

Арина очнулась от забытья, повела отуманенными глазами вокруг себя, увидела рядом Августу Даниловну, а за ее спиной Костю — и слабо кивнула ему.

Августа Даниловна разложила на столе инструменты, которые она принесла в деревянной коробке, достала термометр с серебристой капелькой ртути, встряхнула его и сунула Арине под мышку.

— У тебя, голубушка, хронический тонзиллит. Миндалины увеличены. Береги себя, а то можешь посадить сердце.

Арина глядела на Костю.

— Ты бы прилег,— сказала она ему.

— После. Я не уморился,— невнятно пробормотал Костя.

— Ты слышишь, что я советую тебе? — Августа Даниловна повысила голос.— Лечиться нужно. Не запускай болезнь.

Арина молча кивнула и опять обратилась к Косте:

— Присел бы...

— С доктором поговори,— с легким укором сказала ей Климиха.— С нами наговоришься.

Августа Даниловна сделала Арине укол, оставила таблетки и пояснила, когда какие пить. Арина устало смежила веки.

— Упадок сил,— шепотом сказала Августа Даниловна, укладывая инструменты в ячейки коробки.— К утру станет легче... Ну, молодой человек, помогите даме одеться.

— В такую темень? — пыталась вразумить ее Климиха.— Времечко-то глухое, простудное... Побудьте у нас. Чаю попьете, на печи погреетесь. Я вам одеяло постелю.

— Спасибо. Мне нужно идти.

— Тогда и я с вами,— сказал Костя.

Они вышли во двор.

— Не провожайте меня,— обернулась к нему Августа Даниловна.— Дождь перестал. Теперь хорошо. А в злых духов я давно не верю. Потихоньку доберусь. А вы оставайтесь. Больная нуждается в вашем присутствии. Побудьте с нею.

Костя простился с Августой Даниловной и вернулся в хату.

...Утром Арина почувствовала, что кто-то сидит возле нее, и проснулась. Она увидела Костю. Свесив на грудь лохматую голову, он дремал на табуретке. За окном полыхал рассвет, и Костин чуб, упавший ему на лоб, светился, как солома. В безотчетном волнении, от наступившей ясности в себе, Арина подвинулась на край постели и, опасаясь разбудить Костю, вслушалась в его дыхание. Руки у Кости были сжаты между колен, пальцы в напряжении сцеплены. Будто он хотел произвести какое-то движение, но внезапный сон застал его в этой позе. Вдруг Костя встряхнулся от дремы, поднял голову — и взгляды их встретились.

— Хороший мой! — горячо, радостно метнулась к не-

му Арина, и, прежде чем он успел понять, что происходит с нею, ощутил на своей щеке прикосновение ее губ.

То был первый в его жизни поцелуй женщины...

Климиха похрапывала на печи под дерюгой. Умаялась она. Тепло крепко и надолго сморило ее, и, может быть, она уже видела свой заветный сон.

5

Откурились в огородах костры, свежо отдышалась пахота, и вот на сады тихо спустились бело-розовые облака — зацвели абрикосы. Чуть позже весело вспыхнули вишни, потом и яблони занялись дружным и спорым цветеньем. В полях сизо туманились зеленя, в лесу до ночи не умолкал хлопотливый птичий грай, в широких кронах верб бесшабашно гнездились сороки. Однажды, в один из теплых весенних дней, Арина пешком отправилась в соседнее село, чтоб поговорить там с председателем колхоза о своей работе. От хутора до села путь недолгий, и она шла не торопясь, привыкая к раздолью сызмала знакомых полей, с жадным любопытством приглядываясь к пылившим по грейдеру грузовикам. Когда-то здесь была дорога вся в рытвинах и колдобинах. Чуть поморосит — и она становилась сущим адом, не один шофер клял ее отборными словами. Теперь не то: покрытие твердое, камушек к камушку, кюветы глубокие. Машины мчались мимо Арины с бешеным гудением и свистом, обдавая пылью. Приходилось сходить в кювет. Она не вытерпела, свернула на поле — так спокойнее и легче ногам.

Скоро поле кончилось, потянулся холмистый луг с разбросанными там и сям ржавыми дисками от сеялок, с боронами, колесами, снятыми с отходивших свое тракторов. Части машин заросли крапивою: семена ее, занесенные откуда-то шальным ветром, задержались и нашли тут благодатную почву. Арине стало больно за луг, прежде такой чистый, просторный, в мелкой и ласковой траве. «Богатством гордятся,— думала она,— а красоту разучились беречь. Стесняются на металлолом железки свои сдать». Она пошла медленнее, глядя под ноги, чтобы случайно не пропороть туфли о что-нибудь острое... Переходя овраг, Арина увидела на дне его, справа от себя, черный остов паровика, со свернутой набок прокопченной, кое-где пробитой ржавчиной трубою. Далекое воспоминание возникло перед нею, и она, по пояс в про-

шлогоднем сухом бурьяне, стала пробираться к давно остывшей и никому не нужной машине, непривычно волнуясь.

Паровик, спущенный по откосу на дно оврага, по колеса увяз в землю, уткнувшись в бурьян лобастым передом, будто вол. Несмотря на мощное, мускулистое тело, он вызвал в Арине острую жалость к своей горячо отдышавшей жизни. Когда-то он приносил людям столько радости гудящим огнем в топке, резкими пронзительными свистками на току, хлопаньем приводных ремней. А сейчас внутри у него было темно, холодно и пусто. Там больше не клокотал огонь и не горячился пар, двигая поршни и вертя колеса. В сером бурьяне глубокого оврага паровик был давно бездыханен, мертв.

Арина заглянула в топку — оттуда пахнуло ржавчиной и маслом, застойной гнилой водой. Что-то ее испугало там, в этой темной дыре, она отшатнулась и отступила в бурьян, все еще не веря, что это был тот самый, сильный и здоровый паровик, который день и ночь гудел на колхозном току, вертя молотилку. Бывало, с девчатами и бабами, радуясь его работящему гулу, молодая и гибкая, вся в хлебной пыли, она метала с подводы теплые снопы в зев молотилки. Метала лихо и бойко, подбадривая остальных. Иногда, в короткие часы передышки, ради интереса Арина помогала деду Лобогрею, важному и с лица черному, кидать в огонь паровика пуки соломы. Жарко вспыхивала солома в ясные погожие ночи, вспыхивала вмиг красным, с синими прожилками, сгустком, озаряя лица на току...

Жалея паровик, как живое, близкое существо, Арина побыстрее выбралась из бурьяна, оторвала приставшие к чулкам репьи и, не оглядываясь, поднялась наверх. Отсюда уже как на ладони виднелось село: белые дома в садах, красная водонапорная башня, крытая шифером, несколько новых двухэтажных зданий в центре. Арина старалась не думать о паровике, но мысли все время возвращались к его черному остову, как будто рядом с ним остыло, умерло и что-то дорогое, близкое ее сердцу. И эта навязчивая мысль не отстала от Арины до той поры, пока ее не сменила другая, тоже не очень веселая, скорее даже горькая.

Паровик, овраг... На том самом месте, где она только что шла, однажды летним вечером встретил ее колхозный бригадир Прокофий Прокофьевич Супрун. Он давно бро-

сал на нее косые взгляды, при случае намекал ей на что-то загадочное, тайное. А она смеялась и отделывалась шутками, потому что ей, красивой и юной, невдомек было, чего хочет Прокофий Прокофьевич, человек с виду серьезный, женатый. Иногда бабы, остерегая Арину, говорили: «Ты, девка, осторожней с Прокофьичем, не шути с им. Чего-то он смотрит на тебя. Остепенился бы, у самого-то дочь невеста».

Арина слетела с откоса в овраг, хотела подниматься на противоположную сторону и остолбенела: наверху у тропы сидел на своем гнедом жеребце Прокофий Прокофьевич, шурша синим плащом и как-то по-особому, нехорошо глядя на нее.

Инстинктивно она чуть было не кинулась в бурьян, чтобы спрятаться, но Прокофий Прокофьевич опередил ее.

— Ступай, красавица, сюда. Ступай,— ласково прохрипел он и слез с жеребца.

И она пошла на этот голос, вся отчего-то сжавшись, с гулко заколотившимся сердцем. Прокофий Прокофьевич ждал. Его широкое лицо с щеточкой рыжих усов под отвисшим мясистым носом невыносимо рдело перед ее глазами. В овраге было сумеречно, душно от неостывших трав. Последние лучи солнца угасали на листьях орешника.

— Иди, иди,— неслось сверху.— Я не съем тебя.

— Посторонитесь,— прошептала Арина, застыв возле Прокофия Прокофьевича.

Тот уступил тропу, но лишь на полшага, а когда она попыталась проскользнуть мимо, легонько, но властно дотронулся до ее плеча, попросил сорвавшимся голосом:

— Куда спешишь, Ирка? Побудь... поговорим.

— О чем?

— О разном... Мало ли о чем.— Он опять тронул ее за плечо, теперь уже больно, с вызовом.

— Пустите! Я мамке скажу!

— Ирка, чего ты? Постой,— задыхаясь, Прокофий Прокофьевич расставил перед нею свои темные руки (правая была трехпалая и страшная), впился в нее сверлящим взглядом.— Посидим, тут... на бугорке. А то я осерчаю. Смотри!

От испуга и омерзения Арина обеими руками толкнула бригадира в кусты терновника, тот упал и стал барахтаться в них, сопя и обдирая руки. А она уже мчалась во

весь дух по клеверному полю, мчалась, не чуя под собою ног, к дороге, где пылила в сумерках какая-то подвода.

— Шалава! — несся вдогонку хрип из кустов.— С ней про дело толкуешь, а она цапаться. Ну погодь, я те покажу, на чем орехи растут. Я те покажу! Вы у меня получите соломы на крышу!

У хутора Арина обернулась назад, в пустоту поля, прислушалась к тишине и поняла, что напрасно так долго бежала — Супрун и не думал гнаться за нею. Она села на землю, поджала под себя ноги и, полнясь невысказанной, жгучей обидою, уткнула лицо в ладони. И так плакала — тихо, почти без голоса — до ночи, пока не остыла земля. Арина почувствовала легкий озноб в теле, встала, вытерла насухо лицо и пошла домой, странно успокоившаяся, гордая... Все решено: она уедет из хутора, завербуется куда-нибудь. В колхозе, думала Арина, есть злые, недобрые люди; часто они обижали ее мать, хотя мать ничего дурного им не делала. Зачем? Разве они не могут жить красиво, с вечным добром и радостью в сердце? Но свет огромен, и там, в далеких краях, наверное, живут иные люди — люди с чистой совестью. Они поймут и полюбят ее. А мать? Как она будет жить одна? Но пусть лучше скука, чем угрозы Супруна. Это он все из-за нее на мать кипит, теперь Арина сама убедилась.

На другой день Арина отправилась с матерью полоть кукурузу на колхозную делянку. День был ясный, с ласковым свежим ветерком, а вокруг зеленели поля, и над ними в прозрачном воздухе пестро мелькали бабочки. Мысли о вчерашнем как-то улетучились сами собой. Арина сняла туфли, пошла босиком по мягкой пыли, с удовольствием ощущая ее тепло. У Волчьих ворот — двух неуклюжих бугров, похожих на прилегших верблюдов,— неожиданно показался Игнат, высокий, смуглый, с копною смоляных волос. Игнат, чуть ссутулившись, тащил в хутор тачку с ольховым хворостом. В глубокой пыли колеса вращались медленно, давно не мазанная ось сухо, с потрескиванием взвизгивала.

Мать пошла дальше не задерживаясь, Арина, поравнявшись с Игнатом, остановилась.

— Тяжело? — с участием спросила она, отчего-то краснея и стыдливо пряча от него глаза.— Давай помогу!

— Сам как-нибудь дотяну,— сказал Игнат.

— А где ты хворост рубил?

— В Кошачьей балке. Помнишь, в апреле мы ломали там черемуху?

— Я принесла тогда вот такую охапку! — радостно воскликнула Арина и развела руки, показывая, сколько наломала она белой черемухи.— А зачем тебе столько хвороста?

— Плетень надо городить.

— Вези быстрее, а то объездчик перестренет,— Арина в беспокойстве оглянулась по сторонам.— Топор отберет.

— А я его в лесу схoвал. Такого топора ни у кого нету. Острый, как огонь.

Игнат поудобнее взялся за деревянную ручку, стронул тачку.

— Завтра воскресенье. Пойдем на Шахан за ягодами! — счастливым голосом вслед ему крикнула Арина.

— Ага,— не оглядываясь, мотнул головой Игнат.

В кювете жарко рдели головки красной колючки. Арина срубила ее одним взмахом тяпки, весело подкинула в воздух, со всех ног сорвалась с места и летела без передышки, пока не настигла мать.

В воскресенье Игнат тайком уехал из хутора, прогулка за ягодами не удалась. Встречая ее на полевом стане, худенькую, затаившуюся в себе, Супрун недобро ухмылялся...

В то лето уехала она из Сторожевого. И сейчас, шагая в село и с болью вспоминая ту босую девчушку в ситцевом платье, онемевшую от страха, Арина неожиданно для себя захотела увидеть Супруна, не для того чтобы высказать ему все, что она испытывала против него,— нет. Ей почему-то надо было взглянуть ему в глаза, узнать, что в них осталось там и таится, как он думает в старости о том своем поступке у оврага? Арина не отдавала себе отчета, зачем ей ворошить прошлое, это уже все равно что вызывать смутные тени умерших, но таково было желание, так хотела и требовала ее память. С мыслью о Супруне она и подошла к двухэтажному, с белыми колоннами дворцу, что стоял на месте старой конторы. Арина спросила у одной женщины, как попасть к председателю, та показала на угловое окно верхнего этажа. Оказавшись в просторном вестибюле, Арина поднялась наверх по широкой каменной лестнице и, отыскав кабинет с выразительной табличкой на двери, вошла в него. Напротив нее, спиною к окну, сидел за длинным

столом молодой мужчина лет двадцати пяти с ромбиком на черном, аккуратно выглаженном пиджаке, в белой рубашке и в галстуке. Он оторвался от бумаг, предложил ей стул и, когда она, отчего-то слегка теряясь и робея, села, произнес с мягкой улыбкой:

— Слушаю вас.

Арине говорили, что председателя зовут Сергеем Ивановичем, большего о нем она узнать еще не успела.

— В колхоз примете? — пересиливая необъяснимую внутреннюю неловкость, сразу спросила Арина.

Председатель, слегка озадаченный ее неожиданным вопросом, помедлил с ответом, постучал карандашом по столу.

— А вы, простите, кто? — наконец поинтересовался Сергей Иванович.

Арина улыбнулась:

— Климовых знаете?

— Климовых? Вы не родня тетке Климихе?

— Родня,— сказала Арина.— Это матушка моя.

Скоро, сидя друг против друга, они беседовали, словно старые знакомые.

— Такие женщины весь колхоз на своих плечах удержали,— в раздумье говорил Сергей Иванович.— Помню, я еще уговаривал вашу мать свет в хату провести. Уперлась — и ни в какую! Коптилка, говорит, сподручнее. Как-то ушла она в поле свеклу чистить, я подметил и послал электрика. Возвращается она с работы, смотрит: а в хате электрическая лампочка. Горит! Вот так и приучили ее к цивилизации. Да...— Сергей Иванович помальчишески почесал в затылке.— А на собрание ее и арканом не затянешь. Однажды в Доме культуры мы чествовали ветеранов труда. Все знатные старики прибыли, одна тетка Климиха не явилась. Послали за ней легковушку, думали с комфортом привезти — наотрез отказалась. «Нечего, говорит, нас на видное место перед всем народом выставлять, мы, мол, такого почета не заслужили, срамота одна. Пускай начальство сидит, оно поумнее да и поважнее нас».— Сергей Иванович, заблестев синими глазами, от души рассмеялся.— Вот видите, какая она у вас!

Собеседник он был чуткий, простой, вызывал к себе расположение своей искренностью, живым умом. С первых минут Арина прониклась к нему уважением и разговаривала с ним, как с близким и давним другом. Разго-

варивала, а в глубине души как-то не верилось, что это председатель крупного колхоза, известный в районе руководитель, которому подчинены судьбы многих людей. В ее сознании с детства утвердился иной образ председателя, который был явной противоположностью Сергею Ивановичу. Грубый, властный, самоуверенный и не терпящий возражений, тот первым никогда не здоровался с колхозниками, а, разговаривая с ними, все куда-то косился, будто давал понять, что делает им снисхождение уже тем, что позволяет обращаться к нему.

— А я на Севере жила, и, бывало, как задумаюсь, что же там с матушкой,— хоть в петлю лезь,— сказала Арина.— Невмоготу стало, махнула на все рукой и вернулась.

— Долго вы собирались,— заметил Сергей Иванович.

— Стыдно было. Да и не хотелось ехать сюда.

— Почему?

— Да так,— помялась Арина.— Словами не скажешь. Не хотелось — и все.

— Но главное, что вы теперь дома и хотите обживаться. Работать где собираетесь?

— Пошлите меня на Сторожевскую ферму. Марея говорит, у них не хватает доярок.

— Согласен,— Сергей Иванович с удовлетворением расправил ладонью завернувшиеся уголки на листке настольного календаря и что-то записал в него. Спохватился, поднимая на нее синие глаза: — Простите, а как вас зовут? Говорим много, а познакомиться как следует еще не догадались.

— Арина Филипповна.

— У вас взгляд свежий, скажите: перемены заметны?

— Я уж теперь и не узнаю многого, как на новом месте.

— Да, Арина Филипповна,— оживился председатель,— в деревне нынче дела идут на лад. И люди преобразились. А еще лет через десять наш колхоз и не узнать будет. Взгляните сюда.— Он указал рукой на макет генеральной застройки села, висевший на стене. На черной доске белели игрушечные дома и дворцы, сине поблескивало крохотное зеркальце плавательного бассейна, зеленела круглая чаша стадиона с футбольным полем и рядами скамеек для зрителей; на одной окраине села предполагался парк и детский сад, на другой — животноводческие типовые постройки, сырзавод, мельница — целый

производственный комплекс.— И все это поднимется на нашей земле. Представляете? Мы сейчас такую работу ведем — дух захватывает,— с гордостью, но без похвальбы рассказывал Сергей Иванович.— Правда, толковых специалистов еще не хватает. Да и рабочих рук маловато. Но это явление временное. Так сказать, трудности переходного возраста.

— А про хутор забыли,— с легким укором сказала Арина.— Даже школа и та стоит как неприкаянная. Хоть бы крыльцо отремонтировали.

— Сторожевой запланировано снести. Как неперспективный населенный пункт. Поэтому там и стоят многие хаты под соломой: люди перестали строиться. Ваш хутор в колхозе теперь как бельмо на глазу.

— Куда ж нам деваться?

— Переселитесь в село, поближе к конторе. Здесь мы строим дома для сторожевцев. Газ, вода, отопление — все будет как в городе. Не волнуйтесь.

— Жалко...

— Чего жалко?

— Хутор.

— Что поделаешь, Арина Филипповна! — Сергей Иванович, будто виноватый, глядел куда-то мимо нее.— Тут знаете какие страсти кипели, пока люди согласились на переселение. И мне хутор дорог: память о предках, их могилы. Тяжело... И все же нужно смотреть в будущее.

— Без сердца и впереди ничего не увидишь.

Сергей Иванович не нашелся что ответить на ее слова, с некоторым смущением сказал:

— Время, Арина Филипповна, нам диктует. Оно наш высший судья.

— А я думала: построюсь в Сторожевом, по-новому жить стану.

— Зачем строиться? Мы вам в типовом доме квартиру дадим, только работайте в колхозе.

— Надоело в квартирах. Стандарт, одно не отличишь от другого... Вы уж извините, Сергей Иванович, но мне самой хочется дом построить. Пусть маленький, но такой, как я хочу. Можно?

Сергей Иванович окинул Арину понимающим взглядом проницательных глаз, привычно постучал карандашом.

— Думаю, разрешат, если хорошенько попросить. Я поговорю с председателем сельсовета. А начнете стро-

иться, почаще обращайтесь в правление. Не стесняйтесь. Колхоз у нас не из бедных, поможем, чем нужно.

— Спасибо,— поднимаясь, поблагодарила его Арина.

Она взялась за дверную ручку, чтобы уйти, но в последнюю минуту вспомнила о Супруне и обернулась к председателю:

— Сергей Иванович, а вы случайно не знаете Прокофия Прокофьевича Супруна?

— Бывшего бригадира? Чем это он вас заинтересовал?

— Так... По старой памяти вспомнила.

— На пенсии Прокофий Прокофьевич. Старик уже, а на вид еще бодрый...— Сергей Иванович помолчал как бы в неловком затруднении и уже решительнее добавил: — Мне Прокофий Прокофьевич родной дядя. Но, честно признаться, его я недолюбливаю: уж больно о себе печется. И то ему дай, и это. При всяком случае на родственные отношения намекает. А у меня родственников полколхоза, так что ж, я поважать их должен?! Откажешь — сейчас же ломится в амбицию: я, мол, горбом колхоз создавал, я фигура заслуженная! С законами, как с пугалом, носится, дерет глотку за каждый пуд муки, а у самого потолок гнется от старой пшеницы. Нет уж, Арина Филипповна, такие заслуженные люди не по нутру мне. Душа к ним не лежит.

— Спасибо! — в порыве доброго и глубокого чувства произнесла Арина и опустила глаза, боясь, что не выдержит и заголосит при Сергее Ивановиче. Усилием воли она сдержала себя.

— За что вы благодарите меня? — не понял он.

— За все... за все! — дрогнувшим голосом ответила Арина, быстро вышла из кабинета и сбежала вниз по лестнице.

День солнечный, ветреный. Дуло прямо в лицо. И шла она с глазами, полными слез, и не стеснялась прохожих: слезы и от ветра выступают. У Арины начиналась новая жизнь в колхозе, которая, похоже, могла быть продолжением прежней ее жизни. А внутри, в пространстве разорванной цепи, остались, навсегда померкнув, лучшие годы ее молодости. И было грустно, горько думать о них... Успокоившись на крепком весеннем ветру, нагулявшись до боли в ногах по сельским улицам, Арина сходила в кино на комедию «Максим Перепелица», насмеялась там

со всеми вдоволь, а к вечеру, накупив снеди в продовольственном магазине, отправилась обратно домой.

Уже в сумерках миновала овраг, резво, как в юности, взбежала на одинокий холм на лугу — и взору ее открылся хутор в пологой седловине. Прокалывали зыбкую тьму редкие, дрожащие огоньки, у магазина колыхался столб света от фонаря, раскачиваемого порывами ветра. Вот скоро и не будет на земле хутора Сторожевого. Хаты снесут, сады повырубят и выкорчуют, и на их месте заколосятся хлеба. Арина так живо представила себе эту картину, что даже остановилась, затаила дыхание, всерьез испугавшись, не случилась ли уже эта беда? Нет, огни трепетали, убеждая, что хутор еще жив, что попрежнему бьется на земле его маленькое, ослабевшее сердце.

А что будет с кладбищем, где похоронен ее израненный на войне отец, где мирно спят под сиреневыми кустами Аринины дед и бабка? Спят и не подозревают, что от них уйдут потомки и все реже, реже станут они навещать могилы, пока в следующих поколениях вовсе не выветрится память о них... Пожалуй, выветрится, сровняется с землею и само кладбище — и превратится в поле.

Теперь уже ничем не помочь хутору. Поздно. «Много нас таких — не пожалели его, бросили»,— думала Арина, шагая навстречу огням. И опять, как дурное наваждение, подступила к ней мысль о Супруне, а следом почти явственно возникли вкрадчивые слова: «Куда спешишь, Ирка? Побудь... поговорим». Она вздрогнула и невольно оглянулась.

Утро Арины началось на ферме. Чтобы не опоздать на дойку, она попросила у Машутки будильник, поставила его у изголовья кровати. Ровно в четыре резко, металлически затрезвонило. Арина проснулась, отчего-то засмеялась и нажала синюю кнопку — будильник, сердито вздрогнув, угомонился. Она надела удобный суконный костюм, сунула ноги в легкие сапоги и, взяв маленький чемоданчик с выходной одеждой, духами, помадой и круглым зеркальцем, тихонько толкнула дверь в сени.

— Пошла? — спросонья отозвалась мать с печи.

— Ага,— радостно откликнулась Арина.

— Перекусила б чего-нибудь. Рано еще, успеешь.

— Побегу. Марея там небось уже выглядывает.

Ферма смутно белела под горою, до нее рукой подать. И чем ближе подходила Арина к ней в чуткой рассвет-

ной тишине весеннего поля, тем сильнее охватывало ее волнение, будто превратилась она в ту шуструю и бойкую девчонку с двумя косицами за плечами, которая вместе с матерью бегала на дойку. Таким необыкновенным, радостно-знакомым было оно.

У дома с крутыми каменными порожками ее ждала Марея, в темном длинном халате, с ведром в руке. Марея молча кивнула ей и вошла в дом. По всему коридору необычно ярко, по-утреннему сияли электрические лампочки. На полу было натоптано, грязно, валялись окурки. В другом конце коридора громко спорили о чем-то мужчины — видно, скотники. Марея оглянулась — как бы удостовериться, идет ли за нею Арина, и открыла дверь в третью от порога комнату.

— Красный уголок,— сказала Марея.

Рваные плакаты на стенах призывали увеличивать удои и сдавать молоко повышенной жирности. Стол был накрыт бордовой пыльной, прожженной цигарками скатертью, на ней — черные костяшки домино с белыми пятнышками, шахматная доска, залитая чернилами. В одном углу поблескивали бидоны и пустые бутылки из-под «Столичной», в другом валялись ведра, лопаты, металлические щетки. На диване у окна сидел заведующий — Федор Кусачкин, в помятом бостоновом костюме, и курил, строгая охотничьим ножом палку. Арина поздоровалась с ним. Федор, продолжая строгать, важно сказал:

— Арин, Марея тебе покажет твою группу. Халата нового не нашел, бери старый.

— Неуютно у вас,— обронила Арина.— Это не красный, а грязный уголок.

Федор густо попыхал сигаретой, поморщился на свет.

— Сойдет, мы тут люди свои. К культуре не приучены.

Марея прыснула в кулак, но тут же согнала с худого лица усмешку, приняла свое обычное печальное выражение.

В юности Федору нравилась Арина. Неуклюжий, валкий и тугодум, он пытался ухаживать за нею, даже балалайку однажды купил, чтобы научиться играть страдания. Но одолеть страдания не сумел, как ни бился,— медведь ему на ухо наступил. Бренчал, мучился, и Арина смеялась над ним. Осталась с той поры на сердце у Федора рана — так, царапинка, комариный укус. Только в осенние ненастные дни, когда все вокруг до смерти надоедало

Федору, он, бывало, ни с того ни с сего ссорился с женою, по нескольку суток жил на ферме. Сладко ныла и беспокоила его тогда рана, и он напевал песню собственного сочинения:

Эх, балалайка, балалайка,
Да, эх, трехструнная моя...

Вообще Федор был бы примерным семьянином, не водись за ним маленького греха: порой выпивал сверх меры. Бабы в хуторе так рассуждали: пить все пьют, но у Федора статья особая, он «Запорожца» купил себе. А пьяница за рулем пострашнее волка в лесу. Федора уже наказывали за хмельную езду: штрафовали, талон кололи, даже с должности снять грозили. Все равно не остепенился, носится по вечерам на «Запорожце», людей пугает.

Когда же он трезвый, то строгий, рассудительный и всем видом показывает, что заведующий. Вот и при Арине напустил на себя важность. Ей это не понравилось.

— У вас, говорят, личная машина? — спросила она с намерением уколоть его.

Федор сразу не догадался, к чему она клонит, и важно уточнил:

— «Запорожец» последней марки.

— А уверяете, что некультурные... Стыдно прибедняться, Федор Матвеевич.

Федор оттолкнулся от кожаной спинки дивана, встал — большой, грузный, с ножом в руке. Хотел в ответ свою шпильку пустить, чтоб потоньше была да поострее, но в висках у него ломило со вчерашнего, да и Арину обижать не хотелось. Перекинул нож с ладони на ладонь и вдруг отточенным взмахом ловко вогнал его в пол.

— Ступайте в коровник. Пора.

Марея отдала Арине свое оцинкованное широкое ведро, себе взяла поменьше, ловко перебросила дужку через локоть, и они пошли. На дворе посветлело. Тянуло сквозным, бодрящим холодком с горы. Коровник, с навесными деревянными воротами и шиферной крышей, на которой блестела роса, стоял неподалеку от дома. Возле него в белых халатах гомонили доярки, все пожилые. Многих Арина еще издали узнавала в лицо. Она поздоровалась, женщины ответили вразнобой, с любопытством приглядываясь к ее ладной нездешней фигуре. Тетка Наташка, острая на язык, не стерпела:

— Арин, на свадьбу вырядилась? В новом костюме-то?

— Это старый,— просто сказала Арина.

— Ох, девка, у нас тут паркетов нету.

— Набедуешься с нами, набедуешься! Подалась бы хоть в трактористки... На курсы.

Полюбовались доярки на новенькую, посочувствовали ей, словно она и вовсе хуторской не была, и гурьбою шумно ввалились в коровник. Дохнуло теплым духом; коровы подняли головы, устремили на них умные, все понимающие глаза. Заластились женщины возле своих «любимых», мелькая между коровьих боков и весело звеня ведрами,— знакомая картина. Коровник был механизированный. Корма подавались по транспортеру, навоз тоже удалялся механическим способом. Арина читала про такие коровники в газетах, но видеть их самой не приходилось.

Пока она осваивалась с непривычной для себя обстановкой, были розданы комбикорма, и женщины приступили к дойке.

— Где мои? — спросила Арина.

Марея провела ее мимо длинного ряда пеструшек, кивнула:

— Твоя группа.

— Что-то многовато,— растерялась Арина.— Я и не справлюсь. На доярку двенадцать коров приходится. А тут все двадцать пять.

— Справишься,— отрезала Марея.— У нас механическая дойка.

Марея усмехнулась одними тонкими губами, юркнула в станок к пеструхе, крайней в ряду. Приласкала ее, цокая языком и приговаривая: «Голуба моя, голуба», теплой водою из ведра обмыла соски, взяла доильный аппарат... Ловким движением руки, почти вслепую, соединила вакуумную трубку с резиновым шлангом и так же заученно приставила стаканы-присоски, которые, мягко фыркая и подрагивая, стали тянуть молоко. На другом конце помещения мерно гудел мотор доильной установки. И Марея, забыв о роли наставницы, засновала от одной коровы к другой. Подставляла и снимала стаканы, следила за тем, как наполняются бидоны, поставленные в несколько рядов возле распахнутых ворот. Резкая в движениях, Марея вмиг преобразилась. Осенние печальные глаза ее засветились, на худом вытянутом лице пробился румянец. Халат на ней кидался туда и сюда, как от ветра.

— Марей! — крикнула Арина.— А ты огневая! От кавалеров небось проходу нет?

— Работай,— сказала Марея.

Холодно и строго сказала, так что Арина устыдилась даже.

После дойки женщины собрались в красном уголке отдохнуть. Расселись кто на чем, ручьем потекла беседа. На дворе трактор с тележкой остановился. Открылась дверца, и выкатилась из него, точно колобок из загнетки, Машутка. Бордовая шаль мелькнула под окном, шаги гулко раздались в пустом коридоре. Машутка открыла дверь и, заметив сидящую на диване Арину, сбивчиво залопотала:

— Аринушка! А мне говорят, ты уже тут. Здравствуй! А я навоз на поле вывожу и думаю: забегу к ней, посмотрю.

Пухлые щеки у Машутки, перемазанные маслом, делали ее лицо смешным. Все так и прыснули.

Арина сдержанно усмехнулась:

— Кто это тебя изукрасил?

— Что?

— Лицо, говорю, запачкала. Утрись.

Машутка пошарила в карманах своего просторного комбинезона, ища платок, но там не оказалось его. Тогда она вытерла щеки рукавом куртки, еще больше размазав грязь по лицу. Женщины так и покатились со смеху. Арина протянула Машутке свой платок, надушенный, крахмально-свежий, с бисерной вышивкой по углам. Приняв его, Машутка смутилась:

— Ой, да он такой беленький! Жалко и вытираться им.

— Утрись,— Арина подала ей и зеркальце.

— Надо же! Какая ты запасливая! — Машутка умостилась на бидоне, пристроила впереди себя зеркальце. Слюнявя платок, стала торопливо прихорашиваться.

— На тракторе научилась рулить, а вот за собой не следишь. Минус тебе.

— Что ль, на тракторе чепуриться? В пыли, в шуме... А прибегу домой, опять дела: корову доить, детей кормить. Мало ли забот. Вот я купила себе модные туфли, так, думаешь, обуваю их? Нет, Аринушка... В сапогах шикую.

— Сама виновата, что безалаберно живешь, красотой не дорожишь. Трактор тут ни при чем.

— Аринушка, родненькая! Поживешь у нас и сама такой же будешь. Это мы в девках все прихорашивались. Бабе не до того. Такая уж доля у нас, деревенских...

— Я и похлеще работы видела,— Арина пальцами пе-

ребирала на груди камушки.— Серебристого хека на рыбзаводе потрошила, в путину было некогда и оглянуться. Лес рубила наравне с мужиками. Это тяжелее, чем на тракторе ездить. Но туфли у меня не пылились, да и руки не лопались от грязи. А почему? Всегда помнила, что я женщина.

— А я так не умею,— всерьез опечалилась Машутка.— Бывает, захочу платье красивое надеть, да тут и остыну. Зачем? Для чего наряжаться? Все у нас в простых ходят, только хлопоты лишние... Еще подумают, что праздник у меня какой.

— Верно! — поддержали ее бабы.— Марея и то не чепурится... Мы в театры не ездим.

— Будем ездить,— сказала Арина.— И артистов к себе пригласим. Подождите только.

— Гляди-ка! Так они тебе и приедут. Нашла дураков.

— Приедут. Что они, не люди? Такие же, как и мы. Из одного теста.

— Да выпечка другая,— вставила тетка Наташка, рябая, с приплюснутым носом, отчего лицо у нее казалось плоским, будто выщербленным.

— Говорю вам, приедут,— Арина хлопнула ладонью по столу.— Только принимать гостей надо по-человечески. А где?— В этой грязи? У вас в коровнике чище, чем в красном уголке. Люди! Для чего тогда вы колготитесь тут с утра до ночи? Чтоб вечно видеть эту грязь, уживаться с ней?

— Забота не наша, пускай Федор думает,— со вздохом проговорила тетка Наташка.— У него голова большая...

— Нет уж! — горячо возразила Арина.— Как хотите, а я не потерплю грязи. Марей, давай вымоем пол.

Марея пожала плечами:

— Пустое... Все одно натопчут.

— Тогда я сама выскоблю.

— Скобли, коль охота. У меня руки ноют.

Доярки разошлись домой обедать, Машутка укатила на тракторе. Арина осталась одна. Поколебавшись в нерешительности, мыть ей пол или не надо, она все же надумала мыть. Облачилась в чей-то серый халат, затянула потуже косынку на голове, чтобы не выбивались волосы, и взялась сперва вытаскивать в коридор бидоны, ведра, лопаты — всякий ненужный для красного уголка хлам. Потом соскоблила с пола грязь, принесла воды. Мыла не пере-

дыхая, не жалея рук. Комната непривычно свежо запахла сосновым некрашеным полом, наполнилась радостным светом, даже попросторнела. Никто в красный уголок не заглядывал — решили, видно, не испытывать судьбу, остаться в стороне от Арининой выдумки. И она спокойно, без толкотни справилась с уборкой, умылась и переоделась в чистое.

До вечерней дойки было далеко (сено уже вышло, а трава была еще жидкая, поэтому доили два раза в сутки). Арина отдыхала на диване — в темно-вишневом платье, в лакированных туфлях. Ей стало скучно сидеть одной, а женщины не возвращались с хутора. Она повертела колесико радио, стоявшего на подоконнике,— ни звука. Поискала газету, чтобы почитать что-нибудь, но и газеты не оказалось. Тогда Арина со злости содрала со стен плакаты, скомкала их и, вынеся из дома, подожгла. Пламя неохотно лизнуло плотную, в паутине, бумагу, судорожно метнулось к разжавшемуся краю плаката, сине вспыхнуло. И вот уже трещал, коробился бумажный комок в жарком огне, превращаясь в пепел... Скучно. Арина поддала его носком туфли, пепел рассыпался. Понаблюдала, как он летел по ветру, и вернулась в дом, жалея, что никто ее не видит в этом красивом платье и туфлях. И Костя увидит лишь поздним вечером. Как он там, ждет ли ее, думает ли о ней? Молчун нескладный.

Наконец одна за другой потянулись из Сторожевого доярки. Кто ни заглядывал в красный уголок, дивился чистоте в нем, яркому наряду на Арине. Неловко и смущенно входили, вытирая в дверях сапоги об тряпицу. Тетка Наташка, будто оправдываясь, обронила:

— Арин, бес те возьми! Что же не кликнула? Мы думали — шутишь, а ты...— И, показав головой, как бы застеснялась собственных слов, оборвала фразу.

Одна Марея вроде и не заметила перемен, тенью прошмыгнула в угол, достала откуда-то клубок черных ниток, замелькала спицами, опустив худые плечи. Вязала она себе шерстяную кофту, быстро накидывала и сбрасывала крупные петли. К зиме готовилась основательно.

Вечерняя дойка затянулась. Пришли они из коровника в темноте, уже и звезды вызрели на небе. Арина опять переоделась в чистое, и в это время широко распахнулась дверь, на пороге появился Федор, со взбитым вверх буйным чубом. Пальцы его беспокойно забегали, а лицо рас-

плылось в улыбке — верный признак того, что был уже навеселе он.

— Экипаж подан,— паясничал Федор.— Арин, поедем со мной... Покатаемся.

— Поедемте, Федор Матвеевич.

— Да какой я тебе Федор Матвеевич? Зови, Арин, просто.— А у самого глаза так и сновали по ее платью, бился в них свет шальной, призывный.

Арина перехватила его взгляд, засмеялась:

— Ох, Федор Матвеевич, шутник вы, хоть и женатый!

— Я еще могу, Арин, могу! Остался порох в пороховнице.

— И я с вами,— вызвалась Марея.

— Давай. Жеребчик у меня сильный, выдюжит.

Арина с Мареей поместились на заднем сиденье «Запорожца», Федор важно открыл голубую дверцу, сел за руль с сигаретой во рту, блеснул золотым зубом:

— Куда прикажете, красавицы?

— Сам знаешь,— сказала Марея.— Домой.

Машина взвыла и с ходу понеслась, как застоявшийся конь, по лугу, сплошь выбитому копытами животных. Замелькали по обеим сторонам столбы электролинии. Арина не успевала оглядываться на них. Марея сидела неподвижно, уставясь прямо перед собой, в ветровое стекло. Двумя руками цепко держалась за металлический ободок переднего сиденья.

— Эх, вороная! Н-но! — дурашливо ломался Федор и, оборачиваясь, подмигивал Марее.

— Тише,— едва разжала она губы.

Федор не послушался — крутил себе баранку да посасывал сигарету.

В свете фар забелел впереди большак. Арина попросила свернуть налево, в обратном направлении от хутора. Грунтовое полотно дороги твердо ложилось под колеса, горохом бились о дно камни, но Федор и не думал сбавлять скорость. Только спросил:

— А зачем сюда, Арин?

— Надо.

Сторожка завиднелась у крутояра. В ее окне теплел одинокий огонек — слабый, едва видный в фиолетоводымных сумерках.

— Останови! — приказала Арина и, не дожидаясь, пока он притормозит, повернула дверную ручку. Федор, ничего не понимая, остановил машину. Арина подобрала

платье, легко выпорхнула из нее, помахала на прощанье рукой.— Спасибо, Федор Матвеевич.

— Куда? — вскинулся тот.

— Езжайте, езжайте. Дома вас дети ждут, жена.

— Арин, не страшно?

— Она тут не одна,— глухо промолвила Марея.— К Косте примчалась...

— Неужели, Арин?

Та не ответила, перебежала через кювет и скрылась за кустами шиповника. Федор пальцем притушил о дверцу сигарету, поскреб в затылке:

— Да... Кому рассказать — не поверят... А может, она лечится у него?

— Езжай,— сказала Марея сердитым тоном.— После гадать будем.

Федор еще долго возился, не мог стронуться с места — что-то случилось с зажиганием.

6

Зачастили майские дожди — все больше обложные, урожайные, иногда прорывались и шумные, грозовые. За какие-нибудь две недели в лугах по пояс вымахали травы, в огородах пробились из-под земли крепкие бархатные листья картошки. Желтыми огоньками повсюду вспыхивали баранчики. С берегов Ули по ночам тянуло холодным, горным запахом фиалок.

Потом на пригревных склонах дурманно зацвел крупными чашами бирюшник. В его кустах, низкорослых и почти непролазных, в сухмень стояло такое удушье, что даже овцы неохотно забредали в них. Но всегда бирюшник к богатым травам цветет, и это радовало Костю. Когда выпадали свободные часы, они встречались с Ариной неподалеку от фермы. Костя учил ее распознавать полезные травы. В глазах его, в жестах, в походке всегда была готовность сделать для нее что-то хорошее, доброе.

Порою она ловила на себе его полный доверия и любви взгляд, и ее охватывало странное, неодолимое волнение. Это обезоруживало ее перед ним, и тогда она мечтала лишь об одном: любить его, любить и не думать о своем минувшем, не возвращаться к нему тревожной, больной памятью.

Сперва Арину несколько удивляло, почему Костя ни разу не спросил о прошлой ее жизни, о муже. Потом жен-

ским чутьем догадалась: благодарность его так сильна, а чувства так глубоки и непосредственны, что у него не возникало этого вопроса. Счастье находиться возле нее означало для Кости все; оно было значительнее любой надежды, выше любой мечты. Он воспринимал ее такой же, какой она была и раньше, еще до вербовки, в те далекие и навсегда угасшие дни юности.

Однажды Арина сама завела разговор о своем бывшем муже:

— Ты знаешь, Семен тоже любил меня. Ему нравилось ходить со мной на танцы в клуб или на вечеринки, где весело, шумно и много народу. Мне казалось, что так будет всегда, вечно... И вдруг — измена. Почему? Разве любовь может кончиться сразу? Будто кто взял и вырвал у него сердце... Я думала, не вынесу, но видишь: живу, разговариваю с тобой. Чудно! Больше нет для меня Семена.

— Значит, и любви не было,— сказал Костя.

Арина взяла Костю за руку, приложила ее к своей груди, как бы давая почувствовать ему свое участившееся дыхание.

— С ним мне никогда не было так хорошо, как с тобой... Посмотри, какая трава, солнце, деревья! Всю жизнь стоять так и смотреть. Стоять и смотреть... А правда, что у тебя моя карточка?

— Правда...

Скоро Арина с Костей затеяли строить дом в селе, на той его стороне, которая была обращена к хутору. Костя не знал, будет ли он жить в Арининном доме, это его вовсе и не занимало. Он гордился одной лишь возможностью вместе с Ариной хлопотать о нем, ездить с нею на пилораму за досками, собирать на речных перекатах плоский, угонистый камень для фундамента, тесать балки. Сергей Иванович не только выделил лесоматериалы, но и подыскал двух мастеровых людей, наказав им поработать на совесть. Те старались не подвести его: с зари до темна строгали, пилили, стучали. На подхвате у них был Костя. Жилистый, проворный, он таскал на себе балки и доски, обливаясь пóтом. Когда ставили стропила и крыли железом крышу, он целыми днями пропадал наверху. Бегал по балкам, балансируя руками, цепко ползал по жести, подтаскивал мастеровым звенящие веселым звоном гибкие листы.

Арина, рассуждая вслух о том, какой мебелью она собирается обставить дом, как-то мимоходом сказала Косте, впрочем не придав этому значения:

— Был бы ты охотник, убил бы медведя и шкуру подарил мне. Я бы на полу у кровати ее постелила. Мне нравятся в доме медвежьи шкуры.

Костя промолчал и ничего не пообещал ей тогда. Однако мысль подарить ей шкуру медведя, которого он должен убить сам, уже не покидала его. Костю меньше всего интересовало, почему у нее возникло это желание, он думал над тем, как сделаться охотником.

Сперва он исполнил обычную формальность, вступив в общество охотников, после тайком поехал в областной город, отыскал там охотничий магазин и с замиранием сердца переступил порог.

Он попал в удивительное царство ружей, пороха, пуль и дроби. Искусно смазанные тонким слоем вазелина ружья стояли рядами на подставках, поражая воображение своим разнообразием, шоколадно-темным блеском прикладов... Тут были многозарядные автоматические дробовики, одноствольные и двуствольные ружья с горизонтально и вертикально спаренными стволами, даже трехстволка на глаза попалась. Костя растерялся, не зная, что и выбрать.

— Посмотрите бокфлинт,— услышал он чей-то голос и вздрогнул. К нему обращался пожилой мужчина в вельветовой куртке, с пустой трубкой в зубах, которую он непрерывно посасывал.

Красивым движением продавец снял с подставки двустволку и протянул ее Косте, пояснив с подчеркнутой вежливостью:

— Сверловка стволов под чок. Бой резкий... Кстати, на что охотитесь?

— Медведя надо убить,— приняв ружье, смущенно ответил Костя.

— Еще запрещена охота на медведей.

— Я подожду.

— Это ружье вам вполне подойдет. Брать будете?

— Возьму,— согласился Костя.— Лишь бы палило метко. С медведем шутки плохи.

— Ну знаете, хорошему охотнику и тигр не страшен... В охоте на медведя главное — меткая стрельба.

— А можно до осени научиться стрелять?

— Если вы от рождения охотник — можно.

Костя накупил еще пороха, дроби, гильз, картонных пыжей и прокладок. С удовлетворенным сознанием, что он сделал большое и важное дело, простился с вежливым продавцом и закрыл за собой стеклянную дверь.

Евграф Семеныч, в молодости увлекавшийся охотой, выведал о новом Костином занятии и немедля предложил свои услуги, пообещав обучить друга некоторым секретам в стрельбе и отыскании медвежьих следов. А дней через пять старик привел в сторожку девятимесячного щенка от русской гончей. Это был кобелек черно-пегого окраса, с довольно развитой мускулатурой, в золотистых подпалах на голове. Он обладал звучным голосом и острым чутьем. По словам Евграфа Семеныча, щенок воспитывался у одного знающего человека по всем правилам дрессировки. И точно: услышав свою кличку — «Лотос», он вздрагивал и глядел на окликнувшего умными, проницательными глазами, легко, с шаловливой игривостью исполнял команды: «Ко мне!», «Лечь!», «Ищи!»

Сначала, правда, он сопротивлялся их требованиям, иногда проявлял упрямое своенравие. Столкнувшись с враждебностью животного, Костя запретил Евграфу Семенычу кричать на Лотоса и терпеливо ждал, пока щенок пообвыкнет, покоряя его молчаливой лаской. И скоро в целом мире, казалось, не было существа преданнее ему, чем Лотос.

Евграф Семеныч с Костей принялись натаскивать Лотоса по дупелю, чуткой болотной птице. По резкому запаху дупеля, чуть приседая на передние лапы, прячась в осоке, Лотос бесшумно шел в поиск. Весь напрягался от волнения, струной вытягивал спину. Заметив птицу, он замирал на стойке будто завороженный: ждал приказаний. Евграф Семеныч волновался не меньше Лотоса, взмахивал в воздухе рукой — и Лотос каким-то чудом улавливал это движение, делал несколько стремительных бросков навстречу птице, вспугивал ее. Дупель взлетал, и в то же мгновение, чуть раньше выстрела Евграфа Семеныча, щенок вжимался в траву и, дрожа всем телом, следил глазами за полетом птицы, пока она, обессиленная горячей дробью, не падала наземь. Тогда по голосу Лотос вновь вскидывался, стремглав летел на поиски, шелестя осокой, и затем возвращался к ним с теплой добычей в зубах...

Бывалые люди похваливали молодую гончую Кости, а он ждал первых осенних туманов, чтобы проверить ее в настоящем деле.

Раз бродил Костя с Лотосом по взгорьям у фермы. Солнце стояло высоко, почти над головой, деревья мало давали тени. Пекло и парило — к дождю. Костя продрался через папоротник к черемуховым кустам. Из-под твердо слежавшихся пластов красновато-бурого плитняка бил прозрачный ключ. Костя с облегчением опустился возле него на колени, снял сумку, положил ее у ног, ружье — сверху. Ветки черемухи клонились от поспевающей крупной ягоды, надсадно гудело комарье. Костя сорвал узорный, папоротниковый лист, брызнувший соком на ладонь, помахал им возле лица. Комарье отодвинулось, гуд в ушах замер, легкая прохлада, как тень, коснулась щек. Остудившись, он припал к земле на локти, подполз на четвереньках к воде и стал медленно тянуть ее сквозь зубы, наблюдая за мелкой рябью вокруг рта. И перестал пить, заметив в глубине ключа отражение чьих-то обнаженных до колен ног и черного, в оборочках, платья.

На той стороне ключа, лицом к нему, стояла Марея. Прозрачные глаза ее неотрывно следили за ним сквозь листья.

— Здравствуй,— пропела Марея и стала обходить ключ, приближаясь к нему.— Собака меня не укусит? — Платье на ней шуршало, потрескивал хворост.

Костя гладил по шерсти ластившегося у его ног Лотоса.

— Она у меня смирная, на людей не кидается.

— Смотрю: сидит кто-то... Я тут ягоды на поляне рвала. Хочешь? — Марея протянула ему бумажный кулек с алой лесной ягодой.— Крупные, что клубника.

— Наелся. Спасибо,— отказался Костя. Он взял сумку, сунул в лямки руки, забросил ее за спину. Встал.

Голос у Мареи осекся:

— Уходишь?

— К Григорию забегу. Просил помочь освежевать овцу.

— Торопишься? Не хочешь и поговорить со мной,— не то укоряла его, не то жаловалась Марея.— Постой! — Она решительно встала перед ним, загородила дорогу.— Ты от меня нонче не уйдешь. Все тебе выскажу.

— Марей,— с болью произнес Костя, жалея ее,— мы уже говорили.

— Постой! — она толкнула его в грудь, отчего-то в беспокойстве оглянулась назад. Губы у Мареи вытянулись, сделались еще тоньше, глаза потемнели,— Долго я

молчала, дай душу облегчить... И не гони меня, не гони! Я, может, одна только и уважаю тебя.

Костя больше не противился ее настойчивому желанию поговорить с ним, поморщился — и сник.

— Давай. Чего там?

Болью и надеждой светились печальные глаза Мареи.

— Прогони ее. Сгубит она тебя.

Костя теребил лямку на выпуклой груди. Комары столбом толклись между ними. Он не отгонял их, одним дыханием не допуская близко к лицу.

— Прогони. На что она тебе? Для забавы?

— Я люблю ее.

— А она тебя жалеет? Ты спросил?.. От скуки с тобой связалась. Появится другой — бросит тебя. Вон и Григорий говорит: не к добру это.

Зрачки у Мареи повлажнели, шея вытянулась. У горла запульсировала тонкая синяя жилка. Костя нагнулся, поднял с травы ружье, сердито дунул в стволы.

— Много зла в себе держишь.

Марея не сторонилась, настаивала:

— Попытай Григория, попытай!

— А что? — насторожился Костя.

— Он расскажет, какая она. Машутка такое про нее знает — ушам бы не слышать.

— Уйди,— выдавил Костя, отступая от Мареи в папоротник.— Тебе на всех бы лаяться.

— Брешешь, Костя... Я не злая — несчастная. Сам знаешь, как я мужа берегла, на руках носила. И обшит, и обстиран был.— Марея смахнула с ресниц навернувшиеся слезы, дернулась, будто в судороге.— И тебя холила б не хуже.

— Говорил я тебе: любить надо.

Горькая усмешка тронула Мареины губы:

— Любить!.. Любовь вспыхнула и потухла, как спичка. Жить надо. Вместе веселей, чем врозь... Прогони ее. Замуж она за тебя не пойдет.

Костя исподлобья сверкнул на нее недовольным взглядом:

— В женитьбе ли радость?

— А в чем?! — ужаснулась Марея.

— Ты не поймешь,— сказал ей Костя.— Сердце у тебя не то.

— Тогда иди,— упавшим голосом проговорила Марея

и отвернулась, поднесла ко рту конец платка.— Не держу тебя.

В душе Кости опять шевельнулась жалость к ней. Он потоптался возле притихшей Мареи и, обеими руками раздвинув бледно-зеленые листья папоротника, пошел в гору мимо нее. Лотос обрадованно завилял хвостом, понюхал у Мареи туфли и побежал вслед за Костей.

Марея всхлипнула, подсела к ручью на корточки и, обхватив острые загорелые колени, уставилась в воду. Пригляделась к тихо плескавшемуся возле черных корней ольхи своему лицу, странно вытянутому от подбородка до лба и переломленному поперек находящей рябью. Оно навело на Марею ужас. Задрожав от омерзения, Марея схватила палку и бросила ее в ключ. Лицо раздробилось, исчезло...

— Костя! — позвала Марея.

— Чего тебе?

Она затаилась, послушала, как звучит его голос, перекатываясь эхом в глубине черемуховой балки, и побрела на яркий свет поляны. Тонкий комариный зуд бился в ушах Мареи, просвеченных солнцем. Марея шла не подымая головы и на краю поляны столкнулась с Костей.

— Что, испугалась чего? — встревожился он.— Сюда дикие свиньи бегают: картошка на выгреве посажена. Роют.

Марея прошла мимо. Слегка задержала шаг, обернулась:

— Кроме мужа, я никого не знала. А она... с кем не водилась. Ты у нее сбоку припека.

— Молчи! — выкрикнул Костя.

— Машутка сказывает, у нее одних мужей трое было... Красавцы писаные,— тихо и печально пела через плечо Марея.— А ты камни на Арину ворочаешь... Не жалеешь себя.

— Злая! — Костя покачал головой.

— Глупый,— губы у Мареи скривились.— Попомни мое слово: распутница она. Северная, вербованная.

Костя повернулся к ней спиною, неуклюже заспешил прочь по желтым ромашкам. Марея как ужаленная бегом понеслась под гору. Длинный жгут ее волос выбился изпод платка, распустился за спиной. Костя почувствовал, что Мареи нет уже близко, и пошел спокойнее. За поляной начинался лес, а дальше виднелась широкая проплешина горы. У скалы, под тремя соснами, прилепился овечий баз,

огороженный березовыми жердями. И летний чабанский балаган, крытый ветками и толстыми кусками дерна, темнел там же.

У балагана клубился синий дымок. Костя потянул воздух ноздрями, с удовольствием зажмурился: пахло вареной бараниной. Лотос заюлил у ног, стал выписывать круги перед ним.

— Эк разыгрался! — тихо сказал Костя.— Обед чует.— И зашагал шире, немного досадуя, что опоздал: Григорий сам овцу освежевал. Два волкодава кинулись к ним со злобным лаем, но узнали Костю и Лотоса, остановились и вяло повернули назад, к отаре.

На огне в черном котле варилось мясо. Григорий с сыном ворошили жар, кидали хворост. Поздоровавшись, Костя извинился за опоздание, разлегся у костра. Жара спадала, тучи набегали на солнце, по земле неслись быстрые тени.

— Помидоры подошли? — спросил Григорий.

— Краснеют. Завтра собирать думают.

— А там кто-нибудь есть? В сторожке?

— Евграф Семеныч... Кошелку плетет.

— Передай ему: пускай вершу притащит. Тут по ручью в заливчиках форель объявился. Аж вода кипит от него. Играет!

— Я ж тебе сачок связал. Попробуй сачком.

— Не возьмет. Заливы глубокие.

— По шейку! — вставил русоголовый, в пестрой рубашке Коля и провел ладонью по горлу.— Во как!.. Я проверял. А вода холодная-прехолодная.

— Я говорил тебе: не купаться! — озлился Григорий.— Простудишься и оглохнешь. От горной воды еще отец мой слух потерял. Купался, набрал ее в ухи. С того дня как вату ему запхнули.

Костя думал о Марее, о разговоре у ключа и слушал рассеянно. Да и говорил с Григорием без интереса, лишь бы заглушить жалость к Марее.

— А какой вершой ловить?

— Ниже заливчиков запруда, там и поставлю вершу. Нагоню в нее фореля... Форель — рыба пугливая, побежит.

— Верно,— поддакнул Костя и посоветовал: — Утром шугани ее. Спросонья она глупая.

— Ага,— кивнул Григорий.

Вода в котле осердилась, пеной хлестнула через край.

Жар зашипел, стрельнул искрами. Григорий схватил деревянный половник, помешал им и, сняв пену, попробовал на вкус кусочек горячего мяса:

— Сварилось.

Коля юркнул в балаган, принес оттуда клеенку и расстелил на траве. Вынув из-за пояса кривой охотничий нож, Костя раскроил на части круглую буханку хлеба. Григорий уже разливал дымящуюся жижу в голубые эмалированные чашки.

— Коля, сольцы и горчицы! — закончив разливать, засуетился Григорий.— Ай да обед у нас! — потер узловатые темные руки, скинул мохнатую шапку и сунул под себя — мягче сидеть на ней.

Ели молча, обгрызая бараньи мослы и макая их в едкую, остро бьющую в нос горчицу. Деревянными ложками удобно черпать навар. Вкусна жижица на свежем воздухе, ее сразу и не выхлебать всю, больно сытна и навевает дремотную истому. Коля взял под мышку «Остров сокровищ» и во все лопатки дунул к отаре. Григория разморило, раскинулся он на траве и глядел не мигая в небо. Костя точил на оселке нож. Навел жало, осторожно потрогал пальцем, удовлетворенно хмыкнул: чуткое. И сунул нож в черные, с мелкой бахромою ножны.

— Спишь? — толкнул Григория в бок.

Григорий лениво пошевелился:

— Не-е... думаю.

— А меня опять Марея допекает.— Костя вздохнул.— Перестрела в Черемуховой балке.

Григорий перевернулся на живот, подпер голову ладонями.

— Знобит ее одну.

— Я-то при чем?

Григорий помолчал. Сощуренные глаза его, в оправе морщинистых узелков, пристально следили за дотлевающими углями в пепле. Поелозил ногой по траве, зевнул.

— Марея баба хозяйственная. Дом у нее ломится от добра. Мужика б ей хорошего — расцвела б как роза. Ее бы приласкать, а ты пятишься.

— Зачем обижать Марею?

— Обижать нельзя. Приласкай.

— Чудной вы, дядь Гриш,— теребя бахрому на ножнах, усмехнулся Костя.— И не надоест вам толочь воду в ступе... Когда не любят, ласки хуже пощечины.

— Жалко Марею.

— У нее одно на уме — замуж выйти. Пускай найдет кого-нибудь другого.

— А ты Арину возьмешь?

Костя передернул плечами:

— Не знаю...

— То-то! С Ариной скорей голову сломишь, чем свадьбу сыграешь. Хоть племянница моя, а душа не лежит к ней. Гордая. Надсмехается над всеми. Берегись ее... Я знаю. Это Евграф Семеныч воду мутит, подначивает тебя: «Арина — женщина-огонь!»

— Семеныч тут ни при чем. Не пойму я, что она вам сделала? За что вы ее не любите?

— Примчалась, взбаламутила всех,— будто и не расслышав упрека, продолжал Григорий.— На ферме стала порядки свои наводить. Газет, журналов в красный уголок требует, мебель новую привезла. Пить мужикам запрещает...

— Разве ж это плохо?

— Да это на чей вкус,— уклончиво ответил Григорий.— А после дойки в праздничное наряжаться — хорошо? Пава! Не клубы тут... Машутку из-за нее учил Рыжик. Слыхал?

— Не довелось.

— Ох и учил! Удумала и Машутка после работы нарядиться. Заглушила трактор, искупалась под душем и ну рябить в обнове перед механизаторами. Донесли Рыжику: мол, женушка на стане юбкой трясет. Угнул Рыжик голову, но виду не подал. А как Машутка нагулялась и воротилась домой, тут Рыжик и стал воспитывать ее.— Григорий, довольный, рассмеялся.— Потеха!.. С той поры Машутка серчает на Арину.

— Эх, люди,— с горечью проговорил Костя.

Григорий между тем продолжал смеяться:

— Вот тебе и коверкоты да крепдешины!

— Бедная,— коротко бросил Костя.— И живет с ним!

— Еще как живет,— с оттенком легкой зависти подхватил Григорий.— Как сыр в масле катается. Никогда до этого ничего, а вот из-за Арины поскандалили.

Небо между тем полнилось тучами. Вдали ворчал, погромыхивал гром — словно кто по горам на бричке ехал: на мягком колеса затихали, на камнях били скороговоркой. Костя попрощался с Григорием, позвал Лотоса и, вскинув за плечи сумку, потяжелевшую от бараньей ляж-

ки, приударил трусцой с горы: как бы ливень не захватил в дороге.

Вот и сентябрь из-за гор тихонько подкрался. Посвежело в балках, с калины повалился лист. Воздух стал прозрачен, студен. В безоблачные дни на самом горизонте выступали из синевы белые, как мираж, вершины: то первым снегом припорошило. У Федора Кусачкина пробудилась страсть к путешествиям. Манили его ясные, как детские сны, дали. В прежние годы Федор трещал на мотоцикле по крутым дорогам, поражая многих отчаянно-дымными петлями, теперь же на «Запорожце» к форельной речке подался. На одном повороте лихо выскочил из-за нависшей каменной глыбы и обомлел: впереди показался бок молоковозки. От удара высыпались стекла. Шофер молоковозки, страшно матерясь, выскочил из кабины, рванул у «Запорожца» дверцу:

— Куда прешь? Знака не видишь?

Федор поднял от руля голову, пьяно удивился:

— А, Захар!.. Рыбу ловить хочешь? У меня бредень в багажнике, бери,— и впал в забытье.

Захар достал трос, подцепил к молоковозке «Запорожец» и потащил его назад, в хутор. Федор так и не проснулся в дороге: на мягком сиденье крепок сон...

Тяжелым было пробуждение: Сергей Иванович снял его с должности и перевел в скотники. Федор обиделся, но покорился судьбе: бостоновый костюм сменил на ватную телогрейку и синие милицейские галифе с кожаными нашивками на коленях. На ферме притаились: кто будет новым заведующим? Может, пришлют кого-нибудь из полеводческой бригады?

Приехал председатель. Арина как раз сгребала на ленту транспортера навоз в коровнике. Упарилась, повесила платок на оградку станка, расстегнула на кофточке верхнюю пуговицу. Сергей Иванович стоял у входа, любовался ее ловкими движениями, мелькавшими оголенными руками. Улыбнулся, крикнул издали:

— Арина Филипповна! Идемте на собрание!

В красном уголке тесно. Арина прислонилась было к дверному косяку, но Сергей Иванович жестом руки пригласил ее сесть возле себя за столом. Вчера председатель вызывал Арину в контору, предлагал возглавить ферму. Арина растерялась и ответила, что ей надо как следует подумать, да и не плохо правлению узнать, кого захотят сами люди, а то может и казус выйти. Когда народ мало-

помалу разместился, Сергей Иванович вынул из кармана портсигар, постучал по серебристой крышке пальцами, как бы призывая всех к тишине.

Вы уже догадываетесь, по какому случаю я заглянул в гости. Хочу посоветоваться: кого нам поставить на место Кусачкина. Нашего доверия он не оправдал. Несерьезный человек.

Федор задвигался в углу, с обидою напомнил:

— Я свою машину угробил — не колхозную.

— Дело вовсе не в машине, Федор Матвеевич. А в том, что пьете вы, коллектив разлагаете. Приобрели «Запорожца» и на все махнули рукой. Днем вас с огнем не сыщешь, раскатываетесь по району... Хотел я вас на ученье в техникум направить, да, видно, повременить придется.

— Пошлите его, Сергей Иванович! — загомонили женщины.— Он, может, пить там бросит, трезвенником вернется.

— За свои трудовые пью,— сказал Федор.— Лыбитесь, да? Смешно? С кота шкуру содрали — и заиграли мышки. А я возьму да новую наживлю, что тогда? — Громко кашлянул в кулак, пояснил: — Я, Сергей Иванович, шучу с ними. Мне так и ладно, что сняли. Баба с возу, кобыле легче. Кто побудет на моем месте — не возрадуется. Тогда и я посмеюсь.

— У вас лучшая в колхозе ферма, почти все процессы механизированы,— выговаривал ему Сергей Иванович.— А вы жалуетесь, сами виноваты... Дисциплину запустили, рацион кормления не выдерживаете, молоко сдаете повышенной кислотности. Скажите спасибо Арине Филипповне, что она хоть о порядке в доме позаботилась.

— Лупите все черепки на моей голове, лупите,— бурчал Федор.— Она у меня чугунная, не расколется.

— Гладить за безобразия не будем! — резко оборвал его Сергей Иванович и опять защелкал по крышке портсигара.— Я и нового заведующего, кого мы назначим, хочу заранее предупредить: легкой жизни пусть не ждет. Так что думайте: кто сможет навести на ферме действительно образцовый порядок?

Сергей Иванович в ожидании ответа умолк, обвел взглядом собравшихся.

Среди наступившей тишины отчетливо раздался сдержанный голос Мареи:

— Нету у нас такого человека.

— Неправда! — накинулась на нее тетка Наташка.—

Это, Марей, твои наговоры. Сергей Иванович послушает да и пришлет нам на голову еще одного казака-разбойника. После заскворчишь, как рыбка на сковороде, да поздно будет...

— Кого же вы предлагаете, Наталья Акимовна?

— Да кого же, Сергей Иванович, понятное дело: Аринку Климову. Хоть и работает она у нас без году неделя, а вон как за дело взялась! Никому покоя не дает. Да и девка-то не чужая — наша. Мы ее с пупенка, с мелых лет знаем. Бывало, все на полотье с матерью бежит. Верно я говорю, бабы, или брешу? — Тетка Наташка проворно обернулась к дояркам.

— Правильно! — раздалось несколько голосов.

Марея завертелась как на иголках, но сказать ничего не сказала. Спряталась за широкую спину Федора и сидела так до конца собрания.

Арина совсем разволновалась. От смущения она не знала, что делать: еще подумают, сама в начальство просится. И порывалась что-то сказать — Сергей Иванович успокаивающим жестом остановил ее: мол, пусть сейчас выскажутся другие.

Со всех углов неслось:

— Меньше будет фуфыриться — справится!

— Арина строгая, на своем настоит.

— Артистов нам обещала — нехай теперь кличет!

— Как ни крути, а баба. Толку не жди.

— Она те покажет — баба! Шелковым будешь.

— Мы согласные-е! — уже хором кричали доярки.

Сергей Иванович с интересом прислушивался к голосам, едва заметно улыбался, кивал головой. Наконец все угомонились, и он сказал:

— Как-то является ко мне Арина Филипповна и знаете о чем спрашивает? Когда мы, говорит, культурные пастбища в колхозе организуем? Дело, мол, важное, выгодное. И главное — не требует больших затрат. Только помогите, говорит, достать нам проволоки и столбы для ограждения, остальное мы сами сделаем. А я, честно признаться, давно живу мыслью о культурных пастбищах. И в новом году мы вплотную займемся этим.

— Хорошо бы,— сказала Арина.

— Насколько мне не изменяет память, вы, Федор Матвеевич, никогда не обращались с подобными предложениями,— опять поддел Федора Сергей Иванович.— Что у

вас, все проблемы решены или боялись доставить мне лишние хлопоты?

— Я в передовые не лезу. Да и не привык начальству глаза мозолить.

— Вы не привыкли думать,— отрезал Сергей Иванович и, немного успокоившись, обратился к женщинам: — Значит, потянет Арина Филипповна?

— Потянет!

— Понятно.— Сергей Иванович обернулся к Арине, протянул ей пухлую, как у женщины, руку: — Ну что ж, Арина Филипповна, я полагаю, правление колхоза согласится с мнением ваших товарищей по работе.

Из красного уголка Арина выходила с таким чувством, будто ей оказали непомерно большое доверие преждевременно, и она не ведала, как сейчас вести себя: радоваться или, пока не поздно, отказаться. Но тут из толпы медленно выбрался Федор и легонько оттеснил ее плечом от председателя за угол дома.

— Ну, Арин, и хитрющая ты! — шепнул, как пощечину отвесил.— В заведующие напросилась. Как бы это тебе боком не вышло.— Он торопился, проглатывал окончания слов, жарко дышал ей в лицо.— Ох, хитрая!

Арина оттолкнула его от себя:

— А ты не пугай... Завтра чтоб скотину пас у меня на отаве. Хватит лизать голые бугры.

Федор опешил:

— Видали ее, во! Уже командовать!.. Арин, ты что? Своих не узнаешь?

— Осторожнее, Федор Матвеевич, на поворотах,— не сдержалась Арина.— Что-то вы про тормоза забываете!

Проявлялся в ней характер, закаленный на жестких северных вьюгах. Федор смекнул: шутки с Ариной плохи — и на попятную:

— С тобой и пошутить нельзя. Колючка!..

В заботах дни побежали вскачь. Хлопоты о ферме и о новом доме с головой захлестнули Арину. Но странно было: она совсем не испытывала усталости, что-то такое вселилось в ее душу, что постоянно придавало ей сил и радости, бодрило ее. Дом вырос на окраине села — белый, веселый, с окнами на все четыре стороны. В нем уже монтировали водяное отопление, пробовали краску для полов. Новоселье ожидалось к ноябрьским праздникам.

Уже по ночам знобко студило. Листья на деревьях пожухли и опали, морозной, мглистой дымкой засквозили

леса. Дальние вершины все глубже нахлобучивали на себя шапки снега. Однажды, бродя с Евграфом Семенычем в лесу неподалеку от сторожки, Костя приметил в ольховых кустах тонкий ствол чинары и невольно залюбовался ею. Чинаре было лет пять-шесть. Может быть, она проклюнулась из ореха, кем-то оброненного тут, и теперь стояла одиноко в окружении непохожих на нее деревьев. Росточком она едва доходила Косте до плеч. Он потрогал ее ветки, обещавшие густую и могучую крону, провел ладонью по вздрогнувшему от прикосновения стволу.

— Семеныч, гляньте: красавица!

Евграф Семеныч подошел и тоже погладил ствол.

— Хороша. От доброго семени... Течение жизни, Костя. Течение жизни!

— Если ее выкопать, приживется?

— Должна. Молодость свое возьмет.

Костя сходил к буртам, принес оттуда лопату и ведро, и они вдвоем опустились на колени перед чинарой. Непривычно волнуясь, Костя снял верхний слой земли вокруг основания ствола. Копал осторожно, чтобы не задеть корешки. Часто откладывал в сторону лопату и греб руками. Евграф Семеныч терпеливо ждал, наблюдая за его работой. Наконец Костя приподнял чинару из ямы вместе с черным и влажным клубком земли. Тонкие щупальца корня оборвались, лопнули, как нить пуповины. Евграф Семеныч, облегченно вздохнув, промолвил:

— Ну и нянчил ты ее! Как дитя.

Костя опустил корень в ведро, пригоршнею подсыпал свежей землицы с холодноватым запахом грунтовых вод.

— Посторожите. К вечеру вернусь.

Подхватил ведро обеими руками, крепко прижал к груди и понес в село.

— Пешком? — изумился Евграф Семеныч.

Костя не обернулся на возглас. На его рябом лице блуждала улыбка, в глазах теплилась мечта... Он взял напрямик, через овраги и бугры, и за всю дорогу ни разу не остановился, не сел на кочку перевести дыхание. Еще и полдень не настал, и можно было не торопиться. Да он и не торопился. Просто шагалось ему широко и вольно среди опустевших полей и холмов, которые навевали спокойные, светлые мысли своим осенним молчанием. И он не замечал, что идет куда-то, что у него давно занемели руки и холодит от ветра в груди, что его одолевают нелепые и радостные мечтания.

В новом доме Арины не было. На крыльце топталась Климиха, в просторном, без рукавов, зипуне, заляпанном известкой.

— Белите, мамаш? — осведомился Костя, опуская возле себя ведро с чинарою.

— Белю... А ты это что принес? Грушу?

— Чинару,— сказал Костя.

— А! — Климиха разочарованно махнула рукой.— С ей я орешков не дождусь. Ноги скорей вытяну, пока орешки вырастут.

— Ничего, мамаш! — утешил ее Костя.— Дождемся! Я вам первых орехов нарву... Лопата есть?

Климиха отыскала среди накиданных вповалку досок лопату, кинула ее Косте.

— Где у вас палисадник будет?

— С улицы...

Костя знал, где намечается Аринина спальня, и обрадовался, что в палисадник выходит ее окно. Он выкопал яму напротив окна, бережно опустил в нее корень чинары. Климиха не утерпела, сошла с крыльца и поддержала деревце.

— Слышь, Костя,— сказала она, любовно следя за тем, как он засыпает яму.— Ты мою Арину не проворонь. Тянется она к тебе, и ты не робей. Бог даст, поженитесь. Домто вон какой! И для тебя местечко найдется.

Костя засыпал яму, ладонями слегка прибил землю у ствола, отошел в сторону, полюбовался на чинару. Едва заметно вздрагивала она, маленькая и нагая, на ветру, и верхушка ее, отраженная в стекле, казалось, робко, неслышно стучала в окно.

7

Перед закатом солнца гость в Сторожевом объявился — Игнат Булгарин. Ехал он на попутке в кузове. Не доезжая моста, бухнул кулаком по кабине, дал шоферу знак, чтоб остановился. Белобрысый шофер приоткрыл дверцу, мотнул чубом:

— Чё торопишься? К магазину подброшу!

— Я тут сойду, тормози. — Игнат обеими руками держался за борт, сготовившись для прыжка.— Пройдусь пешком, разомнусь.

Он небрежно кинул в кабину железный рубль и, поправив на плече ремень сумки с голубой рекламой Аэрофлота, легко, в один мах, спрыгнул наземь.

— Бывай, землячок! — махнул вслед загрохотавшему по дощатому настилу грузовику.

Игнат снял пиджак с литых плеч, степенно отряхнул его от пыли и опять надел. Долго и старательно обивал брюки в коричневую полоску, в тон пиджаку. Затем прошелся по мосту, глядя в кипящую у опор воду, свернул с дороги и сбежал вниз к реке. Вверх по течению курчавилась дереза, желтея сквозь редкие листья бурыми капельками ягоды облепихи. Огород родителей Игната спускался с бугра почти к самой воде, поэтому Игнат и не пошел улицей, видным местом, а направился по реке, где меньше любопытных глаз...

На лугу в ямках с проточной водою мокли снопы конопли, придавленные сверху плоскими голышами. Игнат присел возле одной ямы, снял пиджак, засучил по локоть рукав белой нейлоновой рубахи и, ощутив ледяной холодок, запустил ладонь под камень. Вербный запах моченого волокна вызвал в нем воспоминание о далеком детстве, когда он с ребятами воровски сдирал с кострики белые мягкие нити конопли и плел из них кнуты, швырялки для камней. Игнат попробовал на ощупь волокно, оно отклеилось от материнки, прилипло к пальцам.

— Перемокнет,— вслух произнес Игнат.— Сушить пора да теребить.

Напился из ямы терпкой холодноватой воды, рывком вскинулся на ноги. Среди иссиза-зеленых кустов дерезы свежими хлопьями снега белели гуси, громно издавая гортанно-ликующие крики. Игнат подумал: «Поймать бы гусака да изжарить. Осенью птица жирная...» Эта мысль так овладела им, что он едва не пустился ловить гоготавшего в двух шагах от его вожака белой стаи с важной шеей и красными перепончатыми лапами. Но в это время внимание Игната отвлек густо разросшийся куст дерезы, облепленной рясной ягодой, и он забыл о гусе. Губами сорвал с куста ягоду, перекинул ее на языке и, зажмурясь от предвкушения кислого, раздавил. Во рту брызнуло, терпко защемило язык. Зелена еще, не вызрела. А куст богатый. В детстве Игнат бы считал за счастье найти такой. По тем временам дереза приносила ему большой доход. И сколько порубил он ее! Когда опадали листья и первые морозцы схватывали ледком обмелевшую Улю, вызревала на радость мальчишкам облепиха.

Стелились белые туманы по-над рекой, с неба сыпало тихим снежком. Игнат потеплее одевался, брал оцинко-

ванные ведра и рядно, запихивал за пояс до синевы наточенный топор и забирался в глубь колючих зарослей. Облюбовав место, расстилал на поляне цветастое бабкино рядно, дерзко вламывался в кусты, где побогаче ягода, поплевывал на ладони... В мороз дерево ломкое, под ноги валится с одного замаха. Вдоволь, до жаркой хрипоты в горле намахавшись топором, Игнат стаскивал ветви в одну кучу к рядну. Затем обтесывал палку, покрепче и потяжелее, и, кидая на рядно ветви, что есть духу лупил по ним до тех пор, пока не осыпалась вся ягода. Выбрав из желтой кашицы листья с иголками, Игнат наполнял ею ведра. С удовольствием вдыхал островато-кислый, как у перебродившей хмельной опары, запах.

Любил, любил он заготовлять облепиху среди потаенного одиночества прибрежного леса! А в крещенские морозы прямо на льду ее колошматил. Крепок был лед, прозрачен и звонок... В такие дни Игнат часто пропускал занятия в школе, не мог усидеть за партой, думая о кашице. Чтоб больше заработать, он разбавлял ее водой и песку в ведра кидал — для весу. Песок зимою застывает, как цемент, взять его нелегко. И тут изловчился Игнат: разгребет снег, на окаменевшем слое песка разложит костерок и ждет себе, постукивает сапожками. От свечек и сухой дерезы огонь спорый. Песок быстро отходит, мягчает. Когда уж совсем отойдет, Игнат сдвинет огонь — и ну пригоршнями кидать в ведра теплый песок. Потом размешает его палкою в кашице, нацепит дужки на коромысла — и бегом в хутор, на приемный пункт. Иногда в день по три раза успевал оборачиваться. Медяки так и текли в карман. Вечером он выгребал их и кидал в разинутую пасть глиняной кошки. Но однажды все-таки попался Игнат: Костя Ломов рассказал приемщику о его хитрости...

Вспомнив об этом, Игнат почувствовал давно забытый стыд, смуглые щеки его вспыхнули, и он быстро зашагал от куста, впечатывая в землю подошвы модельных туфель.

Лицом он походил на цыгана: смоляная шевелюра кольцами спадала ему на лоб из-под зеленой шляпы, в угольно-темных глазах светился загадочный блеск. Однако обнаруживались и черты, свойственные казацкой породе: кривые и высокие, что у голенастого петуха, ноги, крупный затылок, остриженный под бокс...

«Костя тогда меня под монастырь подвел,— подумал Игнат.— Тихоня».

Быстрая ходьба и близость дома мало-помалу рассеяли

наплывшее настроение Игната, и вновь в его памяти воскресли счастливые дни юности. К восемнадцати годам как-то внезапно, без чьих-либо подсказок со стороны, он догадался, что глиняная кошка, при всей ее полезности, не сможет прочно утвердить его на земле. Его тогда как осенило. И в один прекрасный день Игнат размозжил кошке голову, ссыпал монеты в мешочек из-под табака и тайком от родителей сбежал куда-то. Много лет от него совсем не было вестей. В хуторе думали, сгинул парень. Наконец Игнат дал знать о себе. В коротком письмеце уведомлял он мать и отца, что жив, здоров и золотухою давно не страдает. Отслужил в армии, в парашютно-десантных войсках. Работает на угольной шахте забойщиком. А молчал долго потому, приписывал Игнат в самом конце, что некогда было заниматься письмами.

Игнат пнул свинью, некстати подкатившуюся под ноги, оглядел брюки — не испачканы ли? — и свернул к плетню, клином врезавшемуся в усеянный пометом луг. В душе пробудилось волнение: отцов огород. Игнат взялся за ольховые колья, и в этот момент его окликнули:

— Здорово, шахтер!

Голос показался Игнату знакомым, он перегнулся через плетень и увидел в соседнем огороде Кусачкина. Улыбаясь во все свое скуластое, широкое лицо, тот двигался ему навстречу увалистой походкой — как медведь.

— Ну прыгай, прыгай! — подзадоривал Федор.

Игнат перескочил через плетень, затем переступил низкую штакетную оградку, служившую межой, и оказался на просторном огороде Кусачкиных. Обнялись с Федором, помолчали, переживая волнующий момент встречи. Как-никак в детстве дружили они. Вместе, бывало, по чужим садам лазили, купались в глубоких ямочках на Уле. И даже за одною партой до седьмого класса торчали, пока Федор не отстал на второй год, а потом бросил школу.

— А я, вишь, ботву в огороде сгребаю,— оправившись от радостно-удивленного смущения, заговорил Федор.— Деревня!.. Картошка этой осенью крупная. Что у тебя за сумка? Вся размалеванная...— Федор приблизил свое возбужденное лицо к сумке, сощурил глаза.— Подумать только, чего не придумывают: «Летайте самолетами гражданского Аэрофлота! Надежно, выгодно, удобно!» Вот хохмачи, на сумках упражняются...

— Это еще куда ни шло — на сумках,— сдержанно ухмыльнулся Игнат.— И на штанах... на задницах пишут.

Такая, брат, мода пошла. Обо всем человека оповестить надо. А то он, говорят, слепой, как котенок.

— Ух ты!..— засмеялся Федор.

Со двора пахнуло сырым бельем. На проволоке, натянутой от угла дома до свежевыбеленной кухни, трепыхались на ветру чистые простыни, женские исподницы с кружевными затейливыми оборочками. Федор в три погибели согнулся и поднял над собой проволоку, пропуская Игната к ступенькам лестницы, ведущей на стеклянную веранду.

Игнат занес было ногу на первую ступеньку, но тут заметил в углу двора голубой «Запорожец».

— Шоферишь в колхозе?

— Да нет... Моя,— коротко бросил Федор.— Думаю «Жигулей» брать. На очередь записался.

В лице Игната мелькнуло какое-то нехорошее выражение, может быть зависть. Стараясь придать голосу тон безразличия, он пристально глянул на Федора:

— А деньги?

— Есть деньги. На своей ведь земле живем, она и кормит. На одном месте и камень мхом обрастает.

Вошли в дом, сели за круглым столом посредине просторного зала, обставленного дорогой мебелью. Пол был вымыт до блеска. Игнату как-то неловко стало, что он плохо вытер туфли о половичок у входа на веранду. Прямо над головой золотилась люстра, нарядная, блескучая, в красных шелковых веревочках-ручейках. Пахло духами, печеными яблоками из соседней комнаты, дверь в которую была раскрыта настежь. Федор кинулся собирать на стол, порывался съездить в село за поллитровкой, но Игнат сказал, что они пообедают и выпьют после, у его родителей, а то старики обидятся.

— Жена-то где? — спросил он.

— Моркву с бабами взвешивает. Позвать?

— Да зачем... Я просто так интересуюсь. Богато у вас.

— Нонче все, кто не ленивы и не старые, так живут. Но скучно у нас.

— А я думал, ты себе должность какую-нибудь отхватил. Важную.

— Была должность. Да по шее мешалкой наладили с ней. Проштрафился малость.

— Что?

— Это меня губит,— Федор выразительно пощелкал себя по горлу, задвигал кадыком.— Закладывать я не ду-

рак. А как волью, на быструю езду тянет. Выпил и влип в молоковозку. Все обошлось бы гладко, да председатель пронюхал. А он у нас из молодых, да ранний. Строгий, черт, никаких поблажек. С виду размазня, галстучек носит, а характер — кремень. Узнал и сковырнул меня с заведующего фермой. Теперь я в скотники подрядился.

— С заведующего в скотники? — усмехнулся Игнат.— Тебе не позавидуешь.

— Ясное дело, стыдно. А платят хорошо.

— Кого ж на твое место?

— Арину Климову.

— Она ж на Севере! — Глаза у Игната сухо, горячо вспыхнули.

— Воротилась. Одна... Такая краля — не глянь на нее, не подступись. Гордая,— делился новостями Федор.

— Форму держит?

— Форма что надо,— Федор бросил на Игната взгляд, в котором мелькнула едва заметная ирония.— Ягодка не по нашим зубам. С Костей гуляет.

— С травником?!

Федор как бы и не заметил его изумления, продолжал обычным тоном, словно речь велась о предмете, мало его занимающем:

— Любовь у них — водой не потушишь. В хуторе только и говорят об Арине да Косте.

— Ладно, я пойду,— помрачнев, вскинулся Игнат.— Потом доскажешь.

Федор попридержал его за плечо:

— Надолго к нам?.. Я тут растрепался как баба, все тебе сразу выложил. А ты — как в рот воды набрал... Скажи, ты хоть женился?

Насупил Игнат брови, глянул во двор, где билось, рвалось на покрепчавшем ветру влажное белье. Зябко поежился, втянул в плечи смуглую шею с угольными крапинками на ней. Бурые подмосковные угли наложили и на его мало податливую внешность суровый свой отпечаток.

— Некогда было,— выдавил Игнат.

— Нехорошо,— сказал Федор.— Пора и остепениться.

— А ну его! — Игнат махнул рукой.— Женитьба не напасть, лишь бы женатому не пропасть... Девки, брат, ничего с тебя не требуют: ни верности, ни денег.

— Девки девками, а жена-то родней.— Федор проникался искренним состраданием к неудавшейся жизни Игната.— Как ты живешь один?

— Живу,— процедил сквозь зубы Игнат.— У меня, брат, тоже кое-что припасено. На черный день.

— Да все это не то...

Игнат поморщился, недовольно крутнул головой и, подняв с полу сумку, молча двинулся к выходу. Во дворе Федор опять спросил:

— К нам-то надолго?

— Посмотрю. С шахты я рассчитался. Вольный казак.

— Что, тяжелая работа?

— Мне нравится, привык,— сказал Игнат.— Но обида взяла: сколько можно по общежитиям скитаться. Не шутка... Ладно, побуду дома, обнюхаюсь. Может, дом построю, как у тебя... В колхоз примете?

— Спроси у председателя.

— Что ж...— неопределенно промолвил Игнат.

Взгляд его остановился на «Запорожце». Нравилась ему легковая машина последнего выпуска: шасси высоко над землей, внутри светло и просторно, как у «Москвича». Даже радиоприемник вмонтирован. Пожалуйста: мчись по асфальту, слушай музыку либо последние известия. «Куплю и себе,— пронеслось в голове Игната.— На «Запорожец» хватит. А Федор не догадывается, пень...»

Игнат повернул в калитке железное кольцо, скоба ржаво скрипнула и скользнула вверх. Игнат вышел на улицу, не спеша закрыл за собою калитку. Спохватившись, напомнил:

— Вечером загляни!

После его ухода на сердце у Федора стало как-то холодно и пусто, и он не мог понять, отчего это. Белье моталось и хлопало у лица, мельтешило перед глазами. Он съежился и медленно поднялся на веранду, почему-то в уме сосчитав ступеньки. Их было шесть. Стал на верхнюю, огляделся вокруг. Ветер пах бельем и снегом. Но воздух по-прежнему был чист, ни одной снежинки. Хотя Федор ощущал близкую возможность того, как они вечером усядутся вдвоем с Игнатом за стол, щедро уставленный едою и питьем, и начнут вслух вспоминать минувшее, все равно особой радости он не испытывал. Не было ее, и все.

Дня три Игнат почти не показывался на людях: то с Федором балагурили в хате, то бесконечно перетасовывали в памяти одни и те же события, как в пестрой колоде карты, уносясь мыслями в далекие дни. Потом за Федором примчался с фермы его сердитый напарник и увел с собой. Пить же одному не хотелось. Веселье схлынуло, откати-

лось, словно случайно набежавшая волна. Скука одолевала его. Ничто на хуторе вроде и не представляло интереса для Игната. «А я и точно чужак,— стал он терзаться невеселой думой.— Отвык ото всех, к земле не тянет». И он всерьез страшился, почувствует ли прежнюю тягу к родным местам. Не случится этого — волей-неволей придется возвращаться обратно. Но куда? На шахту дорогу он себе заказал: «Не буду в забое горб гнуть»; какой-нибудь другой работы и в мыслях пока не мерещилось. «Нет уж, скука скукой, да лишь бы мозги варили. Тут я человек свой, приноровлюсь. Вон груша и та на яблоне приживается. А я что, не сумею? Соки у меня из этой земли, как у Федора... Дом отгрохаю, машину куплю. Еще поглядим, кто тут шире развернется».

С этими мыслями Игнат и в лесу бродил, вскинув за плечо вороненый отцовский дробовик. Охотиться всерьез не охотился — так, шлялся по овражкам и балкам, спасаясь от острого приступа одиночества. Но если что попадалось на глаза — сорока ли, дятел либо кобчик,— бил с лета, почти не целясь, и подрезал. Рука была хоть тяжелая, но твердая, глаз точный.

Однажды бесцельно кружил Игнат за яром. Вечер был серый, пасмурный. Вода в Уле рябила тускло. Сырой и промозглый туман лениво шевелился в кустах. Игнат выбрался из ольшаника на поляну, передохнул. Вдруг до слуха донеслось легкое шуршание. По усохшему дну ручья, заваленному опавшими листьями, принюхиваясь к земле, под ветер на Игната бежала собака в золотистых подпалах на голове. «Костин Лотос!» — вспомнил Игнат рассказы Федора и вскинул дробовик.

За высверком пыхнул из дула синий дым, и разом с выстрелом в тишину оцепеневшего леса толкнулся затухающий предсмертный лай. В нем отозвалось собачье недоумение, скорбь. Лай оборвался, но Лотос еще полз в горячке на передних лапах, греб ими под себя листья и тихо, почти неслышно скулил, пытаясь поднять на убийцу глаза. Это ему не удалось: голова свесилась и упала. Тогда он в последний раз лизнул покрасневшим языком холодный песок, сжался в судорогах и затих, ткнувшись в камень.

Игнат повернулся к Лотосу спиной, закашлял от подступившего к горлу удушья, с треском вломился в ольшаник и кинулся к реке. Что-то сильно взволновало и встревожило его, будто он убил не собаку. И, пока бежал, ощущение было такое, что кто-то невидимый строго наблюда-

ет за ним и бежит следом, буравя взглядом затылок. У берега Игнат стал в беспокойстве озираться вокруг. Никого. Тишина... Только вода журчит по голышам.

Река обмелела, а на Игнате были резиновые сапоги. Он ступил в воду и, поскальзываясь, направился к тому берегу, в плотный осиновый лес. И скоро пропал в тумане.

Выстрел с реки докатился до сторожки. Дзенькнула шибка в окне — Костя вздрогнул, прислушался. Его охватило какое-то смутное предчувствие. Он запер дверь и стал обходить бурты, поглядывая в сторону, откуда метнулось эхо. Еще не сознавая, почему он так близко принял к сердцу этот выстрел, Костя вспомнил о Лотосе и позвал его. Раз, другой, третий...

— Ло-отос! — вне себя закричал Костя и рванулся по откосу яра на давно замершее эхо, которое теперь звучало лишь в его ушах.— Ло-отос!

Одно чутье незримой нитью связывало Костю с Лотосом, оно и вывело его к мертвому ручью. И Костя сразу увидел Лотоса.

— За что?! — пошевелил он сухими губами и рухнул на колени.

Лес не ответил.

С ветки ольхи сорвался пожухлый лист и, тихо прошуршав, упал Косте на плечо. Туман, набухая влагой, тяжелел, хлопьями застревал в кустах...

В середине октября выпал снег. Свежо побелело кругом, небо стало умиротворенно-ясным, вершины гор приблизились к хутору, как бы сократив вдвое расстояние; все извилины, ледники и острые каменные зубья выступили четче, рельефнее. Снег держался двое суток, затем растаял — и вершины отодвинулись в дымку... После оттепели задул ветер. Земля от него затвердела костью, трава на косогорах подернулась изморозью.

Все эти дни Игнат дома скучал. Несколько раз он уже видел Арину, но поговорить с нею не удавалось: то Костя был рядом, то сама Арина, будто чего испугавшись, долго не задерживалась, спешила куда-то. «Арин, что ты? — досадовал на нее Игнат и почти умолял: — Подожди».— «Потом,— отмахивалась она.— Не в Москве живем, свидимся».

Как-то вечером из окна Игнат выследил, когда Арина возвращалась с фермы домой, и, поддаваясь остро занyв-

шему в груди волнению, выскочил из дома. Догнал Арину, примерился к ее бойкому шагу и минуты две шел почти не дыша, пока она не оглянулась.

— Арин, и я с тобой. Ладно? — просительно и в то же время настойчиво прогудел Игнат.

Арина шла и не знала, как ей быть. Пробудившийся интерес к Игнату, к его собранной, стройной фигуре и смуглому лицу, на котором выделялись угольки глаз, боролся в ней с мыслью о Косте. «Зачем он бежит за мной?» — лихорадочно спрашивала она себя и, не находя ответа, еще больше терялась.

И тут ее как осенило: она догадалась о причине своей растерянности. Ее волновал не столько теперешний Игнат, сколько тот, которого она знала давным-давно, еще девчонкой. Все эти дни, как он приехал в Сторожевой, Арина безотчетно хотела встретиться с ним и все же избегала этой встречи, страшась недоброй перемены в нем, которая могла бы лишить ее воспоминаний о первой любви.

— Ну, Арин? — Игнат опередил ее, шутя развел свои сильные руки.— Долго нам в прятки играть? Постой, поговорим.

— С Федором не наговорился?

— «Федор, Федор»... Он меня не поймет... Вот ты — другое дело!

Она рассеянно отворила калитку во двор, Игнат проскочил первым. Матери дома не было: на двери хаты висел замок... «Ушла дом сторожить,— думала Арина, поворачивая ключ в замке.— Ей теперь в хате не спится».

— Поговорим, а то скучно,— гудел за спиною Игнат, путая и будоража ее мысли.

— Заходи. Не выгонять же тебя.

Игнат согнулся, чтоб не стукнуться о притолоку, и перешагнул через порог. Немного постоял в сенях, полюбопытствовал, привыкая глазами к темноте:

— Когда думаете валить старуху?

— Как переселимся в новую.

Арина щелкнула выключателем, сняла с себя пальто и повесила его на деревянную вешалку, приколоченную гвоздями к стене. Затем стащила с головы платок и, наклонившись к зеркалу, поправила смятые волосы. Игнат из сеней покосился на Арину, отметил волнующий вырез на груди ее платья, чистую шею с родинкой и тоже разделся. Отойдя от вешалки, помедлил и выставил на стол бело вспыхнувшую поллитровку.

— Будете ломать хату,— сказал он,— подсоблю.

— Ломать — не строить,— Ариной овладевал дух противоречия. Ей отчего-то хотелось возражать Игнату, ни в чем не соглашаться с ним.— Мы и сами управимся, с Костей.— Она отчетливо подчеркнула последнее слово.

Упоминание о Косте передернуло Игната, но он сдержался, изобразил на лице подобие улыбки:

— А я не хуже его ломаю.

— Знаю таких! — в голосе Арины послышалось ожесточение.— Силачей-красавцев...

— Эх, Арин, время даром теряем! Давай по маленькой.

Арина нащупала в углу сеней рогач, поддела им чугун и вытащила из печи. Медленно стала разливать борщ в тарелки. Игнат потянул носом: прямо на него пахнуло духом разомлевшего лаврового листа. Управившись с борщом, Арина взялась хлеб резать. Игнат сидел на лавке, бросая на нее мимолетные взгляды.

— А мать где? — спросил он.

— Дом стережет.

— И не боится одна ночью! — чему-то радуясь, промолвил Игнат.

— Мать всю жизнь одна. Привыкла.

— Ну, Арин, давай! — Игнат поднял до краев налитую рюмку, ободряюще кивнул: — Живы будем, не помрем — и еще ее нальем!

Арина, не чокнувшись с ним, выпила.

— Э, повтори! — решительно заявил Игнат и отставил свою рюмку.— Это не по-нашему, не по-шахтерски. Для начала надо стукнуться.

— Забылась... Ты уж прости.

— Нельзя. Не к добру это,— настаивал он, опять наполняя ее рюмку.

Выпив с Игнатом, Арина приложила к горячим щекам ладони, легко покачнулась на стуле, рассмеялась:

— Ой, пьянею! Голова начинает кружиться. Наверно, отучилась пить. Сижу и чувствую, как пьянею.

— Пройдет. Это кровь играет.

— А ты хитрый...

— С чего ты взяла?

— Мне налил штрафную, чтоб споить...

Игнат ухмыльнулся, сграбастал бутылку и приложился к ее горлышку. Арина с изумлением глядела, как в перевернутой вверх дном бутылке с каждым глотком клокочет и убавляется водка. Вот уж последние капли выпиты. Иг-

нат с торжественным видом небрежно кинул посуду под стол, выдохнул:

— Теперь мы в расчете.

— Игнат...— только и промолвила Арина.

Он встряхнул свои смолистые кудри, протиснулся между столом и подоконником, остановился на середине комнаты.

— Уважила ты меня, не прогнала. И на том спасибо... Скучно! Вроде червяк душу сосет... А вот с тобою на сердце отлегло. Ты вроде родня мне.

— Родня посеред дня, а ночью не попадайся.

Что-то в нем раздражало Арину, не о том говорили они, как ей мечталось, не то делали. А он все распалялся, не отводя от нее блестящих глаз:

— Какую силу скопил я в себе — страшно подумать. Я еще покажу им, я покажу! — Игнат неизвестно кому погрозил кулаком и вернулся к столу, приблизив к Арине лицо.— Они поймут, кто такой Игнат Булгарин, поймут!

— Ты уехал тогда и не попрощался со мной,— с едва скрытой горечью, с печалью вдруг вспомнила она.— Я одна ходила за ягодами на Шахан. Надеялась, что ты там... Много я передумала о тебе. А спросить у твоей матушки стеснялась, где ты...

Игнат прервал свои рассуждения, в замешательстве поморщился.

— Детство! — махнул рукой.— Что я тогда понимал, пацан желторотый. Вот теперь...— Он наклонился над Ариной, грубо привлек ее к себе, поцеловал в губы.— Теперь я не упущу тебя, не ускользнешь.

Арина толкнула его в грудь обеими руками, вырвалась из объятий. Губы у нее дрожали, на щеках проступала бледность.

— Катись...

Игнат остолбенел:

— Ты что, Арин? Вот чудачка... Мы ж не дети.

— Сматывай удочки.

— Выгоняешь...— Игнат попятился к вешалке, машинально напялил дубленку, не сводя с нее бегающих глаз.— Как же так... Издеваешься, да?

— Уходи,— упавшим голосом произнесла Арина.— К нему с открытой душой, а он с грязью. Пожалел бы мою память, раз не жалеешь меня. А теперь и вспоминать не о чем. Пошел.

— Ладно, ладно,— озадаченно бормотал он, уже из

сеней. Звякнула щеколда, дверь открылась, но в последний момент Игнат раздумал уходить, вернулся к столу.— Все равно, как ни гордись, мы с тобой два сапога — пара. Эх, была не была, покажу одну диковинку! Хитрая диковинка...— Он пошарил во внутреннем кармане пиджака и, сделав резкий выброс руки, шлепнул по столу сберкнижкой.— Чего бы мы вдвоем наворочали, глянь!

Арина, странно успокоившаяся, взяла сберкнижку, расправила на ней завернутые углы, но раскрывать не стала, только загадочно усмехнулась и швырнула ее к порогу.

— Купить хочешь? Не на ту напал. Не покупаюсь я.

— Чужими деньгами не сильно-то кидайся! — крикнул он, поднимая книжку. Выпрямился, с подчеркнутым достоинством одернул дубленку.— До свидания, голубка...

Однако стоял в сенях, не трогался с места.

— Сердишься?.. Ну прости, если что не так вышло. Сама понимаешь, в этом деле трудно сдержаться. Не камень ведь... А вообще я хотел с тобой по-хорошему, по-серьезному...

— Катись.

— Одного не пойму: чего ты взбеленилась? Какая муха тебя укусила... Может, про Костю вспомнила, про этого травника?

Арина, уставившись неподвижным взглядом в темное окно, ничего не ответила. В глазах ее светились набежавшие слезы.

Игнат накинул петли дубленки на блестящие металлические пуговицы и вышел во двор на ветер, остановившись в полосе света, струившегося из окна. Шляпу он держал в руке, волосы на голове шевелились.

Потом она услышала, как гулко хлопнула и, заскрипев, опять с шумом распахнулась калитка,— видно, под резким порывом ветра.

Игнат ушел.

Арина заперла дверь, потушила свет и села за стол... Утром она высвободила онемевшую руку из-под тяжелой головы, посмотрела в окно. Медленно растекались по небу оранжево-дымные сполохи; в щели между рамою и стеклом сквозили струйки холода. Арина посидела несколько минут в горьком раздумье, затем, словно опомнившись, надела пальто. Нехорошо было на душе, хотелось заплакать навзрыд, кинуться вон из хаты и куда-то бежать, мчаться без оглядки. Но слезы точно высохли все,

ноги в туфлях за ночь затекли и ныли, да и бежать было некуда. И она пошла на ферму. Ветер дул в лицо, рвал на ней платок, взметывал льдинки. И шла она прямиком по незапаханной ершистой стерне, колола себе ноги, но боли не чувствовала. Уже у коровника перевела дыхание, постояла в затишке и обнаружила, что на ней туфли, а сапоги дома остались. «Заперла ли я хату? — испугалась Арина, но тут же успокоила себя: — Не заперла — и ладно. Вор к нам не зайдет».

Всю неделю Арина беспросветно колготилась на ферме, домой прибегала лишь ночевать — и то в сумерках, чтоб никто не видел ее. Дни тянулись, не принося облегчения.

Игнат тоже затаился, ушел в себя. Ждал счастливой перемены в отношениях с Ариной. «Набивает себе цену,— рассуждал он, томясь на отцовской печи под дерюгой.— Ладно, все перемелется — мука будет». История с Ариной избавила его от скуки и одиночества, все мысли были заняты одним: что же дальше будет? Теперь Игнату даже с Федором не хотелось встречаться. Под вой ветра в трубе хорошо мечталось одному. За окнами пуржило, несло непроглядно-густым снегом. И вот Федор заглянул к нему в тот самый день, когда Игнат не был расположен принимать гостей. Федор долго топтался в коридоре, обметал снег с валенок, намеренно громко кашлял. Игнат не пошевелился под дерюгой, не откликнулся. Лежал, глядел в потолок, думал о своем.

— Метет,— с порога сказал Федор.— Аж глаза залепляет... Зима!

Игнат молчал. Федор присел на лавку:

— Спишь?

— Греюсь,— заворочался Игнат.

— Я с делом к тебе. Поговорить нужно.

В тоне соседа Игнат уловил какой-то скрытый вызов, откинул край дерюги, уставился на него осоловевшими от тепла глазами:

— С каким делом?

— Ты убил Лотоса? Зачем?

Игнат поразился прямоте его вопроса, рывком сдернул с себя дерюгу, сел, обхватив колени.

— Больше у нас некому. Ты.

— А почем знаешь?

— Знаю.

— Ну я! — взорвался Игнат, сверля темными буравчи-

ками глаз Федора, который тоже смотрел на него в упор — тяжело и осуждающе.— Думал, лиса,— и выпалил. Глаз подвел.

— Брешешь.

— А тебе, значит, собаку жалко? Вот что... Собаку на друга меняешь...

— Человека жалко, Костю... Мучится без нее, белого света не видит.

Игнат опять лег, натянул на себя дерюгу. Горячая печь припекала тело, и он все время елозил по ней, ворочался и дрыгал ногами, будто на сковороде жарился.

— Нечаянно. Леший попутал, ей-богу.

— Все у тебя нечаянно получается,— Федор невесело усмехнулся.— И Арину обхаживаешь... тоже нечаянно.

— У самого сорвалось — так завидно стало?

— Тогда я не верил, что у них с Костей серьезно. А теперь говорю — не трожь Арину, не мешай им.

— Видали его! Друг! Хуже следователя. Да я тебя знаешь куда послать могу? И пошлю, ей-богу. Выведешь из терпения.

— Чужак... Не наш ты.— Федор поднялся с лавки.— Тут для тебя больше нет места

— Кого защищаешь! Она его с должности сковырнула, а он за нее горой. Тоже мне, чистоплюй...

— Мы с Ариной люди свои. Поругаемся и помиримся.

Федор пнул ногою дверь и вышел, резко захлопнув ее. Звенькнули стекла, волна холодного воздуха доплеснулась до печи и, натолкнувшись на теплый дух, откатила назад. Зашевелились на окнах занавески. Было слышно, как затихает, удаляясь от двора, скрип Федоровых шагов. Игнат нащупал в углу мягкое печеное яблоко, повертел в руках и с силой запустил в дверь.

8

С того дня, как не стало Лотоса, Костя затосковал. Но Арине о своем горе он не говорил, не хотел причинить ей боль. «Ей не надо знать об этом»,— размышлял он. Днями он больше стал налегать на работу. Вместе с бабами потеплее укрывал бурты, следил за вентиляцией, перебирал лук в хранилище. Лук, иссиза-золотистый, уродился в тот год величиной с кулак. Костя слышал, как женщины вспоминали поверье, что крупный лук вырастает к большому горю, и почему-то запомнил это.

По вечерам, в отсутствие Арины, Костя возился в сто-

рожке с отварами трав либо чинил обувь и варил еду на следующий день. Возле плиты сухо и желто блестела солома. На ней раньше спал Лотос, и Костя, все еще на что-то надеясь, не убирал ее. Ему и вправду казалось, что вот-вот прибежит Лотос, радостно заскребет в дверь лапами. Костя отодвинет крючок и впустит Лотоса. А он привычно и дружески лизнет его в руку, по-хозяйски уляжется на соломе, свернется на ней живым теплым клубком. Лотос, однако, не прибегал.

Вдруг не пришла к нему и Арина, хотя обещалась прийти. Костя всю ночь ходил возле буртов в ожидании. Ушел в сторожку, лишь когда понял, что ее уже не будет.

Кругом серело, тьма таяла... И все равно не спалось ему. Лежал на кровати, гадал про себя: что с нею?

В полдень женщины донесли, будто видели, как утром уходил от Арининой хаты Игнат Булгарин. Тайком, крадучись улепетывал...

И тогда Костя, весь во власти смутных предчувствий, вспомнил про лук: «Вот оно и случилось. Правду говорили тетки». Костю опять стала мучить навязчивая мысль — давний и жестокий враг его. «Сбылось,— думал Костя.— И тот сон, с рекой с белыми бурунами, в руку... Лучше б я не знал ее».

Пойти к Арине он уже не мог. Никакая сила не заставила б его отважиться на этот шаг, он скорее бы умер, чем пошел: «Чему быть, то и свершится. Не пойду». И все чаще его взгляд падал на стену, где висело ружье с двумя тугими курками. Оно, казалось, могло дать ему прекрасный выход из положения. Все больше он проникался к нему трепетным уважением, нахваливал его, трогая курки, и поглаживал желтовато-ореховый приклад... Цвет приклада вызывал в нем воспоминания о густо цветущем бирюшнике, он вздрагивал и почти явственно ощущал горьковато-душный запах бирюшника, а закрыв глаза, видел Арину — она шла за ним по кустарникам. Густо тогда цвел бирюшник, вспоминал Костя. Пышными, крупными гроздьями... Будто желтым пожаром был охвачен весь косогор. К чему? Нет ли и тут какой приметы?

А на дворе мело. Свистел ветер, бился в окошки снег. Женщины перестали приходить на работу. Зато Евграф Семеныч, несмотря на ненастье, забегал к нему чаще прежнего. Старик хотел своим присутствием скрасить одиночество Кости. Шапчонка на нем сидела глубоко, по самые брови. Уши у нее, заиндевевшие от мороза, были

связаны у подбородка. Поднятый жесткий воротник пальто, высокий и зализанный у затылка, мешал Евграфу Семенычу свободно поворачивать голову. Из этого воротника он выглядывал пугливо — как птенец из гнезда, но отворачивать его не хотел.

В сторожке он снимал лишь задубевшие рукавицы, дул на белые пальцы и растирал их. Потом вместе с Костей чистил картошку либо переставлял банки на полках, непрерывно рассказывал о мелочах собственной жизни, о своих наблюдениях. Выскакивал иногда на холод оглядывать бурты,— так, больше для порядка, чем для дела. Когда же Костя особенно глубоко задумывался и впадал в мрачное состояние, Евграф Семеныч терялся и, чего-то стесняясь, начинал философствовать:

— Женщины, Костя, дарят нам великую радость, но и приносят ужасные муки. Каждый мужчина, дерзнувший завоевать их любовь, должен быть готов и к их коварству. Крепись... Да! — Евграф Семеныч, развивая мысль, входил в свою обычную роль, светлел лицом и уже сам верил тому, что говорил.— Вспомни, как она жалела тебя! — восклицал он, поднимая кверху палец.— Вспомни, успокойся — и поблагодари ее. И прости... За луч счастья!

— Я ее не осуждаю,— Костя тер кулаком лоб, передергивал плечами.— Себя казню.

— За что?

— Я недостоин ее любви. Я хуже Арины.

— Грешно за это казнить себя,— горячо возражал Евграф Семеныч.— Гордись: и ты дарил ей радость. Познавшие любовь навек счастливы. Смотри на меня. Я вдовец, один как перст на свете. А счастлив: любили меня, и я любил. Это редко бывает, Костя. Этим надо дорожить...

— Эх, Семеныч,— Костя мотал головой.— Семеныч...

Укутанная в пуховую шаль, однажды вечером набрела на огонь сторожки Марея. Ветер выл на все звериные голоса, в воздухе беспорядочно сшибались снежинки. Марея постучалась — раз и другой. Переступив заметенный снегом порог, с неудовольствием отметила про себя, что Костя не один: Евграф Семеныч горбился у плиты. Марея, не здороваясь, сдернула с головы шаль.

— Позвольте спросить, как вас занесло сюда в столь поздний час? — стараясь выражаться изысканно в обществе женщины, обернулся к ней Евграф Семеныч.

— Меня ветром прибило к вам.— В голосе Мареи прозвучали сердитые нотки. Она покосилась на угрюмо мол-

чавшего Костю, сказала: — Вечно у тебя гости, даже чихнуть боязно.

— Извольте! — Евграф Семеныч с готовностью вскочил на ноги.— Если секреты у вас, я удалюсь.

— Побудьте,— сказал ему Костя.— Вы не помешаете.

Марея поджала губы, вздохнула. Черты ее худого лица, будто занемевшие на морозе, понемногу смягчались, приобретали живость. На щеках слабый румянец тлел.

— Отогреюсь у вас. Супу сварить?

— Спасибо. Мы уже вечеряли,— ответил Костя.

— Всегда я не вовремя. Ладно, сейчас побегу. А то как запуржит — не выберешься.

Марея расстегнула плюшевый жакет, поправила на себе крупно вязанную шерстяную кофту, подсела к плите. Приоткрыла железную дверцу, грустно и пристально глядела в гудящий огонь. Схваченная синеватым пламенем, коробилась и потрескивала березовая кора на чурках. Жар проваливался вниз сквозь колосники поддувала, ярко светясь из квадратного отверстия. Отблески его растекались на стене. Марея встрепенулась, отодвинулась от плиты, из полосы устойчивого тепла:

— Пойду. Не буду надоедать вам.

— Побудьте еще, Марея Петровна,— просительно, однако не слишком настойчивым тоном сказал Евграф Семеныч.

— Нет уж, нагостевалась.

Костя облачился в тулуп, решив проводить ее до большака. Шли, прислушиваясь к ветру. Кусты шиповника вздрагивали и гнулись, позванивая обледенелыми ветками. Над буртами снег вскипал, свивался в жгуты. Кювет у большака до краев занесло. Сама же дорога была чернобелесой, почти голой; дымные змейки остро, колюче вспыхивали над ней. Костя помог Марее перепрыгнуть через кювет и, придерживая рвущиеся в сторону полы тулупа, с болью, с участием спросил:

— Добежишь? А то останься у нас, переночуешь...

Вся на ветру, в длинной бьющейся юбке, в сапогах, Марея обернулась на его голос:

— Говорила тебе: балуется она. Не верил. Теперь-то убедился?

— Иди, Марея... Знобит.

— Что все гонишь? Гони, а все одно меня когда-то покличешь.— Марея потуже затянула концы шали и быстро зашагала по дороге.— Ты — мой! — крикнула издали.

«Мой, мой!..» — понеслось куда-то во мглу.

Костя заложил руки в нахолодавшие рукава тулупа и, не защищая лица от летящего снега, повернул назад...

— Проводил? — уставился Евграф Семеныч на едва успевшего войти друга.

— Ага.

— Ну и хороши современные женщины! Цепче репейника... Да не ведает Марея Петровна, к кому пристает. Совсем не ведает.

— Жалко ее,— мрачно сказал Костя.— Хоть бы вы потолковали с ней. Больше не могу, Семеныч. Раз у ключа, в Черемуховой балке, наговорил ей обидного, а после мучился.— Он выпростал руки из тулупа, кинул его на спинку кровати.— Сердце и у Мареи бьется для счастья. Потому и ее обижать страшно. Никого обижать нельзя.

Евграф Семеныч заночевал в сторожке, расстелив на полу у теплой плиты свое пальто и Костин тулуп. Чуть свет схватился и — бегом к себе печь топить, чтоб стены не настыли. Ветер улегся, утро стояло ясное, морозное. Сугробы в поле стыли волнами, как белый песок в пустыне. После ухода Евграфа Семеныча Костю совсем одолела тоска. От нее он не находил себе места.

Он выгреб из плиты нагоревшую золу, прочистил колосники и, отнеся ведро в поле, рассыпал ее по снегу. Затем достал из-под кровати топор и, потирая на морозе руки, с жаром принялся рубить дрова. Покончив с ними, сложил поленницу у стены, куда меньше всего мело, взял деревянную лопату и прочистил дорожки к буртам, хранилищу и к большаку.

Усилием воли заставляя себя быть в постоянном движении, все время чем-то заниматься, Костя, однако, ловил себя на мысли, что это не избавляет его от внутренней сосущей боли. Все равно он работал с еще большим усердием и горячностью. Кроме боли у него почему-то было и такое ощущение, что скоро обязательно случится очень важное для него и оно, это важное, навсегда положит предел его мучениям. Сегодня, и только сегодня, прояснится вся его минувшая жизнь, вплоть до последнего часа, и он наконец поймет, стоит ли жить дальше. И все-таки что же произойдет. Он бы многое отдал даже за сотую частицу этой тайны.

Встало солнце. Снега забелели резче, мороз окреп. Волнуясь, Костя набрал охапку дров, внес ее внутрь сторожки и стал разводить огонь в плите. Отсыревшие щепки дыми-

лись и не загорались. Тогда он отвинтил у лампы головку, плеснул на щепки керосина. Хотел поднести к ним горящую спичку, но в этот миг звякнула щеколда — и Костя увидел Арину. Еще не поверив тому, что случилось, смяв в кулаке спичку, Костя почувствовал на своих плечах прикосновение ее рук... И странно изумился, увидев, что она плачет.

— Прости, Костенька...

— За что?!

— Не спрашивай! — задохнулась она.—Я потом все, все расскажу. Только не сейчас. Стыдно... больно!

Застигнутый врасплох, он стоял у плиты на коленях с выражением человека, который, кроме своей, не чувствует вины других. Арина обнимала его, и в ответ на смятенные ласки он привлек ее к себе и тоже почему-то ощутил навернувшиеся на глаза слезы. Они уже катились по щекам, и Костя впервые в жизни не стеснялся их: облегчали они душу, как будто сходил на нее добрый и легкий свет.

— Люби меня, люби! — с раскаянием, с горечью, с мукой умоляла Арина.

И опять вспыхнула ясная, что солнечный луч, радость, а с нею — вера в себя, решимость чем-то необыкновенным отблагодарить Арину за это ощущение полноты счастья.

И Костя вспомнил о медвежьей шкуре. Да! Ее надо подарить Арине на новоселье.

Между тем погода круто менялась: на леса и горы внезапной волной хлынуло тепло. Снег оседал, на крутогорьях и пригревных склонах его проедали черные пятна. Деревья тускнели, сбрасывая свой белый наряд. Потом хватило крепким морозцем, и установились тихие, безветренные дни. Костя обрадовался, что в такую погоду ему будет легче добраться до елового молодняка, где, по рассказам охотников, в эту пору встречаются медведи в открытой лежке. В брезентовый рюкзак он уложил коробки с дробью, порохом и пыжами, почистил стволы, опоясался патронташем и, оставив за себя в сторожке Евграфа Семеныча, ушел.

То случилось на пятый день после их объяснения с Ариной.

Костя радостно встряхнул холодную руку Евграфу Семенычу и предупредил его:

— Если придет Арина, скажите: Костя в город по своим делам отлучился. Прибудет, мол, дня через два. И тогда переселиться поможет.

— Зачем? — недоумевал старик.— Можно и правду сказать.

— Так надо, Семеныч,— бросил Костя.

Он мечтал неожиданно нагрянуть к Арине с медвежьей шкурой и удивить ее. Поэтому и не хотел, чтобы она знала об охоте.

Шагалось ему легко, весело. Все в нем пело от предчувствия доброго праздника, который уже звучал в душе. В тишине морозного утра звонко хрустел под ногами тонкий ледок. Снежный наст был тверд и почти не проваливался. Костя брел где прямиком, подымаясь вверх по косогорам, где обходил камни и кусты, но так, чтобы не делать больших петель. Он берег силы, ведь напасть на след медведя или отыскать его берлогу будет нелегко.

На косогоре, обращенном к солнцу и почти бесснежном, он увидел зайца. И заяц увидел его. От неожиданности зверек прижался к земле и несколько мгновений следил тревожным, мятущимся взглядом за приближением охотника. Потом резко вскочил и дал стрекача в сторону ольховых кустарников. Костя полюбовался из-под ладони его прыжками, улыбнулся и пошел дальше.

В полдень Костя добрался до елового молодняка и уселся на косо спиленный пенек отдохнуть. Он вынул из верхнего отделения рюкзака обернутый в газету кусок сала, неторопливо порезал его ножом на мелкие доли и стал есть, держа в одной руке краюху зачерствевшего хлеба. В ельнике сплошь лежал снег. Невдалеке, желтея глиной и прошлогодней травой, тянулась осыпь.

«Шатунов в эту зиму много будет,— думал о медведях Костя.— Жиру не накопили. С чего бы ему завязаться? Груш не уродилось, орехов мало...»

За спиною раздался треск валежника. Костя обернулся и оторопел: прямо на него, нюхая снег и недовольно помахивая головой, пер из ельника большой бурый медведь. Костя вскинул двустволку, прицелился, дожидаясь с гулко забившимся сердцем, пока медведь выберется на чистое и подойдет ближе. Но тот задрал вверх голову, принюхиваясь к ветру, и остановился. Костя встретился с ним взглядом и внезапно смутился от почти осмысленного выражения глубоких и круглых, как у человека, медвежьих глаз. Они будто просили его о чем-то.

Ружье у Кости вздрогнуло, мушка заметалась, и он, теряясь от этого открытого и беззащитного взгляда, через силу нажал курок. Сухо хлопнул выстрел. Медведь взре-

вел, ослепленный болью и яростью к человеку, ломая ветки, бросился в глубину ельника.

«Как он кричит! — содрогнулся Костя.— Лучше б сразу, наповал... Тетеря, промазал...» — укорял он себя, кинувшись вслед за бегущим зверем.

Медведь уходил от него все дальше. Рев его становился реже, приглушеннее, а скоро и вовсе прекратился. На снегу отчетливо выделялись следы, кое-где кровь рдела, будто кто просыпал из лукошка спелую клюкву. Тяжело дыша, Костя бежал, изредка останавливался и приглядывался к снегу, чтобы не потерять след.

Началась каменистая осыпь с цепким низкорослым кустарником — след оборвался. Костя пригибался к земле, пытаясь вновь отыскать хотя бы каплю крови,— тщетно. Тогда он вспомнил о Лотосе и пожалел, что смерть настигла его верного и преданного друга задолго до этой охоты.

Задумавшись, Костя брел наугад по гребню, разделяющему ельник от осыпи.

Тем временем медведь пересек осыпь, вломился в кусты и стал кататься на спине, зализывая горящую в брюхе рану. Его охватывала слабость, сколько мог он противился ей, яростно греб когтями землю, обсыпался снегом... Опять вскочил и ринулся по осыпи.

Костя, потеряв надежду отыскать медведя, повернул назад. А шатун, тенью прошмыгнув, уже затаился в ельнике, почти на том же месте, где его настиг выстрел, и терпеливо ждал возвращения человека. Шатун чуял вблизи свою кровь на снегу. Она раздражала его, однако он не шевелился. Когда человек поравнялся с ним, он вздыбился во весь свой рост, молча накинулся на него со спины, подмял под себя. Когтистая лапа рванулась по лицу, и одновременно что-то внутри у Кости лопнуло, порвалось. В горячке он выхватил из-за пояса нож и всадил его по рукоятку в горло зверю.

— Ари-ин! — закричал Костя, пугаясь оттого, что небо над ним багровело, а вокруг образовывалась глухая, жуткая пустота.

Крик его испугал медведя. Он отвалился от Кости и вялыми, слабеющими прыжками побежал под гору. Вдруг закружился на месте, жалобно взревел и свалился на бок, обратив морду к человеку.

Костя уже не слышал его последнего, предсмертного рева.

9

Долгое отсутствие Кости встревожило Евграфа Семеныча, он сообщил председателю колхоза. Стали искать пропавшего охотника — и нашли. Медведь и Костя, присыпанные белой порошей, лежали неподалеку друг от друга. Студено было в горах. Вовсю погуливал ветер, прочесывал насквозь ельник, натужно свистел в балке. Все ниже спускаясь к земле, неприветливо хмурилось небо — к большому снегу. Люди содрали с медведя шкуру, бережно завернули Костю в брезент и понесли его вниз, к жилью. Тело предали земле на хуторском кладбище, хотя на нем давно уже никого не хоронили. Но для Кости сделали исключение. Может быть, потому, что любил он Сторожевой больше других, а значит, и заслужил право остаться навечно там, где родился.

Женщины голосили навзрыд, вспоминали доброту покойного. Беременная Машутка до того растравила себя слезами, что упала в обморок. Ее подхватили под руки и увели. Евграф Семеныч тенью ходил вокруг могилы и, путаясь в полах своего пальто, все спрашивал у кого-то:

— А как же я? Что ж мне делать?

Марея положила на свежий бугорок вылепленные из воска прозрачно-белые цветы, пошевелила сухими, бескровными губами:

— Не воротись Арина, жил бы он...

— Из-за медвежьей шкуры сгубила человека,— склоняясь над могилой, поддакнул ей широкой, крепкой кости старик, с рыжими усами и с такой же бородой. Это был Прокофий Прокофьевич, тот самый, что когда-то встретился Арине у оврага. Он давно жил в селе, а сейчас гостевал у дочери и случайно оказался на похоронах.— Что же это творится? — тоном поучения говорил Прокофий Прокофьевич и с осуждением поглядывал на Арину.

Выл, выл ветер. Рвал на женщинах платки. В вое его Арина ничего не слышала. Вся в черном, стояла она у бугорка и невидяще смотрела на остро ограненный металлический обелиск с красной звездой. Люди стали расходиться: Климиха звала всех на поминки в старую хату. Кладбище опустело. Еще неуютней стало кругом. К Арине подошел Федор Кусачкин, осторожно тронул ее за локоть:

— Куда тебе?

Арина ничего не ответила, вздрогнула и пошла к до-

роге, ведущей в село. Федор постоял, хотело было повернуть в противоположную сторону, но передумал и направился вслед за ней.

— А на поминки? — спросил Федор, когда они уже были далеко от хутора.

Арина шла как немая, глядя в пустое пространство перед собой.

Почти у села их неожиданно настиг Игнат, с сумкой через плечо. Федор отвернулся. Голубела на сумке среди мутно-белой, неприютной степи реклама Аэрофлота, призывающая к выгодным и удобным путешествиям на воздушных лайнерах. По всему было видно, что Игнат отправлялся в неблизкий путь. Он приостановился, собравшись что-то сказать Арине, уловил в ее лице пугающую отрешенность ко всему — и молча обогнал их, зажелтел впереди своей дубленкой. В спину ему дул ветер. В воздухе мелькали снежинки. Откуда ни возьмись на дорогу выкатился колючий шар перекати-поля и, сухо шелестя, бездомной собачонкой кинулся Игнату под ноги. Тот пнул его — шар заюлил, завертелся, вскачь замельтешил по дороге. Чтобы согреться, Игнат побежал за ним, гулко стуча по затвердевшей земле.

Не дойдя до нового Арининого дома, Федор остановился, проводил глазами Арину. Он больше не знал, чем ей помочь, и решил вернуться на поминки.

Арина задержалась у чинары, в забытьи провела рукой по ее тонкому вздрагивающему стволу, подернутому прозрачным слоем льда. Деревце принялось и незаметно жило, противясь ненастью. Лед таял под горячими пальцами, кора теплела...

Когда-то зацветет чинара и даст первые орехи. Упадут они в землю, лопнут и развернутся в ней, как живые. Из семени пробьются на свет побеги. Потом зашумят деревья...

Арина вскрикнула от внезапного и радостно незнакомого толчка под сердцем. Что-то живое опять шевельнулось в ней. Все еще не веря чуду, она жадно прислушивалась к зарождающейся в самой себе новой таинственной жизни. Арина ждала этого, ждала с тревогой, нежностью и надеждой... Она припала вдруг щекою к чинаре и заголосила во весь голос — от осознанной до конца потери...

1973

Погоня за дождем

Повесть-дневник





ЛЕСНАЯ ДАЧА

15 мая 197... года

На пасеке я с неделю, а мои холсты по-прежнему нетронуты, мой завернутый в мешковину мольберт валяется в углу будки рядом с хламом, с ящиком для вощины, с голубыми рамоносами и плоской крышей улья-лежака, на которой я устраиваю себе постель. Что делать, к этюдам меня не тянет. Сейчас все равно ничего не выйдет, лучше уж не портить краски.

...А природа здесь великолепная — сущий земной рай! Наши ульи рассыпались на лесной просеке. Наполненная светом и прямая как стрела, она одним концом убегает в степь, другим — упирается в яблоневый сад. Допоздна свистят, заливаются в кустах соловьи и смолкают ненадолго, как бы набираются голоса и вдохновения, чтобы опять на ранней зорьке начать слитную, взволнованную песню; изредка из глубины молодого леса доносится таинственный голос кукушки.

Ехал я сюда на автобусе; в степи белели станицы и хутора, нескончаемо тянулись вдоль дороги абрикосовые посадки, в мареве выступали зеленые оазисы ухоженных полей, и кое-где над ними в свете вечернего солнца стояли радуги: были сухие, знойные дни, землю поливали. Привычный глазу пейзаж степного Ставрополья... Я ехал,

смотрел в запыленные окна, и мне было грустно. Грустно оттого, что накануне, за несколько дней до отъезда из Орла, у меня вышла перепалка с женою, вспыхнувшая, как обычно, из-за хронического отсутствия денег. Кто не знает подобных сцен, и сдержанно-колких, холодно-учтивых, и бурных, со взаимными оскорблениями, даже со слезами,— кто не притерпелся к ним! Но эта последняя тронула меня до глубины души. Жена сурово, и, впрочем, не без оснований, упрекала меня в непрактичности, в неумении жить, то есть прилично зарабатывать, как это делают художники, по способностям ничуть не выше меня, напротив — гораздо ниже, и, следовательно, на ее взгляд, не имеющие права требовать больше того, что им отпущено талантами. Однако они требуют и берут, а я... я даже не стремлюсь пользоваться своим, и она вынуждена перебиваться с копейки на копейку, отказывать себе в ажурных чулках, в туфлях на платформе — словом, в таких мелочах, о которых недостойно, стыдно говорить вслух в интеллигентном обществе. Женская логика всегда поразительна, но весь ужас моего положения состоял в том, что, активно защищаясь, я чувствовал собственную уязвимость, чувствовал вину перед нею. Да, пожалуй, она права. Что я за муж, глава семьи, который не умеет удовлетворить ничтожных прихотей жены. И притом она довольно-таки видная: я не раз ловил взгляды мужчин, обращенные на нее... Она может нравиться и наделена обостренным чувством достоинства; значит, дело тут не в одних туфлях на платформе: жене художника, преподавателю факультета иностранных языков неудобно появляться в чем попало перед студентами.

— Не находишь ли, дорогой, что в наше время не иметь денег — слишком большая роскошь,— говорила мне Надя с язвительной, нервической улыбкой.— Ты не вправе на меня обижаться: я долго терпела. Больше у меня нет сил, мое терпение лопнуло...— голос ее осекся, в подведенных синей тушью глазах показались слезы. Она овладела собою и, не глядя на меня, продолжала: — Пойми: я устала, измучилась... не сплю ночами. А ты живешь как во сне, в каком-то придуманном мире. Ничем не жертвуешь, не берешь заказов. Очнись! Так нельзя. Ведь должно это когда-нибудь кончиться!

— Прикажешь оформлять детские сады? Хочешь, чтобы я халтурил, рисовал зайчиков и попугаев на стенах?

— Нет, я хочу, чтобы ты был художником и зарабатывал деньги,— с расстановкой сказала Надя.

— У тебя лишь одно на уме: деньги, деньги и деньги!

— Неправда! — вспылила Надя, и глаза ее опять повлажнели, налились слезами.— Ты не можешь упрекнуть меня в мещанстве... в меркантильности. Но всему есть предел. Я больше не могу,— поникнув, слабо пожаловалась она, и это сильнее крика подействовало на меня.

Не знаю, как кто, а я теряюсь при виде женских слез. Я готов признать за собою любую вину, чтобы только их не было. Я принялся уверять Надю, что деньги у нас непременно появятся, и не позднее как в этом году. Я понял ошибку и еду на пасеку помогать ее отцу; при хорошем взятке мы накачаем тонну меда, выручку поделим поровну — уже договорились в письмах. Тогда я спокойно напишу задуманную мною картину, а она — прилично оденется, навсегда простится с заботами о завтрашнем дне. Я говорил с жаром, с напором; щеки мои горели, голос прерывался и звенел. Надя же, к моему огорчению, холодно выслушала меня и сказала:

— Прожекты! Вы с папой неисправимые идеалисты.

Продолжать спор было неразумно, я умолк... Но теперь, в заповедной лесной тиши, под мерный гуд пчел, иногда встает передо мною вся эта сцена, и я невольно с внутренней тревогою задаю себе один и тот же вопрос: «А что, если мы не возьмем меду и Надя окажется права?»

...Смеркалось. Автобус, наполовину опустевший, довез меня до Лесной Дачи — конечного пункта моего путешествия. Лесная Дача — укромный рабочий поселок в Ипатовском районе, тихий и аккуратный, с белыми типовыми домами, с окрашенными в синий цвет водопроводными колонками на перекрестках. Он возник недавно, как и десятки его собратьев, составивших конкуренцию мелким, дряхлым, в окружении старых акаций казачьим хуторам. После долгих раздумий, не без горького сожаления покидает обжитые дворы и отовсюду тянется к свету, к «городским» удобствам степной народ, в большинстве своем молодой, бойкий и мастеровитый. Но могил нет у этих поселков: хоронят покойников на старых местах, на земле прадедов... В центре стеклянной витриной светился продовольственный магазин, возле него распахивались и закрывались двери почты, ржаво поскрипывая петлями, а за штакетною оградой врассыпную пестрели красные, белые и ярко-алые, с дымчатой чернью,

розы; дальше виднелась контора совхоза, с фанерными щитами и доскою показателей у входа. Поселок был окружен лесом, виноградниками и садами. С минуту я стоял у автобусной остановки, прикидывая, куда мне направиться, затем наугад пошел плохо наезженной в пыльной траве дорогой, которая вела в лес.

Сумерки между тем синели, сгущались, последние отблески заката гасли на листьях. Небо в вышине темнело и затягивалось тучами, дорога едва серела среди кустов. Слева от меня был сад, справа — лес, густой, как-то мгновенно помрачневший. Побеленные стволы яблонь выступали из сумрака и служили мне ориентиром; иногда я сбивался, терял под ногами колею и забредал в траву. Так я шел с час или два, неся рюкзак за плечами и мольберт под мышкой, пока исподволь не вкралось сомнение: туда ли я иду? Может, надо свернуть и углубиться в лес? Не прошел ли я мимо? Я стал озираться вокруг, прислушиваться к лесным шорохам. Тьма. Поднялся ветер, прошелестел, глубоким вздохом прошелся по верхушкам. В лицо повеяло свежестью, сорвалась и упала мне на щеку капля дождя, следом другие капли вразброд застучали по листьям. Смелее заколобродил, загудел ветер и разогнал набежавшую было дождевую тучу. Звезды пробились сквозь мрак и послали на землю мерцающий, безучастно-отдаленный свет.

Идти дальше или повернуть назад? Мне стало не по себе от вершинного гула ветра, треска сучьев и этой неизвестности. Я не раз замечал, что в незнакомых местах ночью, в кромешной тьме, помимо воли подступают ко мне первобытные страхи. Незаметно, будто крадучись, подступают и начинают бередить, волновать воображение. Порыв ветра вдруг обернется вздохом затаившегося лешего, свист ночной птицы — зовом какого-то голоса. Стоишь и не смеешь шевельнуться под действием чего-то необъяснимого, жуткого и вместе с тем отчаянно влекущего к себе. Не сказываются ли в нас инстинкты предков?

Я всегда боюсь заблудиться. Хуже нет — блуждать наугад в потемках, протягивать руки и вслепую тыкаться туда и сюда, в надежде на счастливый случай, на простое везенье... Мысленно я ругал тестя, не догадавшегося сообщить в письме точного расположения пасеки, и уже подумывал пуститься в обратный путь и заночевать в Лесной Даче, как вдруг пролился и засиял впереди огонек.

Я обрадовался ему, точно живому доброму существу, и скоро набрел на пасеку.

Навстречу мне выбежала рыжая собака, напустилась и злобно залаяла, на нее прикрикнули, она отошла с недовольным рычанием и легла под кустом, не спуская с меня пронзительных, настороженно-злых глаз.

— Федорович здесь? — крикнул я обернувшимся ко мне людям — женщине и двум мужчинам.

Они сидели за походным столом. Над ними висела электрическая лампочка, спущенная на шнуре с ветки белой акации. Шнур тянулся от «Жигулей» охристого цвета, которые стояли между двумя будками; третья будка горбилась поодаль, у кустов; возле нее с распахнутой дверцей «Волга».

— Тут он,— сказала женщина.— Подхо́дьте к нам. Чип! — замахнулась она кулаком на все еще рычавшую собаку.— Подхо́дьте, она не укусит.

Пасека занимала всю опушку; ульи были расставлены шахматным порядком, летками на восток.

Женщина, одетая как старуха — в фуфайку и широкую юбку, в войлочные тапочки, сухопарая и темнолицая, обежала, ощупала меня ухватистым взглядом мелковатых глаз и поинтересовалась вкрадчивым, но и не совсем отпугивающим голосом:

— На что вам понадобился Федорович?

— А где он? — не отвечая на ее вопрос, спросил я.

— Вот я! — после некоторого замешательства с недоумением отозвался плотный, здоровый на вид мужчина в коричневой фуражке и в серых просторных брюках.— А ты, извини, кто будешь? — приподнялся он из-за стола, когда я подошел ближе.

Я назвался.

— Эх-хе-хе... ошибся адресом! — Совершенно лысый, с отекшим лицом мужчина захихикал, сожмурился и облизнул толстые губы.— Не на ту пасеку попал. В трех соснах заблудился.

Женщина, убирая со стола посуду, осведомилась:

— Вы к какому Федоровичу шли?

— К Илье Федоровичу Звонареву. Он тоже пасечник.

— А я Филипп Федорович! — объявил плотный му́жчина. Он приблизился и фамильярно толкнул меня в бок.— Будем знакомы. Тут нашего брата — видимо-невидимо! Кругом пасеки. Со всех краев понаперлись — не продохнешь. Ей-богу! — По тону его и манере говорить,

широко разводя руками и свысока посматривая на собеседника, угадывался глава этой стоянки, авторитет непрекословный.

Лысый за каждым его словом подхихикивал:

— Народишко нонче ушлый... падкий на мед! Как зверь, чует акацию.

Наверное, он был под хмельком. Филипп Федорович властным взором подавил смешок своего компаньона и выпрямился, оказавшись чуть ли не на голову выше меня.

— Кто ж тебя направил сюда? Чья дурная башка?.. Случайным людям не годится верить,— упреждая ответ, молвил Филипп Федорович.— Обязательно обдурят. Так же, Егор Степаныч? — спросил он, очевидно, для потехи, чтобы лишний раз выказать свое превосходство над ним.

— Так... а то ж как! — с готовностью закивал лысый.— Нарочно обштопают и заикнуться не дадут. К чертям отправят!

— Тут, вишь ты, бывает, и себе не веришь,— пояснил Филипп Федорович.— Да, бывает,— подумав, подтвердил он серьезно и, натягивая на загорелый лоб фуражку, зашагал к дороге. Шел он переваливаясь, небрежно засунув руки в карманы брюк.

Выйдя, полюбовался сбоку на ульи, взглянул на небо: в редких просветах вздрагивали звезды.

— Жалко! Ветер украл у нас дождик. Хмарит, хмарит, а наземь не хлынет. Дождик позарез нужен. Сухота! Пыль горло дерет.

Он начал объяснять, как лучше всего добраться до пасеки тестя. Выходило, мне опять нужно идти в поселок, оттуда — добираться до сорок восьмого лесного квадрата; там попадется столбик, от него свернуть влево, на просеку. Но столбик тот едва заметен среди бурьяна. Признаться, как я ни слушал Филиппа Федоровича, как ни старался следить за его энергичными жестами, все же я слабо представлял себе дорогу: слишком много в ней было поворотов и замысловатых петель. В конце концов я отчаялся и перестал вникать в объяснения, лишь для приличия кивал Филиппу Федоровичу, во всем положившись на собственную интуицию.

— Ну, подмазывай пятки и жми,— встряхнул мне руку Филипп Федорович.— Привет отцу.

Тучи мало-помалу расходились, на небе горстьми зажигались звезды, но они были бессильны разогнать мрак. С чувством неприкаянности двинулся я назад, выбрался

из полосы рассеянного света в плотно обступившую меня черноту и тут услышал за спиною молодой, стыдливо-страдальческий голос:

— Папа, подвезем его к поселку!

Я обернулся: у «Волги» стояла белокурая девушка, по виду — недавняя десятиклассница. Очевидно, до этого я не приметил ее потому, что она была в машине.

Из-за темного угла будки выдвинулся на свет худой старик, по-птичьи сощурился, повел сгорбленным носом:

— Нам самим бензина не хватит.

Девушка глянула на меня, гибко изогнулась и, впрыгнув на сиденье, крепко треснула дверцей.

— Тонька, замок сломаешь! — проворчал и тут же скрылся в тени старик.

Тогда женщина с ласковой предупредительностью подступила к Филиппу Федоровичу:

— Филя, блукать он будет. Заблудится человек. Довези его, а то Федорович рассерчает.

После длительной паузы, означавшей душевные колебания Филиппа Федоровича, настиг меня его окрик:

— Эй, гостек! Погоди! До утра будешь чапать, обувку собьешь.

«Жигули» у Филиппа Федоровича новые, с радиоприемником и холодильником. Мчались они птицей, едва касаясь земли и отвечая на каждое его желание. До чего послушная, чуткая машина! Филипп Федорович вел ее смело, играючи и почти не сбавлял газа на выемках. Руки у него волосатые, цепкие. Как у всякого заядлого пасечника, кожа на них темно-восковая до глянца — от частых ужаливаний. Лицо тоже восковое, с бронзовыми пятнами на тугих щеках и с гладким блестящим лбом. Крутя баранку, он свободно перебирал толстыми пальцами, словно играл на диковинном инструменте, и светлел, упоенный его музыкой. При этом он разводил локти и слегка подскакивал на сиденье, как бы тихонько приплясывая в такт звенящей в его душе музыки.

Филипп Федорович сощурил глаза и внимательно посмотрел на меня:

— В этом году я собирался кочевать с твоим тестем. Да сорвалось. Он раньше пообещал Гордеичу. Может, на другой сезон вместе состыкуемся. Американцы с нами стыкуются, а мы что, хуже? Федорович заводной, мне он нравится.— Помолчал, глядя на дорогу, и пожаловался: — Не повезло мне с лысым охламоном. Пьянь! Налижется

как зюзя и ходит. Пчелы дурака зажалят. Они, вишь ты, свирепеют от резких запахов. Берегись!.. Вот другой компаньон, мой кум,— умница. Ни росинки в рот. Кум сейчас дома.

— А кто этот старик?

— Гунько? Тоже пасечник. Приехал к нам по хитрому дельцу. Хочет разнюхать, где подороже медок сбыть. Пройдоха еще тот!.. Трясется из-за дочки. Боится, как бы кто не увел из-под носа богатую невесту. Уведут! Хороший товар не залежится.

Через несколько минут мы уже были на пасеке. Тесть обрадовался моему появлению и при этом не забыл отблагодарить Филиппа Федоровича, узнав от него о моих злоключениях.

— Я вам не отказал, гляди, когда-нибудь и вы мне уважите.

— Уважим! Спасибо, Филипп Федорович.

Тем временем я познакомился с нашим компаньоном — Матвеичем. Его пасека — около сорока ульев — крайняя от яблоневого сада. Будка под туго натянутым брезентом уютно прижалась к деревьям; возле кустов приютилась «Победа», тоже обернутая брезентом, от нее проведен свет. На коньке будки, раздвигая лесной мрак, ослепительно сияет лампочка, так что ясно видны не только наши ульи, расставленные в пяти шагах от пасеки Матвеича, но и ульи третьего компаньона — Гордеича. У него отгул: он уехал домой на своем «козле». Тесть мимоходом шепнул мне, что тут один он «безлошадный», поэтому волей-неволей ему приходится приноравливаться к Матвеичу и Гордеичу, к заведенному ими распорядку: по очереди они возят его домой, доставляют провизию, воду в флягах.

Матвеич выглядит солидно. Рост у него внушительный, такой же, как у Филиппа Федоровича, но в теле он рыхловат и в движениях до скупости медлителен. Он слегка прихрамывает на левую ногу и носком ее ботинка задевает бугорки, кочки либо спрятавшиеся в траве камни. Не будь этой особенности — цепляться за все, что попадется, постороннему глазу была бы незаметна хромота Матвеича. Носит он роговые очки. Сквозь них мерцают пытливые, мудрые и вместе с тем лукавые глаза неопределенного цвета: серые с прозеленью или синие. Я и после приглядывался к ним, пытаясь точно определить их цвет, но мне это не удавалось: в разное время суток они менялись

в зависимости от освещения. Утром я склонялся к тому, что они были чисто синие, вечером же находил их серыми или совершенно зеленымч. Странные глаза!

Втроем они поговорили о делах, посетовали на жару, и Филипп Федорович уехал.

— Чтой-то Филипп Федорович чересчур нахваляеть наше место,— медленно обронил Матвеич и снял с головы соломенную шляпу, обнаружив редкие, сверху прилизанные волосы, а на затылке — круглую плешь; виски у него седые, будто присыпаны мукой.— Хитрить.

— Пускай хитрит,— сказал тесть.— Нам-то что с его плутовства...

— Вы его мало знаете.

— Не бери в голову, Матвеич. Они сами по себе, мы — сами.

— Ага, не бери,— возражал со вздохом Матвеич.— Он тертый калач. Пятнадцать лет кочуеть.

В апреле тесть отпраздновал семидесятилетие — дата, как говорится, круглая, мало обнадеживающая. Видимо, из уважения к возрасту Матвеич называет его на «вы». Самому же Матвеичу недавно исполнилось шестьдесят три, на пенсии он второй год. Он ровесник Гордеичу. И профессия у них была одинаковая: оба всю жизнь проработали шоферами. Оба и пчел завели давным-давно, летом отдавали ульи присматривать знакомым старикам пчеловодам. В выходные наведывались на пасеки. Как ушли на пенсию, обзавелись новыми ульями, вдвое увеличили число семей — словом, поставили дело на широкую ногу... Минувшим летом Гордеич продал в Кисловодске курортникам пятнадцать фляг меду, а Матвеич торговал в Ессентуках и удачно сбыл тридцать две фляги, выручив за каждую по двести двадцать рублей. Прошлое лето выдалось не холодное и не жаркое, в меру парило, цветы обильно выделяли нектар, и, если бы Филипп Федорович раньше надоумил Матвеича позвать к себе, на подсолнухи, навар был бы погуще. Гордеичу менее повезло: он выбрал в напарники малоискушенных пчеловодов и весь сезон торчал с ними возле колхозной пасеки. Зато теперь у них подобралась хорошая компания. И места кругом завидные, с редкими медоносами. Если не подведет «небесная канцелярия» — взяток будет отменный.

Обо всем этом я узнал за ужином. Мы хлебали суп, разлитый в алюминиевые чашки, ели круто, до синевы сваренные яйца и твердую редиску со сметаною, пили из

ведра парное, с пеною молоко. Матвеич был со мною предупредителен, вежлив, мало вдавался в расспросы, но приглядывался ко мне с любопытством, бросая короткие, с лукавинкой, взгляды.

— Где ж вы стояли? — спросил я Матвеича.

— Тут, за каналом. Вы на автобусе ехали мимо... Потом мы спаялись с Филиппом Федоровичем.

— С Филиппом Федоровичем?

— Ну да. Неугомонный он мужик... неусидчивый,— неизвестно, в похвалу или в осуждение произнес Матвеич.

— А он много накачал?

Матвеич иронически усмехнулся, кивнул на тестя:

— А вот Федорович знають. Сколько он огреб, Федорович?

— Восемьдесят шесть фляг.

— Понятно? — Матвеич остановил на мне откровенно смеющиеся глаза.— Вот так, Петр Алексеевич, некоторые у нас стригуть коз. Ловко? У него сотня уликов. Не шутка. Он пчеловод-промышленник. Летаеть самолетом в Астрахань. По пять рябчиков за килограмм.— В словах Матвеича прозвучала нескрываемая зависть к Филиппу Федоровичу.— Так-то вот!

Он прихлопнул ладонью по столу, поднялся и, сняв с горящего примуса кастрюлю с водой, начал мыть и вытирать насухо полотенцем посуду. Мы пошли к своей будке. Тесть нашарил на полке спички, зажег фонарь «летучая мышь» с мутным, задымленным пузырем. Фитиль затрещал, пламя вытеснило сумрак, и я увидел на уровне плеч разборные нары из досок, на них постель. Нары широкие, но я пожелал спать отдельно, внизу. Тесть внес крышку от улья-лежака, приспособил к ней какой-то ящик, все это застелил пледом, сверху чистой простыней, дал мне подушку и байковое одеяло.

Небо очистилось от последних туч, ветер стих. В лесу пели птицы. Между веток прорезался тонкий, едва различимый серпик молодика. Я полюбовался его рожками, послушал невыразимое пенье, среди которого особой напевностью и трогательным очарованием выделялись голоса соловьев (сколько их было вокруг!), вернулся в будку, с удовольствием разделся и лег, испытывая усталость путника, наконец-то нашедшего скромный приют. Все обернулось как нельзя лучше: я на пасеке. Сегодня у тестя восемьсот граммов прибыли, и, если она продержится

недели две-три, мы приступим к первой качке. Тесть намерен взять не менее восьми фляг майского меда.

Он впервые выехал на кочевку за двести пятьдесят километров от Красногорска, от родного дома. В начале мая он обычно держал свои ульи в саду, а с наступлением тепла и дружного цветения трав перебирался в недальнюю балку, к Червонной горе, и был там до осенних холодов. Обычно у него случалось две качки, первая — во второй половине июня. Филипп же Федорович в поисках раннего весеннего цветения отбывал из Красногорска, подальше от студеных горных ветров, в конце марта или в начале апреля и кочевал по Ставропольскому краю, иногда захватывая и соседнюю Калмыкию. За сезон ему удавалось сделать четыре-пять качек. Соблазнившись его примером, тесть тоже решил попытать счастья, тем более что подвернулись хорошие компаньоны, оба на колесах.

— В нашем деле, Петр Алексеевич, главное — разведка,— скрипя нарами, поучал меня тесть.— Вовремя найти подходящее место и поспеть к основному взятку — это все равно что в срок жениться. Прозевал — молодку потерял...

Расспросив меня о Наде и вполне удовлетворившись моими ответами, в которых не было и тени намека на сложные обстоятельства нашей семейной жизни, тесть перевернулся на бок и уснул. За дощатой стеною все еще раздавались соловьиные трели.

Я думал о пасечниках. Интересные люди! Между ними, я подозреваю, есть свои и даже сложные, запутанные отношения, разобраться во всем будет не просто. Тем лучше. Это в какой-то мере встряхнет меня, избавит от скуки. Многие из них, пожалуй, достаточно богаты, один мой тесть — исключение, он не умеет копить на черный день, дожил до седых волос и не почувствовал вкуса к деньгам. Как они появляются у него — так же, с невероятной быстротой, исчезают, растекаются песком сквозь пальцы. Кто он? Беспечный человек или фатальный неудачник, призванный изо дня в день корпеть, не ведать покоя и отдыха?.. А Матвеич и Филипп Федорович — мужики с норовом, каждый знает, чего он стоит. Времени у меня достаточно, чтобы разглядеть их вблизи, под микроскопом, как пчел. Нет, право, странные люди. Я как-то и не представлял себе таковых. Надеялся встретить обыкновенных благообразных дедков с дымарями, с деревянной посудой, грязных и обросших,— и вдруг столкнулся с при-

личными пенсионерами, которые имеют собственные машины и наверняка — недурные счета в сберкассах. Это лишний раз служит мне доказательством того, что я, увлекшись собою, своим внутренним миром, порядочно отстал от действительной жизни. Придется наверстывать упущенное, может, это пойдет мне на пользу.

Пробудился я с восходом солнца. Ветер дул с севера, лес шумел, кусты мотало. Несмотря на это, пчелы вылетали из летков и устремлялись вдоль просеки за добычей. При дневном свете я лучше разглядел нашу пасеку. В ней сорок девять ульев разной окраски — белой, желтой, голубой, коричневой либо смешанной: корпус, например, голубой, надставка на нем коричневая, а крыша мышиного цвета. Ульи старые, с кое-где подгнившими досками, с облупившейся или потрескавшейся краской. Их неуклюжий вид производит невыгодное впечатление в сравнении с аккуратными, стандартными ульями Матвеича, выкрашенными в голубые и белые тона. Подлетные доски у нас выпилены из обыкновенных чурок, у соседей соединены с ульями и при надобности легко закрываются на застежки. Пасека Гордеича тоже аккуратная, тщательно подобранная. В ней преобладают однокорпусные ульи, но есть и громоздкие, двухкорпусные. Все закрыты на крючки, а у Матвеича под крышами висят черные, похожие на гирьки замки.

Тесть прихватил с собою медогонку и воскотопку да про запас — штук восемь пустых ульев. Шоферы все это пока оставили дома. В любой день они могут смотаться в Красногорск и привезти то, что им понадобится. Моему старику вряд ли улыбнется такая возможность; он молодец, полностью не надеется на благосклонность компаньонов. В деле, где пахнет деньгами, может случиться всякое. Лучше быть настороже и не терять благоразумия.

Наш контрольный улей — стояк гордо возвышается на весах посередине первого ряда. Контрольный улей Матвеича — лежак помещен в центре его пасеки и сверху прикрыт прозрачной целлофановой пленкой — от дождя. Весы Матвеичу добровольно уступил Гордеич, так как он не нашел у себя достойного улья, по которому можно правильно судить о величине ежесуточной прибыли, а вот лежак с голубой обводкой и двумя замочками подходит по всем статьям: в прошлом году он подарил Матвеичу семьдесят килограммов меда, пчелы из зимовки вышли у него здоровые; сейчас густо делают облеты, дружно пло-

дятся и носят нектар и пыльцу... Пчелы роем клубятся у лежака, струйками вонзаются в прозрачный воздух. И наш контрольный не дремлет, тоже вовсю старается. Тесть ласково называет его «трудоночью», потому что он раньше начинает и позже других, уже в сумерках, заканчивает работу. Торопясь, обгоняя друг дружку, пчелы тащат в него золотистые обножки — пыльцу с акации.

И все равно Матвеич всех превзошел, твердо сохранив за собою звание «культурного» пчеловода. У него был крохотный, со шкатулку, улей для воспитания и вывода маток, но и это бы не так бросалось в глаза и не подавляло моего тестя, если бы у Матвеича не было еще одной диковинки, предмета его постоянной гордости — наблюдательного улья на шесть рамок со стеклянными боковыми стенками, снаружи задвинутыми деревянными дверцами. С великой осторожностью открывая эти дверцы, Матвеич часами просиживает у наблюдательного улья, изучает жизнь пчел и записывает в тетрадь все, что происходит внутри гнезда в течение суток.

В первое утро, пока я интересовался пасекой, выспрашивая у стариков подробности, тесть сварил на дымном керогазе (он величает его «мангалом») суп и понес кастрюлю к будке Матвеича, возле которой они привыкли разделять трапезу.

— Ветер, Федорович... Худо! Пчелы неважно танцуюуть.

— Ничего, уляжется.

— Хотя бы. А то пожарить... высушить нектарники.

Спустя полчаса они занесли в «Победу» порожние фляги, взяли баллон и ведро и, оттащив в тень брезент, помчались в Лесную Дачу. Я остался один. Впрочем, неверно. Я как-то упустил из виду, что на пасеке вместе с нами живет очень доброе, симпатичное создание по кличке Жулька — собака Матвеича. Ростом она невелика, с комнатного пуделя, с хвоста до макушки угольно-черна и необыкновенно весела, проворна. Встретила она меня весьма дружелюбно, я дал ей хлеба, потрепал по-за ушами — и с той минуты мы друзья. Она бегает за мною, вертится у ног, играет и, подскакивая, доверчиво заглядывает в глаза.

— Жулька! — сказал я ей.— Пока наши вернутся, давай погуляем.

Она взвизгнула, согласно вильнула хвостом, и мы пошли к степи.

16 мая

Хотя поверху шел напористый ветер и мотал кусты вдоль просеки, в самом лесу, когда я сворачивал и углублялся в него, было спокойно, душно. На солнцепеке низко подрубленные пни (недавно лес прочищали) пузырились теплой пеною, а в кустах свидены как ни в чем не бывало порхали и перекликались птицы. Жулька иногда замирала на стойке, навостряла маленькие уши... Надо сказать, лес тут особенный, сажали его знающие люди. Кусты свидены, плотные, непролазно-густые, зеленели через равные промежутки: свидена хорошо задерживает и сохраняет влагу, так необходимую в засушливых районах. Невзрачная, низкорослая, она дает жизнь другим деревьям, в ее тени они чувствуют себя прекрасно, а когда набирают сил и обгоняют ее в росте, свидену, сопутствующее дерево, вырубают. Часто попадалась мне высокая, с приторным запахом скумпия, с мелкими, бледно-желтыми цветками; в них копошились пчелы. Очень много кругом медоносных деревьев; акации белой и желтой, черноклена, лохии и гледичии — замечательного дерева с гладким стволом, с твердыми и острыми, как шила, колючками на ветках, с оранжевыми, в желтоватой пыльце, сережками. В рядах гледичии, посаженной на краю леса, ровно и заботливо гудели пчелы. Работают, несмотря на ветер!

...А рядом — степь, неоглядная, необозримая. Мы с Жулькой прошли по ней мимо цветущего весеннего леса и повернули назад. Отличное место! Помнится, Матвеич сказал, что одна обильно цветущая липа заменяет гектар гречихи. С липы пчеловоды иногда умудряются взять до четырнадцати килограммов меда. Но в этом лесу нет лип, и нас с Жулькой больше интересует гледичия: сколько она даст меду, если в пору ее цветения ночи не слишком холодны, а дни не очень сухи и жарки? Так ведь, Жулька, это волнует нас? Ты, я вижу, тоже рада цветению гледичии, белой и желтой акации. Шустро бежишь впереди меня, кувыркаешься в траве и норовишь догнать пеструю, невероятной красоты бабочку. Радуйся, лови ее, милая, смешная собачка... А я пока подсчитаю в уме продуктивность сорок восьмого квадрата, в котором, кажется, пятьдесят гектаров чудесного медоносного леса.

Из опасения, что наши скоро вернутся и не застанут меня, я прибавил шагу и, к счастью, поспел вовремя: на просеке показалась голубая «Победа». Кувыркаясь, Жулька кинулась ей навстречу, а я в ожидании отомкнул будку.

Старики привезли фляги: одну нам, другую Матвеичу, остальные велели мне слить в общий «технический» бак — для мытья посуды и пополнения водопоек. Баллон с молоком Матвеич опустил в яму-погребок. Тесть осторожно вынес из машины ведро с опилками, в которых были яйца, и поставил в нашу будку. Затем он набрал из бака воды и вылил ее в позеленевшую водопойку Гордеича — резиновый, пополам разрезанный скат от грузовика. У нас точно такой же скат. В воде плавают облепленные пчелами ивовые прутья. У Матвеича скат маленький, от легковушки, и ему приходится чаще подливать воду.

Тесть вытащил наружу ворох новых, еще пустых рамок, показал мне, как следует натягивать на них тонкую, что струна на балалайке, проволоку, как припаивать к верхнему бруску вощину. Матвеич подошел, поглядел и сказал:

— А я, Федорович, не так делаю. Я вощину не прикатываю колесиком к проволоке. Режется. Я электричеством прихватываю.

— Ну, у тебя приборы. Ясно! У нас допотопный инвентарь.

— Доверяешь зятю?

— Пускай учится. Пригодится.

— Правильно,— кивнул Матвеич.— Только в старину, Федорович, ученикам сперва доверяли рамки шилом колоть да ручку крутить при качке. Это куда ни шло. А проволоку натягивать да прикатывать не подпускали. Покройт вощину, пчела не возьмет... не оттянет. Не боитесь?

— Волков бояться — в лес не ходить.

Матвеич посмеялся, покрякал и ушел к себе. Вскоре потянуло из-за его будки дымком: развел дымарь. Он облачился в белый халат, надел лицевую сетку из черного тюля и легкого ситца и, усевшись на венский стул возле крайнего улья, снял крышку и стал просматривать рамки, вынимая их из гнезда и подолгу держа перед собою, будто выверял на свет. Глядя на него, тесть сказал:

— Профессор. Все у него чистенько, гладенько, нигде не ошибется. Мудрец! Но пчелы у него сильные.

— Почему?

— Крепко их поддержал в прошлом году. Тут, глянь, какая благодать, сколько цветов! А я первый раз приехал... И весной маху дал: сильно утеплил улья — пчелы и задохлись, вымерли, как мухи. Слабенькие у меня семьи. Квелые.

— Так что ж нам делать?

— Будем поправлять пчелишек, готовить их к подсолнушкам.

Он ушел проверять ульи, оставив меня в недоумении. Сетку он не надел, полагаясь на миролюбивый нрав своих подопечных. Сидел на табуретке, быстро вынимал рамки, охватывал их взглядом и, где требовалось, длинным ножом срезал трутневый, ярко-желтый, расплод, не задевая темно-шоколадного — пчелиного. К обеду он успел просмотреть около десяти ульев, в то время как Матвеич все еще возился над третьим, пуская дым в леток и окуривая улей, чтобы уберечься от ужаливаний.

— Матвеич, да они смирные, не кусаются! — напомнил тесть.— Кончай дымить.

— Береженого бог бережеть,— последовал рассудительный ответ.

— Осторожный человек,— пробормотал себе под нос тесть, разжигая «мангал».— Шагу не ступит, чтоб не оглядеться.

Он опять добровольно принял на себя обязанности повара, начистил картошки, покрошил для зажарки зеленого лука, заодно и мою работу придирчиво осмотрел — не удержался и похвалил:

— Добре получается. Гляди-ка!

— Пчела у нас квелая, говорите?

— Квелая,— подтвердил тесть и хитровато подмигнул мне: — Да ты не скисай. Поправим! Цыплят по осени считают. У Матвеича, правда, культурная пасека. И в халате он, глянь, шикует. Но, Петр Алексеевич, запомни: культура культурой, а ум умом. Слепой, как говорится, побачит.

Обедали в полдень. Ветер стих, жара усилилась; солнце стояло в зените. Старики сидели в соломенных шляпах, я разделся до пояса. Над пасекой сплошной гуд: начался облет... Пообедав, я взглянул на термометр, который тесть повесил на стене нашей будки в тени и для верности прикрыл лопухом. 32 градуса! При такой жаре нектар на цветах высыхает до капельки, пчелы перестают носить. Хотя бы тучка ненароком набежала и заслонила солнце, хотя бы капнуло с неба. Нет. Оно чистое-чистое, без единого пятнышка, и бледно-синее в вышине, будто мгновенно выгорело от зноя. Старики пообедали и отправились спать в будки.

В начале пятого жара наконец спала, а к шести пчелы

понемногу начали шевелиться. В сумерках мы с тестем проверили контрольный: плюс 350 граммов.

— Мало.

— Ничего. В эту пору дома я подкармливал пчел сиропом. А тут они сами кормятся и нам помаленьку носят. Есть разница? В нашем деле главное — терпение. Терпи. Жди момента. Мед меня сейчас мало интересует. Надо, Петр Алексеевич, семьи развить. Чтоб в каждой было по сорок — шестьдесят тысяч пчелишек. Вот тогда выйдет толк. Тогда мы герои! Случится взяток — не оплошаем...

Матвеич посветил «жучком», проверил свою прибыль.

— Сколько? — подошел к нему тесть.

— Мой генерал сплоховал,— со вздохом сказал Матвеич.— Двести грамм. М-да... Как бритвой обрезало взяток. Дождичка нету. Хоть ты плачь. Окаянная сушь!

Неожиданно прикатили на мотоцикле с люлькой лесники в черных куртках с зелеными петлицами и в черных форменных фуражках: один плотный, кряжистый, как дуб, с матово-бронзовым лицом, другой, в противоположность ему, щуплый, маленький и проворный. Он первым выскочил из люльки, как давний знакомый, поздоровался за руку со стариками, кивнул и мне. Именно этот щупленький оказался старшим лесником. Матвеич, подлаживаясь к гостям, от которых в какой-то мере мы теперь зависели, включил свет, собрал ужин и выставил на стол бутылку домашнего «коньяка». Лесники, сняв фуражки, чинно уселись, мы тоже. Матвеич налил им в большие граненые стаканы, себе и нам — в рюмки.

— За взяток! — поднял стакан щупленький. Его лицо, побитое оспой, осветилось улыбкой.— Быть добру!

— Акация цветет, но — жара, ветер,— выпив, осторожно вставил тесть.— Как бы не прогадать.

— Н-ни! — крутнул головой старший лесник.— Як же вы прогадаете! Це невозможное дило! Золотое место.

— Акация отойдеть, и сядем на мель.— Матвеич поровну разделил гостям остаток «коньяка».

— Та що вы переживаете! — горячо возразил старший.— Гледичия будэ цвести. А там лох распустится.

— Жара! — напомнил тесть.

— Та що вы заладили: жара, жара! Верьте: накачаете меду. Вон Филипп Федорович, ваш землячок, вчёра качал. Дочиста обдирае соты. Не боится.

— Что вы говорите! — потерянно произнес Матвеич и слегка побледнел.— Уже качаеть?!

— А то! Полным ходом! Ще й писни спивае,— подзадорил его лесник.— Нас с кумом угостил медком.— Он кивнул на помощника, который хранил молчание и даже не пытался вступать в разговор, сонно мигая красноватыми веками.— Так же, куманек? Сладкий?

— Сладкий... Майский.

Матвеич, побледневший и странно переменившийся, машинально смахнул со стола хлебные крошки, кинул Жульке обглоданную куриную косточку, тяжко и с недоумением промолвил:

— Неужели Филипп уже качаеть? Вот дела! Был у нас и промолчал.

Разговор перекинулся на другую тему. Старший лесник жаловался на своего дальнего родственника, тоже пчеловода. Ему они отвели лучшую просеку в лесу, за семь километров отсюда: яблоневый сад, желтая и белая акация, гледичия — словом, все под боком, стой и радуйся, черпай мед, но родственник подвел их и не приехал, просека осталась незанятой. На следующий год, если он даже будет со слезами умолять их, стоять на коленях, они все равно выпишут документы другим. Старики оживились, и мой тесть прозрачно намекнул, что лично они не против будущей весной воспользоваться этой возможностью и получить хорошие документы. Старший лесник тут же заявил, что это дело отныне решенное, а его молчаливый помощник, очевидно заметив оживление стариков, воспользовался моментом и стал говорить, что он держит пяток ульев, семьи неплохой породы, продуктивные, но вот беда: на один улей напала роевая горячка, чего он никак не ожидал в начале сезона, рой со старой маткой отделился, а молодая, оставшаяся на рамках, оказалась негодной — врассыпную, жидко сеет яйца. Помощник интересовался, где можно достать матку, чтобы она была не старше двух лет и, разумеется, отличалась плодовитостью. Тесть, недолго раздумывая, сказал, чтобы тот заскочил на пасеку завтра, он даст ему молодую матку, по его предположениям — очень перспективную. Старший лесник вдруг тоже объявил, что он любитель-пчеловод, и спросил, не найдется ли у них вощины листов пять. У него кончилась, а выехать в район и купить в пчелоконторе — некогда, да и взамен там обязательно требуют воск. Тесть сходил в будку и принес завернутую в бумагу пачку вощины — листов около двадцати.

Лесники уехали от нас обласканные. Старики черес-

чур заметно угождают им, как бы тут сверх меры не перестараться.

— Надо,— сказал Матвеич.— Они тут хозяева — не мы.

— Да что они вам сделают?!

— Ага... Что сделають! — Матвеич с осуждением, вприщур взглянул на меня.— Вот что. Состряпають бумагу и скажуть: а ну-ка снимайтесь, братцы, мы лес будем опылять. Короеды завелись. Тыр-пыр — и нам деваться некуда. Закон! С ними, Петр Алексеевич, никак нельзя собачиться.— Он вытер вспотевшую плешь.— Пчеловодство — наука тонкая. Умей и с пчелами ладить и с людьми не лайся.

Перед тем как лечь спать, я погулял с Жулькой по саду, понаблюдал за темно-фиолетовым небом, на нем одна за другою сухо вспыхивали звезды. Кажется, именно во время этой прогулки я подумал, что в моем положении не стоит поддаваться обстоятельствам, размагничивать себя, нужно обязательно писать этюды. Хотя бы три-четыре часа в день, когда старики отдыхают, посвящать занятиям. Да! Отныне я так и буду поступать, отброшу хандру, твердо организую волю. Но только ли хандра, боль моей души, убивает во мне способность работать? Эта мысль явилась внезапно и поставила меня в тупик. Я подумал: мне начинает мешать и что-то другое. Например, меня тревожит положение дел на нашей пасеке; да, да, именно тревожит, захватывает меня всего, будоражит и взвинчивает. Это — как спортивная игра, как страсть заядлого болельщика: увлекшись однажды, потом уже трудно освободиться от сильного увлечения, почти невозможно сосредоточиться на чем-нибудь другом. Может быть, я ошибаюсь? Ладно, посмотрим... Однако мне ясно: этюды сейчас не удадутся, я ведь думаю о них не так, как надо думать, я весь поглощен мыслями о пасеке. Я даже уловил себя на том, что смотрю на небо не столько из чувства восхищения перед его загадочной красотой и необъятностью, сколько из нетерпения отгадать: будет ли дождь? Месяц светит чисто, вокруг него едва приметная мглистая желтизна... Я ищу взглядом тучи, они нам сейчас нужнее, чем хлеб и воздух. Вон они! Собираются и плывут над горизонтом, гонимые течением ветра, лохматые и длинные, вытянутые в свинцово-мглистые полосы. Я хочу, чтобы они разрослись и заполнили все небо, чтобы из них повеяло сырым грозовым запахом и вслед за ударами

грома пусть обрушится на землю благодатный, щедрый дождь. Не ливень — грозный, бушующий, неистовый (он пробьет цветы и вымоет нектар), а дождь, неторопливый, обстоятельный, но достаточно спорый, чтобы промочить землю и сбить жару.

О, это ни с чем не сравнимое ожидание дождя! Как оно обостряет нервы и выматывает душу!

По возвращении с прогулки я услышал вкрадчивый голос Матвеича:

— Видал его, какой! Филипп уже качаеть. Утаил от нас.

— Мы тоже покачаем. Что за невидаль!

— Жара...

— Терпи, казак,— атаманом будешь.

Старики все еще сидели за столом и обсуждали потрясшую их новость... В полночь мы легли спать. Тесть ворочался на нарах, сбрасывал и опять натягивал на себя одеяло, укорял Матвеича:

— Чудило! Завидки его берут. А чего завидовать Филиппу Федоровичу? Чего махать после драки кулаками? Это из-за него мы опоздали к яблоням. Приперлись, когда цвет опал. Он будку красил, крышу хотел доделать. Нашел, мудрец, уважительную причину. Спасибо Гордеичу. Силком вытащил его и заставил грузиться. А то б до се сидел, морочил нам голову. Каменюка! Мохом оброс.

Я проснулся от неясного, но все же настойчивого шума и сначала не понял, что это дождь. Догадавшись, разбудил тестя. Услышав, как он барабанит, струится по цинковой крыше, как звенит и клокочет в подставленных заранее флягах и сплошным, ровным всплеском нависает над деревьями, за глухою стеною будки, тесть по-молодому спрыгнул с нар, на босу ногу обул сапоги и, накинув на голову брезентовый плащ, выскочил наружу. Я тоже наскоро оделся, толкнул дверь — и очутился под мелким, сырым дымом клубившимся дождем. Мы стояли, будто онемев, посередине нашей пасеки; было темно, небо слилось с землею и лесом, а он все шел и шел, проникал за воротник, до озноба леденя кожу и наполняя сердце неизъяснимым чувством облегчения. Тесть, опомнившись, зашуршал плащом, кинулся открывать пустые фляги.

— Обложной! — суетился он во мгле.— До утра не кончится.

И точно: дождь шелестел и утром — правда, не такой въедливый, как ночью, но по-прежнему хлесткий. К девя-

ти часам он поредел, угомонился. Небо прояснилось, тучи разволоклись, и выглянуло солнце, по-весеннему умытое и не жаркое; капли на листьях засверкали, лес встрепенулся — и запели птицы. Старики приободрились, важно похаживали между ульями, заглядывали в летки и поправляли подлетные доски.

В этот день пчела работала дотемна, особенно перед закатом валила плотно, и результат оказался выше ожиданий: на нашем контрольном — килограмм.

— Где льет, там и мед,— заключил по этому поводу тесть.

Ему, видно, нравилась эта поговорка, и он повторил ее при Матвеиче. Тот сказал:

— Всегда так.— И озорно, хитро блестел глазами сквозь очки.

Следующие дни были в меру солнечные, прохладные. Иногда в полдень припекало и парило, иногда небо хмурилось, брызгало коротким просяным дождем. Сладко, до тошноты пахло отцветающей акацией — и белой и желтой; пчелы в основном садились на нее, как бы торопясь взять напоследок все, что можно, а когда завянут и усохнут ее цветы — «кашка», немедля переключиться на гледичию. В воздухе держался густой, терпкий аромат.

Каждый день взяток весомый, и теперь нас волнует одно: долго ли это будет продолжаться?

Вот что удивительно: я открыл истину, суть которой заключается в том, что спокойной жизни у пасечников не было, нет и, наверное, не будет никогда. Мои представления о пасеке как о земном рае, некой идиллии — жалкая выдумка, ни больше и ни меньше. Так может полагать лишь сторонний наблюдатель, человек с поверхностным взглядом, но тот, кто ближе столкнется с жизнью пасечников, которые трудятся на лоне природы, добывая мед, и сумеет разглядеть нечто иное, кроме цветов,— тот живо осознает прежнее заблуждение. Жара — пасечник волнуется, не находит себе покоя, не спит ночами, моля судьбу сменить ее гнев на милость. Холод или непрерывная слякоть, когда пчела вязнет на сотах и только пожирает накопленный мед,— пасечник опять вне себя. Слабонервные рвут на голове волосы, но, к счастью, таких мало. А если одолеют пчел болезни — к примеру, европейский гнилец либо токсикоз, вызванный собиранием пади в безвзяточный период? Или поточит соты, оплетет их паутиною коварная восковая моль? Или, что еще хуже, станет

атаковывать семьи филант — неистовый пчелиный волк с желтым брюхом и непомерно большой головой, напоминающий осу?! Ко всему внутренне готов пасечник, пожелавший большого меда.

Он волнуется и в тот час, когда все ему благоприятствует. Погода замечательная, взяток отменный, медогонка исправно крутится — и мед течет, но истинный пасечник, верно, переживает, верно, мучится. Всевозможные думы роятся у него в голове — и все о пчелах, о меде, о предстоящем в"ятке. Вот по себе искренне сужу и по тестю. Был плохой взяток — переживали, стал хороший — опять мы неспокойны: подольше бы держался, что да как будет впереди?

Нет и мне покоя — до самого окончания сезона. Взять бы, взять бы меду! Тогда бы все мои бытовые проблемы разрешились в один миг.

Надя... Надя не поймет моих волнений. Я сам впутался в пчелиное дело, сам и выпутаюсь. Сам? Неужели Надя тут ни при чем? Ах, не время разбираться, да и что в этом толку?

Мед, мед, мед... Красивое, сладкое, обволакивающее слово. Так и липнет, липнет на языке. И на уме вертится непрерывно. Мед носят пчелы. У нас, между прочим, пчелы серой горной кавказской породы. Есть две семьи закарпатские, тесть без конца расхваливает их, но я полагаю, они погоды не сотворят.

Я возлагаю надежды на серую горную кавказскую пчелу. Не случайно она распространена повсюду и пользуется мировой известностью. Не одних она возвысила, наделила достоинством и гордой осанкой. Я думаю, эта пчела поможет и мне. Что ее отличает, так это мирный нрав и длинный хоботок, которым она высасывает мельчайшие капельки нектара. Она не склонна к роению, тихо сменяет маток и обычно накапливает большие запасы меда в середине сотов.

Не знаю, как тесть, но я горячо верю в серую пчелу. Вчера она доставила нам приятное удовольствие: снова килограмм. Тесть поговаривает о качке. Да, через неделю можно качать.

19 мая

Вернулся на «козле» третий компаньон — Гордеич. Он живо выскочил из машины, похожей на броневик, размял спину и, обратившись к нам лицом, крикнул:

— Здорово, бирюки! Шо новенького?

Он маленький, поджарый и черный как жук: лицо, с острым подбородком и морщинами вокруг рта, темно, брови и волосы резко-черны. Издали на вид ему около пятидесяти, но подойдешь ближе, всмотришься в черты румынски-жесткого лица и поймешь: за шестьдесят уже Гордеичу. На нем черная, с узкими полями шляпа и коричневый, не первой носки костюм. Его он тотчас снял и переоделся в шаровары и льняную «немаркую» рубаху.

В нашу скучную компанию он внес некоторое оживление: бойко сновал между ульями, говорил громко, отрывисто, поблескивая передним золотым зубом. Голос у него хриплый, навсегда простуженный. Со мною он быстро свел знакомство, сжал мне до боли ладонь своею крепкой рукой и уже через несколько минут называл меня по имени.

Он быстро разузнал обстановку и объявил, что сегодня же надо отправиться по совхозам в разведку и подыскать где-нибудь новое место с эспарцетом или донником. Акация вот-вот отойдет, гледичия тоже. Матвеич заупрямился, начал отговаривать его: мол, к чему такая спешка? Но Гордеича поддержал тесть, и Матвеич сдался, только пробормотал с явным неудовольствием:

— У меня бензин кончился.

Гордеич, ни слова не говоря, принес ему канистру бензина. Пообедав, все трое нарядились в костюмы, нацепили на лацкан военные медали: поездка не шуточная, разговор предстоит серьезный — и надо показаться в форме, при всех регалиях. Меня это несколько позабавило...

— Карауль с Жулькой наше барахло,— сказал мне Гордеич, усаживаясь на заднее сиденье «Победы». Непонятно, когда он успел выбриться: выглядел как огурчик.— Не скучай без батьки.— И помахал мне рукою из-под шляпы — так прощаются поднаторевшие в разъездах дипломаты.

Тесть уселся впереди. Это не простая случайность: Гордеич добровольно уступил ему первенство. Более тридцати лет тесть проработал председателем колхоза, а выйдя на пенсию, года три заведовал областной тарной базой, где Гордеич обретался завгаром. Старики ценили умение моего тестя быстро находить общий язык с районным начальством, с руководителями местных хозяйств: некоторые из них по старой памяти знают его в лицо, так что он мог договориться с ними буквально обо всем, что не выхо-

дило за пределы закона. Я подозреваю, старики не случайно упросили его быть их компаньоном. Он нужен им, как, впрочем, и они ему.

Когда тесть усаживается в машину на переднее сиденье, он странно преображается: хмурит белесые брови, надувает щеки и, откидываясь на спинку, делает строгий, неприступно-начальственный вид. Но голубые глаза его, по-детски чистые, смотрят доверчиво, с редким добродушием, с каким-то постоянным изумлением и смягчают суровое выражение лица. Вот и сейчас, одетый в габардиновый, стального цвета пиджак, он принял казенный вид, надулся, но глаза, ясно светясь, все равно выдают в нем доброго человека. Машина тронулась и покатилась вдоль просеки, свернула и, набирая скорость, побежала мимо сада. Тесть не оглянулся, не посмотрел на нас с Жулькой, а Гордеич снова дипломатически помахал рукой.

Мыкались они по степи дотемна, спидометр намотал около двухсот километров. Вернулись назад усталые, пыльные, но — довольные, возбужденные. Особенно Гордеич. Он кричал в темноте своим хриповатым голосом:

— Во, Петро, ёк-макарёк! Во как надо обделывать делишки! Напали на дармовщинку. Доннику — пропасть! Белого, семенного... Косить рано не будут. А подсолнуха — море! В один край поглядишь — конца не видать, в другой — та же картина. И ранний, и поздний. Тот отцветает, этот распустится. Лахва! Станем посерёд поля. У канала. Вода близко... Только ты, Петя! — Он потряс возле моего лица указательным пальцем.— Об этом — молчок. Рот на замок.

— Надо Филиппа объегорить,— сказал Матвеич.— А то он дюже нос задираеть.— И тихонько засмеялся.

Тесть, отойдя от них, шепнул мне на ухо:

— Радуются! Была бы им лахва без меня. Я насилу уломал директора. Не берет нас — и все! У них там своя, совхозная пасека. Да мы им не помешаем. Много там всякой всячины!

— Эй, Федорович! — горячился Гордеич.— Хватит с зятьком шушукаться. Давай приписных выставим!

Так они окрестили личные ульи директора совхоза, которые привезли с собою на развитие. Втроем вытащили из машины приписных и поставили на краю пасеки Матвеича. Гордеич скинул пиджак и открыл летки. Пчелы высыпали на подлетные доски, замельтешили в темноте. Мы отодвинулись к кустам, а Гордеич задрал рубаху и

майку, спокойно выждал и стоически, без единого вскрика принял в живот и поясницу несколько злых ужаливаний, затем присоединился к нам.

— Радикулит! — объяснил он мне.— В бараний рог меня крутит. Пчелиным ядом спасаюсь.

— А я пью маточное молочко,— сказал Матвеич.— Белки... Нервы успокаивають. Попробуй молочка.

Гордеич брезгливо поморщился:

— Гидко!

— Зря. Пчела — насекомое чистое.

— Все одно гидую, Матвеич. Хоть ты меня режь.

Где-то в отдалении через равные промежутки времени гадала припозднившаяся кукушка: вскрикнет и затихнет, потом словно очнется, подобреет и опять накинет кому-то год жизни печальным и протяжным голосом. Наперебой щелкали, заливались соловьи...

Сели мы ужинать под их концерт. Гордеич извлек из «неприкосновенных» запасов бутылку вина, некогда приготовленного им из винограда «изабелла», и банку консервированной домашней крольчатины. Матвеич подал редиску в сметане, тесть разогрел суп и сжарил яичницу. Ужин вышел обильный. Старики опять заговорили о новом месте, и каждый брал с меня слово не разглашать их тайны.

— Пасечники — народ ушлый. Смотри!

Им хотелось утереть нос Филиппу Федоровичу, королю красногорских пчеловодов-кочевников.

Тут Гордеич ненароком вспомнил старого пасечника Гунька: мол, этот самый Гунько не любитель длинных путешествий, а меду берет не меньше Филиппа Федоровича; с апреля переселяется Гунько в хутор Беляев и живет там безвылазно, никуда не отлучаясь, вместе с женою и дочерью, в окружении собственных поросят, индеек, кур и дойных коз, так что в магазин они наведываются редко и не тратятся на питание. У дряхлого старика трещит от денег сберкнижка, оттого он и недоверчив к людям, подозрителен и скуп. Но главное украшение его скудной жизни — дочь. Гунько любит ее без памяти.

— Я видал ее. Писаная красавица! — подтвердил Матвеич.— Гуляеть по буграм. Ей бы женишка справного. Сохнеть девка.

Почувствовав мою заинтересованность, Гордеич блеснул в усмешке золотым зубом:

— Понял? Мотай, Петро, на ус.

— Ему нельзя. Он женатый.

— Ох, Федорович! Законник! Ты в его лета небось и женатый девчат щекотал. Забыл, как это делается? Раздва — и в дамках.— Гордеич поднял руку и пошевелил пальцами.— Здравия желаю, барышня, я твой куманек. Мужа нету?

Старики посмеялись, и снова разговор вернулся к пасечнику Гунько.

— Этого Гунька чуть не прикончили,— начал Матвеич.— Пасек у Червонной горы набилось штук десять, по балочкам. Вот замечають люди: какие-то чужие пчелы повадились красть у них мед из уликов. Тык-мык, а взять в голову не возьмуть, чьи пчелки да откуда летають... Стали потихоньку следить. А они тянуть медок и тянуть. И драчливые, до смерти забивают охрану! Гадали, гадали люди: что, мол, за наваждение? Сроду такого не бывало — и догадались. Ктой-то поить воровок сиропом, в сироп добавляеть водки — для возбуждения. Они напьются, охмелеють, и все им нипочем, трын-трава! Начисто сшибають сторожей.

— Водки?! — было усомнился Гордеич.

Но Матвеич и ухом не повел.

— Эге, смекаеть один казачок, понятно. Надо проучить нахала. У него давно подозрение на Гунька, да непойманный не вор. Вот казачок и надумал удостовериться. Велел напарникам окропить воровок известкой, а сам тем часом — шмыг через бугор и заявляется с молодцами в балку. К Гуньку. «Здорово, Феофилактыч! Доброй тебе погодки!» — «Здорово, коли не шутишь»,— это ему Гунько. Сам здоровкается, а глаза у него блудять, так и снують под фуражкой. Сразу, разбойник, учуял горелое. Те не дураки — нырь к уликам и ну шастать, просматривать, какие пчелы вертаются со взятком. И что ж? — оглядел нас всех поочередно Матвеич.— Верталась крапленые! Поймали они шалуна за мотню и всыпали ему горяченьких. Еле отдыхался Феофилактыч: ногами били. С той поры он шелковым стал, уже не подливал водки.

— Водки не подливал, а свое не бросил,— вклеился Гордеич.— Напарник на часок отлучится, он и тут норовит напакостить. В чужом гнезде рамки с печатным расплодом от пчелишек отряхнет, возьмет себе, а соседу — сушь. Опять туши свет и играй ему темную. А то раз шо удумал Гунько, слыхали? До нитки обобрал компаньонов! Лучших маток белым днем выкрал.

— Еще он ночью, как все уснут, сдвигал помаленьку улья,— не утерпел тесть и тоже начал рассказывать о легендарном Гуньке.— Сдвигает и сдвигает. На пять, на десять сантиметров. А тем, лопухам, и невдомек.

— Гул над своей пасекой уплотнял,— догадался Матвеич.

— Ну да. Близко стоят улья — гул кучнее. Он-то и привлекает молодую пчелу. Весь молоднячок осел на Гуньковых рамках. Осел, а напарникам хоть бы что. Ни гугу. Гунько ходит себе, посмехается. Под конец ротозеи кинулись, глядь: ни меду, ни пчел! Пустые рамки. Но попробуй пожалься, докажи. Предъяви ему иск.

— Куда там, докажешь! — вздохнул Матвеич.— Хитрый... Узнали люди про его проделки — и никто с ним не якшается. Очутился Гунько один. Но и тут Феофилактыч не растерялся. Жинку себе в подручные взял. Еще лучше наладил дело. Журнал выписал, книжками обзавелся. По-научному медок загребаеть.

— Жох! — Гордеич зевнул и посмотрел на небо.— Ну, братцы-кролики, наговорились. Месяц вон куда вылез. На самый верх.

Стояла теплая ночь. В лесу было тихо: кукушка давно смолкла, пригорюнилась, и соловьи понемногу остыли, притаились в кустах. Ясной просекой я прошелся до самой степи, взволнованный таинством ночи, чистым сиянием звезд на беспредельно открывшемся небосклоне и памятью о моих блужданиях в темном лесу, где внезапно остановил меня юный голос и я увидел девушку... дочь Гунька. Странно, но эта мимолетная встреча с нею осталась и продолжала пребывать в душе, не тускнея звучал во мне голос, исполненный трогательного порыва. Я помнил ее взгляд издалека и даже то, как она, обидевшись на отца, по-своему выразила ему протест — не села, а именно впрыгнула в машину. Нет, долго Гунько не удержит ее в послушницах, она еще заявит о себе. Увидеть бы ее опять. Неужели и вправду она бродит одна по буграм? Какие цветы ей по нраву — белые ромашки, колокольчики... дикий красный мак?

20 мая

Все кончено. Вчера опалила нас сильнейшая жара. Ветер клонит ветки акации, срывает с нее жухлые и сухие, как порох, цветы. Мы в отчаянии.

Утром вчетвером ходили на край леса. Степь дымится

от черной пыли; нежная шелковистая суданка прижимается к земле, волнами стелется по ней, не ведая своей участи. Вырываясь из леса, ветер протяжно свистит, улюлюкает, стонет зверем. Дыхание перехватывает жаркий воздух. Пчелы, прилетевшие на гледичию, всеми силами впиваются в побуревшие сережки, инстинктивно пытаясь что-то взять и одновременно борясь с напором ветра.

Да, это конец. Лес, недавно манивший их всеми красками и запахами, в несколько часов померк. Спеклись, свернулись желтенькие огоньки только что зацветшей лохии.

— Вот и покачали,— обронил Матвеич и первым, не выдержав печального зрелища, повернул назад. Гордеич, одною рукой придерживая черную шляпу, как-то сжался, ссутулился и короткими, неверными шажками засеменил за Матвеичем.

— Паниковать рано,— сказал тесть.— Не всегда коту масленица.

— Да замолчи, Федорович! — обернувшись, зло выкрикнул Гордеич.— Типун тебе на язык!

— Я-то при чем. Я, что ли, дую. Южак дует!

Его деланное спокойствие привело в совершенное раздражение Гордеича. Он искривился, сморщился и прохрипел:

— Бога ради, Федорович, уймись. Тошно. Не трави душу, мать твою так!

— Э, казак, да ты жидкий на расправу.

— Будешь жидкий! Резину трешь... бензин палишь — и все даром. Коту под хвост! У тебя не болит. Не твое!

— Я тоже на бензин даю.

— Машины, голова садовая, гробим! Тебе-то что. С голого взятки гладки.

— Машины на колдобинах плачуть,— подхватил Матвеич, проявляя шоферскую солидарность с Гордеичем.— У меня вон рессоры сели. Хрястнуть где-нибудь.

— У меня заднее колесо шипит! Ох, Федорович! Умеешь ты подкалывать.

Тесть проглотил пилюлю молча. В будке он сказал в свое оправдание:

— Гордеич погорячился и остынет. Он не злопамятный. Я на него не обижаюсь.

— Вы что, правда им даете на бензин?

— Даю. И за воду, за привоз набавляю. По-другому, Петр Алексеевич, не выходит. С людьми надо уживаться.

Это было для меня открытием.

— Вы же с Гордеичем вместе работали, давно знакомы,— начал было я, но тесть перебил меня спокойным возражением:

— Что с того, что знакомы... Да и давно то было, прежнее выветрилось. Теперь народ по-другому смотрит. В самый корень. За все, Петр Алексеевич, надо платить. У нас так.

— Да как же это? Вы же друзья!

— Друзья друзьями, а каждый в свой карман мелочишку ссыпает. Никто не ошибется — в чужой. Деньги, Петр Алексеевич, любого человека, самого честного, быстро развращают. Ты смотри на все, как я,— спокойно. Их не переспоришь.

В полдень они съездили втроем в Лесную Дачу. Тесть забежал на почту и получил письмо от Нади.

Надя с присущей ей иронией писала:

«Милый, как там тебе на пасеке? Представляю благодатный, тихий уголок, в котором ты пребываешь, забыв обо всем на свете. Неужели он сохранился в век цивилизации? Еще действительно можно походить по траве, никем не тронутой, и полежать на цветах с закрытыми глазами, ни о чем не думая? Но, пожалуйста, сделай одолжение — хотя бы изредка напоминай о себе и шли приветы.

На днях я случайно узнала от нашего завкафедрой, известного тебе вечного холостяка Никодима Захаровича, что у него в Художественном фонде есть влиятельные друзья, от них многое зависит и в твоей судьбе. У меня родилась, на мой взгляд, неплохая идейка: неплохо бы подладиться к Никодиму Захаровичу, вызвать у него дружеское расположение и возбудить в нем участие в наших делах. Я хочу показать ему те отвергнутые твои картины. Ведь скоро зональная выставка, не забывай! Ты обязательно должен пробиться на нее, чего бы это нам ни стоило. И кажется, я на верном пути. Лови момент, говорили еще древние греки. Милый, надейся на меня, я постараюсь его уловить. А что? Все так делают. Жаль, я слишком поздно открыла эту истину. В том, что я так долго жила в мире иллюзий, виноват ты сам: ты их поддерживал во мне своей одержимостью. Но, слава богу, они рассеялись, я гляжу на мир трезво...

Достаточно улыбнуться с таинственным значением неопрятному, лысому Никодиму Захаровичу — и он сделает все, что нам нужно, и даже больше. Одна моя улыбка, вот

увидишь, окажется сильнее твоего яростного фанатизма. Ты не веришь? Я докажу тебе это. Только чур: не вздумай меня ревновать к Никодиму Захаровичу. Знаешь ли, жена Цезаря выше подозрений. Помни об этом, милый.

Кстати, если вы накачали майского меда, оставьте на мою долю баллон. Я уже кое-кому обещала. Но ты рассеян и можешь забыть о моей просьбе. Пожалуйста, напомни о ней дорогому папе, он практичнее тебя. Целую вас обоих. Надя».

Крышу будки хлестали и царапали ветки алычи. Иногда при сильном порыве ветра крыша вздрагивала, как живая, и скрипела. Какой тут, извините, мед!

Я достал бумаги и тут же написал ответное письмо, убеждая Надю не связываться с Никодимом Захаровичем. Ни за что и никогда я не воспользуюсь его услугами.

21 мая

С непостижимой быстротой меняется погода. После ветра наступила удивительно безмятежная ночь; над лесом невидимо сновала кукушка, сновала туда и сюда и разносила свое протяжное, гулкое, как эхо, «ку-ку!». Высоко стоял месяц, круглый и молодой, с едва приметной щербинкой, а всего неделю назад мерцал на западе тонкий серпик... Свистели соловьи. Один начинал протяжно, три-четыре раза подряд, другой подхватывал с гибкими переливами, третий щелкал, остальные к нему подлаживались — и опять знакомый плавный зачин, за ним — россыпь колокольцев, щелканье, задорный пересвист. Где же были эти певцы, когда ярился ветер, срывая листья и закручивая в бурые, черные жгуты целые тучи пыли? Думалось, после бури ничто веселое, радостное не оживет, оно навсегда умолкло, но вот лишь улеглось ненастье — и со всех сторон доносится знакомое пенье, в нем — ни тени намека на пролетевшую бурю. Словно ничего не случилось. Не в этом ли великая тайна и отрада жизни — забывать ненастья? Да, да. Нам нужно многому учиться у природы, нет учителя выше и благороднее ее. Взволнованный этой мыслью, я бродил до полуночи по освещенной, с мягкими тенями от деревьев просеке. Никодим Захарович... Да пошел он к черту, Никодим Захарович, со всеми его связями и влиятельными друзьями! Вот лучшая в мире связь: чувствовать под ногами мягкую траву, слушать вблизи завораживающее пенье, быть с головы до ног облитым вечным сиянием месяца.

Наутро припустился, зашумел в листьях мелкий дождь; соловьи пели по-прежнему, как ни в чем не бывало. Пели по дождю!

Он лил весь день, монотонно шелестел всю ночь, льет и сейчас — неспешно, ровно. «Эх, до жары бы пустился! — без конца вздыхает тесть.— Опоздал...» Порою дождь затихает, над лесом ниже опускается туман, и откуда-то сверху, прямо с серого неба, стремительно падают на пасеку стаи юрких золотистых щурок. Они хватают у самых летков зазевавшихся пчел, проглатывают их и, взмывая во мглу, через несколько секунд снова чиркают над ульями. В течение пасмурного дня золотистая щурка уничтожает сотню пчел. Щурок вывелись несметные стаи в глиняных кручах. Они заходят кругами на добычу. Гордеич то и дело выскакивает в зеленых трусах и, пугая их, держа высоко над головою сковородку, лихо бьет в нее гаечным ключом. Тесть дико улюлюкает, швыряет в прожорливых птиц палками. Матвеич в минуты нападения степенно выходит на середину своей пасеки и включает на полную громкость японский транзистор. Я стремглав бегаю из края в край, гоняюсь за щурками. Обычно после дружного отпора птицы исчезают, и мы идем в будку Гордеича — греться. У него тепло от зажженной газовой плиты.

Старики смирились с участью. Лес для них потерял всякое значение, теперь они надеются на белый донник. Он их выручит и поправит дела, после и подсолнух зацветет. Уж на нем они отыграются, отведут душу.

Сегодня Гордеич на правах хозяина будки занял наше внимание рассказами о себе, увлекся былым.

— Я как шофером стал? — начал он, лежа в одних трусах на панцирной кровати.— Хо! Это, братцы-кролики, длинная история. Я в станице рос, в Ново-Михайловской. Жили мы бедненько, в хате — шаром покати. Одна лавка, да чугуны в печке, да чаплейка с рогачом в углу — вот и все имущество, живи не тужи. Мать, бывало, рассерчает — хвать за рогач и как вытянет промеж спины — в глазах мутится. Не житье — сливки... Штаны на мне, стыдно сказать, латка на латке да сверху лоскут. Задница, как месяц, сверкает. А я уже парубок, на девок заглядал. Ну, и решил я хоть кой-какую одежонку справить. У нас тутовые деревья во дворе росли. Высоченные, глянешь вверх — шапка ломится. Надумал я разводить тутовых шелкопрядов. Были у нас охотники, коконы выхаживали и сдавали оптом государству, взамен получали отрезы на

костюмы, ботинки, всякие там сласти-конфеты... Расплодил я этих червей — ни дна им, ни покрышки! — тьму, всю горницу ими занял. Куда ни повернись — на подоконниках, на полу, на столе — кругом черви. Аж тошнит. Жрут они листья тутовника со страшной силой, только сыпанешь из чувала — нету, одни жилки. Слопали, сволочи! Давай им по новой. Ну, думаю, амба. Так они и меня за милую душу съедят. Как я прокормлю такую ораву? И площадь им, паразитам, расширяй. Они ж на глазах размножаются, прут, как опара. И — капризные, шо вы! Чуть прозевал, передержал их — бабочка из кокона выклюнулась и сгубила нитку. Попробуй-ка за всеми уследи, когда они кишат клубком и жратвы беспременно требуют. Мотался я, мотался с ними и не вынес. Пропадите вы пропадом, черви! Подавил их сапогами, сгреб на рядно и выбросил в огород. И так, верите, мне полегчало, хоть приставляй к плечам крылушки и лети в рай. Обрадовался, ёкмакарёк, как будто десятку на дороге поднял. Вертаюсь во двор, смотрю: на большом дереве баба сидит. Умостилась на самой макушке, в листьях, шоб ее не заметили, и сидит, ногами болтает. «Чего ты там делаешь, тетка?» — «А чего ж, хлопчик,— пищит она сверху тонюсеньким голосом,— чего ж... тутовник ем. Сам бачишь». Зло меня взяло на тетку, подбежал к дереву и ору: «Слазь, старая, а то стряхну!» — «У, какой вреднючий... нехристь! Дай с божьего дерева наесться. Не обедняешь»,— пищит, а сама рвет ягоды и за обе щеки уминает. Заелась, губы синие... с подбородка сок капает. «Э,— думаю.— Это нищебродка. Странница неприкаянная. Нехай наедается».— Гордеич выдержал небольшую паузу, передохнул и счел нужным пояснить сказанное: — Федорович с Матвеичем знают: раньше много по земле-матушке бродило всяких убогих. Разруха, голод... Ковыляет, ковыляет какой-нибудь дедок-доходяга, свернется калачиком в кювете вроде прикорнуть, да и навек уснет. Каюк! Душа отлетела. Ну, наелась тетка, слезла. Лицо у нее пухлое, ноги, что колодки, толстые, водой налились. Сжалился я над ней, чурек и кружку молока вынес. Молоко она выпила, а чурек весь не съела, половинку за пазуху сховала. И говорит мне: «Спасибочка. Ты, мол, хлопец, шустрый, умненький. Быть тебе машинистом. Запомни!» И ушла.

— Правду нагадала тетка,— с удивлением произнес Матвеич.

Гордеич почесал хилую волосатую грудь, посучил в

воздухе голыми ногами, как бы разгоняя застоявшуюся кровь, и продолжал с хрипом:

— Как в воду убогая глядела. С того дня засела мне в голову думка: буду машинистом. Через год или два после того случая появляется в нашей станице самый настоящий механик. Бог мой! По всем статьям машинист! Первый раз я увидал его на току. Куртка на нем кожаная, сапоги хромовые, и рукавицы в кармане. Молотилка у него «маккормик», цинком обшитая — аж глаза слезятся... блестит! Рядом трактор «фордзон». Новенький, с одним швом ремень гонит, колесо молотилки крутит. Грохот, пыль — не зевай, поворачивайся, кидай в барабан снопы! Он единоличникам хлеб молотил. Люди бегают, крутятся, а он сидит, весь в кожаном, в темных очках, и шоколад — ейбогу, не брешу! — шоколад по скибочке ломает и в рот! Как царь на троне... Перед ним на фанере всякая всячина наставлена, закуска, по левую руку — папиросы «Казбек», по правую — начатая бутылка водки. А частники несут и несут ему, кладут гостинцы на фанеру и юлят: каждому, понятно, хочется скорее обмолотить снопы. А он только команды подает своему помощнику.

Поглядел я на машиниста — завидки меня взяли. Вот это, думаю, работенка! Себе такую бы курточку отхватить! Стал я вертеться возле него, глаза машинисту мозолить: «Дядя, мол, дядя!» То ключ поднесу и ловко подам ему, назло помощнику, то ручку у «фордзона» крутану. Он только подумает об чем-нибудь, а я уж тут как тут, на цырлах стою. И довертелся... Приметил он меня, назначил вторым помощником. Хо! — Гордеич от удовольствия зажмурился и несколько секунд молчал, наслаждаясь счастливым воспоминанием.— Пошло, понеслось... Вскорости я сам выбился в машинисты, надел такую же куртку, сшил юфтевые сапоги. А потом, братцы-кролики, направили меня учиться на шофера! — торжественно, с сияющими глазами провозгласил Гордеич.— На «мерседес-бенце» ездил, итальянские «ляньчи» ремонтировал. У них, у проклятых «ляньчей», картера часто лопались, потому что крепление двигателя было плохое, на четырех точках. Так мы шо придумали? Взяли и переделали его по-нашему, по-русски: на три точки посадили. Отлично. Комарь носа не подсунет.

— Ишь ты! На три точки?

— Вот те крест, Матвеич! На три.

— Ты что, в бога веруешь? — подал голос тесть.

— Откуда ты взял? — Гордеич оперся на локоть и как-то сбоку, недоверчиво поглядел на него.

— Да крестишься...

— А-а! Это я балуюсь. Я, Федорович, и сам не пойму, во что верю.

— Без веры худо жить. Нет интереса.

Гордеич покачал головой и усмехнулся, сел на кровати, спустил ноги и сунул их в тапочки. Сжал в пальцах острый небритый подбородок, с раздражением, с вызовом сказал:

— Твоя вера... много она тебе принесла? Так же, как и мы, в будке кукуешь, за щурами носишься. Лучше помолчи, Федорович. Слыхали! Ты отговорился.

— Все одно, Гордеич, плохо без веры.

— А я верую! — внезапно возразил Гордеич.— Верил и до конца дней веры не потеряю.

Тесть сидел напротив него, на пустом улье. Теперь он недоверчиво хмуро глядел из-под белесых бровей на Гордеича, твердо приготовившегося к отражению атаки.

— Во что?

— В технику! — воскликнул Гордеич и отчего-то радостно засмеялся; на жестковатом лице его мелькнуло изумление, как бы его самого в эту секунду осенило и он вдруг впервые догадался о чем-то важном и необходимом, что еще не отлилось в форму, но уже было готово вот-вот ясно отлиться.— Надежное, Федорович, дело... законное! Техника ни в жизнь не обманет и не предаст человека. На нее я сроду не обижался. Упаси и помилуй! Ни грамму. Она испортилась — вини себя. Значит, недоглядел, вовремя не смазал, не подвернул болта. За ней, как за любовницей, надо ухаживать, а беречь не хуже родной жинки. Правильно говорю, Матвеич?

— Правильно. Техника нуждается в особом догляде.

— Во, Федорович, вникай: в особом! Я ее всю жизнь, как дитёнка, нянчу, она меня и любит. В технику верю.

— А в мед?

— В мед? Это другой вопрос. Не из той басни, Федорович.

— Уел он вас,— из-под очков остро стрельнул на тестя Матвеич.— Уел! — Бесы плясали в его хитровато прищуренных глазах.

— Никто никого не уел,— отпирался тесть.— Разговор такой... ни о чем.

— Напрасно вы так думаете,— стоял на своем Матвеич.— Как раз о том. О самом.

— Да не перебивайте, черти полосатые! — взмолился Гордеич.— Шо за манера сбивать с панталыку человека. Дай-ка припомню, с чего я начинал.— Он потер лоб и вогнал пятерню в густой, ежиком торчавший чуб.— Ах, да! С убогой... Правду мне напророчила нищебродка, всю мою судьбу в одну точку нацелила. И на войне я старшина хозвзвода, и после — опять с машинами. Она, ёк-макарёк, эта тетка, налопалась тутовника и, может, наобум ляпнула, не подумавши, а я до се ее добром вспоминаю. Небось в земле уже, померла. Давно было! А встрел бы ее живую — расцеловал, на самое видное место усадил бы бабусю. Шо вы! Такое на весь век нагадать. От чего только наша жизнь не зависит! От крохотульки, малой малости. Сдуй ее как пушинку — и ничего нету. Но — стоп, не дюже дуй. Пушинка горами двигает.

— Убогая тут сбоку припека,— рассудительно и с уважением к рассказчику молвил Матвеич.— Время настало такое: без техники ни шагу. Нонче все это понимають. Федорович тоже любительские права схлопотал. «Жигули» небось купите, Федорович?

— Я старый для «Жигулей». Мне б ишачка с арбой. Надежный транспорт! Тише едешь — дальше будешь.

— Любите вы прибедняться. Зачем же вам права?

— Чтоб от других не отстать. Гонюсь за модой.

— Ну, так и говорите. Понятно.— Матвеич, сидевший вблизи газовой плитки, нагнулся и убавил огонь в горелках: в будке было душно.— Каждый о своем хлопочеть. Никто от себя не гребеть, одни курицы.

— Неправда,— сказал тесть.— Не каждый.

Матвеич только усмехнулся, пожал плечами.

— Опять вы за свое. Петухи! — недовольно прохрипел Гордеич.— Дайте договорить. К чему я веду? Догадались? Машины много раз выручали меня из беды, а человек... он, братцы-кролики, в грязь меня рылом пхал. А машины спасали.

— Как же это? — Тесть с Матвеичем не предвидели такого поворота в несколько сумбурном и непоследовательном рассказе Гордеича.

— А вот так! — повысил он хриплый голос, жестко двигая смоляными бровями.— Очень просто. Проще пареной репы. Первый раз женился я в тридцатом году на одной бабенке. Смирная. Не тронь ее — она тебя и подав-

но не тронет. Работящая. Коса на затылке укручена, платок до бровей.

— Это ж где ты ее подцепил? В станице? — полюбопытствовал Матвеич.

— К той поре я оттуда драпанул без оглядки. В зерносовхозе «Гигант». Там мы ковыли распахивали.

— В «Гиганте»?! — Кустистые брови Матвеича поползли вверх.— Я же там тожеть годков шесть утюжил. Юркина помнишь? Он первым директором был. Душа-человек. Знал его?

— Кто ж не знал Юркина! У нас все его уважали.

— Ты в каком отделении работал?

— В первом.

— А я в седьмом. Большой был совхоз. Народу понаехало со всего света.

— Я при Юркине на «ольпуле» пахал,— перебил его Гордеич.— Поганый, доложу тебе, тракторишко. Спереди у него короткая труба, дым на тебя валит. Кончишь работу — весь, как трубочист, в сапухе. Чернее негра... Попахал я на «ольпуле» с месяца два, показал себя на все сто и на «катарпиллар» пересел. На нем почище. Работаю. Справил костюмчик, шелковую рубаху, карманные часы на серебряной цепочке. С крышкой-открывалкой.

— Ага. Я тожеть себе такие купил.

— Как цепочку на брюки навесил — стали липнуть ко мне девки,— продолжал Гордеич, не обратив внимания на скромное прибавление Матвеича.— Выбрал я смирную и быстренько подженился на ней, щоб самому не рассобачиться. Думаю, на что мне заноза, я сам парень не робкий, кому хочешь горло перехвачу. Живу с ней неделю, другую. Хорошо. Никаких вывихов за жинкой не замечаю. После — глядь-поглядь и вижу: она ж староверка! И мать у нее тоже смурная женщина. Ничего себе, влип казачок как кур во щи. Ах вы, стервы! — неожиданно выругался Гордеич.— Облапошили меня правильно. И, главное, кормить стали абы чем: сухариками да вонючей похлебкой. Нос затыкай и бегом в уборную. Смирненькие! Мешки исподтишка рвут. Механизаторский паек сохрани им в целости, всю зарплату — выложь на Библию. Хо, ёк-макарёк!! Куда я затесался! С ними не разживешься — последних подштанников лишат. Сдерут на ходу и по миру пустят. Да вдобавок тихонько душу из тебя вытряхнут. Не на того, думаю, напали. Дождался я тепла и стал помаленьку подмазывать пятки солидолом, жду момента. Раз вертаюсь со

степи, теща протягивает мне банку с мутной водой и шепчет: «На, сынок, причастись... водицы святой испей. Нароблена богом».— «Кем?» — «Иисусом Христом. Запахи твоей адской машины отобьет». Тут я и вскипел. Во карга старая! Хрычовка! Присушить надумала зятька! — Гордеич вскочил и несколько раз в возбуждении прошелся между Матвеичем и тестем, которые слушали его с иронией, смешанной с неподдельным интересом, потом вернулся на свое место и сел, ладонями прихлопывая по острым коленям.— Отбить от новой жизни! Ну, я устроил им шороха, век будут помнить. Банку расколотил вдребезги и тещу легонько пнул, она кверху ноги и задрала. Жинка — в слезы, в крик: «Коля, ты убил матерь, опомнись!» Не убил. Вижу: катается по полу и норовит меня за штанину ухватить. Тварь болотная! Намешала отравы и подает. Это ж надо! Гниды! «Опомнись»! Да я вас разнесу тут на мелкие щепочки, махотки побью и все переверну вверх торманом. Нашлись мне... сектанты! — Гордеич так грубо, по-черному стал ругаться, что в будке на минуту наступило замешательство: Матвеич склонился над плиткой и уставился в огонь, а мой тесть, угнув голову, тоже принялся что-то рассматривать на полу, хотя там решительно ничего не было, ни одна букашка не сновала в щели.— Ушел я. Поселился в вагончике... Спасибо, вовремя раскусил их. Они б меня живьем съели, тихони.— Он отдышался, обвел нас несколько успокоенным взглядом, в котором, однако, все еще полыхали молнии, и со вздохом признался: — Конечно, по той смирной бабенке потом я скучал. Привык к ней. Ночью она была заводной. Ну, сами понимаете, ночное дело хитрое. В тихом болоте черти водятся. Одним словом, мучился. Пока не подвернулась новая краля. Я ж говорю, они на меня как мухи на мед! Не хвалюсь. Механизатор! Фигура важная. И часы в кармане. Все, бывало, девки пристают: «Дай, Коля, часики послухать, как они тикают». Даю — слухают. Ход у них ровный, секунда в секунду. Тик-так, тик-так — даю за так. Опять я в омут головой. Эта, братцы-кролики, еще похлеще той. Рангом повыше. Рот красит, щеки в два слоя штукатурит и волосы завивает. И курит! Тогда еще в диковину было, шоб женщина дым из ноздрей пускала. Курит. Надурняка смалит одну за другой. Пальцами папиросу зажмет, откинет руку на спинку кровати и лежит млеет, как пресвятая богородица. Очнулся я, пораскинул мозгами: ёк-макарёк, куда меня, грешного, опять затесало? Как я ее прокормлю? На

одно курево четверть зарплаты уплывает. Так. И — ни за холодную воду! Лежит себе в вагончике, мечтает о тридевятых царствах. А мать сном-духом не знает о моей второй жинке, шлет приветы смирной. Моей крале хоть бы шо. Плюнь в глаза — ей божья роса. Посылает матери ответы, заочно целует ее и всю мою родню. И что, хитрюга, вытворяет! Будто не она пишет, а сектантка. Это ж надо иметь такую натуру! На шо только женщина не идет — страшно подумать.

— Видать, любила,— высказал догадку тесть.— Клинья к матери подбивала, чтоб не развели вас.

— Хо, любила! Как собака палку,— поморщился Гордеич.— Она под мое барахло клинья подбивала! Обчистила меня до нитки. Костюм, сапоги, часы — все забрала и смылась. Деньжата я копил, с каждой получки тайком зашивал за подкладку — и те нащупала и с ватой выпорола. Утром просыпаюсь с похмелья, а на столе записка: «Тю-тю, Коля! Твоя любящая Зинуля».

— Ловко тебя объегорила! — восхитился Матвеич.

На лице Гордеича изобразилась горькая гримаса несправедливо обиженного человека:

— Ловко! Аферистка еще та... первой марки! Еле я опомнился. Запил. Бывало, наклюкаюсь до темноты в глазах и размышляю про себя: отчего, мол, я такой несчастливый? Или мне на роду написано век бедовать? Пил крепенько. Что заработаю, то и спущу в яму. Стыдили меня, уговаривали — все одно пью, как с гуся вода. Вызывает меня начальник нашего тракторного отряда: «Вот шо, Нестеренко, выйдешь завтра пьяным — «катарпиллар» отберем и прав лишим. Думай». И стал я думать. Как же я буду без «катарпиллара»? Да я умру без техники. Отними ее у меня — шо со мной станется? Хоть заживо ложись в гроб да испускай дух. Испугался я не на шутку, аж в холодный пот кинуло. И с того дня — пьянку как рукой сняло! Перестал в рюмки заглядать. За ум взялся... Вот вам и техника! — с гордостью и с долей поучения заключил Гордеич.— Она меня от запоя, от верной смерти спасла. Великая сила — техника!

Наступило молчание. Все думали о своем.

— М-да,— раздумчиво протянул Матвеич.— Не сладко мы жили. А сейчас молодежь над стариками издевается: что вы, мол, видали? Эге, им бы, волосатым, то повидать... пороху понюхать. Куда нам до них! Умники. Повыучились на нашем горбу. Деньгу огребають лопатой. А нам некогда

было копейку приголубить.— При этом он мельком и, мне показалось, с вызовом взглянул на меня.

— Забыл, куда она шла? — с раздражением накинулся на него тесть.— Память короткая... В общий котел! На восстановление хозяйства! Была б у тебя машина, если б мы в кратчайший срок не пустили заводы. Наша трудовая копейка целое государство держала! Тебя на ноги поставила.

— Федорович! Опять вы с лекциями. Я ж не о том...

— Да чую, куда гнешь.

— Я ж говорю: поздновато нам копейку заводить. За молодыми не поспеть. В два счета обгонють.

— Тебя, Матвеич, обгонишь! Еще, как молодой, скачешь.

— Отскакался уже. Задыхаюсь.

— Будет медок, копейка от нас не убежит,— весело сказал Гордеич.— Деды! Не вешайте носа! Поганая привычка — нудить без толку. Ой, щуры! — взглянув в окошко, тревожно вскричал Гордеич и опрометью бросился вон из будки. Мы за ним.

Золотистые щурки пикировали на ульи и взмывали в серое небо. Матвеич впритруску побежал включать транзистор; Гордеич как угорелый носился между рядами и бил в сковородку; мой тесть вломился в кусты, вынес оттуда охапку веток и стал швырять их в туман. Через несколько минут мы отогнали прожорливых птиц и разошлись по своим будкам.

22 мая

Ясная погода. После дождя парит. С десяти утра начался дружный облет. Пчелы несут на обножках желтоватую пыльцу с сурепки. В лесу они почти не задерживаются, улетают в степь, на хлебные поля... В половине одиннадцатого красная черточка ртути поднялась до 25 градусов. В начале второго облет повторился, более сильный и кучный, чем утром. Все-таки пчел в гнездах намного прибавилось. Я заметил, у Матвеича семьи более населенные: гуд у него гуще и стоит дольше. Тесть в последние дни ставит новые рамки. Перед тем как опустить рамку в гнездо, обрызгает вощину водой, искоса взглянет на Матвеича и опустит. У них негласное соревнование. Несмотря ни на что, тесть надеется собрать меда не меньше Матвеича. Иногда он шепчет мне:

— Глянь, Матвеич экономит вощину. Думает, погры-

зут. Чудак! Если пчелы носят — ставь смело. Они оттянут ячейки.

Новые рамки мы размещаем обычно в середине гнезда, между свежим или печатным расплодом и медово-перговыми рамками, чтобы сразу привлечь на оттяжку вощины близко работающих пчел.

После второго облета красная черточка опустилась на градус ниже. Такую бы погодку раньше, когда цвела акация с гледичией... Недавно завиднелся полевой бодяк: густо-красные бархатные головки повсюду мелькают в яблоневом саду, но пчелы облетают их мимо, предоставляя впиваться в них осам и шмелям, которые с угрожающим зудом проносятся над травой.

Сегодня я вышел из лесу — подышать степным воздухом. Шел долго и не заметил, как приблизился к лесополосе, за нею начиналось пшеничное поле. Остановился, пораженный: пшеница уже вымахала в полный рост и выбросила колосья. Светло-желтыми размывами цвела в ней сурепка, кое-где проглядывали васильки. У лесополосы над пахотой, заросшей травой, порхали бабочки: белые, пестрые, ярко-синие. Были и совершенно изумительные — пунцово-розовые, как поднятые ветром лепестки мака.

Быстро летит время! По всем признакам, уже лето. Не успеешь оглянуться — нальются и, побурев, затвердеют колосья. Наступит жатва... А что пожну я? В смутной тревоге вернулся я на пасеку. Нет, пожалуй, я взялся не за свое дело. Но что же, что делать? Я был в растерянности. Одно лишь служило мне слабым утешением: я здесь почернею и окрепну под южным солнцем.

Когда я вернулся, Гордеич показал мне в бурьяне, неподалеку от сада, гнездо куропатки, выстланное сухой травой и перьями. В гнезде было девятнадцать серовато-сизых яиц, на них наткнулась Жулька и съела. Куропатки, веером распуская красновато-бурые хвосты, фыркали из травы и всполошенно летали возле нас. На душе стало еще тревожнее.

В сумерках я проверил контрольный: 150 граммов.

После ужина мы с тестем уединились в будке, и я спросил его, зачем он завел пасеку, разве ему не хватает пенсии?

— Не в одной пенсии дело,— улегшись на свою постель, уклончиво ответил он.— Тут, Петр Алексеевич, много разных причин.

— Каких?

— Мать у нас нервная, больная. Всю дорогу быть с ней невмоготу: это не так, то плохо. Шпыняет изо дня в день. Надоели мы друг другу — дальше некуда. Скубемся, как петух с квочкой. Видишь ли, Петр Алексеевич, она только сейчас разглядела, что не за того замуж вышла... вроде неудачник я. В общем, рехнулась бабка. Что с ней возьмешь? Зато на пасеке я отдыхаю и душой и телом. Здоровье берегу. Что хочу, то и ворочу. Благодать! Заскочишь на денек домой — и она другая. Со скуки обрадуется, обстирает, обошьет... лапши сварганит. Все как положено! Интересно с пчелишками жить. Все-таки занятие. Я смолоду к хлопотной жизни привык. Сперва избачом был, потом — секретарем комсомольской ячейки, чуть позже — колхоз «Красный маяк» организовал. Однажды заходим с комсомолятами к одному единоличнику. Мороз. В хате не топлено, окна льдом заросли. Тараканы и те вымерзли. До ручки дожился. Хозяин лежит на печи, в лохмотьях. Мы ему: «Юхимыч, в колхоз надумал записываться?» А он, веришь, приподнимает кудлатую бороду и тоже, собачий сын, интересуется: «Хлопцы, а там, мол, хуже не будет?» Мы все так и грохнули со смеху: куда уж тут хуже!.. Вот, Петр Алексеевич, с чего мы начинали строить колхоз. Недосыпали, недоедали, но — построили. Счастливая пора! Не вернется.— Он долго смотрел в озаренное луною окошко. Лицо его было задумчиво-грустным.— Привык я с людьми. А как ушел на пенсию, все вроде для меня оборвалось. Скучища... глухота! Пойдешь с корзинкою на базар. Наспех оденешься во что попало — и что же? Редко кто поздоровается, из ответственных. Стесняются, что ли. А стоит мне лучше вырядиться — замечают. Представь себе, с другой стороны улицы кивают: «Привет, мол, Федорович!» Ты понимаешь, какая штука! Тут и не хотел бы, а задумаешься. Дальше — больше. Вижу: молодняк меня уже и в новом костюме не признает... Или возьми похороны. Пожилой скончается при исполнении обязанностей — ему, брат ты мой: духовая музыка, венки от организации. Приятно смотреть... Умрет пенсионер, трижды заслуженный человек,— на худой случай, некролог в газете поместят. И все. Точка. А рассудить по-доброму, по-человечески: такие люди, к примеру, как я,— все друг другу давно родственники. Столько лет вместе, плечом к плечу шли. Беды и радости

пополам. Так и хороните нас одинаково. Нет, Петр Алексеевич, плохо быть пенсионером.

— Матвеич, по-моему, доволен,— начал было я, но тесть сердито перебил:

— Что Матвеич! Он не тот. Матвеич всю жизнь только о себе пекся. На пассажирке ездил. С того, с другого урвал полтинник — к вечеру двадцатка набежала. Дармовая... Запчасти сбывал на сторону. Тому — коленвал, этому — резину. А я, Петр Алексеевич, честно век прожил. Моя совесть перед народом чиста. Ни крошки чужого. Людям отдал все, что мог.— Тесть спрыгнул с нар, зачем-то прильнул лицом к стеклу, отслонился и, заложив руки за спину, начал топтаться в будке возле меня.— Вот они хвастают: в зерносовхозе «Гигант» на «ольпулях» ковыли пахали! Пахали. Молодцы. Как говорится, и на том спасибо... А я, Петр Алексеевич, колхоз «Красный маяк» в передовые вывел! Таких шоферов у меня было и перебыло! Я и Гордеича на работу принимал. Парень он работящий, свойский, но — юлил. Где надо я его одергивал. По рукам за чужое бил: не бери! Расшумится, обидится, а после остынет и бежит мириться. Ничего мужик, с ним можно ладить.

— Где он себе «козла» отхватил?

— По частям собрал. Завгар! Детали под рукой. Тут одни люди к нему приставали. Уговаривали обменять «козла» на «Жигули». Гордеич не согласился. Он что им сказал? — Тесть перестал ходить, влез на нары и лег.— Мне, говорит, нужна машина-работница, а не стиляга. Правильно! «Козел» — машина незаменимая...

В словах тестя я почувствовал тоску по машине — давнюю, старую тоску, которая росла в нем с годами, между тем как жизнь непреклонно двигалась к завершению, дней в запасе оставалось все меньше, нить утончалась, грозя внезапно оборваться. Тесть сцепил на груди руки. Мне как-то неудобно стало задавать ему вопросы, хотя, откровенно говоря, меня разбирало любопытство: всерьез ли он намерен купить машину, если ему вдруг повезет с медом? Все-таки, думал я, несмотря ни на что, он завидует компаньонам. Завидует и боится признаться в этом самому себе: это было бы равносильно поражению.

— Колхоз «Красный маяк» — крепкое хозяйство?

— Крепкое,— сквозь дрему пробормотал он.— У всех главных специалистов служебные машины. Пешком ни-

кто не ходит. А я ходил. По снегу, по грязи в разбитых чубурах...

Он мгновенно уснул и захрапел. Я давно замечаю за ним особенность, свойственную глубоким старикам: быстро отходить ко сну. Когда он спит лицом вверх, сложив на груди руки, то кажется: это покойник. Мертвы и недвижны черты воскового лица, переломлены скорбно застывшие брови, нос бел, кожа на лбу суха и тонка. Первые дни я не мог мириться с этим ощущением и будил его, заставляя переменить позу, потом — привык. Человек обладает удивительной способностью — привыкать ко всему. Чего тут больше: счастья или несчастья? Не знаю.

— Над краем леса пролетела кукушка и пронесла свое гулкое «ку-ку». Сердце мое сжалось от странной, внезапно пришедшей мне в голову мысли: «Сколько еще жить тестю?» Я стал считать. Кукушка прокричала подряд девять раз и смолкла.

Мне стало легко: не так уж мало для старого человека! Крылатая гадалка не поскупилась отпустить тестю девять лет. В таком случае у него есть резон кочевать по степи и копить на машину...

23 мая

В жаркую погоду летки ульев обращают на запад, в тень; в холодную — на восток, к солнцу. На новом месте старики договорились расставить ульи летками на северо-запад, так как дни предстоят летние и преобладающие ветры здесь восточные.

Все разговоры идут в основном о переезде к белому доннику. Тесть с Гордеичем все утро возились с приписными ульями: осмотрели гнезда, выбросили негодную, почерневшую сушь и поставили новые рамки. Гордеич принес краснополянскую матку под колпачком и «приживил» ее к медовым сотам, а матку-хозяйку, которая плохо сеяла яйца, поймал и задавил. Они стараются поправить директорских пчел, чтобы завоевать себе право расположиться у белого семенного донника, у подсолнуха...

Но между тем, если взглянуть шире, старики одним своим присутствием окажут неоценимую услугу совхозу. Всем известно: собирая с цветов нектар и пыльцу, пчелы производят перекрестное опыление и способствуют увеличению урожая растений. Стоимость дополнительного урожая многих сельскохозяйственных культур при опылении пчелами, то есть косвенный доход от них, в де-

сять — пятнадцать раз выше дохода от меда и воска. В десять — пятнадцать раз! Если на каждом гектаре подсолнечника разместить по две пчелиные семьи, урожай возрастет вдвое. И корзинки будут здоровые, с крупными семенами. Скромные, трудолюбивые работницы улучшают качество семян и плодов. При перекрестном опылении увеличивается содержание крахмала, сахара, белков и других ценных веществ.

Не достаточно ли с нас этой «платы»? Но старики угождают, возятся в приписными. Вчера они варили сироп и подкармливали директорских пчел...

Мой тесть недовольно бормочет:

— Договорились ставить по две рамки — ставь. Нечего хитрить.

— Он ищет дурнее себя,— хрипит Гордеич и, разгибая спину, громко зовет: — Матвеич!

Тот разводит дымарь у своего улья и делает вид, что не слышит.

— Матвеич, шоб тебя! Заложило? — изо всех сил орет Гордеич.— Оглох с перепугу!

Матвеич лениво оборачивается, встает и поднимает на лоб очки.

— Что?

— Иди сюда! Приписных брали?

— Ну, брали.— Приблизившись, Матвеич снимает очки и протирает запотевшие стекла.— А что?

— Ах ты, мать твою так! Шо! — сердится Гордеич, поблескивая золотым зубом и темнея румынским лицом.— Рамки принес?

— Рамки?.. Надо — принесу. За мной не станеть.— Он собирается идти в будку за рамками, делает несколько неверных шагов, но Гордеич останавливает его резким окриком:

— Поздно! Без тебя обошлись. Пока раскачаешься — рак на горе свистнет.

— Чего тогда шуметь, раз поставили.— Потускневшее лицо Матвеича озаряется улыбкой. Он вытирает платком плешь и усаживается на краешек лежака. Вид его невозмутим.

— «Чего, чего»...— ворчит Гордеич, задетый олимпийским спокойствием Матвеича.— Не притворяйся. Сам знаешь: чего!

— Договорились ставить — давайте ставить,— говорит тесть, отводя взор от Матвеича.— Без напоминаний.

Матвеич смотрит на него прямо, не мигая:

— Я рази против? Давайте.

— Ох, Матвеич! — кипятится Гордеич, плотно прикрывая крышку и заглядывая в леток.— Поставили! Опоздал!

— Ну так чего ж...

— Того ж! Опять баба не виноватая. Аборт сделала, а клянется — не грешила.

— Принесть, что ли?

— Сиди. Запакуешь приписных. Это тебе в наказание,— подобрев, смеется Гордеич.

После дневного облета мы с тестем запаковали свои ульи, прибили крышки гвоздями. Приготовились к переезду.

Только закончили с упаковкой — примчался на «Жигулях» Филипп Федорович. На стеклах и на капоте — толстый слой пыли: видно, мотается по степи с утра. С ним приехала и жена — та маленькая, одетая, как старуха, женщина с ухватистым взглядом. Сегодня на ней шелковое, в синий горошек, платье. Дверцу она открыла, но вылезать не собиралась — сидела, прислушивалась к разговорам. Матвеич как-то рассказывал, что Филипп Федорович «спутался» с нею на пасеке в Лесной Даче: из-за нее бросил жену с детьми. Чем она его приворожила — неизвестно, однако Филипп Федорович иногда хвалится, будто женщина она, каких поискать — и не найдешь. Боясь измены, она ходит за ним по пятам, редко отпускает от себя, всячески опекает и кормит Филиппа Федоровича сливками...

Филипп Федорович вылез из машины, отчего та качнулась слегка, поздоровался и, небрежно сунув руки в карманы, пошел вперевалку оглядывать ульи. Оглядывал цепко, переходя от одного к другому, краешком глаз стрелял на летки и покачивал головой:

— Плохо! Пчела, ребятки, окончательно села... Правда, некоторая несет на обножках бордовую пыльцу. С эспарцета.

— С гледичии,— поправил его Матвеич.

— С эспарцета,— с нажимом сказал Филипп Федорович.— Я проверял. Тут в шести километрах от вас делянка эспарцета. Цветет!

— Большая?

— Не-е, клочок. Чепуха на постном масле... У нас так же. Еле пчела шевелится. Надо переезжать. Я договорил-

ся с одним председателем колхоза. Стану под фацелию. И подсолнух рядом, в балочке. Ранний.

— Нам к тебе нельзя прилепиться? — спросил Матвеич.

— Негде. Там фацелии, вишь ты, двадцать га. Сам еле перебьюсь... А вы подсолнух не забыли? — Филипп Федорович с подозрительным вниманием мелькнул холодноватыми глазами по приписным.— Торопитесь.

— Один управляющий обещает нас разместить,— подмигнув Матвеичу, сказал тесть.— Шестьсот га подсолнуха.

— Какого?

— Шут его разберет. Мы не спросили,— как-то осекшись, медленно проговорил тесть.— Наверно, у них простой.

— Если простой — вы герои. С гибридного меду не взять. Я убедился. «Передовик», «ударник», «элитный» — эти сорта не выделяют нектара. Смотрите не прогадайте.

Наши старики в недоумении пожали плечами, робко переглянулись. Сообщение Филиппа Федоровича было для них большой неожиданностью. В самом деле, они не знали, какого сорта подсолнух в совхозе, куда собирались переезжать! Открыв рты, они стояли и смотрели на весело улыбающегося Филиппа Федоровича.

— Что это у вас за ульи? — показал он на приписных.

— Это мне сын привез на сохранение,— нашелся Матвеич.

— А-а-а! — неопределенно протянул Филипп Федорович.

Он уехал, а старики еще долго не могли успокоиться. Озадачил их Филипп Федорович своим внезапным посещением. Что ему надо? Чего он ищет? Всякие строили догадки, спорили. Но всем стало ясно: Филипп Федорович почуял неладное.

— На разведку приезжал,— с подавленным видом говорил Матвеич.

— Конечно, на разведку! — хрипел Гордеич, поддергивая штаны.— И дураку ясно! Шо он хотел выпытать? Вот главное!

— Он уже выпытал,— с деланным спокойствием рассудил тесть.

— Шо?

— То, что мы не куем, не мелем. Сидим как привязанные... А подсолнух у нас — неизвестного сорта!

— Федорович! — поджигал его Гордеич.— Ты же председатель колхоза! Бывший агроном... Какой ты агроном, если не определил сорта! Грош тебе цена в базарный день.

— Завтра поедем, и Федорович узнаить.

— Я в колхозе обыкновенный подсолнух сеял. Тогда еще гибриды не были в моде. Как я определю?

— Спросим у знающих людей. Язык не отсохнеть.

Вечером, оставив пасеку на попечение Жульки, мы съездили в Лесную Дачу и вымылись в бане. В зале, наполненном густым паром, звенели шайки, плескалась из кранов вода и мелькали распаренные, красные тела. Матвеич до того упарился, ртом нахватался горячего тумана, что на миг отключился и пластом растянулся под душем с опрокинутой на голову шайкой. Мы подняли его и выволокли в предбанник. Там он пришел в себя, отдышался и, как я ни удерживал его, снова полез в парную.

— Не зря деньги платим! — ошпаривая себя дубовым веником, кряхтел он.— Ох, помираю... Сладко!

Втроем мы едва упросили его покинуть парную, в предбаннике переоделись в чистое белье, в зале выпили по кружке пива (тесть заплатил за всех) и, пошатываясь как пьяные, жадно глотая свежий воздух, пошли к машине. Теперь можно двигать на новое место. К белому доннику!

В этот вечер был ноль. За ночь пчелы съедят двести пятьдесят граммов и выгонят из нектара воду — будет к утру убыток. Это нас ничуть не огорчило. Ведь белый донник дает с одного гектара 130—500 килограммов меда. Потерянное мы вернем с лихвою.

24 мая

Утром Гордеич с Матвеичем препирались между собой, на чьей машине ехать.

— У меня колесо спустит,— жаловался Гордеич.— Камера чуть живая.

Матвеич, сочувствуя ему, приводил свой довод:

— Рессоры у моей жидкие. На выемке лопнуть... Легковичкам хорошо бегать по асфальту.

Наблюдая за их поединком, тесть нервничал, не находил себе места: то в лес убежит, нарвет себе кислой алычи и через силу ест, то заберется на нары и давай брить компаньонов — злыми, хлесткими словами:

— Скесы! Кугуты! Торгуются, как последние шлюхи!

Вот, Петр Алексеевич, до чего опускается человек! До какой низости доводят его машины! Пропади они пропадом! Займись пожаром! Не они на машинах — машины на них ездят! Сидят... тянут время. По жаре придется ехать. По самому пеклу!

Наконец Гордеич не выдержал:

— Ладно. Нонче на моей погоним.

Он ушел к себе и еще с полчаса монтировал запасное колесо, заправлял бак горючим. Матвеич наводил порядок на своем верстаке, приделанном к будке: стружку смел в кучу — пригодится для дымаря, инструменты аккуратно протер тряпицей, аккуратно сложил и накрыл их клеенкой.

— Готово! Поедем! — раздался хрип Гордеича.

Матвеич тут же вышел и, не мешкая, залез в кузовок, уселся на продольную лавочку. Гордеич завел мотор, но тесть между тем спокойно продолжал лежать на нарах, скрестив на груди руки и полузакрыв веки.

— Федорович, шоб тебя! — горячился Гордеич.— Подняло да шлепнуло! Где ты?

Тесть, притворившись, испускал громкий храп. Гордеич, потеряв терпение, подъехал ближе, выскочил из «козла» и заглянул в приоткрытую дверь будки.

— Дрыхнет! Ёк-макарёк! — Он даже отшатнулся.— Вот это да! Мы тут хлопочем, а он храпака давит. Вставай, пора колядовать.

Тесть притворно встрепенулся, вздрогнул и приоткрыл левый глаз:

— Едем? Куда?

— На кудыкину гору! Видал его? — Гордеич обернулся к Матвеичу, выглянувшему из кузовка.— Как будто его и не касается!

Зевая, тесть медленно начал обуваться. Правый ботинок ссохся, едва налез на ногу.

— Жара. Упаримся.

— Давай, Федорович, пошевеливайся. Брось придуряться. Бензин даром жгем.

— Сколько тебе бензину? Канистру? Две? Нонче куплю.

Тесть оделся, с ленцой потянулся и вышел из будки.

— Может, без меня управитесь? Что-то меня разморило. В сон клонит.

— Нырни в бак головой! Сразу очухаешься.

Тесть медлил садиться на переднее сиденье.

— А, хлопцы? — сказал он, плечом опершись о «козла».— Не уважите старику?

— Ох, Федорович! Живьем режет!

— Сидайте, Федорович,— снова выглянув из машины, мягко, просительно заговорил Матвеич.— Дело серьезное. Место нужно обкосить, про подсолнух выведать. Элитный он или простой.

— А машины нанять? — гневно сверкнул зубом Гордеич.— Шо это вам, с кумой договориться? Мудрят, ноют...

Мой тесть снизошел к их мольбам, важно сел, надулся, и они поехали.

Настал вечер — старики не появлялись. Что-то их задерживало в степи. Мы с Жулькой гуляли по траве, между лесом и яблоневым садом, вспугивая разноцветных бабочек. Вокруг нас, захлестывая бабочек, мельтешили серые мотыльки, вились повсюду пыльными столбами. Старики вернулись ночью и с недоброй вестью: мотылек отложил яйца, сплошь вывелся червь, начал сжирать и подтачивать зацветающий донник. Половину его срочно скосили, завтра докосят остальное поле.

Надежды на донник рухнули. Я не испытывал желания вдаваться в подробные расспросы и удалился в будку. Следом за мною пришел тесть, улегся на нары. Мы оба притворились спящими и не проронили ни слова. Нам не о чем было говорить в эту светлую душную ночь.

25 мая

Едва завиднелось, я встал и пробежался вокруг сада. Прохлада и чистый воздух бодрили, вялость как рукой сняло.

За садом, невдалеке от леса, одиноко стояла коренастая сосна с плотной темно-зеленой кроной. Перепрыгнув через ров и подойдя к ней ближе, я увидел на кончиках ее мелких иголок капли росы, застывшей в утреннем ознобе. Неизвестно, как выросла эта отшельница в степи — от случайно залетевшего крылышка-семени или кто-то посадил ее здесь. Была она старше других деревьев, ее литое, у комля оплывшее тело говорило о стойкости и привычке к бурям, а корни, живучие и корявые, мощно бугрились в траве и, наверное, глубоко уходили в землю. Пока я стоял возле нее, небо успело посветлеть, фиолетовая роздымь спала и на востоке затеплились кровинки. Свет прибывал, сосна понемногу оживала, робко встряхивалась от озноба. Вот легла и зарделась малиновая кайма,

брызнуло из-за нее лучами — и сосна полыхнула красной медью. Невзрачная отшельница мигом превратилась в красавицу. Пламя от нее перекинулось дальше, озарило край леса, метнулось по верхушкам и побежало вглубь, трепетно и щедро расплескивая живительные краски. Весь лес будто запалился от сосны! Звонче, неистовей защелкали в кустах соловьи, воздавая хвалу свету. Я слушал их и не переставал любоваться отшельницей: что за чудо свершилось с нею, до чего хороша она была в это мгновение!

Так и с людьми бывает: любовь, внезапная радость неузнаваемо преображают их. Может быть, ради этих счастливых мгновений и стоит жить. Пораженный, я не в силах был оторвать взгляда от сосны. Все мои невзгоды, и прошлые и теперешние, перестали для меня существовать, улетучились. Но старики напомнили мне о них, и я пожалел, что вернулся.

Старики в панике. Сегодня утром на трезвый ум они обсудили наше положение и занялись обычными делами, чтобы как-то забыться, отдалить от себя тень угрозы. Матвеич натянул брезент над верстаком, заслонился от солнца и строгает бруски для рамок. Гордеич, несколько раз пробежав в зеленых трусах по просеке и приняв дозу пчелиных укусов, растопил в котле смолу, довел ее до кипения — и смазывает дно запасных ульев, чтобы предохранить их от муравьиных набегов. Тесть нагревает в воскотопке негодные соты. Я, как и прежде, прокалываю шилом дырки, пропускаю в них проволоку и натягиваю ее на рамки.

За обедом мы беседуем на отвлеченные темы.

Хлебая суп и поминутно обжигаясь, Гордеич уводит нас в свое давнее житье-бытье, поросшее сухим быльем:

— Моя матушка любила носить топленое молоко на базар. Носит и носит, все в ажуре. И вдруг приходит в слезах, лица на ней нет. Дрожит как в лихорадке. Ее там чуть не прибили, вроде бы за обман. Придрались бабы: мол, она нарошно неполные махотки продает, отливает из-под шкурки молоко. Сняли на людях шкурки — и точно: во всех махотках на три пальца недолито. Бес его! В чем дело? Мать растерялась, плачет, сама не поймет, шо такое. Шкурки целые, а под ними пусто! А ее уже за косы волокут и норовят придушить. Народ, когда хочет потешиться, звереет. Черт-те что! Добрые люди оборонили и отпустили ее с богом... Стала моя матушка следствие на-

водить, допытываться, куда делось молоко. Мы прижукли, молчим. Каждый думает на другого. Батька терпел, терпел и, как только буря миновала, сознался: «Это я, мол, высасывал».— «Как же ты высасывал, уж ненасытный!» — «А соломинкой,— ухмыляется батька.— Проткну соломинку и цедю. Полгода уже так пью».— «Да как же, ирод?! — почем зря честит его мать.— Молоко ж базарное».— «Оттого я и приспособился, что базарное. Своим умом дошел»,— в усы ухмыляется батька. Ушлый был, ёк-макарёк! Перед тем как идти на работу, тайком в сенцах приложится к махотке, выдует пару кружек через соломинку — и айда на стан. Бурты открывать.

Закончив рассказ, Гордеич как-то вымученно и неестественно смеется. Одна бровь у него дергается, рот кривится, но глаза остаются скучными. Он обрывает смех мелкого беса и делает лицо серьезным, будто и не рассказывал смешную историю.

Тесть с укором смотрит на компаньонов и встает из-за стола.

— Ничего не лезет,— говорит он.— Хлеб в горле застряет.

Старики молчат.

Затевается облет. Пчелы ошалело снуют в воздухе. На термометре — 30 градусов. В небе кое-где плавают сморенные облака. Мы с тестем укрываемся в будке.

— Анекдотами пробавляются! — ворчит он.— Не-е, с такими молодцами меду не добудешь. В панику кинулись и мудрят. Надо на разведку ехать, новое место искать, а они хихикают... машины жалеют. Я говорю им: поедем! А Матвеич: куда ехать? Ну сиди жди, пока улья опустеют!

— Действительно, куда ехать?

— К каналу. У воды воздух прохладнее, нектар не высыхает.

— Вы про подсолнух узнали? Какого он сорта?

— До подсолнуха нам было! Мы как увидали: косят донник! — так и присели. Веришь, все разом сели на дорогу и глядим... А Матвеич поддел Филиппа Федоровича! Заехали мы к нему на пасеку, Матвеич вытащил пучок донника и показывает: вот, мол, донник цветет, мы к нему завтра перебираемся. Филипп Федорович аж побледнел: «Где, где цветет? Я все места обшарил, кругом обследовал!» — «Секрет. Велели никому не рассказывать».— «Много?» — допытывается Филипп Федорович, а у самого,

веришь, руки трясутся, граблями их повесил и стоит. «Много, нам хватит». Мудрец, завел он Филиппа Федоровича! Небось, бедняга, всю ночь не спал. Вот увидишь, не утерпит, прискочит к нам.

— Вы все неравнодушны к Филиппу Федоровичу. Особенно Матвеич. Ругает его, на словах не признает, а сам следит за каждым его шагом.

— Филипп Федорович мед из воздуха качает. Будешь следить. Промышленник! У Федоровича на примете десять мест. В запасе держит. Перебирает, боится прогадать. Не скупится, не жадничает. Он прямо всем говорит: укажите мне медовый участок, я за него флягу меда отдам. И отдавал. Уже было такое. Флягу отдаст — двадцать накачает. Выгода? Выгода. А этот,— тесть недовольно кивнул в сторону будки Матвеича,— экономит на спичках — прогадывает на сотнях. Да и Гордеич жук. Два сапога — пара... Порченые люди! Не мычат, не телятся.

— Матвеич завидует Филиппу Федоровичу. Зачем же он ушел от него?

— Характерами не сошлись. Тот сунет шоферу полсотни за перевозку — и не скривится, а этот подожмет хвост и в кусты: жалко отдавать. Нашла коса на камень. Мне еще раньше Филипп Федорович намекал: мол, всем хорош Матвеич. Уважительный, то и се, да больно мудрый и тугой на подъем. Точно! Правильно он сделал, что отпихнул от корыта Матвеича. На что ему сидень, трухлявый пенек? Что с него пользы? Одно расстройство. Надо было мне на все плюнуть и кочевать с Филиппом Федоровичем.

Тень мелькнула за окном: мимо нашей будки прошел Матвеич. Тесть понизил голос, спросил шепотом:

— Это кто прошмыгнул? Не Матвеич?

— Матвеич.

— Я не громко бубнил? Он ничего не слыхал?

— Пожалуй, нет. Дверь плотно закрыта. А что, боитесь?

— Бояться не боюсь, да оглядываюсь. Кругом, дорогой Петр Алексеевич, люди. Мало ли что!.. Пошел советаться с Гордеичем. А чего советаться? Нужно на разведку ехать!

Через полчаса в дверь стукнули.

— Дрыхнешь, Федорович? Вставай. За водой поедем.

Вскоре они уехали. Я вышел к ульям. Облет кончился, но жара прежняя. Ни ветерка. Листья на ветках клена

вяло обвисли и не шевелятся. Я разделся до плавок, водрузил на голову соломенную шляпу тестя и принялся бесцельно бродить по просеке. Мое внимание привлек куст свидены. Возле него рос довольно высокий, молодой дубок, стойко укоренившийся среди других, таких же крепеньких, дубков. Он выжил, ему уже больше не грозит засуха, как, впрочем, и его молодым соплеменникам. Не осенью, так весною свидену, пожалуй, срубят, изведут на топку. Вот печальная участь сопутствующего дерева.

Невольно шевельнулась жалость и к себе. Я сделал ошибку. Не тем я занимаюсь, бездарно трачу время — золотой запас моей молодости. Но это — в последний раз. Это временное отступление. А потом... потом я впрягусь как вол в работу, буду корпеть, не отходить от холста дни и ночи напролет. Я еще напишу единственные картины, обязательно напишу, потому что кипят во мне силы молодые и неистраченные и есть в моей душе божья искра, есть — я чувствую ее свет, горячий и дерзкий; она жжет и постоянно взывает к моей совести, побуждает действовать. Я докажу Никодиму Захаровичу!.. Никодим Захарович? Вертится на уме это имя. Что, если и вправду пойти на компромисс, попросить об одолжении Никодима Захаровича? Неприятен мне он, но ведь даже великие не гнушались заигрывать с недостойными, извлекая выгоды из отношений с ними. Надя, кажется, рассудила трезвее меня, по-женски. Я погорячился, заявив ей о столь категорическом отказе. Да, Никодим Захарович — влиятельный человек.

Мои размышления прервал заливистый лай Жульки. Я взглянул: по дорожке приближался к пасеке человек на веломотоцикле с заглушенным мотором. Он притормозил у будки Матвеича, спрыгнул с сиденья и, приставив машину к кусту, поздоровался. Подойдя ближе, я угадал в нем компаньона Филиппа Федоровича, того лысого дядьку, который облизывал жирные губы и ехидно посмеивался надо мною, когда я по незнанию попал на их пасеку. Теперь вид у него кроткий, смиренный, красноватые глаза бегают стыдливо. Таится в них растерянность. Рваные брюки заправлены в шерстяные носки, на ногах — калоши.

— Сторожуешь, сынок? — Он устало опускается на землю и мотает головой.— Ух, уморился... ужарился! Поджилки трясутся. Дай-ка водицы хлебнуть.

До дна испив поданную мною кружку, он стряхивает

с жиденькой бороды капли, снимает берет, жмурится и вытирает им лысину.

— Жара — нету спасу! Нонче с утра, как волк, мотаюсь по степи. Пылища — не продохнуть. Фу-ты! Выпил холодненькой — на душе посвежело.— Он по-турецки подбирает ноги и жалобно, искательно глядит на меня снизу вверх: — Где ж ваши пасечники?

— В поселке.

— Вот оно что...— в раздумье жует губами лысый.— А мой оглоед взбесился. Ваши его подожгли, донник показали. Так он заставил меня на этом драндулете грузовые машины шукать. А куда переезжать — не говорит. Тяжелый мужик. Зверь! На меня взъелся, и не подступай к нему. Пчел его, мол, раздражаю винным духом.

— Не пейте.

— Так,господи! Я пью по наперстку, как птичка. Это ж такой гробокопатель! Любую зацепку найдет, абы выгнать из компании. Ваши меня не примут? — Он сникает в ожидании ответа.

— Спросите у них.

— Чи подождать их, чи ехать машины выглядать? — вслух раздумывает лысый и обреченно смотрит мимо меня.— Как посоветуешь?

Вряд ли он притворяется. Остаться одному, без напарников, с ульями за двести верст от дома — какое положение может быть хуже этого! Я проникаюсь его болью, его тревогой и говорю:

— Подождите. Старики вот-вот вернутся.

Несколько минут он сидит по-турецки, не шевелясь, с уроненной на грудь лысой головой и будто повторяет про себя молитву — слов не слышно, но лицо выражает покорность и смирение, затем вздрагивает и поднимает выгоревшие брови:

— Не-е, сынок. Видать, с моря погоды не дождешься. Надо шукать. У вас компания полная. Меня не возьмут.

Он тяжело поднимается, напяливает на лысину берет и привычно жует губами:

— Худо! Обвиняет меня во всех грехах. Вроде прошлым летом мы с Матвеичем взяли у него пчел. Пасеки, мол, нарочно поставили под ветер! Его пчелы летели на ветер и оседали у наших летков. До чего додумался! Валит с больной головы на здоровую... А это вы хорошо — донником его растравили! — В зрачках лысого вспыхивает злорадство.— Подсыпали ему перцу!

Он выкатывает на дорожку веломотоцикл, ногою резко жмет на педаль. Мотор взвизгивает, строчит короткими очередями, волнистыми колечками выбрасывает дым из трубы. Удерживая мотоцикл за руль, как застоявшегося в упряжке оленя, лысый оборачивается и старается пересилить треск заискивающим голосом:

— Из ваших никто домой не едет?

— Никто.

— Я думал, Матвеич собирается. Мне бы отвезть пяток фляжек да передать жинке, чтоб приезжала. Чую: бросит меня Филипп Федорович. Нарочно фляжки мои на «Жигулях» не отвозит. А мед у него жидкий, ненастоящий.

— Почему ненастоящий?

— Сахар перегоняет. Всю весну сироп подливал в кормушки. Ну, до свидания! — Он наклонил веломотоцикл, закинул левую ногу, вспрыгнул и помчался к саду, быстро скрылся за ветками. Треск понесся мимо акаций, затихая.

Неужели Филипп Федорович оставит компаньона? В это не верилось. Когда старики приехали из Лесной Дачи, я рассказал им о визите лысого. Более всего их позабавило бешенство Филиппа Федоровича.

— Допекло! — в один голос воскликнули они.

Жалобы лысого походили на правду, однако Матвеич, по укоренившейся в нем привычке не все принимать на веру, обошелся осторожным замечанием, что тот, мол, сам по себе нехороший компаньон: пьет и в отсутствие мужчин пристает к их женщинам. Матвеич называл его по кличке — Миллионером, потому что лысый издавна занимается пчеловодством, скопил не одну тысячу, а ходит в лохмотьях и, как его ни подбивают, не отважится купить хотя бы «Запорожца», зарится на чужбинке в рай въехать. То, что Миллионер сказал о переезде Филиппа Федоровича, насторожило Матвеича, он переговорил с Гордеичем и вдруг объявил тестю, что медлить нельзя, завтра они отправятся на поиски эспарцета либо донника и люцерны.

— И вас допекло! — язвительно сказал тесть.— Пора! А то все царство проспим. Отлежим себе бока.

Спать договорились с вечера, как только смеркнется: завтра рано вставать, до зари.

Едва они покончили с приготовлениями, как нежданно-негаданно явился гость на «Жигулях» — вездесущий Филипп Федорович! Не спится ему, не сидится. Жена по-

лулежала в машине, дремала, уютно откинувшись на сиденье.

— Почем мед сдал? — с ходу ошарашил его Матвеич.

Филипп Федорович покосился на меня, потер жесткие ладони и с принужденной бодростью догадался:

— Миллионер у вас был? Погоди, я его прижучу за пьянку! — погрозил кулаком.— Я не сдавал.

— Сколько накачал?

— Восемнадцать фляжек. Чепуха! — махнул рукою Филипп Федорович.

— Ничего, хватит на разжижку,— деревянным голосом обронил Матвеич.

— А вы будете качать? — в свою очередь, поинтересовался Филипп Федорович, похаживая вокруг своей машины и тряпкою смахивая с нее пыль.

— Пусто! Воздух качать?

— Рамки в дороге оборвутся. Беды не оберетесь... Когда ж вы под донник становитесь?

— Наймем машины и станем. Хочь завтра,— сказал Матвеич.— А вы тожеть переезжаете?

— Ага...— Филипп Федорович пнул ногою в заднее колесо, причмокнул языком.— Ослабло. Дома подкачаю.

— Куда? — затаившись, тихо спросил Матвеич.— Под фацелию?

Вести хитрые разговоры с Филиппом Федоровичем старики доверяют только ему: он ближе всех знает промышленника. Когда они переговариваются между собою, улавливая суть не в словах, а в том, что кроется за ними, определяя настроение по едва приметным жестам и выражению лиц, мы, обступив их, почтительно слушаем и замираем от смутных догадок. Сейчас поединок идет решительный: время не терпит промедлений.

В напряжении вытянув лица и приоткрыв рты, Гордеич и мой тесть ждали, что ответит Филипп Федорович. Он взялся за козырек фуражки и поперхнулся мелким, ехидным смехом:

— Куда! Вы же не говорите, куда сами едете под донник. И я не скажу.

— Дело твое, Филипп Федорович. Секретничай. Мы завтра опять разведку проведем. Съездим к Гуньку. В хутор Беляев,— неожиданно для нас объявил Матвеич.

— В хутор Беляев! — необыкновенно взволновавшись, вскрикнул Филипп Федорович.— Там — овцы! Толока. Все начисто сбито. Черная земля!

— А Гунько стоит.

— Гунько в балке. Туда он ни за что не пустит. У него договор с управляющим отделением.

— Жалко,— притворно вздохнул Матвеич.— Хорошее было место.

— Было, да сплыло!

— Жалко...

Разговор иссяк. Обе стороны выудили для себя то, что им было нужно. Филипп Федорович взглянул на часы и, ссылаясь на крайнюю занятость, отбыл. На прощание он пожелал нам быстрее перебраться к доннику, ибо, по его мнению, торчать в лесу и сидеть на нуле не пристало хорошим пасечникам. Гордеич и тесть, дрожа от нетерпения, подступили к таинственно усмехающемуся Матвеичу:

— Ну что? Что ты понял?

— Он раскусил нас и не верить в донник,— поправляя на переносице очки, медленно и с достоинством вразумлял их Матвеич.— Тут мы переиграли, дали маху.

— Ладно! — Тесть дышал глубоко и часто, будто пробежал стометровку.— Он едет или финтит?

— Едеть. Как бы он не подался в Беляев. Утречком смотаемся туда. Обследуем медофлору.

Гордеич присел на корточки и радостно ударил себя по ляжкам ладонями:

— Ёк-макарёк! Деды! Не я буду — обдурим Филиппа Федоровича!

— Гоп скажешь, когда пересигнешь. Не загадывай наперед,— мудро осадил его Матвеич.

27 мая

В Лесной Даче брезжит в половине четвертого, старики понеслись в хутор Беляев до света, в глубоких предзоревых сумерках. После их отъезда я уснул и пробудился с первым лучом солнца. Он проник сквозь окно и упал мне на лицо теплой струйкой. Я понежился, чувствуя на себе его утреннюю ласку, затем бодро вскочил и выбежал из будки. Утро было прохладное, по небу кочевали редкие облака. За ночь выпавшая на траве и листьях роса вблизи серебристо переливалась, вдали сизо дымилась, как ранняя изморозь. Во мне ожило радостное предчувствие перемены, и на этот раз оно не обмануло меня. Старики, необыкновенно повеселевшие и возбужденные, исполненные рыцарской гордости победителей, нагрянули в

одиннадцать с бутылками водки. У хутора Беляева они очутились среди посевов эспарцета, а за ними, в холмистой степи, набрели, вымочившись в росе, на бабку, шандру и синяк, на ароматно пахнущий сиреневый чебрец. Мой тесть размахивал бутылками и клялся, будто он еще нигде не видел такого раздолья, такого разнообразия медоносов. С полчаса они бестолково, как дети, нашедшие в траве бумажного змея, бегали по степи и не могли налюбоваться картиной: повсюду бурное, неистовое цветение — и ни одной пасеки. «Будешь, Петро, рисовать цветочки. Малюй!» — делясь со мною открытием, от всей души хохотал Гордеич.

Гунько нам не помеха: он в балке, а мы станем повыше, у лесополосы. В Беляеве, передают, дожди, дни теплые, с паркóм, и Гунько заливается медом. Он дважды качал и ладится откачивать снова. Каким-то чудом старики уговорили скупердяя, и он показал им рамки.

Что это были за рамки — во сне не приснится! Побелка — словно иней, соты донизу светятся чистейшим янтарным медом. Отведать его Гунько не дал, но Гордеич тайком обмакнул палец и лизнул — вкус майского меда с тонким ароматом луговых цветов! Можно легко вообразить его и не пробуя. А пчел-то, сколько в гнездах пчел! Кишат гроздьями на рамках.

Старики выписали в конторе «Лесной Дачи» грузовые машины, которые прибудут вечером. Все-таки не позволили они Филиппу Федоровичу обвести себя вокруг пальца. Плут. Он тоже едет в хутор Беляев, уже оформил документы и станет на противоположной стороне балки. Морочил нам голову, уверял: толока, черная земля. Овцы ходят, но их мало, всего одна отара, и выбить цветы на обширном пространстве они не выбьют. Ну и Филипп Федорович!

После обеда мы упаковали вещи и разобрали будки. Крепление у них на болтах, стены и половинки крыш отделяются без усилий: откинул крючки, гайки отвинтил — и вся премудрость. Окончательные приготовления к отъезду заняли не более часа. Вечером, когда в гнездах соберутся все пчелы и утихомирятся за ночной кропотливой работой, закроем летки.

Я взял палку и направился в степь. День был прохладный. Шагалось весело. Я волновался неизвестно отчего — от близости расставания с лесом или от предчувствия перемены, новизны в моей жизни. Странно мы устроены. Порою ничтожные, смутные ощущения, невыразимые

словами, оказываются толчком наших последующих намерений. Шагая степною дорогой, которая уводила меня от леса, через поле суданки, к блестевшему во впадине каналу, я вдруг подумал, что сама судьба сводит меня с дочерью Гунька, нам не избежать встречи. Не эта ли мысль в подсознании смутно волновала меня и прежде? Пораженный догадкой, я остановился, рассматривая ершистый синяк, в цветках которого, напрягая брюшко, выбирали нектар пчелы... У круто срезанного откоса канала, безотчетно отдавшись ясному дню, я следил за мелкой рябью на грязновато-желтой воде, медленным, почти невидимым течением. Неподалеку косили несозревшую пшеницу, ровно выстригая поле, на ходу измельчая стебли; из переломленной трубы в кузов тракторной тележки сыпались зеленые хлопья.

Машины подвинулись к тому берегу канала — обдало гулом и вывело меня из созерцательно-спокойного состояния; я вспомнил о догадке, осенившей меня у неказистого синяка, а вслед за тем — о непрочитанном письме Нади, которое мне привез с почты тесть. Я разорвал конверт и углубился в чтение; жена просила меня не отвергать содействия Никодима Захаровича, убеждала переменить решение и написать ей об этом тотчас.

Я достал блокнот, вырвал из него пару листов и написал Наде, что во всем полагаюсь на ее такт и чутье; если она считает возможным и обязательным обратиться к услугам Никодима Захаровича — пусть так и поступает, я перечить не буду. Не возражаю. Я просил ее также впредь писать мне в Красногорск. Письмо я опущу проездом, в какой-нибудь сельский почтовый ящик.

На закате солнца пришел на пасеку. В ожидании машин старики, одетые в фуфайки, дежурили у своих пасек. Я тоже переоделся в шерстяной спортивный костюм.

В сумерках мы закрыли летки, и в это время прибыли машины. Небо заволокло тучами, месяц скрылся — и на просеке потемнело.

Гордеич засновал, забегал, жестяным баском стал распоряжаться, куда какой машине подъезжать, какие борта открывать. Шоферы по его указке подогнали грузовики к пасекам, потушили фары и, собравшись в тесный кружок, взялись о чем-то шептаться.

— Хлопцы, давай! — поторапливал их Гордеич.

Шоферы расступились, молча приблизились к нему и,

очевидно приняв его за главного, вразнобой, но требовательно заговорили:

— Погоди, папаша, не гоношись. Сперва договоримся, сколько вы кинете на нос за погрузку. Сколько?

К ним подошли тесть и Матвеич.

— А что вы просите? — осторожно поинтересовался Матвеич.

— Двадцать пять рублей на каждого. Нормальная такса.

— Ого! Чтой-то вы через край хватили. Многовато. Мы еще медом и губы не помазали. С чего платить? — Матвеич трусливо пятился от них назад.— Так не пойдеть... не по нашему карману...

— У пасечников и денег нету? — разжигая страсти, выступил наперед самый рослый парень из шоферской братии — по всему видно, заводила. Он первый потянул дружков на совет.— Не верю! Гоните, папаши, не жадничайте. Вон Филипп Федорович нашим ребятам из гаража по сороковке кинул.

— Нехай бесится. С жиру. Нам не из чего кидать. На убытке сидим.

— Елки-палки! Нам это до лампочки. Интересно! Сколько ж вы за дорогу... за километраж дадите?

— За километраж мы в конторе заплатили,— сказал Матвеич.

— Э, папаши! С вами каши не сваришь. Ребя, назад? — обратился заводила к дружкам.— Тут нас не поняли.

Он двинулся к своей машине, весьма гордым и решительным шагом двинулся, так что медлить было нельзя, и тесть, отделившись от стариков, дружески подхватил его под локоть, на ходу успокоил и отвел в сторону. Не повышая и не понижая тона, вразумительно разъяснил обстановку:

— Виктор, послушай, не горячись...— Тесть уже выведал, как зовут рослого.— На нулю кукуем, ясно? — Поднимаясь на носки и доверчиво заглядывая шоферу в лицо, тем не менее он продолжал удерживать его за рукав пиджака.— Хватанули б мы, скажем, по десятку бидонов — тогда другой табак. Разве б мы стали мелочиться! Мы не жадные, не поскупились бы. А насчет километража ты, Виктор, загнул. Я сам был председателем — не гляди, что я сейчас низко подпоясанный. Был! Вникни: мы же заплатили за всю дорогу в два конца?

— Ладно, какая ваша цена?

— Обыкновенная: пятнадцать рублей. Ни больше и ни меньше. Берите и даром не спорьте. Цена красная. Я в своем колхозе, бывало, за год людям столько не платил, а вы, понимаешь, куражитесь. За одну ночь — нате вам на блюдечке по пятнадцать на брата. Подумай, Виктор. Ты, я вижу, парень головастый.

— Жены нас дома засмеют!

— Вы их не дюже поважайте. Не в рубле счастье — в совести. Понял? Берите. Водкой, закусочкой угостим. Дело житейское. Мы же в курсе, чем шоферская душа веселится. Не дурни.

Виктор помялся:

— Согласятся ли ребята. Пойду потолкую.— И прибавил: — Только из-за вас! Вы мне понравились, папаш. Мой отец тоже председателем был.

— Вот видишь. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдутся. Ступай, Витя, и не раздумывай,— тесть похлопал его по спине.— Водку сейчас отдавать или потом возьмете?

— Потом.

Виктор быстро вернулся и объявил о согласии товарищей с условием стариков, но прибавил, что водку они пить не собираются, а возьмут ее с собою в Лесную Дачу. Это устраивало нас. Шоферы зажгли фары, тьма отодвинулась к кустам. Гордеич с тестем, не мешкая, влезли наверх и скомандовали, чтобы им подавали стены от разобранной будки Гордеича. Первой мы грузили его пасеку. Продольные стены поставили вдоль бортов, заднюю — у кабины. Старики начали принимать ульи. Шоферы с боязливой вкрадчивостью подходили к ним, прислушиваясь к злому гулу, неумело брали и, спотыкаясь, несли к машине. Невесть откуда вылетевшая пчела ужалила Виктора, он вскрикнул и едва не выпустил из рук свой край — я удержал покачнувшийся стояк.

— Не бойсь! — задорно хрипел Гордеич.— Это лекарство!

— У, зараза! — ныл от боли Виктор, подскакивая на одной ноге.— В гробу я видал такое лекарство! Больше ни за что не соглашусь перевозить пасеку. Ни за какие деньги!

Боль унялась, и он снова таскал ульи. Пчелы изредка жалили и меня, но я уже притерпелся к укусам и сносил их молча, как истинный пасечник. Давали они жару и

старикам, которые укладывали ульи в четыре этажа, с проклятиями выволакивая их наверх. У них нечаянно отошла задвижка летка, из щели мгновенно выбились пчелы и впились в потную шею тестя, пока он сладил с задвижкой. Тесть не стерпел и ну материться! Гордеич, не подавая виду, что и ему вдоволь достается от заблудившихся насекомых, громко шутил:

— Ишь, как они тебе воротник пришивают. Любо-дорого... Ровная строчка!

— Мочи нету. Шьют так шьют! — Тесть давил на шее пчел.— Огнем строчат.

— Терпи, казак. Не обрывай нитку. Еще подпустить, Федорович?

— Не додумайся... Тихонько, ребята!

Мы с Виктором подали им лежак. Они приняли его за углы, кряхтя и чертыхаясь, и плотно придвинули к борту. Бесом вертелся наверху горячо изжаленный Гордеич, козырял своим равнодушием к укусам, поминутно покрикивал и давал отрывистые команды; тесть охал, сопел и ворчал, отирая пот со лба и шеи. Мы с Виктором приноровились, ловко таскали и ловко вскидывали ульи на дно кузова. Один Матвеич никуда не торопился, спокойно прохлаждался внизу и, вроде был над нами за старшего, без конца повторял:

— Так, взяли... понесли. Вот!

Управились. Гурьбою, не давая себе остыть, перешли к соседней машине, с более просторным кузовом, и взялись грузить нашу пасеку. С нею возились дольше: пока уместили тяжеловесные стояки на горбатых лежаках да побросали наверх вещи, время подвинулось к одиннадцати. Непредвиденная заминка выбила нас из колеи. В спешке никто из стариков не удосужился закрыть летки у приписных, которые мы решили поставить на эту большую машину. Я задвинул планки на двух приписных, наклонился над третьим и в страхе отшатнулся: на лицевой стороне черным клубком ворочаются, угрожающе зудят пчелы! Виктор отпрянул к кустам, в темень. Стали судить-рядить: что делать? Как их загнать в улей и закрыть леток? Матвеич по нужде удалился в лес и не показывается на свет. Тесть не слезает с машины, боится: он уже принял повышенную дозу яда. Конечно, никому не хочется страдать из-за приписных.

— На шо мы их только брали?! — хрипит Гордеич.— Надели хомут на шею.

— Понадобятся,— говорит тесть.— На подсолнушки к кому поедем?

— Ох ты умник! Слазь! Загони!

— Их надо водой облить.

— Ну, слазь! Обливай! А-а! — потешается над тестем Гордеич.— Кишка у вас тонка. Тот обхватил пузо и в лес побег, а ты на Петра киваешь. Слазь!

Тесть стоит в кузове не шелохнувшись.

Взыграла в Гордеиче отвага. Он спрыгнул наземь и попытался было окурить пчел дымарем, но они еще сильнее взбудоражились, валом повалили из летка на свет, расползлись по корпусу.

— Выключите фары! — не своим голосом завопил Гордеич, отскакивая от улья. Видно, доняли его кубанские приписные пчелки.

Фары потушили, тьма осела на просеку. Встревоженные дымом и нашими голосами, пчелы вслепую метались в воздухе, натыкались на нас и нещадно жалили, сослепу падали под ноги в траву.

— Ай! Ой! — неслись голоса, нагнетая панику.

Я надел кожаные рукавицы, на лицо сетку и, посвечивая фонариком, нащупал металлическую планку, с силой надавил и подвинул ее вперед. Планка сломалась.

— Замазывай щель! — велел мне тесть.

Я отыскал алюминиевую чашку с разведенною желтой глиной, вгорячах скинул рукавицы и начал заделывать щель, давя и смешивая с комками глины вылезающих пчел. В пальцы впивались жала и били словно электрическим нервным током, но я пренебрег болью и как бы не чувствовал ее. Наконец щель была замазана. Отерев глину, я снова надел рукавицы и подавил оставшихся пчел. Они хрустели под кожаными рукавицами, как снег под каблуком в морозное утро. Через минуту все было кончено. Зажглись фары, и вылез из кустов Матвеич, затягивая на животе пояс. С его помощью мы подали и этот злополучный улей.

Свои ульи он полез укладывать сам, заменив тестя. Пасека у Матвеича удобная, мы погрузили ее за полчаса. Осталось увязать ульи веревками. Это кропотливая и сложная работа. Без опыта и сноровки тут не обойдешься. Опять незаменимый Гордеич несколько раз диким котом взбирался на самую верхотуру, накидывал петли, продевал веревки сквозь кольца, отдавал нам концы и

торопил утягивать. Что бы мы и делали без него? Увязал надежно и, едва держась на ногах, зло хрипя, пошел заводить «козла».

Матвеич приманил Жульку, поймал ее и посадил в «Победу» вместо пассажира. Он тронулся первым, указывая путь шоферам. Как человек медлительный и невозмутимый, он будет охлаждать их пыл умеренной ездой: пчелы требуют осторожного обращения в дороге. Тесть уселся в кабину к Виктору, я поехал с Гордеичем. Его «козел» замыкал колонну.

Сначала мы ехали грунтовой дорогой, едва-едва. Затем потянулась серая лента асфальта, скорость возросла, грузовики пошли бойчее. Ветер туго бил в переднее стекло, надувал брезент.

Мы двигались на юг.

На краю черного неба сухо и немо вспыхивали зигзаги молний, в текучем белом свете, на миг озарявшем пространство, колыхались мглистые тени дождя. Тени желанной удачи. «Где льет, там и мед»,— вспомнил я поговорку тестя.

Мы мчались вдогонку за тенями, то вдруг возникавшими привидением перед глазами, то снова надолго исчезающими во мраке. Это была молчаливая, но страстная и захватывающая погоня.

...Асфальт почернел, залоснился, пахнуло сырым холодком, и мы поняли, что заскочили в полосу недавно бурлившего ливня. Была глубокая ночь.

Неподалеку от хутора Беляева мы настигли «Жигули» охристого цвета и две грузовые машины с ульями. Миллионера с Филиппом Федоровичем не было: он его бросил. Машины стояли на обочине мокрого асфальта, от него сбегала вниз, во тьму, раскисшая дорога. Филипп Федорович ходил по ней в резиновых сапогах, пробуя грунт, можно ли проехать. Он увидел нашу колонну, полоснувшую светом и выхватившую его фигуру из грязи, как-то неестественно, нелепо замахал руками, потоптался и, согнувшись в пояснице, метнулся через кювет на асфальт.

— Здорово, Филипп Федорович! — раздался голос Матвеича.— Боишься застрять? Едь! Не сильно раскваснло.

— И вы... и вы сюда? — задохнулся обескураженный Филипп Федорович.

— Сюда. Ветром занесло.

— Молодцы...— едва выдавил из себя Филипп Федорович.— Молодцы, что приехали.

Не попрощавшись, Матвеич сел за руль и погнал дальше, к развилке. Скоро он замигал красными огоньками.

— Гордеич! Едь первым!

Гордеич обогнал колонну, с ходу перемахнул через кювет и, поддавая газу, разбрызгивая жидкую грязь, рывками заюлил вдоль лесополосы. По его следам медленно потянулись грузовики.

К утру мы выставили ульи. Старики расплатились с шоферами, тесть сунул лишнюю пятерку от себя, отдал им водку и целлофановую сумку с закуской. Не поблагодарив, они ушли к машинам, развернулись и, побуксовав на скользкой траве, зло вырвались на асфальт.

— Обиделись,— вздохнул тесть.— Конечно, мало заплатили.

Грязный, в размякших туфлях, я почувствовал невероятную усталость и ноющую боль в изжаленной руке: от яда она распухла до локтя. Напяливать будку у нас не хватило сил, мы расстелили шубы и как убитые, в чем были, завалились спать.

II

ХУТОР БЕЛЯЕВ

9 июня

Беляев — типичный степной хуторок, уютно укрывшийся за отлогами склонов на дне балки. Он делится на верхний, с редкими, вразброс, старыми хатами, и нижний, более населенный, с новыми домами. Между верхней и нижней частью вкраплено круглое озерцо; в нем плещется детвора, крякают утки, снежно белеют гуси, а на берегах в грязной жиже, в иле с удовольствием роются свиньи. Справа по распадку, затянутому осокой и камышом, струится едва приметный издали ручей. Он впадает в озерцо и бурно вытекает из него через трубу. Живительная вода, постепенно светлея, освобождаясь от мути, серебряной ниткой прошивает плетни, огороды, играет осколками солнца в садах.

Я несколько раз спускался в балку, к озеру, с надеждою нечаянно встретить дочь Гунька, но она почему-то

нигде не показывалась; тогда я брел вверх по распадку, до фермы, напротив которой устроена запруда, между желтовато-серыми глинистыми кручами. В воде по краям запруды зеленела осклизлая лягушечья икра, колеблемая зыбкой рябью, а из железной трубы упруго била в твердое дно чистейшая теплая струя. В зной я раздевался, сбегал по выбитым ступеням и, вмиг обданный слепящим каскадом, подолгу купался, а после загорал на каменной плоской лежанке. Зной спадал, я прекращал купанье и, ободренный, шел в гору, на нашу сторону балки. Позади меня, на самом верху склона, прилепилась пасека Филиппа Федоровича, чуть ниже, на дне, на краю верхнего хутора, сквозь ветви сада пестрели ульи Гунька. У лесополосы взблескивала оцинкованная крыша нашей будки...

Степь, напоенная ароматом разомлевшего чебреца, стрекотала кузнечиками и тонко звенела в вышине струною жаворонка. Здесь все зацветает позднее, чем в Лесной Даче. Еще желтеет лохия в лесополосе, хотя пчелы ею пренебрегают — они садятся на стебли бабки, с основания до макушки облепленные мелкими свекловично-сиреневыми бутончиками, на белые клубочки шершаво-грубой шандры (старики называют ее беляной), впиваются в длинные тычинки синяка, опушенного светлыми волосками. И все реже, неохотнее улетают в бледно-розовые поля эспарцета. Немного мы опоздали, он отходит, блекнет на глазах. Но все равно здесь лучше, чем в Лесной Даче. Появилась надежда!

После того как мы перебрались сюда, несколько суток подряд у меня ныла рука, я плохо спал и часто пробуждался среди ночи в сильном жару. От ужаливаний схватились водянистые волдыри, жгли и мучили меня. Сейчас опухоль спала. Однако и в первое утро я не хотел выказывать слабости. Только засветлело, я вскочил с шубы и, пересиливая боль в едва сгибавшихся пальцах, начал со всеми расставлять ульи, теперь летками на северо-запад — от господствующего восточного суховея. Потом мы надели сетки и выпустили на волю пчел. Черными тучами они носились над пасекой, ориентируясь в пространстве и запоминая местоположение ульев. В воздухе висел слитный, мощный гул, какого я ни разу не слышал. Отбежав далеко от пасеки, мы глядели во все глаза на пчелиный праздник освобождения. Пчелы ознакомились с непривычной обстановкой, провели разведку

в ближние поля и, прекратив облет, устремились за взятком. В первый день они принесли восемьсот граммов, во второй — килограмм.

— Скоро я буду качать. Вдруг обрежеть взяток, не дадуть ни капли,— сказал Матвеич.

Гордеич у своей будки сделал пристройку, обтянув ее запасным брезентом, насобирал в лесополосе гнилушек для дымаря, наточил ножи. Он серьезно готовился к качке. Матвеич до блеска надраил порожние фляги песком. А мой тесть, обнаружив в одном улье зрелую гроздь маточника, спешно устроил в четырех лежаках отводки — по три-четыре рамки с пчелами, отделенными от основных семей глухими диафрагмами. Срезал гроздь, выбрал из нее крупные, хорошо развитые маточники и распределил их по осиротевшим семейкам, искусно приклеив к сотам. Восковые «коконы» проклюнулись, и вывелись молодые матки. Семейки ожили. Рабочие пчелы стали активнее летать за пыльцой и нектаром. Удивительное создание пчела. Казалось бы, не все ли равно ей — с маткой или без матки. Век пчелы скоротечен: летом, в период интенсивного взятка, он длится пять-шесть недель. Но велик инстинкт сохранения рода, ему подчинены все другие инстинкты, вся неукротимая энергия пчелы. Она не рассуждает, она просто живет. Ей легче, нежели моему тестю.

Перед качкою Гордеич с Матвеичем уговорились съездить домой за медогонками. В последнюю минуту тесть надумал подсыпать картошку на даче, мигом выветрился из будки, присоседился к Гордеичу, и «козел» бойко покатил к асфальту в сопровождении голубой «Победы». Мы с Жулькой остались караулить пасеку. У нас дело привычное.

И вот я брожу по степи, купаюсь под трубой и, поднявшись на курган, смотрю из-под ладони на верхний хутор.

Вчера был жаркий день, с палящим ветром. Активность пчел снизилась. Солнце клонилось к горизонту, а стрелка весов колебалась на нуле. Старики вернутся — не возрадуются. Я проверил отводки. В них, к счастью, кипела жизнь. Молоденькие матки не потерялись, деловито сновали по сотам в окружении услужливой свиты. Наверное, некоторые из них успели вылететь на свидание с трутнями, оплодотворились и готовятся сеять яйца на дне пустых ячеек. Нужно за этим проследить.

Перед закатом я вышел на курган и вдруг увидел невдалеке от себя ее. Держа туфли в руках, она с ловкостью горной серны спускалась в балку, иногда легко прыгала и оглядывалась назад; волосы ее золотились. Она обернулась, я помахал ей рукой. Она замедлила шаг и пристально глянула в мою сторону, отчего мне стало не по себе, но тут же отвернулась и проворно побежала к ручью. Скоро она скрылась за деревьями тутовника.

— Эгей! — прокричал я ей вслед, но она не отозвалась.

Я стал думать: она или не она? Та же стройность гибкой фигуры, те же волосы, небрежно кинутые за плечи, и гордая, быстрая, несколько диковатая походка. Зачем она сюда приходила?

И ночью, под стрекотанье кузнечиков, испытывая одиночество в бесконечной степи с редкими мигающими огоньками, я думал о дочери Гунька. В полночь я вспомнил о непроверенном контрольном улье, вышел наружу и посветил «летучей мышью»: триста граммов. Не густо. Хорошенькая новость ждет стариков.

Наутро приехавшие Гордеич с Матвеичем передали мне еду, белье, чистую постель и сообщили, что тесть травит на даче колорадского жука и приедет попозже. Слабый взяток вывел из равновесия стариков, но все же оба настроились на качку.

В полдень Гордеич решил выведать, как дела у Гунька, подмигнул мне и сказал:

— Хочешь поглядеть на Гунькову дочку? Айда со мной.

Мы сели в машину и покатили в хутор.

Гунько принял нас холодно, с нескрываемым безразличием. После неоднократных намеков Гордеича провел нас мимо побеленной хаты в сад, к ульям. У одного из них колдовала его жена в рыжих вельветовых брюках, с поднятой на лоб сеткою. На круглом ее лице с неподвижными, застывшими чертами угадывались следы былой, безвозвратно поблекшей красоты. Она не удостоила нас приветствием и продолжала рассматривать рамки, облепленные пчелами. Гунько был сутулый, крепкой кости старик с птичьим лицом и горбатым ястребиным носом. Ходил он слегка подавшись вперед и вытягивал морщинистую желтую шею, землисто-восковые руки держал опущенными. Говорил скупо, с раздражением. Нужно было

дважды повторять вопрос, чтобы он ответил на него. Одет он был в серый хлопчатобумажный костюм с огромными засаленными карманами на куртке, обут в парусиновые туфли на босу ногу. Голову его венчала грузинская, блином, фуражка, под козырьком блуждали водянистые глаза.

По ярко-зеленой отаве сада, роскошными веерами распустив хвосты, вышагивали сытые индюки, во дворе копошились в пыли черногрудые куры, в луже у деревянного корыта повизгивали рябые поросята. Гордеич намеренно громко жаловался на жару, на плохой взяток.

— Все от господа бога,— Гунько поднял к небу лицо и закатил глаза.

— Шо у вас, Феофилактыч?

— Ась! — Гунько прислонил ладонь к уху.

— Сколько на контрольном?

Гунько опустил руку и бровью не повел, будто не расслышал.

— Сколько, говорю, вчера накапало?

— Слабо! Пятьсот грамм.

— У вас хорошо.

— Низина.

— Не дадите мне матку на развод? — не позволял ему передышки, репьем лип Гордеич.

Гунько молчал.

— Матку завалящую не дадите?

— Одному продал, матка у него в кармане окочурилась. Оторвали от семьи, стосковалась. Ее кохать надо, а он, дуралей, задушил... Другой у меня расплод метил купить. Я не поймался на удочку. Кто дает расплод весной? Тоня! Тоня! — вдруг замахал руками Гунько и весь затрясся, поперхнулся в разгневанном крике: — Где ты? Порося в капусте!

Из хаты тотчас выпорхнула в ситцевом платье Тоня с развевающимися конопляными волосами, влетела в огород и выгнала поросенка. С визгом проскочил он мимо нас, кувыркнулся через корыто и шмыгнул в крапиву изгороди, едва державшейся на подгнивших кольях. Тоня издали кивнула нам, зарделась и стала обрывать с ветки поспевшие вишни. Я подошел к ней, она вскинула на меня синие глаза и отступила за ствол дерева; ее зрачки потемнели, мелькнуло в них подавленное улыбкой выражение растерянности.

— Мы с вами уже встречались. Помните Лесную Дачу? И еще я видел вас у кургана, перед заходом солнца.

— Помню. Так это вы свистели мне вдогонку! — с кокетливой сердитостью сказала она.

— Я не свистел. Я крикнул.

— Все равно. Это не делает вам чести.

Она выглянула из-за листьев и смерила меня взглядом беспокойных, чутко-внимательных глаз, сиявших безобманной искренностью, нежной, западающей в душу озерной синевой.

— Вы тоже пасечник?

— Временно — да. Но в общем-то перед вами художник. Прошу любить и жаловать.

— Художник? Вы ищете колоритные типы?

— Видите ли, я сам принадлежу к любопытным типам.

— Вот что! В таком случае что же вы за тип? — В уголках ее по-девичьи влекущих губ затаилась усмешка.

— Я постараюсь ответить на этот вопрос как-нибудь в другой раз.

— Не терплю игры! — вдруг сказала она.— Не стремитесь быть актером. Это вам не идет.

Гунько, осторожно следивший за нами из-под козырька фуражки, тотчас позвал:

— Тоня! Дочка! Ступай в хату!

— Извините.— С мягкой полуулыбкой она оттолкнулась обеими руками от ствола и пошла, гордо неся свою красивую голову.

Выходя из сада, я успел сказать ей:

— Если вы хотите скрасить одиночество, я жду вас у озера. Сегодня вечером. До свидания.

Она с пренебрежением отвернулась. Но, садясь в машину, я перехватил ее пытливый, мгновенно скользнувший взгляд.

— Ну как, Петро? Понравилась Гунькова дочка? — отъехав от хутора, простодушно спросил Гордеич.— Не пугайся, батьке не скажу.— Он засмеялся.— Понимаю. Сам был молодой. У-у-у! Стрелял по девкам — аж держись! Ни одной промашки. Гунько, как увидал вас вдвоем, весь почернел. Дрожит, старый хрыч, за дочку.

— Мать у нее строгая. Даже не поздоровалась.

— Она больная. Отнялся у нее язык.

— Немая?

— В войну контузило. Но Гунько ее не бросил. По

всем больницам возил лечить, московским профессорам показывал. Малость отошла, кое-какие слова выговаривает.

11 июня

...Степь звенела кузнечиками, в лицо веяло запахом разомлевшего чебреца, звезды глядели на землю пристально и будто прислушивались к вечерним звукам. Сердце мое билось все сильнее. На дне балки сквозь пелену тьмы мерцало озеро, иногда я почти явственно видел у береговой кромки летучий очерк ее платья; душа моя наполнялась невыразимым счастьем, я убыстрял шаги и бежал до тех пор, пока ее образ стоял перед глазами, пока тьма не смывала платье. Так повторялось несколько раз: видение то возникало, то вновь исчезало, растворялось на фоне смутного блеска.

Оно обмануло меня. Тони на берегу не было: ночью в степи случаются невероятные миражи. Дважды я обошел вокруг озера, постоял у трубы, в которой неумолчно клокотала вода, и с чувством обиды, разочарования повернул назад.

У лесополосы навстречу мне выступил Матвеич.

— Кто это? — спросил он для верности несколько смущенным голосом.— Не вы, Петр Алексеевич? Гуляете?

— Гуляю.

— Наскучило бирюком жить на пасеке? Небось домой тянеть, к жинке под бочок.

В его руках блестели горлышки пустых бутылок. С первого дня, как мы приехали сюда, он собирает в лесополосе стеклянную, отечественного производства, посуду, чтобы сдать ее в какой-нибудь ларек на деньги.

— Сегодня у вас богатый улов. Целая дюжина!

— Не пропадать же добру. И мне и государству польза,— рассудительно молвил Матвеич.— Тут всякие бывають... засоряють кусты склянками. Кому-то ж надо убирать мусор, наводить на земле порядок. Вы-то, Петр Алексеевич, небось не согласитесь! — Его голос прозвучал насмешливо.

— Почему?

— Так у вас кость вроде не та. Белая. Вы как-никак образованные. И мой сын, учитель, такой же. Отца стыдить за бутылки, а денег на холодильник — дай. Так-то, Петр Алексеевич. Бутылочки собирать совестно, из горлушек вонь, и грамота не позволяеть, а цыганить, поби-

раться у родителей — это не стыдно. Мода на иждивенство пошла. Дай и дай. Попробуй откажи — смертельная обида. Раскошеливайся, дед. Снохе сорок годков, сама уже бабушка, а на французскую помаду ей отвесь, внукам покупай гитары... Не держится у нас копейка. Не-е! Мы в таком возрасте сами себя ублажали, вывертывались.

Матвеич умолк, как бы собираясь с новыми мыслями. Тонким, едва различимым звоном напоминали о себе бутылки, бережно прижатые к груди. И вдруг, приблизив ко мне лицо, так что я отчетливо различил его глаза с прожигающим сухим блеском, осторожно поинтересовался:

— Смотрю я на вас и думаю: зачем вы на пасеке? Рисовать не рисуете, отдыхать скучно. Тогда что вас, молодого, тут держить?

— Угадайте.

— Угадать? — Матвеич вновь приблизился ко мне.— Попробую, хочь я не цыган... Жизнь, Петр Алексеевич, простая. Собрал я бутылочки и несу. Зачем? А рябчики не помешають, не заважуть кармана. А вы? Вы тоже улики ворочаете с пользой. Федорович пообещал выручкой поделиться. Так?

— Вы провидец.

— У Федоровича не залежится,— с чувством непритворного сожаления произнес Матвеич и звякнул бутылками.— Опять дед раскошеливайся... А медок-то убываеть. Нечем губы помазать. На контрольной смотрели?

— Нет.

— И не старайтесь. Ноль без палочки. Сухота! Ночь душная. Роса не выльется.

Мы задержались у его будки, послушали треск полусонного кузнечика, посмотрели на истекающий белым светом Млечный Путь, косым поясом перехвативший небо. Будто издалека, из глубины балки донесся до меня вкрадчивый шепот Матвеича:

— Рази художникам мало платють?

— Жаловаться грех.

— Значить, плохо рисуете, — твердо заключил Матвеич.

Он повернулся ко мне спиною и зашагал к будке. Стеклянные звуки, долетевшие изнутри, весело подтвердили, что гора бутылок выросла еще на вершок. Матвеич вышел наружу, озаренный электрическим светом, и на-

чал деловито, с кряком завязывать мешки с чебрецом. Скоро у верующих христиан церковный праздник — пресвятая троица. Станут они молоденькими ветками березы украшать углы комнат, устилать чебрецом полы и подоконники. Тут-то и понадобится душистая травка, нарванная в степи Матвеичем и Гордеичем. Отвезут они туго набитые мешки домой, жены рассортируют ее, снесут на базар и нарасхват пустят пучками.

Увязав мешки, Матвеич наклонился, с удовольствием зажмурился и шумно потянул носом ароматный воздух:

— Ух, Петр Алексеевич! Пахнеть! Аж в ноздрях щекочеть. Он, когда привянеть, прямо сатанееть. Понюхайте!

— Чую. Сильный запах.

— А то! Такой чубрец одним пыхом по рукам расплывется. Золото! — Матвеич приложился щекою к мешку, любовно и ласково огладил его ладонями, как живого поросенка, отправляемого на жаркое, шмыгнул носом и заразительно, громко чихнул.— Люблю я, Петр Алексеевич, чубрец. Благородная травка. Раструсишь ее дома — дышишь не надышишься. Сердце отдыхаеть.

На следующее утро, только облетелись пчелы, Матвеич наладил медогонку, затянул проем двери простыней и, облачившись в крахмально-свежий халат, а на голову водрузив сетку, будто священник кадилом, помахал дымарем и снял с лежака крышку...

Он работал серьезно. Перед тем как вынуть рамки, основательно усаживался на стул, напускал в леток горьковатого дыму и ждал, пока пчелы, инстинктивно страшась «пожара», наберут в зобики мед и утихомирятся. Рамки из гнезда он вытаскивал с великой осмотрительностью, не стучал и не делал резких движений, выбирая на откачку самые медовые, с побелкой, но, прежде чем опустить их в рамонос, сквозь очки тщательно ощупывал соты, выискивал матку и, не найдя, с облегчением вздыхал... Произведя пять-шесть таких уморительно сложных манипуляций, он опять сжимал мехи дымаря, окуривал улей, вытаскивал отобранные рамки и мягким ударом в угол верхнего бруска отряхивал в гнездо гудящий клубок. Оставшихся на сотах пчел смахивал мокрым гусиным крылышком. Чистые рамки ставил в другой рамонос, который бегом относил Гордеич в будку.

В противоположность Матвеичу, Гордеич не особо церемонился. Он выхватывал рамку из ящика, кривым но-

жом мигом срезал с обоих боков восковые крышечки и, не уронив ни капли из распечатанных сот, закладывал в медогонку. Проделав то же самое с остальными тремя, вращал ручку, сверкая в напущенном дыме своим золотым зубом. Спустя несколько минут он выныривал из будки и возвращал Матвеичу «провеянные» рамки, но тот не торопился принимать их и устанавливать обратно в гнездо. Его невозмутимость и обстоятельность задевали Гордеича, он нервничал и кидался на помощь — Матвеич останавливал напарника хладнокровным жестом хозяина:

— Я сам. За нами никто не гонится.

— Ёк-макарёк! — распалялся Гордеич, дрожа от возмущения.— Когда ж мы так кончим!

— Пчела суетни не любить,— поучал его Матвеич, морщась от дыма.— Кончим. Поспешишь — людей насмешишь. Одна вон тетка поспешила — семерых родила.

— Ты мне зубы не заговаривай. Давай шевелись.

— А что?

— То! Не одному тебе качать. Погода испортится!

— Не должна б...— Матвеич глядел на ясное небо, передвигался со стулом к соседнему улью.— Не качка — слезки. Очередь только отбываем.

Старики углубились в работу, мне стало одиноко. На контрольном все еще держалась убыль. Наверное, судьбою уготовано мне иным способом добывать кусок хлеба насущного: ставка на мед проваливается. «Не ропщи и ни с кого не взыскивай,— нашептывает мне внутренний голос.— Наберись мужества. Смиренно тяни упряжь свою в каменистую гору».

Нет, право, одно удовольствие — иронизировать над собою в безвзяточный период! Иногда меня берет искушение, вдруг нестерпимо хочется сесть за мольберт, но я не верю в эти порывы, превозмогаю и останавливаю себя: нельзя, холст будет испорчен. Не то у меня душевное состояние, нет во мне спокойной ясности, необходимой для творчества.

В другой раз, в другой раз...

Впрочем, мысли мои омрачились после того, как Тоня не пришла к озеру. Я все-таки хочу увидеть ее. Зачем? Вполне вероятно, меня привлекает загадочность ее одинокого существования в степи, ее молодость.

В полдень, искупавшись под струею ручья, я бродил по балке. Иногда думалось: искать с нею встречи в моем

положении, в положении женатого мужчины, нехорошо, но тут же я убеждал себя в обратном: нет ничего худшего, чем подавлять естественные желания, подчиняться условностям, ведь я ничего дурного ей не сделаю и не могу, не в состоянии сделать. Обогнув камышовое ржавое болотце, я вышел к старым тутовым деревьям, росшим на левом берегу ручья, на месте бывшей усадьбы. Я поднял голову и увидел Тоню. Наклонив ветку, она рвала почерневшие ягоды, одетая в прежнее ситцевое платье, но туфли на ней были коричневые, на низком каблуке. Почуяв за спиною шорох моих шагов, она вздрогнула, выпустила из рук ветку и в растерянности обернулась. Она молчала, прямо глядя на меня своими расширенными синими глазами.

— Вчера я был у озера. Ждал вас до полуночи.

— Я видела вас,— сказала она.

— Видели и не пришли!

— Да. Видела и не пришла. Я не люблю случайных знакомств... Так что же вы за тип? — спросила она и уселась на склоненную к земле ветку.

— Я художник. Приехал на пасеку помогать отцу.— Я подошел к ней ближе.— А вы? Кто вы?

— Никто. Вы же видели. Гоняюсь за поросятами.— Она заслонилась ладонью от солнца и сощурила веки.— Летом я живу с родителями на этой даче, осенью и зимой коротаю дни дома, в хуторе Сливовом. Мы там купили хороший дом, с садом.

— Вы где-нибудь учитесь?

— Нет,— быстро ответила она,— не учусь. В прошлом году я сдавала экзамены в педагогический институт, и вдруг телеграмма: тяжело заболела мама. Я бросила все и вернулась домой. В войну наша семья попала под бомбежку, двух моих старших братьев убило, а мама...— Голос у Тони оборвался, она закусила побледневшие губы и усилием воли сдержала навернувшиеся на глаза слезы.— Вот,— через некоторое время сказала она и слабо улыбнулась.— Теперь вы знаете всю мою биографию. Как видите, она у меня простенькая. Я — домохозяйка, а вы художник. Нам не о чем с вами говорить. Так же? — Ее глаза испытующе, строго глядели на меня.

— Ваша судьба в ваших руках,— с жаром заговорил я.— Только не поддавайтесь обстоятельствам.

— Что ж вы советуете мне делать?

— Учиться. Вам нужно учиться. Готовьтесь к экзаме-

нам. Попробуйте снова поступить в институт. Пробейтесь туда во что бы то ни стало! Я помогу вам достать книги.

— Книги у меня есть, я их проштудировала от корки до корки.

— Тем лучше. И не раздумывайте, поступайте в институт.

— Это невозможно,— она приподнялась с ветки.— Отец просит доглядеть их. Без меня они умрут с тоски. Они только ради меня и живут.

— Но это самоубийство — губить молодость... все свои силы... ум! И ради чего? Ради каприза стариков! Вы же не совсем покинете их, будете приезжать. Нет, ваши родители не понимают, что из любви к вам губят вас окончательно. Ужасный эгоизм.

— Не говорите о них плохо, прошу вас! — вспыхнула Тоня.— Им нужно прощать слабости. У них была тяжелая жизнь, нам не понять ее.— Она прошла мимо меня в сильном волнении.— Мне пора.

Но, перепрыгнув через ручей, Тоня остановилась:

— Пожалуйста, не обижайтесь. Вы долго еще будете на пасеке?

— Месяца полтора.

— О! Тогда мы еще увидимся. До свидания! — Она улыбнулась и помахала мне рукой.

Больше она не оглядывалась назад, быстро шагала к хутору, почти бежала, изредка наклонялась и рвала цветы, пестрея ситцевым платьем.

12 июня

Вчера на попутной примчался тесть, свежевыбритый, в тонкой льняной рубахе и в начищенных до блеска туфлях. Он истребил колорадского жука на своей картошке, перед отъездом на пасеку попарился в новой красногорской бане. Однако наши вести поубавили в нем бодрости. Тем не менее тесть угостил нас пирожками с печенкой и, так как мы несколько дней подряд не ели горячего (ни Гордеич, ни Матвеич не варили, сберегая продукты, а я был плохой повар), сготовил борща из молодой капусты, и мы отлично пообедали. Матвеич не принес меду, сказал:

— После разговеемся.

До вечера мы с тестем вырезали трута, а компаньоны «трусили» рамки. Незаметно легли сумерки. Матвеич, сняв халат, не спеша собрал ужин, выставил на стол бу-

тылку самодельного коньяка (хранил для торжественного случая), налил в чашку меду и позвал:

— Эй, пчеловоды! Идите отведаем медку.

Деревянной ложкой он зачерпнул мед, высоко поднял ее и опрокинул: стекало медленно и тягуче, слой наворачивался на слой.

— Зрелый... вязкий,— похвалил тесть.

— Да маловато,— вздохнул Матвеич.

Мы обмакнули куски пшеничного хлеба в янтарно-светлый мед и, ни капли не уронив, облизнули его, подержали, как истинные гурманы, во рту, одобрительно закивали и разом, наперебой стали нахваливать его запах, вкус и цвет, не замутненный примесями, чокнулись и с сознанием важности момента, степенно выпили за первую качку.

— Завтра я обдеру своих, пока они добренькие,— объявил Гордеич.— Была не была! Резвее будут шевелиться, а то зажирели.

— Я подожду,— сказал тесть.— Погодка наладится, дождик сыпанет — гляди, и поднесут килограмма три.

Матвеич внимательно, с оттенком превосходства глянул на него сквозь очки, посоветовал:

— Не тяните, Федорович. Как бы хужей не стало. Хочь старый мед вытрусите. Задайте им пару.

— У тебя пчелы сильные, а у меня заморыши. Нуклеусы. Равняешься... Что с них толку? Я на этот год не надеюсь. Мне бы пчелишек к новому сезону выходить. До ума довести.

— Федорович! — рассердился Гордеич.— Вечно ты ноешь. Не хочешь драть — не дери. Тебя никто не принуждает, не ной.

— Я подожду.

— Вольному воля, спасенному рай. Ух, Федорович, какой ты! Не люблю я тебя за нытье.

— Качать надо,— рассудил Матвеич.— На подсолнухи ехать, не забывайте. Рамки оборвутся... Ясное дело, рази это мед? Курям на смех. Пальца не обмочишь. Дорого в этом году достается медок. Дорого. Утрачаемся на транспорт, а все без толку. Дождя нема. Обегаеть нас.

— На подсолнушках наверстаем,— не унывал Гордеич.— Моя жинка задание мне дала: умри, а восемь фляжек набей. Мне, братцы-кролики, совестно домой пустым ворочаться. Слово дал. Она мне голову загрызет, из хаты вытурит.

— Строгая у тебя жинка,— Матвеич обежал его насмешливым взглядом.— Больше восьми накачаешь — не выгонить?

— С нашим удовольствием! Это ей праздник. Почище троицы.

— Все они за копейку удавятся. В кармане звенить — вокруг тебя на цыпочках ходють, будь ты рябой или косой. Увиваются, как коши. Перестало звенеть — шипять, коготки выпускають.

Гордеич защищал жену:

— Моя не дюже шипит. Отходчивая.

— А почему отходить, не замечал? Пятачок опять зазвенел в кармане!

— Тебе все пятачок да пятачок! Свет на нем клином сошелся. Не в одном пятачке правда, ёк-макарёк!

— И в нем.

Гордеич занервничал, и, видя это, Матвеич уступил, мягко, с усмешкою обмолвившись:

— Оно конечно, бывають и женщины разумницы. Твоя Марья Гавриловна зря не нашумить. Выдержанная.

— С третьей жинкой мне повезло,— горделиво вознесся Гордеич.— Живу с Гавриловной, как у квочки под крылушком. Раньше, бывало, раздухарюсь, разгуляюсь — все деньги по ветру пущу. Одним днем жил. Гавриловна надоумила: так нельзя, нужно и на черный день приберегать. Сберкнижку завел. С зарплаты, с калыма — кап и кап в нее. Кап и кап... Глядишь, за годок что-то и набежит. Веселее на сердце.

— Ясное дело, веселее. Теперь грех не откладывать. Соседи засмеють. У людей наросли большие вклады. Живуть на все сто, крюком их не зацепишь.

Тесть тыкал, тыкал вилкою в неподатливый редисовый кружок на дне тарелки, тучей хмурился и вдруг сорвался, громко и с возмущением заспорил:

— На все сто! Да разве это жизнь?! У таких посеред зимы снега не выпросишь. Ни себе гам, ни другому не дам. Умрут же. Что после них останется? Сберкнижка... Родственнички быстро ее растранжирят, вдобавок еще передерутся, навек рассорятся. Пыль уляжется — и конец. Жил-был человек и пропал. Сгинул без следа.

Гордеич с Матвеичем как-то неловко и загадочно переглянулись, с выжиданием уставились на тестя, настроенного весьма жестко.

— Все мы сгинем без следа, что об этом толковать,—

мягко обронил Матвеич и поправил дужки очков за ушами, из которых торчали пучки рыжеватых волос.— На то, Федорович, не наша воля. Придет час, и помрем. Никто не задержится на земле дольше, чем полагается ему.

— А я не помру!

Старики вновь мельком переглянулись, пожали плечами и посмотрели на тестя с некоторым сожалением, как на человека, лишившегося здравого смысла и не вполне нормального.

— Хо! Святой выискался! Раздувайте кадило... молитесь на него! Или ты, как Матвеич, перед сном маточное молочко пьешь?

Тесть важно сидел перед ними, расправив плечи и высоко держа голову, точно и впрямь обрел бессмертие и отныне вознамерился не покидать грешную землю с этой вечерней притихшей степью и просторным небом над нею, в котором одна за другою нарождались звезды.

— Не помру! — утверждал тесть с прояснившимся, одухотворенным лицом.— После меня колхоз останется... Дом культуры... дух! Обо мне еще вспомнят, не думайте. Неправда! Все равно вспомнят.

— И пенсию тебе министерскую начислят.— Гордеич откровенно издевался.— Ох, Федорович! Пророк. Привык арапа заправлять, никак не отучишься... Да, ёк-макарёк! Хрен старый! — с неожиданным озлоблением выпалил он.— Твой Дом культуры на курьих ножках завалят, а на том месте белокаменный дворец отгрохают. С колоннами. Люди будут на звезды летать, жик — и на Стожарах. О тебе ли им помнить, непутевый пасечник?!

— На звездах обживутся, а меня вспомнят добром,— упрямо твердил тесть.— Не может того быть, чтобы не вспомнили. Мы им жизнь наладили! Жалко, сам я не узнаю про это. Узнать бы! Из могилы бы высунуться да краем уха подслушать, как они о нас будут говорить.

— На что это вам, Федорович? — осторожно подкапывался Матвеич.

Лицо тестя сделалось мечтательным, по-детски трогательным.

— Хочется знать, правильно ли мы жили, вот зачем. Кто из нас прав. Не лечь бы в землю сорной травой.

— Ты, Федорович, прав. Ты! — Нервничая, Гордеич шумно отхлебывал борщ.— И не заботься. Я тебе говорю: ты!

— А по мне, так после моей смерти все одно, как я

жил,— сказал Матвеич.— Колоть не будеть, потому как я в бесчувственный прах распылюсь. За меня тогда нехай думаеть коза, которую выгонють пасть на мой бугорок. Эх, Федорович! Живите, пока живется. Наслаждайтесь травкой, цветочками... всем, на что смотрите. Земля-то во-он какая! — Он обвел рукою возле себя и кивнул в степь.— Красивая! Кузнецы кують, огоньки моргають. Тихо лишь бы на нас не напали. Надоело воевать. Дожить бы мирно век.

— Не нападут,— заверил его тесть.

Любят старики за рюмкою вина потолковать на обширные темы: о смысле жизни, о войне и мире, о политике. Русские люди — прирожденные философы. И в этот вечер они завелись надолго. Тесть появился в будке в полночь: по радио передавали последние известия. У нас тоже висит на стене транзистор — подарок тестю в День Победы от рабочих тарной базы, где он начальствовал. С глубоким уважением прослушав международные новости, он разделся и лег, в сумраке обратил ко мне лицо:

— Петр Алексеевич, не спишь? О чем думаешь?

— Так... Ни о чем.

— На твой взгляд, Латинская Америка двинется по нашему пути?

— Это зависит от многих условий. Трудно предугадать, когда это произойдет. Но должно произойти — по всем законам диалектики.

— Понимаю. Революции ускорять нельзя. Жалко!.. Сидит у меня одна, Петр Алексеевич, думка: дотянуть до этой победы. Боязно за Кубу. Как бы империалисты не насели на нее с четырех сторон. Это ж акулы кровожадные!.. Страна маленькая, с листок, а сердце за нее болит. Как за свою.

Порассуждав об этом, мы помолчали.

— Не спишь? — опять кружит надо мною извинительный шепот тестя.— Слыхал, Матвеич нам советует качать. Но мы подождем. Вдруг и правда поднесут? Он поверил, что я накачаю меньше. Пускай тешится! Еще увидим, кто кого общеголяет. У нас тоже есть соты с побелкой. Но я притворяюсь. Что вы, говорю, ребятушки! Куда мне до вас. У меня рамки черные. Смеются. Довольные. Я никогда не лезу поперед батьки в пекло. Так и в колхозе было. Другие надают обещаний и трубят во все дудки. А мы с парторгом берем умеренные обязательства (головастый был у меня парторг, Бойко Иван Тимофеевич!).

Не опозориться бы. Возьмем, а сами в уме настроены всех обогнать, особенно болтунов. И обгоняли! В лужу их не раз садили, аж брызги летели!.. Нанесет курочка яичек, тогда и подсчитаем сколько. А пока будем ее хорошенько кормить. По всем правилам рациона.

— Зачем вы их дразните?

— Да они ж отсталые! В другой раз не будут заноситься. Их надо, Петр Алексеевич, остегивать.

— Много Матвеич налил фляг?

— Он не говорит, а я не спрашиваю. На чужое рот не разеваю. Гордеич под большим секретом сказал: три. Мало! Погода нас подводит. Дождику бы.

Утром Гордеич приготовился к качке. Пчела отклубилась, уже пора было начинать, а Матвеич все не показывался из своей будки. Спал, что ли? Гордеич звенел флягами, насвистывал, расхаживая у пасеки, но идти и открыто звать напарника не хотел: не позволяла гордость. Наконец терпение у него лопнуло, и он окликнул тестя:

— Федорович! Так вы не будете нонче качать?

— Не будем.

— Петро, иди подсоби мне! — крикнул он обрадованно.— А то Матвеич закопался в нору, как крот, и не вылазит. Вжарить бы ему горяченьких по мягкому месту.

Медогонку Гордеич поместил в пристройке. Под краном была яма, он опустил в нее флягу. Выбрав рамки из крайнего лежака, он ловко стряхнул с них пчел, побежал и задернул за собою брезентовый край. Немедля вооружившись остро отточенным с обеих сторон длинным ножом, Гордеич обмакнул его в воду и буквально в течение минуты распечатал соты, да так, что не порезал их глубоко, и воск, истекая медом, лег на дно эмалированного ведра. Рамки он тут же вставил в кассеты барабана.

— Видал? Вот так и действуй. Крути, Петро!

Я схватился за гладкую ручку привода, нажал — и ротор загудел, кассеты замелькали, понеслись внутри бака вокруг оси. Мед брызнул на стенки, густо окропил их и медленно, тягуче потек вниз, на выпуклое дно. Гордеич понаблюдал за моей работой, проверил, как я переставил на обратную сторону рамки, откачал, вынул две пустые, заложил в кассеты, подготовленные мною, с медом, и выскочил наружу с бодрым напутствием:

— Гони! Расплод только не выкинь!

Я изловчился в несколько приемов под «лицо» верх-

него бруска распечатывать соты и с ходу, как учил Гордеич, закладывать рамки в проволочные кассеты. Он все подносил и подносил, я гнал без передышки, не выглядывая из пристройки.

За брезентовой стеной сквозь мерный гуд барабана пробился голос Матвеича:

— Что, Гордеич, в помощниках не нуждаешься? Подсобить?

— Поздно кинулся,— прохрипел Гордеич.— Мы сами управимся. Без курносых.

— Петр Алексеевич освоился?

— Не боги горшки обжигают.

— Верно. А меня нонче скрутило,— пожаловался Матвеич.— Жар... В ухо стреляеть. У тебя нету рыбьего жиру? Закапать.

— Нема! Давай гвоздану — сразу полегчает.

— Хе-хе-хе... Шутник! Мне, Гордеич, не до шуток. Бьёть! Хочь стой, хочь падай.

— Иди отлежись.

— Пойду. Гдей-то меня прохватило сквозняком.

Чем ближе было к обеду, ко второму облету, тем больше набивалось в пристройку пчел. Я выгонял их дымарем — они все равно лезли в щели, в дырки, полоумно метались, но не кусали: стойкий, приторно-сладкий запах меда растравлял их, притупляя инстинкт самозащиты. Я отпугивал их от бака — пчелы неустрашимо залетали внутрь, проваливались в кассеты либо ползли по стенкам, жадно впивались в мед и, вдруг обрызганные им с хоботка до ножек, увлекаемые ветром центробежки, вяло скатывались на дно, в тягуче колыхавшуюся гущу, нелепо барахтались в ней, изо всех силенок лезли на сухое, на волю. Но слишком липок был мед. Он обволакивал их пленкой, пчелы смирялись, покорно замирали в нем и гибли, сбиваясь в черную бесформенную массу. Пример погибших нисколько не действовал на живых, они лезли с тою же слепою одержимостью и, подхваченные страшной центробежной силой, падали в омут. Они гибли так глупо, в своем же тщательно дегустированном меду. Увидев, как я машу сеткой и отгоняю пчел, Гордеич рассмеялся и не велел мне тратить попусту время.

— Отгонишь эту, другая влипнет. Запомни, Петро: войны не бывает без потерь,— с ноткою назидания сказал он.— Чудак!

Он повернул ручку крана, сцедил мед через метал-

лическую сетку в флягу, ложкою сгреб захлебнувшихся пчел и без всякого сожаления выбросил их в кусты.

К вечеру мы нацедили две с половиною фляги.

— А Матвеич со своими чикался! — с неодобрением сказал Гордеич.— Я чуть не заснул у него в будке.

По неписаному правилу пчеловодов отмечать первую качку, теперь ужин собрал Гордеич. Стол его оказался щедрее и богаче вчерашнего: суп с крольчатиной и болгарским перцем, салат из редиски и лука со сметаною, нарезанное тонкими полосками сало и, разумеется, неизменная чашка меду. Угощал нас Гордеич уже знакомым виноградным вином. Опять горестно вздыхал и печалился Матвеич:

— Дорогой медок. Каждая капля — золотинка...

На стрельбу в ухе он уже не пенял: отлегло.

Слегка охмелев, старики вспомнили о войне, принялись рассказывать друг другу о том, на каких фронтах они сражались с фашистами, в каких переделках участвовали, наперебой называли фамилии своих командиров дивизий и корпусов, командующих армиями. И непременно получалось, что их лично имело честь знать и дорожило ими высокое военное начальство. Мой тесть не преминул поведать, будто однажды, будучи командиром стрелкового батальона, по команде «смирно» он приветствовал в землянке самого Рокоссовского и отвечал генералу армии на вопросы, крепка ли оборона противника и правильно ли засечены его огневые, особенно противотанковые средства в полосе наступления. Свысока окидывая нас заблестевшим оком, с волнением передал он всю беседу с командующим Первым Белорусским фронтом и прибавил как бы между прочим, что потом они вместе пили чай под грохот артиллерийской канонады.

— Я с командующими не распивал чаи, не доводилось,— признался Гордеич,— но командир полка знал меня отлично. Старшина хозвзвода! Главный человек по хозяйственной части! Я! — Он постучал себя в грудь кулаком.— Как только живым уцелел, ёк-макарёк! Всю войну под бомбежкой на машинах. Помню, свалилась с неба одна такая дуреха и ко́тится прямо к моему «газону». У меня, чую, волоса на голове зашевелились. Котится, сволочь, под колеса. Тут я и вспомнил про матушку. Жду. Все, думаю, настигла, пришла и моя смертушка. А бомба возьми и не взорвись. Плашмя, что ли, упала,

взрывное устройство не сработало. Опять я открестился от костлявой старухи с косой. Чудом!

Тесть подумал и твердо поправил Гордеича:

— Никакого чуда. Негодную бомбу специально изготовили наши люди, антифашисты.

— Может быть, Федорович. Я не спорю. Но, видать, я заговоренный от бомб. Другой раз заскакиваю в сарай пересидеть налет. Плюх на солому. И тут, верите, как меня кто в затылок толканул: «Убегай!» Только я вымелся из сарая — бомба как саданет сзади! Сшибло меня волной, лежу я, щепки на меня с неба сыпятся... Очухался, продрал от пыли глаза — и дальше тикать. Бегу, навстречу мне дружок попадается, из нашей шоферни. «Колька, живой?! Ты же в сарае был!» Удивился. Он не заметил, когда я оттуда вышмыгнул. Шо бы это значило, а? Скажи ты, шо меня в тот момент толкануло...

— Судьба,— сказал Матвеич.— Значить, не твоя очередь была погибать.

Тесть рассудил более прозаично:

— Обыкновенная случайность.

— Да мно́го, Федорович, было случайностей,— продолжал Гордеич.— Жгли наши машины как свечки. Ребятня на минах подрывалась. А старшина Нестеренко живой и в ус себе не дует. Воюет! Душа хозвзвода! У меня одна задача: шоб «газоны» двигались, колеса крутились, не глядя ни на какие напасти. Между боями охотились мы за подбитыми машинами на дорогах: где карбюратор сымем, где колесо отвинтим. В общем, запасались деталями. Шофер и на войне не перестает думать о гайках. Как-то захватила нас темная ночка за такой веселенькой работкой. Тогда нам подфартило: целехонький двигатель нашли! Переночевали мы в пустой хате, рассвело — и вижу я, батюшки! — Гордеич схватился за голову и покачался из стороны в сторону.— Мы же спали возле трупов! Уморились и не почувствовали тяжелого духа. Мать и трое ее детишек вверх личиками убитые лежат. Немцы их перед отступлением расстреляли. За что — неизвестно. Некогда было дознаваться. Выкопал я с дружком яму в саду, там их, бедненьких, и похоронили... Вертаемся в часть с запасными частями, а командир батальона уже дожидается нас: «Старшина Нестеренко! Вон в той рощице, по нашим сведениям, враг оставил бочки с горючим. Снарядите команду и немедленно доставьте эти бочки».— Гордеич, рассказывая, почесал

затылок.— Ёк-макарёк, в этой роще можно напороться на засаду. Бочек не возьмешь, а голову в кустах уронишь. Но с горючим у нас туго. По капле экономим. Войска наступали быстро, тылы и цистерны с горючим отстали, снабжение было плохое. Рисковать надо. На всякий случай интересуюсь: «Товарищ капитан! На автоматчиков не нарвемся?» — «Лес очищен, выполняйте приказ». Твердый был командир, отчаянный. Себя не жалел, под пули лез и нам спуску не давал. Козырнул я, и поехали мы. Нашли бочки, быстренько погрузили их. Газуем назад с ветерком! Из лесу наперерез выскакивают два немецких бронетранспортера. Успели мы с ревом прошмыгнуть мимо них, они заметили, развернулись и режут вдоль дороги трассирующими пулями. Жмем на все железки. Бочки в кузовах катаются, гремят. Жмем. Я задний был. Оглянулся: мои бочки занялись огнем! Хвост дыма волокется сзади. Пламя растекается, до кабинки уже подбирается. Вот-вот лизнет в щеку... Шо делать? Сигать? Так, ёк-макарёк! Это ж верная смерть: транспортеры вдогонку по асфальту стелют. И тут я, землячки, опять вспомнил про матушку. Теперь, думаю, конец, отвоевался. Больше не пощадит меня старуха с косой. Амба! Но баранку в руках держу крепко, газу не сбавляю. Жму! Была не была! Пропадать, так с музыкой! Страх отлетел, даже весело мне сделалось. Жму напропалую! Застилаю им дорогу дымовой завесой... Тут мой дружок, Ленька, высунулся из кабины и смотрит, что горю я живьем, скоро в воздух грохну. Дает мне Ленька знаки: мол, выскакивай и пересидай ко мне, я притормозю. Обернулся я: бронетранспортеры отстали, пули не свистят... А бочки, гадство, накаляются, вот-вот саданут в небо фонтаном. Остановил я «газон», сиганул в кювет и стелю за Ленькой, аж пятки до затылка достают. Добежал, заскочил к нему в кабинку — и дальше без оглядки. Фрицы! Откуда они вынырнули! Бродячие. Не успели удрать со своими и у нас в тылу очутились. Да. Опять я, братцы-кролики, воюю. Старшина хозвзвода!

— А что ж с той машиной? — поинтересовался Матвеич.

— Испеклась... А, ерунда! — сказал Гордеич.— Через неделю мы отбили у немцев целую автоколонну. Три грузовика нашему взводу досталось, остальные комбат передал соседям. Справедливый был мужик. Погиб в Карпатах, на Дуклинском перевале.

— Погиб? — переспросил тесть и сочувственно покачал головой.— Какие орлы! Жалко таких фронтовиков. У нас тоже комбат, капитан Уваров, отчаянный был командир. Погиб от шальной пули,— как бы дополняя рассказ Гордеича, вспомнил тесть.— В батальоне я служил командиром роты, потом, как простились у братской могилы с Иваном Семеновичем,— комбатом. Всегда его помню живого. Солдат знал как свои пять пальцев, находчивостью отличался дьявольской. Однажды в моей роте украли у молодого бронебойщика яловые сапоги. Выстроил я роту, так и сяк объясняю: «Товарищи, мол, бойцы! Если кто пошутил над ним — то хватит, верните обувку. Неудобно бронебойщику жаться в одних портянках». Молчат. Никто не сознается. Тут, как на грех, появляется Иван Семенович. Нюх у него особый. Узнал о краже, молча обошел строй, пригляделся к лицам, с припрыжкой отскочил на левый фланг и ни с того ни с сего командует: «Рота, пригнись!» Бойцы удивились, но команду исполнили, пригнулись. «Вытянуть руки кноскам сапог!» Вытянули, ждут, какая команда последует дальше. А тем временем Иван Семенович двигается молодецким скоком на правый фланг и тихо так приговаривает: «Гляди на него, пригинается ниже всех.— И вдруг как крикнет: — Ты что там пригинаешься, глаза прячешь? Совестно? Не надо красть сапоги!» Это он наобум, ни к кому не обращаясь, крикнул, а вор испугался и, чтобы его не заподозрил комбат, взял да и выпрямился, поднялся выше всех. «Ага! — подбегает к нему Иван Семенович.— Рядовой такой-то! Стыдно! Сейчас же верните сапоги бронебойщику и впредь не занимайтесь крохоборством. На первый раз я вам прощаю». Мы так и ахнули. Вот это комбат! Какой выкинул финт!

— На психику жал,— догадался Матвеич.— Вор не смекнул.

— Именно на психику. Грамотный был капитан. Три курса университета за плечами! А тот солдатик, новобранец, горит как мак: «Сапоги отдам. Черт, мол, попутал». С той поры за ним не водилось этого грешка. Закончил войну героем: вся грудь в медалях.

Опять старики проговорили до полуночи. Воспоминания о грозных днях войны возвышают их в собственных глазах, наполняют гордостью за давно минувшую огневую молодость. Мне иногда не верится, что Гордеич с Матвеичем отлично воевали, не однажды глядели в глаза

смерти, выручали друзей из беды и делились с ними последней коркою хлеба, последней щепоткою табака. Но так действительно было: в том убеждают факты и медали на их пиджаках... Отметив первую качку и проявив небывалую щедрость, отныне они будут экономить на каждом пучке лука и с нетерпением ждать обеда, приготовленного тестем из его личных запасов, будут с удовольствием пить молоко, купленное им на ферме, у чабанов.

14 июня

На ранней зорьке с флягами меда и мешками чебреца укатили домой наши компаньоны. Ульи Матвеича замкнуты: «гирьки» плотно висят под крышками. Когда он замкнул ульи? Ночью или в утренних сумерках?

Парило. К обеду собрались тучи и хлынул дождь, сильный, порывистый, с ветром. Тесть радовался:

— Собьет жару, дело наладится!

Дождь загнал нас в будку и шел в продолжение всего дня, бушевал в посадке, брызгал водяной пылью в окна. Жулька забилась под брезент будки Матвеича, свернулась клубочком, в тоскливом одиночестве глядя умными, немигающими глазами на дорогу, почти сплошь налившуюся холодными лужами.

Стемнело, дождь шумел. В отдалении зигзагами извивались и уходили в землю молнии, отблески их, дрожа, гасли в лужах.

— Промочит на штык,— говорил тесть.— Трещины затянутся, травка помолодеет.

Наверное, так же напористо льет и в балке, над хутором, над пасекой Гунька. И Тоня, наверное, не спит, вглядывается в темный шелестящий сад, в отблески молний.

15 июня

Дождь прекратился за полночь, но тучи не разошлись, грузно осели и висят над степью, навевая уныние. К обеду поднялся ветер и разметал их в клочья. Но небо попрежнему мглисто-серое, неприветное... Грустно! От сильных порывов ветра клонятся деревья. Ветер не восточный, медовый, а западный, с ознобным холодком и запахом выпавшего где-то града.

В десять утра было пятнадцать градусов. Довольно резкое понижение температуры. Тесть прав. Этот холод-

ный «степняк» сбил жару. Если раньше мы надеялись на дождь, то сейчас молим судьбу хотя бы немного, градусов на пять-шесть, прибавить тепла.

За асфальтом, когда земля обсохла и проветрилась, начали косить эспарцет. Пусть косят. Он поблек и уже отцветает. Пчела не посещает его, а летит на бабку, и то вяло. Холодно. При нормальной температуре она могла бы садиться на синяк и шандру. Однако тесть говорит, что лето возьмет свое, тепло вернется.

...Сегодня думал о деньгах. Деньги для меня никогда не были самоцелью, они лишь — средство нормального существования. Помнится, студентом я совершенно не заботился о них, кое-как растягивал на месяц стипендию и случайный приработок на выгрузке угля из вагонов, едва сводил концы с концами, но все же это обстоятельство не угнетало меня, я жил легко, счастливо, полный юношеских устремлений, и, пожалуй, тогда был нисколько не беднее удачливых молодых людей, которые запросто могли спустить за один вечер стипендию, ведь родители им ни в чем не отказывали. Да! Эта разница в средствах не тревожила меня и не задевала сознания, потому что духовно я был свободен и, следовательно, равен со всеми. Но равенство нарушилось, как только я женился. Я почувствовал это сразу, что и было моим первым жизненным уроком. В сущности презирая деньги как таковые, испытывая равнодушие к их накоплению, я стал мучительно думать о них, приняв на себя обязанности мужа. Вот еще одна добавочная истина: если нельзя быть свободным от общества, то от жены и ее притязаний — тем более. Даже от хорошей, идеальной жены. Постепенно во мне крепла и в конце концов стала убеждением мысль о том, что недостаток в средствах, материальные лишения сковывают развитие таланта, а зачастую и губят его, если человеку изменит присутствие духа.

На контрольном убыток — надо крепиться.

16 июня

Вернулись компаньоны. Действительно, возле Красногорска выпал град величиною с куриное яйцо, изрешетило крыши и прибило посевы, оттого и произошли непредвиденные колебания в природе.

Надежды тестя на благоприятный исход пока не оправдываются, хотя ветер и переменил направление: дует с юго-востока. Гордеич величает его уважительно — медо-

гоном. Но какой это медогон? В полдень стрелка весов повисла ниже нулевой отметки.

Сегодня утром тесть ходил в хутор Беляев. Там он понял, что мы выбрали неудачную стоянку: на юру, на семи ветрах. В зной у нас нектар испаряется, в прохладные же дни — чересчур холодно, тогда как в балке держится умеренная погода. Гунько и сейчас не обходится без навара. В следующем году, по мнению тестя, нужно обязательно учесть ошибку.

В хутор он наведывался неспроста, не ради обыкновенного любопытства, а чтобы доподлинно выведать все плюсы Гунька и прикинуть, нельзя ли тайком в новом сезоне прилепиться к нему соседом, купив какую-нибудь завалюху, а потом ежегодно приезжать сюда с пасекой, заодно отдыхать, как на даче. Оказалось — можно.

Он присмотрел себе хату под соломой, с крест-накрест заколоченными окнами. Бросовая усадьба: большой фруктовый сад, неизвестно для кого плодоносивший, запущенный, в бурьяне, огород, через который протекал ручей. Хозяев он не встретил и оттого не выпытал, намерены ли они сбыть хату и какую цену просят за нее, если продают.

Идея его мне понравилась. Купить бы хату, переделать ее в дачу с верандою и каждое лето наезжать в хутор, писать в заповедной тиши. И тестю выгодно обосноваться на одном месте и по-стариковски, с мудростью Сократа взирать из балки на суетный мир да покачивать медок. Мотание по степи, связанное с каждодневным риском, ему не по возрасту.

— Да, это великолепная идея! — сказал я.— Надо не упустить хату.

— Не упустим! — озорно подмигнул мне тесть.— Только не говори о ней никому.

В этот день явился к нам лукавый гость — Филипп Федорович.

— Сидите? Кукуете? — говорил он, пожимая нам руки.— А вам известно, что в Тахте зацветают подсолнухи? Через недельку я снимаюсь. Нечего тут высиживать.

— Уже цветуть? — не поверил Матвеич.— Рано.

— Рано у барана, а в Тахте подсолнушки те! — Он открыл у «Жигулей» багажник, вынул оттуда светло-желтый подсолнух и небрежно протянул его Матвеичу: — На, полюбуйся!

— Не падалица?

— Тю! Я не охотник разыгрывать. Это вы меня тогда подкузьмили с донником. На участке сорвал, ей-богу!

Матвеич с недоверием и одновременно с завистью принял подсолнух, дунул на яркие вялые лепестки, провел ладонью по шершаво-липкой корзинке и передал Гордеичу.

— Липнеть. На такой подсолнух пчелы не сядуть.

— Я на чужом поле сорвал. На моем подсолнух мировой.

— Сильно цвететь?

— Только распускается. Через недельку полыхнет.

— Аж не верится.

— В Беляеве шапочки завязались, а в Тахте и подавно. Тахта! Самая теплая точка! Не зевайте, ребятки. Тут уже толку нема. Обзёл!

С этими словами Филипп Федорович сел в «Жигули» и уехал, пожелав нам спокойной ночи.

— Вроде не брешеть,— в раздумье проговорил Матвеич.— Реабилитируется... Быстрый! Уже разведал.

— Он не ждет манны небесной,— сказал тесть.— День и ночь гоняет по степи.

— Нехай... Шило ему в задницу! Мы пороть горячку не будем. Тут маленько перетерпим.

— Что мы тут высидим?!

— Не паникуйте, Федорович. Нонче закат, гляньте, не кровавый, а светленький, с багрецой. На взяток.

Гордеич, раздосадованный, захрипел:

— Шо ты, Федорович, молишься на Филиппа! Он не дьячок, ты не прихожанин. Плюй с высокой горы!

— Он сильный разведчик,— сказал тесть.— На него не плюнешь.

17 июня

Сегодня вдвоем ходили в верхний хутор. Хозяев опять не застали, хотя приспело обирать вишни: ветки в крупных рдяных ягодах свисали до земли. Я заглянул сквозь щели в забитые окна и увидел внутри хаты просторные, на деревянных полах комнаты, стены и потолки в них были побелены. Значит, хозяева действительно собираются продавать усадьбу или надумали переселиться обратно.

Двор пуст и довольно обширен: в нем легко можно разместить всю нашу пасеку, не затрагивая сада. Тесть,

похаживая вокруг хаты, предавался идиллическим мечтаниям:

— Огород вскопаю, посажу картошку, лучок, огурцы. Пожалуйста, Петр Алексеевич! С весны до зимних холодов столуйся с огорода, ешь свеженькое. Рисуй. На зиму можно не увозить пасеку, а составить улья в одну комнату. Какую-нибудь тетушку попросим, чтоб приглядывала. Раз в месяц буду наведываться. А? Хорошо? — И он оглядывал меня ясными, младенчески чистыми глазами.— Летом привезу сюда бабку, пускай готовит нам еду. Три-четыре хороших качки — и порядок. За мной, Маруся, не гонись. Я на много, Петр Алексеевич, не рассчитываю. Тридцати фляжек достаточно.

Он нарвал вишен и подал мне:

— Ешь! Все одно будет наша.

В это время из соседнего огорода донесся слабый старушечий голос:

— Кто там? Ты, Юхимович?

— Да нет, бабусь! Чужие. Купцы!

— А-а, родимые! — чему-то возрадовалась старуха.— Дайте-ка я притёпаю к вам, проберусь скрозь жигуку. Ух, треклятая! Кусается... Никак не вырублю ее на перелазе, рук недостаеть.— Старуха перешагнула через низкий полусгнивший плетень и, горбясь, семеня мелкими шагами, приблизилась к нам. Она одета в длинную, с оборками юбку. Спереди у нее фартук, голова повязана черным, в белые крапинки, платком — любимая расцветка всех деревенских, доживающих свой век старух.

— А где ваши соседи?

— У, сынок! Они на нижний хутор перебрались, к магазину.

Тестю польстило неожиданное обращение к нему старухи. Забыл он давным-давно, когда его называли сынком.

— А что, бабусь, я еще ничего? Сколько, по-вашему, мне лет? — Он распрямил грудь и поднял голову, словно позировал перед фотокамерой.

Старуха подслеповато прищурилась, с неуверенностью обронила:

— Пятьдесят... чи меньше?

— О! Выходит, я парень хоть куда! — Тесть, необыкновенно довольный, широко улыбался.— А сколько вам, бабушка?

— Пошел шестьдесят сёмый.

— Так я старше вас. Мне за семьдесят перевалило.

В слезящихся глазах старухи мелькнул и погас огонек удивления:

— Моложавые. Хорошо сохранились.

— Я по утрам зарядку делал, когда находился на руководящей работе. Сырые яйца пил заместо водки.

— А-а! Ну и хорошо,— кивнула старуха.— Здоровье берегли. Я тоже водку не пила, а, вишь ты, состарилась. Ноженьки не держуть. Сапочкой шибко махала. Всю силушку в поле порастеряла. Теперь вот со своим огородом не управлюсь. Картошка бурьяном зарастаеть... Ох, грехи наши тяжкие!

— Одна живете?

— Одна. Дочки в городе поустроились. Зову, зову их домой — не хочуть. А чего бы тут не жить? Всего вдосталь. Ешь, пей. Ни одной молодой души на верхнем хуторе. Старики да старухи. Рушится хутор.— Она вышла на улицу, повернулась лицом к озеру.— Там было два ряда хат. Пустых. Побросали их. Цыганский табор расселили. Пожили цыгане с годка два, печки завалили и снялись. Не привыкли они на привязи стоять. Вольный народ... безалаберный.

— А эта чья хата? Где хозяева?

— На ферме. Он скотником, она дояркой. По полтыщи в месяц гребуть. На что им сдалось это поместье? У них другое есть, большое. Мне наказали: объявится хороший купец — продайте.

— Вот мы и хотим купить эту хатку.

— С богом! — старуха перекрестилась.— Покупайте. Вы, я вижу, люди добрые... не цыгане. И мне веселее. Зимой, батюшка, страшно. Вон где от меня соседкина хата! С моими ножками час тёпать.

— Сколько ж они просят за нее?

— Задаром отдають. Двести рублей.

— Я покупаю. Через неделю принесу задаток.

— А кто ж вы будете?

— Я, бабушка, пчеловод. На той горке, у лесополосы, стою.

Старуха завела нас к себе в хату, угостила вишнями, парным молоком, нарвала с грядки огурцов и зеленого лука, наложила в сумку с полсотни крупных яиц. Тесть вынул кошелек и хотел было расплатиться с нею, но она категорически отказалась и вернула ему деньги, заявив, что всякого добра у нее через край, некому есть.

— Берите, батюшка! — суетясь вокруг него, говорила она.— И еще приходьте. Не обедняю.

Мы тепло распростились с гостеприимной старушкой, и, сколько ни шли к озеру, она все стояла за двором и с надеждою глядела, хотя, наверное, из-за плохого зрения давно потеряла нас из виду.

— Если не будет убыли, завтра будем качать,— решил тесть.— Продам мед и куплю хату. Это ж золотая находка!

У озера мы расстались. Он пошел в магазин за хлебом, а я направился вверх по ручью. В балке парило, солнце припекало сильнее. В цветах деловито гудели пчелы. Кажется, дело шло на поправку.

У тутовых деревьев меня окликнул знакомый голос:

— Здравствуйте! Почему вы проходите мимо?

Тоня сидела на той же склоненной ветке, держась за нее обеими руками и едва касаясь земли носками туфель. На ней было новое платье, с поясом, а в волосах, собранных сзади в толстый жгут и перехваченных голубою лентой, белела ромашка.

— По какому случаю вы нарядились? Едете домой, в Сливовый? — Я присел рядом с нею.

— Нет. Просто захотелось. От скуки!

Я встал и на несколько шагов отошел от нее.

— Знаете что? Я хочу нарисовать ваш портрет! В этом платье.

— Для чего? — Глаза ее, устремленные на меня, были серьезны и печальны.— Я подходящая для вас натура?

— Хочу, чтоб вы помнили обо мне. Я подарю вам портрет. Только и всего.

— Хорошо,— сказала она.— Когда вы приступите?

— Дня через два. Меня ждут кое-какие дела. Встретимся утром в пятницу. Здесь. Вы согласны?

— Да,— едва слышно произнесла она.— Согласна.

Нужно было уходить, потому что с минуты на минуту мог появиться в балке тесть и застать меня с Тоней. Конечно, он может взять по склону или подняться выше, к лесной посадке, и не заметит нас, но рисковать не стоило. Неизвестно, что придет ему в голову и какую штуку он выкинет, увидев меня с девушкой.

— В таком случае до свидания! — сказал я и слегка поклонился ей.— В пятницу утром.

— Вы уже уходите? — Она печально улыбнулась,

встала и протянула мне руку: — До свидания, пасечник!

Ладонь у нее была маленькой и холодной как лед.

18 июня

Мы с тестем работали неполных два дня. Он отбирал рамки и носил в пристройку Гордеича, я распечатывал их и крутил медогонку. Иногда нам помогал Гордеич: то пчел дымком окурит, то выхватит у меня нож и в два счета обрежет воск. Матвеич строгал и пилил у себя на верстаке либо ел поспевшую дикую черешню в полосе, всей пятерней обрывая мелкие черные капельки ягод, горьковато-терпкие на вкус. Губы у него синели от черешни, руки тоже, и он, наевшись до отвала, подолгу плескался под умывальником, оттирал синеву. Подходя к нам, он обычно хватался за поясницу, страдальчески морщился:

— Шпыняеть. Ни сечь, ни лечь. Иголками шьеть.— А сам, хитрец, искоса, цепко шарил по вынутым рамкам, мысленно сравнивая со своими. Он не находил между ними различия, мрачнел, отирал со лба бисеринки пота и удалялся к себе.

Мы накачали более четырех фляг, и тесть позвал Матвеича на смотрины. Островато блестя сузившимися глазами, какой-то осунувшийся и колючий, тот машинально снял с головы соломенную шляпу, сдул с нее пылинки и проговорил с укором:

— А говорили — нуклеусы... доходяги.

Гордеич, довольный, что мы обошли «культурного пчеловода», откровенно посмеивался:

— А ты верь ему, верь! Федорович любит прибедняться. Председатель!

— Да вижу теперь. В другой раз не обдурять.

Мой тесть был на вершине славы: наконец-то признали и в нем пчеловода! Ужин он устроил обильный, каких у нас еще не бывало: салат из тонко нарезанных молодых огурцов, помидоров и свежего лука, поджаренные, с яйцами, сардельки. Под одобрительные возгласы он подал в кастрюле вареники с сыром, залитые маслом, и в довершение, всех поразив, в том числе и меня, выставил из рюкзака «Столичную» в окружении бутылок с жигулевским пивом. Матвеич подвинулся ближе и украдкою ослабил пояс на несколько дырок. Пить он много не любил, но до сытной, калорийной еды был охотник.

— Это не качка,— потягивая пиво, разглагольствовал

тесть.— Разве это качка? Поскребли чуток... Хотел выдрать больше, фляг шесть набить. Но — нельзя. Взяток плохой, пчел загубишь.

— Фляг семь,— поддевая наших компаньонов и делая серьезное лицо, вставил я.

— Можно и восемь,— не моргнув глазом, подхватил тесть.— Я оставлял с запасом.

С мрачным видом слушал нас Матвеич, руками вынимал из кастрюли вареники и уписывал их за обе щеки, болезненно морща лоб. Гордеич отворачивался и тихо, ехидно хрипел в ладонь.

Наевшись, Матвеич сослался на боли в пояснице, взял свой раскладной стул и пошел в будку, охая.

— Допекло! — сказал Гордеич.— Не всегда коту масленица. Переживет.— И вылил себе в стакан остатки пива.

19 июня (ночь)

...Старая истина: мы живем в мире растений. Они окружают нас повсюду, даже в больших городах, и, так как всякое растение может быть использовано нами как лекарство, мы живем, следовательно, и в мире лекарств, хотя зачастую и не подозреваем об этом. И первое лекарство — мед, дар цветов и пчел, бесценное творение природы, земное чудо. В нем сосредоточились, естественно слились почти все ароматы и жизненные силы растений, что придает нам бодрость, излечивает от многих, порою тяжких недугов — и продлевает наше пребывание под солнцем. Древние врачи и философы в один голос с современными учеными называют пчелиный мед диетой долголетия. «Мед есть сок с росы небесной, который пчелы збирают во время доброе с цветов благоуханных, и оттого имеет в себе силу и многу и угоден бывает к лекарству от многих болезней»,— читаем напоминание в старинном рукописном русском лечебнике.

Мед хранили в дубовых да липовых бочках. А в погребах, на ледницах, держали медовые квасы, красные и белые, с фиалковым корнем и без него. Сусло для простого кваса варили из ржаной муки и дрожжей, с добавлением корицы, хмеля и, разумеется, меда.

Всякий мед хорош, кроме разве что «пьяного», всякий годится, даже падевый. Светлые сорта относят к лучшим, темные же ценятся меньше, однако бывалые пасечники уверяют, что темные для организма полезнее, так как содержат в себе больше минеральных солей. Темно-ко-

ричневый, с красноватым отливом гречишный мед терпко щекочет горло, но кто осмелится утверждать, будто он хуже прозрачного, с прозеленью, липового, светлого шандрового или синякового?!

Ни с чем не сравним свежий луговой мед, собранный со множества цветов, как наш. Он пахнет солнцем и травами, аромат его чуден, вкус тонок и приятен. Если выбрать из улья рамку с побеленными сотами и внести ее в просторную, где много воздуха, комнату — дух степи разольется такой, что опьянеешь без вина. Одну тяжелую рамку я поставил у себя в будке, в холодке. Дышу и не надышусь ее сложным ароматом.

Слаб только «промышленный» мед, взятый пчелою из сахарного сиропа. Иной раз на воскресном базаре попадется и перетопленный, разбавленный, но стоит опустить в него стержень химического карандаша, и хозяин будет посрамлен: расплывшееся фиолетовое пятно скажет о наличии воды. В полноценном меде химические чернила не растворяются.

«Если можно вылечиться диетой — не применяйте лекарств»,— такова заповедь древних мудрецов. Все они ссылались на благотворное воздействие меда, части нашей диеты. Знаменитый врач Авиценна рекомендовал его людям преклонного возраста для сохранения бодрости и продления жизни.

Я и сам заметил: пожилые люди охотнее занимаются пчеловодством, нежели молодые, и всякое иное занятие ставят ниже этого. Говорят, Филипп Федорович некогда страдал язвой желудка, и только пасека спасла его и вернула к жизни. На пасеке, при спокойном и ясном размышлении, можно исцелить и душу, если человеком не овладеет страсть к наживе. Эта страсть не знает меры и разрушает все.

...Не спится. Жаль, нет лимонного сока. С медом он хорош от бессонницы.

25 июня

Следующие дни слились для меня в один. По утрам, с восходом солнца, необыкновенно волнуясь и каждый раз по-новому переживая необычность встречи с Тоней, я приходил к ручью, ставил мольберт и, натянув на подрамник холст, который я прятал от тестя, принимался за портрет. Я не столько стремился передать внешнюю схожесть, сколько хотел запечатлеть выражение глаз и уловить жизнь ее лица. Она была послушна, сидела смирно,

читала принесенную с собою книгу или мечтательно глядела вдаль, скрестив на коленях руки. Блики солнца вперемежку с тенями мягко ложились ей на волосы и плечи, и вся она светилась тихим счастьем, вся была словно вытканa из золотистых, играющих лучей... Моей работе благоприятствовали спокойные ясные дни, установившиеся после ветреной погоды; трогательна была и ее готовность исполнить малейшую мою просьбу, принять ту позу, которой я добивался. Она находила мою работу трудной и старалась как могла облегчить ее. Я ей давал отдохнуть; в перерывах между сеансами она осторожно подходила к мольберту и долго изучала свой портрет, все больше и больше удивляясь, открывая в себе то, что ей самой было до сих пор неясно или неизвестно. Мысленно я благодарил ее за это молчаливое дружеское участие. Работа подвигалась.

Как-то она с милой непосредственностью спросила:

— Неужели у меня такие печальные глаза?

— Нет,— сказал я,— они радостно-печальные.

Тоня присмотрелась, отошла влево, затем вправо и согласилась:

— Да. Очень странно. Радостно-печальные!.. Раньше я никогда не замечала этого. Скажите, отчего они такие?

— Вам нужно обязательно сменить обстановку. Вы задыхаетесь. Живете неполной жизнью. Поймите: у вас нежная, чуткая душа. Она требует выхода... иной жизни! — В этот миг я готов был поклясться кому угодно в искренности своих слов и чистоте побуждений. На самом деле, я был уверен, что ее губит пасечное существование.— Будь моя воля, я бы вырвал вас отсюда. Вырвал бы из Сливового! Любой ценой!

— Вы предлагаете бросить старых, больных родителей?

— Почему бросить? Но и не сидеть же у них под крылышком?! Не обижайтесь. Я говорю прямо.

— Нет, что вы, я не обижаюсь. Может, мне заочно поступить в институт?

— Это ничего вам не даст. Ровным счетом! Вам нужно вдохнуть настоящего ветра. Пожить в общежитии, вдали от этих ульев. Побывать на студенческой целине... Вы только представьте себе: как много в жизни по-настоящему крупных, интересных дел! Сколько в ней замечательных людей! Они строят БАМ, летают в космос... создают проекты новых городов! — Меня понесло, и я с

жаром, искренне рисовал перед нею преимущества этой жизни, смеясь над скучным однообразием существования пасечников-отшельников.

— Да, я всегда завидовала отважным людям,— серьезно сказала она.— Я и вам завидую. Вы — художник! Вы тоже по-своему изменяете мир. Красотой.

У ее ног на густой зелени рассыпались крупные горошины росы; они то вспыхивали острым блеском, то радужно пламенели, отбрасывая на ее лицо едва уловимые блики. Тоня повернулась к теплу, толчками прибывающему оттуда, где вставало солнце, оперлась обеими ладонями о ветку, на которой сидела, и замерла в напряжении, глядя вдаль, будто ей вдруг открылась неведомая доселе тайна... Нет, сейчас она не позировала. Она забыла обо мне и о портрете, вдохновленная каким-то новым для нее чувством. Никогда я еще не видел такого выражения лица у Тони: во всем ее облике воля и решительность, взгляд смелый, даже несколько суровый, губы сжаты.

Я схватил карандаш и принялся делать эскиз, нанося на бумагу стремительные линии, чтобы успеть закрепить это мгновение. Я боялся, что она вот-вот встрепенется, порывисто встанет и уйдет... а я останусь ни с чем. Она как будто присела на один миг. Успеть, не пропустить его! Сердце у меня билось, я чувствовал его удары всем существом, они подгоняли карандаш. Я вдруг понял, что надо решительно переделать портрет, написать его заново. Наконец я уловил суть ее натуры. Я напишу Тоню именно такой, какой она увиделась мне сейчас. Она внутренне готова отправиться в путь, туда, где, быть может, ее ожидают тяжкие испытания. Она смотрит на мир уже не детским взором, не колеблется и не трусит перед неизвестностью.

Я оторвался от бумаги, и в это время Тоня переменила позу, пристально взглянула на меня, встревожилась:

— Вы побледнели. Что с вами?

— Я, кажется, догадался, как писать портрет. Спасибо вам.

— За что?

— Что вы есть... существуете на этой земле.

Я вызвался проводить ее до озера. В лицо нам дышало свежестью; по небу, то растекаясь и смешиваясь, то заслоняя и вновь выпуская на волю солнце, тянулись размягченные полдневной истомою облака, с краями,

похожими на рыхлые, без конца меняющиеся весенние льдины. По траве, тоже ставшей мягкой, прохладной, пробегали светлые полоски вперемежку с тенями. Тоня сняла туфли и, держа их в одной руке, шла босиком. Совсем как девочка. Я вспомнил свой хуторок, прогулки в вербовый, только что распустившийся лес, полный восторженного сорочьего гвалта у гнездовий, писк синиц над отвесными кручами, вспомнил невыразимый вкус и запах раннего щавеля, мытого холодноватой росой,— его мы рвали на борщ с соседской девчонкой Клавой, веснушчатой и длинноногой, любившей, как и Тоня, помногу ходить босиком,— и сладко, виновато защемило в груди: вот сколько живу в степи, неподалеку от родимого уголка, а не выбрался навестить мать-старушку или хотя бы отозваться письмом, подать надежду, что приеду, загляну на денек. И как-то отчетливо, тревожно подумалось: мне всегда не хватало матери, Клавы (где она теперь, жива ли, счастлива?), даже такой малости, сущего пустячка, как мельтешение сизых пичужек в том чистом воздухе детства... Я рассказал Тоне о матери, состарившейся без меня, о горечи ее одиночества и постоянного ожидания вестей от разлетевшихся по миру сынов. Что делать, как наладить утраченную связь, как соединить несоединимое?

— Вы... вы попытайтесь что-то изменить! — с чувством сказала Тоня. Сквозь ее ресницы влажно, сине мелькнули на меня глаза, полные сострадания.

В этот миг проступило солнце, затянутое молочным парком, и споро брызнул, заискрился над балкой теплый дождь. Тоня подняла к небу лицо, зажмурилась и, ловя губами мелкие сверкающие капли, на мгновение замерла с неясной, казалось, чуть-чуть извиняющейся улыбкой.

— Скоро кончится,— встряхнула она мокрыми волосами и просветленно, нежно поглядела вокруг себя.— У слепого дождичка жизнь короткая.

Над крайними, свежо позеленевшими хуторскими садами выгнулся полукруг радуги, окунувшейся одним концом в озеро, подернутое блескучей зыбью.

— Это к перемене,— с полувеселым-полугрустным значением сказала Тоня.— Что-то будет.

В другой раз, провожая ее до озера, я в шутку высказал догадку, что, наверное, в Сливовом, да и здесь, в Беляеве, ей проходу нет от поклонников.

— У меня много знакомых ребят. Некоторые пытают-

ся ухаживать за мною, но так неумело,— сказала она без тени смущения.— Смешно, правда? Раньше мне нравился один парень. Прошлой осенью его призвали в армию.

— Разумеется, вы переписываетесь с ним?

— Да, он шлет письма.

— А вы?

— Отвечаю. Не на все... Между прочим, он мастер по боксу.

— Поздравляю. У вас будет надежная защита.

Тоня украдкой, с любопытством взглянула на меня:

— Вы думаете?

— Уверен.

— Он больше нравится моей подруге, и я не хочу переходить ей дорогу. Хотите, я прочту вам его письма?

— Нет уж, увольте. Чего я не терплю делать, так это читать чужие послания. Тем более от неудачливых поклонников. Грустное занятие.

— Пожалуйста, не смейтесь над ним. Он хороший друг.

Обычно мы прекращали сеансы в полдень. Тоня, слегка утомленная, уходила домой, а я — к себе на пасеку. Дела там шли неважно. Несмотря на обилие влаги и теплые дни, взяток был мизерный, старики нервничали. Мой тесть, чтобы спровоцировать пчел на более энергичные поиски, варил сахарный сироп, настоянный на шандре или бабке, и перед сумерками разливал его из чайника по кормушкам. Ульи гудели, как при большом взятке, к утру все кормушки были сухие. Лишь начинало светать, наши пчелы с рабочим, встревоженным гудом уносились в степь, но возвращались оттуда обманутые и злые. Что-то случилось в природе: цветы слабо выделяли нектар. Тесть продолжал варить сироп, сохраняя иллюзию взятка и держа пчел в боевом напряжении. Компаньоны жалели сахар и не прибегали к подкормке, в то же время они высказывали неудовольствие тестю, говоря, что его пчелы становятся агрессивными, проявляют признаки воровства. Тесть был вынужден оставить свои опыты... Матвеич, обросший, с непривычно заострившимися скулами, днями просиживал у наблюдательного улья, неподвижным взором уставясь в матовое стекло, за которым беспорядочно, ошалело сновали по сотам пчелы, а матка вяло и с явною неохотой ползала от ячейки к ячейке.

— Худо! — бормотал Матвеич.— Не танцують... И матка перестала сеять.

К нашим бедам нежданно-негаданно прибавилась еще одна: Жулька погналась за юрким сусликом, увлеклась погоней и, выскочив на асфальт, угодила под колеса такси. Мы с Матвеичем зарыли ее в посадке, под молодым дубком. Он переживал утрату и в тот день не дотронулся до еды.

С гибелью Жульки мы как-то все разом осознали, что значило для нас это невинное, резвое и доброе существо, жившее с нами рядом. Иногда по рассеянности мы забывали покормить Жульку, либо в раздражении кто-то шпынял ее ногой — она сносила обиды, не утаивала зла и все так же проворно крутилась у наших ног, доверительно лизала руки и заглядывала в глаза. Она была другом нашей компании и, может быть, смягчала грубоватые мужские души своей непритворной привязанностью. И вот ее не стало.

Я рассказал о нашей утрате Тоне. Она отнеслась ко мне с сочувствием, вновь повторила неясное для меня: «Что-то будет»... Нанеся последние штрихи, я подарил Тоне портрет. Она приняла его с благодарностью и, поспешно отойдя к ручью, всматривалась в выражение своего лица и глаз, без конца чему-то изумлялась, наконец обернулась ко мне и тихо спросила:

— Неужели я такая?

— Да.

— Вы сказали обо мне больше, чем я сама догадывалась. Странно... Знаете что? — сказала она вдруг, и синие глаза ее вспыхнули отчаянным блеском.— Давайте сегодня встретимся еще. Ночью!

— Где?

— У озера. Ведь я виновата перед вами.

— А вас отпустят родители?

— Я тихонько, тихонько выберусь и прибегу к вам,— она перешла на заговорщицкий тон. И предупредила, смешно приложив палец к губам: — Только вы не опаздывайте. Мне будет страшно одной.

Казалось, сама судьба благословляла меня на это свидание. Мой тесть торопился сдать мед и немедля купить хату. Он долго уговаривал Гордеича отвезти фляги в Красногорск и наконец добился своего — разумеется, за плату. Погрузив фляги, они уехали.

Смерклось. Замигали огоньки в отдалении. Высыпали звезды. Я подождал, пока угомонятся машины на асфальте и темнота плотнее окутает степь, напоенную чеб-

рецом, замкнул будку и крадучись пошел к хутору, оказался один на один в степи, которая едва-едва веяла мне в лицо прохладным ветерком. Наслаждаясь одиночеством, я шел не спеша, потому что знал: она там, у озера, и будет ждать меня. Она не уйдет.

Издав тонкий писк, словно предупреждая меня о какой-то опасности, пролетела надо мною летучая мышь. На мгновение я различил черные распластанные крылья, тут же слившиеся с темнотой. Пискнул суслик, перебежав мне дорогу почти у самых ног,— трава прошуршала, и все стихло: суслик спрятался в норе. Выходит, не я один был в степи. Жили и другие существа, которых, очевидно, настораживало мое присутствие.

Не желая выдавать себя, я спускался по склону, затаивая дыхание.

— Вы?! — кинулась Тоня из тьмы навстречу мне, когда я приблизился к озеру.

Я взял ее за руку, и мы, не сговариваясь, охваченные одним порывом, направились вверх по распадку, к нашим деревьям. На траве вылилась роса и холодила ноги. Тоня вздрагивала — от озноба или ощущения пережитого испуга и внезапной радости у озера. Может быть, ее волновала таинственность нашего свидания темной звездной ночью, вблизи шелестящей осоки, сонно вздыхающих камышей. Деревья впереди причудливо-грозным облаком рисовались на фоне черного неба, изредка озарявшегося отсветом зарниц.

— Я много думала о вас, о нашем разговоре,— дрожа всем телом, говорила Тоня и доверчиво прижимала к себе мою руку.— Да, я не так живу... я чувствую! Мне надо постараться что-то изменить. Я решительная! Вы меня еще не знаете.

Я снял пиджак и накинул ей на плечи. Она поймала мою руку и, не выпуская ее, пожала.

— Я поговорила с ним,— произнесла она с вызовом.

— С кем?

— С отцом. Он отпускает меня. Я поеду учиться.

Вдвоем мы перепрыгнули через ручей, смутно засквозивший в траве, и подошли к деревьям.

— Когда вы отсюда уезжаете?

— Скоро. Старики поговаривают о подсолнухах. Они уже зацветают.

— Как жаль. Неужели мы расстанемся?

Она подняла лицо, прильнула ко мне, и я почувство-

вал вблизи горячее, чистое дыхание. Мысли мои помутились, кровь ударила в голову, и, теряя власть над собой, отвечая на ее желание, я обнял Тоню.

Я осыпал ее поцелуями — она не сопротивлялась, обессиленно упав мне на руки и запрокинув лицо.

Спустя несколько минут она пришла в себя, освободилась от объятий, подошла к дереву и прислонилась щекою к стволу. Я поднял пиджак, соскользнувший с ее плеч, и опять накинул на нее — она не изменила позы, точно окаменела.

Глубокой ночью я проводил ее домой. Огни в хуторе были погашены, но в их хате теплился свет, струясь из окон в темный сад. Мы условились встретиться завтра вечером в балке, на том же месте — у тутовых деревьев. Она привстала на носки туфель, дотянулась губами до моих губ, и мы забылись. Несколько раз она порывалась уходить, но я удерживал ее и снова заключал в объятия, пока не вышел на порожки Гунько и не позвал встревоженным голосом:

— Дочка! Где ты пропала?

Она поцеловала меня на прощанье, выскользнула из рук и, шелестя платьем, убежала.

— Где ж ты была, Тонька? — отчитывал ее Гунько, со скрипом отворяя перед нею дверь.— Мы с матерью ночь не спим. Всякие думки в голову лезут. Страшно!

— Гуляла у озера.

— Побойся бога! Тьмища кругом — как в яме. Волки шастают.

Дверь захлопнулась, голоса больше не долетали до слуха.

Остаток ночи я провел в беспокойных раздумьях. Я весь горел, вспоминая ее поцелуи и признания в любви, ее готовность пойти на все, на самые решительные жертвы, и мучился оттого, что невозможно соединить ее и мою судьбу. Тогда чего я добиваюсь от Тони, так смело доверившейся мне? Что я могу принести ей, кроме страданий и несчастья? Не крайний ли это эгоизм — пренебречь супружескими узами и очертя голову увлечься женщиной — невинной девочкой, которую, в сущности, с моим-то опытом не стоило особого труда заставить влюбиться.

Меня одолевала скука, я жаждал развлечений. И вот я получил их. Что же я медлю? Нет, нет. Нужно что-то предпринять, объясниться с нею наконец по-мужски!

Друзья видят во мне натуру впечатлительную. Возможно, я преувеличиваю, впадаю в крайности, а на самом деле все обстоит гораздо проще, чем это мне рисует мое воспаленное воображение.

«А если я тоже люблю ее?» Эта мысль внесла еще большее смятение в душу. Я стал припоминать наши первые свидания с Надей, которую, мне казалось, я любил в ту пору трогательно и чисто, со всею пылкостью неискушенного сердца, вспомнил наш первый поцелуй и, к ужасу своему, нашел, что все это было не так, как с Тоней, совсем не так... Надя засмеялась и сказала, будто о самом обыденном: «А ты, Петя, не умеешь целоваться!» — и мне было стыдно. И, кроме стыда, я не испытывал другого чувства.

Уснул я под утро, так и не придя ни к какому решению. Меня разбудил самолетный грохот в небе, я выскочил из будки: над полем низко летел «кукурузник», похожий на огромную зеленую стрекозу. Левое крыло его было наклонено. Самолет развернулся, пролетел над пасекой Филиппа Федоровича, описал круг и, стремительно неся по степи тень, вновь пророкотал над нами, обдал тугим ветром верхушки деревьев. Матвеич стоял у своей будки и, задрав голову, следил из-под ладони за «кукурузником».

— Чегой-то он разлетался? Посадку ищеть... или знаки даеть?

«Кукурузник» вернулся, опустился еще ниже, с ревом промчался и покачал крыльями. С головы Матвеича сорвало шляпу, он неловко погнался за нею, настиг и наступил на полу ногой.

— Обормот! Сдурел. Воздуха ему мало, летаеть над уликами,— подняв шляпу, сердито бубнил Матвеич.— Заявить бы куда следуеть. Ишь герой!

Спустя полчаса к нам подъехал на легковой машине загорелый парень в вельветовой кепке. Выйдя, он деловито осведомился:

— Кто из вас старший?

— Ну я...— несмело выступил Матвеич.

Парень присел на корточки, вынул из кармана замусоленную, с загнутыми краями тетрадку, пошуршал сухими, как порох, листами и, подав ему химический карандаш, ткнул пальцем в какую-то графу:

— Распишитесь, что предупреждены. Быстренько. Мне надо успеть всех оповестить.

Матвеич опешил, карандаш мелко подрагивал в его пальцах.

— Об чем мы предупреждены?

— Самолет над вами кружил?

— Хулиганил.

— Извините, вы старый человек, а выражаетесь грубо,— сдержанно сказал парень.— Мы не хулиганили, а предупреждали вас с воздуха.

— Об чем?

— Вредитель завелся. Будем опылять ядохимикатами пшеницу. Имейте в виду!

— Когда?

— Вы распишитесь, распишитесь!

Матвеич опустился с ним рядом на корточки, принял из его рук тетрадку, придирчиво и строго обежал неразборчивые строчки.

— Скорее, я тороплюсь. Ставьте подпись.

— А вы кто такой?

— Агроном совхоза. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь.— Он отметил ногтем графу.

— Расписаться немудрено.— Матвеич все еще изучал документ.— Да надо знать — под чем. Распишешься, а вы упекете туда, куда Макар телят не гонял.

— Осторожный вы товарищ, с вами не соскучишься.

— Эге! — только и крякнул Матвеич.

Послюнявил стержень карандаша и рассыпал свои каракули, где велел агроном. Тот с облегчением захлопнул тетрадку, сунул ее в карман летной куртки и заспешил к машине.

— А когда опылите? — спохватился Матвеич.

— Сегодня.

— Как это? Пчелки разлетелись. Потерпите до ночи.

— Мое дело предупредить, а ваше — как знаете! — Агроном уселся за руль.— Надоели вы нам.

Матвеич враждебно взглянул на него:

— Верните тетрадку.

— Что с возу упало, то пропало!

— Разбойники. Губите живое... Хочь скажите, где пшеница? Далеко от нас?

— Далеко.

— Там какие медоносы?

— Кроме сурепки, ничего хорошего. Воробьиный горох.

— С беляны пчелы на горох не полетять.

— Ну вот. А вы меня разбойником обозвали! — засмеялся агроном.

Он развернулся и поехал брать такую же расписку у Филиппа Федоровича,— пыль распушилась хвостом вдоль лесополосы.

— Филипп ближе к пшенице,— смекнул Матвеич.— Туго ему придется. Сурепка боком выйдеть.

Но Матвеич переживал и за своих пчел, которые могли отправиться на сурепку. С особым вниманием он приглядывался к ульям: отравленные пчелы обычно возвращаются с опыленного поля и замертво падают у летков, устилая подлетные доски. С обеда на них валялось по нескольку штук пчел: все-таки некоторые достигли пораженных участков. Матвеич перетрусил и понес ругать ученых:

— Опыляють... Все подряд! Вредную букашку изведуть, а птица склюнула и отравилась. Полезные насекомые мруть. Земля пропиталась ядами. Как только она еще терпить, бедная! — с возмущением распространялся Матвеич.— Я вот слыхал: на стадии вымирания белоголовые орланы и соколы-сапсаны. Скорлупа у яичек истончилась, разламывается до того, как вылупиться птенцам. Почему? Кальциевый обмен нарушился от ДДТ. В природе, Петр Алексеевич, все в один узелок туго завязано. Распустишь ниточку — поплывуть, разойдутся остальные. Не успеешь одуматься — развязался узелок. Кончилась живая земля.

К счастью, мертвых пчел больше не прибавлялось, и мало-помалу он успокоился. Зато Филипп Федорович примчался к нам нервный, взвинченный до предела. Не вылезая из машины, он охватил глазами подлетные доски и, сообразив, что потрава едва-едва коснулась наших пчел, обездоленно вскрикнул, застонал:

— А у меня дохнут! Вороха у летков! Враги. Приспичило им опылять. Не-е, Матвеич, тут делов нема. Драпаю! В Тахту! Продам пасеку к чертовой матери! Ейбогу. Ни улика себе не оставлю. Хватит! Отъездился. Дотяну этот сезон — и продам.

— Не продашь.

— Святыми угодниками клянусь: продам! Я уже половину пчел угробил. Сердце кровью обливается.

Филипп Федорович круто развернулся, чуть не сбил с ног зазевавшегося Матвеича и напрямик по степи погнал в балку, в сторону своей пасеки.

— Дохнуть у Филиппа. Худо! — с тайно заблестевшими глазами проговорил Матвеич.— Видите, Петр Алексеевич, как относятся к нашему брату-пчеловоду. Обдурили, взяли расписки за час до опыления, а там хочь трава не расти. Называется — предупредили! Забыл я число в документе поглядеть. Конечно, оформили вчерашним. Они-то не дураки. Пожалься, докажи теперь. Эге! Хвост короткий.

На исходе дня нагрянули из Красногорска старики. Одну флягу меда тесть приберег дома, остальные сдал в пчелоконтору. Держался он бодро и, не имея возможности поговорить со мною наедине, намеками давал понять, что все в порядке, деньги на хату похрустывают у него в кармане. Старики собрались на стихийный совет и детально, без шума и взаимных уколов, обсудили положение. Эспарцет отошел. Шандра, на которую они имели особые виды, слабо выделяет нектар. Бабка вянет, синяк высыхает с корня. Следовательно, пора готовиться к переезду на подсолнухи в тот совхоз, где они взяли приписных, возвращаться на круги своя... Они могли бы нанять попутные машины и сразу, одним броском на северо-восток переехать, но это связано с риском: старики сомневались — выделяет ли тот подсолнух нектар? Вдруг он действительно элитный, липкий или сплошь населенный шершнями, пчелиным волком. Или его заняли уже другие пчеловоды. Последней мысли старики не допускали, потому что ульи директора совхоза — приписные — были по-прежнему у них, и, разумеется, он не посмеет отплатить им черной неблагодарностью. И все же, как они ни крутили, нужно было отправляться на разведку в совхоз. Старики договорились ехать завтра же. На «Победе». Поморщился, недовольно покряхтел Матвеич, однако удовлетворился двумя канистрами бензина, которые пообещал ему Гордеич, и пятеркою «за амортизацию», тут же отданной моим тестем. Деньги у тестя завелись, теперь будет швыряться ими направо и налево, пока вдруг в один прекрасный день не обнаружит медной полушки в кармане.

Тут старики вспомнили, что давно не навещали приписных, и, выслуживаясь друг перед другом, заботливо кинулись к ульям, сиротливо черневшим толем на конце пасеки Гордеича. Взялись бережно отнимать крышки, перетряхивать соломенные маты, счищать с холстин клейкий прополис. Гнезда кишели трутнями. Гордеич ловил

их, нещадно разминал пальцами и выбрасывал. Плотные трутневые засевы были на многих рамках. Матвеич срезал ножом личинки трутней. Все трое испытывали угрызения совести: приписные запущены по их вине, плодились и развивались без всякого присмотра, как в рою, который отлепился и одичал, прижившись на дереве в лесной чаще.

Тесть нащупал письмо в кармане пиджака, в смущении подал мне:

— Забыл... закрутился. От Нади.

Солнце садилось. На небе проступали краски вечерней зари. От деревьев тянулись длинные тени вперемежку с золотисто-мягкими бликами. Я не хотел при всех распечатывать письмо, предупредил тестя, что вернусь не скоро, и пошел на курган. На его островерхой макушке серел плоский камень, обмытый дождями и потрескавшийся от солнца; я сел на камень, надорвал конверт и с чувством жалости к Наде и неприязни к самому себе прочел письмо.

«Милый, здравствуй! Как ты себя чувствуешь, не заболел ли? Будь осторожен: я плохо тебя видела во сне. Ты купался в море, заплыл далеко от берега, за буй, и стал тонуть, а я бегаю по мокрому песку и кричу, кричу не своим голосом, то потеряю тебя из виду, то вновь найду, а море гудит и темнеет, такое грозное, страшное, что я проснулась и до утра не могла опомниться. И сейчас память об этом сне не выходит у меня из головы. Что с тобой? Не случилось ли чего-нибудь ужасного?

Если с вами все благополучно, то прошу тебя — не тревожься, делай свое дело. Наверное, этот сон — пустяк, и приснился он мне под вторник, что, по всем приметам, ровно ничего не предвещает. Просто я ужасно соскучилась. Но скоро настанет конец мучениям: я приму зачеты у своих «французов» и немедля приеду к вам на пасеку. Ждите. Целую тебя и папу. Люблю. Ваша Надя.

PS. Никодим Захарович оказался человеком более влиятельным, нежели я предполагала, он развил бурную деятельность — и вот тебе, милый, новость: в этом году ты будешь участвовать в зональной выставке, кое-кому твои работы приглянулись, и, судя по всему, их неплохо оценят и купят. Это уже решено. Надеюсь, мои усилия по достоинству вознаградит одинокий пасечник и больше

не посмеет меня ревновать к этому — бр-р! — Никодиму Захаровичу!»

Степь, оплесканная разноцветьем трав, всхолмленная редкими буграми в татарнике, покато стелилась в балку. С кургана виднелись тутовые деревья. Их верхушки были освещены багряным закатом; он горел и в ручье, подбираясь к камышам и со дна озаряя их. Неизвестно, сколько времени я просидел на камне, не испытывая в груди желания, кроме одного — подольше забыться, уйти от себя. Но вдруг я очнулся, заметив у камышей Тоню. Она медленно шла вверх по ручью.

Усилием воли я заставил себя подняться, спрятал письмо и пошел ей навстречу. Когда я приблизился к деревьям, Тоня уже сидела на ветке, одетая, как студентка, в шерстяной светло-коричневый сарафан и зеленую кашемировую блузу с бантом. Увидев меня, она порывисто встала, сделала несколько неуверенных шагов и остановилась. Написанная на ее лице радость сменилась растерянностью.

— Вас кто-то обидел? — спросила она с участием и невольным желанием быть мне защитницей.

Я молча прошел мимо нее и сел на ветку.

— Вы очень плохо выглядите. Вам нездоровится?

— Нет, я вполне здоров,— не глядя на нее, сказал я.— Видите ли, Тоня, я давно собирался поговорить с вами всерьез, но как-то не осмеливался... не хватало духу. И вот теперь я решился. Каюсь. Я должен был раньше сказать вам всю правду.

— Какую?

— Нам нужно расстаться.

— Расстаться? — едва слышно прошептала она.

— Да! Навсегда.

— Почему? Ах, понимаю, понимаю... Вы художник, а я никто. Кто я? Девочка на побегушках. Домохозяйка.

— Ничего вы не поняли, ничего! Наше положение тут ни при чем. Есть причина более серьезная. Мы должны расстаться. Это в наших интересах.

— Господи! К чему вы это?

— Я женат!

Произнеся это, я почувствовал, почти физически ощутил всеми нервами, как она затихла, осознавая смысл моих слов,— и поднял голову, словно уже прощался с Тоней, в последний раз глядел на нее. Она стояла передо мной бледная и какая-то похудевшая, с влажными гла-

зами, в которых был ужас и непонимание, неверие в то, что я сказал: она сжалась, напряглась, точно еще чего-то ждала от меня, хотела удостовериться в обратном. О, как в эту минуту я ненавидел себя! Упасть бы перед нею на колени, только не видеть этих невыразимо горестных глаз.

— Женаты? — В ней еще теплилась надежда на иной ответ, которого она ждала с содроганием.

— Я виноват, что не сказал вам раньше. Я не ждал этого! Но дальше не стану скрывать. Да, я женат. Наше счастье невозможно. Сегодня я получил письмо от жены и вот решил объясниться с вами.

— Кто она? — Голос у нее стал чужой и далекий, словно она говорила со мною в глубоком тумане, с другого берега реки.

— Преподает в институте.

Она глядела куда-то в степь сквозь меня. Глаза ее влажно, отрешенно синели.

— Вы ее любите?

— Не знаю.

Тоня была потрясена ответом не менее, чем предыдущим моим признанием.

— Как же так?! — после длительной паузы с искренним недоумением произнесла она.— Жена... Вы должны ее любить. Вы не имеете права не любить жену. А вы сомневаетесь. Как же так?!

— Раньше казалось: люблю, а теперь — не знаю. Может быть... Хотя нет... Это трудно, почти невозможно вам объяснить. Вы молоды. Для вас мой ответ — нелепая загадка. Но между тем это — правда. Сущая правда: я не знаю!

— Вы не любите ее,— сказала Тоня. Она оживилась, взглянула на меня с радостной надеждой: — Ну признайтесь: вы не любите жену. Ни капельки. Ведь так? Если не знаете, не уверены, то и любви никакой нет. Вам нужно разойтись. Почему вы не разойдетесь?

— Я никогда об этом не думал.

— А вы подумайте! — с неожиданной дерзостью посоветовала она, подсела ко мне и холодной ладонью остудила, погладила мой лоб, как у больного.— Подумайте: с кем вам лучше — со мною или с вашей женой?

— С вами.

— Вот видите,— печально, с нежностью матери про-

изнесла она.— Мне жаль вашу жену. Вы ее совсем не любите.— Она поцеловала меня в щеку и, сама удивленная открытием, тихонько засмеялась.— А я вам нравлюсь? — спросила она вдруг и затаила дыхание в смятенном ожидании ответа.

— Да.

— Очень-очень?

— Очень.

В награду за откровенность она поцеловала меня еще раз, прильнула ко мне и вновь опечалилась. Странность ее поведения не могла не броситься в глаза. В этот вечер она то замыкалась в себе, скучнела и, отстранившись, подолгу сидела как немая или ходила возле деревьев, обхватывая корявые стволы и прижимаясь к ним всем телом, то внезапно возвращалась ко мне и без умолку говорила с нарочитой беспечностью, смеялась, озорничала. В ней боролись противоречивые чувства, она пыталась забыть, рассеять сомнения — и не могла. Следя за нею, я почти с отчаянием думал, что, быть может, это последний наш вечер, прощальное свидание, после которого мы никогда больше не встретимся. Комом подкатывало к горлу удушье, сжималось сердце... Да, я твердо решил больше не встречаться с Тоней. Мысленно я прощался с нею.

По пути домой, держась на расстоянии двух-трех шагов от меня и намеренно не подходя ближе, Тоня снова поинтересовалась причиной моего пребывания на пасеке. Не желая утаивать от нее секретов, я рассказал все как есть и добавил, что, по всей вероятности, пчелы тестя не спасут меня от безденежья: в этот сезон они слишком неповоротливы и вялы. Придется мне перейти на мелкие заказы, чтобы продержаться и кое-как дотянуть до следующего медового сезона. Там уж мы отквитаемся за нынешнее поражение.

— Хотите, я помогу вам?

— Чем же?

— Деньгами.

С благодарностью оценив ее жертву, из любопытства я спросил, сколько же она может мне ссудить.

— А сколько вам надо?

— Тысячи две. Они бы устроили меня. Целый год я посвятил бы свободному творчеству.

— Я вам достану.

— Две тысячи рублей?! Да где же вы их возьмете?

— У папы. Я попрошу его, он мне не откажет. Честное слово!

— Спасибо, Тоня. Но, пожалуйста, не принимайте этот разговор всерьез. Деньги я постараюсь заработать сам. Стоит лишь мне захотеть — и будет больше... Гораздо больше.

Тоня протестовала и настаивала на своем, горячо и сердито выговаривая мне:

— Я же чувствую — они вам нужны! И где вы их заработаете? Где?

Даже согласившись ничего не предпринимать без моей просьбы, она осталась при своем мнении и где-то в глубине души обиделась на меня. Мы расстались неподалеку от ее хаты. С грустью и с болью в сердце я пожал ей руку, вбирая холодок маленькой ладони, больше почувствовал, чем увидел, растерянную улыбку на ее лице, наполовину скрытом тенью от акации, и отпустил Тоню. Она не обернулась и не спросила, как раньше, когда нам встретиться вновь. Тем лучше. Пусть будет так, как есть... На порожках гулко простучали каблучки ее туфель, и через минуту, скрипнув на петлях и потревожив чуткий сон завозившихся индюков, отворилась дверь.

Я глянул в похолодевшее темное небо и постоял возле акации, пока в квадратных оконцах не погас свет. Чернота еще теснее сжалась, обступила меня со всех сторон, окутала сад и приналегла на крышу.

Прощай, Тоня, прощай.

26 июня

...Что я за человек? К какому роду людей принадлежу? Порою я чувствую в себе крепкую волю, способную сокрушить все препятствия, и ободряюсь, светлею духом, много и лихорадочно работаю с сознанием своего высокого назначения. Ведь мать родила меня, верно, не для того, чтобы я носил брюки, модную шляпу и мокасины, умел поддерживать в компании подвыпивших друзей умные разговоры на темы, далекие от подлинной жизни так же, как чужие галактики от нашей Земли, а утром, проснувшись, жалел о бездарно, нелепо потерянном времени в угаре пустоблудия. Нет же, я родился, чтобы действовать. Для какой-то иной, благородной цели мать произвела меня на свет. В редкие мгновения я улавливаю суть: надо жертвенно трудиться, несмотря ни на что! Любимое, честно исполненное дело — единственное спасение...

Но когда я приступаю к работе, благоговея перед холстом,— странно, мне что-то мешает, и я не до конца отдаюсь ей, может быть, только наполовину. Эту склонность — все делать наполовину, не доводя до логического завершения,— я не раз отмечал и в друзьях, знакомых или просто случайно встреченных попутчиках — словом, если короче выразиться, в людях своего круга. Да, мы должны хотя бы однажды набраться смелости, положить руку на сердце и вслух признаться: мы живем наполовину. Наполовину работаем, наполовину мыслим и чувствуем, даже любим наполовину. Вот я... Ведь я, кажется, люблю Тоню и тем самым оскорбляю чувства Нади, моей жены. Хотя она ни о чем не знает, но это не меняет сути: главное — в том, что я сам хуже стал думать о Наде и в душе перестаю уважать ее. Я люблю другую и обязан ради нашей чести разорвать с женою. Но я не сделаю этого. Мне горько, тяжко, я вне себя и сгораю от стыда, от боли. Но я не поступлюсь супружеским долгом, давними связями. Я чего-то боюсь... цепляюсь за старое. Быть может, я опасаюсь скандала, шумной огласки, слез Нади. Ведь она, верно, испытывает ко мне привязанность, даже по-своему любит меня. Да и столько пережить вместе! Разве это когда-нибудь забудется? И тестя грех обижать: замечательный человек.

Нет, я в полном отчаянии, я решительно не знаю, что меня ждет впереди. Какая судьба?

Я люблю Тоню. И так коварно обошелся с нею! Вот написал «люблю» — и мысль прожгла: вдруг и это всего лишь любовь наполовину. Что мне тогда остается? Если я неспособен по-настоящему, жертвенно любить, сумею ли я когда-нибудь достигнуть правды, нравственной высоты в искусстве?

Не ошибиться бы с Тоней... Кто она? Обыкновенная девушка. У нее, конечно, есть одно неоспоримое преимущество перед Надей — молодость. Но это достоинство, к сожалению, слишком непостоянное, с годами быстро тускнеет, и может статься, меня постигнет другое, еще более глубокое разочарование. Что же тогда? Риск великий, сгубишь жизнь ей и себе. Надо трезво рассудить, взвесить все «за» и «против». Нехорошо взвешивать, не торговец же, на граммы тут не продается, да что поделаешь, что поделаешь, опыт учит — надо... Тоня воспитывалась в чуждой мне среде, да — в чуждой, не стоит на это закрывать глаза. Наверняка усвоила кое-какие дур-

ные привычки. Ослепленный ею, сейчас я склонен не замечать их либо выдаю черное за белое, но что будет потом? Вон и Надя восторгалась моей работой, будущая слава художника льстила ее самолюбию, кружила голову; когда же она поняла, что лавры и деньги даются не так просто, можно ухлопать на это всю молодость, всю жизнь — и все равно ничего не добиться, что служение искусству связано с огромным риском и в конечном итоге с отрицанием благ для себя, когда поняла это — понемногу охладела, ожесточилась и втайне считает мои занятия неблагодарными. Как бы то же самое не случилось и с Тоней. Сможет ли она стать мне верным другом, опорой и в радости, и в горе, поймет ли мои истинные стремления?

Вдруг не поймет? Вдруг она тоже увлеклась возможностью красивой жизни и летит, как бабочка-мотылек, на яркий обманчивый свет, не подозревая, что может обжечь себе крылья?..

«Нет, она иная... редкая душа,— лихорадочно думалось мне.— Я не мог ошибиться в портрете. В нем я постиг ее откровение».

Днем у меня разболелась голова, я смочил полотенце в воде, приложил его ко лбу и пролежал, не поднимаясь с постели, до того, пока не вернулись из разведки старики. Опять неудача: подсолнух в совхозе элитных сортов, он цвел, не оборачиваясь к солнцу и почти не выделяя нектара.

Пришла беда — шире открывай ворота: она в одиночку не ходит. Матвеич обнаружил, что пчелы начинают изгонять трутней — верный признак наступления безвзяточных дней. Он повел меня к наблюдательному улью и показал удручающую картину: работницы шныряли по сотам в поисках неуклюжих, вялых на подъем трутней и, найдя, кучей набрасывались на них, жалили в грудь и брюшко, в глаза и тащили к отверстию летка. Трутни как могли сопротивлялись, упирались ножками, гудя и расставляя прозрачные издерганные крылья, и, наконец обессилев, покорно отдавались судьбе... Пчелы, пока волокли их, изжаливали трутней до смерти и вытаскивали вон из улья, бросая в траву. Те еще копошились в ней несколько минут, судорожно дергались и норовили подобраться к летку, но скрючивались и замирали. Обычно выселение трутней начинается незадолго до осенних, с изморозью, холодов, когда взяток обрывается оконча-

тельно и пчелы заняты одной заботой — уберечь на зиму как можно больше запасов меда и перги. Но это их преждевременное старание не на шутку напугало стариков. По совету тестя, они тут же, не отдохнув с дороги и не отведав арьяна, сели в «Победу» и умчались искать ранние подсолнухи...

Тем временем, пока они колесили по степи, заскочил на «Жигулях» Филипп Федорович, взмыленный, с прилипшей ко лбу челкой. Он нанял машины и ночью отбудет в Тахту. Филипп Федорович, кисло улыбаясь, дважды повторил просьбу, чтобы мы никуда не отлучались, помогли ему погрузить ульи. Жена у него перенервничала, когда дохли пчелы, и до сих пор болеет, пластом лежит от сердечного приступа; напарник, кум его, тоже нездоров, а грузчиков сейчас днем с огнем не отыщешь: жатва!

— А за тобой должок! — напомнил он мне.— Добро за добро... Я на вас с Федоровичем надеюсь.— И уехал, подобострастно улыбаясь, сгибая твердо посаженную голову.

Не менее пчел всполошились, загудели наши пасечники, искатели большого меда. Я уже разуверился в удаче и бродил возле посадки с несколько унявшейся головной болью, про себя зло посмеивался, подтрунивал над ними, да и над собой тоже. Мы ведь, в сущности, коллеги, друзья по несчастью.

Прилетела наша возбужденная троица. В пятнадцати километрах от хутора Беляева, в низовьях зеленой долины, набежали старики на необозримые делянки подсолнухов, и ранних и поздних. Ранние уже зацветали, «рябели» сплошь и рядом, поздние завязывались, выкидывали тугие кулачки, которые после развернутся в корзинки. Мечтали о подсолнухе за горами, за долами, а он — под боком. Тесть недовольно косился на Матвеича, хмурил белесые брови:

— Ай-я-яй! Ездили за семь верст киселя хлебать, а клад под носом. Олухи царя небесного! Разведка у нас никуда не годится. Лишний раз боятся мотором чихнуть. С такой разведкой пропадешь.

Недовольство тестя объяснялось и крахом с покупкою хаты. На обратном пути он упросил Матвеича заехать на верхний хутор — за «лучком-укропчиком» — и заскочил к сердобольной бабушке в намерении вручить ей задаток. Бабушка, увидев тестя, смешалась, прилипла к

лавке. Кое-как опомнившись, с оханьями и причитаниями поведала ему историю, из которой стало ясно, что по простоте своей душевной она обмолвилась соседке о ненадежном покупателе, та перенесла Гуньку, впрочем, тоже без злого умысла.

Гунько лишился покоя. Его не очень-то вдохновляла перспектива иметь рядом пчеловода-конкурента, да еще такого опытного, как мой тесть, и Гунько тут же подставил ему подножку. Он привез из Ставрополя племянницу, дал ей денег, и та внезапно явилась с ними к бабушке, не подозревавшей об интригах, и на корню скупила усадьбу.

Так Гунько объегорил тестя. Чтобы замолить свой грех, бабушка кинулась в огород, надергала ему лука, нащипала укропа, нащупала под листьями молоденьких, с пупырышками, огурцов и все это принесла в подоле зипуна.

— Вот, батюшка, оплошала! Беда; головушка горькая!

Тесть весьма деликатно простился с нею и поделился зеленью с терпеливо ожидавшими его компаньонами. На душе у него буря: прозевал дачное место, не учел козней Гунька! Самолюбие тестя было уязвлено, он не мог простить себе этой осечки. Блескучая рыбка, живая, игривая, трепыхалась в его руках — и вдруг выскользнула, нырнула в мутную воду от неосторожного обращения с нею.

В потемках припылил на «Жигулях» неугомонный Филипп Федорович. Перед этим мы уже разговаривали, кто из нас поедет ему помогать. Матвеич, сославшись на усталость, наотрез отказался: «Весь день за рулем, руки зудят!..» Гордеич объявил о ломоте в пояснице, уверяя, что «крутит» его к дождю. Лишь закатилось солнце за край степи, они вдвоем скрылись в сумеречной посадке. Оставалось ехать нам с тестем: я был должник Филиппа Федоровича, а тесть все еще лелеял мечту добиться у промышленника сердечного расположения, чтобы на всякий пожарный случай иметь на прицеле хорошего компаньона на новый сезон.

Будка у Филиппа Федоровича была разобрана, вещи аккуратно сложены либо связаны в узлы. На одном из них печально ютилась его жена, неразлучная спутница, укутанная толстой шерстяной шалью. Она маялась от сердечной боли, постанывала.

— Что, Анна Васильевна, приболела? — участливо обратился к ней тесть.

— Ага, Федорович. Плохо! Взятка нема, и не знаю, будет ли в Тахте.

— Будет! — в один голос заявили мой тесть и Филипп Федорович.

Компания у нас подобралась дружная, хваткая на веселую ночную работу. Я носил ульи с кумом Филиппа Федоровича, молчаливым и основательным мужиком неопределенного возраста; его тоже изводила какая-то болезнь — лихорадка или насморк. Он все время чихал в мокрый платок и мелко вздрагивал, но работал без устали, как заведенный, и в точности исполнял любые команды Филиппа Федоровича и его жены, как бы заранее угадывал их намек, еще не высказанное желание, молча, но властно хватал меня за рукав и тащил именно к тому улью, который требовался в этот момент. Мой тесть был в паре с чабаном-карачаевцем, нанятым за полведра меду; он брал у карачаевца молоко и арьян в обмен на все тот же мед, друг друга они знали хорошо и подбадривали себя и других оживленными криками. Филипп Федорович с двумя шоферами, которым он тоже налил меду в придачу к деньгам, укладывали наверху ульи — легкие, удобные, с надежно закрытыми летками, с плоскими крышами и квадратные, как ящики. Без усилий мы погрузили всю их огромную пасеку, утянули ульи веревками. Филипп Федорович, до этого вежливый и обходительный, стал нервно покрикивать и в нетерпении тереть ладони, приказал шоферам немедля отправляться, сел в «Жигули», где подремывала жена, завел мотор, развернулся, полоснул нас ослепительно-резким светом и начал выбираться на асфальт. Он как-то запамятовал о своем прежнем обещании довезти нас с тестем до лесополосы.

— Шкурник! — бормотал во тьме тесть, совершенно подавленный.— Что за народ! Никогда я с ним не поеду кочевать. Кугут!

— А, не горюй,— сказал ему карачаевец, осторожно держа за дужку ведро с медом.— Не горюй, Федорович. Была и сплыла... помчалась! Чего вспоминать...

Втроем мы направились мимо глубокого оврага, наполненного непроглядной тьмою, не выпуская из поля зрения мелькающие внизу огоньки фермы.

30 июня

Я загорал на каменной лежанке, наблюдая за небом. Когда мы заняты, без устали суетимся, лишь изредка отрывая взгляд от земли, и то без желания всмотреться в небо, оно представляется нам будничным, почти одинакового цвета — синего или голубого, но между тем, если долго созерцать его, постигнешь чудо: ежеминутно блекнут, цветут — меняются небесные краски и оттенки, творится торжественный обряд никогда не убывающего, вечного в своем первозданном постоянстве света. Небо не бывает одинаковым, в каждый миг и в каждое время года оно неповторимо.

Утро было теплое и солнечное, откуда-то из-за горизонта поднимались светло-серые облака, медленно вытягивались, уходили ввысь, в чисто пламенеющую синеву; там, нарастая, как по волшебству, возникали купола блистающих церквей и сторожевые башенки, сияли прозрачно-золотистые лестницы, ведущие к белым дворцам, которые вдруг оседали и превращались в былинных витязей со щитами; прогалы купались в синьке и становились гуще, холоднее, проливая на землю снопы фиолетово-снежного, безудержно молодого света. Ближе к окоемам синева затягивалась дымкой, едва различимой, неуловимой, как дыхание. К обеду синь по окраинам стекла, вытаяла в редкий голубец, поблекла и перешла в смутные токи испарений. Когда же солнце достигло зенита — вершины неба, испарения нависли томящей дремой, наволочью, словно где-то, по ту сторону купола, затлели теплые болота. Но вверху, прямо надо мною, по-прежнему неистово, празднично пламенела синева, тек, ломился в глаза свет, воскрешая во мне забытые впечатления детства, когда я вот так же безмятежно лежал на круче и глядел в небо. Только свет, необъятный, никуда не исчезающий, надежнее всего соединяет нас с прошлым и, наверное, соединит с будущим, с самой вечностью. Я подумал об этом и содрогнулся: как же удержать хотя бы на миг этот свет, запечатлеть на полотне его течение, дающее жизнь небу? И можно ли этого достигнуть? Вслед за этим, как продолжение мысли о свете, явилось воспоминание о Тоне, я улыбнулся ему и, все еще глядя в небо, стал думать о ней. Не ведаю, каким чувством вдруг я ощутил ее присутствие вблизи и, кажется, ясно догадался: «Она идет сюда». Я приподнялся на локтях и увидел Тоню. Она шла к нашей пасеке.

шла ко мне! Быстро одевшись, я побежал ей наперерез. Она заметила меня, порывисто свернула и пошла навстречу, прижимая к груди что-то белое. Запыхавшись, она приблизилась ко мне и протянула сверток:

— Вам.

— Что это?

— Сами узнаете.— От волнения и быстрой ходьбы щеки ее горели, глаза сияли.— Берите же! — держа на весу сверток, поторапливала Тоня.

В газету был завернут старый, потемневший горшок с отбитой ручкой, доверху наполненный тугими пачками денег. Я оторопел. Тоня же счастливо улыбалась.

— Вот,— с облегчением выдохнула она, будто избавилась от ненужного и тяготившего ее груза.— Вы теперь свободны. Рисуйте!

— Зачем вы это сделали? Я же вас предупреждал. Я же вас просил не делать этого!

— Они вам нужнее. Все это ваше,— она кивнула на горшок.

Ладони у меня вспотели, горшок выскальзывал из них. Чтобы не уронить, я поставил его на землю и прикрыл газетой. Тоня, видя мое замешательство, сказала:

— Мы одни. Никто их не видит.

— Сколько здесь?

— Я не считала.— Она помедлила и, досадуя на меня, добавила просительно, слегка обиженным тоном: — Ну, пожалуйста, возьмите. Я дарю их вам.

— Отнесите их обратно отцу.

— И не подумаю! — дерзко заявила Тоня.

— Вы меня обижаете.

— Нисколько! Я вам хочу помочь.

— Но я не нуждаюсь в такой помощи! — с раздражением сказал я и подальше отошел от горшка.— Я ведь тогда шутил... Сейчас же унесите его. Вам влетит от родителей.

— А я не пугливая,— изменившимся голосом сказала Тоня. Глаза ее потемнели, со щек сошел румянец.— Пусть тогда он валяется в траве! — И, внезапно повернувшись, она побежала вниз.

— Тоня! Постойте! — кричал я вдогонку, пытаясь вразумить ее.— Давайте спокойно... серьезно поговорим!

Напрасно. Через несколько минут ее платье уже пестрело далеко за тутовыми деревьями. Я покосился на горшок и, совершенно обескураженный, сел на теплую тра-

ву. Настоявшаяся жара припекала затылок и спину, переливалась по степи прозрачными слоями, как расплавленное стекло. Я разулся, снял рубаху и, выйдя на полевую дорогу, стал расхаживать взад и вперед по сухой пыли. Она обжигала пятки. На западе собирались кучевые облака — к дождю. Но они едва ли к вечеру заволокут небо. Расхаживая, я поглядывал на белеющую среди травы газету. Что мне делать с горшком? Не оставлять же в степи... С откинутым длинным хвостом на деньги опустилась сорока, равнодушно подергала клювом за края бумаги и, ни о чем не сожалея, улетела. Я вернулся к горшку, обернул его высохшей, как березовая кожура, газетой и понес в хутор.

Гунько, по-птичьи вытягивая шею, привычно колдовал в саду над ульями. Он не ответил на мое приветствие, подозрительно оглядел меня водянистыми глазами.

— Тоня дома?

— Ась? — Гунько склонил набок голову, выставил правое ухо и прислонил к нему землистую ладонь.

Я вынужден был повторить вопрос. Он поднял с травы уроненный ржавый гвоздь, повертел его в корявых пальцах и сунул в карман засаленной хлопчатобумажной куртки.

— Нету ей,— сурово сдвинул он желтоватые, как бы прокуренные табачным дымом брови. Болезненно сморщился и распрямил спину.— Повадились ухажеры, охотники до чужого добра. Свое наживай! На-ка; выкуси! — вдруг затрясся он от негодования и показал кукиш.— Ты же, парень, женач! А кобелишься, морочишь голову девке. Не допущу! Не дам ее позорить. Сгинь, сатана! — Старым ястребом, вспомнившим свою молодость, наскочил он на меня и дернул за рукав рубашки.— Сгинь, а то пришибу!

Горшок вынырнул из моих ладоней, и в это время, хлестко прихлопнув дверьми, на порог выбежала Тоня. Мой разъяренный противник споткнулся о горшок, с изумлением уставился себе под ноги, на рассыпанные по траве розоватые и зеленые пачки денег, и перестал кричать, устремил взор на Тоню, которая шла к нам порывистым, нервным шагом.

— Ты где... где их стибрила? — задохнулся от обиды Гунько.

— Дома. В Сливовом.

— Христос-спаситель!..— Гунько закатил под лоб

глаза.— За тем ты и ездила в Сливовый! Ограбила отца, матерь. Ему, пристебаю, наши кровные отдаешь! — Возвысив голос, Гунько ткнул в меня пальцем, весь затрепетал, но, столкнувшись со взглядом дочери, устрашился его, втянул голову в плечи и внезапно присмирел.— Что ты вытворяешь, Тоня! — вырвался у него, как вопль, жалобный укор.— Что вытворяешь? Семью по миру пустишь!

— Будьте спокойны, мы в ваших деньгах не нуждаемся,— сказал я старику.— Подберите-ка лучше свои ассигнации. Помочь?

— Н-ни! Я сам... Сам! — Гунько покосился на меня, судорожно глотнул воздух и потряс пальцами рук, как бы смахивая капли воды. Упал на колени.— Не трожь ее, парень. Не трожь! — бормотал он, поспешно сгребая деньги в горшок и заслоняя его краем куртки.— Слышь? Она у нас одна. Огонек в окошке. Ясное солнышко.— Он собрал пачки, обеими руками обнял горшок и встал.— Мало тебе вдовушек... разведенных. Ух, ты! — Он покачал головой.— Пожалей дочку. Ну скажи, пожалеешь?

— Слово мужчины.

— Папа, иди в хату,— сдержанно попросила Тоня.— Я потом все, все тебе объясню. До капельки.

— Ну, гляди, дочка, гляди...— Гунько двинулся ко двору расслабленной походкой. Ноги его оплетала трава, он путался в ней и спотыкался, неся горшок бережно, как спеленатого ребенка,— на согнутой в локте руке.

Мы стояли, прислушивались к мерному гудению пчел, к тишине прохладного сада, со странным вниманием приглядывались к золотистому свету; он пятнами лежал на траве, темно-зеленой и сочной в тени деревьев, скользил между кустами посаженной вдоль ручья смородины. Будто впервые мы вбирали этот свет в себя и чувствовали его непостижимую, вечную сущность.

— Так неловко вышло,— я взял ее за руку.— Простите.

— И вы меня простите,— тихо, с растерянной улыбкой сказала Тоня.

Мысль о том, что я скоро покину ее, казалась чудовищной и почти невероятной в этом саду, полном жизни, где каждый листок, каждая травинка трепетно, жадно тянулись к неистребимому свету. Возможно, мы единственные люди на всей земле, которые рождены друг для друга, но судьбе угодно разлучить нас.

1 июля

Ночью мы переезжали. Тестю, весь день караулившему у асфальта, наконец удалось перехватить два грузовика — многотонный «МАЗ», с длинными железными бортами и жестяным ребристым дном, и «ГАЗ», с уплотненным кузовом для перевозки зерна. Шоферы, седые от пыли, возили хлеб на элеватор, а сейчас пустыми возвращались в районный городок Изобильный.

Ночь стояла темная, в небе все чаще, явственнее погромыхивало, кое-где вспыхивали, знобко трепетали сполохи. Порывы ветра накидывали запах дождя, воздух сырел. С минуты на минуту мог пойти дождь. Это подгоняло нас, и мы работали не передыхая — молча, зло.

...Мне сыпануло за воротник жгуче-ледяную пригоршню капель, когда я с Гордеичем завязал наверху последний узел и ладился спрыгнуть вниз, чувствуя, что уже выдохся, как отстрелянная гильза. Я вздрогнул и неприятно поежился. Прямо над головою ударил, зарокотал гром-полуночник, взвилась молния, на мгновение высветив притихшую полоску леса и курган в степи, и спустился на машины, на ульи, на дорогу мелко шуршащий, все обволакивающий дождь. Шоферы кинулись по кабинам, зажгли фары. В их свете, упавшем на дорогу, мутно мельтешили проворные струи. Тесть схватил с ветки брезентовый плащ, в другую руку — едва мерцающую «летучую мышь», и побежал к «МАЗу». Гордеич завел мотор, тронулся, я залез на медленном ходу в его «козел», и мы, огибая машины, полетели вперед, чтобы успеть выбраться у хутора на грунтовую дорогу, пока не развезет эту, степную.

Дождь лил все упорнее, с ветром хлестал в переднее стекло. Вода рябила его и стекала волнистыми кругами. Гордеич беспрестанно оглядывался назад: идут ли машины, не буксуют? Они шли, тяжело фыркая. Больше всего он опасался за «МАЗ»: по асфальту он бежит, стелется мощным зверем, но по таким полевым — не ходок, наворачивает себе на колеса грязь и садится, плотно влипает в землю.

Все же до грунтовки добрались без приключений. «МАЗ» с ревом летел за нами, следом подслеповато мигал фарами «ГАЗ», сзади неотступно юлила «Победа», выбирая колею потверже и шарахаясь от одного кювета к другому. Справа удалялся хутор Беляев. Я проводил взглядом его редкие, размытые дождем огни. Там, среди

них, в этой кромешной тьме,— Тоня. Я представил себе, как однажды, ни о чем не подозревая, она выйдет на прогулку к тутовым деревьям, постоит и поднимется выше, в тайной надежде увидеться со мною, и... не обнаружит у посадки нашей пасеки. Вслед за этой мыслью передо мною встала картина ее отчаянья, почти явственно услышал я глухие, бесконечно горькие рыдания этой невинной, доверчивой девочки — и меня охватывала смертельная, прежде никогда не испытываемая тоска, все во мне обмерло и похолодело. Не помню, как мы ехали дальше. Очнулся я от внезапного толчка машины и раздавшегося над ухом сердитого голоса Гордеича:

— Все! Гонялись, гонялись за дождем, а теперь он нас догнал. Напоследок. Догнал так догнал! Он как метил нас.

Вокруг шумело, клубилось в жидком свете фар. Гром откатился, только изредка вспыхивали без звука и гасли молнии. Гордеич остановил машину на развилке: от грунтовой дороги вправо отделялась полевая и, насколько можно было разглядеть, шла между каких-то деревьев и кукурузным полем, исчезая во мгле. Я догадался: дальше ехать именно по этой вязкой глинистой дороге, но, прежде чем попасть на нее, надо перемахнуть через налившуюся в размочаленном кювете лужу, уже довольно глубокую и просторную. Подтянулись остальные машины... Не надевая плаща, громко ругаясь, Гордеич вылез в своей черной шляпе. Из мрака на свет вынырнул мой тесть в плаще, с натянутым на голову капюшоном. Подошел и Матвеич, держа над собою зонт и кашляя.

Гордеич взвился, перешел на крик:

— Ты как дамочка с зонтиком! Прохлаждаешься. Брось его! Будет нам нонче баня, холодный душ!

— А что, Гордеич?

— То! Беньки залепило, открой! Мы не пробьемся до подсолнухов.

Нанятые шоферы не вылезали из кабин, сидели и удрученно смотрели сквозь мутные стекла, чего-то напряженно выжидая. Матвеич похромал к своей «Победе» и появился в резиновых сапогах, по-прежнему колыхая над собою зонт, с которого текло ручьями. Он потыкал землю палкой, медленно забрел в лужу и с трудом передвинул ноги, как бы вырывая их из воды, доходившей почти до колен.

— Вязко,— Матвеич оперся на палку, чтобы не поскользнуться, и выбрался из лужи.

И тут послышался голос моего тестя:

— Выход, герои, один: отъехать дальше и где-нибудь разгрузиться.

— А потом? — ахнул Матвеич.

— Суп с котом! Подсохнет дорога, и вернемся к подсолнухам. Никуда они от нас не удерут! Хлопцы! — крикнул тесть шоферам, приставляя ко рту мокрые ладони.— Вы подкинете нас, когда подсохнет?

— Подвезем!

— Тогда по коням, буденовцы!

Тесть пытался шутить в этой кутерьме. Что ж, это его право, пусть шутит, если ему чересчур весело. Но мне было не до шуток. Всей кожей я заранее ощущал озноб в теле от близкой, неминуемой сырости, хлюпающей под ногами грязи, от дождя, который, думалось, больше не кончится, будет лить и шуметь назло и в назидание нам, грешным людям. И куда меня занесло? За что я страдаю?

Взвыли моторы, понеслись мы по грунтовой. Нам обязательно нужно удалиться от подсолнухов, потому что пчела имеет обыкновение устремляться на старое, облюбованное место и не возвращается на новое, если оно выбрано вблизи: память пространства гонит ее назад. Намечать стоянку желательно в эпицентре медоносов, ибо после нельзя переезжать на короткие, менее восьми километров, расстояния и произвольно менять местонахождение пасеки. Мы отъехали на десять километров, отыскали полотно без кюветов и решили снимать ульи рядом с дорогой, на траву.

Во мгле, до нитки промокшие, словно муравьи рассевшуюся от дождя кочку, облепили мы кузов, сволакивали вниз скользкие ульи и, едва удерживая их, относили на траву, одно прикосновение которой сперва вызывало у меня дрожь. Потом ничего — привык, разгорячился. Либо пар шел от наших тел, либо дождь смутно туманился, но у меня было такое ощущение, что это пар... Наконец разгрузились. Шоферы, вслух проклиная наших пчел, кинулись по машинам и канули во мраке вместе с рубиновыми огнями у задних бортов. Компаньоны тоже побежали к своим домам на колесах, там сняли мокрую одежду и, зуб на зуб не попадая, напялили на себя сухую — шерстяную. Нам с тестем греться было негде.

Даром времени не теряя, шустро двигаясь, чтобы не остыть и не схлопотать себе лихорадку, мы стали напяливать будку.

Дождь лил всю ночь и весь день. К вечеру, уже в сумерках, едва-едва угомонился. Следующий день выдался погожий, солнечный, с ветерком. К полдню обдуло, выбелило корку, полевые дороги просохли и затвердели. Пчелы повеселели, закружились в светлом воздухе, чаще уносились в разведку, хотя она совсем была ни к чему: мы готовились на подсолнухи. Старики волновались: не забыли ли свое обещание шоферы? Но они оказались порядочными людьми и, лишь только легла на степь вечерняя тень, примчались за нами.

Опять мы до полуночи нянчили ульи, то подавая их наверх, то бережно сволакивая вниз. Что поделать: такая работа. Хочешь большого меда — вертись, умей дожидаться взятка.

К утру мы упали на теплые овчинные шубы, головами к занимавшейся в полнеба ясной заре, и сразу как бы отошли в сладкое, желанное небытие. Однако через полчаса нас растолкал Гордеич, мы вскочили, расставили ульи и по общей команде начали выпускать пчел.

Еще один круг замкнулся.

III

РОДНИКИ

4 июля

Понемногу приходим в себя, свыкаемся с новым местом. Мы расположились возле канала, у глубокого дренажа, на дне его тек чистый полноводный ручей, прятавшийся в камышах выше человеческого роста и кое-где затемненный низко наклонившимися кустами плакучей ивы. Перед нами вдаль и вширь разливалось темно-зеленое, с желтоватыми всплесками море подсолнухов, а позади, между дренажом и каналом, тянулась защитная лесополоса. В ней повсюду спели, наливались солнцем абрикосы, выглядывала из-за листьев красновато буревшая алыча.

Канал был широкий, вода в нем безмятежно, ослепительно сияла, но у железобетонного акведука темнела и

сужалась, начинала бурлить и пениться и, будто носом корабля разрезанная посередине каменным остряком, с шумом втягивалась в продольные корыта, неслась по ним и билась в стенки, гудела и ярилась в тисках — и, наконец, вскипая белыми барашками, вырывалась на волю, плескалась и на глазах обессилевала, широко расходилась, взявшись скоротечной рябью.

С утра до вечера у акведука, на горячих каменных плитах, много загорало мальчишек и приезжих; купальщики с криком прыгали в корыта и, подхваченные крутым течением, мелкой рыбешкой выплескивались в буруны, смешно переворачивались и выныривали, гребли к берегу. Приехавшие на личных автомашинах и мотоциклах и местные ребятишки купались также на той стороне за каналом — в озере, с одной стороны обсаженном пирамидальными тополями, с другой — почти вплотную примыкавшем к хутору Родники. На этом хуторе лежала та же печать запустения и скуки, что и в Беляеве: дома стояли редко, вразброс; часто виднелись одни сады с глиняными остатками порушенных жилищ; паслись овцы и коровы, мальчишки лазали по ничейным деревьям и ломали ветки, отдыхающие лакомились вишнями, яблоками. Говорят, здесь когда-то били из-под земли чистейшие ключи, оттого, мол, и хуторок прозвали Родниками, но ключи давно засорились, забились илом и глиною, расчистить их некому. Да и зачем напрасно стараться, оживлять старину, если в канале уйма свежей кубанской водицы.

По вечерам в ничейных садах смолкают голоса, берега канала и озера пустеют, и приезжие, набрав в ведра и плетеные корзины абрикосов, отбывают кто куда, многие — на центральную усадьбу. До нее километров девятнадцать. Усадьба эта разрослась до городка, однако до сих пор, к стыду ее обитателей, безымянна, не пристало к ней хорошее русское название, будто наследники кубанских казаков потеряли дар воображения и вкус к меткому слову. Город красив и многолюден, есть в нем овощной завод, кинотеатр и даже родильный дом, вдоль улиц — чистенькие тротуары. Вечерами, при свете электрических фонарей, фланируют по тротуарам юные модницы-недотроги в таких нарядах, что диву даешься, с какою молниеносной быстротой благодаря телевидению перенимаются всякие новшества в наших бесчисленных глубинках. Неподалеку от усадьбы, за рядом

многоэтажных домов, раскинулся огромный животноводческий комплекс.

Работают на нем и родниковцы. Одни осели на усадьбе с детьми и родичами, другие еще не осмелились оторваться от пуповины, мечутся между хутором и городком на легковушках либо на мотоциклах, а то и на чем придется. Но мало-помалу жизнь берет свое, даже самые стойкие не выдерживают и перебираются в городок.

Мы с тестем ходили за молоком в хутор, и я спросил у одной старухи, на вид еще крепкой, поджарой, с лицом истой казачки, не хочется ли ей тоже уехать на усадьбу, не скучно ли жить в хате на отшибе. Старуха отвечала с достоинством и без колебаний — видно, у нее не однажды спрашивали о том же другие:

— Скучно там, где на столе ничего нету. Вот раньше, в старину, мы голодали, так было скучно. За кусок хлеба давились. А теперь чего не жить? Канал прорыли. Вода вольная. Благодать.

— А если все отсюда разъедутся?

— За другими не погонюсь. Перетерплю.— Старуха потуже подвязала белый летний платок.— Лишь бы нашелся добрый человек похоронить.— Она помедлила, присмотрелась и, наверное признав во мне сельчанина, добавила с необидным, но суровым осуждением: — А вы, молодежь, друг перед дружкой задаетесь... все чего-то вам не так. Господи праведный! Сидели бы на родительской земельке да радовались всему. Дома хорошо.

Ее слова задержались в памяти. И откуда эта категоричность тона у простой деревенской старухи, которая, может быть, за всю свою долгую жизнь никуда и не выезжала за пределы района?

Тестю пришлась по нраву рассудительная собеседница, и, помнится, желая продлить удовольствие, он продолжал разговор:

— Так, значит, бабушка, вы ни на что не жалуетесь?

— А на что обижаться? Слава богу, всего хватает.— Острые глаза старухи медленно прошлись по тестю и остановились на груше с надломанными, искореженными ветками. Свисая к земле на одной коре, они все еще зеленели густой листвою, противились неизбежному увяданию. Она вздохнула, обвела сердитым взором одичавшие без присмотра сады и кладбище. На его бугорках

гуляли сытые телята.— Не на что гневаться. Кабы могилки да сады уберечь, огороды пустые запахать — чем тут не житье? Земля у нас спокон веку жирная, воткнешь лопату — маслится. Зря бросают добро. Могилки скотина топчет. Чешется о кресты.

— Вокруг кладбища хорошо бы оградку поставить,— сказал тесть.— Это ж плевое дело! Если вы надумаете уезжать куда-нибудь, то знайте: можно перезахоронить родственников.

— Все могилки с собой не увезешь.

— Не все, бабушка. Прах близких... По ком душа болит.

— У меня тут все близкие, до единого,— веско, с непреклонной убежденностью возразила старуха.— Ни на шаг от них не отступлю.

Разговор со старухою имел весьма серьезные последствия и обернулся большими хлопотами для тестя. В порыве сердечного участия он пообещал ей свое заступничество, загорелся справедливым гневом и дважды звонил из хутора в район, что-то доказывал, а когда это не помогло, подался туда на попутной, ухлопал целый день и вернулся счастливый: его уверили, что кладбище будет огорожено, а бросовые сады, как поутихнут полевые работы, обследует комиссия. Тесть совершенно запустил своих пчел, опять куда-то звонил, напоминал, требовал, ездил на усадьбу. Директор совхоза, рассерженный его настойчивостью и тем, что пенсионеры лезут не в свое дело, не хотел и слышать о кладбище, ссылался на занятость и норовил избавиться от посетителя. Исчерпав разумные доводы и не внушив ему благородных побуждений, тесть пригрозил новой поездкой в район и даже письмом в газету. Это подействовало на строптивца. Но тесть не успокоился до тех пор, пока на кладбище не появились плотники.

— Охота вам, Федорович, было нервы трепать,— с мягким упреком, жалея его, высказал свое отношение ко всей этой истории Матвеич.— Награды не получите, не ждите. И денег вам не дадуть.

С кладбища доносился перестук молотков, визг бензопилы. Плотники наяривали вовсю и, пожалуй, на все лады кляли моего тестя, подсунувшего им невыгодную, плохо оплачиваемую работенку, от которой они спешили поскорее избавиться.

— Ничего ты не понимаешь, Матвеич! — подбоченив-

шись, с видом победителя говорил тесть.— Я их, шабашников, научу уважать святые камни.

Старики смеялись, и громче, заразительнее всех Гордеич:

— Хо! И тут ему не терпится командовать! Настырный ты, председатель!

— Я такый! — поддаваясь их настроению, выпячивал грудь мой тесть.— Редко кому удается подсобить живым и мертвым сразу, а я сумел. Попробуйте, может, получится и у вас... Бабушка за меня помолится на этом и на том свете.

— Хитрые вы,— качал плешивой головою Матвеич.

— Ага, хитрее зайца,— с сияющим лицом вторил ему тесть.

В остальном наша жизнь текла обычно. Главное было в том, что мы стояли у подсолнухов, последней нашей надежды, и они зацветали. Ростом они приземисты, довольно густы, и корзинки у них мелкие, что весьма обнадеживает стариков: подсолнухи простые, не элитные. При благоприятной погоде они отблагодарят нас за все муки. Нектар начнет усиленно выделяться, когда будет охвачена цветеньем половина корзинок.

Пчелы на подсолнух пока не летают, а предпочитают садиться на бледно-синие мелкие цветы петрова батыга, в изобилии покрывшего откосы дренажа, либо на молочно-белый жабрей, который устилает жесткую стерню недавно сжатого пшеничного поля. Это поле пролегло желтоватой полосой между плантациями раннего и позднего подсолнуха. Пчелы понемногу работают с утра, но затем прекращают вылеты: наступает жара, день становится душным и знойным. Листья подсолнуха вяло опускаются, цинковая крыша нашей будки накаляется до того, что к пей невозможно дотронуться — обожжешь пальцы. В будке трудно дышать от спертой духоты. Я попросил у Гордеича литовку, накосил камыша и накрыл им крышу — стало прохладнее.

Пока тесть просматривал и доводил до ума ульи, я по примеру Гордеича сделал у себя пристройку, стены обтянул мешковиной и клочками старого брезента, верх покрыл толстым слоем травы и камыша. Удобная подсобка, в ней можно качать мед и хранить в тени холодную воду. С водою тут приволье: возьми ведра, спустись по вырытым мною ступеням к ручью и зачерпывай сколько хочешь. Напротив нашей будки тесть соорудил

купальню, расчистив от ила ручей и перекинув через него мосток из сухих жердей акации. В жару старики поочередно бегают в купальню и, сидя в теплой, как бы парной воде, с удовольствием мылят головы, трут спины и грудь. Я тоже купался здесь, пока однажды не увидел на солнцепеке водяного ужа, с оливково-зеленоватой спиною, с красным брюхом, испещренным черными пятнами, и с таким же пятном на затылке. Я боюсь гадов, не терплю даже ящериц и лягушек вблизи и, внезапно остановив взгляд на уже, похолодел и попятился вверх. Он глянул на меня, медленно развел кольца и пополз в воду. Меня охватило омерзение: я не подозревал о его существовании, спокойно мылся в купальне. Я вернулся назад с пустыми ведрами, и долго еще передо мною стояли холодные точки глаз ужа, скользкие живые кольца. И впоследствии я не мог без внутренней дрожи перебегать через мосток. Узнав об уже, мой тесть и Гордеич перестали купаться в ручье, ходили со мною к акведуку. Матвеич же как ни в чем не бывало нежился, кряхтел в купальне, приговаривая:

— Я люблю ужак. Это не гадюка: не укусить. У нее, Петр Алексеевич, нету ядовитой железы. В молодости я пускал ужак за пазуху. Лезуть, щекочуть пузо. Аж смех разбираеть. Ужаки — полезные твари.

Я не мог выслушивать его откровений без содрогания... Купаться в ручье было не совсем удобно и потому, что в нем приохотились пить воду пчелы, в зной роем гудели в камыше: наверное, их привлекала свежая вода. А тут и мы опростоволосились. Наспех переезжая, мы потеряли на кукурузном поле неувязанные поилки и вспомнили о них, когда уже выпустили пчел. Пока съездили и отыскали закатившиеся в кукурузу резиновые круги, пчелы успели освоиться, обвыклись в ручье и больше не хотели пить воду из поилок. Мой тесть усиленно присаливал ее; приманка привлекла пчел, но ненадолго. Они опять набивались в камыши над ручьем, так что наши старики вскоре перестали наполнять высохшие поилки.

Чтобы растравить пчел на зацветающий подсолнух, тесть с Гордеичем дали им на ночь сиропа; утром пчелы скопились у летков, возбудились, словно при облете,— и между ними вспыхнула драка. Тучи нависли над пасекой Матвеича. Он надел сетку и, откровенно ругая нас, сократил летки. Его примеру тотчас последовали тесть с

Гордеичем, явно сконфуженные. Как известно, пчелы-воровки, нападая на чужие ульи, в первую очередь норовят сбить охрану у летков и затем проникнуть внутрь гнезда, но при узком отверстии «сторожам» защищаться гораздо легче; стойко, героически сдерживают они натиск непрошеных гостей и отгоняют их прочь, иногда завязывая скоротечные воздушные бои. Напад на ульи Матвеича убавился, хотя раздраженных воровок еще много шныряло туда и сюда; отдельным удавалось пробиться к чужим сотам и набрать меду, но по возвращении назад их обычно задерживали у летков и нещадно, до смерти жалили... Воровка хорошо видна по полету: она летит неуверенно, зигзагами, пристраиваясь за пчелами-хозяевами; когда же ей не удается осуществить коварный замысел, она быстро маневрирует и пытается улизнуть, оторваться от преследования, чтобы вновь, с неожиданной точки, возобновить атаку. Опять ее настигают, жалят, оттаскивают вон. Она же лезет слепо, наугад, зудит и встряхивает порванными крыльями, одурманенная запахом меда и уже невменяемая. Странное упорство! Оно обычно заканчивается смертью... Невольно я сравнивал его с настойчивостью некоторых людей, одержимых страстью наживы, и не находил существенного различия между ними и пчелами-воровками: такой же итог жизни. Впрочем, насекомых извиняет то обстоятельство, что они как существа неразумные стараются поживиться для всех, для всего сообщества, в то время как люди, существа сверхразумные, напротив, тянут к себе. Право же, грустно примыкать к этаким, все понимающим «мудрецам» — их развелось достаточно и, видно, разведется еще больше, если чего-то не случится,— страшно кончить свою жизнь наиглупейшим образом... так, как кончают ее они. Во мне кипит ненависть к ним, вызывая в душе ужасные чувства. Это бациллы. Там, где они, воздух душен, вянут надежды — и все приходит в гниение.

Неужели и я уподоблюсь им, приму, как лекарство, их отраву? Никогда! Ни за что!

...А вдруг?

После того как прекратился напад, Матвеич сказал тестю:

— Как хочьте, Федорович, а я приписных больше смотреть не желаю. У нас свои улики гибнуть. Надо позвонить директору, нехай заберереть.

— А я что, крайний лишний? Поезжай и позвони.

— Нонче я не поеду. Ваши пчелы последний мед у меня растянуть. Нельзя отлучаться, Федорович.

Тесть поговорил с Гордеичем, и вскоре они умчались на «козле» в Изобильный звонить директору совхоза. Ночью по их вызову прибыла оттуда машина. С веселым облегчением мы погрузили порядком надоевшие нам ульи, из-за которых нередко возникали перебранки, и дружно захлопнули борт. Шофер включил фары, выхватив из тьмы стариков, сгрудившихся на пробитой в траве колее.

— Что передать директору?

— То, что видали, то и передайте,— сказал Матвеич.— Не нас пчелы, а мы их кормим... Сидять, мол, старички, кукують на нулю. Жара. Солнце макушки пекеть.

Шофер засмеялся:

— Ладно, передам!

— Пускай он не обижается,— сказал тесть.— Погодка нас под корень подкосила... Еще когда-нибудь столкуемся. Сейте побольше донника и простого подсолнуха. Элитные сорта скупые на мед.

— Скажу!

Гул мотора окреп, старики расступились, и машина, поскрипывая рассохшимися бортами, поползла мимо них.

— Все бы тебе, Федорович, мечтами пробавляться,— с дружеской укоризной прохрипел Гордеич.— Простые подсолнухи они в жизнь не высеют. С элитных больше зернушек. А директору нужно план выполнять. По валу. Так же, Матвеич?

— Ага. С простыми сортами он в герои не выскочить.

— Вот-вот! — подхватил Гордеич.— Ясно как божий день. Отстал ты, Федорович. Не справляешься с обязанностями председателя.

— Где было лучше, Федорович, на пасеке или в кабинете сидеть? — перевел Матвеич разговор с шутливого тона на серьезный.

— Я в кабинете мало сидел.

Хорошо им было переговариваться во тьме, не видя выражений лиц. Мирно текла беседа.

— Могу подтвердить, Матвеич! Точно! Он не любил по кабинетам рассиживаться. За это его люди уважали,— сказал Гордеич.

— Ясное дело, за это надо уважать. И все-таки: где лучше? Там или тут?

— Мне везде хорошо. Корень у меня живучий.

— Чтой-то вы хитрите, Федорович. В кабинете тепленько. И за шиворот не капаеть.

— Я не хитрю. Тепленько!.. Иногда такого кипятку ливанут за пазуху — только терпи! Не упади со стула. Вся соль, Матвеич, не в том, где сидишь: в будке или в кабинете. Она в другом.

— Да не скажите. Не скажите вы.

— Честно! Я тебе говорю!

— В чем же ваша соль? — вкрадчиво налегал Матвеич.

— Соль ядреная, Матвеич. На любой работе трудись в охотку. Под горой оказался — оглянись и подумай: «Что б тут полезное смастерить? Как бы глубже копнуть да крепче построить? И мне будет радостно, и другим хорошо. Кто под эту гору придет с низины или скатится сюда сверху». Думай так и не прогадаешь.

— Хе-хе-хе. Интересно. Ну так. Влезли вы на гору, как Гордеич на улики...

— Шо тебе Гордеич? В бане снится? — вскинулся как ужаленный Гордеич.

— Это я к примеру,— мягким голосом унял его Матвеич.— Так, так... Что тогда? Как вы себя на высоте поведете?

— Обыкновенно. Я уже поднимался. И ничего. Голова не кружилась. Опять оглянись и думай о том же. Как бы на горе людям обжиться... Да не зазнавайся, вниз глядя. И не выпусти из виду солнце. Все одно оно выше любой горы. Светит для всех одинаково.

— Все время глядеть на солнце опасно. Ослепнешь.

— Не смотри,— сказал тесть.— Ты его, главное, чувствуй... И ночью думай: где-то солнышко есть, скоро взойдет и всех обогреет. На всех тепла хватит.

Пофилософствовали старики и спать разбрелись, довольные тем, что наконец-то избавились от приписных.

На следующий день я решил съездить в хутор Беляев: мысли о Тоне не покидали меня ни на минуту. Во мне жило предчувствие, что с нею может случиться беда,— сознание непоправимой вины жгло меня. Я должен хотя бы издали взглянуть на ее хату и убедиться в обратном — в том, что с нею все хорошо.

Мне следовало дойти до асфальта, «поголосовать» и уехать на попутной в Изобильный, оттуда пассажирским автобусом в Беляев. Из хутора я вернусь пешком тою же грунтовой дорогой, которой мы ехали сюда. Но тестю я сказал, будто еду в Изобильный звонить жене. Тесть пошел к Гордеичу.

— Позвонить ему надо...— донеслось до меня стыдливо и просительно, и снова (в который уже раз!) со всею остротой и внутренним протестом я почувствовал собственное унижение.— Сам понимаешь, с женой не видался два месяца. Заскучал... Подкинь его к асфальту.

— У меня камера спустила.

— Накачать нельзя?

— Ох, Федорович! Какой ты шустряк, ёк-макарёк! Тебе лишь бы накачать — и гони! На своей небось бы не погнал... Камера, говорю, лопнула! Оглох?

— Ты ж ездил. Была исправная.

— Лопнула. На солнце разогрелась и — каюк. Техника, Федорович, штука хитрая.

— Да не хитрее нас! — с раздражением бросил тесть.— Техника! Коптишь мозги.

— Глянь на него, глянь! Не верит! — вскипятился Гордеич.— Шо я, перед тобой отчитываться должен? Говорю: колесо село! Не прискипувайся.

— Ладно, чего уж там,— несколько сбавил тон мой тесть.— Колесо так колесо. Я тебе верю.

Он вернулся к нашей будке и, неловко смешавшись, не глядя мне в глаза, сказал:

— У него колесо негодное, Петр Алексеевич. Он бы не отказал. Это не Матвеич. Гордеич отзывчивый.

Тут вышел из будки Матвеич в белом халате, с фуганком в руке.

— Матвеич! — крикнул ему тесть.— Не подвезешь моего зятя до асфальта?

— А зачем?

— В город жене позвонить. Срочно,— присовокупил он для убедительности.

Матвеич щурился сквозь очки, с растерянностью поглядывал то на меня, то на тестя.

— А Гордеич не подвезеть?

— У него колесо лопнуло.

— А я вот наладился бруски стругать,— медленно произнес Матвеич.

Я усмехнулся, снял рубаху и, перекинув ее через пле-

чо, независимо зашагал по зеленой бровке дренажа. Однако идти много не пришлось: меня догнал на «Победе» Матвеич.

— Что это вы, Петр Алексеевич, заторопились? Как на пожар,— стыдливо кося глазами, он толкнул от себя переднюю дверцу и пригласил садиться.

У асфальта я приготовился выйти, но Матвеич вырулил напрямую и помчался дальше; глаза его, отраженные в боковом зеркале, понемногу оттаивали, светились расслабленно, по-отечески, с едва уловимым оттенком покровительственного снисхождения. Видно, проняло его. Раздобрился он и довез меня до самого Изобильного, до почтамта, и даже напросился подождать, пока я позвоню. Это не входило в мои планы, я поблагодарил и отпустил Матвеича, несколько разочарованного, смущенного моим отказом.

Автобусом я доехал до хутора. Стараясь быть никем не замеченным, пробрался огородами поближе к ее хате, прилег в тени высокой груши, откуда хорошо просматривались их сад и двор, и стал ждать, пока она появится во дворе. Из хаты к ульям выходили ее отец и мать, оба с будничным выражением лиц, по которому я прочел все, что мне хотелось прочесть, и немного успокоился. Стемнело. А Тони все не было. Я обогнул сад, выбрался на улицу и постоял около ворот, надеясь рассмотреть ее очертания в каком-нибудь окне или услышать знакомый голос. Напрасно. Ни тени не мелькало в ровно озаренных окнах, ни звука не доносилось из хаты — там, казалось, навсегда осела, затаилась в углах гробовая тишина.

Пришел я на пасеку поздней ночью. Было темно и тихо, вдали вспыхивали зарницы. Сорвалась крупная капля дождя, за нею дробно забарабанили по крышам, зашуршали в листьях подсолнуха другие — и минуту спустя припустился дождь.

5 июля

В пристройке намочило шубы: камышовая крыша протекла. Я полагал, что после такого дождя, почти вдвое прибавившего воды в дренаже, потребуется целый день, чтобы цветы привлекли к себе пчел запахом нектара, но, к нашей радости, ульи работали с рассвета, дружно и старательно гомонили до темноты. Весь день парило. Солнце то выглядывало из-за туч, то опять за-

плывало в них, призрачно светясь, подобно месяцу, из глубокого тумана и как бы изнутри проедая беловато-сизые космы.

В сумерках я глянул на весы, и сердце мое забилось, как у болельщика, увидевшего, что его игроки наконец-таки забили долгожданный гол: килограмм и двести двадцать пять граммов прибавки! Тесть немедля завел тетрадку, чтобы ежедневно отмечать в ней взяток.

...Все-таки в появлении меда есть что-то волнующе непередаваемое, завораживающее, какой-то спортивный азарт: все вокруг пробуждается, приходит в движение, горячка страсти захватывает тебя, и ты уже ее покорный слуга, несешься без руля и ветрил по бурным волнам. Ты весь в нетерпении: что будет дальше? Сколько принесут пчелы завтра?

6 июля

Ночь минула в ожидании. Старики поздно улеглись спать, но утром ни свет ни заря все трое были на ногах, без умолку толковали о вчерашнем «переломе». Не ссорились, не припоминали друг другу прошлых обид. Едва-едва занялся рассвет и верхушки деревьев встрепенулись, радужно запылали росой — загудели, заволновались пчелы, взялись бойкими струйками непрерывно выстреливать в воздух. Возвращались назад «лысыми» — с жабрея на стерне (с «зябрика», как говорил духом воскресший Гордеич) либо ярко-золотистые, с головы до ножек вывалявшиеся в пыльце,— с подсолнуха. Одни несли нектар, другие — пыльцу, третьи — и нектар и пыльцу разом.

Я впервые видел их настоящую работу. Ни с чем не сравнимое зрелище! Пчелы вылетали из ульев со скоростью черных пуль и так, что нисколько не мешали встречному потоку, мгновенно таяли в прозрачном воздухе. Многие тяжело, обессиленно падали на подлетные доски, отдыхали и ползли вверх одна за другою, как стадо овец в распахнутые ворота база. Чтобы они не толпились у входа, старики до отказа отодвинули задвижки летков. Теперь воровства не будет, не страшно.

Сладко запахло подсолнухами. Я глянул перед собою и с чувством внезапного восторга как бы впервые отметил перемену в природе после дождя: все поле раннего подсолнуха занялось желтым пламенем. Повернутые к нам шапки молодо, с первозданной чистотой улы-

бались раннему солнцу. В запахе подсолнуха растворились другие запахи земли. Пчелы перестали летать на белый жабрей и все переметнулись на корзинки.

Накануне возле нашей пасеки появилось множество зеленых мух и надсадно зудящих комаров. Едва смеркалось, они вьюгой вились вокруг нас, липли к голому телу, впивались и больно, до волдырей кусали. Мы разводили костры, бросали в огонь сырую траву и влажным, плотным дымом отгоняли их, а Матвеич натирал кожу пастою из тюбика, уверяя, что это — верное средство защиты от болотного и прочего комарья. Между тем он не гнушался подсесть и к едкому травяному дымку. «Много насекомых — жди меда»,— ронял Матвеич, и мы верили ему, терпеливо снося укусы до свежего полуночного холодка, когда вдруг комары исчезали неизвестно куда.

Словно заядлые охотники, с замиранием души ожидающие плавного, царственного вылета редкого вальдшнепа на вечерней тяге, мы, все четверо, без исключения, томились в ожидании окончательного результата, намеренно не приближаясь к весам и даже отводя от них глаза... И вот смерклось, верхушки деревьев слились, на темно-синем небе зажглась звезда, и тесть выдохнул: «Пора! Пчела села». Мы подошли к нашему контрольному, а Гордеич, мгновенно опередив степенного Матвеича, вприпрыжку затрусил к лежаку.

Мы присели на корточки перед шкалой. Я отодвинул вправо гирьку, усмирил заколебавшуюся стрелку и разглядел цифру.

— Два килограмма шестьсот граммов! — раньше меня громко объявил тесть и крикнул Матвеичу, который в это время тоже наклонился с Гордеичем над своим лежаком.— А у вас, Матвеич?

— Два кило триста,— помедлив, отозвался тот.— Ваш опять моего обскочил.

— Ему положено! Трудоночь, Матвеич! Гудит!

Оба они довольны: в голосах звенит песня. И Гордеич тоже рад. Стоит он, подбоченясь, в своей черной шляпе, молча глядит в нашу сторону с мечтательным выражением на румынски-жестком лице и улыбается.

7 июля

Как по заказу, перед утром брызнуло спорым летним дождиком, и вскоре опять из края в край прояснилось

небо. Пчелы валили валом, и мы расширяли гнезда, ставили новые рамки... Вечером не поверили глазам: пять килограммов прибыли! Это рекорд нашей пасеки. Такого еще не бывало! На ночь не глядя, Гордеич засобирался домой за флягами и женою, пообещав заодно прихватить с собой жену и три фляги Матвеича. К нему присоединился и мой тесть, которому вдруг показалось, что вот-вот кончится вощина и хорошо бы раздобыть про запас еще с полсотни листов. Здесь, на пасеке, важные мысли его озаряют в последний миг. Пожалуй, отсутствие машины и внезапная возможность проехаться на ней делают его ум гибким, изворотливым, а решения — хотя и неожиданными, но предельно четкими.

Тьма. Глубокая ночь. А ульи гудят и гудят не смолкая. Вовсю работают серые горные кавказские пчелы — спасители наши.

8 июля

Гуд кругом стоит такой, что в ушах звон и на душе — праздник. Несравнимое занятие — наблюдать за активно работающими пчелами, видеть воочию плоды их самоотверженности и невероятных стараний. Я забрел в подсолнухи, лег вдоль рядка и загляделся на чистое пламя и ярко-синее небо, колыхавшееся между языками живого огня. Подсолнухи, млея от тепла, пьянили все тем же невыразимо-сладким запахом. Сладкая горечь держалась и во рту. Я прислушался: надо мною висело слитное бархатное гуденье. Маленькие работницы облепляли мохнатые корзинки, с головою погружались в цветки и сноровисто перебирались по всей жестковато-шершавой поверхности, незаметно подсекая себе крылья. Многие сразу брали и нектар и пыльцу с помощью особых приспособлений на задних ножках — щеточек и корзиночек. Нагрузившись, с натугою, пружинисто отталкивались от яркой шапки и таяли в воздухе.

В пору главного взятка рабочая пчела трудится не более шести недель, на подсолнухе жизнь ее и того эфемернее: она срабатывается и умирает в течение трех недель. Чем выше взяток, тем короче продолжительность существования пчелы.

Меня позвал Матвеич. Подобревший, гладко выбритый, он сидел у своего стеклянного улья с видом философа, бьющегося над неразрешимыми загадками бытия.

— Гляньте, Петр Алексеевич, как работають. У каж-

дой своя цель. Одна — сторож... соседка крылушками воздух вентилируеть... вон та пергу головкой трамбуеть... эта мед принесла, а молодая деток кормить. А вон, гляньте, соты печатають, побелку делають.— Матвеич задумался и с удивлением покачал своей плешивой головой.— Скажи-ка, Петр Алексеевич, как это у них ловко устроено! Все по совести, по справедливости. Никто не ленится, никто никому не мешаеть. Даже завидно. У людей не так. Не-е! Все у нас шиворот-навыворот.— Он сощурился и обежал меня с ног до головы хитроватыми глазами.— Вы об этом думали или не думали? Мне приходится думать. Я уже с базара еду, и надо подсчитать, пораскинуть, с каким товаром. Что я хорошего прикупил на базаре?

— Что-то вы загадками изъясняетесь.

— Так это — закон! Э-э! Загадки — штука серьезная. Без них, Петр Алексеевич, ни шагу. Народная мудрость! Всю жизнь на ней учимся... Загадки! — не унимался Матвеич, очевидно оскорбленный моим ироническим тоном.— Загадки уму-разуму учать, душу спасають.

Он взял ведро и пошел в лесополосу за абрикосами. Спустя полчаса показался на пасеке, степенно подсел к улью и стал расщеплять на половинки крупные плоды, выбрасывая продолговатые косточки под ноги, а мякоть бережно раскладывая на жестяную крышку, жарко нагретую солнцем. Опорожнив ведро, Матвеич опять нетороплива преодолел глубокий дренаж и замелькал синей майкой на той стороне. По́том обливаясь, он вылез наверх, отдышался в бурьяне и скрылся за кустами багрово-сизой алычи. Наперекор ему я подхватил два ведра, быстро перебежал через дренаж и пошел в противоположном направлении. Утоптанные между деревьев дорожки, со следами каблуков и коровьих копыт, лимонно желтели, ровно и далеко; от этого в посадке было как бы просторнее и чище, тени едва намечались. Нельзя ступить ногой, чтобы не раздавить упавшие плоды. Они и сейчас, нарушая тишину, местами осыпались от дуновения ветра и легкой дрожи верхушек. Я нарвал с веток зрелые плоды с бороздками, чтобы легче раскалывать, и, доверху наполнив ведра, понес на пасеку. Матвеич вернулся следом за мною, тяжело дыша.

— Вы тожеть сушите жердели? Курага зимой вкус-

ная,— бормотал Матвеич, ревниво оглядывая мои большие ведра.

Я опорожнил их и, намеренно позвякивая дужками, подался в лесополосу. Я знал, что Матвеич не вынесет и, хотя раньше не собирался отправляться за третьим ведром, сильно взмокрел и устал, притащится следом за мною. И я не ошибся: Матвеич тотчас показался в кустах с двумя ведрами, ломил прямиком через них, как сердитый медведь, почуявший добычу. Он выбивался из сил, сопел и шнырял под ветками, обеими руками сгребал с них пучки абрикосов. Мы почти разом набрали и понесли. Матвеич, пыхтя сзади, изнывал от жары, отдувался и жалобно охал, но не отставал от меня; пот катился с него градом, увлажняя лопухи. Изредка он опускал ведра и, жадно срывая лист, обмахивал им багровое лицо, вытирал лоб, дышал в лопух. Еле-еле, на последнем запале, выволок он наверх ведра, оставил их на гребне дренажа, а сам заковылял в будку, в тень, и долго там отлеживался, страдальчески охал, пил холодную воду. Тем временем я поколол абрикосы и, снова дразня Матвеича звоном дужек, метнулся через дренаж за новой порцией.

— Еще? — с испугом прокричал вдогонку мой неудачливый соперник, вынырнув из будки. Я оглянулся. С кислою миной на лице он следил за мною из-под ладони.

До конца долгого летнего дня Матвеич притворялся крайне занятым и, чтобы скрыть недовольство, хранил молчание и сторонился меня, но все-таки, философ землеройный, не утаил несколько удрученных взглядов, вскользь брошенных на мою коричнево припекшуюся курагу.

На закате примчались Гордеич с женою, такой же ершистой и чернявой, как сам, хохлушкой с карими глазами и куделей, собранной в пучок на затылке, мой ликующий тесть с пачкою вощины, завернутой в прозрачную восковую бумагу, и супруга Матвеича, в теле, еще не рыхлая, ладно сбитая, с властной походкой. Выйдя из машины, она сдержанно поздоровалась, окинула хватким оком пасеку и окрестные поля и, передав Матвеичу сумку с продуктами, важно удалилась с ним в будку — на какой-то семейный совет. Между тем хохлушка, Марья Гавриловна, угостила меня домашним сладким печеньем, выспросила о новостях и сказала, что

они будут качать послезавтра. Гордеич утвердительно кивнул... Глядя на женщин, лишний раз я убедился в правоте бытующей в народе поговорки: «Муж и жена одна сатана». В самом деле, жены наших компаньонов являли поразительное сходство с мужьями: облик, манера говорить и двигаться, даже смотреть, жесты рук — все почти совпадало точь-в-точь, все говорило о том, что и тут, в этой щепетильной интимной области, природа отступает и преобразуется, как воск под твердыми пальцами создателя, перед неумолимым ходом времени и давлением человека.

Приехали жены, и наша мужская компания добровольно распалась на отдельные кланы, что весьма выручило моего многострадательного тестя: отныне он будет готовить на двоих. И хлопот меньше, и расход невелик.

...Опять веселая прибавка: около пяти килограммов. Тесть ходит солидно.

9 июля

За Родниками — крутой взлет холма. Он давно манил меня: что там за ним? Сегодня утром, делая пробежку, я оказался возле холма и взошел на его выгоревшую от солнца макушку. Глаза ослепило огненно-ясным заревом: передо мною, насколько охватывал взгляд, расстилалось поле подсолнухов. Ни одной пасеки не пестрело у поля, не было слышно и гуда пчел в воздухе. Я спустился, оглядел подсолнухи: сорт обычный, медоносный. Нашим пчелам невыгодно лететь сюда и впиваться в желтые трубочки: далеко. Пчелы затрачивают на полет большую энергию и съедают в пути много нектара.

Наступит осень, срежут шапки, и, пожалуй, станут люди гадать, отчего у канала подсолнухи одарили их вдвое большим урожаем, нежели у холма. Кто-то догадается и добрым словом помянет работниц-пчел, а заодно и наших стариков. Бригада получит премию, хотя к прибавке семян имела такое же отношение, как и та, чьи угодья за холмом.

Трудно сказать, с каких это пор в хозяйствах привилась дурная привычка скептически относиться к пчеловодству — древнейшему занятию человека. Колесили мы по степи изрядно, немало колхозов и совхозов повидали, но редко где были у них хорошо налаженные па-

секи. Руководители так рассуждают: дело, мол, это отжившее, заметных доходов в общественную кассу не приносит, а хлопот с ним не оберешься: год на год не приходится, того и гляди, окажешься в убытке. Полезность пчелы оценивается стоимостью добываемого ею меда. Глубокое заблуждение!

Ежегодно мы недополучаем огромное количество яблок, груш и других фруктов, семян подсолнечника и гречихи только потому, что не всегда в опылении цветов участвуют пчелы, кропотливые наши пособницы. Их не хватает. Любители-пасечники, при всем энтузиазме и преданности мудрому занятию, не в состоянии поспеть всюду и все разом охватить: слишком широки, необъятны российские просторы. Кроме меда, таким образом, мы недобираем много воска, необходимого для нужд промышленности, пчелиного яда, маточного молочка и прополиса, применяемых в медицине, перги — пчелиного хлеба, незаменимого белково-витаминного корма, способного великолепно сохраняться тысячелетия.

В средней полосе России и на Кубани не однажды доводилось мне видеть словно молоком облитые, обильно цветущие поля гречихи, возле которых, увы, не было ни одного улья. Кто наблюдал за цветением липы, вдыхал поутру ее душистый, стойкий аромат, вслушивался в заботливый гуд мохнатых работниц, тот надолго сохранит в душе чудесное воспоминание о раннем лете. Но пасеки у липовых рощиц теперь в редкость. Даром цветет, опадает тонкий липовый цвет.

Все-таки не повредило бы теплее отнестись к любителям, приглядеться к приемам их труда, подучиться уму-разуму да с помощью многоопытных стариков в каждом хозяйстве, где позволяют условия, создать пасеки, привлечь на них пенсионеров,— словом, восстановить оборванные нити, связывающие человека с природой, с пчелой и цветами... Жить бы с природой едино, друзьями, как жили до нас прародители и нам завещали, не травить бы ядами, не открещиваться от нее по причине лености, суетности, и нежелания привстать с кочки и поглядеть дальше, за околицу...

Нередко мы находимся в положении людей, которые за деревьями не видят леса — настоящего, глубинного, с незамутненными ключами и неисповедимыми извечными тайнами, с великими его радостями.

С думой об этом я вернулся на пасеку.

...Мед льется. Спасибо серой горной кавказской пчеле. Отличная порода! Я счастлив, но иногда, как рябь на воде, набегает посторонняя дума: точно ли спасает меня пчела, не губит ли?

К обеду было три килограмма, еще три налилось к сумеркам. Новый рекорд пасеки!

Марья Гавриловна побрила Гордеича, сменила его черную шляпу на светлую, с дырочками. Раздетая до пояса, в цветастом лифе, как молодая, юлит она возле мужа и щебечет ласточкой, всплескивает руками, потеряв всякую осторожность. На счастье чернявой хохлушки, пчелы не жалят: им сейчас не до нее.

— Ну, ёк-макарёк! — гоголем похаживает Гордеич и с вызовом глядит на жену.— Набьем восемь фляг или не набьем?!

— Тише! — прикладывает она пальцы к губам, счастливая.— Даст бог, набьем...

Супруга Матвеича в предвкушении взятка нежится под зонтом. Сам же Матвеич, как врач в халате, возится неустанно с ульями. Мы с тестем надраили песком фляги, проверили инструмент и утвердили медогонку в пристройке. На вечерней заре искупались в теплой воде акведука.

Завтра — качать. Наконец-то нам повезло. Веселое будет дело!.. Встал месяц — щедро рассыпал серебро по каналу. Слитки колышутся на середине, переливаются, манят, вплескивают игривой белой рыбицей.

26 июля

Завтракаем рано; вместо обеда выпиваем по кружке молока с медом, ужинаем при свете фонаря. В остальные часы спим либо работаем как одержимые. Тесть выбирает рамки и носит мне в пристройку. В продолжение дня я редко отхожу от медогонки, кручу и кручу барабан. Лепит на стены густо: соты, почти не запечатанные, снизу доверху залиты жидким, светло-янтарным медом.

За три дня мы наполнили двенадцать фляг. Тесть сбегал на ближнюю ферму, оттуда по телефону связался с районной пчелоконторой и попросил прислать заготовителя с тарой. Пока он вернулся назад, по дороге искупавшись в канале, подоспел вызванный фургон. Заготовитель принял мед оптом, вручил тестю документы на получение денег, а в обмен на занятые фляги дал нам

порожние. Тесть отблагодарил заготовителя ведром меда и взял с него обещание снова заехать спустя три-четыре дня. Тот начал было упрашивать компаньонов тоже сдать мед государству — жены Матвеича и Гордеича наотрез отказали.

Из боязни продешевить наши шоферы по ночам отвозят мед домой. По всей вероятности, они продадут его в Кисловодске язвенникам или в Анапе — детям из санаториев либо рискнут и на самолете «Ту-104» слетают на базар в Астрахань, где много приезжего народа с деньгами,— так ведь делают пчеловоды-промышленники, тот же Филипп Федорович.

Пока мы один раз прокачали, пчелы вновь залили пустые соты, и мы выбираем отяжелевшие рамки по второму заходу. Весело мы качаем, с прибаутками! Мухи липнут и мельтешат перед глазами, но это неудобство мало расстраивает нас: мед, мед течет! Это важнее всего. Ради него мы вынесли муки и унижения, мокли под дождем и томились в неизвестности. Вытерпели. Что теперь для нас мушиные укусы!

...По-моему, мы трудимся не хуже пчел и, несмотря на бурное сопротивление, успеваем отнимать у них все запасы подчистую. Живее будут вертеться, принесут! Ничего. На то они и пчелы, чтобы носить. А мы, люди,— чтобы забирать. В биологическом отношении между нами непроходимая, жуткая пропасть. Понадобились миллионы лет, пока мы стали людьми, то есть мыслящими индивидуумами. Пчелы же застыли на ранней стадии эволюции с однажды отштампованными инстинктами. Мы изучили их и обращаем себе на пользу.

Снова до капельки мы вытряхнули мед, в полной уверенности, что пчелы восполнят потерянное, и снова сдали заготовителю двенадцать фляг. В Изобильном наш взяток заметили: к нам заехал секретарь райкома партии Костин, мужчина молодой, энергичный, с красивой проседью в плотном каштановом чубе. Сразу обнаружилось его знакомство с моим тестем: их свело то самое дело о неухоженном кладбище. Между ними затеялся разговор о прежнем: тесть напомнил о бросовых усадьбах, о пустующем черноземе, Костин сказал, что он уже смотрел огороды и согласен с ним — нужно по-хозяйски прибрать к рукам. Матвеич с Гордеичем стояли перед ними по струнке, слушали с почтительным подобостра-

стием на вытянутых лицах: все-таки редкий гость — первый секретарь!

Далее выяснилось, что ни одна колхозная пасека не дала за этот сезон столько меда, сколько накачали мы, поэтому Костин, озабоченный состоянием пчеловодства в районе, начал дотошно интересоваться опытом стариков. Мой тесть выложил все наши кустовые секреты.

— Мы, Сергей Петрович, не сидим сиднями. На первом плане у нас разведка. Откачались — и в путь, к новым медоносам. Делаем ночные броски!.. А подсолнушек сейте разный. Не гонитесь за одними семечками, не обделяйте пчелишек и детишек.

Примостившись на краешке улья, Костин подбадривал тестя теплым взглядом карих проницательных глаз и записывал в блокнот наиболее важные советы. Тем временем Матвеич с Гордеичем, несколько оправившись от неловкости, выставили перед гостем по чашке меда, и Костин отведал из каждой, обволакивая густо ломоть.

— Спасибо вам. Славный медок! Выходит, при желании в крае, да и в стране, можно получать его в несколько раз больше, чем мы получаем. Хорошо бы вам, Илья Федорович, выступить на совещании пчеловодов.

Польщенный предложением секретаря, тесть немного помялся:

— Неудобно. Скажут: личная у него пасека, а тоже вылез на трибуну.

— Пасека ваша, но дело, которым вы занимаетесь, благородное и далеко не личное. Общественное. Не опасайтесь, Илья Федорович. Вас поймут правильно. Поделитесь опытом, расскажите о нуждах...

Костин попросил у него домашний адрес, поблагодарил стариков за угощенье и стал прощаться.

— Толковый секретарь! — тесть провожал восхищенным взглядом отъехавшую от пасеки черную «Волгу».

— Уважительный,— присовокупил Матвеич, ладонью вытирая пот со лба.— Молодчина... Да как бы нам, Федорович, хужей не стало. Не прижмуть частника?

— Тебе русским языком сказано: у нас дело общественное. Лучше будет!

— Вам, Федорович, виднее. Вы поедете в Ставрополь на совещание.

— Выступлю! Все расскажу как есть! — сиял тесть.—

Надо, хлопцы, чуток подсобить колхозам. Захирели у них пасеки.

Взяток пошел на убыль: ранний подсолнух отцвел. Супруги компаньонов отбыли. До новой качки. Мало-помалу пчелы переключились на петров батыг и жабрей. Но мы не унываем: рядом плантация позднего подсолнуха с редкими яично-шафранными всплесками мелких шапок. Немного спустя он весь зацветет, и опять начнется медовая страда. Мы должны поточить ножи и наладить расшатанные центробежки — словом, быть наготове. Наши ульи недосчитались многих пчел, преждевременно сгоревших на лету, в ненасытной жажде работы. Семьи поредели, но, пожалуй, ненадолго: в плотных шоколадно-кофейных засевах выводится шумное, молодое племя работниц, таких же неугомонных и одержимых, как их предшественницы.

Передышка. Погода не меняется. Дни по-прежнему солнечные, иногда выпадают короткие дожди-полуночники, по утрам в небе рокочет гром, но тучи быстро расходятся — и опять ясно, тепло.

Наши компаньоны тоже уехали, мы с тестем одни. Берем молоко у смотрителя канала, который живет поблизости в большом каменном доме с приусадебным участком и ездит на собственной машине в город торговать произведениями сада и двора: яблоками, битой птицей, кроликами... Человек он скучный, говорит только о хозяйстве и ценах, картавит и сморкается в грязный платок. Находиться в его обществе, пока он доит своих коров-трехлеток с пестрыми лоснящимися боками да цедит молоко через марлю, наливает и скрупулезно подсчитывает на летнем столе копейки, мокрые от разлитого молока,— испытание тягостное... Зато, выходя от него, я с удовольствием купаюсь у акведука, ныряю в буруны и загораю на плитах.

Однажды после купанья брел я по тропинке вдоль лесополосы, и вдруг меня окликнули. Это был ее голос! Я вздрогнул и увидел, как она встала из-за руля «Волги» и медленно пошла по дороге навстречу мне. «Волгу» я приметил издали, но не мог предположить, что в ней Тоня. Сердце мое сжалось, ноги онемели — я едва передвигал их в спутавшейся клочковатой траве, выбираясь на дорогу. На ней было ситцевое платье, в котором она впервые показалась мне на глаза.

«Какой я все-таки подлец!» — пронеслось у меня в голове.

Мы остановились друг против друга. Она с изумлением глядела на меня, не отворачивая лица. Щеки ее были бледны, под синими глазами залегли тени.

— Вы здесь? — едва внятно произнесла она.— Я вас еле нашла... Почему вы уехали не попрощавшись? Это нечестно. Так не поступают друзья.

— Так случилось, я не могу быть вашим другом, а на большее у меня нет прав. Я давно потерял их. Я хотел незаметно уйти из вашей жизни. Простите меня.

— И сейчас... тоже хотите?

— Я обязан.

Плывшая по небу туча, освещенная прощальным блеском солнца, накрыла нас тенью. Тоня зябко повела плечами, помолчала, пока тень сошла и заскользила по тускнеющей воде канала.

— Мне очень плохо. Зачем я вас встретила?!

— Я благодарю и проклинаю тот день.

— Нет, вам совсем не жалко меня. Могу я хотя бы рассчитывать на вашу жалость? Могу? — У нее выступили слезы, она не сдержала их и заплакала.

Я кинулся к ней и, не помня себя, обнял, привлек ее к груди и с молчаливым, отчаянным исступлением стал гладить ее волосы, целовать щеки.

...Сколько мне еще осталось жить — никогда не забуду этих худеньких, как в лихорадке вздрагивающих плеч, этих холодных щек, на которых будто никогда и не горел румянец — так они были мертвенно-бледны... хотя совсем недавно я любовался их жизнью. Я не забуду ее слез — они и сейчас вскипают у меня на сердце. Теперь она молила у меня не любви — нет, одних жалких крох ее, но этого я не мог обещать ей. Я был связан обязательствами, чувством долга перед женой. Я не хотел скандала и больше не принадлежал себе.

— Возьмите меня с собой,— плакала она у меня на груди, совсем еще девочка.— Вы же сильный, добрый. Я не могу так жить. Не могу!

Я молчал. Что я мог обещать ей? Да, я проклинал тот день и час, когда увидел ее и поддался обычной прихоти сердца, позволил себе ту же вольность, которую применял в отношении женщин, своей ветреностью и легкостью поведения даже зыбкого следа не оставивших в моей памяти.

И вдруг она умолкла, перестала плакать, ладонью вытерла слезы и отстранилась, с ужасом глядя на меня, словно ей открылась некая истина и она впервые разглядела того, перед кем изливала душу.

— Вы никого не любите,— сказала она, медленно отступая от меня.— Вы не умеете любить.— Она приостановилась, закрыла ладонями лицо и прошептала: — Боже мой, как я ошиблась... Я ненавижу вас!

Все во мне было опалено болью.

— Тоня, выслушайте меня. Я люблю вас! Я понял это не сразу. Помните, ваш отец ушел в хату, и мы остались одни в саду. Мы стояли и удивлялись свету на траве.

В волнении я хотел уловить ее руку, но она отстранила мою.

— Вы обманываетесь. Никогда не произносите при мне этих слов. Я запрещаю вам. Не хочу их слушать!

— Нет, я говорю: люблю! Вы сами не догадываетесь, что значите в моей жизни. Но поймите: нужно время, чтобы все окончательно уладить. Назначьте мне срок, и я найду какой-нибудь выход. Это трудно, и все же я постараюсь. Хотя бы на миг представьте себя в моем положении! И вы не будете так суровы. А вам... Что делать вам? Уезжайте учиться. Я не верю, не хочу думать, что это последняя наша встреча. Будет и лучшая.

— Прощайте! — сказала Тоня и опрометью кинулась к машине.

...Тоня уехала. Я не знаю, как она вела машину, благополучно ли доехала домой; я лежал на траве и молил неизвестно кого, чтобы не случилось аварии, чтобы судьба была милосердна и пощадила Тоню.

10 августа

В конце июля зацвели поздние подсолнухи. Они тоже не обидели нас: мы взяли тринадцать фляг. Итак, общий итог нашей гонки по ставропольской степи — сорок одна фляга, или 6560 рублей чистыми. Никогда еще тесть не имел столько денег в одной куче, первое время он растерялся, не ведая, как ими распорядиться: в чулок зашить или сдать на хранение. Компаньоны посоветовали нам завести сберкнижку неприкосновенную — на ней деньги будут целее — и другую, «расхожую»,— на всякие мелкие непредвиденные надобности. Тесть немедля съездил в Красногорск, оформил неприкосновенную на кругленькую сумму в пять тысяч, остальные, за

вычетом двух сотен на карманные расходы, небрежно швырнул на «расхожую».

— Ну вот, Федорович,— с уважением сказал ему Гордеич,— можешь заводить себе кобылку с моторчиком.

— Заведем,— ответил тесть.

— Будешь покупать — не прогадай. Меня покличь. Я ей все зубы общупаю.

— Тебя обязательно покличу. Ты в этом деле профессор.

Гордеич, тронутый искренней похвалой, метнул на меня заносчивый взгляд: мол, знай наших! После он отвел меня на бровку дренажа и как-то стеснительно, хрипловатой скороговоркой спросил:

— Петро! Ты шо, рассорился с дочкой Гунька? Хмурый ходишь.— Еще больше застеснявшись, он опустил глаза и, ковыряя носком ботинка рыхлую кротовую кучу, шепотом пояснил: — Вечером я видал вас у тутовника, в балке... Хорошая дивчина. Любит она тебя.

— Я рисовал ее портрет. Между нами ничего не было.

— Ничего? — Гордеич поднял голову и остановил на мне пытливо-строгие глаза. В них стыло недоверие.

— Ничего.

— А я, грешник, думал, ты уже с ней того... шашни завел. Молодец, Петро,— подобрел он, меняя строгость на ласку.— Всяких молодок хватает, а эту трогать нельзя. Шутки шутками, но дело серьезное. Чистый она человек! Чем больше в лесу березок, тем светлее в глазах и на сердце. Нельзя! — повторил он с глубокой убежденностью.— Погубить березку легче легкого, уберечь — труднее. Ты не обижайся,— извинительным тоном сказал Гордеич.— Не дуйся, а? Гунько — он пес шелудивый, в репьях извалялся... шерсть у него повылезла. Хо-хо! — Он засмеялся, помолчал и прибавил мечтательно: — Она — другая. Славная.

Вскоре приехала на пасеку моя жена. Издали я не угадал ее и на мгновение с остановившимся дыханием и сладким испугом принял за Тоню. Но улыбка ее и темно-каштановые волосы, локонами падавшие на плечи из-под летней шляпки, вывели меня из оцепенения: Надя! Я пошел ей навстречу... Стройная, опрятно одетая и слегка тронутая загаром, она выглядела как-то по-новому, непривычно молодо. На радостях Илья Федорович купил вина и шампанского, позвал компаньонов, и мы просидели до

полуночи. Воодушевленная путешествием, встречею с нами и нашей удачей, Надя смеялась, делилась своими впечатлениями. Старики слушали ее с уважением, но как только она умолкала, говорили о своем, мечтая вслух о новом сезоне, о кочевке в степи на том же проверенном и объезженном ими круге. Илья Федорович ни с кем не хотел ехать, как только с Матвеичем и Гордеичем. В его глазах истаял ореол сильного и справедливого пасечника — Филиппа Федоровича. Тот опять обманул нас: подался, оказывается, не в Тахту, а стал поблизости, за Родниками, и накачал там около пятидесяти фляг. Бестия невероятный. Он достал себе тележки-платформы на резиновых колесах, укрепил ульи и теперь, не снимая их, будет гоняться по степи за дождем.

Гордеич с Матвеичем откланялись и разошлись по будкам. Надя села между отцом и мною, обняла нас и с чувством, с проникновенной женской откровенностью созналась:

— Родные мои, как я соскучилась по вас! А вы хоть немножко скучали?

— А то! — сказал Илья Федорович.— Петр Алексеевич ходил как в воду опущенный. Переживал.

— Правда? — Надя, озябшая от свежего холодка, улыбнулась и доверчиво припала щекою к моему плечу; повеяло от нее чем-то домашним, близким, своим...

Во мне вспыхнуло нехорошее чувство: было стыдно перед женою, нестерпимо стыдно и за себя, и за нее, будто меня поймали с поличным. «Что же делать? Что делать? — терялся я, не находя выхода.

— Дети! — вдруг торжественно объявил Илья Федорович, вставая.— Примите от меня подарок.

— Какой, папочка?

— Я отдаю вам свои деньги. Купите легковую машину.

— Но... зачем нам машина?

— Сейчас, дочка, время такое: без машины ты вроде и не человек.

— А как же ты? Тебе она нужнее.

— Что я? За меня не беспокойтесь. Жив буду — заработаю! — прибавил он с гордостью и крепкой, веселой уверенностью в себе.— Пчелишки еще принесут.

— Ну, смотри, папа...— Надя, вопросительно поглядывая на меня, не могла скрыть растерянности.

На другой день об этом стало известно компаньонам.

Нисколько не смущаясь моего присутствия, как бы вовсе не замечая меня, Матвеич укорял тестя:

— Зря вы их поважаете, Федорович, зря!

— Дети! Для них и живем. Мне уже ничего не надо.

— Эх-хе-хе! — Матвеич постучал фигурным молотком по рамке.— Чудные вы, Федорович. Нехай сами наживають. Зачем тогда и перчить тут, надрываться?

Гордеич, воробьем нахохлившись, ерзал на пустом улье и помалкивал, не высказывал своего мнения, но по всему было видно—сердцем он принял сторону Матвеича.

— Старая у меня закваска. Не привык в холодке отсиживаться. Работаю на всю катушку.

— На кого?! — неожиданно тонко для своего хриплого голоса вскрикнул Гордеич, вскочил с улья и развел перед ним руки.— Опять сидишь на бобах!

— Сидять,— печально подтвердил Матвеич.

— Вам про Фому, а вы про Ерему,— сердито отчитывал их тесть.— Что ж, бирюком жаться? Дети!

— Думаете, они вспомнють о нас? — Матвеич бесцеремонно кивнул на сидевшую в отдалении Надю и молотком пристукнул.

— Обязательно! Даже не сомневайся.

— Ага, одряхлеете — пинка дадуть. Мой вон уже косится на отца. А тянеть со двора живым и мертвым.

— А-а-а! — Гордеич в сердцах махнул рукой и пошел к своей пасеке.

— Зык его укусил,— засмеялся Матвеич.

Их укоры прибавляли тестю уверенности. Он похаживал с важною осанкою, с видом человека, который не потерял, а, скорее, приобрел нечто бесценное и при всех гордится находкой.

Его решение мне не понравилось с самого начала, а то, что я не отказался от «подарка» сразу, объяснялось моим нежеланием огорчить тестя в радостные минуты.

Я видел: и Надя чем-то озадачена. В полдень настоялась жара, и мы отправились с нею купаться на озеро. Сняв туфли, жена молча шла по траве, украдкою бросая на меня внимательные взгляды, и наконец сказала:

— Ты очень изменился. Какой-то чужой... Разве ты не рад моему приезду?

— Рад.

— Свежо преданье... И не работал над этюдами,— продолжала она с тревогою.

— Не было настроения.

— Понимаю.— Надя выдержала задумчивую паузу.— Будем считать, кошмарный сон позади. Вам так повезло, я даже не верю... А что ты думаешь о папином широком жесте? Он всегда что-нибудь выдумает.

— Его денег мы не возьмем,— сказал я.— Пусть старик купит себе «Запорожца».

— Да, это будет лучше.

— Но пока не надо расстраивать его отказом. С этим уладим после.

— Хорошо, милый. Нам не потребуется много денег. Скоро Никодим Захарович поможет тебе.

— Ох уж этот благодетель! Вежливый паучок.

— Нам с ним детей не крестить,— возразила Надя.

...Между тем надвигалась сушь. Травы и цветы блекли, сохли и добела выгорали на склонах. Степь рыжела, дымилась пылью и мутным маревом.

Мы исчерпали до дна медовые родники и подготовились к переезду под Червонную гору, поближе к вершинным дождям: там жабрей цветет до заморозков.

Перед отъездом я пересек пожухлое подсолнечное поле с отяжелевшими, низко склоненными шапками и вышел на стерню, которая бурела до самого горизонта, сливаясь с зыбкими холмами. Однообразие открывшейся взору степи, где все было сжато и сметано в унылые, серые скирды, разбросанные там и сям, навевало на сердце осеннюю, почти безысходную печаль. И все же мне трудно было прощаться с этой степью. Я глядел в призрачно струившееся марево, туда, где прятался за холмами, в глубокой балке, хуторок Беляев, и думал о Тоне. Кажется, я плакал. Но что были мои слезы в сравнении с ее горем, с первой неудавшейся любовью? Дул пыльный и душный ветер, сухая стерня ломалась и колола ноги. И я знал, что такие дни и ночи, какие мы провели с Тоней, для меня больше не повторятся.

Никогда...

12 августа

Мы гонялись по степи за дождем, но и дождь, словно в отместку, настигал нас в самое неподходящее время. Едва мы выбрались на асфальт, он полил, обрушился как из ведра. В свете фар мерцающая, черно-золотистая полоса дороги сплошь покрылась водою. В хвосте колонны броневик Гордеича как бы плыл по мелководной реке вверх по течению, мягко шелестел шинами. В ветровое

стекло хлестало, неутомимый «дворник» отгонял натекавшую рябь, но тут же она заволакивала, затягивала прозрачный след. Почти слившись с рулем, Гордеич с напряжением вглядывался во тьму, раздвигаемую сыроватым, рыхлым клубком света. Свет отжимало к машине, асфальт просматривался лишь вблизи. Бегущие грузовики выхватывало из тьмы вспышками молний; можно было различить их в тот момент, когда они дугой выгибались на повороте, отдаленно мигая красными огоньками. Перед нами маячил «ГАЗ» с ульями Матвеича, правое заднее колесо у него виляло, выписывало на воде волнистую линию. Гордеич бранил шофера:

— Молодой... Лень-матушка заедает.

Надя ехала с Матвеичем. Иногда, при очень яркой вспышке, сопровождавшейся оглушительным треском, вдали ясно виднелась облитая голубым блеском «Победа».

Гром лопался, ухал, ревел... После короткого затишья, с подчеркнуто спорым шумом дождя, снова змеились, разветвлялись текучие молнии, охватывая все небо; нутро его содрогалось, извергая огонь. Воображение рисовало фантастическую картину: кто-то свирепый, дикий и неукротимый катает и швыряет наземь раскаленные добела бочки. Если одна из них не истает на лету, то непременно угодит в какую-нибудь машину. Немного успокаивало то, что дожди с грозами быстро обессилевают. Гром наконец отвалил в сторону, недовольно, по-стариковски бормоча, но, вопреки ожиданиям, дождь не ослаб.

На минуту-другую колонна прекращала бег: старики убеждались, все ли в порядке. Гордеич с накинутой на голову клеенкой всякий раз подбегал к «ГАЗу», пинал скаты и проверял вихляющее колесо.

У Красногорска дождь отнесло на запад. Где-то внизу под нами, в огромной котловине, наполненной россыпью жидковатых огней, лежал город: оттуда сонливо посвистывали маневровые паровозы.

Красные огоньки внезапно пропали. Не успел я сообразить, что это с ними, как на дороге в свете фар показалась тощая, несуразная фигура молоденького шофера. Он что-то кричал и взмахивал руками. Резкое торможение рвануло меня к стеклу. Посигналив, Гордеич выскочил наружу. Я тоже вылез и, не веря своим глазам, отшатнулся: грузовик с пасекой Матвеича, наклонившись, сидел в глубокой канаве. Вода прибывала, бурлила и клокотала, свинцово блестя и захлестывая свалившиеся сверху ульи.

Издалека пробился недовольный голос Матвеича:

— Хватить чесаться! Поехали.

Никто ему не ответил.

— Что там? Перекур? — безмятежный голос Матвеичча приближался.

Шофер «ГАЗа», мелко вздрагивая и размазывая грязь по лицу, сел на асфальт.

— На огоньки любуетесь,— с издевкой сказал Матвеич и осекся, увидев в канаве свою машину.

Крышка от контрольного улья — «генерала» колыхалась на воде. Пчелы вялыми комками расходились по запруженному ручью, набухали, сбивались к краям грязной пеной. Уцелевшие в живых суматошно лезли и облепляли борта, гроздьями висли на вывороченных рамках, несмело взлетали в воздух. Матвеич спустился по откосу, поймал крышку и, как бы оценивая, сгодится ли она еще, бережно вынес на дорогу и положил наземь.

Крик подбежавшей Нади вывел нас из оцепенения:

— Какая беда! Ужас!

— Вбок потянуло,— всхлипнул шофер.— Осклизью пошло.

— У тебя колесо виляло. Довилялся! — с горечью бросил Гордеич.— Пасеку человеку угробил!

— Опять паникуешь? — строго осадил его тесть.— Только шесть уликов разбилось.— И тут же деловито распорядился: — тащи канат. Надо вытаскивать ее из канавы, пока намертво не угрузла. Петр Алексеевич! А ты лезь наверх. Получше увяжи улики.

От его бодрого голоса зашевелились все, забегали туда и сюда, точно в нем была заключена невесть какая сила, способная возбудить любого, даже впавшего в отчаяние Матвеича, который вместе со мною полез утягивать веревки. Провозились мы до зыбких проблесков предутреннего света. Наконец свернули с асфальта на каменистую дорогу, которая и привела к Червонной горе. Надя зоревала в машине, а мы снимали ульи. Расставили их в ложбине и на восходе солнца открыли летки. С пологой макушки горы лениво сползал и, редея, расходился сиренево-белый туман, космы его волоклись по-над зелеными склонами, цеплялись влажной паутиною за кусты терновника и медленно таяли в кукурузных полях. Гордеич прошелся по краю загонки, заросился по грудь.

— Жабрею — пропасть! Цветет! Мы тут еще разок покачаем.

Один Матвеич был ко всему безучастен, молчком прихрамывал в своей соломенной шляпе или, удалившись в будку, надоедливо постукивал молотком — так порою дятел долбит и долбит ствол сухостойной осины. Обедал отдельно ото всех, на закате проверил наш контрольный и, хотя прибыль была весомая — более килограмма, не обрадовался ей.

Вечером тесть уехал с Гордеичем в Красногорск, а мы с Надей остались на пасеке,— перед отбытием в Орел жене хотелось дольше побыть на природе.

Полностью отдавшись отдыху, мы бродили по крутым склонам и почти не замечали Матвеича, не интересовались, чем он занимается. На третий день примчались наши старики, оба выбритые, в чистых рубахах и выглаженных брюках. Матвеич, до этого проверявший рамки у лежака, поднялся со стула и, не снимая сетки, скрылся в будке.

— Матвеич, где ты? Встречай делегацию с духовым оркестром! — острил возбужденный Гордеич.

Илья Федорович с улыбкой приглядывался к гудящим ульям, шел бодро — и вдруг с изменившимся лицом остановился перед пасекой Матвеича.

— Глянь, что он вытворил! — проговорил он тихо, с непередаваемым изумлением.

Воспользовавшись отсутствием компаньонов и моей беспечностью, Матвеич сдвинул свои ульи почти вплотную друг к другу. Скорее всего, он делал это в вечерних сумерках, когда мы с Надею поднимались на вершину любоваться огнями Красногорска. Сейчас я увидел, что над пасекой Матвеича гуще, кучнее вились рои: привлеченные слитным гудом, наши молодые пчелы переметнулись к соседу, освоились и уже служат ему. Он заманил их к себе!

Синие глаза тестя встемнели от гнева:

— Матвеич!

Повозился Матвеич в будке, покашлял — и откинул с дверного проема край полога, вылез наружу.

— Здравствуйте, Федорович. Приехали? — Голос у него был спокойный, но глаза, настороженно-внимательные, слегка косили вбок.

— Всю жизнь ловчил и до се ловчишь! — задохнулся от обиды тесть.

Его волнение передалось и мне:

— Нехорошо, Матвеич. За это...

Однако тесть движением руки поубавил во мне пыла и

подошел ближе к своему компаньону. Теперь он заговорил ровнее, без придыхания:

— Я надеялся, в старости ты переменишься. Не-е! Горбатого и могила не исправит. Зачем переставил улья? Все тебе мало, не наешься.

— А вы что, наелись? — разжал пепельные губы Матвеич, ехидно, непримиримо прицелившись на него вспыхнувшими стеклами очков.— Персоналку получаете, а что ж не сидите дома? Небось не хватаеть на манную кашу. Тожеть денюжек захотелось? Понравилось, как они шуршать в кармане. Вы тут, Федорович, не командуйте и мораль нам не читайте. Ваше отошло. Старость нас всех уравняла. Теперь мы с вами одного поля ягодки.— Он в усмешке сощурил глаза.— Вот вам и нечего сказать.

— Врешь! Я скажу. По себе о других судишь. Ты — слепец! Человек в тебе так и не проснулся. А я — человек! И умру им. Вот мое богатство! Ты запомни: никогда мы не были с тобой одинаковыми ягодками. И — не будем! До самой смерти не сойдутся у нас стежки-дорожки... А за откровенность — спасибо. Ты меня за все отблагодарил.

Тесть повернулся к нему спиной и зашагал прочь.

— Зря, Федорович, кипятитесь. Расставьте и вы улики потеснее, я не против. У вас бы столько пропало...

— Я сделаю по-другому! Пошли, Петр Алексеевич. Не связывайся с ним.

Ночью Илье Федоровичу спалось тяжко. Луна заглядывала в окно, мглистою полосою оттесняла сумрак, выхватывая из него бледное лицо старика. Холодный, мерно льющийся свет временами мучил его, как он нередко мучит пожилых, чувствительных к нему людей. Илья Федорович ворочался, иногда постанывал. Надя склонилась над ним, сказала встревоженным шепотом:

— Папа, ни о чем не думай, спи.

— Через силу думается. Надо думать: года у меня серьезные.

— А ты постарайся забыть о нем.

— «Забыть»! Легко сказать! Так не выходит, дочка. Куда от него денешься?.. За себя больно: долго прощал ему. Душу свою губил. Не-е, таким нельзя уступать.

— Спи, папочка, спи. Понапрасну не волнуйся.

— Я сам... сам виноватый,— казнился Илья Федорович.

Проснувшись, мы не обнаружили его в будке. Солнце давно выкатилось из-за горы, выстоялось до ярого кале-

ния, и пчелы дружно гудели в воздухе и в траве, облепляли белые соцветия жабрея. Матвеич как ни в чем не бывало раздувал дымарь. Гордеич срезал на рамках затвердевшие трутневые засевы, а нашего старика нигде не было видно. Не появился он и к обеду. Надя заволновалась. Гордеич стал нервничать, догадываясь, что это неспроста: после ссоры Илья Федорович что-то предпринимает, иначе бы он уже показался на пасеке.

— Скубетесь как петухи,— выговаривал он Матвеичу.— Ёк-макарёк, чего вы не поделили промеж собой? Старые дурни... Где Федорович?

Матвеич невинно пожал плечами и ладонью отогнал накинутый ветром дым затлевших в дымаре гнилушек.

— Я ему не нянька.

— Шо ты притворяешься! Не надо было улики сдвигать! Все мудришь.

— Сдвиньте и вы, кто вам мешаеть.

— Медом его попрекнул. Кому позавидовал! Помирился бы с Федоровичем.

— А я с ним не дрался. Плохими словами не обзывал,— спокойно отвечал Матвеич.

В сумерках накатило споднизу быстро нарастающим ревом грузовой машины, полоснуло по горе вырвавшимися из ложбины пучками света, и мы с Надей увидели на подножке кабины нашего старика. Он спрыгнул наземь и не мешкая распорядился:

— Петр Алексеевич! Давай закрывать летки и грузиться. Пчелы сели?

— Сели.

Опешил Гордеич. Не ожидал он такого от Ильи Федоровича. Жмурясь на яркие фары, бестолково потоптался у своей будки, скинул фуфайку и нетвердым, осекшимся голосом выдавил:

— Куда-а?!

— К Чистым ключам.

— Да там же голые бугры! Ты шо? Через полторы недели качать, а ты бросаешь золотое место. Мы тут набьем по десять фляг!

— Не уговаривай меня, я не девка.— Илья Федорович решительно закрыл леток у крайнего улья.

И понял Гордеич: он его не переломит никакой силой. Растерянно огляделся, съежился и позвал Матвеича в надежде, что тот извинится перед Ильей Федоровичем и, может, все образуется, но Матвеич не откликнулся: где-то

притих во тьме балки и, наверное, чутко уловил ухом их голоса, сидел и чего-то дожидался. Надя, пугаясь новой бессонной ночи, жалея отца, начала убеждать его не горячиться, как-нибудь вытерпеть до качки, ведь это не трудно — на сладкой каторге он больше терпел. В последний, в последний раз поступиться малым, а потом — всегда и во всем знать себе цену.

— Я тебя, дочка, плохому не учил,— сердито сказал Илья Федорович.— Не учи и ты меня. Иной раз приходится жертвовать.

— Из-за кого? Из-за Матвеича?!

— Ради себя.

Слушал их, слушал удрученный Гордеич — и не то удивился, не то вымолвил с осуждением:

— Ну, Федорович! Ты как железобетон!

— Чем стоять без дела, лучше бы подсобил нам.

Зябко встряхнул Гордеич узкими плечами, поглядел на будку своего компаньона, словно опасаясь быть заподозренным в сообщничестве с неукротимым председателем, и вместе со мною принялся воровато носить ульи. Грустно, горько было ему в этот темный августовский вечер с вызревшими на чистом небе звездами. Иногда, отвлекаясь от работы, он бегал выследить, не вернулся ли Матвеич к себе, но в будке было по-прежнему темно, глухо, и он семенил назад еще более расстроенным. Таким мне и запомнился Гордеич: подавленным, суетливо мечущимся между пасекой Матвеича и нашей машиной.

— Ну прощай,— сказал ему напоследок Илья Федорович.— Не поминай лихом.

— Федорович? Шо ж такое творится? — он долго не отпускал и мелко тряс его руку.— Была ж надежная компания... Враг его подкузьмил с этими уликами.

— Не в одних уликах дело. Ты — думай! После все поймешь.

— Я покачаю... ты примешь меня к себе?

— Приму. Только серьезно решай, с кем тебе быть,— последовал суровый ответ.

И мы тронулись по наезженному следу вниз по балке. Маленький Гордеич черным сучком застыл в отдалении, обратив в нашу сторону смутно белеющее во тьме лицо.

Я сидел один наверху, на ульях. Надо мною колебалось, медленно поворачивалось темное небо, мерцали далекие, одному взору достижимые звезды. Глядя на них, я думал о смятении Гордеича и о поступке Ильи Федоро-

вича. Не каждый, далеко не каждый волен отважиться на такое — понятно, кому хочется терять удачу. Она была так близка, осязаема и уже манила нас новым взятком, но Илья Федорович наперекор всему пренебрег им.

Он не привык поступаться совестью и сразу же, без всякого промедления пришел к душевному выбору... А я? Я все еще на распутье, во мне не хватает мужества. Неотступная мысль о Тоне, о последней встрече с нею жгла, преследовала меня укором, и я внезапно понял: настал и для меня момент выбора, больше медлить нельзя. Сегодня, завтра — или никогда. И вообще я должен решить, как продолжать свою жизнь дальше.

...Эта история заставила меня одуматься. Я как бы проник внутренним зрением в собственную душу, осмотрелся — и вовремя нашел точку опоры, чтобы удержаться, не соскользнуть вниз. Да, я удержался на той предельной, роковой грани, откуда или возвышается, или бесповоротно падает человек. Ведь третьего нам не дано. Моим прозрением, а потом и окончательным выздоровлением я обязан Тоне и с виду простодушному, наивному в порывах, но честному и неколебимому в убеждениях Илье Федоровичу. Лишь там, у Червонной горы, открылся мне высокий смысл всей его подвижнической жизни.

Так внезапно в горах нам открывается светлая, стихиям неподвластная, манящая к себе вершина, до которой шагать и шагать.

ОТ АВТОРА

На этом обрывается последняя запись из дневника моего давнего приятеля Петра Алексеевича Борисова, предоставившего мне свой труд в полное распоряжение. Однажды я было поддался искушению несколько исправить те места, которые не вполне отвечают моим собственным представлениям о Петре Алексеевиче и порою выставляют его не в лучшем виде, но по зрелом размышлении я пришел к выводу, что следует оставить все без изменения — так, как это ложилось на душу автору записок, чтобы не нарушить целостного впечатления от них. Прав я или не прав — пусть от этом судит проницательный читатель.

1975—1977

СОДЕРЖАНИЕ

Подсвиров И. Г.

П 44 Касатка: Повести.— М.: Советский писатель, 1986.— 512 с.

В книгу Ивана Подсвирова вошли повести «Родные люди», «Касатка», «Чинара», «Погоня за дождем», посвященные ставропольским колхозникам.

П $\frac{4702010200—079}{083(02)—86}$ 108—86 **ББК 84.Р7**

Иван Григорьевич Подсвиров

КАСАТКА

М., «Советский писатель», 1986, 512 стр.
План выпуска 1986 г. № 108

Редактор *В. П. Стеценко*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*
Корректоры *Т. В. Малышева* и *М. Б. Шварц*

ИБ № 5446

Сдано в набор 23.06.85. Подписано к печати 01.02.86. А 03334. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Балтика». Офсетная печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 29,05. Тираж 100 000 экз. Заказ № 456. Цена 2 руб. 10 коп. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109